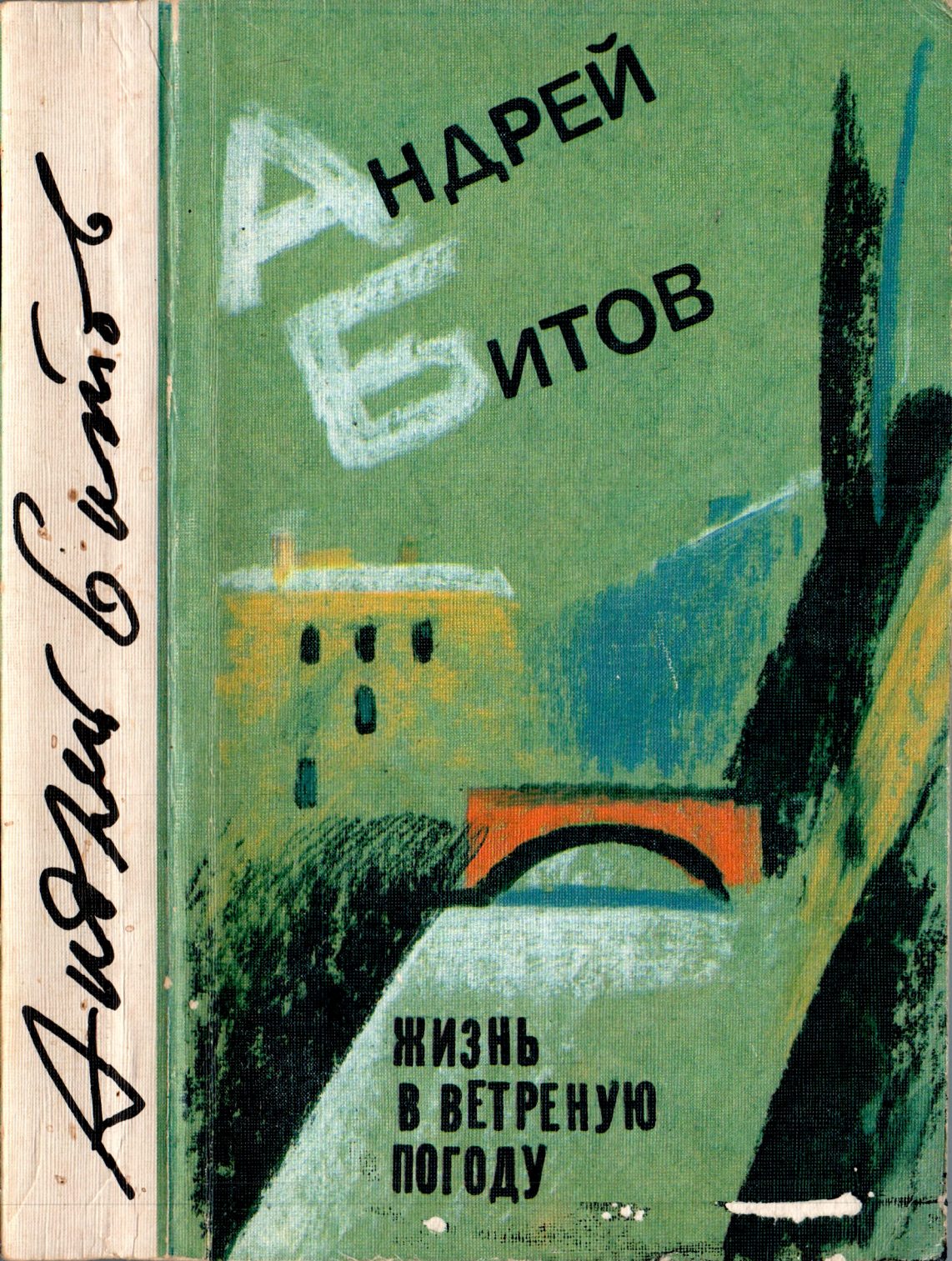


Андрей Бибитов

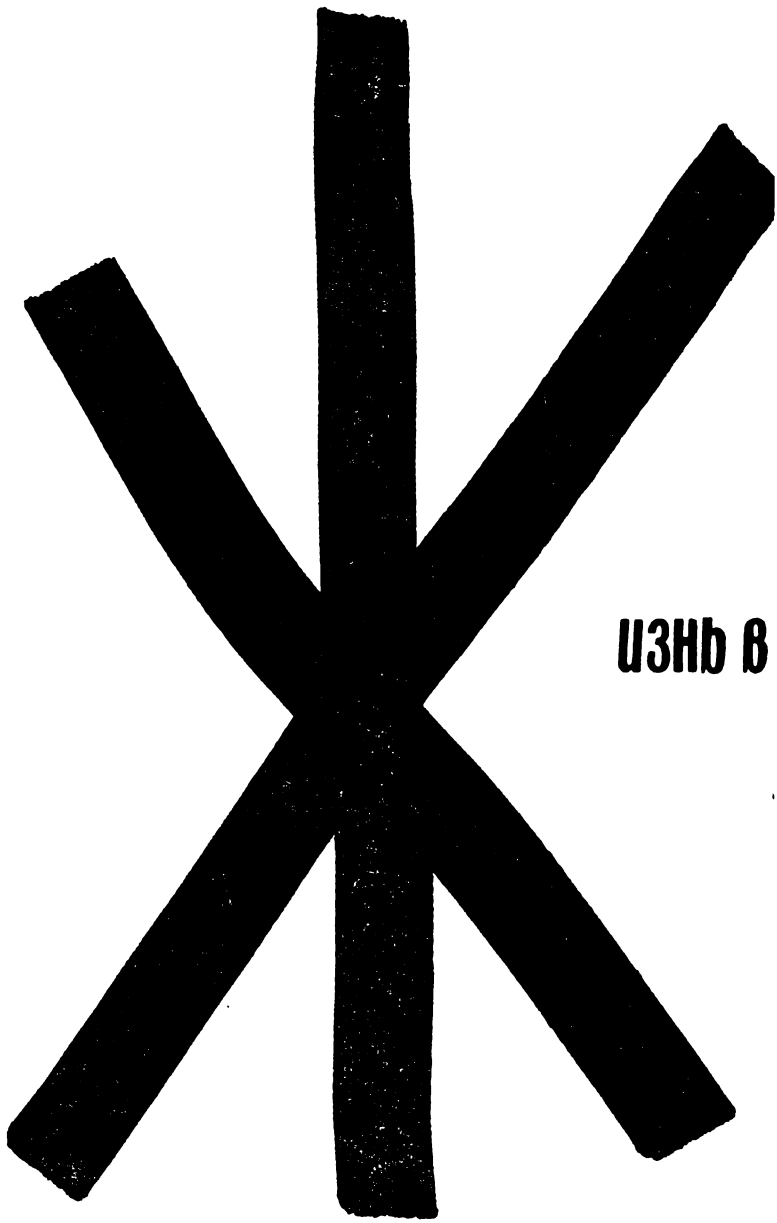
АНДРЕЙ  
БИБИТОВ

ЖИЗНЬ  
В ВЕТРЕНУЮ  
ПОГОДУ





ЛЕНИНГРАД  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
1991



**ИЗНБ В**

Андрей Битов

## **ветреную погоду**

**аптекарский остров  
дачная местность  
улетающий Монахов  
выбор натуры  
после „Пушкинского дома“**

---

ББК 84.Р7

Б 66

*Цена этой книги повышена на 50 копеек.  
Средства, полученные за счет этого, будут  
перечислены в фонд Русского пен-центра.*

Оформление художника  
Г. КОВЕНЧУКА

Редактор  
Т. ШМАКОВА

Б  $\frac{4702010201-058}{028(01)-91}$  без объявл.

ISBN 5-280-01317-X

© А. Битов. Состав, 1991  
© А. Битов. Записки из-за угла, 1991

**A**

**птекарский**

**остров**

## АВТОБУС

Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь... То есть не надо, а можно писать всю жизнь: пиши себе и пиши. Ты кончишься, и она кончится. И чтобы все это было — правда. Чтобы все — искренне.

Вот пишу и не знаю... Ведь чтобы писать искренне, надо знать, как это делать. Иначе никто тебе и не поверит, что у тебя искренне. Сделать надо.

Вот это-то и ужасно: все-то — литература...

А я такой-то человек. У меня есть люди, которых я люблю, люди, с которыми я знаком, люди, которых я не знаю. Все эти люди как-то меня знают, что-то обо мне иногда думают, когда есть к тому повод. А я совершенно не представляю, что они обо мне думают. Но мне кажется, они не допускают, что я какой-нибудь другой, чем они. Что я могу чего-то больше или хотя бы иначе, чем они. Я даже могу допустить: иначе быть не может. Ведь я же не представляю себе Иванова отличным от остальных...

То-то и оно. Все люди — центры. Два с половиной миллиарда центров...

Иногда я попадаю не в фазу. Периодически. Довольно часто. Не в фазу — значит, как-то все у меня не как у всех, все со мной подло, все из рук валится, надо одно — а хочется другого.

Ничего не получается.

Вот, например, с автобусами. Вдруг получается так, что они только что отошли... А мне как раз надо бежать. Например, я сажусь на остановке, где ходят 49-й и «десятка». 49-й ходит очень редко, а «десятка» очень часто. Так вот, когда мне нужен 49-й, он подходит мало того что редко, а еще втрое реже... А когда мне нужна «де-

сятка», подходят два 49-х. А «десятка»... Я всегда думаю: может, она с моста свалилась?.. Такое дело. Я всегда, когда езжу через мост в автобусе, думаю, что я буду делать, если сейчас мы полетим в воду? Положим, мы не уьемся... Наверняка не уьемся. А вот как быстро просочится в автобус вода?.. Думаю, напрягая мышцы, как я выбиваю стекло. И выныриваю. Пока все там гибнут в автобусе. Безусловно ведь, шофер не успеет открыть двери... Но вот я вынырну. И не вынырну, а только буду выныривать... А у меня в руках портфель, и на мне осеннее пальто. Это все набухает. Допустим, я умудрюсь сбросить. Я доплываю до «быка», и взбираюсь, и сижу на нем, на остром ноже-ледорезе... И жалко пальто, которое сбросил, а оно совсем новое. И ботинок.

Так я думаю чаще всего, когда мне куда-нибудь очень, позарез надо, куда я еду. Что-то надо, ужасно надо сделать. Последний срок, последняя возможность. А мне удивительно неохота. Как раз сегодня было бы так прекрасно никуда не пойти, а остаться дома и спать. Или пойти в кино на утренний сеанс. Или выпить в автомате. А потом познакомиться с кем-нибудь. И пойти куда-нибудь на Острова...

И вообще, зачем это?.. Кто мне объяснит, что это так уж обязательно надо — то, что делаешь? И почему бы не свернуть в сторону, не свалиться в реку в автобусе?.. И тогда бы тебя доставили домой, и ты бы с полным основанием забыл про все дела и ничего бы не делал из того, что обязательно, просто совершенно обязательно надо было сделать... А им бы потом объяснил, в чем дело. Кому — им?.. Сам не знаю. Вот свалился в реку, и так прекрасно: и ты, и общество — полное согласие. И никто от тебя ничего не требует. Все прекрасно между тобой и обществом. Тебе сочувствуют... А раз такой пустяк — свалиться в реку — выход, и ты будешь прав, и все тебя оправдают, что не сделал того-то и того-то, что было так, позарез, надо... Если так... на кой хрен тебе вообще куда-то надо ехать? Кто это выдумал, что так надо?..

Написать бы книгу — без композиции, без языка, без всех этих фокусов... Ведь есть же что-то самое важное. Главное, так сказать. Все остальное — так, смазка, чтобы легче проходило. Как бы обойтись без этого, оставив самую суть?.. И самое смешное — допустим, это начало такой книги, то, что я пишу; что вот я собрался и начал, — самое смешное, что будешь писать, напишешь —



и окажется и композиция, и язык (развязка, завязка, метафора) — вся литература налицо. Если книга получится, конечно...

Деться тут некуда.

Последнее время я все думаю: написать бы всю правду. Не всю-правду: для этого нужно искажать, хитрить, а — всё-правду. Думаю уже месяц. Как раз мне надо очень делать кучу вещей. Позарез надо. Дальше некуда. Просто свет клином сошелся. Не сделаю, не выполню, не напрягусь — все рухнет. Все пропало.

А что пропало? Что рухнет? Что, собственно, рухнет?!

Ерунда какая-то. Все-то понятно. Просто мне трудно. А хотелось бы, чтобы не было. Чтоб ничего я не был должен...

А что я, собственно, должен? Будто бы?! А если и должен, то почему какую-то подобную чепуху?..

Уже месяц я подумываю: написать бы такую книгу... Вот сегодня ехал я в автобусе... Кстати, почему это я все придумываю в автобусе? Не додумались еще, чтобы в одну секунду перелетать от дела к делу. Ехать надо. Иногда полчаса, иногда больше, когда меньше. Совершенно законная свобода. Едешь куда-то. Ехал бы и ехал. Только бы не вылезать. Особенно если рано утром. И еще дремлет в тебе сон. А за окном мороз, и окно замерзло. И если ты еще занял место у окна, и как раз под сиденьем — печка... А люди входят и выходят. И ты смотришь в лица. И девушки... Они тоже смотрят на тебя. И тоже выйдут. И ты едешь себе, едешь...

Вот я ехал и думал о такой книге. И думал, что обязательно напишу про парня, который сидит напротив. И смотрит на всех умным взглядом и чему-то такому, умному, в себе ухмыляется. Тыщу лет я знаю, как он ухмыляется!.. Обязательно надо про него написать в такой книге...

И вот я приехал домой, лег в постель и решил, хотя и невозможно написать такую книгу, все-таки что-нибудь записать, и сразу вспомнил про этого парня и что надо про него написать, и вот я пишу, пишу и все хочу про него написать, и уже седьмую страницу пишу, а даже не знал, о чем буду писать, пишу уже седьмую страницу и все думаю, что надо писать об этом парне, и никак не могу подступиться к нему — все что-то пишу...

Я иногда выхожу на улицу. Спешу. И кажется — зачем я вышел? Да можно ли в таком состоянии пускаться

человека на улицу?.. Вот идут мне навстречу две женщины. Старые, усталые, из последних сил. И говорят друг другу какими-то высокими голосами: «И ты думаешь, можно сделать такую выкройку?.. Ну что ты... Я ему так и сказала... Ты не ходила на его концерт?!. Ван Клиберн — прелесть...» Усталые такие. Идут куда-то. А я вот (разве можно так?) смотрю и вижу, какие у них худые старые ноги в черных чулочках... И вот эта женщина опять покупает ирисок на рубль. И этот пьяница купил бутылку фруктового вина и сунул ее мимо кармана. Она брякнулась о кафельный пол, и розовая жидкая лужица на полу... А он стоит, расставив криво ноги, и все, не понимая, смотрит на лужицу, и такое бессмысленное детство бродит по его лицу.

А здесь стоит ребенок. Кто-то его забыл. Разве можно оставлять таких на улице? Стоит, косолапый, звездочет, и совсем обо всем позабыл. Никто его не теревит. И он смотрит на воробья. А воробей, серая такая птичка, чистится и чистится. Весь чистый.

И вот вчера я так глупо ошибся... Бежал, спешил и соспеху впоролся в женский туалет (две двери рядом). Мне еще раньше говорили, что в женском туалете отдыхают проститутки. И что уборщица даже специально для них держит шудру и папирасы. Я тогда не поверил.

А тут думал о чем-то — и впоролся. И вот сидят они в центре туалета, стулья в круг, и курят. Молодые, красивые, яркие, отвлеченные какие-то, такие простые... сидят и курят. И, видно, беседовали — замолчали. Смотрят на меня так спокойно, без вызова, прервавшись... А я осознаю и вылетаю пробкой.

А книга — это чудо. Понимаете, это все, что я написал вот сейчас, — этого всего не было. То есть это было... Во мне, скажем.

Великое чудо...

И вот со мной едет человек. Мы живем на одной лестнице. И сойдем на одной остановке. Он едет с женщиной. Такая, уже не очень, женщина... В первый раз ее вижу. А вот про него я как много знаю! Конечно, мы даже не здороваемся, не знакомы. Но в том смысле, что я хожу по улицам, вижу тысячи людей, — по сравнению с ними — я знаю о нем ужасно много. На одной лестнице все-таки. Так, от разу до разу, словно и не слушая, узнал о нем от разных людей. Отец, например, был с ним знаком, когда еще был студентом. И мама. Он

вертихвост, по словам. Седой, немолодой уже человек, а вертихвост. Так и остался со студенческих лет. С тех пор они его и не узнали... Завкафедрой, седой человек, а вертихвост. Говорят, он замечательно катался на коньках, прекрасный был фигурист. Была у него первая жена. Умерла. Побродил, побродил — появилась еще женщина, с его кафедры. Вертихвост... Славная была, красивая. Ее я уже помню. Маленький был, а очень она мне нравилась. Дети у них были, Маша и Ваня. Ваня уже в школу пошел. А мама летела из командировки, и самолет разбился. Тогда весь Ленинград говорил об этом. С какой-то делегацией разбилась. И вот он ходит, вертихвост, с сеткой, набитой картошкой, фунтиками разными, ходит, фигурист... Пьяный все чаще. Худенький такой, седой, маленький мужчик. Однажды совсем до дому не дошел — свалился. Завкафедрой, что студенты подумают!.. В газетах писали. А то тащит его Ваня за рукав: «Ну пойдем, папочка. Не надо, папочка...» Тащит домой. Самое великое — дом... Что — книги! А то — однажды подошел ко мне. Никогда мы не здороваемся даже. Подошел и с особым вызовом, гордо так говорит: «Дайте мне пятнадцать копеек, я вашего отца знаю — я отдам». Неловко ему было пятнадцать копеек потом отдавать — не отдал... А когда трезвый, ходит такой неистребимый — седой, худенький, маленький, — делает красивое лицо, по-особому проходит мимо женщины, подпрыгивает при каждом шаге, чтобы казаться выше. Вертихвост... И сейчас едет со мной в автобусе. Мы сойдем на той же остановке. С ним женщина. И слышу, говорят они на «ты» о делах кафедры. А времени двенадцать ночи, и едут они домой, туда же, куда и я.

Можно написать об этом рассказ, повесть, роман — все об этом же. И вряд ли это будет больше того, что сидит в автобусе маленький человечек...

И вот я... Достать, что ли, велосипед. Приспособить к ободам колес лампочки... Синие, красные, зеленые. Надеть на голову кепку-«лондонку» до ушей... И поехать. Темным вечером. Я еду — колеса крутятся. И с ними — лампочки. Зеленые, синие, красные. А у меня кепка-«лондонка» на голове. Зеленое, синее, красное... Словно это бал-маскарад. И шутихи летают в небе, крутятся и сыплют искрами. И серпантин, и канитель... Или я сажу на лошадке и мчусь по кругу и машу флажком красным...

Ах, какая канитель-карусель!  
Кружится, кружится...

Вот площадь. Что-то около одиннадцати. Это круглая площадь, с круглым сквером посередине, и круглые шары фонарей вокруг сквера. И шары окружены каким-то круглым туманом. К этим шарам тянутся ветки, заиндевелые, белые. Автобус едет по кругу площади, и меня прижимает к стенке. Центробежная сила.

И автобус останавливается. У Филармонии. Видно, кончился концерт. Это, наверно, субъективно — я редко бывал в Филармонии, — там всегда масса девушек. Их почему-то даже больше, чем старушек, и, конечно, больше, чем парней. Почему-то они очень ходят в Филармонию. И не то чтобы они были «синие чулки» и некрасивые — очень даже симпатичные девушки. И вот они садятся в наш автобус — одни девушки — концерт кончился, — хорошенькие модные девочки... Но что-то странное с ними. Какие-то такие очень каменные, холодные лица. Такое выражение. В общем, похожее у них выражение. Они даже совсем друг на друга похожи. Ну да, после концерта... Но все-таки... Почему у них такие лица? Ну да, вспомнил: сегодня концерт Имы Сумак. Какой-то второй или даже первый ее концерт в Ленинграде. Конечно же, это она! Я узнаю ее по фотографиям и рекламам. Конечно же, это она поднимается сейчас по ступеням автобуса. Одна, две, три... много! Двадцать одна Има Сумак вошла в автобус. А как они сидят, или как стоят, или платят кондуктору! Просто поразительно! Как они гордо скользят по моему лицу взглядом, холодным и далеким, как вершины Анд. Не замечают меня. А я, можно сказать, единственный молодой человек в автобусе. Вот какая хорошая девушка — и тоже «Има Сумак»... Как она не заметила меня! Царица!.. Но вот, бедная, вдруг закапал нос, и она судорожно ищет платочек, и вся независимость спадает с ее лица. Она смущается, краснеет и косится, видел ли я..

Ах ты моя славная!

Вот будет у меня когда-нибудь дочка. Назову ее Сашей. Саша — будет полное ее имя. Саша Андреевна.

Будешь ты, Саша Андреевна, моей дочерью. Ой, какая ты красивая, Саша Андреевна! Молодая и счастливая...

А вот вчера затащил меня приятель в один дом играть на бильярде. А шел я, между прочим, совсем в другую сторону. Очень мне было спешно. И вот встре-

чаю приятеля, он мне говорит: «Пошли на бильярде...» И я иду, именно потому, что очень спешил и очень было надо.

И не очень-то я люблю бильярд. Я даже его очень не люблю. И вот гоняю шары. Они мечутся, кругленькие, Толкаются, щелкают, пихаются. Что-то одушевленное в них.

А дверь из бильярдной открыта. И через нее видно лестницу. Кусок лестницы. И в этом кадре все идут, идут, поднимаются девушки в белых платьях, в совсем одинаковых платьях. Идут чинно так, серьезно и плавно. И похожи на больших ночных бабочек со сложеными крыльями.

А мы удивляемся, откуда в Доме писателей столько девушек в белых платьях? А мы сняли пиджаки, и в рубашках, в углу рта сигарета, глаз прищурен, «оборот налево, дуплет в середину»... И так бьем, и так разгибаемся после удара — бильярд, писатели...

А по лестнице, в том куске, что виден в рамке двери, все идут, идут девушки в белых платьях. Как на закляние, на костер... Большие ночные бабочки.

«Откуда их тут так много? Восьмой направо в угол». — «Тут вечер какого-то института. Придется шар выставить...» — «А что одни девушки? Вот этот хорошо прошел, классный шар!» — «Они, наверно, думают, что среди писателей есть женихи... Ха-ха! На две лузы...»

А девушки идут и идут.

Сашенька моя, Андреевна!..

Все это можно понять... Вот автобус. Два сиденья напротив. На каждом из них мужчина и женщина. Сидят напротив женщины и мужчины. И все читают. А я стою над ними, держась за поручень, и вижу их затылки и раскрытые книжки. Я не знаю, какие это книги и пытаюсь узнать по тексту. Текст прыгает.

«Целыми днями... Ли-ли... Лилиан лежала у моря... и в саду, который окружал ви-ви... виллу Ле... Лева... Левалли. В этом запущенном романтическом саду... саду встречались... на каждом шагу встречались мра... мраморные статуи, как в стихотворениях... Эй... Эй... Эй-хен... дорфа».

ТЬфу, пропасть!

«Лучше прожить пять лет... чем про-про... про-существо-вать, просуществовать пять минут». Что — лучше? Лучше просуществовать пять лет, чем прожить

пять минут? Или лучше просуществовать пять минут, чем прожить пять лет? Или прожить пять лет, чем просуществовать пять минут?

Тоже непонятно. Почему? Кто это так уж точно знает?

«Счастье, конечно... в любви...» В любви? Ну конечно. Счастье в любви. Ничего особенного. «...но взаимной». «Счастье, конечно, в любви, но взаимной». Не правда ли, как замечательно сказано! Подумать только.

Ну, еще... Последняя. Что пишут в последней?

«Как же удержать этого... этого... огненного... нет, ог-нен-но-кры-ло-го Ки-ки... этого Ки-ки... Этого Ки-фа-ре-да, чье безмолвие яснее слов говорит о желании». Яснее слов говорит о желании? Как-то не очень ясно говорит. «Насытить его — значит расстаться с ним». Кого насытить? Этого Кикифареда? А расстаться с чем? Тоже с ним. Или с желанием?

Нет, с меня хватит...

И, пожалуй, как понять друг друга? Ох уж эти книжки! Пассажиры! Вы же сидите рядом, вы сидите напротив: женщина рядом с мужчиной и мужчина напротив женщины... И ни черта не понимаете! И не смотрите друг на друга...

А тут предъявляют автобусные карточки. Вы обращали внимание, как это делается? Вот старик вынимает карточку и показывает. А кондуктор в это время рвет билеты и на него не смотрит. А он говорит: «Карточка». И он кладет ее обратно в карман. А потом снова вынимает. И говорит: «Карточка». И лицо у него такое... Что и не безбилетник он, а, наоборот, — имеет право, и желание показать достоинство, и абсолютная мольба на лице: «Обратите внимание!.. Карточка!»

И вот наконец Новый год! Я еду в автобусе. Еду встречать. Это же самый прекрасный, самый искренний и естественный праздник в году! Старое забыто — начинается новое... Как мне всегда хочется, чтобы праздник этот был чист, светел и красив! И я еду начищенный с ног до головы. А в кармане у меня соседкины пудреница и карандаш, а то даже бальные туфли, по одному в боковых карманах.

Автобус набит. Все красивые. Все шумят, смеются. Все радуются. Будет праздник. А праздник, быть может, — только ожидание его. И все напьются, будут пьяны, и мильон девушек потеряет свою невинность, будут разбиты тонны посуды... И недоедены, расплева-

ны, разблеваны тонны еды. Пищи... И все равно едут и едут на дни рождения и Новые года. И Новые года идут один за другим. Новые года — детские — елка и подарки под елкой и рано спать. Новые года — подростковые — посидеть немного за столом со взрослыми, молчать, краснеть — «жених растет», — и позволенная рюмка со всеми. И Новые года — не дома, а в компании — жмет рубашка, а рядом твоя соседка, и пить, пить, словно только это и делал всю жизнь, и потом ничего не помнить...

И ты едешь, едешь в автобусе встречать и встречать, Новый год, Новый год...

И вот я не еду встречать Новый год в автобусе... Это самый мрачный и, пожалуй, самый чистый Новый год в моей жизни. Я новичок, салага. Всего две недели в армии. И — ни копейки. Не открыть ни бутылки, ни даже пачки папирос. И приказ по отряду: в новогоднюю ночь — всем дома. То есть в казарме. Но «старички» кто ушел в самоволку, кто так нагулькала. А нам, новичкам, — и мечтать нечего. Кто-то пил одеколон. Но вот и одеколону нет. Кто-то разводит зубную пасту... А я... Я получил сразу три письма из Ленинграда, первые письма сюда из дому: от мамы, друга и от нее. И я не вскрываю письма, жду, чтобы открыть их в двенадцать. И мне погано. В основном погано потому, что завидую, завидую... И мне кажется, бог как весело! встречают там, в Ленинграде. И память подсказывает только соблазнительное, прекрасное, радостное. И растравляю, растравляю себя и не могу остановиться. Потому что я верю, верю, что они любят меня там... Но все они сейчас встречают, и пьют, и не помнят обо мне. Конечно, вспомнят — но забудут... Потому что я — не к празднику. И мать — она любит меня больше всех, — и она сидит сейчас дома, и богатый стол, и все вокруг любимые люди — и хорошо. И друг, он, конечно, предложит за меня тост, там, среди друзей, и все вспомнят и погрустят секунду и чокнутся от души. И она... Она мне верна, верна!

И какой-то азиат жалеет меня и угощает меня планом. Я выкуриваю папироску. И вот мне смешно-смешно. Боже, как мне смешно! Какие все остроумные люди, какие лица! О, боже... А потом я опираюсь о нары и плыву, плыву... Корабль, ночь. Звезды, ветер. А потом я мушкетер. Атос или д'Артаньян. И потом иду по за-

лам, залам, и все прекрасные картины по стенам. Никогда не видел такого прекрасного...

А потом я просыпаюсь. В поту, голова разламывается. Где я? Почему? А по радио кончаются двенадцать ударов. И я вспоминаю... Самая большая радость — я ведь ее ждал весь день — вскрыть письма! Но во мне нет радости. И я прочитываю их кое-как. А потом всю ночь не могу уснуть от головной боли и кашля.

И вот я снова еду в автобусе встречать Новый год. И все едут. И, наверное, думают, что все, все едут встречать Новый год в автобусе. Или они и не думают об этом. Конечно, не думают. Ведь праздник.

А с кем-то несправедливо поступили, кто-то потерял все деньги, у кого-то вообще все пошло прахом, кто-то умер только что, и у кого-то умерли, кто-то встречает Новый год в поле, кто-то в тюрьме. Их тьмы, этих людей. Они не едут в автобусе. А мы себе едем и едем. Все встречаем и встречаем Новый год за Новым годом.

Все пируем...

Вот иду я по улице, возвращаюсь, допустим, с работы. Рабочий день, значит, кончился. Освободился я. Решил пройтись пешком по набережной. Солнце, воздух. Реденькие, жиденькие стоят топольки. Будут когда-нибудь большими. А я старым. Можно будет что-нибудь по этому поводу сказать. Помню, как их сажали, например. А сейчас я молодой, освободился я, иду по набережной. Корабли стоят на приколе. Солнце греет. Матросы на кораблях ничего не делают, греются. И музыка на корабле играет. Изумительная такая, дешевая музыка.

А поцелуев, извините, нет.

Ох, какая же это музыка! Что-то такое за душу берет... Конечно, вкус. Конечно. Люблю Баха, не люблю Сен-Санса. Симфония — да, джаз — да, оперетта — нет. Но песенки... Ах эти песенки! То, что много лет хранилось в тайне.

Вкус — да! Да ну его к черту.

Иду я, к примеру, в вышеописанной обстановке, и так мне хорошо, так сладко, так щемит что-то... Плакать хочется. Тут около меня притормаживает ЗИМ. И вижу — там генерал. Да не просто — две звездочки. Остановил шофера-солдата, дверцу открыл, высунулся и обращается к милиционеру, как проехать туда-то. А милиционер не знает. И вдруг — странное дело — я каким-то волчком завиваюсь, забегаю, чуть не сгиба-



юсь и говорю: туда-то и туда-то, направо и налево, так-то и так-то. А голос дрожит гаденько-гаденько и даже выше стал. И машина уехала. А я стою, провожаю взглядом, и поза вся неестественная: скорченная, и слюна чуть не капает. И вдруг понимаю: что ж это я, ведь я же терпеть генералов не могу, ведь я же чины ненавижу! Я всегда так говорил и говорю и думаю так же. Что же это такое!

Так стыдно, так стыдно.

Что это?

Что это?.. Почему бы мне не убить вот этого человека? Он сделал мне гадость, или он мне мешает, или просто мне не нравится его физиономия. Почему бы и нет? Почему бы мне не растлить собственную дочь? Или не выкрасть десять тысяч золотого займа из бабушкиного стола?

Почему я не делаю всего этого?

И почему все-таки, раз я так не поступаю, то все же, часто, поступаю грязно, погано, подло? И почему, в таком случае, иногда я поступаю хорошо, чисто, благородно?

Почему? Зачем? Для чего?

И вообще-то, если представить, то вся жизнь — скопление каких-то обстоятельств. Они могли быть такими, но могли быть и другими. И от каждого из таких обстоятельств — своя цепочка, своя жизнь. И тогда почему бы не рассмотреть свою жизнь так, что она могла бы быть тыщу раз разной и где-то, в одном случае, прекрасной? Может, я рожден быть чем-то вовсе другим? И только какое-то чудовищное и нелепое стечение обстоятельств помешало мне? Например, где-нибудь в Африке быть пигмеем... Представляете, охотиться на зебр?..

И еще хорошая специальность — водитель мотороллера. Наверно, им неплохо платят. Пожалуй, это здорово — возить молоко и книги. Ехать — бутылки в кузове звяк-звяк! Заходить в разные квартиры, и там тебя уже знают: «Может, выпьете чайку?» А вот в этой квартире открывает всегда такая славная девушка...

Но только последнее время, мне кажется, они стали ужасно носиться. Наверно, их перевели на сдельщину. Вот они и носятся. Выжимают из своих пердунков все, что можно. А треску!

Хорошо также варить варенье. И надписывать на банках: «Клубника отличная» и ставить дату, или:

«Смородина удивительная» и дата. И ставить банки на шкаф плотными рядами. А потом составить их опись. Хорошо — разбираться в хламе. Сортировать. Рассортировав, заворачивать в бумагу, перевязывать бечевкой, и опять же надписывать: «Обивка от бывшей ширмы» или: «Пластинки битые», и опять же класть на шкаф.

Все это очень хорошо.

Теперь еще и снег пошел — подумать только... А ведь весна.

А мама хочет сервант. Никто ей не сочувствует. А ей очень хочется. Я говорю: зачем сервант? А она говорит: мало ли кому чего — просто охота...

Ничего... Все — будет ничего.

Вы, говорят, слишком молоды... А я говорю: не виноват.

Вот сейчас хожу и думаю: вот об этом бы написать, и об этом. И вон об том...

А потом, страшное дело, буду ходить и — о чем бы написать? О чем? Мое же дело?! Об этом? Но почему же именно об этом? Или о том? Тоже ни к чему...

И еще говорят:

«Кто это у нас такой маленький-маленький? Кто это у нас под столом ползает? Кто это такой холесенький-холесенький? Ух ты, гули-гуленьки... Ах ты, цыпочка-цыпа! Кто это у нас такой квадратненький? Угловатенький такой кто у нас? У-тю-тюшеньки-тютю... Кто это у нас такой несознательный-несознательный? Такой недооценивающий-недооценивающий?.. Какой миленький маленький авторчик! Ух ты мой поросеночек... Все пишет и пишет, пишет и пишет. Ах ты сладенький... Сейчас я тебя съем-съем. Тпруашеньки и аашеньки не хочешь? Ух ты бады-бады! Ух ты бады! Ах ты неполноценненький мой... Что же ты не то пишешь? Ой, гулюсенки мои!.. Что же ты извращаешь? Правду, говоришь, пишешь?.. Ах ты негодненький! Говоришь, искренне надо?.. Ах ты сволочь, мракобес... а я-то думал, ты заблуждаешься! Я-то тебе верил, гад! Скоро праздник. Мы будем демонстрировать свою мощь! А ползучие гады будут высовывать свои жала из-под ворот... И ты, ты будешь там!!!»

И действительно, кому хочется быть ползучим гадом и высовывать свое жало?..

Вот сейчас приду домой и все, все приберу! Вымою, выколочу, выброшу все ненужное и открою форточку.

И надену чистую рубашку. Все приберу, приберу и начну жить сначала.

И в голове тоже порядок наведу. Все негодные мысли отброшу. Выкину их, негодяек! Потом заплачу все долги, все выполню, что кому обещал, и напишу всем письма и сделаю всем приятные сюрпризы...

Стану жить по режиму, вылечусь, вставлю зубы, буду делать по утрам зарядку и обтираться холодной водой. И каждый день буду бегать вокруг Ботанического сада.

А когда после всего этого я стану абсолютно свободен, я поеду за город, заберусь в лес, там будет полянка, лягу на спину и буду смотреть в небо.

И так буду лежать на спине и смотреть в небо долго-долго — всю жизнь.

1961

## БОЛЬШОЙ ШАР

*Инге Петкевич*

Папа брился. Делал он это обстоятельно. Он оттягивал пальцем кожу на взмыленной щеке, проводил бритвой, трогал пальцем выбритое место, вытирал бритву и палец о газету. Он надувал то левую щеку, то правую, вбирал нижнюю губу и при этом еще пел. Папа гладил брюки. Он плевал на пальцы и шлепал по брюху утюга, он фыркал на брюки и при этом пел.

Тоня была как на иголках. Она сидела на краешке дивана, положив руки на колени и выпрямив спину, всем своим видом показывая, как она «терпеливо ждет». Любимец, довоенный еще пупс, безногий и черномазый, лежал за ее спиной сиротливо и неприкаянно. Тоня сидела, а потом вскакивала, подбегала к окну и, вспрыгнув, ложилась на него животом. Окно выходило во двор, и там было серо и пусто. Выше было голубое-голубое небо. А во дворе было от этого вовсе пусто. Пробежал мальчишка, пища в «уйди-уйди». И скрылся в подворотне. Из подворотни доносился гул. Волнами.

Тоня сползла с подоконника и снова примостилась на краешек дивана «терпеливо ждать». Папа, уже в брюках, начинал карманы. «Когда же я куплю пиджак?» — сказал папа, надевая побуревший китель. Он

еще раз посмотрел на себя в зеркало, почему-то наспился, поджал губы, сдвинул брови и, сохраняя это суровое и красивое лицо, повернулся к Тоне, искоса еще поглядывая в зеркало, и сказал:

— Ну пошли, Антон.

Они вышли из подворотни и остановились, привыкая к свету и шуму. Бесконечной серой лентой, а выше — красные пятна лозунгов, а выше — очень голубое небо, тянулась по улице демонстрация. И как берега — люди, никуда пока не идущие: смотрят на демонстрантов. Солнце лилось на Тоню и папу, и они шурились. И рыжие Тонины волосы горели на солнце. Папа посмотрел на нее и сказал:

— Ты у меня сегодня как флажок.

Он еще постоял немного, глядя на демонстрантов, и заторопился. Рядом с домом был садик, и туда он отвел Тоню. Это был очень удобный садик: в двух шагах, и ребенок на воздухе, и в безопасности, и не надо улицу переходить.

— Ну, Антон... Ты тут погуляй. А я схожу, мне надо. В одно место.

И повернулся. И пошел.

Ушел, и Тоня сразу услышала: «Лиса! Лиса Патрикеевна явилась!» Подскочили мальчишки и за косу дернули, и она кого-то за нос, и звали попрыгать на аэростате. Но это все было неинтересно сегодня: и аэростат, который, полуспущенный, лежал огромной пухлой лепешкой на пустыре, за развалинами, и на котором так здорово было прыгать, и сами развалины, которые начинались сразу за садиком. И Тоня снова очутилась на улице.

Колонны, колонны... А на тротуаре шла торговля. Слева продавали красно-зеленые бумажные шарики на палочках, справа две цыганки, торговавшие шарами, ссорились из-за шаров. Вернее, из-за жалкой синенькой шкурки, которую можно надуть, и она станет синим шаром. Они тянули шкурку в разные стороны, дергали то одна, то другая, словно пилили:

— Это мой шар!

— Нет, не твой!

— Это не твой шар!

— Нет, это мой!

Шкурка лопнула. Нет шара.

И тогда они ссорились из-за места: чье оно, кто из двух первый пришел и кто раньше его занял. И тоже не могли договориться.

Колонны шли и шли. Тоне очень захотелось идти со всеми вот в такой колонне. Может, нести что-нибудь, а может, петь. Но главное, идти в колонне. Тут, правда, все незнакомые люди. И Тоня колебалась. Вот сделает шаг — и она уже в колонне и идет со всеми. И она не делала шага. И сердце колотилось от этого часто-часто. Только шаг...

Трень-бом-динь! — словно где-то далеко зазвенел колокольчик — и Тоня уже в шеренге и идет со всеми. Никто не удивился и не спросил ничего. Она шла с этими многими незнакомыми людьми, и от этого что-то прыгало внутри радостное, щенячье, и ей самой хотелось прыгать. Но Тоня не прыгала.

И тут сбоку, обгоняя колонну, прошел очень серьезный солдат... и было с ним что-то удивительное! На голове был шлем с наушниками, за плечами металлический ящик (сразу видно, сложный-сложный аппарат), а от ящика вверх — железный прут, он торчал над головой. Солдат шел в таком виде, серьезный и важный, и был он как человек, на которого смотрят: ничего не видел вокруг. Он прошел, как не из этого мира, погруженный во что-то, сбоку колонны, обгоняя. Трень-бом-динь! — прозвенело где-то внутри Тони и в то же время словно издалека, и она тоже обгоняет колонну сбоку, следом за солдатом.

Она с трудом попевала за ним, сталкиваясь с демонстрантами, обгоняя их и боясь почему-то, что он ее заметит. Так они двигались некоторое время вдоль колонны, как вдруг солдат свернул на боковую улицу. Она была безлюдна, а после такого многолюдья казалась особенно пустой и тихой. Солнце делило улицу вдоль: одна сторона была залита им, на другой — уступами — резкие тени. Они шли по теневой, и странной казалась другая — светлая, и пустыньность, и тишина, и флаги от дома к дому — тоже казались странными. Солдат стал переходить на солнечную сторону и вдруг заметил метнувшуюся за ним Тоню. Он приостановился — и Тоня остановилась, не зная, куда деться на этой пустой улице и что теперь будет. «Что тебе, девочка?» — сказал солдат и отогнул один из наушников. Тоня молчала. Солдат засмеялся и полез в карман. Достал что-то, повертел в руках. «На», — протянул он Тоне. Тоня отступила

и недоверчиво на него посмотрела. «На же, бери, — еще раз сказал солдат и шагнул к ней. — Это твои волосы». Тоня испугалась и машинально взяла, все еще глядя ему в лицо. За его головой колебался железный прут. Солдат засмеялся и пошел. Тоня посмотрела, что у нее в руке. Это была маленькая катушка с рыжей проволокой, тоненькой, как волосок, и шелковистой. Тоня подняла голову и искала глазами солдата. Он уже был довольно далеко и тут свернул в подворотню большого серого дома. У самой подворотни он обернулся, увидел Тонию и помахал ей рукой, а издали — словно поманил. И скрылся. Тоня медленно подошла к дому. В подворотне были громоздкие деревянные ворота, сплошные, пригнанные. Тоня стояла и разглядывала их. Она видела полоску посередине, где разделялись створки, и прямоугольник внизу одной из створок (наверно, туда и скрылся солдат). И тут в другой створке откинулось маленькое окошко, и оттуда выглянул кто-то и сказал: «А тебе что тут надо? Проходи, пацанка, проходи...»

Тоня испугалась и побежала, свернула в какую-то из улиц, и еще раз, и перешла на шаг. Совсем успокоилась и шла по какой-то незнакомой улице, и слева был парк за красивой решеткой, а справа очень длинное здание с белыми колоннами, а впереди купол церкви, и ни одного разрушенного здания не было на этой улице. И ни одного человека. Тоня шла, зажав катушку в кулак и поглаживала одним пальцем шелковую проволоку. Она шла и не узнавала этих мест. Она пыталась представить, в какой стороне находится их улица, по которой она шла с колонной и на которой стоит их дом. И это ей не очень удавалось.

И может, вовсе это не ее город, такой солнечный, красивый и пустой. А другой, совсем другой... Волшебный. И тут случаются необыкновенные вещи! Такие, такие... Она никак не могла представить какие... И тогда из боковой улочки вышла женщина, на руках у нее был малыш, а выше... выше... на голубом небе — огромный (таких и не бывает даже!) красный шар. Трень-бом-динь! Трень-бом-динь! — настойчиво и где-то уж совсем рядом с Тоней зазвенел колокольчик. Шар... И золотой кораблик на нем. Шар натягивал ниточку в руках женщины и рвался вверх.

Трень-бом-динь! Трень-бом-динь!

Тоня и не заметила, как оказалась прямо перед женщиной с малышом и встала. Она и не видела их — она

видела только большой и такой круглый и прекрасный шар, а таких больших и не бывает вовсе. Женщина с малышом тоже остановилась. Так они стояли друг перед другом. «Что тебе, девочка?» — спросила женщина. Она была нарядная и красивая, меховая. «Шар...» — сказала Тоня.

— Как шар? — сказала меховая женщина. — Это наш с Люкой шар. Правда, Люка? — сказала она, боднув своего малыша носом. — Мы его купили. Он нам очень понравился, и мы его купили. — Она говорила уже не Тоне, а малышу: — Люка у нас очень любит такие шары... — Люка сидел на руках у меховой мамы, розовый и равнодушный, как китайский божок, и бессмысленно таращился на Тоню. — Так что, девочка, шар этот — наш. И нам с Люкой надо бежать, потому что сейчас вернется наш па-поч-ка... — И она, еще раз боднув равнодушного Люку носом, хотела уже идти дальше. Но Тоня все стояла перед ней, и — трень-бом-динь! — только самый большой на свете, самый круглый и самый красивый шар — только он один и был на свете.

— Что же ты, девочка? Пропусти нас... — недовольно протянула женщина и шагнула на Тоню.

— Тетенька! Тетенька! — закричала Тоня.

— Что, девочка? — строго сказала меховая тетенька.

— А где вы его достали? — сказала Тоня, и «его» почему-то произнесла шепотом.

— А это мы с Люкой сейчас тебе объясним, — вдруг смягчившись, сказала тетенька. — Это ты сейчас пойдешь по этой улице и свернешь по первой улице направо. Пойдешь по ней, а там совсем близко. Недлинный переулок. Не-длинный... Нет, он ничего себе. Это у него название такое. Там дом такой зеленый. Он один там такой зеленый. Ты сразу его увидишь. У него еще у ворот женщины такие каменные стоят. Вот, пройдешь во двор, и там, прямо, парадная. Третий этаж... А мы с Люкой побежали-побежали. Ух ты мое сокровище! — боднула она Люку и действительно побежала, но это только несколько шагов, а там пошла. И скрылась.

Тоня быстро и словно во сне нашла и не нашла — угадала и Недлинный переулок, и зеленый дом с белыми каменными женщинами и прошла во двор. Двор был страшный. Дом внутри был тоже зеленый, но темный, облупившийся. А в середине двора, огороженные круглой решеткой, кольцом росли большие старые деревья, и были они словно взявшись за руки. А в самой середи-

не был круглый фонтан, а в середине фонтана красивая белая птица. Тоня увидела прямо через сквер парадную и направилась через сквер. Там были скамейки, и они все были заняты. Тоня уже проходила в парадную, как услышала скрипучий голос: «Девочка! Девочка!» Тоня остановилась и обернулась. «Подойди сюда, девочка», — сказала старуха на одной из скамеек. Тоня вернулась. «Ты ведь пришла за воздушными шарами?» — сказала старуха и пристукнула клюкой. «Да», — сдавленно сказала Тоня, изумившись, откуда старуха могла узнать. «Будешь за мной», — сказала старуха. «И вам шар?» — удивилась Тоня. «Мы все здесь за шарами», — сказали люди на скамейках.

Тоня примостилась на деревянную жердочку, окружавшую газон. На газоне лежали прошлогодние бурые листья. Тоня не совсем понимала, что с ней происходит. Она осторожно покосилась на старуху. Та сидела, положив подбородок на клюку. Тоня увела взгляд. Ей было немного страшно. И уже точно, что — трень-бом-динь! — это не ее город, а изумрудный или еще какой-нибудь. И может, ей все это снится. Она еще раз покосилась на старуху. Старуха была на месте. Говорила что-то соседу. «Сейчас я что-нибудь узнаю...» — подумала Тоня и прислушалась.

— И вот дом горит, — говорила старуха, — а я все вверх-вниз, вверх-вниз. Вытаскиваю, что могу. А сын все не идет и не идет. А на улице темно уже. Только сугробы белеют. И дом горит... И тогда-то ОН и появился. Черный такой, мрачный... Я выношу — а ОН принимает. А сына все нет. А я старая, что я с НИМ сделаю? Я его боюсь. Что ему стоит? Я выношу — а ОН принимает. Так все и принял. А потом сын пришел, а ничего и не осталось: все ТОТ принял. Только один самовар и остался. Я его в сугроб сунула. Серебряный...

Трень-бом-динь...

«Все правда, — думает Тоня. — Так оно и есть».

— М-да, — говорит сосед. — Тяжелые были времена...

— А сейчас что? А сейчас что? — как-то звонко и скороговоркой напала старуха. — Вот шар — и тот тридцать рублей стоит!..

«Тридцать рублей!» — эта новость пронзила Тоню. Она как-то и не подумала об этом: таким все странным было вокруг.

Тридцать рублей!..



Тоня вскочила.

— Бабушка! Бабушка!

— Что, деточка?

— А Портовый проспект есть в этом городе?

— А как же, деточка. Совсем рядом. А что тебе?

— Ой, — обрадовалась Тоня, — я там живу!

— Странная девочка, не правда ли? — сказала старуха соседу. — Как выйдешь, деточка, так направо поверни и все иди и иди, все прямо и прямо. Там и будет твоя улица.

— Бабушка, а я успею? — встревоженно сказала Тоня.

— Куда успеешь?

— Я вернусь — шары еще будут?

— Вот уж не знаю, деточка. Этого я сказать тебе наверняка не могу. Не знаю. А ты бегом, бегом...

И Тоня побежала. И тоже очень легко нашла свою улицу. Да, это ее улица. Совсем такая. Народу было по-прежнему много, но колонн уже не было. До дома было еще довольно далеко. Тоня бежала — шар, шар! — и совсем уже еле дыша взлетела по лестнице.

Папы дома не было. В отчаянии Тоня опустилась на диван и тут же вскочила: она же не поспеет, опоздает... Помчалась на кухню. Там у плиты, распаренная и сердитая, возилась Марья Карповна. Необъятная, она с легкостью носилась по кухне, ожесточенно громыхла мисками и кастрюлями, словно те были живыми и на них можно было сердиться. И рук ее почти было не разглядеть, так они мелькали.

— А тебе что тут надо? Уходи, уходи... — не переставая мелькать, буркнула Марья Карповна.

— Тетя Мария, дайте мне, пожалуйста, — жалобно растягивая слова, говорила Тоня, — папы нет дома, вечером он вам отдаст, дайте, пожалуйста... Ну честное слово, папа бы мне наверняка купил, только дома его нет.

— И ходят, и ходят... Чего тебе?

— Дайте мне тридцать рублей до вечера...

— Тридцать рублей! Ишь чего захотела. Так вот вдруг возьми и дай какой-то девчонке... — говорила Марья Карповна, шлепая тесто красными и пухлыми руками. — А зачем тебе?

— Шар такой!.. — сказала Тоня и взмахнула руками какой.

— Воздушный, что ли?

— Ну да,— уже обрадовавшись, сказала Тоня.

— И это тридцать рублей за воздушный шарик!— ужаснулась Марья Карповна.— Тридцать рублей, шутка сказать, дерут-то как! Тридцать рублей-то еще заработать надо... Деньги-то какие!..

— Ну тетенька Марья... Папа вам вечером отдаст.

— Вечером, говоришь? Да и то, какие ж это сейчас деньги!.. Два мороженных — и все деньги... Э-эх...

Она обтерла руки о фартук и вразвалку проковыляла к себе в комнату. Вернулась с красненькой.

— И то ведь ребенку радость,— говорила она, разглядывая тридцатку.— Праздник ведь... Как же тебя не побаловать, сирота моя несчастная... Ой, горит! Ах ты господи!— бросилась она к плите, потом к Тоне:— На, хватай да беги, пока не раздумала... Ох ты господи, праздник!..— рычала Марья Карповна, хватаясь за горячую кастрюлю и с грохотом сбрасывая крышку.

А Тоня уже мчалась по Портовому проспекту, сжимая в кулаке тридцатку, обегая, протискиваясь, проскальзывая, мелькая рыжей головой.

Зеленый дом. Большие белые женщины. Круглый скверик во дворе. И в скверике никого нет. И старухи нет. «Опоздала, опоздала...» — стучала кровь в голове. Тоня взлетела на третий этаж. Хорошо еще, что сразу ясно, какая дверь. Одна всего. Другая заколочена.

С налету Тоня позвонила. И тут же испугалась. Позвонить в незнакомую дверь — раньше она постеснялась бы, а может, и не решилась вовсе. Тоня еще не отдышалась, и сердце стучало на всю площадку.

Дверь долго не открывали.

Открыла ее полная, дряблая женщина, еще не старая и удивительно белая. Все у нее было вниз: и щеки, и фигура. Казалось, она стекала вниз. Она была растрепанная, запыхавшаяся и белая-белая.

— Что тебе?— спросила она грубо.

— Шар... У вас шары?— сказала Тоня и разжала кулак с побелевшими пальцами.— Вот.

Так она стояла перед большой белой женщиной, держа перед собой на ладошке красненький комок.

Женщина смерила это все: и Тоню, и комок.

— Нет здесь никаких таких шаров!— сказала она и захлопнула дверь.

У Тони немного закружилась голова, все поплыло куда-то вправо, вправо. Что-то внутри с замиранием ухнуло вниз, как в лифте. Тоня ухватилась за перила.

Потом из белого тумана выплыли, в обратном порядке, чем исчезали: перила, лестница, потолок, площадка, дверь и звонок на двери. «А как же шар? Самый большой на свете... Самый круглый... самый красный... и золотой на нем кораблик?»

Шара не было. Но его не могло не быть. Это Тоня понимала. И не сходила с места.

Так она простояла около часа. Какие-то люди спускались и поднимались по лестнице, и Тоня отворачивалась от них в сторону. Она хотела еще раз позвонить, но не могла. И только смотрела на узкую щель почтового ящика и в его пять дырочек внизу и тихо приговаривала: «Вот сейчас... откроется... Раз, два, три... Три-и-и... Вот сейчас...» Она достала из кармана катушку, погладила шелковую проволоку и с замедлением: «Ра-а-аз... два-а-а-а...»

За дверью послышался смех, и она распахнулась. Подбранная и веселая, появилась та самая большая белая женщина с мусорным ведром.

— Ты все еще здесь, девочка? — сказала она уже значительно мягче. — Шаров нет. Они были, но все уже кончились. Ты иди домой, иди...

И она стала спускаться.

Тоня не верила. Она гладила шелковую проволоку и уже знала, что шара не может не быть. Когда женщина поднялась с пустым ведром и увидела Тоню на том же месте и встретилась с ней взглядом, она вдруг побелела еще больше и левая щека у нее запрыгала.

— И ты все стоишь?.. — сказала она. — Да я бы сейчас для тебя хоть десять сделала... Но нету. Ах ты бедная моя... Ну что мне с тобой делать? Ах ты господи!! — вдруг вскрикнула она. — Ведь есть же один, есть! Только с брачком... Бочок у него подгорел... Да ты подожди, я сейчас, сейчас... Мигом. Только надую. Газ еще остался. Ты подожди...

И торопливо она исчезла за дверью и дверь оставила полуоткрытой.

Трень-бом-динь! Трень-бом-динь! — приближался издали звон колокольчика. Ближе, ближе. Что-то разрывалось в Тоне, распирало, и она всхлинула.

И появилась женщина, неся перед собой огромный красный шар. А вот и золотой кораблик...

Трень-бом-динь!

Тоня, ничего не видя, шагнула с вытянутыми вперед руками и взялась за веревочку.

Женщина улыбалась.

— Бери, милая, бери...

Тоня протянула на ладошке красненький комоч.

Радость исчезла с лица женщины. Какие-то тени прошмыгнули по ее опущенному лицу. Все это в одну секунду. Она взяла Тонину тридцатку и, не поднимая глаз, тихо ускользнула за дверь.

Тоня спускалась. Трень-бом-динь! — звенело в ней. Трень-бом-динь! Она смотала шнурок и взяла шар руками с двух боков. Еле хватило рук обхватывать его. Она слегка сжимала шар и чувствовала под ладошками его, упругого, почти живого. Она слегка нажимала на шар пальцами, всеми пятью по очереди, словно играя гамму, и трень-бом-динь, трень-бом-динь!

Потом она увидела, что шар не такой уж круглый: в одном месте он был словно перетянут ниточкой. И большое рыжее пятно было с одного его боку. Но все это было ничтожно и не смогло ее омрачить. Трень-бом-динь! — это ее огромный красный шар и золотой на нем кораблик!

Она шла по своей улице, улыбалась и ничего не видела вокруг. Шар натягивал шнурок, и, когда она поднимала голову, он плыл над ней, огромный и красный на голубом небе.

— Где это тебе, девочка, достали такой прекрасный шар? — спрашивали ее.

— Это я сама достала, — говорила она.

— Так где же? — говорили ей.

— Там уже нет, — говорила она.

Вот и ее дом. Вот и садик, из которого она вышла утром. В садике на нее со всех концов налетели мальчишки.

«Лиса! Лиса Патрикеевна явилась!» — закричали они. И вдруг замолчали. Может, тоже услышали трень-бом-динь? Тоня стояла в центре, и ее распирала гордость.

«Где ты его раздобыла?» — тихо и восхищенно сказал один. «В Недлинном переулке», — сказала Тоня. «В Недлинном! В Недлинном! — заулюлюкали вдруг ребята. — Может, в Некоротком? Может, в Нешироком? Может, в Продолговатом?!» — закричали они и запрыгали, загалдели вокруг. Кто-то подпрыгнул и ущипнул шар. Резина пискнула у него под пальцами. Тоня вдруг поняла, что сейчас произойдет, побледнела и отшатнулась. Но сзади тоже были мальчишки. Они тоже прыга-

ли и улюлюкали и хотели ухватить шар. Тоня вытягивала руку с шаром вверх и приподымалась на цыпочки. «Не надо, не надо! — кричала она. — Это мой шар! Мой! Нельзя, не надо!» Но кто-то уже схватил ее за рукав, кто-то дергал за косу. «Лиса! Лиса!» — кричали они. Тоне стало страшно, жутко. Рука, которую она вытянула с шаром, ныла. И тут Тоня почувствовала, что сжимает что-то в кулаке другой руки. Катушка! «Я вам лучше вот что отдам! Это лучше... Это гораздо лучше!» — сказала она и протянула им катушку с рыжей проволокой. Все с криком бросились на катушку. Тоне чуть не вырвали руку. Но она уже бежала вон, вон из садика — с шаром, с шаром. Он был цел, цел! Она взбежала на свою площадку, задыхаясь, и ключ не лез в скважину, и мешал шар.

Сверху спускалась Элеонора Леонидовна с сыном. Сын закричал: «Шар! Хочу-у!»

— Это девочкин шар, — сказала ему Элеонора Леонидовна. — Разве ты не видишь? Тонечка, — пропела она, — где это тебе достали такой прекрасный шар?

— Это я сама достала, — сказала Тоня. — И там уже нет.

«Хочу-у! Хочу-у!» — монотонно и равнодушно гудел сын.

— Замолчи, замолчи, — сказала Элеонора Леонидовна сыну. — Ты, Тонечка, скажи где, а мы, может, завтра сходим...

— В Недлинном переулке, а дома номера не помню и квартиры тоже, — сказала Тоня и засмеялась.

— Не шути, не шути, девочка, — сказала Элеонора Леонидовна, — я все-таки как-никак постарше тебя.

— Нет, серьезно в Недлинном. Он ничего себе, только название у него такое. А дом зеленый с большими белыми тетями, и внутри садик, и там фонтан с птицей.

— Нехорошо, девочка, — сказала Элеонора Леонидовна и начала спускаться по лестнице.

Тоня справилась с дверью и, обняв шар, внесла его в квартиру. Все, теперь он в безопасности. Марья Карповна, уже совсем вареная, высунулась из кухни.

— А, вот он, голубчик! — сказала она. — Что же это он подгорел с одной стороны? И вот там... — она посмотрела на Тоню. — Ах, и до чего же прекрасный у тебя шар! — сказала она тогда. — Самый лучший... Я таких и не видывала.

Тоня, обнимая шар, осторожно открыла дверь своей комнаты и вошла. Папы еще не было. Она придавила шнурок утюгом посредине круглого стола, зажгла свет. Шар натянул шнурок и покачивался в центре комнаты, огромный и красный. Треть-бом-динь! — невиданный цветок.

Тоня маршировала вокруг стола, высоко задирая руки и ноги, и пела.

А показать некому: папы все нет и нет.

Комната у них с папой была узенькая и маленькая, и Тоне вдруг показалось, что для шара в ней мало воздуха. Такой он был огромный, этот шар. Она открыла окно, привязала шнурок к шпингалету и выпустила шар на улицу.

За окном он был как флаг. «Теперь тебе хватит воздуха», — сказала Тоня и села на диван. И тут почувствовала, как она устала.

Надо только дождаться и показать... Она сидела и иногда посматривала в окно. За окном покачивался шар, и был он самый большой и круглый в мире.

Тоня совсем уже клевала носом, когда пришел папа.

Он вошел грустный и усталый и сел с ней рядом.

— Как хорошо дома!.. — сказал он.

А Тоня посмотрела в окно — шар! И вся радость, задремавшая вместе с ней, проснулась, и оттого, что есть с кем поделиться, возросла вдвое. И она рассказывала, рассказывала...

— Вот и все, — сказала она.

— Ах ты мой флажок, — сказал папа и погладил ее по голове. — Это самый замечательный шар, какой я видел в своей жизни.

И Тоня уснула, и снилось ей, как в детдоме ей пришла посылка от мамы. И были там красные штаны. Мама думала, что Тоня все такая же толстая, да еще и выросла за два года, и штаны оказались Тоне очень велики. Они висели ниже колен и торчали из-под юбки. И Тоня шагу не могла ступить из-за этих проклятых индюков. Вот она идет, а они, грозно шипя, медленно отделяются от заборов, и все ближе, и их все больше, со всей улицы. И такие гадкие птицы вытягивают свои голые шеи, и трясутся их противные красные клювы, тянутся к ее штанам. И шипят они все громче и противней. И Тоня бежит. И они бегут за ней, хватают ее за штаны и больно щиплют за ноги. И шипят. А она не может быстрее — сползают штаны...

И вот они, эти индюки, они же мальчишки с ее дво-  
ра, они же две цыганки, клюют, прыгают, рвут ее самый  
большой и самый красный шар.

«Нет! Нет!» — кричит Тоня и просыпается. В испуге  
смотрит в окно.

Трень-бом-динь!

Папа сидит рядом и смотрит на Тоню. И папа улы-  
бается ей.

И Тоня вдруг вспоминает то, что все время хотела  
у него спросить.

— Папа, ты знаешь, где Недлинный переулок?

— Нет, Антон, не знаю.

— И никогда не слышал о нем?

— Нет... А зачем тебе?

Тоня смотрит в окно — и вдруг улыбается. Тому, что  
знает только она...

Трень-бом-динь!

1961

## НО-ГА

*Г. Горбовскому*

— Ну, Заяц, ты идешь с нами или не идешь?..

Второклассник Зайцев колебался.

Сегодня папин день рождения, и мама сказала: «Как  
придешь из школы, сразу садись за уроки, потом при-  
берись и все сделай очень хорошо до того, как папа вер-  
нется с работы. Это будет лучший подарок».

День рождения отца — это Зайцев понимал. Но пе-  
ред ним, серьезные, сомкнутые, стояли ребята, молча  
ждали и словно испытывали его.

...Уже три месяца — как вернулся из эвакуации  
и пошел в школу — Зайцев выходил со всеми после  
уроков, и все разделялись на группы и расходились  
группами, а эти двое всегда шли в сторону, в которую не  
ходил никто, а Зайцев оставался один и шел один.  
Портфель становился тяжелым и чужим, и Зайцеву бы-  
ло тосливо.

Он всегда ждал дружбы, и она не удавалась, как-то  
он не был нужен, а в его возрасте это уже стало важнее  
всего. Надо было что-то предпринять, и Зайцев выбрал  
этих двух. Он старался им услужить, заискивал, отда-

вал им свой завтрак и папиросы. Они пожимали плечами и равнодушно забирали дары. Зайцев терпел.

И вот сегодня они долго шептались вдвоем в раздевалке, а он стоял в сторонке и с безразличным видом стучал себя портфелем по коленкам. Сердце колотилось. Зайцев не помнил и не думал в тот момент ни о чем — только ждал.

В подвале раздевалки пахло сыростью и стояла большая лужа. Раздевалка была недавно бомбоубежищем. Кто-то, проходя, выбил у Зайцева портфель, и портфель упал в лужу. Пока Зайцев понял, что произошло, обидчика уже не было. Зайцев оттирал портфель, глотая обиду, мысленно убивал противника с одного удара в висок, когда услышал:

— Ну что ж, мы тебя берем, Заяц.

Обида исчезла, и что-то запрыгало внутри от радости. И тут же, тенью — воспоминание о доме и об этом дне рождения. Он вспомнил и остановился у подъезда школы. А те двое прошли вперед и тоже остановились, выжидая...

— Ну, Заяц, ты идешь с нами или не идешь?

И они, серьезные, сомкнутые, повернулись и пошли. И он снова был оттеснен, как в игре, как в столовой, как в раздевалке, как... он всегда был так несчастлив от этого! Какими ловкими и смелыми казались ему все, кроме него... Как он завидовал и как ненавидел себя. Сегодня была первая надежда на то, что с этим могло быть покончено. Завтра уже ничего не может быть. И надо же, чтобы все так совпало! Что стоило отцу родиться завтра?..

А они шли, удалялись, и Зайцева уже не существовало для них...

И он нагнал их.

...Теперь они шли вместе, но он шел последним. Снег забивался в ботинки и там таял, а его папины кальсоны опять развязались, и их отяжелевшие тесемки попадали под ботинки. Зайцев спотыкался, но остановиться и перевязать не мог, потому что не хотел и даже боялся отстать. От радости и возбуждения ему все еще спирало горло. Они шли между неровными снежными кучами, из которых выглядывал битый кирпич, штукатурка и щепы. Первый обернулся и сказал:

— Тут был дом, и в нем жил вампир. Не знаешь?



— Не-ет,— протянул Зайцев и стал вглядываться в кирпич, но там ничего не было, кирпич был красный и серый.

— Онпил кровь,— сказал первый.

Зайцев наступил на тесемку кальсон, и она обрвалась.

Они пролезли под колючей проволокой. За ней был сад. Тут не было мусора, был ровный снег, и, редкие, отдельные, стояли старые деревья. А Зайцев никогда и не слышал, что в нескольких шагах от школы и ес двора, за кучами, был сад, чистый белоснежный сад, с черными деревьями. И прошли-то они совсем немного, но уже не было видно куч и проволоки тоже видно не было. Вокруг, редкие, стояли деревья, все было белым, и снег, и небо, и небо было в двух шагах, вокруг. Нигде не было краев и границ, и было очень тихо. Они тихо проваливались в снег, трое, гуськом. И тихо отлетал ото рта пар, такой же белый, как небо. Было тепло и сыро.

Тогда перед ними появился круглый пруд с круглым островом посредине. На острове, вкруг, подступая к самой воде, стояли те же деревья. Кольцо черной воды было разорвано белыми льдинами. Тут же оказался шест, и сначала первые двое, а затем Зайцев, как во сне,— они стояли на льдине, один с шестом — отталкивались и плыли к острову. Льдина немного ушла под ними в воду, и ботинки стали мокрые совсем. Зайцеву показалось, что плыли они долго — на самом деле они оттолкнулись один раз и уже стояли на берегу. И остров был островок, а за деревьями в центре островка был холм. Они обошли кругом, холм был холмик, а один забрался наверх, и они обнаружили в холме проем, занесенный снегом. Они разгребали снег руками, спеша и задыхаясь, руки их горели, а покраснели так, что, когда они перестали копать, Зайцеву померещилось, что руки в крови, он вспомнил про вампира, но с них стекала просто талая вода. Под снегом показалась дверь, но она была закрыта на засов, а на засове висел большой замок, и все это очень проржавело. Руки стали красно-рыжими, но замок не открылся. Они замаскировали проем снегом и сговорились прийти сюда завтра с инструментом.

За прудом открылось заснеженное голое и ровное пространство, а за ним, слева, какое-то большое ступенчатое строение, тоже занесенное.

— Стадион,— сказал один.

— Трибуны,— сказал другой.

Все это были очень неизвестные Зайцеву вещи, он смотрел во все глаза. Они обошли трибуны — трибуны оказались высотой с двухэтажный дом. Вся задняя стена была расковырена, и доски во многих местах оторваны. Тут снова были словно бы развалины и кучи. Непонятные сетчатые высокие загородки были рядом. Они стояли ржавые и рваные, с большими неровными дырками, на которых сетка обвисала вниз, как тряпка. Там, где сетка была целой, в одной из ячеек застряла дохлая ворона.

— Клетки,— сказал Зайцев.

— Дурак, это корт,— сказали они.

Они пролезли в пролом и очутились под трибунами. Тут было темно и пахло плесенью.

— Тихо! — громким шепотом сказал первый.

Несколько шагов они прошли согнувшись, почти ползком, хотя тут и было очень просторно. Сердце колотилось, Зайцев крался следом, ловко и бесшумно, зорко вглядываясь в темноту, и вдруг уперся в чей-то живот. Поднял глаза — оба стояли выпрямившись и смотрели на него.

— Есть папиросы? — громко спросил первый.

Зайцев тоже выпрямился и полез в карман.

Они курили, пряча в кулак огоньки. В щелях между ступенями был виден снег, и лепешки его лежали на земле под ступенями трибун. Тут же была масса всякого хлама: куча каких-то опилок, обрывки фанеры и толя. На столбе прямо перед носом было выцарапано: «Нинка, приходи в восемь». Зайцев вспомнил подвал в его доме, как его послали туда за дровами и как он наткнулся... А потом пятился. «Извиняюсь,— говорил он тогда,— извиняюсь...» Воспоминание было страшным и сладковатым.

— Идите сюда, идите! — услышал он.

Сердце ухнуло вниз, и Зайцев побежал на крик.

Там стоял первый, и перед ним, сваленные большой кучей, лежали противогазы.

Некоторое время они стояли молча, окаменев.

— Сколько рогаток! — восхищенно сказал один, и тогда они набросились на кучу. Они распаковывали сумки и пытались натянуть маски на голову. Резина была серая, с большими пятнами плесени. Маски не расклеивались и рвались при попытке надеть.

— Да уж рогатки... — сказал один. — Гнилье.

Но вот, в глубине кучи, стали попадаться и более приличные маски. Правда, где-нибудь они лопались, но на голове держались. Когда это удалось первому — это было удивительно и странно на него смотреть: такой маленький серый слон в темном сарае.

— Хобот, хобот! — закричали они.

Тогда тот, в противогазе, стал неуклюже прыгать, растопырив руки. На это уже было невозможно смотреть — так смешно. Но ему надоело прыгать: тяжелая банка болталась на кишке и била по ногам. Он внезапно сел, словно упал, и стал отковыривать банку. Тогда и они нашли подходящие маски и тоже надели. Теперь первый тыкал в их сторону пальцем и сидя раскачивался взад и вперед. Нелепое болботанье было слышно из-под маски. Он смеялся. И все они, открутив банки, прыгали, и хоботы их раскачивались.

И тут первый, сорвав маску, весь красный, закричал:

— Слоны! Мы — слоны!

И стал раскручивать кишку над головой. От этого шуршал воздух.

И все сорвали маски — и тогда все кончилось: противогазы были пережиты. Пережиты, как дверь на острове. Но тут первый...

— Мы будем кататься! — воскликнул он.

— Как? — сказали они.

— По столбам!

Они прошли под трибунами и вскоре обнаружили лестницу. Вскрабкавшись по ней, они очутились на полке из двух досок. Отсюда, под углом, уходили вниз гладкие круглые столбы. Первый, ловко перекинув ногу, очутился верхом на столбе. Так он сидел, крепко обняв руками и ногами столб. Потом слегка разжал и быстро и плавно соскользнул до самого низа. За ним — второй.

Зайцев остался последним. Посмотрел вниз — что-то замерло внутри.

— Давай! Давай! — кричали внизу ребята. А первый уже карабкался по лестнице, и вот он рядом.

— Трусишь?

Ничего не оставалось. Зайцев перелез и судорожно сжал столб. Попытался устроиться поудобнее — и вдруг поехал вниз. Быстрее, быстрее. И вот он внизу — ему стало весело. Это оказалось так просто! Что-то припрыгивало внутри. Съехали остальные, и он первый снова полез наверх.

Теперь-то он съедет! Лучше всех. Он смело перекинул ногу и сел на бревно. И тут же понял, что сидит он плохо. Его кренит все сильнее, и он судорожно сжимает бревно, но все съезжает, съезжает на сторону. И тут — один миг — и он висит на руках, ноги болтаются — и он летит.

Он подвернул ногу, когда падал, — это было очень больно. Но заплакал он от досады, что свалился, — не от боли. Сверху, придерживаясь за столб, смотрели ребята. Он сидел, обхватив ногу, раскачивался — баюкал ногу. На ребят он старался не смотреть — стыдился. Они съехали вниз.

— Что с тобой? — сказал первый.

Он хотел вскочить, сказать: ничего, ничего страшного. Вскочил — чуть не закричал от боли.

— Б-больно, — только и сумел сказать он.

— Ну вот, — сказал второй.

— Я же говорил, — сказал первый, — не надо было брать его с собой.

— Тюфяк, — сказал второй.

Это было невозможно слышать, да и боль вдруг стала таять.

— Это пустяки, — сказал Зайцев. Ему было стыдно, и он не смотрел на товарищей. Слезы всегда его подвигали. От боли ведь он никогда не плакал. Только от обиды. Будто не он сам, а кто-то в нем плакал.

Не глядя на товарищей, он повернулся и направился к лестнице.

— Опять упадет, — сказал первый.

— Не-е, — сказал Зайцев, — теперь не упаду. Упасть — ведь это пустяки.

Теперь все шло благополучно. Он съезжал и съезжал, и легкое замирание внутри, перед ним скользило гладкое, полированное бревно, и удалялись стоявшие наверху ребята. Он забирался и забирался по лестнице, и это было гораздо дольше, чем миг полета. Так они катались, и сначала он чувствовал себя как во сне, потом — словно бы сон стал явью, потом летчиком, потом акробатом, и наконец это стало просто скучным занятием: ничего сложного, увлекательного или опасного в этом уже не было, а карабкаться каждый раз по лестнице — надоело. К тому же на лестнице он уже стал чувствовать боль в ноге: сначала слабую, потом сильнее.

Мысль о том, что, наверно, уже поздно, шевельнулась в нем, и чем больше приедалось катание и сильнее

болела нога, тем настойчивей стучалась мысль о доме, что родители волнуются и папин день рождения, он не сделал уроки и перемазал пальто, — чувство вины. И ощущение неизбежности расплаты за всю эту свободу — все росло. Но он не мог первый сказать, что пора возвращаться, и потому, что боялся новых насмешек, и потому, что ненавидел себя за все это, как за слабость, — боялся проявить ее. И потом, так здорово было все, что произошло сегодня, ему хотелось удержать это — но это уходило и таяло. И все мучительней стучалась мысль о доме, жалко маму, и папа, который сердится и будет кричать и, может, стукнет, а потом заплачет от этого.

И нога болела довольно сильно. Но ребята словно бы не замечали, и он, уже отчаявшись, все лез и лез по лестнице и съезжал вниз и вниз, уже молча.

Но и ребята уже не были возбуждены и тоже молчали.

И вдруг первый сказал, словно бы через силу:

— Ну, хватит.

Все сразу оживились и заговорили, и снова все стало необычным и радостным...

Когда они выбрались из-под трибун, то увидели, что сильно стемнело. Белое стало серым и сгущалось на глазах. Все стало ощутимо: и позднее время, голод и усталость, и промокшие ноги стыли.

Теперь Зайцев увидел, что и товарищи его обеспокоены тем же, чем он. Это его подбодрило. Они пошли, но не тем путем, что шли из школы, а в обход трибун, к белешему вдали зданию: там, как говорил первый, была улица, а по ней уже легко добраться докуда угодно.

— А как же мне дойти до Аптекарского? — спросил Зайцев.

— Дурак, мы и выйдем на Аптекарский, — сказал первый.

— Это нам переть, а тебе прямо домой, — с досадой сказал второй.

— Не знать, где собственная улица! — сказал первый. — Это же надо!

Они шли впереди, а Зайцев хромал сзади. Если сначала идти было еще ничего — боль была только ноющей, тающей, — то теперь это было уже очень тяжело. Он старался не наступать на больную ногу, но это никак не удавалось. Его даже удивляло, что никак не шагнуть только одной, здоровой, ногой. Одной — и снова ею. Вот ведь как странно: одна нога вперед и другая вперед —

это уже два шага... А если один шаг и один шаг?.. Все как-то путалось. Он никак не мог понять, почему ему не удается идти одной ногой. Вдруг получилось. Но это было тоже не то. Он подтаскивал больную, а шаг делал здоровой. Это было не то, но так было легче. Так он шел некоторое время, пока не стало так же больно, пока он снова не задумался, как же идти одной ногой. Он вдруг запутался, как же ему идти, бессмысленно передернул ногами, словно желая попасть с кем-то в ногу, — и сделал полный шаг больной ногой.

Когда он очнулся, то стоял около белого дома, который видел вдали еще у трибун. Было совсем темно, и ребят рядом не было. Ничего вроде не болело. Он стоял на одной ноге. Надо было шагнуть, ведь больно не было, но он боялся делать шаг. Он просто не представлял, что сможет его сделать. Вроде бы не знал, как это сделать. Он попытался было перенести тяжесть на больную ногу — вся боль вернулась. словно бы стало светлее — так это было больно. Как же, как же... подумал он и вдруг понял, что он один. А где же они? Они ведь не могли?.. «Эй! Эй!» — закричал он и сам удивился, как жалобно это у него получилось. «Ребята! Послушайте!» — закричал он как можно бодрее, даже весело.

Тут из темноты выплыли две фигуры. Сначала первый, потом второй... У первого было надутое, злое лицо.

— Ну что? Хнычешь? — сказал он.

— Ребята, — сказал Зайцев, и ему показалось, что сказал он удивительно просто и браво, — нога-то что-то того...

— Распустил нюни — смотри, прыгают, — сказал первый. — Заплачь мне еще, гогочка...

У второго было жалобное лицо.

— Поздно уже... — вдруг заныл он. — Все из-за тебя.

— Возись тут с тобой, — сказал первый. — Давно были бы дома. — И шепнул что-то на ухо второму.

— Ну, ты так и будешь тут стоять? Мы тебя ждать не намерены.

— Я пойду, пойду. Сейчас пойду, — сказал Зайцев. — Вы только не уходите...

Ну же, нога... Ну шагни. Ну пожалуйста, подумал он. И вдруг шагнул. У него потемнело, но это быстро прошло. И он сделал еще шаг.

— Давай, давай, — оборачивался первый.

Нога, ну что тебе стоит? Осталось ведь совсем немного. Не подводи меня. Ребят постыдись... Ну же!

Так он шагал, все время одной ногой, больную подтаскивал за собой. Ребята то уходили вперед и исчезали, то он видел их прямо перед собой, ждущих, переминающихся. Когда он подходил вплотную, первый говорил ему что-нибудь:

— Ну, помедленнее не можешь, а?

А второй стучал зубами и ныл:

— Зам-мерз... Попаде-ет...

И они снова уходили вперед.

Когда он опять увидел их перед собой — это была арка. Две большие каменные тумбы стояли с двух сторон, и было светло. Странный фонарь висел под аркой и раскачивался чуть-чуть. Впереди была пустынная улица, и фонари на ней горели через один.

— Ну вот, — сказал первый.

— Ты уже дома, а нам еще идти далеко-о-о, — сказал второй, и жалобное его «о-о» показалось бесконечным.

Зайцев понял, что остается один.

— А как же мне пройти на мою улицу? — сказал он, стараясь как можно спокойней.

— А это и есть твоя улица, — сказал первый.

— Моя?..

— Тьфу, черт!.. Твоя — а то чья же? Аптекарский ведь.

— Да... — сказал Зайцев. — А мой дом?

— Туда, — махнул рукой первый. — Ты тут доберешься... — Это он уже сказал глухо и неясно и еще что-то добавил, совсем уж неразборчиво.

Их не стало. Они перебежали улицу — и вот их нет.

Зайцев обернулся и удивился: белый дом был в двух шагах. Посмотрел на улицу: это Аптекарский проспект? Его он не узнавал. Название показалось ему странным. Почему — Аптекарский? Аптек на нем не было. Может, потому, что на Аптекарском острове? Но остров уж почему — Аптекарский!.. Правда, лекарством тут действительно пахло. Откуда?.. На той стороне темнели дома, окна их не горели. Выше фонарей дома уже сливались с ночью. По его стороне была высокая с капустами решетка, она уходила вдаль и не кончалась, сколько он видел.

Он почувствовал даже облегчение, когда ребята ушли. Теперь он ни от кого не зависит. Он знает дорогу домой, и тут уже недалеко. Он прекрасно доберется сам. Еще и не так поздно. Скажет, что задержали в школе.

Сердиться долго они не будут, потому что гости. А он, конечно, не покажет виду. Никто и не заметит, что у него с ногой. Его пошлют спать, и он пойдет сразу же. И ляжет. Он будет лежать в своей постели. Ему будет легко и мягко. Будет смотреть на узор обоев. И тогда он уснет. А во сне, как всегда, все пройдет. А завтра он придет домой сразу после школы — никто и не вспомнит...

Вдруг он понял, что по-прежнему стоит на месте. «Что же это я?.. — сказал он себе. — Размечтался. Так я никогда не доберусь. Давно был бы дома. Что ж это я!»

И опять он поймал себя на том, что стоит на месте. Давно уже ругает себя — и стоит.

Ну, пошли... Ну давай, нога. Сделаем это вместе. Я пойду — и ты пойдешь. Очень тебя прошу...

Первый шаг почти лишил его сознания, но потом, как уже было около белого здания, все прояснилось и почти можно было идти. Во всяком случае, держась за решетку, он делал шаг за шагом.

Молодец, нога. Ты у меня очень хорошая нога. Ты изумительно прекрасная, любимая нога. Ты идешь вместе со мной. Не отстаешь, хотя тебе очень больно. Спасибо, нога.

Боль нарастала, но он уже понял, что останавливаться нельзя. И действительно, боль перестала вроде расти. Такая и оставалась.

Милая, славная, превосходная нога. Зачем ты так болишь? Ты нарочно? Ведь и тебе больно, не только мне? Неужели ты не понимаешь, что сегодня день папиного рождения и мы обязательно должны быть дома... Мы и так опаздываем. Неужели ты хочешь огорчить папу в день рождения? Не верю, ты прикидываешься злой... Неужели ты не хочешь поздравить его? Он к тебе всегда так хорошо относился. Нельзя быть такой неблагодарной. И я тоже всегда был с тобой: никогда тебя не бросал. А ты? Как ты отвечаешь на все это?! Как ты ведешь себя сегодня? Я тебя не узнаю. Моя ли ты нога? Ты чья-то чужая, не моя нога. У меня никогда не было такой паршивой ноги. Ты дрянная вонючая нога, и куда ты только дела мою хорошую ногу! Ты завидовала ей, и отравила ее, и потом сожгла в печке, потому что боялась меня. Но я тебя нашел... Вот как двину сейчас тобой о решетку — и дух из тебя вон!



Кривоногая нога  
захотела пирога,  
пирога с рисами,  
с тухлыми крысами!

Тухлая крыса — вот ты кто, а не нога ты мне вовсе. Вот погоди, только дотащу тебя домой... Знаешь, что с тобой будет?! Лучше тебе исправиться. Это ведь тебе нужно, не мне. Ты меня сама потом благодарить будешь. Будь хорошей, моя милая, любимая нога... Ну не боли, ну пожалуйста, не боли! Ну хочешь, я встану на колени. Ну не боли... Я подарю тебе три дворца — серебряный, золотой и бриллиантовый... Я тебе их все отдам. Там тебя будут кормить лучшими блюдами и винами! Неужели тебе мало всего этого?.. Славная нога, ты самая умная и сильная нога на свете, тебя все боятся, неужели ты не можешь пожалеть меня, маленького, жалкого раба? Я был груб с тобой, я очень виноват перед тобой. Ну извини меня, пожалуйста, моя величайшая и высочайшая нога! Я больше никогда не буду. Ты — огромная нога: ты больше этого дома. Ты так болишь, такая большая. Неужели тебе так трудно немного потерпеть? Посмотри, как много ты уже прошла! Теперь уже совсем не осталось ничего, а ты так плохо себя ведешь.

Пойми, я ведь не для себя прошу. Если бы не папин день рождения, разве бы я стал так к тебе приставать? Я ведь тебя никогда ни о чем не просил. А я тебя кормил, поил, обувал. Неужели ты так неблагодарна, любимая моя нога, и не сделаешь мне этого маленького одолжения? Которое ведь даже не для меня, а для моих старых бедных родителей, для которых я последняя опора... Они погибнут без меня, слабые и одинокие. Неужели тебе не жалко и ты позволишь им погибнуть? Ведь у тебя же доброе сердце, ты только делаешь вид, что ты злая, а на самом деле ты очень добрая, моя нога. Это только тот, кто тебя не знает, подумает, что ты злая и бессердечная. Я же тебя хорошо знаю... Ты же согласна? Просто самолюбие мешает тебе сознаться... Не боли, родная ноженька. Ради бога и Христа ради... Извини меня, я ведь не хотел тебя тогда обидеть. Ну иди, иди. Вот видишь, я узнаю уже нашу улицу. Вон, видишь, наш дом... Тут совсем близко. Просто я никогда в ту сторону не ходил и поэтому не узнал тогда улицу. А сейчас я ее узнаю. Ты ведь узнаешь ее, нога? Нам совсем остались пустяки. Так что ты дойдешь, тебе ведь

ничего не стоит сделать мне это одолжение... Я бы не стал тебя просить, но тут ведь нет никого, кто сделал бы это за тебя. Там были заводы, а вот — институт: тут никого не бывает вечером. Поэтому ты уж мне помоги сегодня, нога. Ты ведь меня не предашь, как эти... Мы казним их завтра. Они будут молить, ползать на коленях — по им не будет пощады. Мы скажем им: о чем же вы просите, совести у вас нет... Казнить вас — и только казнить.

Видишь, нога, лучше тебе не болеть, а идти. Ты думаешь, мне ничего не стоит умолять и просить тебя? Так знай, что и мое терпение может лопнуть. И тогда — держись! Если ты меня предашь, я все равно найду тебя. И сколько бы ты меня ни просила, я буду безжалостен. Потому что я ненавижу тебя, нога! Я готов разорвать зубами, искусать, растоптать, искрошить, растереть тебя в мелкий порошок. Я положу тебя в ступку и буду долбить пестиком. Так, чтобы тебе было больно-больно, жутко больно, как не бывает больно, как не может быть больно... Нога, хорошая моя, любимая, самая любимая из моих ног, ну вот ведь и дом.

Нам остался только двор и лестница... Ну будь доброй, дай мне пройти, как человеку...

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

...Он стоял в своей парадной, прислонившись к стене. Лампочка тут была выкручена, и было темно. Кое-какой свет пробивался с площадки второго этажа. Его этаж был третий. Подняться он уже не мог. Когда он прошел в парадную и понял, что уже дома, — идти стало невозможно. Он тихо подвывал и терся спиной о стену. Наверно, было уже очень поздно, потому что никто не ходил по лестнице.

Вдруг хлопнула входная дверь, он вздрогнул, открылась вторая — и в темной фигуре он узнал отца.

Он прижался к стене. В темноте его не было видно, и отец прошел мимо, не заметив. Медленно брел отец по лестнице, и его худая спина согнулась колесом. «Папа!» — хотел крикнуть мальчик, но не крикнул. И тогда острая жалость к себе и какое-то пронзительное и жалкое чувство к отцу появилось в нем. «Папа! Папочка!» — хотел крикнуть он и броситься. Но броситься он

не мог. И крикнуть. А отец все поднимался, медленно-медленно, и вдруг стал посреди марша. И так стоял, сутулый, не поворачиваясь и не идя вперед, долго. Свет второго этажа уже хорошо освещал его. Отец достал папиросу, чиркнул, нагнул голову к ладоням. Повернулся и стал спускаться. Спустился и остановился, глядя в сторону мальчика и не видя. Мальчик сжался. Сейчас он почему-то ничего не помнил, кроме наушников, которыми позавчера ударил его отец. Тогда они учились считать на счетах... Отец стоял, смотрел в его сторону, и лица его не было видно — только опущенные плечи.

— Кто тут? — сдавленно сказал отец.

Мальчик разрыдался.

— Ты? — сказал отец как-то удивленно-спокойно. —

А я ведь тебя ищу.

Он подошел вплотную и вдруг взвизгнул:

— Негодяй!

Как-то неуверенно и неловко, покачнувшись, ударил мальчика по щеке. Рука его сразу повисла, а губы запрыгали.

— Ты хоть о матери-то подумал?! Ну ладно, меня ты не любишь... я знаю... хотя в день рождения... Но мать!.. Неужели ты?.. — Он осекся и испуганно посмотрел на мальчика.

Мальчик закрылся локтем и зарыдал сильнее.

— Что с тобой?! Говори!! Что ты с собой сделал?!

— Но-га... — только и мог между всхлипами сказать мальчик.

Отец внес его по лестнице, открыл дверь. Все это было уже в тумане. И мама. Единственно, что ясно чувствовал, это прикосновение маминых рук и прохладу простынь.

Потом над ним склонялся одутловатый человек в белом халате и что-то делал с его ногой, прикручивал что-то. Было очень больно — и тогда он почувствовал на лбу слабое, жалкое, чуть дрожащее прикосновение руки отца. Он схватил эту руку — она была горячая, сухая, со вздутыми суставами пальцев — и прижал к щеке.

— Ты не сердись, папочка... — всхлипнул он. — Уроки я приготовил. Честное слово, папа...

Губы у отца запрыгали, и он отвернулся.

— Доктор... — сказал отец. — Что же это, доктор?..

## БЕЗДЕЛЬНИК

Руководитель сказал мне:

— Нет. Витя, так не пойдет. Так не годится. Не могу, Витя, понять, чем у вас голова забита. Вы производите впечатление такого солидного человека, а на поверку выходит что? Выходит вот что. Испытательный срок кончается? Кончается. А кончится — будет что? Будет фук? (Это он так шутит.) Так вот, слушайте меня внимательно...

Это он верно отметил. Впечатление такое я произвожу. Я произвожу очень много разных впечатлений. Солидного человека — тоже. Точно, какой я на самом деле, сказать не могу. Возьмем, скажем, зеркало. Ведь именно перед зеркалом мы понимаем, какими нас видят люди. Для того и смотримся. Я же редко узнаю себя в зеркале. То стою перед ним высокий и стройный, и лицо красивое, подтянутое, черты правильные и резкие, то невозможно толстая оладья — не понять вообще, есть ли эти черты. И не просто широкое, а безбрежное у меня иногда лицо, и сам я тогда коротенький и толстый. Одно время я думал, что только сам в этом путаюсь, а остальные видят меня объективно, с такими-то и такими-то определенными, именно мне присущими чертами. Оказывается, нет. Руководитель сказал мне как-то: «Позвольте, что с вами? Какой вы, оказывается, высокий! Вы что, на котурнах? Вы же всегда были низеньким?» При этом он знал меня уже около месяца и каждый день видел. Тогда, как водится, я заметил это за всеми. Не обращал, не обращал — и вот заметил. За всеми и всюду. И не только, что разные люди видят меня по-разному, — и каждый в отдельности, даже лучший друг твой. И есть у меня один момент, так его я просто страшусь. Это мои уши. Их никогда не замечают сразу. И каждый твой приятель неизбежно когда-нибудь их заметит. У каждого на это уходит разное время. Некоторые не замечают их очень долго. И это страшно. Представьте себе какое-нибудь сборище, в котором вы хотите произвести то или иное благоприятное впечатление, — и вдруг ваш приятель, разговаривая с вами, может, о чем-либо очень серьезном, замирает на полслове, смотрит на вас удивительными глазами, лицо его делается неузнаваемым, и он начинает хохотать. И только в редкие промежутки, когда он, красный, пытается вдохнуть или выдохнуть, вы слышите свистящее: «Уш-

ши... Посмотрите, какие у него уш-ш-ши!» И тогда все замирают, у всех удивленные лица, и все шипят: «Уш-ши! Уш-ш-ши!» А один даже сказал: «Что, у тебя и второе такое же?» — и заглянул сбоку. Так что ничего мы не видим сразу и все видим по-разному. Не говоря о том, что люди — это разные люди. Ну а уж о том, какие разные черты характера вижу я в своем лице, глядя в зеркало, и говорить не приходится. Вот оно волевое и нежное, лицо Джека Лондона. А вот фанатичное, сгоревшее — одини глаза, — лицо индийского факира. Вот лицо чемпиона мира Юрия Власова. Вот лицо князя Мышкина. А вот безвольное, грязное лицо, со следами разврата, лицо человека, способного на любую подлость. Есть, конечно, и кое-какие объективные, вернее, полицейские данные: глаза — карие, волос — русый, губы — толстые. Хотя, кто знает: может, и это неточно.

— Теперь вы все поняли? — говорит руководитель. — Это все и переделайте, как я сказал. А то черт знает что, Витя. Теперь-то вы все поняли?

Что я понял? Что я должен переделать? О чем говорил мне этот ненавистный человек?

...Я встаю, беру бутылку чернил, подхожу, все движения мои замедленны и неумолимы, подхожу и выливаю бутылку чернил ему на лысину. Ну что, понял?..

Я сижу с ним рядом, смотрю на него ясными глазами и киваю.

...Я встаю, медленно лезу в карман, мои пронзительные серые глаза чуть прищурены, я так приподнимаюсь с носка на пятку и обратно с пятки на носок, медленно вытягиваю руку из кармана, и в кулаке у меня лимонка. «А это ты видел?» — говорю я и подношу гранату к его сизому носу. «Вот разожму кулак, — говорю я, — и не будет ни тебя, ни этой проклятой копторы»...

Я сижу рядом с ним, смотрю на него ясными глазами и киваю.

...Я встаю, смотрю на него моими зелеными ненавидящими глазами и бросаю ему в лицо всю правду. Голос мой чуть дрожит от негодования. Я не такой, говорю я, он от меня этого не добьется, я человеком останусь, а если ты на что-либо такое надеешься от меня, так вот на тебе, выкуси!

— Вижу, вижу, — говорит руководитель особым, поощрительно-ласковым голосом, — по глазам вижу, что поняли.

Что он понял? Что он понял по моим глазам? Что я в результате должен со всем этим сделать? С сегодняшнего дня я посвящу себя... Чему?? Я буду не спать четыре ночи, и я придумаю новую машину, и она сама собой устранил все те нудные переделки, которые мне надо сделать, а какие — даже не расслышал. Потом я разоблачу этого руководителя, я раскрою всем глаза. Я буду вдумчиво и благородно относиться к людям на его месте. Потом в три года, титанической работой бессонными ночами, я закончу все те заведения, которые я не закончил. Защищу докторскую диссертацию, минуя кандидатскую. Стану руководителем крупного научно-исследовательского института. Совершенно новая отрасль в науке! И вот я через пять лет академик, минуя члена-корреспондента. Тогда я вспомню о несчастном руководителе, который окончательно опустился на дно, погрузившись в пьянство и разврат. Я благородно подам ему руку и извлеку его. И вот мы трудимся бок о бок... Тьфу! И из-за этого я не буду спать долгие бессонные ночи? И жить не буду? Не буду знать простых человеческих радостей? Э-э-э, нет. Чтобы я стал таким, как вы, хотя бы и поглавнее? Не буду я ничего этого делать. Не буду я не спать бессонных ночей!

— Думаете, как приступить?

Как он бесшумно подкрался! Только у мерзавцев может быть такая неслыханная походка. Так бы и... Что ты врываешься в мой мир?! Оставь меня хоть на минуту в покое! Все — надо, надо... А можно? Если «можно»?

— Да, думаю вот.

— А вы не думайте. Вы приступите, а потом думайте.

— Да? — говорю я дурацким голосом. — Вы думаете, так лучше?

— Испытанный способ, — говорит он.

— Значит, испытанным способом? — говорю я.

— Да, да! — говорит он, почему-то сердито, и уходит.

Ну и черт с тобой! Я уже через месяц видеть тебя не могу, а что будет дальше? Кончится испытательный срок, не справлюсь — ну и слава богу. Хоть видеть тебя не буду. А когда меня уволят, я превращусь в невидимку. Невидимый, я пройду через ваше бюро пропусков без всякого пропуска. Наконец-то никто не будет меня сличать с документом — я ли это? Я буду на этот раз точно я, и я пройду сам, свободно. Я пройду, вскрою все

сейфы, сожгу все личные дела, все сугубо секретное перенесу в бухгалтерию, а бухгалтерские книги положу в секретные сейфы, вызову по телефону руководителя к директору, а директора — в управление, тогда я включу радиоузел и буду пускать самые веселые пластинки и объявлю всеобщие танцы...

Вот опять чуть не пропустил свою очередь на хорошую работу. Перетаскивать шкафы с третьего этажа на первый. В прошлый раз задумался и пропустил, а пропустил — и все (у нас на такие дела очередь за неделю). И пришлось мне тогда целый час на инструктаже корчиться. У меня судороги, если руководитель говорит больше минуты. А тут еще выбрал он меня, чтобы смотреть на слушателей. Такая у меня подлая манера внимательно слушать, вид такой. А если, что чаще всего, я ничего не понимаю, то какая-то подлая сила толкает меня кивать и поддакивать и смотреть тем более проникновенными глазами. Любой оратор сразу нащупает меня в аудитории. А потом попробуй отключись, когда он все время на тебя смотрит, а ты уже полчаса киваешь, и вся фигура твоя уже одно сплошное понимание. И вопросы ждут именно от меня. Очень это все подло.

Слава богу, шкафов я не пропустил. Подумать только, велика радость — таскать шкафы... А ведь радость. Что-то в этом есть человеческое. Мы таскаем шкафы, это очень тяжело и весело, и есть шанс какой-нибудь из шкафов сломать. «ЧУШЬ — Чрезвычайное Указание Шефа — ЧУШЬ», — шутят, как один, наши смелые кандидаты, попадаясь в коридоре. Тоже ведь страшно: что-то появляется человеческое только, когда ЧУШЬ, а в идеале, значит, и этого быть не должно? А ведь действительно ЧУШЬ. Для чего, спрашивается, мы вынимаем из шкафов три года пылящиеся пухлые папки, складываем (аккуратно, не перепутать!) их в коридоре, кореемся под шкафами на лестнице и снова набиваем внизу эти значительные в пустоте своей шкафы какой-то пухлой и пыльной дрянью? Папки эти еще ничего, а что меня совершенно поражает, кажется мистикой и просто не уместается в моем мозгу, так это скоросшиватели. СКО-РО-СШИ-ВА-ТЕЛЬ... слово-то какое! Как до такого люди додумались, не пойму. Ведь изобрести надо! Колесо, кремь — понимаю — это гениально. Но скоросшиватель — это какой-то ужас, извращение мозга! Еще есть дырокол. Тоже адское изобретение. ДЫРО-КОЛ, КРОКО-ДИЛ... Даже для того, чтобы вытаскивать

кнопки, существует специальная вилочка! Вот недавно наш сотрудник внес рацпредложение: сделать в людном месте, на скрещении конторских путей, ящик с ячейками по отделам, чтобы каждый мог класть какую-то свою дрянную бумажку в свою поганую ячейку, и чего-то там кому-то не надо будет сортировать. А что там сортировать?.. Еще и сортировать!.. Ящик повесили, сотрудник получил благодарность, двадцать пять рублей премии, поощрен, можно сказать, и доволен и еще над каким-то атомным ящиком думает. Хочет централизовать все ящики. А дальше — больше. А мне все какую-нибудь гадость в этот ящик подсунуть хочется или все перепутать, переложить из одного в третий. Хотя, конечно, предложи мне руководитель отвлечься и проделать дыроколом дырки в его дурацких бумажках — я это с великим удовольствием. Маразм, конечно, но все-таки какие-то беленькие кружочки из него вываливаются... Или вот недавно какой-то тип на работу американский скрепкосшиватель принес. Стыдно, конечно, но развлечения нам было на целую неделю: все, что можно, сшили. Надавишь — сшито, надавишь — сшито. Атомный дырокол! И конечно, современная форма, никель блестит и всякие американские надписи. Так мы даже из дому через это дьявольское бюро пропусков бумаги какие-то проносили, чтобы сшить. Зачем? Для чего? Потом и это кончилось, руководитель загорелся и машинку выпросил, а владелец из подхалимства отдал. Теперь запрется у себя в кабинете и играет. Тоже ведь невесело человеку... Есть еще гигантомания: скрепки-гиганты, чернильницы-соборы и кнопки с пятак. Интересно также иерархия чернильниц и всяческой канцелярской роскоши. Вот, допустим, вам бегунок подписать, так можно все это проследить. Есть чернильница-шеф, вы представляете, даже выражение у шефа на лице такое же! Есть чернильница-зам. Кажется, и нет почти разницы, тоже роскошная, а все-таки — зам. И так далее, и так далее, ниже и ниже. То есть просто, наверное, промышленности трудно справляться с таким обширным ассортиментом, чтобы каждому чернильницу по чину. Ведь даже промышленность такая есть, вот в чем ужас! Есть и самая ненавистная мне чернильница-руководитель. Ничего нет хуже средних чернильниц! Весь ужас чернильниц-черни и чернильниц-бойр соединился в ней. Да что говорить! Даже в красном уголке есть своя красная чернильница... И все-таки что-то есть



хорошее во всей этой гадости, и хорошее заключается в том, что уж больно точно эта гадость выражена, никаких сомнений. Начните перетаскивать шкафы, и вы почувствуете радость. А почему?

Шкафы помогли. Не было даже самых страшных мучений, когда остаются последние четверть часа до конца работы. Эти четверть часа — наверно, то же, что медленное поджаривание. А тут этого не было: просто прозвенел звонок.

Так уж подло устроен человек! Только после гадости может ощутить радость. Ведь были же у меня счастливые времена, так ведь и ничего особенного я тогда не ощущал, не ценил, не понимал. Были, например, летние каникулы в школе. Я все чаще вспоминаю о детстве, и так грустно становится. И не то, что розовое, что сам я был чистый и хороший, а теперь грязный и гадкий, не в невинности тут дело. Живой был, до самой последней клеточки! А сейчас я если и живу, то минутами, между чем-то стыдным и чем-то гадким. Так, что ли? Может, все-таки в невинности-то и дело?..

И вот дана мне радость: уходить с работы. Это трогательно, как все начинают собираться, чтобы быть совсем готовыми, когда прозвенит звонок. Как все складывают и прячут свой конторский инвентарь, и девушки начинают краситься, а некоторые из них, которые пойдут сегодня куда-нибудь, даже накручивают бигуди, а потом надевают платок, и голова у них под платком словно бы угловатая. А как это удивительно, когда предпраздничный день и все, все девушки в автобусе с такими вот угловатыми головами, и даже кондуктор! И тогда я люблю их всех сразу. А они едут на службу. И столько уже в них готовности к празднику, что как же не понять, что едут они куда-то не туда и будут делать ненужное дело. А для чего? Это знает и ребенок. Чтобы «кушать». Это я знаю со школы: «Рабочие трудятся с шести утра, колхозники дают тебе кушать, а ты опять не сделал урока...»

И вот все уже готовы и одеты и застегнуты на все пуговицы. И что-то замирает уже внутри — и вот звонок. И я бегу по лестнице, и пролетаю вахтера, скорей, и сердце у меня бьется, скорей, и хватаюсь за ручку тяжелой двери и протискиваюсь, и рвусь, рвусь, словно там и Новый год, и летние каникулы, и словно я снова ребенок, и словно там все праздники сразу. Вырвался. Какая бы ни была погода — она всегда прекрасна,

и первый вдох — радость. Я новорожденный, сильный, и словно не было рабочего дня, а ты только проснулся, почему-то плохо проспав ночь, но проснулся почему-то свежим и не усталым, и вот начался день. А тут еще небо синее, и солнце, и грязный снег прикрыт свежим и таким легким и белым, что не ощутима его поверхность. Красный трамвай с белой крышей, повизгивая, огибает нашу службу. А мне идти через сквер, где много больше снега, и белые деревья, и роются красные, зеленые, синие дети, и это красное, синее, зеленое — все облеплено снегом и живет. И тихо сидят старухи на скамейках, и вообще тихо, хотя рядом и повизгивает трамвай, огибая нашу службу, но все равно тихо, потому что тишина — это вовсе не отсутствие звуков. А впереди, в этом же сквере, стоит заброшенная церковь, и купол у нее такой голубой, что растворяется в небе.

А вот и черный канал. Перехожу и попадаю на магистральную улицу. Тут много людей, и еще некоторое время, пока мной не овладеет суета, я могу идти и смотреть в лица. Многие люди проходят мимо меня, и я что-то понимаю про некоторых, они перестают быть незнакомыми — и проходят мимо, уходят. Тут приобретаешь и теряешь легко и мгновенно — прикосновение незнакомой жизни. Что-то тут не так. Особенно если девушки. Тут острее чувствуешь утрату: целый мир — взгляд — и мимо, мимо. Это так очевидно, почему их взгляд, и одежда, и походка почему, и так близко — протянуть руку, и так сложно, трудно прикоснуться. И мне кажется: в жестком прозрачном камне прорублены узкие каналы для каждого. У каждого неумолимый и одинокий путь, и только можно взглянуть с грустью и сожалением, как за прозрачной стенкой проходит другой один-человек и тоже смотрит на тебя с грустью и сожалением, и даже не останавливаемся, ни ты, ни она, не стучим в стенку, и не пишем пальцем, и не делаем знаков — проходим мимо, и столько в этом горького опыта невозможности. Один-человек плюс один-человек — равно два один-человека. Особенно если женщины... Особенно если друзья... Особенно если дети... Особенно если старики...

Сегодня у старика день рождения. Надо купить ему что-нибудь вкусенькое. Захожу в магазин, беру зефир в шоколаде. Полкило. Иду обратно. Вижу, девушка — хорошенкая-прехорошенькая...

...«Вот вам», — говорю я и подаю ей зефирину. Она

улыбается и берет. Так хорошо улыбнулась — что спасибо и ничего больше не надо. Иду это я и дарю всем женщинам по штуке. Пока шел, полкило и раздарил. Еще и не хватило. И все мне улыбались единственными, бесконтрольными улыбками. И я счастлив, мне больше ничего и не надо... То есть мне надо. Но неудобно же подарить зефирину, а потом пристать. Как раз хорошо — пройти мимо. Красиво. Улыбка-то — твоя. А пристанешь — как? За зефирину, что ли? Неудобно.

Но я иду и все думаю, как я дарю, а сам не дарю. Раздарю — что старику останется? И сам не ем. Раздарить, конечно ведь, приятнее, чем съесть. Я бы и раздарил, да вдруг, думаю, она, эта хорошенькая, которая так замечательно может мне улыбнуться, своротит мордочку, кривую такую, брезгливую, и обойдет меня, а я стой с зефиринкой в руке и нелепой улыбкой... Ду-у-ра! Я ведь не стал бы приставать. Дура!.. Но и то верно: даст вот такой зефирину, а потом так пристанет, так пристанет, будто это и не зефирина, а собор Парижской богоматери. Есть у них, у хорошеньких, такой опыт. Вот и не подаришь... Мужики-то, дурни, все мне удовольствия уже когда как давно испортили...

И все-таки есть выход! Это оказалось так просто. Я шел, шел — и вдруг полетел. Сразу выше домов. Смотрю на все сверху, и полы пальто развеваются. Просто шла мне навстречу красивая женщина. Шла и прошла мимо. Даже не заметила. И вот я лечу. Полы пальто развеваются, и ветер волосы треплет. Вижу эту женщину и пикирую. У самой почти земли полы так развожу и планирую. И встаю прямо перед женщиной. «Откуда вы?» — говорит она удивленно. «Оттуда, — говорю я и показываю вверх. — Хотите, полетим вместе?» — «Хочу», — говорит она. И мы летим, взявшись за руки. Ветер, простор, свобода!

А я иду по улице, женщина давно уже и далеко прошла мимо, иду и думаю, что там, наверху, и замерзнешь, пожалуй...

Вечером мы идем к старику. Маминому отцу. Родители долго глядятся, чистятся, тщательно и суетливо. Мама сердится на папу за то, что он, оказывается, давно уже съел банку варенья, которую мама припасла старику. Папа сердится на маму за то, что он, съев варенье, постарался забыть об этом, а мама вытянула все на свет, и теперь папе неловко. Я уже давно готов и слоняюсь без дела и натыкаюсь на суетящихся родителей. Они

немножко кричат на меня и таким способом мирятся друг с другом. И меня внезапно пронизывает мысль, что они тоже старики. Я смотрю на них, как они волнуются и суетятся, и хотят не опоздать, и наверняка соберутся за час до выхода, — и мне вдруг хочется плакать. Господи, чего бы я, кажется, не сделал, чтобы они были счастливы и довольны. И не умирали, не умирали, не умирали! И ведь как мало им надо... 'А я все слоняюсь и слоняюсь и не даю им покоя. Да я бы для вас сто институтов кончил бы! И сто раз стал бы инженером. Я бы дал вам сейчас слово, честное слово, что вам наконец не придется больше волноваться за сына, но ведь я уже столько их дал... «Витюша, мы ведь не настаиваем, нам ведь это не нужно, мы ведь просто хотим, чтобы ты был счастлив...» Они, мои старики, уверены, что знают, как мне быть счастливым. Простите меня... Все мы хотим счастья друг другу и забываем о своем. И снова мне видится прозрачный камень, в котором прорезаны каналы для один-человеков.

И мы идем всей семьей в гости к старику. Это, в общем, близко. Дом старика прямо напротив. Из ворот в ворота, только через улицу перейти. А тут как раз перехода нет. До перехода метров пятьдесят идти и потом пятьдесят. Тоже, в общем, недалеко. Но мы всегда переходим прямо, из ворот в ворота. Обидно же делать крюк. Никакой надобности в этом крюке. Но посреди улицы милиционер часто ходит, по полоске. Штраф платить — тоже не хочется. Милиционера нет — переходим. Вот переходим мы на этот раз, и совсем уже в ворота вошли, слышу — свисток. Вернее, что и не нам. А если это нам и милиционер заметил, в какие ворота мы вошли?

...Вот мы идем по двору, длинный такой двор, а он уже в ворота проходит. Видит наши спины. Идет широким шагом, чтобы нагнать. Мне очень хочется обернуться, но я не оборачиваюсь. А мы уже подходим к парадной старика. Тут-то он нас и нагоняет: «Гражданин!.. Раз, два, три... — пересчитывает он нас, загибая пальцы. — Три рубля, будьте любезны». Тут я оборачиваюсь, смотрю на милиционера таким тяжелым взглядом... «Уходите, уходите...» — говорю я. Он обмякает весь. «Сейчас, сейчас», — говорит он и уходит понуры. Словно лунатик идет. Все поражены. «Витюша! как это ты!» — восклицают все. «Что вы... Вы о чем?» — делаю я недоуменное лицо. «Ничего не было», — говорю я.

И все тотчас соглашаются. Я шучу непринужденно, и все смеются моей шутке. И я один знаю, кто я на самом деле...

Потом мы все вскрикиваем, всплескиваем и целуем старика. Он так торжествен, так хлопотлив, так старательно приготовлен стол, что мне опять хочется плакать. Черт знает что со мной творится! Я не помню, чтобы я плакал хоть раз, хоть когда-либо. Я бессмысленно протягиваю ему свой зефир, он обнимает меня своими легкими руками и не то смеется, не то всхлипывает у меня на лацкане. «Отличник, конструктор», — гордо говорит он мне, неслышно, почти робко похлопывая по плечу. И отец кивает ему. И кивает мама. Мы проходим к столу, и старик, подхихикивая, с таинственным лицом и движениями фокусника извлекает неведомо откуда бутылку настойки. Ее он всегда готовит сам, и это его гордость. Самому ему нельзя, он только вспоминает, как бывало. Папе тоже нельзя. И конечно, маме. Настойка предназначается мне. Старик все подкладывает мне и восторженно смотрит, как я ем. А я опять не могу, опять не могу видеть легкие, как засушенные лепестки, дрожащие руки... Так что мне даже совестно моей непонятной чувствительности. И мне кажется, руки его живут особой жизнью, и, как бы ни старался старик быть бодрым, веселым, трести стариной, руки выдают его... Они живут осторожно, тихо, тщательно, в этом есть даже какая-то необъяснимая красота и ловкость, ловкость, с какой он справляется с дрожью и немощью своих рук. И я понимаю, что безумно люблю эти руки. Старик недаром гордится своей настойкой. Это действительно огонь. И он очень быстро перебирается в голову. «Только не пей слишком много», — говорит мне отец. И я вижу руки отца и руки матери — эти руки сведут меня с ума! И я понимаю, что мои намерения остаться трезвым пропали и я выпью всю эту настойку. Мама кидает на меня укоризненные взгляды, а я уже полупьяно приподнимаю ладонь: все будет в порядке, не беспокойся. А старик с отцом, у них уже сорок лет, наверно, не исчезает из разговора та немножко официальность, которая возникла, когда старик был против замужества моей мамы. Это все притерлось и прошло, они привязаны, но им, наверно, даже дорога эта манера. Они беседуют о космосе и о гигантской радиомачте, которую строят в нашем городе и высота которой будет пятьсот метров. Старик восторжен и рас-

сказывает научно-популярные статьи, до которых он великий охотник. Они все помешались на прогрессе, даже мои милые старики. Кроме мамы. Маме это все равно, где-то она мудрее, а они — дети. Это оставшееся их мужчиство. А я уже совсем пьян. А старик так рад и так счастлив. Что мы пришли. Он нас любит. Мы единственные у него. Мы его любим. Он один у нас. И это все другие слова, которые есть суть и которых он так и не говорит. А говорит он, что вот, например, нейтронная бомба — так не то, что атомная, а водородная против нее что порох. С ужасом вроде говорит. Но мне вдруг кажется, что ужас-то его притворный, а на самом деле он даже восхищается. Что вот бомба такая упадет — и все живое погибнет, а даже стекла в домах целы останутся. И никакой зараженности — входи, пользуйся. «Так ведь в этом весь ужас, — говорю я, — лучше бы ничего не осталось». А старик — глаза круглые — кивает и не понимает. «Не понимаешь ты ничего», — говорю я. «А я три войны прошел», — говорит он. «Не понимаешь ты ничего», — говорю я. «А я три войны прошел», — говорит он. «Вот и не понимаешь», — говорю я. «Это еще что, — говорит отец, — тут еще, — говорит отец, — но это совершенно секретно, — говорит отец, — за сотым еще элементы нашли...» Так они эти элементы, по словам отца, такую поразительную способность взрываться обнаружили, что вот с грецкий орех бомба — и материка нет. Привез какой-нибудь журналист в кармане, где-нибудь обронил — и порядок. И ракеты не нужны... «Не нужны?» — говорю я. «Не нужны», — говорит отец. «А так — они нужны?» — говорю я. «Щенок, — говорит отец, — я всю войну прошел». — «Вот и не понимаешь», — говорю я. «Щенок!» — говорит отец. «Это еще что, — говорит старик, — вот если из антимира бы да антивещество бы — то на всю планету бы одной булавочной головки хватило бы». — «А вот мне рассказывали, — говорю я, — это, конечно, в Америке было... в одном таком секретном месте пять подводных лодок стояло, бок о бок. И на одной из лодок матроса наверх послали, снег счищать. Так он отказался наотрез. Тогда другого послали. Вот того — другого — брат мне и рассказывал. Вот он счищает, а под ним, в лодке, пожар начался, и никак его не остановить. И командира нет — он на берегу. А этот наверху ничего еще не знает (снег счищает), только чувствует: что-то у него под ногами греется, — но не придает значения.

И вдруг ка-ак ахнет! Взорвалась лодка. И с ней все остальные, а того, который счищал, как подкинуло и отбросило на сколько-то там километров — и прямо в сугроб. А капитан в это время шел по берегу и как раз поравнялся с фонарем. Его лбом об столб и садануло — так он сразу и упал, мертвый. И никого в живых не осталось. Только тот в сугробе единственный и остался...» — «Это ты к чему?» — удивился отец. «А так, — сказал я, — и еще, — сказал я, — когда все это дело взорвалось, то там еще торпеды разбежались. Так за ними еще бог знает сколько времени охотились, чтобы выловить...»

«Не умеешь ты пить», — сказал отец.

От настойки я плохо сплю, за мной гонятся, я бегу и почему-то еле переставляю ноги, кричу и только открываю рот, потом я гонюсь за кем-то, и какая-то непонятная война, нашествие монголов, они едут по городу на мотоциклах с пиками наперевес — джигиты! — и врываются к нам в квартиру, и во главе их руководитель, который кричит, что я ошибся в расчете пики и она никуда не годится, он бросает пику мне в грудь, и я ничего не чувствую, только она разламывается пополам, а потом мне становится вдруг прохладно, меня гладят сразу много рук, и я узнаю руки моих стариков... Под самое утро меня настигает крепкий сон, я еле встаю, и то благодаря маме, я завтракаю через «не могу», чтобы не обидеть маму. И надо уже бежать, я опаздываю, но мне не хочется ни бежать, ни спешить. А мама уже волнуется, все ли у меня в порядке на работе, ты, Витюша, не сердись, но мне показалось... ты понимаешь, нам с отцом хочется, чтобы у тебя наконец было все в порядке... Ну, не буду, не буду... А мне становится совсем темно, потому что мама всегда так безукоризненно чувствует, когда у меня что-либо не в порядке. И оттого, что она как всегда права, мне особенно хочется сердиться и возражать и доказывать, что они ничего не понимают и я — сам. Раньше меня поражало, как старики чувствуют все, что еще и не произошло со мной, и если я им не даю никакого повода и все скрыто. И я восставал против логики этого предчувствия. Теперь-то я понимаю, что это — любовь, но мне от этого не легче, а во сто крат тяжелее. И вся-то взрослость моя в том, что стал чувствовать ответственность, а справиться с ней я по-прежнему не могу. Может быть, меня ждет сын, чтобы я справился наконец.

Я сержусь, говорю, что все в порядке, и ухожу на работу. Уже неправдоподобно, чтобы я не опоздал. Мне надо бежать во весь дух и поспевать, поспевать. А я еле переставляю ноги. У нас образцовая контора, и никто не опаздывает. Страшно смотреть, как в последнюю минуту врываются в проходную старики, бегом, тяжело дыша и с безумными лицами. Жуткий способ придумало начальство для борьбы с опозданиями. Не взыскания, нет. Это было бы по-человечески, как бы ни было жестоко. Раз в месяц, причем день неизвестен, все начальство выстраивается в проходной. И директор, и партком, и начальники отделов. Они приходят и выстраиваются шеренгами с двух сторон за минуту до звонка. Они стоят с неподвижными скорбными лицами, как почетный караул. И мимо них, потупляясь, уничтожаясь, так что буквально видишь, как человек уменьшается в десятки раз, проскакивает, а на самом деле долго, мучительно долго плетется опоздавший. И действительно, у нас не опаздывают.

Как я ни плелся, автобус подошел сразу же, и я почему-то рассердился на автобус, потому что, попав в него, снова начал поспевать на работу. Освободилось место, я сел и начал смотреть в окно. И тогда мне снова стало хорошо, тепло и сонно, и мне показалось, что это тот самый автобус, из которого я не вылезая всю свою жизнь. Еще не рассвело, хотя и начало сереть.

Я смотрю в окно автобуса и вижу освещенные окна домов. Там тоже спешат на работу. И вдруг вижу: в одном окне, этаже на третьем, — женщина. Окно хорошо освещено, и женщина близко к окну стоит, что-то делает. А рядом, как-то косо, шкаф стоит. Очень хорошо видно. И вот мне показалось, что женщина вдруг как-то отклонилась и что вроде какая-то тень из-за шкафа. Но автобус-то едет — и уже нет окна. Я увез с собой эту картину и рассматриваю ее тщательно. Иначе ведь и не рассмотришь — мелькнуло, и все.

...И вот определенно вижу, что женщина не отклонилась, а покачнулась, и не покачнулась, а отшатнулась, и рукой прикрылась, чтобы не видеть, или от удара. А тень из-за шкафа — мужик в черном плаще и серой шляпе, и в руке у него нож. Он заносит этот нож: оттого и покачнулась женщина. Только бы доехать до остановки!.. Я выскакиваю, ловлю первого милиционера. «Там, там...» — говорю я. «Что там?» — говорит милиционер. «Убийство!» — «Где?» — «Там. Я только по-



казать могу». Милиционер смотрит недоверчиво. «Я из автобуса видел». И мы идем. Не этот дом, и не этот. Вот он! А вот и окно. «Ага, это окно», — говорит милиционер. Мы троим, милиционер, дворник и я, смотрим на это окно. «Это?» — «Это». — «Вот это?» — «Нет, вон то». — «Ага, вот это», — говорит дворник. — Это квартира 46». — «Пойдемте», — говорит милиционер. Вот и третий этаж. Вот и дверь. Звонок. Еще звонок. «Ясно», — говорит милиционер. Взламываем. Первая комната. Вторая комната. Третья... Лежит. В луже крови. Женщина. Я ухожу. Я один знаю, кто я на самом деле...

...Взламываем. Первая комната. Вторая комната. Третья. Последняя. Никого. «Э-эх! — говорит милиционер. — Зря сломали. Сы-щик...»

...И мы идем. Не этот дом, и не этот. А вдруг я не найду дома? Не узнаю. Или в окне свет погасили? Что тогда? Неловко-то до чего! «Э-эх! — говорит милиционер. — Постыдились бы, занятых людей...»

...А может, мне действительно показалось? А если нет? Ведь даже если одна миллионная шанса — и тогда надо бить тревогу. А вдруг НЕ показалось? И действительно. Лежит. В луже крови. Женщина. На третьем этаже. Около шкафа, стоящего косо?

...А если бы я действительно всю картину ясно увидел? И мужчину, и нож? И мы идем. Не этот дом, и не этот. Не узнаю. Не нахожу. Может, свет погасили? «Э-эх! — говорит милиционер. — И не стыдно вам?»

...А может, я бы увидел и не поверил: как это? В освещенном окне? Быть не может. Показалось. И так спокойно ехал бы дальше. И забыл. А на следующий день там бы нашли. Лежит.

За окном значительно рассвело. Я смотрю и вижу, что давно уже проехал свою остановку. И теперь уж я совсем опоздал. Так опоздал, что лучше вообще на работу не идти. И вдруг мне становится легко-легко. Это так просто: не пойти, отказаться, не поехать. И почему-то это очень сложно, пока не сделаешь. И я снова чувствую себя маленьким... Я спрятал свой большой портфель в подвале. И езжу в трамвае до конца и обратно. Потом поспеваю на одиннадцатичасовой сеанс. Потом гуляю куда-то за Острова, смотрю. И возвращаюсь домой после шестого урока...

Я выхожу на далеком кольце. Тут чистый снег и серое мягкое небо. Тут стоит одинокий, последний дом. И есть пустырь. А в нем непонятная одинокая труба.

И горизонт сливается с небом мягко и неощутимо, и не понять где: то ли достать рукой, то ли в бесконечности. Я иду по узкой, вытопанной в снегу тропинке, все ровно и бело вокруг, сзади совсем уменьшился последний дом, а впереди все вырастает и вырастает труба, она — огромна, и никак до нее не дойти. И мне кажется, вот так буду идти и идти без конца в ощущении покоя и счастья. Но скоро мне надоедает труба, и я возвращаюсь назад, так и не дойдя до нее, — обратно в гущу домов, в город.

Я вхожу в кинотеатр за час до сеанса... Как знакомы мне все эти люди, которые пришли в кино на первый сеанс и за час до сеанса! И этот бледный длинный подросток, который все время куда-то запихивает свой портфель, и колченогий небритый человек с измятым лицом, и две старушки, так важно беседующие, и эта тихая пара, словно из заговора, и билетерша (к концу дня у нее будет другое лицо), и уборщица, и эти опилки, которые она медленно и лениво сметает, и буфетчица, расставляющая свою витрину, ее газированная вода, ее мороженое и вафли!

Как знакомо и как забыто все это... Пройти в туалет, там уже есть кто-то один и курит, подойти к нему попросить прикурить, хотя у тебя в кармане есть спички. И этот миг, пока ты затягиваешься и еще не отошел от него, бормочешь спасибо, и вы еще смотрите друг на друга... И одна девушка, не то школьница, не то взрослая, которая ходит как-то особенно одиноко и независимо, и вы встречаетесь взглядами, и ты столько раз соберешься подойти и заговорить с ней и так и не подойдешь, не заговоришь. И только останется в тебе ощущение тайны и потери. И этот фильм, совершенно неважно о чем...

И вот я выхожу на улицу, щурясь от яркого света. Вышло солнце. И город уже совсем ожил. Много людей, все спешат, и у всех деловые лица. Все идут куда-то. И это означает, что все, что кончился покой. Мной овладевает ощущение неприкаянности, отщепенства и суеты. Я очень томлюсь, что я не как все, и люди, спешащие мимо, каждый, подчеркивает мне: ты не имеешь права, ты не имеешь права. Вдруг я понимаю, какой я был мудрый ребенок, что после кино шел куда-то на Острова, где по-прежнему мало людей, а те, кто есть, вырвались и живут, как я, краденой жизнью. Теперь

я слишком много понимаю — не могу поступить мудро и не еду на Острова.

Я иду в поликлинику получать бюллетень. Я — уже не я. Мне надо оправдаться и всеми силами сохранить все, как было. Мне надо исправить то, что мне сказал руководитель, мне надо справиться с испытательным сроком и, наконец, остаться на работе и не огорчать родителей. Мне стыдно и плохо оттого, что я не такой, как все, что я такой слабый и безвольный и так хочу и не могу заставить себя быть хорошим, быть, как все, чтобы быть спокойным и быть правым.

Я поднимаюсь по больничной лестнице, мимо меня бесшумно, как во сне, проскальзывают сестры, совсем девочки, действительно — сестры... Их так изменили белый халат и белая шапочка. Они совсем не похожи. Тут тоже тишина и другой тихий мир. То ли эти люди действительно больны и что-то понимают через это?.. Я сижу в круглой комнате и меряю температуру. Рядом со мной женщина в красной кофте, с ребенком, который все лезет и лезет ей на колени, бесконечно повторяя одно и то же движение, и сползает, сползает и мешая женщине мерить температуру. Неотмытый парень, который кажется особенно тихим, потому что очень четко ощущение, что он вообще-то очень не такой, не тихий. Он держит пистолетом руку в грязном бинте и укачивает ее, как ребенка. Мальчишка, школьник, с наглым зеленоватым лицом, озираясь, время от времени нащелкивает по градуснику. Он видит, что я наблюдаю за ним, но меня он не боится и прячется он не от меня, и подмигивает мне, как союзнику. Проходят десять минут. Я подхожу к сестре и вручаю ей градусник. Температура у меня нормальная, сестра, пожилая, строгая, смотрит на меня укоризненно. И мне становится стыдно, и кажется: тут все больные люди, и это у них серьезно, а я один такой и только зря беспокою серьезных, занятых людей. И мне вдруг остро хочется заболеть и чтоб за мной ухаживали и жалели, и я бы был оправдан перед всеми, потому что болеть-то я имею право и тогда нечего с меня требовать. Мне хочется лежать в чистой прохладной постели, чтобы меня спрашивали, как я себя чувствую, чтобы я смотрел в окно, где стучится одна голая ветка и живут воробьи, и вел медленные разговоры с соседями. Да и потом меня надо, надо вылечить!

Тут почему-то слишком сильно дунул ветер, и с треском распахнулось окно. В теплый и тихий больничный

воздух ворвался ком ледяного воздуха и сухой снежной пыли, взорвался где-то посередине, все оживилось, заговорили. Носились белые бесшумные сестры. Ветер еще раз хлопнул расстегнутой рамой, и она свалила большую кадку с пальмой и табуретку, на которой стояла эта кадка. Хлопотали сестры. Я, человек с нормальной температурой и мужчина, подошел к окну и с силой захлопнул его. В пазы забился снег, и окно не закрылось. Я отгребал снег рукой, чувствовал, как коченеют мои пальцы и тает под ними снег, и наконец справился. Затем мы с сестрой подняли пальму и установили на табуретку. Я все еще чувствовал запах снега и мороза, и кожа лица еще сохраняла ощущение прохлады, и сладко ныли покрасневшие пальцы. Почему-то мне было удивительно приятно проделать все то, что я проделал, и я был рад тому, как благодарила меня сестра, и я вышел на лестницу и спустился в раздевалку.

Я прошел по больничному парку и вышел к Карповке. Вода была черной под мостом, а дальше белой, и в лед вмерзли отдельные бревна. На горбатом деревянном мосту был лед, и по нему беспомощно взбиралась лошадь. На широкой приземистой телеге с резиновыми толстыми колесами горой высились металлические сетки с бутылками, и бутылки звенели. У лошади была седая от мороза морда и огромными шарами вырывался пар. Красномордый и тем более толстый в своем тулупе возчик грозно понукал. Телега продвигалась еле-еле, у лошади во все стороны разъезжались ноги, и вот телега стала. Лошадь, упираясь всеми четырьмя ногами, медленно заскользила назад. Возчик закричал свирепым голосом, лошадь дернулась изо всех сил вперед и медленно, нестерпимо медленно повалилась на бок. Она лежала на боку, отгибая голову, и тихо ржала. Она была так виновата, лошадь, и столько было вины и обиды на ее лице, что было ясно: она плачет. Что-то большое, спирающее подобралось к моему горлу: лучше бы это я лежал сейчас на льду и пытался встать, и мне было бы больно и обидно, и лучше бы я всю жизнь возил эту телегу... Она лежала на боку, и судорожно, рывками вздымался ее другой мохнатый бок, и от него шел пар. Возчик кричал и изо всех сил лупил ее по мокрому боку. Я ненавидел его, и тут же возникшая мысль, что, наверно, он ее тоже любит, он ее знает, кормит и заботится о ней, была мне противоестественна и противна.

И тут какой-то молодой парень, весело скаля зубы, подбежал с другой стороны, чем возчик, и, что-то весело и бодро говоря лошади, стал помогать ей встать. Тогда подбежал и я и другие люди, и все мы, объединенные чем-то большим и радостным для нас, поставили лошадь на ноги, и изо всех сил, скользя и падая и вовсе не замечая этого, тянули телегу вверх по мосту, и кричали что-то громкое и веселое, и вот лошадь с середины горбатого мостика вдруг отделилась от наших усилий и пошла сама. Разошлись люди, ушел куда-то, скаля зубы, первый парень, и я остался снова один, и что-то большое, что я чувствовал только что, ускользало от меня.

Я шел и плохо думал о себе. Ведь вот не я догадался, что не стоять и жалеть, а просто помочь лошади надо. И так просто и хорошо справился со всем этот первый парень. А я, наверно, никогда не смогу так, как он... И я не любил его. Но благодарность чувствовал я ко всем людям, которые тоже вместе со мной поняли, что лошади можно помочь, которые забыли в этот момент обо всем. И так хорошо, что они способны забывать «обо всем»! И не может быть, думал я, чтобы у них сейчас было плохое настроение, чтоб они не посмотрели на заботы свои и суету свою легко после того, как помогли лошади, и, думал я, день сегодняшний они проживут хорошо. Может, это единственно истинное чувство свободы, когда человек сознает, что только что поступил по-человечески... И, думал я, за сколь малое мы уже благодарны людям. А ведь мы счастливы, если встречаем человека, не растерявшего своего человеческого. И как хорошо, думал я, когда перед лицом чего-то значительного и серьезного вдруг очень многие извлекают из себя человека...

Потом я снова видел лошадь, как она лежала на боку, и вздымала свой другой, парной, бок, и отгибала свою седую морду, и беспомощно перебирала ногами. И я понял, что лошадь — это какой-то вовсе замечательный человек, на которого хочется молиться и плакать, и что нет зрелища грустнее лошади.

Хорошо. Это все хорошо. Бюллетеня нет. А что делать дальше?

И такая вдруг подступила тоска — жить не хочется. Что-то во мне устроено неправильно. Не имею я права ходить среди людей и выдавать себя за такого же, как они. Хоть бы меня изолировали, что ли. В тюрьму посадили... Ведите!

...Вот я сижу в тюрьме и наконец понимаю что-то главное. Должно же существовать это «что-то»... И оно как ключ ко всему, ко всему... И вот у меня этот ключ.

И возможно, тогда я бы утратил суету и обрел силу видеть и понимать окружающее. Я бы понял цель и смысл. Я бы извлек из себя все и создал все, на что способен. А может, я даже и не понял бы, а просто каким-то чудом, каким-либо ранним утром бы, проснулся в равновесии и простоте.

Но я не сижу в тюрьме. Ни стен, ни решеток. Иду по серому, измятому снегу. Дома, улицы. Захочу — поверну налево, захочу — направо, захочу — прямо.

Гуляю словно бы на свободе... Что такое?

Я вижу пивную-автомат и захожу в нее. Раньше это была просто пивная, у нее были постоянные посетители, у нее был свой микрорайон и микромир, и все знали друг друга, тут был гвалт и дым и пили водку. Теперь тут стойки из серого противного мрамора и блестят никелем автоматы, и у нас не курят и распивать водочные изделия воспрещается. Но люди не могли расстаться с этим местом, они по-прежнему ходят сюда, и они сохранили все по-прежнему: дух пивной не ушел отсюда. Тут курят и тут пьют водку, тут живут своими конечными жизнями. Тут гвалт и все знакомы. И по-видимому, даже пивное начальство понимает, что бороться с этим бесполезно. Красный автомат выплевывает мне милое «Волжское» вино, и будет выплевывать столько раз, сколько я этого захочу. Я хочу этого, не помню сколько раз.

Я выхожу, покачиваясь, на улицу. Уже темно, а мне снова мирно и тихо на душе. Я могу ни о чем не помнить. Я попадаю в сквер между какими-то двумя домами. Тут нет фонарей, только кое-какой свет доносится из окон, и на снегу получают синие тени. Малыш, выстроив снежный городок, копошится в нем и возит свой грузовик. Я плюхаюсь на скамейку рядом с ним. И ведь точно, думаю я, он живет в этом своем снежном городе. Не играет, а живет. Я очень понимаю его. Мне самому безумно хочется ползать сейчас на четвереньках по скрипучему сухому снегу и жить в этом городе. Мне даже не хочется снова стать маленьким ребенком, мне хочется стать еще меньше. Совсем крохотным человечком, для которого этот снежный город действительно город, а дома — огромные дома. Маленький, никому не видимый, я хожу по этим заснеженным улицам и карабка-

юсь на огромные пики сугробов... Я сползаю со скамейки и подползаю на четвереньках к ребенку. Тот косится на меня недоверчиво.

— Не бойся, мальчик,— говорю я,— я тоже из этого города...

Он таращится и молчит.

— Мы будем жить в нем вместе,— говорю я, и нелепые пьяные слезы бегут у меня по щекам.

— Дяденька, ты пьяный,— говорит мальчик.

— Я не пьяный,— говорю я,— я не буду плакать. Мы будем жить в этом городе. Ты возьмешь меня в шоферы своего грузовика...

— За рулем нельзя быть пьяным,— серьезно говорит мальчик.

— Я не пьяный, я больше никогда не буду,— говорю я.

И вот я везу грузовик, наполненный снегом. Я ползу на четвереньках по узким улицам снежного города и толкаю впереди себя грузовик.

— Дяденька, ты разрушишь мой город...— говорит мальчик.

— Я не разрушу,— говорю я,— я самый маленький человек. По сравнению со мной ты — великан, а я такой маленький, что не могу разрушить нашего города.

Я привожу грузовик к большому снежному дому и разгружаю. Я ставлю грузовик в снежный гараж. Работа окончена, теперь я могу отдохнуть. Я долго иду по снежному городу и выбираю дом, в котором я буду жить. Я нахожу его наконец. Это прекрасный дом, его надо только немножко подправить. И сделать пристройку для нашей лошади. Я долго возжусь с домом, и вот он готов. Теперь можно позвать мальчика. Нам с ним будет очень просторно в этом доме.

— Мальчик, а мальчик,— зову я.— Где ты?

Я возвращаюсь домой. Мне плохо. Меня качает. И я уже все понимаю. Только мне безумно плохо. Мне хочется выпить ведро жидкого киселя, раздеться и лечь на белом, только что вымытом и выскобленном дощатом полу. И так лежать и чувствовать его свежий деревянный запах и отходить, отходить... Откуда в моей памяти этот пол?

Больше я ничего не помню. Рано утром я открываю глаза и вижу себя раздетым и в своей постели. Рядом мама с заботливым, грустным лицом. Мне стыдно, бе-

зумно стыдно и хочется исчезнуть, раствориться в чем-то, чтобы осталась только чистая немятая постель. Мне опять хочется быть невидимкой.

— Ты не огорчайся, Витя,— говорит мама.— Все будет хорошо. Мама твоя всегда будет рядом с тобой..

Это хуже, чем убить,— сказать такое. Я чувствую, что сейчас начну ползать по полу и извиваться, как червяк. Я ненавижу себя...

Я съедаю свой завтрак через «не могу» и одеваюсь на работу. И все время я больше всего боюсь встретиться с мамой взглядом. Я знаю, какой он, этот взгляд, когда из него уже исчезает укоризна и упрек. Я боюсь его, потому что чувствую тогда отчаяние. Одетый, потупляясь, я подхожу к маме, целую ее в лоб.

— Ты прости меня, мама,— говорю я и поспешно, почти воровато, выбегаю из дому.

Я еду в автобусе, и на этот раз мне не удастся стать ни летающим человеком, ни гипнотизером, ни сыщиком... Я только вспоминаю об этом. И странную вещь обнаруживаю я, вспоминая. Раньше когда-то, мне кажется, что безумно давно, я просто летал, просто был невидимкой, совершал подвиги и умирал от обиды. И даже не замечал, как делал это. А теперь, и, кажется, это началось очень давно, любая моя мечта, пустая и глупая, печально кончается в самой мечте. И нет в ней ни победы, ни торжества. Всегда в ней есть сомнение или разочарование и предполагаемый печальный исход. Это в мечте-то, в пустой и глупой... Это-то и есть опыт? Это-то, только возросшее до безобразия, и будет зрелость и мудрость? И я так же ловко постарею, незаметно отказываясь от того и от этого и приговаривая: как я был тогда наивен и глуп, как я ничего не знал и не понимал,— и при этом буду чувствовать успокоенность и удовлетворение. К черту, к черту...

И вот я снова на работе. И прежде всего я сталкиваюсь с руководителем.

— Ну как, Витя?— говорит он.— Что с вами случилось?

А я вдруг чувствую, что не в силах врать, и я молчу.

— Вы заболели?



— Нет,— говорю я.

— А что же? — удивляется руководитель.

— Я не смог,— говорю я и подло думаю о том, что пока еще говорю правду, что я действительно не смог, и такую фразу я могу произнести, оставаясь честным.

Руководитель извлекает из себя свой такт и не спрашивает меня дальше. Этого-то я и ждал, думаю я. Мне становится стыдно, и я гоню этот стыд.

— А исправления вы сделали?— спрашивает руководитель.

— Не успел еще,— говорю я и утешаю себя: «Я ведь действительно не успел?»...

— Как же это так, Витя?— говорит руководитель.— Пройдемте ко мне в кабинет.

Я плетусь к нему в кабинет. Руководитель плюхается в кресло, и оно раздается под ним. Я стою у стола и не смотрю на руководителя. Я вижу на аккуратном его столе американский скрепкошпигатель и не могу оторвать от него взгляда.

— Ну, рассказывайте, Витя,— говорит руководитель своим специальным ласковым тоном.

Я молчу. Руководитель снова извлекает из себя свой знаменитый такт и не спрашивает больше. Он начинает говорить сам.

— Что же это, Витя? Я знаю твоего отца, ты учился вместе с моим сыном... Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ты же умный, способный парень, тебе много дано... Чем же объяснить твое отношение?

Я молчу. Я знаю, лучше мне не говорить. Наверно, он действительно относится ко мне неплохо. Наверно, ему хочется пойти мне навстречу и оставить меня, хотя я и не оправдал ничего. Наверно, он даст мне еще время, чтобы я показал себя. Лучше уж не давать ему честных слов. Это честнее. Лучше отмолчаться и подождать, пока он решит все сам и отпустит меня, похлопав по плечу...

Руководитель выдерживает паузу и продолжает:

— Ведь ты же взрослый человек, Витя... Ты ведь хорошо помнишь ваш школьный выпуск... Кухарский, Потехин и Мясников — уже аспиранты. Москвин и Номоконов — научные сотрудники крупных и перспективных институтов. Запорожченко — уже капитан... А ты ведь был далеко не менее способным, чем они?

Он еще выдерживает паузу и говорит уже более шутивным голосом:

— Испытательный срок кончился? Кончился. И вышло что? Вышел фук. Я могу, конечно, дать тебе еще возможность... Но я должен быть уверен...

Я стою. Я молчу. Это еще не ложь.

— Так вот, Витя...

Тихая возня поднимается во мне. Все в кабинете плавно сползает в сторону. И расплывается это все. Больше я ничего не слышу и не вижу.

А вижу я кактус на подоконнике. Каждую его иголочку. Сам зеленый, а иголки рыжие. А за окном небо, почему-то синее. Снег сверкает. Снег и кактус. Красный трамвай с белой крышей изогнулся на повороте. Трамвай и кактус. И купол — такой голубой, что растворяется в небе. Церковь и кактус. Черно-белые деревья... Да ведь это тот самый сквер! Я всегда радуюсь ему после работы...

А в оконном стекле, повыше кактуса, — пузырь. Удивительно в этом пузырьке! И небо, и снег, и трамвай, и деревья, и купол — все помещается в нем. Маленькое, странно вытянутое и какое-то особенно яркое. Там снежный город. Кто-то живет в нем, вовсе крохотный... Интересно, каким он видит меня оттуда?

*1961—1962*

## ПЕНЕЛОПА

Денег из банка еще не привезли. Они должны быть не раньше трех. Лобышев обрадовался, что ему удалось это все так ловко узнать и не натолкнуться на начальство. Что ему не пришлось делать бодрой мины: да, все в порядке, да, если ничего не произойдет, им удастся в этом месяце дать план... или наоборот, если начальство насыдет, жаловаться на снабжение, на организацию. В общем, всего этого удалось не делать.

Возвращаясь из бухгалтерии, он снова протиснулся боком мимо огромного черного дивана, занимавшего коридор. На диване никто не сидел, и это тоже было удивительно: все-таки день полочки. Наверно, все знают, что деньги задерживаются, и только он не знает. Всегда он чего-нибудь не знает, и тогда из дверей, каких-нибудь из многих этих черных дверей, выходит пачальник, который-нибудь из начальников, пожимает руку: а вы

почему тут? не знали? Лобышев прошел мимо большого дивана, дальше были две самые опасные двери друг против друга: из любой могло выскочить по начальнику — но не выскочило. Он прошел по удивительно пустому коридору, мимо еще дверей и дверей, уже менее опасных, — но как будто бы никого не было, — мимо шкафов с делами, вынесенных в коридор, мимо туалетов «М» и «Ж», мимо... но он уже спускался по лестнице, еле сдерживаясь, чтобы не прыгать через ступеньку, и не прыгал тоже потому, что вдруг на изломе марша, на площадке, — начальник: здравствуйте, товарищ Лобышев; пожмет руку: а вы куда?.. Покурить, только лишь покурить, вот видите: и не бежал вовсе, а шел не спеша — люблю, знаете ли, покурить на воздухе, когда время терпит. Но он уже был на улице, и тут — только бы этот узкий закоулочек пройти: там уже вряд ли кого встретишь...

И он не встретил.

Он шел по Невскому, и совсем было хорошо. Было солнце. И воздух был редкостно прозрачен. Это был тот самый любимый осенний Невский, хотя в той части, по которой он шел, даже деревьев не было — но Невский был осенний. Так он шел и некоторое время еще думал о том, почему и как это так получилось, что он дожил вот и испытывает разные такие чувства, как в коридоре, на лестнице и в закоулке, но погода была не та, чтобы долго думать об этом. Он еще подумал, что странно, что такой уже возникает мотор этих ощущений, что о них и не думаешь, что они как бы во сне проходят, неприятные и свинские, и потом будто бы их и не было. Он обо всем этом подумал, но как бы вскользь, так что его это нисколько не задело, и подумал-то так же: что потом и не вспомнишь, словно во сне, словно это когда-то давно-давно. Во всяком случае, когда он переходил Садовую, он уже ни о чем таком не думал, да и вообще ни о чем.

Тут, конечно же, ходили женщины и девушки, на них можно было посмотреть. Это зрелище тоже было моторным до странности. То есть не как в семнадцать, когда каждая — тайна и каждая может быть твоей. Тут уж, к черту, знаешь ведь, что, может, и каждая... да ведь это невозможно хотя бы потому, что ты один и тебе не семнадцать. Да ведь если не миллион, то не все ли равно, одна или десять? Тогда уж одна. Об этом он тоже подумал вскользь, вроде бы и не подумал. Так себе, шел

и смотрел на женщин и девушек, как привык смотреть: просто так. Да их и было не так уж много: все-таки будний день и время рабочее.

В общем-то, он очень здорово себя ощущал, когда шел вот так по Невскому, по любимому осеннему Невскому, и смотрел по сторонам — воздух-то какой! Свободно и просторно было ему, когда он так шел. Он было подумал, что непонятно, с чего бы это у него такое прекрасное самоощущение, вроде бы никаких оснований: все равно через три часа надо возвращаться в контору, а после этого ехать опять в свою тьмутаракань, в свой отряд, раздавать рабочим деньги и волноваться из-за отсутствия, к примеру, ключа на девятнадцать, из-за которого — тьфу, гадость-то какая! — не отвернуть каких-то там форсунок, без отворачивания которых, в свою очередь... — но думать об этом было противостоестественно, раз уж он так хорошо себя сейчас чувствовал, он инстинктивно понял, что подобным можно все это к черту развеять и потерять и поэтому лучше не думать ни о чем подобном. Все это опять же было вскользь: и воспоминания, и мысль, и мысль о мысли, и то, что обо всем этом лучше не надо, — он вроде бы во все и не подумал об этом. А думал он теперь о том, что вот, хотя никакого возбуждения или тяги знакомиться с кем-нибудь у него сейчас нет, но одетым стоило бы быть получше, потому что он, как приехал из деревни, в куртке и сапогах, домой не заезжал, и теперь на него и не смотрят — только он смотрит. Это было наиболее спокойной и подробной мыслью, чтобы на ней остановиться; домой же тем не менее заезжать не хотелось, потому что — все-таки взрослый человек — глуповато заезжать переодеваться, чтобы возвращаться в деревню, — и все это только из-за того, чтобы на тебя кое-кто просто так посмотрел. Во всяком случае, провинциалом он не выглядит, а что незаметен, то, господи, ерунда какая! Об этом обо всем тоже можно было подумать, но, перейдя Фонтанку, и эти мысли оказались слишком критическими, чтобы задержаться, и потом эти-то, об одежде, были действительно малыми, чтобы на них еще и задерживаться.

Во всяком случае, и здесь я буду точен, перейдя Литейный, Лобышев уже ни о чем не думал, хотя бы и вскользь, хотя бы и стыдливо, без всяких «вроде», — он не думал, не вспоминал, и его нигде не грызло и не тянуло. Теперь уже оставался только любимый осенний

Невский, и шли мимо прохожие, на которых можно было смотреть, и дома, которые можно было узнавать, и ощущение бодрости не исчезало.

Но так тоже долго не проходишь. Полчаса от силы. Что-нибудь да зашевелится, суета какая-нибудь. Надо понимать... Все-таки времени как-никак почти три часа куда-то деть надо. Притом что идти, в общем, некуда. И домой тоже — не к кому и незачем. Да и что там делать, дома? И поскольку думать в такую погоду не приходится, то подвернулась вывеска — «Колизей», что ли, — широкоэкранный кино. А в нем «Одиссей», странствия, что ли, этого Одиссея. Гомер там, Илиада. Никогда не читал. Софокл, Эврипид. Гераклит, Геродот. Демосфен. Бочка. Спартак Джованьоли. Ромул и Рем. Гениальные люди. Имя. Вот ведь не читали, а имя всякий знает. А то еще: читали, а имени можем и не знать. Негениальные люди. А гениальных мы не читаем. Об этом обо всем тоже можно подумать — вскользь.

И к этому времени Лобышев уже взял билет. Один. Это же чертовское удовольствие — взять билет на гадкую картину в будний день и в рабочее время.

Позвонил домой: мама? Да вот, приходится тут в конторе ждать... вряд ли сегодня удастся... да, придется ехать сразу... ну конечно... буду, буду... да нет, не холодно, здоров...

Когда Лобышев вышел из темных касс снова на Невский — даже зажмурился: такой свет и воздух. Глуповато, подумал, идти в кино в такую погоду, куда лучше пойти в сад какой-нибудь, в тот же Летний хотя бы или Михайловский. Но тут опять, где-то в запасниках мозга, не до конца появляясь на свет, мелькает, что в саду сидеть и думать хорошие, быть может, вещи, но потом — вставать и идти и забывать хорошие вещи. Бесцельно это как-то и все-таки нагрузочка — сидеть и размышлять какие бы то ни было прекрасные вещи, само собой, без удовлетворения в конце концов размышлять. Этот-то жутковатый опыт проскользнул в голове Лобышева, как змея, не оставив следа, бесшумно. И Лобышев покидает Невский, такой солнечный и осенний, и, не нарушая равновесия в себе, проходит в темную подворотню кинотеатра, широкоэкранный. «Колизей», что ли?

Да, еще он думал о том, что картина эта неизбежно дурацкая. Сначала он надеялся, что это так себе, назва-

ние такое про Одиссея, а на самом деле это вовсе какой-нибудь итальянский крестьянин, или американский коммивояжер, или французский бедный мальчик, и это именно он, крестьянин, комми, мальчик, странствует и вроде как бы Одиссей, а на самом деле наше время, машины, длинные такие лимузины, подъезжают к своим кафе, и одинокая фигура, дождь, поднятый воротник, сигарета, просторные такие черно-белые кадры, пустырь и газгольдеры на горизонте, листья на асфальте и черные деревья пустых парков, но только он взглянул на кадры, вывешенные в стеклянном ящике, — все стало ясно, что это не словно бы Одиссей, а и на самом деле Одиссей, во всей, так сказать, своей древней полуодежде, цветной к тому же фильм — и у него даже во рту кисло стало от того, какая это будет лажа. Но, в конце концов, все равно бы он пошел в кино. И все равно он получит удовольствие, как бы ни плевался потом. Потому что эти гады умеют как-то что-то такое в тебе задеть так, что ты только с виду, чтобы поддерживать свой вкус, будешь плеваться, а на самом деле получишь удовольствие. Потому что есть же и это пошленькое, на что они, гады, и бьют. Есть у каждого. Об этом-то как раз он думал четче всего. Он и до этого не раз так же думал, и если бы был кто-нибудь рядом, кто мог понять, то он бы сейчас об этом ему и говорил. Об этом он думал как раз, когда проползала та неуловимая мысль о саде, что не стоит все-таки в нем, в этом саду, сидеть. Та самая змея, что изложена выше.

И вот он проходит в темную подворотню кинотеатра, и это чуть ли не первая фраза рассказа, который я собираюсь писать. И теперь наконец я начинаю с нес ради еще одной, единственной, которую я знаю и которая должна быть чуть ли не в самом конце. Так вот, я приступаю к началу рассказа, и если мне до того уже не стыдно, то меня охватывает дрожь, потому что я приступаю. Он проходит и не думает ни о чем, потому что о саде он вроде бы и не думал, а о картине уже все передумал до этого.

Лобышев прошел в подворотню кинотеатра вместе с кое-какой толпой. Потому что оставалось пять или десять минут и уже все стекались. Солнце клином входило в подворотню, и он как раз перешагивал линию раздела, а тело его уже было в тени, как услышал — и за это я могу поручиться, что он услышал именно

это, — он услышал, как за его спиной, за его левым, то есть правым его плечом, кто-то сказал, чей-то голос сказал:

— Скоты! Ах, скоты!

Лобышев не обернулся и, собственно даже, не слышал, только понял, что справа сзади женский голос, молодой.

— Ах, скоты! Скоты!..

Лобышев обернулся и, не разглядывая особо, увидел небольшую крепенькую фигурку, короткую светлокрашеную прическу и молодое, ничего себе лицо. Девушка была почти рядом с ним, и он, слегка обернувшись, сказал совершенно моторно, не задумываясь:

— Это вы мне?

Получилось почему-то не про себя, а вслух, и так громко, что девушка услышала, произвольно так получилось и непринужденно, что ему самому понравилось, как это у него получилось. Такие штуки редко у него получались. Возможно, если бы ему не было стыдно такое беспомощество свое осознать, то никогда они у него не получались, такие штуки.

Девушка взглянула на него. Тут не было ни возмущения, ни желания пройти мимо в этом взгляде, что тоже не могло его не удивить. Девушка сказала:

— Нет, что вы!

Лобышев приотстал на шаг и очутился рядом с нею. Особенно разглядывать ее он не мог; впрочем, ничего неприятного в ней пока не обнаружил. Не мог он разглядывать потому, что надо было как-то умудриться не растоптать огонька этого легкого разговора, что с ней, лобышевской границей, было сделать не трудно. И он сказал:

— А то я думал, это вы мне...

И засмеялся непринужденно. Засмеялся не то слово — так, полухмыкнул.

— Ну, что вы!.. — ласково сказала девушка. И он был бы вынужден повторить: «А я-то подумал, что вы мне!..» — потому что совершенно ничего другого не было в его голове, и так бы он и сказал, если бы девушка не прибавила:

— Что вы?.. Такому симпатичному...

Тут уже все поворачивалось по-новому. Этого он не ожидал. И это же его окрылило, и он сказал:

— Бывает, и симпатичный — а скот.

И вот он, такой высокий и широкоплечий, чуть повернув и наклонив к ней голову, такой маленькой и ладной, и улыбнувшись широко, но светски, добавил с легкой иронией в голосе, которая должна была означать, что он-то знает, и еще должна была означать некую посвященность обеих сторон: мол, они оба знают, — и вот, со всем этим в голосе, он добавил:

— Или так не бывает?

Но надо сказать, что в это самое время, когда он уже сказал «бывает, и симпатичный — а скот» и у него уже было готово продолжение и интонация этого продолжения, разве что он еще не успел продолжить, — они уже вышли из подворотни на свет. Тут что-то в его спутнице показалось Лобышеву непривычным или неприличным, но он еще не мог сказать четко что. Но он уже не мог не сказать: «Или так не бывает?» — он сказал это. Но то, что он увидел на свету и пока не понял, уже стало настораживать его.

Словно почувствовав это, девушка сказала:

— Разве может быть, — тут она сделала паузу, — с такими-то глазами?.. — И заглянула на него и преданно, и восхищенно, можно сказать любовно, или призывно... черт знает как она на него взглянула.

Тут уже Лобышева стало раздражать на две половины: одна половина, которую как бы никто не видел, уже как бы спала с этой девушкой, причем их обоих никто, как и положено, не видел, а другая уже упиралась и отставала, на эту другую смотрели во все глаза люди, много людей, они идут в кинотеатр, смотрели и осуждали, этой второй половине было стыдно и неловко, она хотела стусеваться, исчезнуть.

Но они уже проходили контроль. Он, как и положено впрочем, пропустил ее вперед — даме, так сказать, честь и проход, — девушка сунула свой билет билетерше, а он, как бы пропустив ее вперед, уже готов был ударить с билетом — ну ее к черту, эту картину, — а пойти, скажем, в Летний или там Михайловский сад, и он даже остановился у дверей контроля в неуверенности, но сзади его подтолкнули, потому что всем надо в кинотеатр, а девушка, когда подавала билет, только на него и смотрела, так что в фойе прошла вообще уже спиной — деться тут было некуда, вышло так, что он только замешкался почему-то, ну как вроде ища билет, который сунул неизвестно куда, — он был в кулаке, этот билет, — и вот ему оторвали корешок, и вот он стоит



в фойе рядом с девушкой, ярко освещенный и у всех на виду.

Тут было что-то от того самого сна, когда вдруг оказываешься без штанов. Встаешь, к примеру, чтобы выйти из автобуса, а оказывается, что ты без штанов. В ватнике, к примеру, а без штанов. Тут наверняка было что-то от этого, тем более что есть же что-то и сладостное в этом сне. И тут тоже было: почему-то ведь он все-таки не удрал от девушки и вот стоит с ней рядом, разглядел теперь все — а не уходит. А идет себе без штанов по автобусу. А разглядел он, что короткая ее прическа — и не прическа вроде, а недавно отросшие волосы, к тому же перекрашенные до ломкости, что — задрипаный, в обтяжку, вроде бы мужской пиджак с загибающимися, как собачьи уши, старомодными лацканами, а под пиджаком — ковбойка, тоже вроде бы мужская и давно не стиранная, ну юбка-то, конечно, — юбка, но на ногах что-то невозможное: стоптанное, бесформенное, — и чулок нет. Это ведь, конечно, кто же скажет... И он стоит с ней рядом, и никто не поймет в том смысле, что случайно он тут оказался и просто так себе стоит, — так она на него смотрит. Да ведь где-то он и уходить не хочет. А раз не хочет, то говорит:

— Так кому же вы все-таки говорили, что скоты?

— А как же их еще назвать! Скоты и есть. Совсем бедная женщина, старушка, в очереди, а у нее деньги украли, двадцать рублей. Хоть бы знали, у кого крадут... А то старушка, бедная, в очереди...

— Ну да, — сказал он, — понимаю. Действительно. В очереди...

«Ну что это я? господи! — мучительно подумал он. Что-то извивалось внутри от неудобства. — Старушка... Кретин. Откуда ни глянь — кретин».

Девушка же испытывала другое неудобство. Как будто у нее все там перемешалось под пиджаком и юбкой, и сейчас она старалась, чтобы все эти тряпицы нашли свое место. Она вцеплялась в юбку и в пиджак и, придерживая то, во что вцепилась, перекручивалась всем телом, бедрами и бюстом, и ненадолго вроде бы все садилось на свои места. До следующего раза. От того, что она все это проделывала у всех на виду, она неудобства не испытывала. По-видимому, за нее это с лихвой испытывал Лобышев. Так оно, конечно, и было. И надо было в конце концов, уж если не расходиться вовсе,

то куда-либо скрыться с глаз, а там, в кино, когда уже погасят свет, думал Лобышев, все будет уже ничего.

Они прошли вперед, и он вдруг почувствовал, что она взяла его под руку. Крепенько так взяла, ощутимо. Показался буфет. Там уже сидели и пили свой лимонад и пиво разные люди. Зрители. И это было не то место, где бы сейчас хотел оказаться Лобышев. «Зрители...» — подумал он ядовито. Но девушка уже сказала следующее:

— Жутко хочу что-нибудь съесть. Я сегодня еще не завтракала.

Но тут уж, слава богу, были и обстоятельства: у Лобышева действительно был только рубль. Тут уж он мог такое сказать — были бы деньги, то и не смог, — но тут он сказал с облегчением:

— У меня, как назло, денег нет.

— У меня есть, — сказала она. — На бутерброд.

И они попали в буфет. Тут уж нечего было поделывать. Потому что все мог сейчас проделать Лобышев — одно-го он не мог: показать девушке, что он ее стесняется. И он шел с ней между столиками крохотного буфета, казалось ему, бесконечно долго. И в это недолгое время, что он шел, тяжеловатые мысли вспархивали в его мозг, большие и шуршащие, как совы. Эти мысли, эти совы, были о том, что и раньше бывало вскользь, но теперь они были порезче, так что по крайней мере не приходилось уже сомневаться в их существовании: были они или не были. Были. Были они о том, почему же он стыдится этой девушки, раз уж с ней идет, и как это позорно стыдиться кого-то перед кем-то и гораздо сильнее, чем себя перед собой. И никакого объяснения этому, кроме того, что последнего никто не видит, Лобышев не находил. А уж это вовсе подло, думал Лобышев. Это-то ладно, но то, что он сказал, пока в его мозгу летали эти совы, поразило его еще сильнее.

— Надо же, как неудачно, — сказал он. — Как раз сегодня у меня получка. Но вот получка через два часа, и много будет денег, а сейчас — нет.

«Зачем это я?» — мелькнуло у него. А девушка спросила:

— А кем вы работаете?

Лобышев запнулся, ему хотелось подобрать себе профессию попроще, но ничего не придумал.

— Я начальник отряда... в экспедиции, — сказал он, понял, что хвастается, и добавил: — Денег хватает, — хотел еще что-то добавить, но тут уж смог остановиться и только повторил: — А вот сегодня нет. Вы уж меня извините.

— Мы съедим пополам, — сказала девушка.

— Да нет, — сказал он, — рубль-то у меня найдется.

— Тогда-то что, — сказала девушка.

А уже если так, вдруг уничтожающе подумал он, то тем более — сволочь... Ведь вот для нее рубль, может, целый день житья. На эту свою мысль он совсем уж рассердился, достаточно тонко все-таки почувствовав хамство такой мысли, несовременное причем хамство.

Они сидели за столиком. Девушке вышло даже два бутерброда. И еще по бутылке пива. Пока девушка ела и молчала, Лобышеву становилось вовсе не по себе — уж лучше бы они говорили, — а так было совершенно непонятно, почему он сидит вот тут с ней и чем-то уже связан: уйти не может, — неотвязность сна. Теперь он подумал: раз уж он сидит с ней, то должен быть в этом человек. Человека же он в себе сейчас не находил. И тогда его бесило: от кого же и от чего же он сейчас зависит, что так скован? Неужели из-за этих, за столиками? А почему, собственно? Тогда он начинал понимать, насколько же он не властен в каждом шаге, движении и слове, хотя вот ведь день за днем живет в уверенности, что все-таки передвигается, говорит и делает сам — а нет, не сам. И тогда становилось понятно, что это, по-видимому, целая жизнь у него такая, что он сегодня так не властен. И где-то очень далеко тот хвостик, с которого надо было бы пережить заново, чтобы иметь сейчас свободу. Эта мысль кружила над ним, но девушка все съела, засмеялась и, потягивая пиво, сказала:

— Вот вы меня и устройте на работу. Ведь вы можете?

Лобышев охотно отпустил мысль, отвлекся, так сказать, и с какой-то даже серьезностью и убедительностью, которых бы не мог объяснить, если бы их осознал, сказал:

— Отчего же, могу. Но только стряпухой. Стряпуха нам нужна.

— Так мне хоть кем, — сказала девушка, — лишь бы на работу.

«Чего это я? Так же нельзя...» — спохватился Лобышев.

— Тридцать рублей всего, — сказал он, отступая.

— Это все равно, — сказала девушка. — Мне лишь бы на работу. — Она положила руку ему на колено и, так опираясь, наклонилась к нему:

— Устроишь?

— Отчего же, — замылся Лобышев. — А какая у тебя вообще-то специальность? — Даже с ней переход на «ты» был для Лобышева, как на американских горах: перехватило дух.

— У, — сказала она, — специальностей у меня хватит! Я могу быть токарем, маляром, поварихой и, — она все не снимала руку с лобышевского колена, — женщиной... — она засмеялась.

Лобышев тоже засмеялся. Уж теперь-то точно встал в автобусе, оказался без штанов и идет по проходу. Так и замерло. И почему-то стало легче. Девушка смотрела на него и не снимала руку с его колена. А какой-то чертик все раскисал в Лобышеве. Он вроде бы ничего и не видел. А только приговаривал:

— Это сначала надо проверить... — и смеялся гаденько, так гаденько, что уже не мог бы заметить этого, потому что заметить это — было бы слишком для него тяжело. — Это сначала надо проверить, — говорил он.

— Так возьмешь? — сказала девушка.

— Это можно, — сказал он и хотел что-то спросить, или добавить, или подумать — но тут прозвенел звонок. Девушка встала, взяла его за руку, вытянула смеясь со стула, и они направились в зал.

Места у них были разные. Они стояли в проходе, выжидая, когда все рассядутся. Она держала его за руку и не выпускала. А ему опять стало несносно. Он, как ему казалось, изрешеченный взглядами всего зала, все порывался сесть на свое место: все равно, мол, свободных мест не будет, — а представить, что ему придется кого-то просить пересесть и при этом все станут разглядывать друг друга, было страшно. Но она удерживала его, люди рассаживались, а они стояли в проходе.

Им удалось сесть вместе, когда погас свет. Вернее, ей. Она сразу же забрала его руку. Был какой-то журнал про китайские вазы. Очень много китайских ваз. Он чувствовал себя наконец спокойно, почти хорошо. По-

тому что они не стояли больше в проходе, было темно и никто не мог его, Лобышева, видеть. Ему, в общем, было приятно, как она обращалась с ним в темноте. И вазы ему нравились.

— Правда, красивая?— сказала она.

— Правда.

— Ты бы хотел иметь такую дома?— сказала она.

— За такую вазу можно жизнь не работать...— сказал он внезапно для себя и, пока говорил, уже испытывал противность, но выговорил до конца. Такого он за собой не любил: говорить чужие слова, в тон. Но тут и она сказала кое-что для равновесия:

— А как ты относишься к абстрактной живописи?

Он несколько обалдел. Посмотрел искоса.

— Ничего отношусь,— сказал он. «Боже,— подумал он,— ведь до чего дошли... Что же это за жуткий опыт такой она приобрела, что со мной про абстрактную живопись заговаривает?..»

— У меня был один знакомый...— сказала она и пожала ему руку.

Теперь его больше всего мучило, что после журнала их сгонят с места и опять начнется то же, и они будут торчать в проходе. Только бы без перерыва, думал он. Тогда не сгонят. Только бы не зажигали свет. Иногда не зажигают.

Журнал кончился, свет зажегся, и их согнали.

— Придется идти на свои места,— сказал он.

— Пойдем,— сказала она. И повела его за руку к своему месту.

Все места рядом были заняты.

— Ну вот, видишь, только одно,— сказал он.

— Мы сядем на одно,— сказала девушка. И она действительно села и подвинулась, освобождая часть стула. Она тянула его за руку, а у нее были соседи слева и справа. Они смотрели, и хуже Лобышеву не бывало.

— Нет,— сказал он,— так я не сяду.

— Ты хорошо поместишься,— сказала она.

— Нет,— сказал он,— так нельзя.

Свет погас.

— Садись же...— громко прошептала девушка.

Парень рядом встал. «Скандал начинается»,— уже равнодушно подумал Лобышев.

— Садитесь на мое,— сказал парень.— А я сяду на ваше.

Они обменялись билетами, и хороший парень ушел. Лобышеву снова полегчало. Снова стало почти хорошо. На экране начиналась вся та клоунада в греческих одеждах, которую и следовало ожидать. Востроносая Пенелопа не хотела выйти замуж, она ждала Одиссея. Девушка положила руку Лобышева себе на колени. Женихи Пенелопы вели себя неприлично, не совсем, впрочем, понятно почему. Они обижали сына Одиссея и Пенелопы, скромного мальчика. Появлялся утконосый Антиной и вел себя как мужчина. Против нарочито бездарных женихов он был просто прелесть. Душка. Сильная такая душка. Символизировал собою соблазн. Девушка гладила себя рукой Лобышева. Наконец появлялся и сам Одиссей, рыжий супермен, жидковатый, впрочем, для супермена. Но мужчина.

Картина между тем начинала увлекать. Глядя на Пенелопу, Лобышева переставало интересовать колено девушки. Хотя Пенелопа и не была уж так поразительно хороша. Но это ведь только за счет того, что в жизни и в кино мы по-разному меряем красоту. Для жизни Пенелопа была очень даже ничего. А когда она изменила цвет волос и стала Цирцеей, так просто, можно сказать, похорошела необычайно. Девушку, по-видимому, тоже интересовал Одиссей. Они с Лобышевым как-то согласно отпустили, освободили друг друга.

И Лобышев смотрел и думал о разных вещах. Как ни бездарно, по-школьному старательно, делали этот боевик, все-таки Гомер, наверно, недаром прославился. Взять хотя бы сюжет: за ним вставало многое. Хотя никак не отделаться от безобразности всего этого с точки зрения чисто человеческой. И до странности кое-что схоже. Недаром же мы живем в эпическое время. Только не помпезность мера эпичности. А вот это хамство и предательство хитроумного Одиссея. Совершенно ведь игровой современный парень. Максимум самоотверженности — привязать себя к мачте, чтобы послушать сирен. Самоотверженность эта — не больше жажды острых ощущений: наслаждение то есть. Привязать-то себя попросил... Так что в конечном счете выиграл. Ну и сирен, конечно, бездарно сделали: ясно, что дальше электрогитары пойти не могли. И вот Одиссей совсем уж нечеловеком становится, когда говорит этой молоденькой девочке, дочке какого-то царя: я все вспомнил, я ухожу и унесу эти ваши слезы. Кэтч в Древней Гре-

ции — это еще ничего. Вино для этого одноглазого черта Полифема тоже месяц неплохо. Только жалко его, беднягу, что глаз ему выжгли и он не передал герою. Но вот это уж вовсе бездарно, как они сделали представителей из царства мертвых. Гениальное же дело, когда выходит вот такой мертвяк и говорит, что там хуже плохого, в этом царстве. Больше ничего не говорит, говорит только, что там очень плохо. Эта-то вот вроде бы беспомощность средств, никаких там устрашающих описаний — это же действительно страшно. Это-то, наверно, Гомер придумал. А тут — напустили какого-то холодного пару, подзеленили лица... Но, в общем-то, время-времечко эта Эллада. Сильные людишки. Человеческих нет. У нас хоть, от нашего-то эпоса, какая-то человечность очевидной стать может. Чаплин, к примеру. А тут — словно так и надо, будто это-то и есть что-то лучшее в людях — их сила. Слабаки, в сущности, они чрезвычайные.

А потом пошло уж вовсе безобразие. С этим луком. Вроде бы Одиссей что-то понять должен, когда он нищий и в него вином женихи плескаются. Нет, оказывается. Просто он дожидается момента, чтобы с ними лучше расправиться, чтобы вроде оправдание иметь своей жестокости через их свинство, но больше. А сам был хамом — хамом и остался. Только Одиссей — хамгерой, он — наверху, оправдан, ему симпатизирует гениальный слепой Гомер. Вот как.

А в общем, и не так. Смотришь. И чувствуешь себя Одиссеем. Таким же сильным, и храбрым, и красивым. Он не тонет и не гибнет. Его любят бабы. Они любят тебя в образе Одиссея. И все у тебя здорово кончается. И ты обнимаешь верную Пенелопу, которая обкрай не наставила тебе рогов. И зажигается свет. И надо выходить из кинотеатра. В твою обыденно-эпическую действительность.

Лобышев очень удивился, когда обнаружил девушку рядом с собой. Странными тенями замелькало в его мозгу воспоминание о ней. Казалось далеким. И когда он выходил на свет и затягивался сигаретой, и выходили прочие люди — они шли рядом, но это дурной сон — он боялся взглянуть на нее, чтобы она не стала явью. Не Пенелопа. Ты-то все-таки немножко Одиссей, выходя из кинотеатра.

На этом мучительном свете он не знал, что же теперь делать. Но идти с девушкой рядом и выходить вот сей-

час на солнечный Невский он не мог. Господи, кто же это тянул его за язык!

Девушка посмотрела на Лобышева, как-то просто она это сделала, без вызова, — и под руку его не взяла. Они прошли в тот же туннель подворотни, где впервые увидели друг друга. Девушка шла сбоку и заглядывала сбоку. Она словно поняла, что Лобышев отдаляется совсем, но еще надеялась... Лобышев шел рядом, каменный.

— Ну как тебе понравилась картина? — сказала она, заглянув сбоку.

— Ничего, — процедил он.

— А женщина?

— Какая женщина?..

— Пенелопа.

— ...Н-ничего...

— А ты бы хотел иметь такую женщину, как Пенелопа?

Лобышеву стало плохо и жалостливо, он даже неуверенно тронул ее за руку. Но движение так и осталось непонятым, смазанным, незавершенным. Девушка заглядывала сбоку, чего-то ждущая...

Но солнечный свет ударил в глаза.

Они вышли на Невский. Шли нарядные люди. Женщины среди прочих. Девочки. Лобышев остановился. И она рядом, маленькая и задрипанная. Кто-то на них посмотрел. Кто-то, наверно, что-то сказал. Он сам-то не расслышал. Но наверняка кто-то что-то сказал.

— Что? — сказал он машинально, все еще не понимая, что же ему делать, и как-то остро взглянул на девушку.

Она озиралась, словно бы не понимая, куда попала. Что-то детское было сейчас в ее лице, растерянное и пронзительное. Казалось, она стыдилась себя и чувствовала виноватой — такое было лицо. Все эти люди, прохожие, и он, Лобышев, были правы, а она — нет. И мир выталкивал ее из себя — такое было лицо. И если бы не он, Лобышев, — такого бы не было у нее лица. Все это, только в едином ощущении, увидел сейчас Лобышев. Но это было слишком грандиозно для лобышевского сознания — врывалось и опрокидывало. И главным все-таки оставалось то, что ему стыдно стоять с ней сейчас на Невском. И когда и то и это смешалось вместе, Лобышеву стало страшно.



Он увидел тогда в ее руке что-то, чего раньше не видел. Зеленую тряпицу. Откуда бы она ее достала... подумал он. Тряпица была вязаной шапочкой. В шапке были бигуди. Девушка доставала бигуди из шапки и рассовывала их по карманам. Пиджак был в обтяжку, и карманы уродливо оттопыривались. Когда шапочка опустела, девушка натянула ее себе на голову и старательно спрятала под нее короткие свои волосы. Трудно было представить, где она это сокровище откопала. Страшно было смотреть. Лобышев не знал, куда деться. Рядом, в парадной, он увидел телефон-автомат и, промывчав что-то неясное, юркнул туда.

Девушки отсюда видно не было. Задыхаясь, он опустил монетку. Монетка провалилась. Снова опустил. Искося поглядывал в дверь: девушки видно не было. Монетка снова провалилась. Сзади остановились две совсем юные девочки, одна хорошенькая. Стояли ждали, когда он позвонит. Девушки видно не было. Лобышев отошел от автомата. Девочки заняли его место, щебеча. Выходить на Невский не было сил. Он отошел в глубь парадной. Обернулся — в дверях был солнечный прямоугольник Невского. Шли люди. Стоял напротив дом. И проезжали машины. И вдруг посредине прямоугольника, как в раме, как в кадре, появилась девушка. Она-то была очень хорошо видна, освещенная. Он был в тени. Она меня не видит, подумал Лобышев. Но это было ясно, что она его тоже видела. Иначе бы она так не смотрела. Как-то очень спокойно, очень понимающе и без вызова смотрела она. Выйти на Невский он был не в силах. Он поманил ее в парадную. Пальцем. Судорожно как-то, тайком — словно бы и не поманил: просто почему-то непонятно двинул рукой. Девочки все еще звонили по автомату. А она стояла в своей раме и не двигалась. Лобышев покосился на девочек и отступил еще вглубь. Она не двигалась — смотрела. В чем дело? в чем дело... подумал Лобышев и еще раз поманил, четче. Девочки выпорхнули на Невский. Она словно бы помедлила и прошла.

— Ну что? — сказала она. Что-то скованное и опущенное стало в ее фигуре.

Он молчал словно бы в сосредоточенности.

— Как же нам с тобой быть? — сказал он.

— Ну, это вам виднее, — сказала она равнодушно.

— Как же нам все-таки с тобой быть?.. — говорил он, словно бы в раздумье растирая лоб. «Господи, — ду-

мал он, — неужто это никогда не кончится?.. Ведь она же ни о чем не заикалась уже, почему же я снова взялся за это? Как же мне теперь-то быть... Ведь я же ничего, ничего не стану делать для нее, даже если бы мог!»

— Что же нам с тобой делать?

Надо это как-то кончать. Сказать просто: извини, это свинство, конечно, но это все был треп. Я ничем не могу тебе помочь.

— Я попытаюсь, — сказал он. — Без паспорта это, конечно, очень трудно, но я попытаюсь.

«Какой же я стал свиньей!» — безнадежно подумал он.

— А как же я вас найду? — спросила она в той же грустной деревянности и чуждости.

«Господи, черт! помоги мне», — подумал он и сказал:

— Я сегодня выезжаю на место работ. Меня тут не будет. Вот что, ты приезжай прямо к нам. Это пятьдесят третий километр. Станция так и называется. Там спросишь нашу базу. Всякий скажет.

— ...Когда же? Когда же тебе приехать? — Он тер себе подбородок. — Надо в течение рабочего дня. До пяти. Приезжай в четверг. Я буду на базе.

Девушка словно что-то поняла. Лоб ее разгладился.

— А ведь я приеду, — сказала она.

— Приезжай, — уже с трудом и тихо, глотая концы слов, говорил он. — Я не ручаюсь, но попробовать можно. Ну, ты иди, иди. Мне еще надо позвонить. — И он стал рассматривать половицу. По-прежнему тер подбородок.

Девушка взглянула на него удивленно.

— До свиданья, — как-то странно, полувопросительно и словно уже издали прозвучал ее голос.

Лобышев поднял глаза — она удалялась. Тысячу лет она удалялась. Коротенькая, в пиджачке и шапочке, она чернела, подходя к дверям. Она все время была в этой солнечной раме, пока уходила, — там был Невский, шли люди, стоял напротив дом и проезжали машины. Девушка уходила и не оборачивалась. Вроде она должна была бы обернуться. Она не оборачивалась. Надо было крикнуть, остановить — но такого Лобышев даже представить был не в состоянии. «Как же... как же я буду с этим жить? — мучительно думал он и в то же время

ждал, — скорее, скорее бы она наконец ушла из этой парадной. И все бы кончилось». А она все шла в этом прямоугольнике, чернела, подходя к дверям, — и вдруг исчезла, ушла.

Лобышев еще постоял в парадной. Выждал. Вышел на Невский. Солнце. Девушки не было. Ему вдруг стало так пусто и легко, словно он взлетит сейчас в воздух, как опущенный шарик. Он почти подавился — так сильно, со свистом, глотнул этот прекрасный осенний воздух. Страх прошел. Это он понял вдруг, что его нету, и тогда же он понял, что только что этот страх был. Волнами все стало возвращаться к нему. И тогда ему стало тошно. Ничему и ничем уже нельзя было помочь. Где она, эта платформа пятьдесят третьего километра, на которой он и не был ни разу?.. Поняла она или не поняла? Он вспомнил ее последнее лицо и подумал, что поняла. Это его не успокаивало. Он шел, и ему казалось, что все его видят, столь освещенного солнцем, что все это у него на лбу написано.

«...Ведь это же я делаю каждый день! Больше, меньше, но каждый день», — думал Лобышев.

И как давно забытое ощущение было, что думал не вскользь, не как бы, не вроде, не забывая, не в полусне.

1962

## ИНФАНТЬЕВ

*Резо Габриадзе*

Когда именно начал Инфантьев служить в этом НИИ, никто не знал хотя бы потому, что знать такие вещи было как раз в его ведении. Казалось, он служил тут всегда. Как-то странно, но его вообще никто не замечал и не запоминал все эти долгие годы. Говорили, что он знает свое дело.

Инфантьева заметили вдруг, когда он стал начальником отдела.

Собственно, тогда и начали составлять мнение об отношениях Инфантьева с женой. Ведь она служила в том же НИИ, правда, давно, сразу после войны, и недолго. Но таких старых сослуживцев оставалось немного: в последние годы поколение стремительно уходило на пенсию, да и помнило оно уже плохо. Помнили, что бы-

ла она моложе Инфантьева, тоненькая, хорошенькая, черненькая, и еще какую-то глупость, что носила серги-обручи, как цыганка. Помнили, что была она веселая, живая, хотя ничего такого, чтобы пришлось ее осуждать, вроде не было. Больше, пожалуй, ничего существенного. Тем более что с тех пор никто ее не видел, и какая она стала теперь, никто не знал. Впрочем, все не помолодели же за эти годы...

В общем, жалели, что не были в свое время более внимательны. Потому что с точки зрения сослуживцев отношения Инфантьева с женой были нехороши. Об этом можно было судить хотя бы по тому, как он разговаривал с ней по телефону. Во-первых, он был с нею на «вы» и называл Натальей Владимировной. Во-вторых, ответы его были отрывисты и грубы: «Что вам еще нужно? Нет, нет, нет! Занят. Да. Да...» В-третьих, нехороши.

Хотелось бы знать больше, но Инфантьев был довольно угрюмый и одинокий по характеру человек и ни с кем не делился. Что там стряслось у них в свое время, что привело к таким вот последствиям — приходилось только гадать.

Но и эти догадки однажды стали вовсе несущественны.

Однажды на инфантьевском океанском столе раздался звонок, и Инфантьев, степенно сняв трубку, вдруг совершенно изменился и сказал: «Да, Наточка... Как ты себя чувствуешь?.. Сейчас приеду...» — и тут же собрался и, никому ничего не сказав, поспешил из комнаты. Сидевшие у него посетители всполошились необычайно. Слух мгновенно разбежался по НИИ. И тогда все до одного вспомнили, что Инфантьев в последнее время был не такой. Уже месяц — нет, два — нет, полтора — хорошо помню, когда мы еще в культпоход ходили... То есть все просто удивились, как они сразу не догадались. Ведь так часто за последний месяц-полтора-два он срывался и исчезал в середине рабочего дня! Другие говорили, что Инфантьев всегда был скрытный человек — и ничего странного. Третьи говорили, что жаль его — такое горе! — хотя, какое горе, еще и не знали.

Так все выглядело со стороны.

---

А горе было в том, что у жены Инфантьева был рак груди. Случилось это уже полгода назад. Инфантьев понимал, что это не только больно и опасно, но что для женщины это и еще нечто большее. Он жалел жену и, когда она вернулась после операции, старался сделать так, чтобы она как можно скорее забыла о перенесенном. Понимал он это по-своему: он старался не давать ей раскисать и сосредоточиваться на болезни и поэтому вел себя так, будто ничего не случилось. Жена по-прежнему должна была заниматься по хозяйству. И если он видел, что она сидит отключившись, опустив руки и смотрит никуда, то сразу соображал что-нибудь, как ее занять или отвлечь. «Пришейте мне пуговицу», — говорил он, например. Но конечно, в этом было и желание сохранить многолетний порядок. Впрочем, не все удавалось в точности, как прежде. Например, Инфантьев скрыл от жены, что их дочь ушла из вуза. Он знал, как много это значило для жены. Раньше он никогда бы не стал что-либо скрывать только потому, что это может быть больно жене и надо ее щадить, — но тут скрыл. И именно поэтому дочь не понимала толком семейное горе, а не только по молодости. А Инфантьева особенно сбивало с толку, что вот так все сразу: и жена, и дочка.

А потом жене было уже так плохо, что метода: все, как прежде, и не давать раскисать — перестала действовать, и жена снова оказалась в больнице.

Там уже ничего делать не стали. И довольно скоро Инфантьев с дочкой пошли в больницу, чтобы привести Наталью Владимировну домой. Наталья Владимировна ни за что не согласилась ехать домой на чем бы то ни было: от запаха автомашин она задыхалась, и ее тошнило. Называлось это «метастазы в легком». И они шли пешком. Было достаточно далеко, и практически они с дочкой пронесли ее всю дорогу, держа с двух сторон под руки. Был ясный морозец, и с ясного дымчатого неба падал редкий, по одной снежинке, легкий снег.

Потом — Наташа, Наточка, ты — она уже не вставала. Дочка каждое утро отправлялась куда-то: для мамы — в институт. А Инфантьев, Инфантьев... он, небольшого роста, худой человек, с прилизанными, серыми, более уже седыми, волосами и светлыми, пустыми глазами — Наташа, Наточка, ты, — слышали, как он говорил по телефону и срывался с места: сейчас, сейчас.

Конечно, уже никак нельзя было, не удалось бы не дать жене почувствовать, что она больна, ни прикинуться: мол, все, как прежде. Наташа, Наточка, ты...

Похоронили ее на очень красивом кладбище, лучшем в городе. Оно уже давно как музей, и захоронения там производятся в исключительных случаях. У Инфантьева достало связей добиться. Кладбище это — над озером: холмистый высокий берег в соснах. И по склону, к озеру, между соснами — могилы, могилы. А на вершине холма — собор старой постройки. Это замечательное кладбище: совсем не тяжелое от него впечатление, а даже какое-то живущее — может быть, хорошо грустное, а может, даже радостное. А главное, могилы, хоть и очень тесны, но не загораживают, а спадают вниз по склону. И весь вид: склон, сосны, озеро, и противоположный его далекий берег в лесу, и парашютная вышка справа — все это видно даже прежде могил. А если небо чистое, и солнце, и сосны шумят, и в воде отражаются клубки облаков — нет тут смерти. И солнце садится за тем далеким берегом, и его, уже горизонтальные, лучи просвечивают весь склон, все могилы, все кладбище до самых сумерек.

Светло тут как-то и просторно.

Когда ее хоронили, была какая-то определенная погода, но он не запомнил какая. Он помнил, что погода была особенная, но была ли она радостная или печальная — этого он не помнил.

Вообще, когда он вспоминал потом, этот день уподоблялся пунктиру или очереди: в нем было три черточки, три картинки, три пули, — остального он не помнил — три кадрика утерянной ленты. Но и эти три не умещались в его сознании, разрывали и потому были даже как бы не о нем, Инфантьеве, а о другом человеке, очень вроде бы на него похожем, но все же не о нем. Инфантьев представлял себе эти картинки всегда с некоторым недоумением. Они возникали в его мозгу помимо его воли, внезапно, всегда только три вместе и только в этой последовательности...

Легко сказать: он чувствовал себя потерянным... «Где бабушка? Где бабушка?» — заговорили вдруг. Инфантьеву показалось, что все повернулись к нему, смот-

рят, спрашивают именно его. «Хорошо, я сейчас...» — сказал он и побежал назад по узкой тропинке между могилами. Тропинка, по которой только что с трудом протискивалась их процессия, была теперь пуста. Инфантьев бежал по этой дорожке, посыпанной ярким желтым песком, и по мере удаления от своих им овладевало странное и невнятное возбуждение. Он бежал словно мальчик по поручению взрослых, задыхаясь от ответственности и доверия — такое забытое чувство, — и одновременно он, конечно же, убегал от процессии, потому что там происходило что-то явно постороннее, не имевшее к нему отношения, и непонятно было, зачем он участвует, д о л ж е н участвовать в странных передвижениях людей с длинным ящиком, заключившим в себе... нет, конечно же, нет! — неведомо что. Инфантьев убегал.

И вдруг он как бы споткнулся и замер в позе неустойчивого равновесия, наклонившись вперед, как бежал, и все не падая. Процессия надвинулась на него, Инфантьев поспешно отступил за обочину, встал в маленькую канавку, на прошлогодние листья, поймал чей-то осуждающий, укоризненный взгляд и потупился. Никуда-то он не убежал, а сделал круг и попал опять в свою же процессию. Осторожно поднимая взгляд, он увидел перед собой священника — тот шел впереди всех с нелепым выражением суетности и лени одновременно на широком лице, помахивая кадилом, шел какой-то подавленной походкой, медленнее, чем хотел, словно боясь убежать вперед от крышки, которую несли за ним следом, и от гроба, который несли за крышкой. Тут Инфантьев смог сказать себе слово «гроб», потому что с облегчением понял, что это была другая процессия, не его, что просто на него затмение нашло — глупо было даже так думать. Конечно же, это не его процессия — у них священника не могло быть... Тут какие-то обрывки соединились в его мозгу, он сразу все понял и нетерпеливо переминался, пока миновала процессия, и как только она миновала, то и открылся ему тот освещенный пятачок с клумбой посередине, что замыкался той самой старой церковью, голубой купол которой был виден отовсюду. И ворота церкви были открыты. Инфантьев перебежал пятачок и в два прыжка преодолел лестницу, полы его распахнутого пальто развевались. Взбежав, он приостановился, ничего не различая после света в темной глубине церкви, полы его пальто опали, и, как бы

сложив крылья, он тихо проскользнул внутрь. Пожалуй, он ни разу в жизни не был в церкви, про себя он сказал «не был внутри». Неосознанным движением он поднял голову и посмотрел вверх: оттуда шел пыльный свет, больше он ничего не различил. Спohватившись, Инфантьев опустил голову и вытащил руки из карманов пальто. Вытащив, он не мог уже ничего с руками поделывать, не знал, куда их деть. Он различил небольшую толпу темных фигур, силуэтов, они группировались вокруг некоего центра — и это опять был гроб. Узкий столб света рассекал весь этот тенистый объем надвое. «Как меч...» — сказал себе Инфантьев. Он по-прежнему возился со своими руками, то складывая их на животе, то за спиной, то отирая их тайно платком. Люди толпились, как бы даже клубились, попадая в этот узкий луч, клубились, как пыльный свет. «У них общее горе...» — заторможенно подумал Инфантьев. С удивлением он отметил, что все эти люди чувствуют себя много свободнее, чем он сам. «Они же верят, а не я...» — с удивлением сказал себе Инфантьев, отмечая отсутствие того трепета и молчания, какие ожидал здесь увидеть. Наоборот, здесь наблюдался гул и разброд. Эти люди с общим горем вели себя, как показалось Инфантьеву, слишком свободно. Лишь кто-то один чересчур убивался, почти выл, — старая женщина без лица. А кто-то сморкался громко, двое оживленно переговаривались, грузная старуха становилась на колени и очень долго устраивалась, шурша и возясь. Передавали какой-то сверток. Чего-то ждали. Какая-то нелепость стала вдруг ясна Инфантьеву — он наблюдал, впрочем, это все последние дни, — но только сейчас понял. Это была, пожалуй, и не нелепость, а просто крушение некоего неточного представления, которое почему-то было в Инфантьеве, а именно, что горе люди переживают очень совместно, одинаково, слитно, что у глубокого горя есть лишь одно выражение. И вот теперь, наблюдая этот разброд в ожидании вокруг гроба (причем, чего они ждали, Инфантьев понятия не имел), наблюдая этот разброд и даже нетерпение, казалось бы, кощунственное, отмечая в себе, неверующем, даже как бы большее благоговение и трепет, чем было видно по лицам верующих, не зная, куда деть свои руки, Инфантьев вообще обо всем позабыл и удивлялся — и вдруг увидел бабушку. Она стояла, черная, неотличимая от других старух, у самого гроба, тихо склонив набок сухую свою головку, размеренно поднося комочек



платка все к одному глазу и медленно шевеля губами. Инфантьев быстро шагнул, полы пальто опять шевельнулись — он как бы привзмахнул крыльями. Он обходил эти темные, вдруг остановившиеся для него фигуры, приближаясь к бабушке. «Надо же,— повторял он про себя с тихим недоумением.— У чужого гроба... Надо же...» — говорил он, а она все не двигалась с места. «Пойдемте же... — говорил он, впервые в жизни называя тещу маменькой, не мамой, а именно маменькой.— Неудобно,— сказал он, почему-то краснея.— Нас ждут». Бабушка, наконец узнав его, засуетившись, прятала комочек платка в рукав и бочком отходила уже от гроба, потупляясь, как вдруг пронесся как бы общий вздох и умолкание — вышел человек в рясе. «Поп... священник...» — Инфантьев не знал, как его назвать. Красивый низкий голос поплыл снизу вверх в пыльном узком столбе света. И люди, бывшие тут, вдруг поразили Инфантьева. Исчез разброд, и внезапно возникла та самая общность, которую так наивно, исподволь ожидал увидеть Инфантьев в людях, имеющих общее горе. И вот они как бы склонились и потянулись одновременно в одну сторону, в общем молчании, внимая. Они вдруг замерли, сориентированные в одном направлении и устремлении, они были теперь что-то одно, слитное. Но в этом уже не было горя, и это еще изумило Инфантьева.

Потом следовала вторая картинка. Он стоял на краю, ему надо было первому бросить горсть земли. Все как бы отступили, исчезли, их не стало. Он стоял на краю, и впереди ничего не было. Только ровный свет вдруг разлился кругом, пробилось солнце. А Инфантьев все стоял неподвижно на краю и как будто слушал музыку. Она упала на него вместе со светом, протяжная и медленная, одинаковая и как бы без конца повторяющаяся. Сверху вдруг пошел легкий снег, а люди отступили и как бы разлетелись. И этот снег с солнцем, и протяжный музыкальный звук, и какое-то безмерное разбегание от него, как от центра взрыва, убегание, отдаление от него всех остальных людей в далекую, все убыстряющуюся и разворачивающуюся бесконечность, словно дунули на одуванчик — и он разлетелся во все стороны... И вот он все стоит и стоит на краю, и впереди ничего — молочная пустота, и снег с солнцем откуда-то сверху и непонятно откуда, и странное разбегание поворачивающихся лиц за спиной и удаление их в беско-

нечность — и вдруг сырым звуком упала на крышку земля. Свет, свет, свет...

И потом уже третья... Когда Инфантьев, подталкиваемый и поддерживаемый кем-то, должен был идти назад, по-видимому, домой... Натальи Владимировны теперь не было. Инфантьев стоял в самом низу склона, почти у воды. Полоска желтого песка — и озеро. Никаких могил перед ним, лишь ее темный холмик. И вот, когда он повернулся (его повернули) идти назад, вверх по склону, то вдруг увидел соседнюю могилу и удивился. Туповато замер, разглядывая. Она была обнесена сеткой с крышей: не то домик, не то веранда. В домике были красивая плита и небольшой обелиск в головах плиты. В обелиск был вделан портрет молодого усатого мужчины с приятным и умным лицом. Но, по плите судя, умер он пятидесяти двух лет, так что так хорошо выглядеть не должен был бы. Это была, по-видимому, более ранняя фотография. Рядом с плитой была аккуратная скамеечка, все было в самом аккуратном виде. А на плите, и это было удивительнее всего, расклеивал конфету живой воробей.

После похорон Инфантьев долгое время был не в силах посетить могилу жены. Только весной, когда уже сошел снег и был удивительный день, он поехал. Узнать про памятник.

Пока он ехал, а ехал он долго, на трамвае, и выехал уже за черту города, и скоро было выходить, откуда-то нагнало туч и потемнело. Инфантьев заметил это вдруг: было солнце — стали сумерки. Он удивился, что не заметил этого раньше, и, только удивившись, понял, что всю долгую дорогу был словно погружен куда-то. То есть теперь он не мог вспомнить ни как он ехал, ни что видел из окна, ни тех, кто входил на остановках. И тут он понял, что ни о чем таком, о чем можно было бы так задуматься и погрузиться (во что? куда?), он не думал. Да, действительно, в общепринятом смысле не думал. Но был же весь поглощен? И тогда он вспомнил чем. И тут же смутился и даже покраснел и обернулся налево-направо, словно могли что-нибудь за ним заметить. Но пассажиры ничего не подозревали. И вообще их было трое. И дремал кондуктор. Собственно, это было глупо, что Инфантьев озирался. Он тут же это понял, что ничего на лбу у него написано не было.

Если бы не это внезапное потемнение, подумал Инфантьев, я бы ничего такого за собой не заметил, а просто бы вышел и забыл все, что происходило в моем мозгу за долгую дорогу. Надо же... Нелепо это все.

...Такая долгая дорога — и Ната, вдруг она входит в трамвай, а за окнами, в обе трамвайных стены, — небо (трамвай ползет по горе), и сосны, они шумят, а она входит, тонкая, неслышная. Входит, и — что же? — вдруг ему страшно так. Нет, она живая. Но именно потому, что солнце, и небо, и сосны, и трамвай ползет в гору, он кричит, но, странно, — он молчит. Только рот приоткрыт и молчит. А она палец к губам поднесла и на него смотрит, и к нему идет. Неслышно так. Но никто из пассажиров даже внимания не обращает: та смотрит в окно, этот дремлет. А Ната подходит и говорит: «Ну как ты?» А он хочет сказать, что плохо, плохо все, нехорошо... «Ничего, — говорит он, — скучно нам без тебя». — «Это хорошо, — говорит она, — это хорошо». Но Инфантьев как-то странно чувствует, что все нормально, естественно и что в то же время не может быть, все это невозможно, чтобы было еще какое-то «там». А так это просто и нужно — «там»... «Ну как там?» — спрашивает он почему-то робко и шепотом. «Что там?» — спрашивает он с необычайным любопытством, страхом и уважением, особым уважением к человеку, который знает это наверняка, а сейчас и он, Инфантьев, наконец узнает правду. «Что там?» — спрашивает Инфантьев. «Вот», — говорит она и показывает рукой в окно. Он смотрит в окно: там голубое-голубое небо (трамвай ползет в гору). «Да», — вздыхает он. Оборачивается — и нет Наты.

Что ж, если сейчас сумерки и поэтому он вдруг заметил за собой такие вещи, то ведь и раньше было... Вот сидит он дома и думает: то, что Ната умерла, это так нелепо, что и быть не может. Тем более похороны, кладбище — все это ушло (потому что противоестественно, чтобы такое задержалось), ушло, и потому просто почему-то долго нет Наты. Сидит он за столом — и не обернуться, потому что вдруг пронизывает мысль, почему бы ей сейчас не войти, очень просто — войти и сесть рядом; он и не удивился бы. И тут звонок. Инфантьев побелел, подошел к двери, открыл — никого. Да и во сне это было, и не раз. Не так уж часто, но не раз. Она приходит в дом, и видит ее он один. Дочка не видит, и соседи не видят. И они беседуют о доме, какое-

то необыкновенное спокойствие и мудрость приходят тогда к нему, Ната ходит по комнатам, говорит, но только он это видит, остальные — нет. И у них с Натой уговор, она просила: она будет приходить, но он не должен об этом никому, никому...

Глупо так: ехал — солнце, приехал — тучи. Кладбище помрачнело, и тут он особенно понял, какое это удивительное кладбище: мрачным оно все равно не было. Просто сумерки, и шумят сосны. Он сошел по крутому берегу, по узенькой между могилами тропке — и вот он на берегу. Как-то очень спокойно и темно было озеро. Гладкое, оно, даже непонятно почему, шлепало по гладкой отмели. Инфантьев удивился тому, как он спокойно смотрит на могилу. Конечно, он сейчас заторможен, и глаза все где-то замирают. И еще может быть так, что не осознает, что Ната — под этим камнем. Это ведь тоже противоестественно — такое сознание. На самом деле это просто место, просто память, просто принадлежность: только поэтому и можно ходить на кладбище. Инфантьев заметил, что на соседней могиле, которая такая видная, домиком, кто-то был, была женщина. Так он стоял, больше у озера, чем у могилы, и так ему было хорошо и спокойно, неподвижно ему было и безмысленно — и вдруг загрохотало над самым озером и по воде, и первые круглые и редкие капли свернулись серыми шариками на песке. Совершенно механически Инфантьев посмотрел в небо. Движение было простым и нелепым, потому что откуда же, как не с неба? Пока он смотрел вверх, капли застучали чаще, и он услышал, как его окликнули. Он вздрогнул и посмотрел на соседнюю могилу. Женщина стояла к нему лицом, манила рукой и говорила: «Идите сюда, идите. Промокнете ведь». Инфантьев подошел. «У меня крыша,— сказала она.— Проходите внутрь». И только он прошел в этот сетчатый домик, дождь совсем уж хлынул. Инфантьев поблагодарил и огляделся. К одной из стен-сеток был прислонен велосипед, и крупные дождины стучали по его седлу. И тут Инфантьев совершенно поразился: на широкой низкой плите были разложены в кружок конфеты. «Мишка на севере». Инфантьев покосился на женщину. Но тут все было нормально: у нее было очень спокойное, даже успокоенное лицо, и они с Инфантьевым были сверстники. Он взглянул и спрятал взгляд. «У нас сегодня праздник»,— сказала она. Инфантьеву стало не по себе. Совсем стемнело, грохотало, и молнии,

казалось, били в черную грудь озера. Весь этот сетчатый домик был обложен дождем, и струи, пролетая сквозь сетку, оставляли сухой только маленькую площадку в центре. Все это было грозно и весело, то, что творилось снаружи. А тут еще эта странная женщина с конфетами. Может, того?.. «Какой праздник?» — спросил он на всякий случай. «Мишин день рождения», — сказала она и показала на портрет усатого мужчины и, взглянув на Инфантьева, заговорила часто, как побежала: «Он у меня полярник был, вот «Мишка на севере», я ему большого мишку на плиту поставила, только украли, вон, вон — следы, тогда-то я и сделала загородку, чтобы запиралась, мишка такой красивый был, белый...»

Небо лопнуло как раз над озером. В нем получилась дыра, и сквозь нее било солнце. А тучи по-прежнему занимали небо, и дождь хлестал, и тяжело шуршали сосны. Но все преобразилось необычайно. Дождь блестел и рыл песок, а солнце, словно прожектор, освещало мокрые сосны, и лоснились плиты, и, испещренное, сверкало озеро. Грохотало уже где-то подальше. Инфантьев даже сказал:

— Здорово.

— Да, — сказала женщина, — мы с Мишей очень любим это место.

«Особенно — Миша...» — подумал Инфантьев и вдруг мучительно покраснел.

— Ах, я вам не объяснила! — так же не заговорила — побежала женщина. — Миша рассказывал, еще когда мы познакомились, туман был кромешный, нос к носу с белым мишкой столкнулся, полз, полз, вдруг чувствует: что это такое мокрое и теплое? А это мишкин нос, а мишка ничего с ним не сделал и ушел, вот я и поставила мишку на плиту, носом к портрету...

— Да, — сказал Инфантьев, — вот ведь как...

— А вы угощайтесь, — сказала женщина, — вы берите конфеты, берите.

— Ну что вы... — сказал Инфантьев.

Они сидели на скамеечке около плиты. Инфантьев жевал конфету. Дыра в небе разрослась — и вот уже чистых полнеба, и все сверкает умытое. И Инфантьеву стало совсем не по себе. Потому что раньше был дождь, и тогда было понятно, почему он находится в этой клетке и слушает эту женщину, а теперь дождя не было

и понятно не было. И многое было непонятно в рассказе женщины. Судя по всему, она ездит сюда чуть не каждый день, вот и велосипед купила специально для этого. Хотела мотороллер, побоялась — ограбят, да еще на кладбище. Вот ведь понимает, что могут ограбить. И понимает ведь, что все-таки кладбище. Памятник такой отгрохала, конфеты носит, а сама сказала, что они много лет жили врозь. Он как-то не уловил, как она это сказала. Может, в экспедиции? Нет, она не так сказала. Женщина все бежала по тонким, слитным словам, а Инфантьев чувствовал себя не в своей тарелке: тут целая жизнь, история, а он при чем?.. да и нормальная ли она?.. и дождь перестал. Он жевал конфеты, и это ему тоже было неловко. Но не жевать и только слушать — это было еще хуже. Конфеты... какие вкусные! И ему вдруг показалось: сколько лет он не ел их? Он и не мог вспомнить, когда в последний. Только конфеты из детства вспоминались ему. А он мог бы хоть каждый день... И эта женщина... При всем том, что ему было неловко и не удавалось следить за ее речью, почему-то ему было очень нужно слушать эту речь, сбивчивую и слитную, и то, о чем она говорила, тоже было очень важным и даже близким. С точки зрения последовательности все было непонятным в ее речи. И в то же время что-то самое главное, суть впервые дошла до Инфантьева. И он подумал, что, может, всю жизнь слушал многое, что можно было бы понять, и не понимал. Потому что за понимание считал только ясную последовательность, только вытекание одного из другого. А именно этот бегущий непоследовательный рассказ был нужен ему сейчас, потому что, отбрасывая последовательность, он выражал суть. Инфантьев даже заерзал на скамейке, слишком сложным и невыразимым было то, что он в ту минуту думал и понимал. И может, именно сейчас не надо было стремиться сформулировать, что же это такое, и тогда будет точнее...

Женщина посмотрела в сторону могилы Натальи Владимировны...

— Жена носила вашу фамилию? — спросила она задумчиво.

— Мою... — посомневавшись, подтвердил Инфантьев.

— Так у вас отец священник? — обрадовалась женщина.

— Почему?.. — опешил Инфантьев.

— А как же!..— опять зашпешила женщина своим семенящим говорком.— Сами посудите... Вы русский, ведь вы русский?

— Русский,— надулся Инфантьев.

— А корень фамилии,— бежала дальше женщина, не услышав его,— более чем французский... Даже испанский. Инфант — царственное дитя, наследник. А вы уж, наверное, родом не из Испании...

— Это уж точно,— обрадовался Инфантьев хоть чему-то понятному.— Я здесь родился.

— А ваш отец?

— На Волге...— сказал Инфантьев.— Под Астраханью... Пойдите,— обрадовался он,— он ведь и действительно, кажется, немножко в семинарии учился!.. Но потом, потом,— спохватился Инфантьев,— совсем не то. Слесарь он,— рассердился Инфантьев.

— Ну вот видите, вот видите!— ликовала женщина.— Значит, ваш дед был священник.

— Не был,— окончательно захлопнулся Инфантьев.— Откуда вы взяли?

— А как же, а как же! Это так интересно!..— восклицала женщина.— Это как раз провинциальные священники такие странные фамилии на Руси напридумывали. Когда основные церковные фамилии были уже все разобраны — Преображенский, Воскресенский, Успенский, Богоявленский... то и стали выдумывать непонятней, лишь бы красиво: я, например, дружу с батюшкой по фамилии Феноменов... вот и вы — Инфантьев.

— М-да,— ничего не сказал Инфантьев. Потом все-таки нашелся:— Как в цирке.

— Именно, именно! Артистические фамилии тоже...— обрадовалась женщина.— Какое тонкое наблюдение! В цирке чаще итальянские, но и Алмазовы, Изумрудовы. Очень. Я никогда так не думала. Вот интересно: Монахов — такая актерская фамилия, а ведь из священников. Наверное, тоже — отец священник, сын — актер. Представляете, драма, конфликт!..

— Да, но мой дед не был священником.— Инфантьев стал похож на сейф.

— Был, был! Уверю вас! Вот на Волге где-нибудь и был деревенским батюшкой. И ваш прадед и прапрадед... Вот и ваш отец был в семинарию определен, хоть и не кончил, как вы говорите. Иначе такой фамилии никак быть не могло. Или вы настаиваете, что вы из борцов?

— То есть как? Ну да. Что вы, впрочем, имеете в виду? — запутался Инфантьев.

— Цирк! — рассмеялась женщина.

Инфантьев сам засунул себе в рот конфету, заткнул.

А женщина все бежала по тонким и слитным словам, и было в них, как она мчалась на такси через весь Союз, узнав о смерти мужа, как у нее не было денег и к тому же разграбили ее квартиру, и как они все ушли на памятник, и как у нее был сын, школьник, и как трудно, трудно, трудно, и сколько счастья, счастья, и что-то настолько уже непонятное и самое ясное было в конце, но этого было не задержать, не запомнить — только почувствовать, и, может, память о своем чувстве...

— Да, — вздохнул Инфантьев. — Вот ведь как...

— А сын у меня теперь взрослый... — сказала она.

Инфантьев вдруг понял, как много лет прошло с тех пор, как давно было все то, о чем говорила женщина, и как это было сейчас, удивительно сейчас.

Женщина словно поняла, о чем подумал Инфантьев.

— Мне кажется: я с ним общаюсь, — сказала она. — Да и не кажется — точно.

— Да, — сказал Инфантьев и, все-таки не понимая, взглянул на нее.

— Я знаю, — сказала женщина, — у вас горе больше. У вас недавно...

— Да, — сказал Инфантьев просто. — Пусто так...

— А я вот, если мне плохо, всегда приеду и с ним разговариваю. Он мне помолчит — и мне легче.

— Вы, наверное, в бога верите?.. — шепотом спросил Инфантьев и осторожно взглянул на голубой купол.

Женщина заметила его взгляд и непонятно улыбнулась.

— Да нет, — сказала она. — Я там и не была никогда. — И тоже взглянула на купол.

— Я был. — Инфантьев вздохнул. — Случайно... Странно как-то... Что поделаешь?.. — забормотал он уж вовсе бессмысленно. — Так вы с ним разговариваете?

— Вы не удивляйтесь, — сказала женщина. — Я ведь ученый человек. Только что же это, если не общение?

— Ну да, — сказал Инфантьев, — я просто так не думал еще.

— Тем более что его там и нет, — сказала она и показала на плиту.

— Как?..



— Так ведь и у вас нет? Это ведь памятник, память... И место красивое.

— И у меня нет,— согласился Инфантьев.

— Они живые, конечно,— сказала женщина.—  
Иначе как бы мы с ними разговаривали?

— Я как-то так не догадался рассудить,— пораженный, протянул Инфантьев.

— Он даже приходит ко мне...

— И к вам?!— воскликнул Инфантьев.

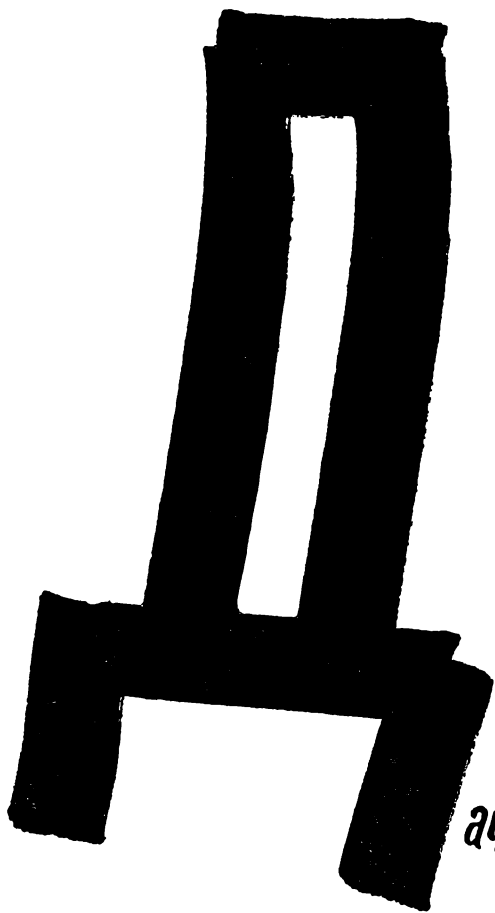
\* \* \*

Он ехал домой, трамвай полз под гору. Небо побледнело и потемнело, сосны по обрыву, и сквозь сосны мелькало красное солнце.

«Да, так я не думал,— повторял Инфантьев.— Я думал, что это такое? А это, оказывается, вот что».

*1961, 1965*

---



**ачная местность**  
**Дубль**

## ЖИЗНЬ В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ

*Александру Кушнеру*

Наконец они переехали.

Его привычно поразило, как разросся сад и как сам участок будто уменьшился, и дача, заслоненная зеленью, не показалась ему такой громоздкой, как в прошлом году. Деревья, недавно небольшие, нынче достигали окон второго этажа. Дача, все еще не достроенная, уже начала ветшать, сруб, так и не обшитый, почернел еще больше, и вся она, так нелепо и безвкусно торчавшая раньше, как бы обжилась, выросла и впервые поправилась ему.

Двери отворялись плохо, и в доме было полутемно, как вечером. Окна были забиты снаружи щитами, и солнечный свет, пробиваясь в щели, четко отделял одну доску щита от другой и так же аккуратно разлиновывал пол.

— Сережа, если я вам больше не нужен, то я поеду... — неуверенно сказал отец, и по его тону Сергей понял, что отец колеблется между тем, чтобы остаться и помочь им в устройстве, и тем, что ему не очень-то этого хочется. — Я хотел бы вернуться, пока еще не очень много машин...

— Конечно, поезжай, — сказал Сергей, осторожно наступая на солнечную полоску. — Спасибо, что перевез.

Провожая отца до машины, он подумал, что дача, которая, по-видимому, никогда не будет достроена, как-то очень соответствует этой «декавешке», которая никогда не станет приличной машиной. Если у родителей жены был как бы загородный дом, то у его отца была как бы машина. Таким образом, наступало как бы равновесие.

Машина наконец завелась, и отец уехал.

Сергей вернулся в дом. Жена варила кашку сыну. Сын, стоя в кроватке, топал босой ногой и радостно протягивал неясно кому свой чулок. Сергей подумал о предстоящих ему таких простых и редких для него делах: раскупорить окна, наколоть дров, протопить дом, — и что-то растянуло его рот до ушей, та улыбка, которая рождается как бы помимо нас, которой мы не в силах сдержать.

Сон его не был глубок в эту ночь, как всегда на новом месте. Проснулся он рано и таким свободным, что даже растерялся. Жена его, как и в городе, была прикована к сыну, и забот у нее даже прибавилось. У него же оказалось так много времени, что трудом было хотя бы прожить его. Переезд на дачу стал для него действительно переселением: изменились все параметры его существования, и время в первую очередь. Слоняясь, он включал приемник: диктор объявлял программу передач, и та тщательность, с которой он называл время, вызвала у Сергея усмешку. Он взглянул на часы — они стояли. «Московское время — ноль часов, ноль минут, ноль секунд», — сказал Сергей.

Изменились и расстояния. Ему вдруг не надо стало поспевать куда-либо к условленному часу, не надо стало ждать автобусов, которые то опаздывали, то не открывали дверей, — в своих передвижениях он уже полностью зависел от себя, и расстояния, которые в городе казались неизбежно связанными с транспортом, тут преодолевались только пешком. В этом смысле он внезапно стал владельцем личного транспорта: хотел ехал, хотел не ехал, выезжал из своего парка, когда ему заблагорассудится, и был в этом независим. Послониавшись по дому и затопив жене плиту, он вышел прогуляться и, удивляясь этому новому способу передвижения, проложил маршруты к озеру и в магазин, и когда опять очутился дома, было по-прежнему рано: в городе он бы еще спал. Эта чрезмерность предстоящего времени насторожила его. «Ну что ж, можно наконец начать работать...» — неуверенно сказал он и с необыкновенным тщанием, не жалея времени, даже как-то желая, чтобы оно побежало с привычной для него скоростью и перестало быть так уж относительно, принялся устраивать себе рабочее место.

Он выбрал второй, не достроенный еще этаж и внес туда стол, стул, нехитрый свой инвентарь. Времени за это время никакого не прошло. Оно по-прежнему представлялось ему штилевым морем, его необходимо переплыть, а плавать он словно бы разучился.

Он сел за стол, и ему стало скучно. Лучшего места для работы он не мог себе представить, а работать ему не хотелось. Четыре окна открывались на все четыре стороны света. Они были на уровне крон, и ветки, наверно, стучались бы в стекла, если бы их не отодвигали балкончики; ветки стучали разве по балясинам балкончиков, но этого уже не было слышно.

Так он сидел, неприязненно думая о работе, и вдруг обнаружил, что за окнами испортилась погода. Ветер с силой налетел на его этаж, все затрепало, заскрипело, казалось, тронется сейчас, ныряя, парусный корабль. Первые крупные капли ударили в северное окно; с ними налетел совсем уж шквал; листва деревьев, закрывавшая окна, вывернулась наизнанку, как зонтик, засеребрилась и словно заструилась. Сергей с удовольствием отдавался представлению, как взлетает его этаж, и тогда уже не ветер, а этаж понесся с такой скоростью, что рассекал воздух и образовывал ветер, — замелькали, проносясь в окнах, деревья, леса и горы, сливаясь в неразличимую полосу. Этаж гудел под порывами, можно было, слившись с ним, ощущать его напряжение, натяжку всяких там стропил, столбов, свай, которые Сергей называл про себя то мачтами, то струнами, в то время как все в целом он называл то кораблем, то органом. Каким-то особым уютом наполнилось от непогоды его обиталище, и ему уже ничего не хотелось бы ни изменить, ни поправить в нем. И торчащие ребра дома, и шлак под ногами, и паутина повсюду, и кучки запыленного мусора — все это казалось единственным решением.

Ветер вдруг спал, исчезло мелькание листвы за окнами, и по крыше загредел ливень. Сергей поднял голову и словно бы впервые увидел, что потолка над ним не было — была сразу крыша. Она то уходила вверх острыми углами, то приближалась к нему тупыми — это он называл про себя — сводами, тогда все его помещение обозначилось как собор, что уже совсем соединилось с представлением органа... Но этаж уже не гудел, так как не стало ветра, а брэнчала под ударами ливня крыша; ливень оказался крупным градом; подой-

дя к окну, Сергей увидел прыгающие на полу балкона градины и сказал себе, что они с яйцо, с куриное яйцо, хотя они были не больше драже. Звуки переменялись вокруг него, и помимо брэнчания шифера над ним, он услышал другие, живые, как бы рвущиеся звуки и, обернувшись на них, увидел, что с крыши капает вода в расставленные там и сям поржавевшие баночки. Чувство постоянства и устойчивости приходило, глядя на эти баночки, уже не первый год стоящие тут как раз в тех местах, где протекает крыша. Ощущение этого всего могло оказаться началом его работы, но капли стали попадать ему на стол, на бумаги, хотя и редкие капли, но крупные. Со столом в руках он бродил по этажу, приспособлял стол в разных углах, но и там понемногу капало. Он искал непромокаемое место опытным путем, как бы на ощупь, и уже почти нашел его, как услышал снизу крики жены, только что обнаружившей дождь. До этого она, по-видимому, спала, а теперь кричала, что у нее что-то промокнет в саду. Сергей спустился и, проворчав ей: «Всегда ты оставляешь все под открытым небом», — вышел в сад. Но дождь уже кончился, и Сергей вышел в сад как раз, чтобы увидеть, как тот внезапно оборвался: как покачиваются разбухшие, нового цвета листья, каждый лист более отдельный, чем до дождя, как этот лист вдруг начинает шевелиться в неподвижном и густом воздухе, словно оживая, выгибаться и распрямлять спинку и скатывать с себя большую алмазную каплю, как тяжелую ношу, вздыхая с радостью и облегчением и подставляясь только что выбившемуся и тоже словно бы посвежевшему солнечному лучу.

Так потекли дни. Время было неподвижно, а дни уходили. И странно было, оглянувшись, увидеть, что их прошло уже так много. И он никак не мог освоиться с тем, что прохождение времени можно было видеть только взглядом назад и только большими отрезками, тогда как в каждый настоящий момент было оно неподвижно. Работать он не работал. Ложась спать, он не понимал, куда девалось время.

Если в городе он каждое утро просыпался с ощущением, что вчера вечером был не совсем нормален, то есть болтал неведомо что, лишнее, личное, какие-то нелепые делал жесты и стыдные поступки (какие точно, было

и не вспомнить, словно спяну), если к нему каждое утро первым ощущением приходила стыдность вчерашнего вечера, и он тут же, одеваясь, отмахивался от этого чувства, и оно исчезало, и дальше следовал день, суетный и безотчетный, вплоть до «не-совсем-нормальности-вечером», и только искорка отчета должна была мелькнуть следующим утром и погаснуть, пока он натягивает брюки, — если в городе все было именно так, то за городом все было иначе.

За городом, в кругу семьи, на солнце, воздухе и воде, он, напротив, внешне успокаивался, молодец, в общем, начинал хорошо выглядеть. Тут был покой, а дела свои он очень толково успел все либо закончить, либо отложить — специально, чтобы хотя бы за городом иметь возможность спокойно жить и работать над тем, над чем работать считал он своим долгом.

В то же время он, маявшийся в городе, проклинавший суету и до тонкости знавший и любивший обличать всяческие ее оттенки, он, наконец избавившийся от нее и получивший все те возможности, которых не имел, вместо радости и деятельности ощущал лишь некую значительную пустоту, которую заполнить ему было нечем, потому что тем, чем он собирался ее заполнить, для чего он и старался эту пустоту создать, этим заниматься ему теперь не хотелось. К тому же он успел до некоторой степени устать от вечной борьбы и возни с самим собой, и, следовательно, ему скучно уже было ругать себя за лень и безделье, обличать, бичевать и все равно не сдвигаться с места, после чего думать обо всем этом комплексе — и он не думал.

Временами он ощущал даже некоторое удовлетворение от этого своего состояния. Умом он уже давно понимал (это было очень похоже на то, как он ощущал и понимал суету, это были понимания, находящиеся в прямом родстве), что главное — это просто ж и т ь, быть живым, и поэтому, какое бы ни было твое состояние — плодотворное, неплодотворное, — лишь бы было ж и в о е, без омертвений, а успевать... то что ж успевать: все равно неживой ты уже ничего не успеешь.

Это бездеятельное состояние открыло ему, например, что у него есть сын. Барахтаясь в море времени, он все больше сидел дома и постоянно видел рядом сына, существо столь совершенно живое, что становилось стыдно всего неживого в себе, а тем более такой неживой вещи, как фиксация и переживание в себе этого неживого.

Такая своего рода оглядка и равнение на сына случались и в городе, когда он, засушенный и несчастный, после тормозливых встреч и длинных до потери реальности разговоров, внезапно обнаруживал себя дома и вдруг видел сына, о котором и не вспомнил за весь день ни разу, а тот расплывался, радуясь его приходу. Тогда он ощущал одновременно какой-то значительный прилив и отлив: прилив к сыну, отлив от своего дня. Но в городе это бывало как-то мельком, не входило в сознание, ощущение, и только как-то быстро привыкал он: ну да, пришел домой, и тут его сын — ничего удивительного... И начинался обычный сумасшедший вечер.

За городом же то ли видел он больше деревьев и существ — коров и лошадей, телят и жеребят, — то ли воздух был здоровее, то ли больше сидел он дома и возился с ребенком, но на сына стал смотреть иначе.

Он думал о сыне, и вдруг становились понятны ему вещи, к которым он как-то, не заметив, когда это произошло, потерял вкус и чувствительность, вещи необыкновенно простые и бесконечные в своей простоте: радость и наслаждение, например. Иногда, томясь от безделья, вспоминая город, слышал он вдруг какое-нибудь глупое гульканье сына и тогда оборачивался и видел протянутую ручку и радость, раскрывающуюся на его лице оттого лишь, что они видят и узнают друг друга... Тогда Сергей ощущал, как отлетает от него неживое его облако и что-то удивительно счастливое и легкое разворачивается в его груди, что можно назвать по-всякому и можно назвать любовью. Он бывал всерьез благодарен сыну, так щедро делившемуся с ним жизнью, излучавшему жизнь, и бессознательность этого дара не смущала Сергея в его благодарности, а скорее убеждала. Он удивлялся, глядя на сына, удивлялся наивно и простовато. И, приближаясь к истине примитива и к вере, даже добродушно не усмехался над собой, думая такие, например, вещи: откуда он взялся такой? Живой, и все у него уже есть? И руки, и глаза, и даже уши? И на него, отца, похож?

Знание того, как получаются дети, не расколаживало его, он отбрасывал это знание как ничего не объясняющее, и тогда еще больше удивляло его появление сына — откуда? Нет, если по-настоящему, до конца задуматься, то откуда? Или беспомощность и слабость сына поражали Сергея: что вот убить его ничего не стоит, одним пальцем, а жизни в этом тельце заключено! — где



только помещается? Удивлялся молодости сына, нежности его кожи — какая же он по сравнению с сыном рухлядь! И требовательность бессилия поражала Сергея: вот ведь сын не сомневается, что ему что-то нужно, ему просто нужно, он хочет, и все подчиняются ему и подвластны, и лишь мнимая зависимость сына от них, его родителей: на самом деле родители от него зависят, подчиняются и исполняют, служат ему.

Каждый день Сергей гулял с сыном, катал его в коляске. Сын уже пробовал ходить, и однажды Сергей высадил его из коляски. Сын впервые стоял на земле. Сергей медленно катил коляску, а сын держался за коляску и впервые шел по улице рядом с отцом. Был ветер, и от этого небо казалось высоким, а солнце необычно маленьким и далеким. На лужке ворошили сено муж и жена, у которых они брали молоко, и их не то дети, не то внуки, не то дети и внуки их дачников кувыркались на сене; вдали гудела электричка. А Сергей шел так медленно, как никогда не ходил, потому что впервые рядом с ним, непонятно высоко поднимая неверные ножки, шел его сын. И может, оттого, что так медленно, Сергей внимал и впитывал все вокруг гораздо сильнее, подробнее, материальнее, чем обычно, словно бы жизнь вокруг него или в нем во много раз увеличивала свою концентрацию на каждый метр пути, каждый вдох, каждый скворечник, или куст, или щепку в дорожной пыли... И вдруг сын пришел в необычное возбуждение и, забыв, что ходить без поддержки еще не может, бросил эту поддержку и шагнул совсем в сторону. Протягивая ручку к тому, что видел перед собой, он сказал все слова, что знал: «мама, папа, тапок, фу и всё». «Всё, всё, всё!» — радостно говорил он, обозначая то, что видел. А видел он кошку, которая перебегала им дорогу: существо незнакомое, но живое. Это была неинтересная кошка, некрасивая и степенная: она, видно, давно жила на свете и до нее не дошло излучение сына. Она не приостановилась и не припустила, столь пристальное к ней внимание нисколько не тронуло ее, и, удивляя Сергея постоянством и размеренностью своих движений, скрылась в кустах по своим делам. Сергей успел подхватить сына, шагнувшего столь самоотверженно в радости узнавания. И вдруг так ощутил и понял сына, как не чувствовал его никогда, и что-то давно забытое и ушедшее вспомнил о себе.

Да, никогда не видел он столько жизни, радости и наслаждения, так совершенно заключенных, так полно, что не плоть, а они казались основными материальными составляющими его существа. И тут Сергей удивлялся еще больше, вдруг обнаруживая в этом его столь радостном лепетанье, в глазах, столь ясных и любовных, и не радость вовсе, а грусть, грусть, заложенную самой природой, ее лицо, одновременное с радостью.

Так сын уже помогал отцу переплывать время и причаливать к вечеру.

Все-таки то, что он ничего не делает, его очень терзало. Тогда он вспоминал о только что проклятом суетном городе как о некоей полной жизни, вне которой он и ничего-то делать не может. Тогда ему (поскольку это противоречило его загородной программе, он не всегда осознавал это конкретно) хотелось в город. И тогда как-то сами собой начинали вспоминаться недоделанные дела, может, и не такие значительные, но все равно, пока он их не доделает, они ему покоя не дадут и свободы своей он из-за этих пустяков не ощутит. И тогда он начинал (и это была почти деятельность) составлять списочки всех этих выплывающих и накапливающихся дел и делишек, с удовольствием, даже с любовью, приплюсовывал и совсем уж мелочи. Он переписывал эти списки в различных последовательностях пунктов: то по важности, то по времени, то по удобству маршрутов. Он развивал пункты и делал пометки в скобках: «не забыть спросить», «не забыть сказать», «сделать вид, что забыл». После чего он вспоминал еще одно, чуть ли не самое важное дело, и списочек приходилось переписывать заново, чтобы это дело заняло свой порядковый номер.

Поиграв со списочками, он начинал объяснять жене, как ему необходимо съездить в город. Жена, конечно, говорила, что ему не надо ездить, что мало ему тут отдыха и времени для работы, что все это суета у него. Он сознавал справедливость ее слов, даже узнавал в ее словах свои, и начинал, что совершенно естественно, злиться, и, как ребенок, восставал не против смысла слов, а против логики, путем которой к этим словам пришли; именно она казалась особенно необоснованной, несправедливой и больше всего раздражала. Слово за слово, они немножко ссорились и разбегались кто куда: жена — заниматься хозяйством, он — лежать где-нибудь на солнышке. Однако потом они, как люди любя-

щие и слишком хорошо друг друга знающие, не помнили обид. Никто уже не спорил о поездке в город, просто с какого-то момента об его поездке говорилось как о чем-то само собой разумеющемся, намечался день, жена постепенно вспоминала все новые и новые поручения: что купить, что привезти из дому, — список рос и становился уже совершенно невыполнимым для одного дня пребывания. Это, впрочем, не смущало ни его, ни ее, потому что где-то обоим было ясно, что никаких-то дел нет, просто ему надо съездить в город, еще раз понять, что там все суета и бред, и вернуться удовлетворенным, заряженным, и, может, начать что-нибудь делать.

Так оно и происходило. В городе он успевал выполнить какой-нибудь пункт из списка жены и полтора из своего списка и возвращался бодрый и злой и завтра садился работать. Завтра же он не садился работать, раскачивался. Раскачивание же, для которого внешним толчком был город, все затухало.

Когда все это приобрело устойчивый характер, закономерность с четко повторяющимся циклом, Сергей стал несносен. Если в городе он бывал в спокойствии и равновесии по утрам (именно тогда ему рисовался вчерашний день чем-то смутным, беспамятным и сумасшедшим), то теперь, наоборот, он успокаивался лишь к вечеру, просыпался же после слишком долгого, безвольного сна злым, психом, почти больным — доставалось жене. Это, по-видимому, было замещением работы, которую каждое утро надо было бы и начать. И лишь к вечеру, когда день уходил и можно было спокойно существовать с мыслью, что сегодня начинать что-либо уже не к чему, лучше завтра, утро вечера мудренее, он становился тем самым милым человеком, каким, в сущности, был. Утром же и днем он был настоящая фурия (именно фурия, потому что зол он бывал не по-мужски), все казалось ему злым умыслом, любое ничтожество: то ли носки, то ли бритва, то ли спички — оказывало сопротивление, куда-то скрывалось, острые углы появлялись там, где их никогда не было, что-то падало, что-то скрипело, комары нападали враспloh всюду, по всем щелям были рассованы мелкие преследования, подвохи, досады, все исподтишка, все вело с ним нелепую партизанскую войну. Все вызывало в нем протест, ненависть, негодование.

К концу дня он уставал от обилия раздражений, воспоминаний, ассоциаций, мыслей, идей. И тогда — тут не хватало только жеста бесшабашности и отчаяния, такого взмаха руки — он выдергивал из грядки идей одну произвольно избранную, обкатывал ее наспех, обсасывал слегка и преподносил за чаем жене, тем более испытывая возбуждение и волнение, что необходимо было хоть как-то избавиться от них. Идея бывала недурна, но ничего не решала: в общем, стоя на довольно высокой ступени, она была с той же лестницы, что и любые досужие разговоры: разговоры соседей, родственников жены или отца. Возникала она, как правило, по внешнему поводу, например политическому: тут можно было обобщать и нападать, гасить творческий пыл, успокаивать себя, чуть затрачивая и еще раз приостанавливаясь на трудном подъеме к работе и съезжая вниз по круче, чтобы завтра проходить и преодолевать тот же отрезок инерции и подъема, что и вчера и позавчера, может быть, плюсуя по сантиметру, но опять не добираясь до цели. Он брал газету, смотрел в нее, как в пустоту, и говорил, например:

— Не вполне ясно, какой смысл стали вкладывать в слово «формализм». Я еще понимаю житейское, теперь забытое, «он формалист в вопросах чести», например. Нечем отдать карточный долг — и пулю в висок. То есть неукоснительное следование неким принципам, правилам, формам, нам предложенным, в нас воспитанным, до нас существовавшим, следование часто даже вопреки здравому смыслу. В этом случае формализм нечто консервативное, давно существующее, устоявшееся до неподвижности. Тогда академизм — формализм высшей степени. В чем-то новом, только возникшем, формализма быть не может — это новая форма. Может быть, формализмом называют неоправданность формы или, как говорят, несоответствие действительности? Но если буквально сравнить искусство с действительностью, то есть сравнить формально, то оно всегда было насквозь условно и никогда не было слепком с нес. Уж не говоря о том, что искусство само — действительность... Ведь даже такая очевидная, например, фраза: «Иван Иванович подумал то-то и то-то», — это такая уж условность! Почти абстракция. Кто знает, что он там думал!.. Само по себе настоящее искусство никогда не только не стремилось к условности, но вечно болело попыткой избежать ее. Освободиться от пут условности,

окостенений, как раз того, что можно назвать формализмом, освободиться и приблизиться к живой правде — вот механизм рождения новых форм. Это просто освобождение от прошлых, тесных или не способных выразить новое форм, раскрепощение, выход на простор, приближение к живому. Назвать это формализмом — все равно что назвать черное белым.

Идея бывала когда умнее, но когда и глупее, когда точнее, когда еще менее точная, когда своя, когда еще больше не своя, в среднем — такая. Выговорив ее, он постепенно возвращал себе чувство времени и места, расплывчатая во время речи комната как бы фокусировалась, и предметы становились видны отчетливо, с беспокойством вглядывался он в лицо жены и читал на нем одобрение идеи, тогда успокаивался и чувствовал некоторое приятное опустошение, словно бы после действительного дела. На сегодня закрыв эту лавочку, как бы загнав в загон все непослушное стадо своих мыслей, с лязгом сбросив решетку вниз и в последний раз взглянув через плечо на все это крошево, массу, мычащую и блеющую, возвращался он, как бы усталый и удовлетворенный, в свою хижину спать, не вспоминать ни о чем до утра.

Как-то он проснулся, и в тот же миг на него накинута мелкий и злобный его раздробленный мир и вошел в него. Это случилось раньше, чем хоть какой-нибудь конкретный повод дал бы этому основание. Словно эта мелкая злоба стояла в изголовье, дежурила, караулила, ждала, когда он откроет глаза и отворит душу. Ночью она, по-видимому, спала, свернувшись калачиком, рядом с его туфлями, как некое домашнее животное. Сергей почувствовал усталость и отчаяние. «Я поеду в город», — сказал он. «Когда?» — спросила жена. «Сейчас».

Они поспорили — спорить с ним в эти дни не стоило, они покричали — начал плакать сын, они перестали разговаривать. Наконец жена захотела побыть одна, и Сергей получил разрешение ехать в город с тем неизменным условием, что привезет из дому тумбочку, без которой жена как без рук. Разрешение, таким образом, было как бы не разрешением, а приказом привести тумбочку, и это примирило жену. А Сергей уже весь был в городе, его бы не остановило даже поручение привезти сервант.

Так получилось, что, только он собрался идти на станцию, внезапно приехал отец и привез ту самую тумбочку, о которой речь. Таким образом, с одной стороны, ему не надо было ехать в электричке, всегда такой набитой, с другой стороны, отпадало согласие жены, потому что тумбочка была уже привезена, а нового задания, кроме тумбочки, не успело возникнуть. Жена опять сказала, что нет у него никаких таких уж дел и что вообще надо еще проверить, зачем он так часто ездит в город. Последнее она сказала зря, потому что в этом он был чист и теперь получил возможность возмутиться и ссориться с полным основанием. Преимущество было на его стороне. Жена проиграла битву.

Уехал он с облегчением. Ссора разрядила его. В груди он ощущал приятную пустоту, последовавшую за спазмой злобы. По корявому проселку они выехали к станции. Сильный ветер гнал по рельсам в город. Машина переваливалась, как утка, и ветер ее обгонял. Он увидел платформу, с которой словно сдуло людей. Только что ушла электричка. Картина была грустной и прохладной, успокаивала. Почему-то он представил себе девушку, стоящую на платформе спиной к ветру, ее фигуру, ветер прижал платье, и пузырь юбки спереди, и волосы, вытянувшиеся вперед. Не жену. Лица ей он так и не подобрал. Девушки такой на самом деле не было, но она вполне могла бы и быть, так что воображение не рисовало ему ничего исключительного. От всей этой картины и от представления девушки на ветру во рту у него появилось какое-то кисло-сладкое ощущение, вполне соответствующее всему его грустно-сладостному сейчас чувствуванию, которое он назвал про себя «терпким».

Он вспомнил ссору уже совсем спокойно. Странно, подумал он, с какой легкостью и убедительностью развеял я подозрения жены, хотя ничего и не стремился доказать, потому что доказывать-то действительно сейчас мне нечего — никого у меня нет. И как бы неуверенно и трудно было мне, если б я был в этот момент не чист. Главное, что оснований для подозрений в обоих случаях столько же. Но если б мне надо было что-то скрыть, мне бы самому показалось неубедительным, что я еду в город просто так, и я начал бы что-нибудь плести, будто скрывая, а на самом деле выдавая себя... Вся жизнь с людьми представилась Сергею конструкцией из подозрения и незнания, эта конструкция рисо-

валась ему какими-то переплетающимися стержнями, вроде арматуры, или густой сетью, в которой нити одного направления являются подозрениями, а поперечного — незнаниями, а когда эти нити пересекаются, в узлах... Он запутался, дальше образ не работал. Ведь мы же ничего не знаем друг о друге, продолжал Сергей, даже прожив рядом сто лет, не знаем, только догадываемся, наши умозаключения — здания в воздухе, эти здания — о себе. Знать-то мы, конечно, знаем. Но почти ничего с материальной достоверностью зрения. И все нам хочется этой материальности, все-то мы допытываемся, отсюда и сомнение, из этого механизма — чтобы воочию удостовериться, чтобы пощупать. Ситуации стереотипны и повторяются без конца, каждая из них может читаться по-разному, каждая может вызвать подозрение, и лишь одна из множества имеет для этого основание. Из-за одного процента мы подозреваем все сто. Если бы мы были циничны циничным разумом машины, то никогда бы нас не разоблачили. Мы всегда выдаем себя сами, всегда притягиваем подозрение к себе тоже сами, хотя могли бы растворить свою вину в море точно таких же ситуаций, когда мы виноваты не были. И даже врать не пришлось бы. Но это вечночеловечно... Он снова вернулся памятью к ссоре и подумал, что жена, в общем, ничего и не подозревала всерьез, что она даже точно знала, что в город он едет просто так. Это она без повода, для оскорбления... Оскорбление ведь всегда необоснованно. Повода у нее не было, а причина?.. Причину он, может, и чувствовал, но думать о ней боялся. А вот если бы действительно что-то у меня там, в городе, было, думал Сергей, уходя в сторону, было бы и она знала бы об этом, то ведь ничего бы ему не сказала, отпустила бы без ссоры, затаила бы, копила бы доказательства, и все их было бы мало, и все ждала бы следующего, решающего, после которого все станет ясно, а его, решающего, все не было бы и не было... Бедняга!

Машина вдруг, словно очнувшись, рванула вперед, ее перестало качать — они выкатили на шоссе. Навстречу шли из поселка на станцию люди, и Сергей удивился, что вот на станцию они идут и идут, а на платформе их нет и нет. Отец тоже приободрился на гладкой дороге, почувствовал себя свободнее за рулем. Навстречу пробежала собака, и отец сказал:

— А ты замечал, что все животные бегают немножко боком?

— Замечал, — сказал Сергей и тут же отметил у себя всегдашний тон недовольства в разговоре с отцом, то есть чуть-чуть его раздражило это «все животные», когда не все, а собака бежала навстречу. Но, поймав в себе это слабое раздражение, он уже думал об этом раздражении и судил себя за него. Конечно, отец всегда говорил по несколько неестественному ходу, то есть говорил не из потребности, а для разговора, причем это еще окрашивалось некоторой интеллигентностью и проникновенностью тона, так что не могло не раздражать. Но теперь он уже часто ощущал, что отец не может иначе и что страшноватое одиночество есть в необязательных его разговорах, когда отец за неимением общения стремится сохранить хотя бы символ его. Осторожно Сергей взглянул на отца, внезапно увидел, что отец очень стар, и щемящее чувство похожести, родства, неизбежности сходства тонким уколом прошло в нем.

— Сережа... — Отцу хотелось поговорить. Но сын молчал, и начинать опять приходилось отцу, и приходилось преодолевать неловкость начала ни с того ни с сего, потому что он не знал, что сказать сыну, чтобы разговор родился естественно; пришлось сказать: — Я вот вспомнил вдруг, непонятно даже почему...

Сергей, продолжая ход сегодняшних чувств к отцу, растрогался этим маневром и сказал ему в помощь, чего бы в другой раз никогда не сделал:

— Что же ты вспомнил?

— Ты не слышал никогда такую фамилию — Вискель?

— Нет.

— Ну как же... Известный ученый. Член-корреспондент?.. — просительно сказал отец, но сын как бы не услышал вопроса, и отец продолжал: — Мы учились вместе. Тридцать лет его не видел, а третьего дня встретил... Большим человеком стал. — Отец вздохнул и снова сделал паузу для реплики сына.

«Тридцать третьего...» — пропел про себя сын и остался молчать.

— Так вот... — вздохнув, сказал отец. — Он по связи. Глава института. Его институт приобрел сейчас огромное значение... — Отец сделал таинственное лицо. — По-



тому что в этой войне самым ответственным будет не первый, а второй день...

Сергей усмехнулся:

— Это почему же?

— Видишь ли, — оживился отец, — я сам этого не знал, недавно где-то прочел. — Голос отца приобрел плавное, почти лекторское течение. — Видишь ли, в первый день войны будет нанесен основной удар, а потом, собственно, и начнется война, на второй день, и тут... — Отец помялся многозначительно, и потом, словно прорвав плотину, слова потекли с еще большей легкостью и быстротой. — Самое важное и трудное — связь, так как не только армией, но и взводом командовать будет практически затруднительно — и все — связь! — потому солдат от солдата будет отстоять, быть может, на несколько километров...

— Глупости, папа, — сказал Сергей беззлобно и мягко, сам удивляясь такому своему тону и что не заводится сегодня на такие речи, хотя обычно ему достаточно куда меньшего, чтобы вспылить и надерзить отцу.

— Почему же? — не то нападая, не то защищаясь, сказал отец. Вид у него был растерянный, словно он не знал, то ли ему обидеться сразу, то ли вынудить сына сказать что-нибудь очевидно обидное.

— Зачем же, — спокойно и ласково отвечал сын, — эта связь на второй день, когда в первый уже никого не останется?

Это не было похоже на обычный ход таких разговоров — перепалки не возникало, — и отец потерялся.

— Да, если так... — неуверенно согласился он. И замолчал. И то ли обрадовался, что сын сегодня так сдержан и вежлив, то ли огорчился, что разговора не вышло.

Некоторое время ехали молча. Отец искал новую тему и, не найдя, взялся за самую острую и коварную: работу и дела сына. Сын же продолжал думать об отце в той же грустной и нежной тональности и вовсе не раздражался (что было уже абсолютным исключением из правил), когда отец вступил в его область и начал плести нечто несуразное, враждебное. А ведь обычно Сергей терпеть не мог неквалифицированных суждений, особенно у родственников и тем более у отца, который из какой-то вывернутой жажды общения говорил эти безразличные Сергею вещи совсем уж просто так, даже нарочно говорил. И об этом Сергей подумал: зачем

отец говорит нарочно? Ведь его всегда очень расстраивает, когда сын дерзит в ответ, а уж на эти речи Сергей всегда ему дерзит, как мальчишка. Главное, отец все это знает, умный ведь человек... И одиночество еще страшнее становилось Сергею понятно, когда он об этом думал. То есть за долгие годы отцу стало дорого посвоему сладкое чувство обиды: «А что я такого сказал? Вот никто меня не...» После этого отцу как бы можно было не думать о многом, снимать с себя ответственность и до тонкости вытренировывать свою слепоту.

Сергей обо всем этом думал, пока отец говорил ему спокойным голосом вещи, которые всегда раздражали сына и приводили к ссорам. Сын же думал, что эти всегдашние размолвки именно с отцом, а не с другими происходят лишь из близости и равнодушия, из желания равенства. А с теми, кто тебе равнодушен, просто и легко лишь потому, что — обоснованно или нет — ставишь себя над ними — непонятное превосходство: им прощаешь. Вернее, не замечаешь. А отец им не равня, вот его прощать надо. Это еще детский атавизм — желание равенства. Равенства тут и быть не может. Тут обратное равенство, другая зависимость — отца от сына, и всегда, пожалуй, именно эта зависимость и была. «И у меня с сыном так же, — думал Сергей, — и у меня...»

Они ехали лесом, и дорога была безветренной, тихой: казалось, теплый летний день, — и вдруг выехали на открытое пространство. Тут были поля, пахоты, раздолбанный проселок мелькнул у косога сарая, и тощая корова покосилась налитым дикостью глазом из кювета, дальше поля обрывались, шли луга и жидкий кустарник, который во все стороны трепал ветер, и больше ничего, даже встречных машин не было. Ветер расчистил горизонт, и странно четко глядел вдали синий лес, высотой с траву. Сергей лениво смотрел в окно и думал, что эта невыразительная пустошь необыкновенно близка и понятна ему. Какое-то ласковое, прохладное, успокоительное чувство поселилось в Сергее, когда взгляд его, не напрягаясь, скользил по этому ровному пространству и ему почти не на чем было задержаться. Взгляд был как бы тонкой, вдруг ожившей нитью, связавшей Сергея с природой, — две чашки весов, висящих на нити взгляда: он сам и пустошь — на одном уровне, в полном равновесии... И растрепанная ветром трава, и ржавая в траве лужица, и одинокая корявая сосенка на ней — все было мило Сергею. Взгляд все скользил, не цепля-

ясь ни за что, — ему было просторно, это было сродни глубокому вздоху. Медленный, неразличимый переход оттенков зеленого, синего, серого, неуловимая, бледная красота пустоши входила в Сергея и наполняла некой грустной радостью, приятным сожалением неясно о чем. Именно эта прохладная красота казалась ему теперь самой подлинной. И еще недавно так не было, подумал он, еще недавно я мог сказать: какое скучное место! И тут он как бы с удивлением вспомнил, что пять минут назад они миновали прекрасный сосновый бор, из тех, что любил писать Шишкин, а Сергей даже не заметил его, как раньше не замечал пустоши. На яркую красоту, подумал Сергей, на то как раз, что обычно подразумевают под красотой, нужно мало опыта и много сил, чтобы воспринимать ее. Он вспомнил резкие цвета юга, так восхищавшие его в свое время, — они показались ему неживыми, неподлинными, как бумажные цветы. «Я — северянин, — подумал он почти с гордостью. — Если я поеду куда-нибудь отдыхать, то в тундру... Непременно весной поеду в тундру!» — сказал он себе уже с возбуждением, бодро выпрямился в сиденье и покосился на отца.

Отец же, хотя перед тем привычно и бессознательно вел к тому, чтобы поссориться с сыном, вдруг обрадовался, что ссоры так и не произошло, и уже был благодарен сыну за это и любил его. Отцу приятно теперь было, что вот он сидит за рулем своей собственной машины, нажитой его трудом, хоть и маленькая, но не у каждого она есть, особенно нынче: нахальство как вздоржали, подумать только, «Запорожец», такая-то карафашка, и то... И вот он за рулем своей машины и рядом с ним сын, кто же скажет, что сын мало успел в свои годы. Я совсем еще мальчишка был в его году, ни о чем таком не думал, а он такой уже талантливый человек, известен... И видно было, как приятно ему слышать из всей фразы Сергея, обращенной к нему, слово «папа» и как ему хотелось, чтобы оно звучало чаще. «Вот и я жду, когда сын мне скажет «папа», — думал Сергей, — вот и мне это необходимо...» Отец уже льстил сыну, и в этом еще раз было видно, как прекрасно он, в общем, знал, что сына раздражает и что сыну приятно. Потому что опять это были необязательные слова, которые принципиально не устраивали его сына, только теперь это были приятные сыну слова. Сын же понимал, что разговор ни в чем по механизму своему не переме-

нился, но уже думал: что ж поделывать, форма разговора у отца такая неудачная, а суть самая прекрасная — любовь.

Так они ехали по ветреному ясному пустырю, и лес синей низенькой щеточкой оставался на самом горизонте, когда шоссе стало забирать влево, лес стал приближаться, расти, тут и холмы появились, вверх-вниз пошла дорога. Потом начался длинный прямой подъем, и ничего не стало видно. Когда же взобрались, то оказались у железнодорожного переезда. Шлагбаум был поднят; будка глядела красным окном в сторону заката; рельсы, сходящиеся и исчезающие вдаль за поворотом, рисунком своим напоминали саблю: на острие мог показаться поезд, — и никого рядом не было. Ветер появился тут с новой силой и заметался по траве и кустам во все стороны, зашлепал по стеклам, как град пощечин... Этот переезд, нарушая ощущение времени, был длительным впечатлением. И Сергей смотрел теперь теми же глазами, какими увидел пустую платформу в начале их путешествия. За переездом они увидели лес совсем рядом, за лесом угадывалось начало пригородов.

Тогда, посмотрев поверх леса с тем чувством, что рождал в нем переезд и открывшаяся с него картина и метавшийся вокруг ветер, посмотрев печально и лениво, он увидел вдруг, как над лесом встает ни разу не виданное и такое знакомое, бесшумное клубастое кольцо на тоненьком сером стебельке и раскрывается, как бутон, и медленно ворочается в нем густой, как каша, огонь. Отец и не мог бы этого видеть, был прикован к дороге, и тогда сын, голосом, поразившим его самого тем странным спокойствием, от которого и родился страх, проговорил: «Война, отец».

Тут следовало бы резко затормозить, развернуться и мчаться назад, от города, за сыном и женой... Сергей представил себе, как едут и едут они вчетвером по пустым дорогам, все дальше и дальше от мертвого города... Но нет, ударная волна настигла бы их у этого переезда, они не успели бы развернуться. И машина бы полетела, как пылинка, и они в этой пылинке уже и ничего бы не чувствовали... Радиус действия... Разве что успели бы остановиться и выпрыгнуть, упасть лицом вниз в канаву за обочиной. Крутятся в воздухе, вспорхнула бы над ними их «декавешка», или, с неверной легкостью сохраняя ориентацию в пространстве, проплыла бы над ними будка с переезда, и лишь потом вылезли бы они из

канавы в странную и пустую тишину, даже при свете рождавшую ощущение темноты уже вечной, уже как бы отсутствие сторон света... Но нет...

Это представление протекло в Сергее мгновенно и спокойно; в разное время оно случалось с ним неоднократно, теперь потеряло остроту, было привычно и не пугало. Оно было мучительно когда-то: тогда, во время продолжительных и не по своей воле разлук, означало гибель всего ему дорогого в далеком родном городе и его пустое и ненужное спасение. Теперь же, вдруг почувствовав край привычной лунки, выдолбленной мучительными когда-то представлениями, он легко скатывался в нее: удобно не задерживаясь в сознании, в один миг, перед ним проходило несколько картинок — и все... Они ехали в той же машине, по той же дороге дальше. Если бы он зафиксировал, остановил это представление в себе, то вряд ли что-либо поразило его в нем, кроме банальности, и самым сильным чувством было бы облегчение того рода, что ничего у нас на лбу не написано и по крайней мере хоть некоторые глупости не становятся видными и не приходится краснеть за них... Но машина уже выезжала из леса, проскочив его непонятно быстро, потому что по ощущению, возникшему из того, как долго синел он на горизонте и как долго они к нему подъезжали, лес должен был быть значительно бесконечней... А они оказались уже у развилки, около поста ГАИ, и, свернув еще раз налево, стали въезжать в пригород.

Отец, как всегда сжавшись, уничтожившись, миновал ГАИ и, когда красные мотоциклы, пасшиеся у обочины, остались за спиной, воспрянул, выпрямился, стал неестественно молодцеват, обругал гаишников и, попав в свою, тоже привычную, совсем уже беззубую от частого употребления лунку, продолжал говорить о них в повышенном тоне, требовавшем сочувствия и осуждения со стороны сына; сын легко и охотно соглашался и поддакивал, благо предмет разговора был ему безразличен. Отец же снова стал благодарен сыну, отец косился уважительным, как бы оценивающим взглядом на сына, словно еще и еще раз с удовольствием отмечая, что его высокая оценка нисколько не завышена, а скорее занижена... Сын видел в зеркало, как поглядывал на него отец, и делал безразличное лицо, важнел.

— Ты уже седеешь... — говорил отец (эта фраза всегда означала окончательный мир и признательность и неведомо почему всегда была приятна сыну).

— Да, — небрежно говорил сын, — уже давно.

И в этот свой приезд Сергей, как и прежде, ничего не успел, с особой силой ощутив бессмысленность и ненужность тех якобы дел, что привели его в город. Весь день он носился с места на место, кого-то заставлял, кого-то не заставлял, с кем-то встречался лишь для того, чтобы назначить следующую встречу, тоже ненужную, и вдруг осознал себя, как бы вдруг обнаружил в длинной узкой комнате почти без мебели, среди незнакомых людей. За окном было темно, Сергею давно уже пора бы было вернуться на дачу, жена там нервничает и злится, и он тут совершенно ни к чему... Три милые незнакомые девушки сидят на полу на каких-то циновках, поджав выразительные свои ноги; незнакомый длинный парень торкает пальцем в клавиши магнитофона; еще один парень, хозяин, этот-то хоть знаком — одноклассник, не видел его лет сто, и надо же, сегодня встретил — он бродит по комнате и то гасит свет, и тогда остается гореть лишь зеленый магнитофонный глазок, то снова зажигает, и все жмурятся растерянно и кажутся неестественно бледными; и единственная бутылка водки выпита; и папиросы кончились... А Сергей сидит в своем углу на стопке книг в непонятной тоске, и никак не стронуться ему с места, хотя давно уже пора ехать на дачу, сидит — словно ждет чего-то. Его тоска стыдновата и сладковата и напоминает что-то — неясно что, как на первых школьных вечеринках с девушками. Одиноко — и не уйти. Хозяин снова зажег свет и извлек откуда-то воздушный пистолет. Началась стрельба по мишеням — мишенью была обложка немецкого журнала — на обложке был динозавр. Сергей вдруг увлекся необыкновенно, с детским возбуждением вырывал пистолет: «Дайте мне! Дайте мне!» — и потом все никак не мог отдать следующему: «Еще один выстрел! Еще один!» — «Вот, — смеялся приятель, — так и со мной было... Как достал этот пистолет — так и стреляю с утра до вечера, до полного маразма. Все время на это уходит. Хоть бы забрал его у меня кто». — «Отдай мне», — с детским жаром сказал Сергей. Приятель тут же стал отказываться. «Ну отдай... — не отставал Сергей. — Ну на время. Я верну... На несколько дней — и я верну... Ты же все равно собирался ко мне на дачу — вот и заберешь...»

Наконец приятель словно устал, холодно и высоко подняв брови, согласился. Сергей, тут же схватив игрушку, ушел, едва попрощавшись.

Приехав на дачу, он не показал пистолет жене — лег спать. А наутро, скрыв его под полой, пронес к себе наверх. Сергей долго любовался им, потом с удовольствием переломил ствол, ощущая сопротивление пружины взвода и прохладу стали, вложил туда свинцовую пульку и выстрелил в стоявшую на полу ржавую банку. Попал. Сергей долго расстреливал баночки, расставленные на случай дождя. Баночки бренчали и подпрыгивали, пульки отскакивали в разные стороны. Сергей ставил баночку на баночку и наверх еще баночку — баночки раскатывались по полу.

Тихо подкралась жена, привлеченная непонятными звуками. Удивилась. Постреляли вдвоем.

Сергей ползал по полу, собирая пульки. Они все закатывались и исчезали. С каждым разом их становилось все меньше.

Так прошел день.

На следующий день, постреляв еще немного с утра, Сергей смог найти лишь одну. Выстрелил ею — не осталось ни одной.

Сергей спускался вниз, бессмысленно бродил по саду. Снова поднимался к себе наверх, снова доставал пистолет и долго разглядывал его, поглаживая тускнеющую вороненую поверхность. Устремив взгляд в северное окно, задумчиво подносил пистолет к виску. Ствол сразу находил свое место, попадая в некую ямку, словно для него созданную. «У каждого мужчины, — вдруг вспомнил он смешные слова их взводного, — есть в плече природная ямка для приклада». Хмыкнув, Сергей опускал пистолет, ощущал еще некоторую секунду на виске холодный кружок. Сергей переломил ствол — зарядил пистолет без пульки. Снова поднес к виску и медленно спустил курок. Раздался пустой хлопок, и Сергей ощутил небольшую боль. «Игрушка, — тупо подумал Сергей, вертя перед собой пистолет и оглядывая его с удивлением и недоверием. — Игрушечный пистолет... И игрушечный мой висок. — Взгляд скользнул на стопку чистой бумаги. — И игрушечный мой стол. — Сергей посмотрел вверх, на крышу. — И игрушечный дом». Оттуда, сверху, упал паук и закачался перед носом, прыгая вверх-вниз. «Игрушечный паук», — сказал Сергей вслух.

Сергей встал и долго бродил с пистолетом, висевшим в расслабленной руке, по своему этажу. Он засунул пистолет под кучу тряпья в углу, взглянул на эту кучу как бы с удовлетворением и тут же совершенно о нем забыл.

К удивлению жены, Сергей вдруг стал тих и ровен. Он бродил по дому в необычной рассеянности и на вопросы отвечал не сразу, словно приходил на зов издалека. Натыкаясь на что-нибудь, он уже не злился, а растерянно и виновато улыбался. Его мучило многообразие замыслов, и он никак не мог решить, что чему для начала предпочесть и за что взяться. И если он усилием заставлял себя останавливаться на чем-то одном, произвольно взятом, то опять он не знал, с чего начать, слишком много вставало перед глазами, слишком его распирало — так получилось, что все его мучительное безделье вдруг оказалось чрезвычайной полнотой. Временами он отвлекался и тогда начинал испытывать нежность ко всему, начинал жить. Эта радость передавалась жене, и они становились тогда необыкновенно признательны друг другу.

Когда он наконец сел за стол, была суббота, дело клонилось к вечеру. Это вышло неудачно, потому что в субботу приезжали родственники, на воскресенье. Его уже лихорадило, мысли толпились, отчаиваясь избрать последовательность, он решался наконец, бросался, как в холодную воду, — и тогда оказывалось, что хаоса не было, хаос обращался мощностью, все становилось взрешшим, необходимым и единственным, и он плыл, плыл... когда что-то заставило его взглянуть в окно, и он увидел, что по дорожке идут улыбающиеся родственники. Он посмотрел на них, не узнавая, словно бы оставаясь для них невидимым, но они его уже видели и махали руками. Когда он услышал внизу всплескивания и восклицания и ему надо было бы тоже стоять сейчас в дверях и приветствовать, мысли его стали разъезжаться, и стройность их покинула. Какое-то мгновение он пытался насиловать их: сдерживать, не отпустить, — но они разъезжались. Он ощутил это физически, как в мозгу, в его коробке, расплзается мысль... и, больше не пытаясь что-либо восстановить, поспешно спустился вниз.



Он стоял в дверях, ласково и тихо всем улыбаясь, пока родственники разгружались в сенях от всех своих кульков и свертков и обменивались с ним и его женой какими-то не совсем ясными и слишком радостными восклицаниями. «Ну, как работается?» — только и разобрал он. Это был тесть, кто сказал ему такое. Сергей усмехнулся: «Ничего...» Однако усмешка его была лишена яда, он теперь не злился — и это тоже было последствием его бездеятельной полосы, когда он убедил себя в том, что никакой исключительностью ни перед кем не обладает, и занятие его такое же, как все другие, и делать из него культ не пристало. К тому же его не покидало ощущение, что теперь-то он начал и продолжает, сколько его ни прерывай, что дело уже пошло. В общем, все было ничего, хотя физически он чувствовал себя неважно: бил озноб, болела поясница — неутоленное желание. Ну что ж, они-то не виноваты, все равно приехали бы — он забыл...

Разгрузившись, они прошли в дом.

Сергей беседовал с тестем на фенологические и политические темы, заваривал чай («Как это ты умеешь так замечательно заваривать!» — восторгалась теща), оказывал внимание: долг гостеприимства — он его выполнял. Тут была путаница, кто гость, кто хозяин: хозяйева дома приехали как гости, и он, гостивший в их доме, принимал их сейчас как хозяин. То ли поэтому, то ли потому, что отношения были родственными, но не кровными, жизнь в доме превращалась в громоздкий и уродливый ритуал.

Часпитие заняло всю оставшуюся субботу. Все подливали друг другу, передавали друг другу тарелочки и ложечки, вот это печеньеце или вот эту конфетку, время от времени кто-нибудь уносил чайник, чтобы долить его и чтобы чай был горячий, и это было недолгой передышкой, привалом, а потом все начиналось с новой силой. Еще больше становилось непонятным, кто у кого гость. Но тут, к счастью, и пора было спать.

Воскресенье уже ни на что похоже не было. За-маскированная война протекала на кухне, около детской кровати и в саду. Все осложнялось, запутывалось этикетом, вежливостью и добрым отношением друг к другу — все это служило чем-то вроде боевых щитов или укреплений — троянский конь с расположившейся

внутри коммунальной квартиры, свара, запеченная в сладкое тесто. Завтрак еще сошел сравнительно легко, но только потому, что впереди был обед, куда стягивались все силы и резервы. С приближением обеденного часа война переходила в битву, а битва в побоище. Сын, которому все уделяли любовное внимание, то попадал в плотное окружение, где все вырывали его друг у друга, воркуя, то все покидали его, и он оказывался без присмотра. Именно так получилось, что никого не было рядом, когда он достал пудру жены, рассыпал ее, размазал и частично съел. И тогда мать и дочь, жена и теща, мать и бабушка — все они немножко поспорили, кто в этом виноват.

Наконец и обед ушел в прошлое, родственники стали собираться в город, и Сергей, усталый и сытый, напуганный предстоящим последним сражением, которое называлось сборами в дорогу, попросту бежал, объяснив это тем, что сын до сих пор не гулял.

Он сажал свое дитя в коляску и катал его по поселку. За воротами дома ему сразу показалось, что еще суббота и никакие родственники не приезжали и не приедут.

Он снова ощутил в себе то дрожание, которое жило в нем вчера на втором его этаже, мир, который возник в нем тогда, запульсировал, ожил, подхватил его и понес, он с радостью ощутил это плавное покачивание и, как всегда, с удивлением и восторгом подумал о том, что это у него не оборвалось, не кончилось, что такое еще может с ним быть. Он с нежностью подумал о жене, даче и родственниках и взглянул на сына. Тот сидел в коляске, толстый, уцепившись за поручни, и смотрел на мир. О чем он думает? Ведь он думает... «Есть три вещи, — рассуждал Сергей, — которых не знает никто, и все, что мы о них знаем, всего лишь наши или чужие воображения, столько раз утвердительно повторенные в форме уже суждений, что как бы действительные... Это — что и, главное, как думает ребенок, потому что он еще и говорить не может, и не запомнит, как он думал; что думает человек в последний свой миг, когда в нем обрывается жизнь и он уже никому ничего не расскажет, и третье, и это на каждом нашем шагу, что думает человек, Икс-Имярек-Иванов, который другой, не ты...» Сергей катил коляску по неровным неловким улочкам и не столько сам смотрел и видел, сколько смотрел, как смотрит и видит его сын. При незнании того, что

думало его дитя, совершенно определенная связь, казалось ему, устанавливается между ними. Причем скорее в этой связи в подчинении находился он, а не сын, скорее он видел глазами сына. Со вчерашнего все виделось ему острее, но с сыном, с его глазами, вроде и еще обострялось.

Он водил сына по поселку, как по огромному букварю... Они видели речку, он говорил ему: «Видишь, речка?» — сын смотрел на речку. Сергей говорил: «Это речка», и это была действительно речка. Он говорил сыну: «Вот коза», и это была действительно коза. Он говорил сыну: вот дерево, вот мальчик, вот дом, — и все это было действительно так, как он это ему говорил. Сергей бы не мог сказать сейчас в словах, в чем дело и что с ним творится. Он ощущал нечто гениальное в этой назывной простоте вещей и слов, и ему казалось, он находится на каком-то высшем пороге, за которым-то все и начинается, и что на этом пороге новой логики, нового мышления, нового мира, наверно, редко кто стоял. Он видел корову. «Вот корова, а вот ее сын — теленок», это все было так, а дальше, за коровой, был болотный луг с такой ровной и молодой зеленью, что казался чем-то, чего нельзя потрогать, излучением, что ли. На лугу еще росли странненькие цветы в виде белых ваток, словно всплывших на зеленую, густую и воздушную одновременно поверхность. Луг был пуст, и только где-то в центре его маленький мальчик, уменьшенный расстоянием, стоял нагнувшись, по-видимому, рвал эти белые цветочки, а издали казалось, что и не рвал — гладил неощутимую, как небо, поверхность луга. Он стоял там, не боясь промочить ноги, босой, по-видимому; не боясь провалиться: там же, под ковром, трясина, — слишком легкий, по-видимому; а за лугом шла насыпь, и, продув с забавной старательностью, то скрываясь за кустами, то вновь появляясь, спешил, чухал паровоз; он работал суетливо и старчески, маленький в отдалении, а за ним, до странности не совпадая с его торопливостью, тянулся бесконечный состав. Хоть и далеко, все было очень хорошо видно, как и вообще в последние ветреные дни, каждый вагон виден или платформа. Сергею хотелось пересчитать вагоны и лень было считать, и он не считал вагоны. Вот луг, вот мальчик, а вот поезд... И это все было действительно так — и луг, и мальчик, и поезд, еще корова с теленком, и он с сыном... все это на какое-то длящееся мгновение, совпав на одной прямой, обра-

зовало как бы осень, и в этом была словно бы самая большая правда из всех, что он с упорством искал или находил. Симметрия, казалось бы, случайная, при которой сын тянул руку в направлении поезда, и корова жевала, стоя головой в противоположную сторону, чем шел поезд, и луг, и мальчик, гладивший луг, и поезд в конце концов, и все это как бы на одной оси, совпавшей с взглядом и ветром, объединенное куполом неба, как лигой, и замкнувшееся в нем, Сергее, и как будто бесконечное продолжение оси за видимые пределы — ощущение этой симметрии было из чувств самых счастливых. Это был пик, вершина, взрыв, и в следующий миг то ли поезд уехал, то ли мальчик сошел с места, то ли корова... ось распалась, и Сергей ощутил блаженное опустошение: он существовал теперь и в этой зелени луга, и в том мальчишке на лугу, и в поезде, уезжающем от него, и в небе, и в сыне, и в каждом, и во всем. Жизнь его, взорвавшаяся, разбрызганная, как бы разлилась и наполнила все содержанием и жизнями. Он чувствовал себя богом, нигде и во всем, обнимавшим и пронизывающим мир.

Он обнаружил себя вдруг стоящим около тысячу раз виданного луга, держащимся за коляску, и сын его лепетал что-то. Тогда как бы обратным движением киноленты, на которой отснят взрыв, когда назад летят все осколки, и дым и пламя текут назад, сгущаются и уходят, как джинн в бутылку, и остается ровное пространство, словно ничего и не взрывалось. Сергей выделил себя крохотной точкой в пространстве и был как бы пьян. Он возвращался назад, катил перед собой свое подобие, свои глаза, свою радость; отворял калитку и шел по дорожке сада; поравнялся с клумбой (из всех клумб она была наиболее случайной, с тарелку величиной, приульившаяся у самой дорожки, потому что создана была только что и сверх всякой планировки). Его теща, мать жены, бабка сына, создала ее сегодня по неясному вдохновению, приговаривая: «Внучкова клумба, внучкова клумба». Это был сантимент, но сентиментальность в отношении детей перестала казаться Сергею чем-либо предосудительным, когда появилось свое дитя, наоборот, была чем-то правильным и понятным. Они поравнялись с клумбой, и Сергей сказал: «Вот клумба, это твоя клумба, это твои цветочки...» Он приостановился, присел на корточки, нагнул какой-то желтый, в висяюльках цветок и названия его не мог вспомнить. На-

гнул, чтобы тот был поближе к сыну: сын сразу потянулся к цветку руками, ручками, «ручками», пальчики-лепестки, своими лепестками, лепесток — к лепестку, потянулся и приостановился, не решаясь потрогать. Это желание и боязнь, эти руки умилили Сергея, и он сказал: «Вот цветочек, он такой же, как ты, это твой брат...» Он не был совсем уверен, правильно ли он назвал цветок «братом», и пробормотал: «Это твоя сестра...» И тогда, разрушая и разрывая все, мелькнула мысль, что кто-нибудь за ним наблюдает, он сделал вид, что нагнулся, чтобы извлечь сына из коляски, и когда выпрямился с сыном на руках, то увидел на крыльце улыбающегося своего приятеля и тут вспомнил с недоумением, что сам же приглашал его приехать.

«А я не один», — сказал приятель и показал рукой на веранду, где Сергей увидел свою жену. Он ничего не понял, но тут из-за жены выглянула девушка, в которой он признал давнишнюю свою знакомую, и она ему улыбнулась и помахала. Они с приятелем тоже прошли на веранду, Сергей передал сына жене, и, пока все возбужденно переговаривались, переживая встречу, он думал о том, что вот знал их хорошо порознь, приятеля и приятельницу, но никогда не видел вместе, а тут они приехали вдвоем, и что бы это значило? И ему показалось, что это они не «просто встретились на платформе». Сын заплакал от обилия незнакомцев и необычного шума, жена сказала, чтобы все шли к Сергею наверх, что она тоже, только накормит и уложит сына, присоединится к ним.

Поднявшись, все повосхищались его вторым этажом — его кабинетом с паутиной; приятель — впрямую лстя, хотя и с этакой дружеской грубоватинкой, она — так, как ему бы это больше всего понравилось: не высказываясь, а просто окинув все взглядом согласия и удовлетворения, словно она и раньше хорошо и с интересом обо всем этом думала, о Сергее и его загородном житье, и довольна теперь, что все так и оказалось и не разочаровало ее, и сам Сергей, взглянув на все их глазами, был доволен и своим этажом, и собой.

Хотя обращался Сергей в основном к приятелю, а приятельница молчала, она все больше занимала его внимание. Время от времени он поглядывал, как она взяла что-то с его стола и разглядывала, а потом положила на место, как она прислушивалась к разговору, как двигалась, аккуратно обходя паутину, и как улыба-

лась. Была в ней какая-то свобода и смущение одновременно, что сообщало ее здесь присутствию оттенков заинтересованности, большей, чем любопытство, и эта заинтересованность льстила Сергею. И было в ее движениях что-то от такого приятия всей обстановки и Сергея в том числе, что сразу естественным и вечным показалось ему ее существование тут и как будто она должна была бы остаться, а приятель — уехать. То, что Сергей никогда не видел их вместе и не слышал об этом, воскрешало в нем детское ощущение присутствия любовников, забытое и таинственное. Такое, например, было, когда старший брат собирал у себя компанию, и Сережа, притихший, сидел в углу и пытался понять, кто из этих красивых девушек имеет отношение к брату, и вообще, кто с кем, а потом его отправляли спать, а он не спал, прислушивался к шуму в соседней комнате и вспоминал ту девушку, что подошла к нему: «Это твой брат? Какой славный...» — и погладила его по голове, он не спал и высчитывал, на сколько он ее младше и сможет ли он жениться на ней, когда вырастет, и приходил к выводу, что, конечно же, сможет, что разница в семь лет — чепуха. Или другое ощущение, когда он был уже постарше и был готов к любви — вдруг от каких-нибудь двух людей, сидящих за общим столом, не тех, что шумно подчеркивают свою связь и находят в том сладость, а других, молчащих, сидящих порознь, у которых тайна, сговор, телепатия, и нет у Сергея никаких тому доказательств, но это так. Как в детстве невозможным, высшим, недостижимым счастьем казалась ему такая связь двух людей в море жизни, отдельных друг от друга, так и сейчас, не так сильно, но затеплилось что-то похожее, напоминавшее настоящее.

Кроме того, глядя на нее, ему начало казаться, что он был с ней когда-то, что-то между ними было, и сговор повисал уже между Сергеем и ею, над приятелем. Ощущение было недурным, немного тревожным, потому что и действительно начинала вспоминаться какая-то облезлая комната, и сумерки в ней, и пепельница из консервной банки на подоконнике. Было или не было? Приснилось, может? Да нет, не было, не забыл бы; придумал, пожалуй... Но нет, какое-то согласие, какая-то нить уже протягивалась между ними, и оба ощущали ее, он знал, и она тоже. Но это не было все-таки просто симпатией, что-то было с оттенком воспоминания, и он никак не устанавливал что.

Они поболтали в его кабинете и вышли на балкон. Низкое солнце осветило их сбоку. Длинные косые тени балюсин устранивали свою геометрию на полу. Ветер, сильно дувший третий день, трепал деревья, но балкон был с подветренной стороны, и ветер не попадал сюда, только все время был ощутим: слышен и виден. А они сидели на теплых от солнца досках и продолжали свою беседу, не запомнить о чем. Рассказывал приятель. Сергей и слушал, и не слушал его. Появилась жена, которая наконец усыпила сына. Но это не прервало ощущений Сергея, а даже усилило их. Связь между ним и девушкой не рвалась, он чувствовал ее натягивающуюся, и нечто необычное казалось ему, слегка романтически, в том, что они не делали никаких видимых усилий для ее поддержания, ничего специально направленного, взглядов вроде не было, поз, и чувство, близкое благодарности, возникало в нем за то, что она не сделала ни одного движения, способного оборвать их нить. И счастьем казалось то, что не было растущего возбуждения и напряжения, все оставалось незамутненным, их связь усиливалась словно помимо их желания, и они как будто даже приглушали ее. И из этого рождалось в нем чувство легкости и естественности, чего-то такого редкого, после чего не будешь чувствовать ни раскаяния, ни стыда. Словно все уже было, но ничего, кроме легкости и благодарности, не осталось в последствиях, а уж легко ему бывало мало когда, да и не бывало.

Они мило поговорили, то да се. То было об одноклассниках и знакомых, кто кого видел, но никто никого не видел: каникулы. Се — о делах, что на что похоже в свете сегодняшнего дня, но ничто ни на что похоже не было, да и дел не было: каникулы.

Они уже исчерпались и стали понемногу испытывать неловкость, молча разглядывать вид, открывавшийся с балкона, мало, впрочем, занимательный, когда приятель сказал, что вот она, имея в виду приятельницу, напрасно хочет утаить от всех ее прекрасные песни, что привезла откуда-то. Пусть споет, пусть споет, попросили они. «Я их не таю, я спою», — сказала приятельница. И она спела просто и не натужно, даже интересно спела, словно пользуясь тем, что у нее нет голоса и обыгрывая это. Сергей совсем растаял, потому что решил, что пела она для него. Из трех или четырех песен, которые и на самом деле были хороши, он почти ничего не запомнил из-за этого. Только начало одной. Эта песня даже от-

влекла его от сладких воображений. Двусложные слова в конце каждой строки пелись с двойным ударением, отчего слова эти казались разбитыми, как бы черепками слов-рюмок и слов-чашек. Это придавало песне еще более диковатый характер, чем странный текст, ускользающий мотив и отсутствие рифм.

Какой большой ве-тер  
напал на наш остров  
и снял с домов кры-ши,  
как с молока пе-ну...

Песни были спеты — они опять молчали. И когда внизу закричал сын, все услышали это как бы с радостью, вскочили, с удовольствием разминаясь и потягиваясь, и заговорили, слишком громко и оживленно без всякого перехода от молчания.

Сын сразу же успокоился, увидев людей. Вышло, что кричал он лишь потому, что желал общества. Общество он получил и даже к незнакомцам отнесся теперь благожелательно. Он ходил по комнате, попадая из рук в руки, собственно, не попадая, как бы падая из одних рук в другие, потому что между тем, как кто-то его отпускал, а кто-то подхватывал, был один его самостоятельный шаг, и тот был падением.

Так, увлекаясь и радуясь вместе с сыном, Сергей вдруг обернулся, словно на звук, и поймал взгляд девушки. Взгляд, как ему сразу показалось, таил в себе некий оттенок, и потому, что она, пожалуй, долго на Сергея смотрела, а сейчас отвела взгляд слишком поспешно, словно он выдавал ее, этот оттенок стал для Сергея безусловным — и он смутился. Он откинулся тогда на тахте, голова его ушла в сумрак: отсюда он мог наблюдать и приходиться в себя.

Какое-то по-детски отчаянное замирание ощущал он при каждом взгляде на девушку (теперь она старательно не смотрела на него, и это, конечно же, давало Сергею новое подтверждение) и ребяческую решимость неведомого еще ему самому поступка, сладкого несмертельной, вкусовой опасностью. Он поэтому никак не мог почувствовать себя свободней, расковаться и продолжал лежать, спрятав голову в тень. Тут обнаружил он спасительную пушинку, вроде одуванчиковой, улегшуюся ему на колено. «На счастье...» — вспомнил он приметку времени пионерских лагерей. Пушинка подсказала ему действие, а действие освободило от неловкости: он



устроил пушинку на вытянутый палец, взглянул на девушку, как бы намекая, что за желание он загадывает, и тщательно дунул. Пушинка взлетела под потолок, была она отчетливо видна и лишь под самым потолком исчезла, слившись с меловой поверхностью. Сергей упорно всматривался в пустой воздух и вдруг обнаружил пушинку ниже той точки, где собирался ее найти, — она степенно падала вниз. Тут ее заметил и сын: взвизгнул и протянул ручку, заговорил много и непонятно. «Подумать только, — сказал Сергей с простой гордостью, — такую мелочь, пушинку, и уже замечает...» Он поймал пушинку и снова дунул...

То ли все, как Сергей, увидели пушинку глазами детства, то ли сын передал свой взгляд на вещи, но все увлеклись необычайно. Пушинка резко взлетала и медленно падала, то сливаясь и исчезая, то становясь зримой, чем обозначала какую-то невидимую в воздухе чересполосицу света и тени. Сергей глупо озирался, а кто-то, первый ее обнаруживший, кричал: «Да вон же она! Вот!» Сын каждый раз, как видел пушинку, радовался все сильнее; недоумение и растерянность, как шторка, падали на его лицо, когда он терял ее из виду, и радость еще более сильная сменяла эту растерянность. Это усиление чувств от повторения, а не затухание, что казалось Сергею соответствующим человеческой природе, приятно удивляло его в сыне. Пушинка опять исчезла. «Вот она! Я вижу!» — Сергей узнал голос девушки, отвлекся и вдруг увидел все со стороны. Сын при этом видении остался в том же значении. Остальные, взрослые, казалось бы, люди, сидели с полураскрытыми ртами и расплывчатыми улыбками; их взгляды пересекались, соединяясь где-то в центре комнаты в почти невидимой и подвижной точке, и были так напряжены, словно это был спиритический сеанс, где общим телепатическим усилием сообщалось движение пушинке. На лицах была такая увлеченность, как бы одержимость, почти упоение, словно пытали судьбу, словно ставили состояние... Оттого, что он увидел всех как бы открывшимися самой незащитной и нелепой своей сущностью, Сергей ощутил унижение, благодарность и неловкость подглядывания. Он поймал пушинку и задержал ее. Некоторый миг присутствующие как бы возвращались к действительности, и, когда он заметил первый отблеск узнавания, сказал: «Вот ведь... взрослые люди...» — все засмеялись без смущения, — тогда ему стало ясно, что он преувели-

чил, как всегда, и, как всегда, ему стало неприятно от этого. «Ну, нам пора», — сказал приятель, и это «нам» резануло Сергея и совсем отрезвило.

...Он пошел проводить их до станции, уже скучный и удрученный. Все произошло, впрочем, так, как должно было произойти: им с самого начала предстояло уехать вдвоем, но для Сергея уже несправедливостью и обидой было, что вот они уходят вместе, приедут в город, где придут куда-нибудь и останутся вдвоем... Сергей вроде ревновал, но не сознался бы себе в этом. Ему становилось все скучнее, потому что начинало казаться, что он сам все надумал про значительную связь между собой и ею, что ничего-то такого не было, что она, во всяком случае, ничего этого не ощущала, а он, быть может, выдавал себя какими-нибудь нелепыми движениями, и она посмеивалась над ним, а оставшись вдвоем с приятелем, они посмеются над ним вместе... Это было унижительно — резко менять восприятие: только что было радужное чувство, тоже из детских, забытых.

Так, уже молча, брели они к станции. Ветер подталкивал их в спину, погонял. Воздух был удивительно прозрачен, все дали — как бы обведенными. Красное солнце лежало на горизонте и просвечивало все насквозь, словно пронзая предметы на своем пути. Несколько длинных и узких облаков, казалось, были воткнуты в солнце, как красные стрелы или красные перья. Засохшее дерево около склада стройматериалов, уродливая коряга, выглядело жутко и красиво, черное на красном закате, так красиво, что на картине это было бы безвкусно. Было, в общем, холодно, такой был ветер, и, может, поэтому людей совсем не было, а те, что были, как-то неподвижно стыли на ветру, и, казалось, именно они создавали ощущение безлюдности, и не будь их, его бы не было. Ветер мчался по рельсам, гнал щепу и мусор оттуда, где разгружались товарные вагоны, и еще — и это показалось ему бесконечным, когда он увидел, — ветер гнал большой лист картона с ободранными краями, ветер переворачивал его, лист вставал, замирал на мгновение, затем шлепал по насыпи и прокатывался, лежа и пыля, и снова его переворачивало, и на какой-то краткий, но очень длительный по ощущению миг он замирал и, дрожа, сопротивлялся ветру. Они по-прежнему молчали, теперь стоя на платформе. Подходила электричка, и они пожимали друг другу руки, почему-то сначала приятель сунул свою руку (из-под мышки у него

гупо торчал пистолет), а потом уже она подала свою. И как-то так подала она ему руку, и пожала, и посмотрела, что это все он дурак, а что-то было, что-то будет, у него защемило, он старался сдержаться, но не мог — заволокло глаза, и видел он мутно, боясь сморгнуть слезу. Электричка трогалась, они махали из вагона — она махала, а приятеля он не видел, тот исчез со своим пистолетом, растворился, его и не было. И электричка увезла ее в сторону, в какую дул ветер, на самом деле — в город.

Он еще постоял немного и был счастлив. Мысль о том, что он обязательно увидит ее в городе, неотчетливо существовала в нем. Еще он с внезапной, резкой нежностью подумал о жене и сыне, о доме, куда он сейчас вернется, и снова о жене, что он сейчас ее увидит, как после долгой разлуки...

Медленно побрел он назад, против ветра, мимо склада и мимо разгружавшихся вагонов, и мусор летел ему в лицо, «какой большой ветер», он переходил пути, и в этом перешагивании рельсов было такое одиночество и во всей этой пустоте, обдутости кругом, «напал на наш остров», им овладело ощущение отрезанности от мира, и это было хорошо, остров... действительно, остров!.. Гладкая отмель, и желтое мутное море, и хибарки на тонких ногах, и крыши из широких жестких листьев, «и снял с домов крыши», ветер гнал большой лист картона, тот вставал, замирал на мгновение, затем шлепал по насыпи и прокатывался, лежа и пыля, и снова его переворачивало, и на какой-то краткий, но очень длительный по ощущению миг он замирал и, дрожа, сопротивлялся ветру...

А вот его тихий дом, и крыша цела. Его дом, его крепость — второй этаж... Сергей вспомнил, как летел его этаж, тогда еще пошел град, он побил все всходы... «И снял с домов крыши, как с молока пелену...» Его пробирав озноб. Он поднялся на второй этаж — его трясло...

Вечерами, когда он, опустошенный, с легким, нерезким звоном в голове, спускался вниз и пил с женой чай, он думал, что именно это называется счастьем. Он включал приемник, и французенка пела свою песенку, чай был крепок и горяч, жена, бесконечное его знакомство, не то шила, не то пила с ним чай — была рядом,

и никуда не надо было Сергею уезжать от нее, и сын еще не спал и протягивал им игрушку... И Сергею казалось, что это тот самый мир и покой, который он будет вспоминать всю свою жизнь — ведь жизнь неизвестно как еще может повернуться.

1963, Токсово

## ЗАПИСКИ ИЗ-ЗА УГЛА

(ДНЕВНИК ЕДИНОБОРЦА)

Вы, говорят, слишком молоды...  
А я говорю: не виноват.

Вот сейчас хожу и думаю: вот об этом бы написать, и об этом. И вон об том...

А потом, страшное дело, буду ходить и — о чем бы написать? О чем? Мое же дело?! Об этом?.. Но почему же именно об этом? Или о том?.. Тоже ни к чему.

Автобус, 1961

### УГОЛ

18 июня 1963

Приснился мне сон. Словно бы какое-то собрание. Помещение, как всегда во сне, было неопределенным: не то зал, не то подвал, то ли много раз мною посещаемое, то ли я оказался там впервые, — собрание вроде писательское. Хотя словно бы ни с кем я не знаком... В общем, гибридное из сна и памяти сочетание: очень хорошо знакомого и чего-то совсем мне неизвестного.

Таковы были публика и зал. Собрание, по всей видимости, носило идеологический характер. Какие-то там кипят страсти, кто-то подличает, кто-то лезет; кто и что — не помню, только — мерзко. В зале (словно бы в нем нет окон или зашторены, заложены и законопачены наглухо) — полутемно, и свет слабый, грязно-желтый, а люди сидят, как в сельском клубе, на длинных простых скамьях — сомкнутые и неразличимые, слитные.

И вот словно бы все оборачиваются ко мне, и я, тихо стоящий где-то вдали от президиума, у стенки, оказываюсь центром. Словно бы указывает на меня со

сцены Председатель, словно кто-то шепчет мне жарко в ухо, подстрекает (никак мне не обернуться к нему — все он из-за спины...), кто-то очень знакомый, может, из приятелей даже, и все-таки неопределенно — кто. И мне становится понятно, что от меня требуют «высказаться»: вот вы все молчите, отмалчиваетесь, а сами как думаете? не так? так имейте смелость... Я все не в силах отделиться от стены и уже чувствую, что, если меня вынудят, не смогу уйти в кусты: отмычаться, ни да ни нет, не правда и не ложь, — неопределенного желе из страха и желания остаться «честным» на этот раз не получится. И я скажу все, что только в силах сказать, по способности и потребности, состоянию и образованию, страху и упреку.

Я еще стою у стенки, мне шепчут сзади в ухо, подталкивают; что-то холодеет и опускается во мне от страха и решимости; в бешеном темпе мелькают в мозгу, перемежаясь спазмами боязни, обрывки первых фраз и варианты начал... и вдруг я стою на сцене, на этом любительском помосте: передо мною и чуть подо мной — зал, таится в темноте, молчит и дышит, — я его не вижу и говорю. Удивительно говорю, в трансе искренности и слепоты — как решившись прыгнуть, а душа ухает и замирает в полете... Может, и неумно говорю, но по крайней мере достаточно, чтобы взволновать себя и зал. Что сказал — и не запомнил, как ни силился потом — только две фразы:

«...Если Семена Бабаевского переместить в Китай, он там сыграет роль Василия Аксенова, а если Василий Аксенова переместить в Соединенные Штаты, то чью роль он там сыграет? Так где же литература? Не о том речь...»

И другая:

«...Если миллионы, несколько, всех, что есть, — то ли это евреи, то ли художники, то ли просто живые люди, — собрали и повели куда-то под конвоем к обрыву, к расстрелу, к уничтожению и один из них оказался вдруг (трудно ли допустить ошибку при таких масштабах!..) не еврей, а удмурт, не художник, а слесарь, не живой, а труп, то он кричит: «Какая несправедливость!» Не от его лица говорю...»

И вот я кончил, я иду в узком проходе между скамьями, и кругом такое молчание, напряжение и дыхание, словно там не выход, куда я иду, а могила, обрыв, небытие. Я иду и просыпаюсь с каждым шагом.

А проснувшись, вижу солнце из-за шторы и напротив кровать моей Аппушки: она проснулась уже, увлеченно и деловито тормошит пеленку и прибулькивает от наслаждения. Почему-то она чувствует, что я смотрю на нее, отвлекается от пеленки и смотрит на меня, узнает — это видимым движением проходит по ее лицу, узнавание, — расплывается, обрадованная, и впервые говорит мне «па-па».

21 июня

Когда мы говорим: несправедливость, — всегда подразумеваем какой-либо общественный процесс. То ли тебя посадили, то ли тебя расстреляли, то ли лишили ожидаемых или заслуженных прав или благ, то ли делу твоему помешали — всегда подразумевается какая-то протяженность времени до этого плачевного результата, какое-то количество лиц участвующих, какие-то силы, посторонние, внешние, в это включившиеся. Все меняет свою окраску, если представить себе результат, нас устраивающий, пришедшим внезапно и сразу, раздавившим в такую долю секунды, что ты ничего не успел и почувствовать, лишенным предыдущих мытарств, лживой логики, не умещающейся в мозгу, общественного окружения, свирепых бумажек с подписями и протяженности. Тогда оказывается, что именно процесс, приводящий к результату, мы называем: несправедливость, — а не сам результат, который скорее — рок, судьба, конец, и, не будь этого изматывающего вращения в неких общественных сферах, когда мы осознаем приближение страшного результата, когда познаем силы зла в этой, общественной же, сфере, их умолимую логику, заключающуюся лишь в отсутствии логики, в бесповоротной силе утверждения предписанного (когда такое утверждение совпадает с нашими интересами, обычно не ведется речь о несправедливости, а ведь механизм тот же у этих сил: одинаково, что они совпадают, что не совпадают с нашими интересами), не будь этого осознанного лишь как внешняя механика умолимых сил, то есть не помешающегося в сознании, вращения, — все превратилось бы в с л у ч а й.

Представьте, к вам подходит человек, вы его никогда не видели, вы его не узнаете, с ним у вас ничего не связано (как, впрочем, и с любым исполнителем), — и, поравнявшись, пристреливает вас... Может, смерть насту-

пит мгновенно — тогда ваши близкие будут говорить: какая нелепость, нелепая случайность, еще вчера шутил... если смерть придет не сразу, то и вы, страдая, будете говорить себе: как досадно умереть так вдруг, по какой-то глупой случайности, — и все равно покинете мир отлученным от причины задолго до смерти.

И вот теперь, в представлении, я часто опускаю процесс, который мы ощущаем как несправедливость, сокращаю его, как кратную дробь, и представляю себе непосредственно результат: нелепо, страшно, дико, глупо, случайно — ладно! — но при чем тут несправедливость?

В том ли, что не было приговора, или в том, что тебе его не зачитали? В том ли, что ты не согласен с ним, или в том, что ты не признаешь права именно этого суда выносить его тебе? В том ли, что ты боишься умереть, или в том, что ты не готов к этому? В том ли, что нет причины, или в том, что ты не понял ее?

Но даже если отказать себе в возможности постигать суть вещей, спуститься на порядок ниже и удовлетворяться лишь внешними и социальными категориями, то тем более несправедливость окажется понятием слишком тонким и разумным для мира, выстроенного и понятого на этом уровне (или, как мы в таком случае скажем, для с о в р е м е н н о г о мира), и суть вдруг окажется в том (если сократить все прочие вариации, на этом уровне качественно неразличимые), что может подойти незнакомый человек и пристрелить тебя в любое время дня и ночи, в любой точке пространства — и уничтожить твои параметры.

(Удивительно это получилось у Кафки, хотя это и внешнее было бы для него рассуждение. У него это — как бы между прочим и само собой: одно из сечений созданного им объема...

Так вот, роман называется «Процесс», и все движение, вся мука героя — процесс, а развязка — просто рок, просто убийство, и, на верхний взгляд, даже не взаимосвязано одно с другим.)

*ИЗ-ЗА УГЛА*

10 августа 1963

Упрешься в старые слова... Несколько месяцев назад я вдруг захотел написать стихи и, конечно же, не риск-

нул, а вчера они снова вспомнились мне. Слов не хватает, потому и не написал и не напишу, но вот что-то вроде подстрочника: «Ты увидишь вдруг то, что видел каждый день, и это пронзит и наполнит отчаянием — приступ жалости, беспомощности и любви. Люди, маленькие и трогательные, вдруг побегут перед тобой по своим, казалось бы, делам, сходим «по-маленькому» и сходим «по-большому», они садятся в автобус и выходят из него, одни едут в одну сторону, другие — в обратную, одни останавливаются у газеты, другие становятся в очередь, кто-то что-то строит — кладет свой кирпич, а кто-то пьян совсем, тут еще и дождик пойдет, люди бегут, траектории их сходятся, пересекаются, расходятся, автобусы и трамваи стригут паутину их движений, переезжают твой неостывший след, можно даже поразиться той акробатической четкости, с которой каждый бежит по своей дорожке и все цел, все не вредим, и эта подсмотренная тобой ловкость усилит тогда твое ощущение до невыносимости: боже, зачем, куда! — и ты остановишься, парализованный, ощутишь неподчинение рук, ног, и почти всерьез придет тебе мысль, что и не восстановятся больше эти связи, закурпорился канал, по которому павловские приказы коры приводят твое тело в движение, и люди продолжают свой хаотичный бег перед тобой, озабоченные, устремленные, и никуда они не идут на самом деле, «Как муравьи, — скажешь ты себе, — как муравьи...», и придешь домой, и, если это чувство задержится в тебе так долго, что ты донесешь его до дома, то, может, сядешь и напишешь, будешь испытывать при этом подъем и словно бы озарение и напишешь: как муравьи, как муравьи... Будешь жить дальше и перечитаешь однажды и воскликнешь, усмехнувшись криво и победно: господи, какой же я был дурак! ведь я ничего, ничегошеньки не понимал... и как же это я умудрился хоть что-то понять теперь? если настолько не понимал совсем не так давно! ведь это совсем не так, и слова не те, и беспомощно до стыда! Некая гордость разопрет тебя, и ты будешь жить дальше и думать дальше и однажды умудришься настолько, что невыносима станет тебе твоя же мудрость, и, словно бы усталый, с опущенными руками, взглянешь ты как бы с ее вершины, не уверенный, что сможешь уже хоть когда-нибудь приказать хоть что-либо своей руке или своей ноге, и увидишь, как побегут перед тобой люди, пересекая и путая свои траектории,



вдруг увидишь, что это молекулы скачут под несильными толчками, короткими прямыми отрезками гасят они инерцию, а толчок-то был: купить колбаски, затем зайти в аптеку — и под острым углом в другую сторону... и так они скачут и пересекаются, короткими черточками обозначая прямые свои отрезки, а потом назад, а потом вбок и еще раз вбок, один толчок, другой, пятый — и уже никакого направления не определишь ты в их движении — лабиринт, хаос, — а каждый цел и невредим, и красота их движений, их уже природность как бы в джунглях, среди зверей и лиан, усилит твое ощущение. «Зачем, куда?» — скажешь ты. «Броуновское движение, броуновское движение...» — будешь повторять ты. И вернешься домой и, если мозг твой еще способен удерживать ощущения в памяти, запишешь: броуновское движение, броуновское движение... Как муравья, запросится тебе на перо, как муравья...

Одна из лжей, обрекающих человека на несоответствие и мучение, заключается в том, что идея способна изменить мир. Мир изменяется, а не идея. Идеи же существуют всегда. Их потребляют люди, не знающие слов, и им кажется тогда, что поступки их наполняются содержанием и направленностью. Всегда существовала одна легендарная личность, которая породила идею, которой мы, товарищи, дышим и счастливы сейчас... и так все складывается и получается, что все человечество развивалось направленно и осмысленно, плодом этого развития и явилась идея той выдающейся личности, и из этой идеи возник тот прекрасный и наконец осмысленный и справедливый мир, в котором мы, благодарные идее, живем... Так было всегда, во все, так сказать, времена и народы. И даже честные люди, выросшие в этой атмосфере подтасовок и стихийного шулерства, научились свободно перемещать в очередности действия и размышления о них так, чтобы сначала была мысль, а потом действие, и ни в коем случае не наоборот, и в этом обмане ощущать себя существом разумным, и в этом же обмане, словно бы власть над миром, его подчиненность тебе, а ты — царь природы, вершина, венец, венчик ты.

Упрешься в старые слова... Человечество живет так: обманывая себя. Некоторые обманывают только себя — это честные люди, некоторые себя и других или других, а потом себя, — это люди нечестные, это эксплуататоры и экспроприаторы, политики и властители дум, тираны

и фанатики. Человек живет так: обманывая себя. Опереточный, романтический тиран: обманывает только других. Это вневечно, так, впрочем, и не бывает. Обычный, житейский тиран: для начала немножко обманывает себя, потом очень много других и, в конце, снова себя — чуть-чуть. Мудрец не обманывает других, он знает, он ничего не может сделать поэтому, даже слова сказать, он неизвестно где, потому что, неспособный к действию, не обнаруживает себя, он невидим, его и нет. Он тоже вневечен, и поэтому его тоже не бывает. Художник, бедняга, — жар и холод, жар и холод — и так всю жизнь, пока жив талант, он живет, как человек: обманывая себя, при этом он рождает и тогда обманывает и других, к тому же он вдруг обнаруживает обман, страдает и становится мудрецом (на некоторое время), и тогда он ничего не может делать, и поскольку мудрец — это небытие, он невидим, его нет, художник возвращается к жизни через новый обман, который никогда не нов, и все повторяется снова. Он живет, разворачивая перед собой идеи, которые никогда не новы, он живет, создавая свои подобию и подобию своего мира, и обманывает людей тем, что оправдывает их существование, не как зверей и птиц, которым господь даровал жизнь, а как начала разумного, венца, венчика. Он живет лишь минутами мудрости и разочарования, впуская в сознание идею о том, что идея не способна изменить мир, и снова глупеет, чтобы продолжать свою жизнь и дело, он живет и бросает в мир новые идеи, старые, как мир, и даже то, что немые, слепые и глухие люди вооружаются ими, губя одним своим дыханием, превращают их в дубины и всегда, всегда убивают его, потому что идея нужна им всего одна, а он может родить другую, даже это никогда не убивает художника. Он приносит свои плоды и роняет их в землю, и они приносят новые плоды, не лучше и не хуже, одинаково прекрасные и неповторимые и отличающиеся лишь тем, что они существуют в настоящем времени, словно бы всего лишь «переведенные на язык современности», но это только — словно бы, потому что рождаются они всегда как впервые сказанное слово.

11 августа

Старые слова... Скажем так: человеческие усилия суетны и тщетны. Суета... я вдосталь наигрался с нею, внутренняя борьба с ней, тоже своеобразный ее культ,

в моде сейчас у передовых людей, слово это воскресло у многих на устах, и возрождение это связано с некоторым вообще оживлением в последнее, столь, увы, педальное, время, это слово свидетельствовало о некотором уже уровне душевной жизни передовых людей, и хорошо бы, подольше не исчезало. Но по кругу душевного опыта и понятий, очерчиваемых им, употребление его и волнение им свидетельствуют о вере в прогресс, окруженности и непрестанном разрешении общественных головоломок, оно не выводит из сферы поминутных ощущений, оно невежественно и оптимистично, поэтому оно как бы подразумевает существование в море бессмысленности и бессмысленности какого-то высшего смысла и высшей цели, это всегда и у всех очень абстрактно, возвышенно и смутно. Оно как бы зовет к ясной жизни, чистому служению и высокой цели, на самом деле все обуславливается выигрышем, повышением КПД, без суеты можно сделать много больше и много лучше и получить тот самый первый приз, абстрактное и сильное представление которого все-то и стимулирует, хотя этого приза и нет, потому что он у каждого свой. Так что возня с суетой, ее культ, ибо это стало чем-то вроде паспорта духовной жизни, и каждый похваляется своим мученичеством в борьбе с нею, еще не выводит из той неширокой области общественных шевелений, из противопоставления которой вытекает. И хватит о ней. Другое дело тщета. Слово это внезапно исполнилось для меня глубокого смысла, и весь мой опыт, сам собою, пристал к его берегу. Пользы говорить об этом, конечно же, немного. Это почти извращение — пробовать в период художнически беспомощной мудрости создать что-либо, используя это свое состояние, это было бы отвратительно, если бы естественно не вытекало из природы художника, которому тем более хочется донять себя, чем менее он к этому способен. Мудрость похожа на перевертыш, она не может существовать в одном желаемом высшем смысле, если существует попытка высказать ее. Конечно же, противоречиво желание высказаться глубоко о тщете, потому что это возможно лишь в случае глубокого сознания ее, а это сознание исключает возможность и способность ее выражать. Но я хочу жить и постараюсь поспешно аборттировать беспоконную идею. Даже больше, вдруг окажется, что круг друзей моих воспримет то, что я пишу сейчас, как близкое, сопереживает и станет мне благодарен за тот предел ис-

кренности и выраженности, которого я пытался достичь, ну хотя бы один или два поймут, окажутся в той же фазе или на подходе, тогда все мое состояние и писание сейчас перейдет в полную свою противоположность. И я получу удовлетворение и еще одно подтверждение, что дело мое не бесполезно, а, наоборот, направленно и необходимо, и что — так держать и подъем, и высокую оценку себя, и приподнимание надо всеми, бодрый шаг, легкость и желание работать и работать дальше, и как много я еще могу сделать, фаза пройдет, ее не будет, я спущу шторы сознания, чтобы ничто не мешало мне делать то, что я способен в этот момент, это будет счастливое состояние, когда я буду уходить от друзей, воспринявших то, что я сделал, такси будет не поймать, пойду пешком домой, и несколько романов будут толпиться в моей голове, споря за право предпочтения. Все будет прекрасно, то же волнение, суета, так же будет досаждать мне она и не давать написать все те прекрасные романы. И не думаю, что услужливое мое, здоровое еще сознание позволило бы мне однажды не вынырнуть из безнадежности вдруг понятых вещей. Каких только скотских слов не придумало человечество для обозначения этих переходов, этих непрерывных изменений истине, этих трусливых побегов под сень лжи. На двух языках говорит человечество — всего на двух! С какой радостью, преодолев муку сознания и снова ощутив себя жизнеспособным, вспоминаем мы слова и удивляемся их точности: преодолел себя, поборол себя, справился с собой, сила характера, сила воли, служение людям, святое дело... Мы возвращаемся по пустым улицам припрыгивающей от энергии походкой, какими глазами смотрим мы тогда на девушку, одиноко спешащую домой. Мы снова способны осеменять и неспособны любить, мне кажется. погружены в себя. наслаждаемся собой, существо наше открыто жизни и наслаждению, мы — боеспособны! И ты вспомнишь все физиологические объяснения своего недавнего состояния, отказываясь от его сущности и правды, ты обратишься сам по отношению к себе в ту непрерывную, равнодушную и ласковую сиделку, что окружает нас в мире, переодевшись любовью, ты скажешь себе, как говорила она: ты устал, ты был усталым, тебе не везет, тебе не везло, поэтому понятно твое состояние. и словами, навсегда уже испорченными, ты похоронишь этот свой период, чтобы и не вспомнить никогда: фатализм,

криво и победно усмехнешься ты, пессимизм. Если рискнуть на образ, то как бы два времени года в нашем сознании: лето и зима. Препарировав, можно было бы выделить, наверно, и осень, и весну. Не настолько я сейчас жизнеспособен, чтобы идти на припрыгивание над образом и наслаждение им. Но, впрочем, весна — начало лета, а осень — начало зимы. Тот вечер, то припрыгивающее возвращение домой от понявших и оценивших друзей, можно считать весной, за ней будет лето. Сейчас, допустим, зима, но тоже не совсем, вот нахожу я силы писать эту пустоту. Ну не зима — так осень. Я не о том хотел сказать. Разными словами говорим в эти разные времена года нашего сознания (будем считать, что этот год не имеет ничего общего с астрономическим). И для жизни и дела нам приходится отказаться от тех немногих слов другого языка, что существуют глубокой и вечной жизнью. Мы, конечно, создаем духовные ценности, потому нам эти слова необходимы, мы трясем ими, но используем их, осознаем их на глубину лужи, по смутным и гонимым воспоминаниям зимы нашего сознания, далекие и сытые, мы сами же затираем эти вечные слова, чтобы следующей зимой безнадёжности и оглядки на свои дела еще раз устыдиться, на что мы их разменяли. Мы живем, и делаем, и говорим на другом языке, спящего и сытого сознания. Как охотно повторяем мы, что страницы, созданные во вдохновении, беспомощны и слабы и, наоборот, то, что написано в холоде и равнодушии, почти скуке — звучит как вершина нашей вдохновенности. Языка мы того не знаем, тех слов, вот и получается слабо, что их не находим. Спокойные же, плаваем в языке и словах, нам доступных.

А начал я, между прочим, говорить о тщете и всякое говорю, держа ее на расстоянии, потому что не хватает, не знаю я этих слов, для самого мучительного и сильного моего сейчас чувства нет у меня слов-ключей, и стыдно заменять отмычками и взломом.

Впрочем, неизбежно я пишу сейчас именно об этом и только об этом. О тщете. Я пишу это бесполезное и вредное произведение и в конечном счете хочу поскорее выбраться из него, и где-то у противоположного берега моего сознания ходит большая рыба, которую я втайне хочу поймать. Я хочу заманить ее. Я буду писать и писать, пока она, усыпленная, не подойдет ближе, я смогу выдернуть ее тогда. Где-то я хочу, чтобы,

завязав все нити, запутавшись в них, уже в отчаянии, путая очередность и взаимосвязь, дергая за первую попавшуюся, как-то вдруг, чудом попадет мне в руку нужная леска, на которой сидит нужная мне рыба, и все так сойдется и образуется, что в конце концов приду я к настоящему утверждению, которое наполнит меня верой в необходимость дальнейших моих усилий, я переплыву, перелечу, приземлюсь, выйду на берег, в полной уверенности, что эта не та же, а совсем другая суша, к которой я стремился, где я наконец пойду, и все это лишь из-за того, что берег противоположный, и не сразу дойдет до меня, что нет никакого качественного различия в их противоположности, что они поменялись всего лишь местами, а означают по-прежнему равновесие и неравновесие.

Я писал о временах года нашего сознания. Мне уже трудно стало выдерживать напряжение полной речи, я хотел прочесть жене, что написал, и успокоиться на сегодня. Но жене надо варить кашу, она сможет позднее, а я вышел на балкон, закурил и пристально посмотрел на деревья и дома, и, помимо осознанной моей воли, получилось, что посмотрел, как мудрый змий, тут уже не отделить, что нам кажется и что на самом деле, где поза, где красивость и где естество, и в какой мере наблюдались эти поза и красивость, не в той ли, что не только не противоречит естеству, но и является им? Так, стоя и вспомнив о временах года нашего сознания, увидел я дерево, которое было перед моим носом, и подумал о временах года вообще. Только что я отказался от этого образа, глядя на дерево, мне представилось возможное развитие его. Жизнь и природа в своих циклах представились мне бесконечным рядом обнимающих друг друга сфер, у них есть полное подобие и различие количественное времени и пространства их существования и несовпадения по фазам цикла. Но всюду завершением цикла является смерть. Наше нежелание этого ничего не меняет, оно закономерно исходит из того, что мы, постоянные свидетели проявлений законов жизни и открыватели их, сами подчинены тем же законам и не хотим создавать этого в применении к себе. Мы произвольно обозначаем вершинами развития те моменты, когда нам было лучше всего. Таким образом, мы опять же начинаем верить в прогресс, в целенаправленность развития и принимать желаемое за действительное. Мы не хотим считаться с тем, что то, что мы счита-

ем вершиной, лишь точка пути развития, с самоуправством нами выделенная, что для природы все равно, хорошо нам или нет, и что она не остановится на этой точке, а пойдет дальше с неумолимостью, мы назовем это несправедливостью или спадом, чтобы надеяться, что справедливость, выдуманная нами и которой нет в природе, восторжествует, что спад сменится подъемом, что после старости придет молодость, после осени — лето... Да, все повторится, но нас при этом не будет, мы однократные свидетели, поденки, и нас это не устраивает. Но у природы нет цели, она бесконечна и вечна в своих смертях. И зима является концом цикла, а не лето, которое так нам по душе. И смерть является концом каждой особи, а не зрелость. И сознание наше в своем развитии имеет тенденцию к своей зиме. Только сознание лишило нас безропотности твари, и мы прибавили себе мучений. Сознание, противореча себе, из эгоизма, из «я», стало желать того, что невозможно в природе, — остановки. То, что существует в природе в виде конечных и бесконечно повторяющихся маленьких и больших циклов, мы хотим растянуть в бесконечность, остановив в точках, нами любимых, сознание позволило нам осознать наслаждение и пожелать его бесконечности, мы хотим, а не получается, не получается! и это мы зовем жестокостью жизни, мы хотим жизни любимых, а они умирают, мы хотим бесконечной любви, а она кончается в нас самих, какого-то непрекращающегося оргазма хотим мы, а сами почти импотенты... Надо, а скорее всего не надо, понять, что нельзя принимать свое вполне естественное внутреннее сопротивление и возмущение неумолимостью природы за доказательство существования цели, смысла и прогресса. Наше карабкание, осеннее обманом цели, необходимым для жизни сознания в природе, не стоит, смешно принимать за подтверждение наших идей, потому что идеи породили карабкание, не природа. Зима естественно завершает год. Смерть естественно завершает жизнь. Человечество естественно придет к своему концу. И солнечная система тоже. И нет в этом никакой трагедии перед лицом Природы и всего лишь трагедия одной особи, наделенной сознанием и не справляющейся с ним. У сознания тоже есть свои зимы и своя окончательная зима, достаточно пока далекая, а может, и вовсе близкая. Может, зима сознания ближе, чем зима человечества.

18 августа

Если такой взгляд может показаться слишком черным, можно всего лишь начать рассуждения с другого конца и напирать на то, что все начинается с рождения, с весны, с первых радостей сознания... и действительно — это силы созидания. Так происходит в быту оптимизм и пессимизм: куда взглянуть, в начало или в конец своей книги... но и то и другое — лишь наши спасения и поражения, эфемериды, их так же нет в природе, как и любых наших моральных и духовных категорий, и ничего не меняется в природе от нашего взгляда на нее, откуда бы мы ни взглянули. У меня не было отчаяния, когда я говорил о смерти, я пытался увидеть вещи так же естественно и холодно, как думает природа, истерики тут все-таки не было, и оправдываться не в чем.

Если я говорил о смерти как о естественном завершении любого процесса, то, во-первых, я говорил о том, что всем известно и никогда в то же время не может явиться знанием живого человека, самое понятие «смерть» — это лишь постройка нашего сознания, исходящая из единоличного, вопреки очевидности, протеста, в природе эта штука равнозначна с любым другим явлением, там нет ни оттенка, ни привкуса, которые мы ощущаем, одна лишь необходимость; во-вторых, если я говорил не только о бесчисленных смертях бесконечно малых величин природы (человеческая жизнь достаточно долга, чтобы он стал их свидетелем и даже терял им счет, и эти атомы смерти тоже очевидны каждому и тоже не могут явиться знанием), но и всеобщей, конечной смерти обнимающей всё сферы, то, во-первых, я имел в виду не конечную, а всего лишь ту сферу, которую могу себе представить, продолжая их в бесконечность, а во-вторых, я говорил скорее о тенденции к конечной смерти, нежели действительно об окончательной смерти, абсолютном равновесии и абсолютном нуле. Мы не можем стать тому свидетелями, это слишком далеко от нас, да и не нужно нам, нам чужда жалость к грядущим поколениям, свидетелям потухающего солнца, тем более что она глупа — человечество много раньше сойдет на нет от кризиса и смерти сознания, — но тенденцию всего живого к смерти, и даже окончательной, можно ощутить, она в нас, в нашем мозгу и в итоге нашего сознания. Без конца можно отряхиваться от этих



мыслей, чувствовать себя выздоровевшим, радоваться травке и солнечному лучу: какая весна, как прекрасна жизнь! — будешь выходить и выходить ты на крыльцо до самой смерти, но все это опять же побег от нелепого нашего страха и радость тому, что казалось невозможно, а вот и еще раз убежали, и опять невозможность просто сказать: да, это так. Я употребил слово «тенденция» как однажды понравившееся мне. В институте, уча нас непонятой и кастрированной диалектике, преподаватель сказал так: мы говорим, что при капитализме трудящиеся массы идут ко все большему обнищанию, однако знаем, что уровень жизни в развитых капиталистических странах не только не падает, но и растет, и даже (разговор уже велся со всей игрой в прямоту и откровенность, в то, что мы смотрим правде в глаза и т. д., разговор конца пятидесятих годов) знаем, что уровень этот превышает наш, и не только как данность, но иногда и по темпам роста, как мы видели в ФРГ, так вот, если мы говорим о растущем обнищании трудящихся масс при капитализме, то мы говорим о тенденции к этому обнищанию... — так говорил преподаватель и так он ввел в мое сознание новое диалектическое понятие. Наверно, кто-нибудь заработал себе степень на таком прелестном переложении. Меня всегда поражали репутации умных и творческих голов в мертвых областях и их карьеры. Наши либералы, например, насквозь в этом. Потому что не обнаруживается ли прогресс (пусть это частица, полумера, пусть, говорят они убежденно и как бы оправдываясь) даже в этой формуле?.. даже в том, что применять ее стало возможно, увидят они прогресс, эти первые спасители существующего порядка, непременные передеватели старого в новое, гримировщики трупов, двойные спекулянты, не берущие на себя даже цинизма в достижении благ, стяжатели, завернутые в знамена идей прогресса и вспоможения новому, и выглядывающие оттуда, как тля из куколки или — как там в этой... ботанике!

Отступив и дав волю своей злости и даже не столько злости (это уже усталое чувство по отношению к ним), сколько желанию позлиться, исполнив таким образом некое душевное отправление так же формально, как мы, за редкими вспышками жизни, уже привыкли все исполнять, включая и любовь, необходимо вернуться к теме, хотя ее уже нет в этом сумбуре. Успокоив себя на том, что если чем-либо и будут скреплены эти страницы,

то это выйдет помимо моих усилий, хотя и в их результате, и еще тем, что только в этом случае и может появиться нечто, чего я еще не выявил в себе и не выразил. Успокоив себя так, продолжим.

Как я и предвидел, как я писал об этом неделю назад, мое письмо обернулось в свою противоположность, ибо я уже встретился с друзьями, которые и прочли те страницы и откликнулись на них пониманием. Это мое предвсхищение не наполняет меня, однако, гордостью. С грустью я обнаруживаю, что уже не получается той радости, какая, например, возникла после рассказа «Люди, которых я знаю» (1959), где я описал смерть одного персонажа, которого я постоянно встречал и с детства приглядывался, и через несколько дней я увидел этого персонажа точно так лежащим, с точно такой суматохой вокруг, как только что описал. Определенная гордость распирала меня, и я рассказывал об этом всем встречным, понимающим и знающим меня людям, облекая этот новый рассказ о рассказе в форму как бы мистического ужаса, как бы стыда за содеянное, как бы утверждая этим идею того, что письмо вообще (а в частности, мое) может обрести такую плотность и воплощенность, что и действительно случается в жизни, и что поэтому никак нельзя писать о живых людях и тем более убивать их в рассказах; я создавал и определенный свой образ, повествуя об этом, образ не только сильного рассказчика, но и человека, способного быть потрясенным и задетым настолько, что он не в силах забыть о своей боли, что воспоминание о моем как бы убийстве как бы терзает и не оставляет меня. Я не бичую себя сейчас, отнюдь. Я был вполне искренен в своей игре и верил в нее, да ведь и не одна игра была в этом, было и то, о чем я говорил тогда, только слабо было, чуть-чуть, и потом очень усилено в изложении и в повторении. Так ведь сплошь мы усилием наши чувства, выражая их. Особенно в письме. Это, может, и есть творчество. Отсюда и вечное житейское: что книги — ложь (при этом имеется в виду не идейная канва, что ложь всегда, а чисто житейская, воспринимаемая обычным читателем, — я говорю, конечно, о честной литературе), и, из-за этого же усиления чувств при их выражении, тоже житейский разговор, что художник только в творении прекрасен, а в жизни, если бы вы только знали этого мерзавца в жизни!.. Так вот, я был искренен, искажая и усиливая в рассказе эту действительно

историю, и мое желание похвастаться этим случаем кажется мне свидетельством таких непочатых сил, что вызывает теперь только зависть. По сути, я хвастался, разыгрывая потрясенность и мистический ужас, и как бы приобщался к Флоберу, почувствовавшему признаки отравления, отравляя мадам Бовари, и к Пушкину, плачущему или прыгающему над неожиданными поступками своих героев, и хотя не говорил себе об этом, но чувствовал себя равным им. Это трогает меня тем более, что, воскрешая сейчас перед собой тот момент, когда я увидел реализацию своего рассказа в жизни, я вижу: сцена ничем не походила на мной описанную, и только одна деталь: стоптанные задравшиеся башмаки умершего — совпала... Так ведь эти башмаки я всегда на этом персонаже видел, и всегда они были стоптаны, но этой детали было достаточно, чтобы по одной точке соприкосновения и по неосознанному внутреннему желанию полностью совместить картины во всех точках: очень мне, по-видимому, хотелось этого. И потом умилителен и еще один момент, когда вскоре снова встретил своего персонажа живым и здоровым (по-видимому, это был лишь обморок тогда), и когда я снова увидел его, два чувства, почти равные по величине и силе, столкнулись во мне, выявляя друг друга, одно, самое искреннее, которое я постарался не осознать и подавить, было разочарование в том, что этот персонаж так и не умер, убитый силой моего воображения, и другое, разработанное и привнесенное, с которым я не мог не считаться, чтобы не выявить некую внутреннюю нечестность, было то, что я должен испытывать как бы облегчение и радость, что освобождаюсь от того как бы терзания совести, о котором так охотно и горько рассказывал. Не о чем говорить, разочарование было все-таки сильнее, хотя я и не позволил себе осознать это и осознаю буквально сейчас, вспомнив об этом ни с того ни с сего и, в свою очередь, искажив все во имя новой конструкции. Но заговорил об этом я все-таки недаром, вернее, не без внутренней причины, потому что усиление чувств при рассказе и, следовательно, искажение их в ложь очень занимают меня сейчас, и глупый, по-видимому, стыд перед этим часто почти парализует меня в моем письме. Тем более что путь, который я осознал себе в последнее время, заключается в том, что я стремлюсь написать правду о самом себе, ибо это единственная из доступных мне правд, и она становится всеобщей, если достигается,

что если выразить полноту мгновения собственного твоего существования, то это и будет вершиной, и, так думая и стремясь к максимальной искренности, я все ловлю себя на искажении и лжи и, уже сознавая невозможность собственных требований, все-таки не могу от них до сего дня отказаться и, отмечая по одному все сильно действующие приемы, уже бывшие доступными мне и явно приводившие к воздействию на читателя, даже избранного, все чаще не в силах поднять перо, потому что все формы, сбегаящиеся к его концу, вызывают во мне стыд... хотя бы только что написанное мною слово «перо», потому что уже полтора года пишу прямо на машинку и пером не пользуюсь... ну да это-то пустяки — подобные «перья», если бы только они!

Да, так совершенно не вызывает во мне гордости то, что я знал, что понесусь с этими страницами к друзьям, требуя от них сочувствия и похвал и безусловно «ставя на минусы», если они этого сочувствия не обнаружат («ставить минусы» — одна из самых мной нелюбимых черт, хотя я и сам, бывает, грешу этим: я скажу еще об этом, когда стану говорить о суде, если доберусь до него). Я знал, что так будет, и уже далек от мысли, что знание своих слабостей исключает их. Иначе бы не было литературы, не было бы живых людей и их гениев. Знание слабостей своих, скажем, и даже борьба с ними, никогда не исключала их. Спекулянты во все времена стремились создать идеальные образы из гениев, мертвых, конечно. Мертвые, они уже были бессильны поправить что-либо. Люди же, задуренные настолько, что уже не видели живого в их творениях, а лишь документы, тянулись к дневникам и перепискам, чтобы узнать в них живых людей, себе подобных, чтобы не отчаяться от своей слабости, которая (особенно это сейчас стало) кажется юному мозгу его личным проклятием и заставляет мучиться тем, что он единственный такой безвольный и слабый, не такой, как все. Каждое детство, по-видимому, докажет это. Потом начнется мучение (через кризис открытых глаз, когда обнаруживаются сходства и подобия во всем мире и кажется, что тебя обманули, а главное, обманывали всю жизнь; мир опрокинется на тебя своей похожестью, вечностью и нечистотой), потом начнется мучение, что ты такой, как все, совершенно без воспоминания о том, что только что ты мучился вещью, казалась бы, обратной; что ты единственный так плох в этом правильном мире, единственный не можешь

справиться с собой и довести себя до идеала, что ты урод, не такой, как все. И потом, привыкая и не справляясь с собой, скажешь (и это будет почти усталостью): все мы такие, как все, и каждый из нас единственный. С этим уже и умирать можно. Впрочем, о непрерывном искажении действительности через внутренний и общественный образ этой действительности тоже хочется сказать подробнее и особо, ниже, так сказать, опять же только бы добраться до этого «ниже».

Так вот, меня уже ничто не поразило в том, что все так и произошло, как на страницах, писанных неделю назад, кроме, разве, того, что это произошло даже много раньше, чем я планировал. И я возобновил сегодня свои записки, уже вдосталь разрядившись в общении с друзьями. Но ведь небезызвестно мне, что и сегодня — воскресенье и погода без дождя — могут приехать друзья, и снова произойдет контакт, заземление и разрядка... и если я сел именно сегодня, а перед этим целую неделю все был не в силах сделать это после предыдущей разрядки, то не потому ли, что тороплюсь добавить новенькие страницы, чтобы успеть их прочесть сегодня тем друзьям, что приедут? Но это и вовсе досужее.

Я приехал в город... какой там, к черту, город! Я так и не доберусь до этого. Только что написал о том, что приедут сегодня приятели, и тотчас — есть, воплотились — приехали. И сейчас пишу уж вовсе для ничего — для того, чтобы друг снял меня своей прекрасной кинокамерой, как я на своем чердаке работаю. Очень это симпатично получится.

4 сентября

Продолжим. То, как меня не радовало собственное предвосхищение, а именно: что я стану читать эти страницы друзьям в надежде на сочувствие и вопреки сознанию ненужности такого чтения, даже прежде того, как завершу эти страницы, напомнило мне следующую историю, рассказанную неким П. Этот П., давно я его не видел, человек во многих отношениях замечательный и представляет собой идеологическую величину, которую я бы даже избрал в качестве единицы измерения, если бы возникла необходимость измерять тот особый потенциал особой категории людей, которые предпочитают воздействие на других людей скорее словом, нежели

ли делом. Можно было бы сконструировать машинку, которая, выслушав очередного болтуна, выплевывала бы чек с оценкой: 10 П. или 0,000075 П. Не будем никого обижать: для начала можно было бы предложить ей этот текст. Человек этот, наделенный многими талантами, и, во всяком случае, очень чувствительный приемник телепатических идей (сейчас это стало как бы нейтрализовать невежество или замещать знание), обладает и бесспорным талантом писателя в том числе. Вещей его я не читал, и никто из известных мне его друзей не мог похвалиться тем, что был этого удостоен. Он показывал мне огромную корзину, набитую рукописями (ни один из моих знакомых не мог бы похвастать, что написал столько), и, опустив в нее руку, вытягивал наугад один из листков, на нем всегда оказывалось изложение замысла той или иной будущей вещи, и, не глядя в него, начинал рассказывать, и это он мог делать бесконечно или по крайней мере столь долго, сколько вы могли у него просидеть. И вот на протяжении уже нескольких лет я не забываю и часто вспоминаю одну подробность из одного долгого его рассказа, еще в форме замысла занимавшего около часа непрерывного устного рассказа. Эта подробность своим подобием многим моим переживаниям, потерявшим от повторения остроту и ставшим лишь тихим мельканием, не вызывающим ни боли, ни угрызений совести, иначе — старость, заскорузлость, короста на непобедимых душевных болячках, подобие этой подробности многому из моего опыта и, в частности, упомянутому выше предвосхищению меня сначала настораживало, а потом, тоже начиная стареть, лишь угнетало или огорчало... и пора уже переходить к самой подробности...

Один старик жил у себя в комнате. Был он совершенно один, и комната у него была запущенная и пустая, как у мистика. Там была намечена атмосфера, состоящая из каких-то кошек, странных девушек, почему-то приходивших к старику и спавших с ним, темных коридоров и какой-то бесшумной и бездейственной коммунальщины, окружавшей одинокого старика, словно бы просто бывшей в воздухе, делавшей этот воздух уже не воздухом, а супом, некоей питательной средой, в которой существовал микроб его одиночества. Длинные описания его несложных маршрутов в уборную и на кухню, предварявшие все не начинающееся действие, давали серьезное представление об этой питательной

среде, и все это точно передавалось органически получающейся формой, насыщенной всевозможными, трудно доступными слову фактурами стен, полов, штукатурки, пыли, фактур цвета, света, вязкости, плотности, осязания, обоняния и т. д. — тоже своего рода супа из фактур, необычайно густого.

Так вот, этот старик, однажды проводивший свою ночь в одиночестве, вдруг проснулся и долго привыкал к непонятному по фактуре ощущению, пока не понял, что это он хочет есть. Тогда он вспомнил, что на кухне у него есть колбаса, и отправился во многоминутное путешествие от своей кровати до кухни, и оно становилось настоящей одиссеей, благодаря подробно переданному ощущению поверхности и температуры пола босыми ногами старика и ощущению кожи босых ног старика от соприкосновения с этой поверхностью, ощущению ручки старика холодной ручки двери, и нового пола в коридоре, и темноты коридора, и потерянному ощущению длины пройденного пути, и скоро ли кухня в этой темноте, и поверхности обоев, которых он касался, касаясь стен и направляя свое слепое путешествие, и нащаривание рукой выключателя, внезапное освещение кухни, ощущение пола в кухне, изменившееся от его освещенности, и ощущение тесемок кальсон, шмыгавших по этому полу при каждом шаге, и т. д., и т. д., и наконец возвращение назад, с колбасой, снова потушив свет в кухне, снова в темном коридоре, и, то ли оттого, что снова наступила темнота, то ли оттого, что старик вдруг ощущает неудобство при попытке коснуться стены, он вдруг обнаруживает в одной руке (в другой у него колбаса) тяжелый холодный чайник. Он вспоминает тогда о том, как взял чайник и наполнил его из-под крана, и не сразу понимает, зачем он это сделал... И вдруг щемящее чувство собственной старости пронизывает его, ибо до него доходит, что, даже ни разу не подумав об этом, он уже з н а л, что после соленой колбасы ему захочется пить, и, помимо всякой мысли, идеи, он, не заметив сам, наполнил и понес чайник, чтобы не ходить вторично на кухню, когда он съест колбасу и захочет пить.

Я, кажется, перестарался в изложении, и, может, не совсем понятна связь, но я не в силах пояснить дальше и хочу теперь продолжить другую, много раз начатую и много раз брошенную фразу о том, как я приехал в город и встретил друзей, чтобы так же наконец со

вздохом разделаться с ней, как разделался только что с не менее мне надоевшим повтором фразы о том, что предвосхищение моего преждевременного чтения первых страниц «Записок» своим друзьям отнюдь не наполняет меня гордостью.

Итак, я, кажется, приехал в город. Встретил я случайно Г. и К., и обрадовались мы друг другу необычайно. К тому же у них у обоих, только я встретился с ними, вдруг получились приятные деловые известия — и встреча, и известия, — все это взбодрило нас необычайно, такая радость любви и припрыгивания появилась в нас, и мы выпили у Г., потом у меня, потом на чьей-то свадьбе и, пожалуй, отправились бы допивать к К., если бы не кончились деньги, а главное, не закрылись бы магазины. Радость наша друг другу, во всяком случае моя, была так велика, что сняла с меня все омертвление, все, из-за чего я пишу эти записки, как морское купание. Словно бы от их присутствия рядом снова появились и стимул, и уверенность в своем деле, и не-одиночество в своем деле, и ощущение силы и того, что уже достигнуто нами. Мы пили и радовались и, как всегда, когда изверившиеся обретают поддержку и внятное общение, меньше даже делились наболевшими мыслями и соображениями, как просто были благодарны друг другу, и умиленно поддакивали, и кивали даже неважно чему, по одному лишь ощущению, что друг друга-то мы всегда поймем, и лишь почаще нам встречаться, а то и вовсе не расставаться, и, как всегда, когда люди одиноки и вдруг радуются встрече, мы лишь кивали друг другу, как вежливые китайцы, и словно бы благодарили за каждый кивок, или звук, или жест и словно бы терлись носами. Мы выпивали свое самое дешевое вино. Так-так-так, вдруг говорил один. Мы его целовали и обнимали, спасибо, говорили мы, что ты сказал нам так-так-так, мы тоже всегда так думали и были в этом одиноки, а теперь мы в этом не одиноки, тогда он обнимал нас и целовал, да нет, вам спасибо, что вы поняли мое так-так-так, и я теперь не одинок, вам спасибо, и тогда мы все обнимались и благодарили друг друга, все кивали головами, и стучались в благодарности лбами, и словно бы терлись носами, и снова выпивали за это. И так-так-брык, говорил другой, и опять его все благодарили, и он благодарил всех, и каждый благодарил за то, что другой ему благодарен, а потом за то, что ему благодарны, за то, что он благодарен. Глупые люди, недоумки использовали



это в анекдоте — на самом деле все не так. И утюг-люлю, говорил я, и мы выпивали снова, и я был счастлив своим утюг-люлю-лю, таким же хорошим, как и так-так-так и так-так-брык моих друзей. «Все-таки мы кошмарно терпеливы», — говорил К., и это была замечательная фраза, и в ней была правда против тех, кто считает нас нетерпеливыми, и наша уверенность, что мы все-таки живем, несмотря ни на что, и еще продолжим, и еще сделаем, и еще добавим. И мы выпивали и терлись, благодарные, носами. Тогда-то и были прочитаны первые тринадцать страниц этого текста, и прочитал их пьяный Г., и так донес даже до меня все, что я там написал, и много больше, что я удивился и ему, и себе, и умилялся, и готов был всех обнимать и целовать, но сдерживался из авторской скромности. О Г. и К., людях, так много значивших для меня и для того, что успел понять, не отделаешься высказыванием, как о П. О них надо сказать много больше, и я попытаюсь ниже выразить, что сделали для меня они и некоторые другие люди, а пока перейду к какой-нибудь из мучащих меня идей, связанных непосредственно с возникновением этих записок и с нынешним моим состоянием. И это я сделаю завтра.

18 сентября

Это я не сделал ни завтра, ни послезавтра, не сделаю и сегодня, через две недели. Сочинение мое выходит из-под надзора и охвата. Что я отражаю в нем, в целом, не знаю, но изменения интонаций и построения за время, последовавшее за первой страницей, ощущал уже несколько раз, и теперь повествование мое как бы дневником становится. Никогда я его не писал и вот грешить начал, утешать себя, впрочем, можно: и тем, что выходит он дневником, как бы особым, и тем, что родился он органично.

Тон трагической умудренности и вселенского абстрагирования сменился соображениями более частными и элегическими, последние страницы о городе — уж все элегия. Но сейчас, спустя полмесяца, вижу, что зря я сделал свой наезд в город событием столь радостным, когда описывал встречу с Г. и К., потому что не одна эта встреча имела место и даже не такое большое место в городе она занимала.

Город теперь окончательно делает меня больным. Я в нем простужаюсь. Я в нем задыхаюсь. Я в нем начинаю ненавидеть. Я в нем жить не могу. И без него жить не могу. Я приезжаю, оторвавшийся от событий и дел, от встреч и знакомств, от свежих интеллектуальных поветрий и новеньких идеологических потрясений. Вотчина писательская плескается в своем пруду, и я ничего не понимаю и вижу только пену. И обнаруживаю потом, после нескольких встреч и разговоров, когда у меня уже начинает звенеть и кружиться голова, что я в чем-то очень ошибаюсь, вижу мир как-то совсем не так, как видят его все, и, главное, совершенно неправильно ориентируюсь. Что я заблудился в этом литературном лесу, бывшем мне таким родным и знакомым, и вдруг, хотя ничего не переменялось в нем и я нахожу сосны и елки стоящими на тех же местах, он совершенно не узнаваем, этот лес, тропинок не нахожу — бурелом какой-то. Я, оказывается, совершенно неправильно ощущал свое тело во времени и пространстве, и как странно обнаружить себя стоящим, думал, здесь, а оказывается — вон где. Я бы сам, может, и не заметил такого у себя с собой заблуждения, если бы не добрые люди, они указали и объяснили. Нет, не то чтобы они мне это в лоб сказали. Просто на их лицах я вдруг читал, в их речах мимолетом проскальзывало, что и я не тот, за кого я себя принимаю, и нахожусь я не в том месте, где, мне кажется, я стою, и мыслю я не то и не так, как мне представляется, время сейчас совсем другое, чем я себе рисую, скажем, мне кажется, что осеннее утро, а на самом деле уже зимняя ночь, мне кажется, что стою на углу Невского и Желябова, а на самом деле это угол Большого и Введенской, и, что еще хуже, может, даже и не этот угол, а еще другой, и город другой, и партийный съезд только что закончился, не то VII, не то XXVII, а сам я зря навязываюсь совершенно незнакомым людям и выдаю себя за знакомого, никто обо мне не слышал, не знает, и ничего я никогда не писал и ни в какой жизни не участвовал. И со мной разговаривают лишь из вежливости, чтобы не связываться с сумасшедшим. Так-то, дорогой друг, приятно ли вдруг узнать о себе такое?

Мне казалось, я всего лишь уехал на дачу в Т., где и живу тихо с женой и с ребенком, а оказывается, я вовсе исчез, перешел в другое существование, потерял способность к общению, полощусь где-то в антимире

и еще пытаюсь в наш здоровый советский мир выглядывать. Что за любопытство такое! возмущаются внизу справедливо. Зачем выглядываешь? Ты умер, Сапожков, как прекрасно говорит герой рассказа моего любимого Вадика Федосеенко. Ты умер, Сапожков, говорит герой своему приятелю по детсаду. Что ты разговариваешь, раз ты умер! Я не умер, отвечает Сапожков. Нет, ты умер, умер! И что ответишь на это, если никто тебя не поддержит? Можно и поверить. Тем более и сам себя хоронил весь год. Но об этом же не знал никто. Как же это они пронюхали?..

Я снова ощущаю перемену интонации — и здесь уже не пахнет элегией. Здесь во мне бьется интонация лихая и несправедливая, уже живая, где мне дела нет до объективности и представления мира в том неумолимом равновесии, в коем он всегда находится, и потому повод для возмущения может тебе дать лишь твое же недоумство, с радостью перейдя в свое недоумство, я вставляю здесь кусок, который написал вчера и наспех, суровыми нитками и грубыми стежками, связал с предыдущим, полмесяца лежавшим без дела текстом, сегодня. Я вставляю здесь этот привесок и обозначаю его как:

*ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  
ПИСАТЕЛЮ Р. Г. ИЗ ЛЕНИНГРАДА  
И ЧИТАТЕЛЮ ВЛАДИМИРУ КРОХЕ  
ИЗ ТАГАНРОГА*

19 сентября

Вообще-то все только тем и занимаются, что хоронят меня. Даже моя жена, даже М. Д. Не говоря о таких опытных похоронщиках, как Р. или Д., хотя эти-то двое очень разные гробовщики. Ну, Д.-то вообще весь понятен, что-нибудь в таком стиле, что Битов кончится, как только утихнет у него сексуальное расстройство, или что Битов зазнался и заелся и не сможет писать от ожирения, или что Битова задавит своим творчеством жена-писатель. Это все понятно у Д., который все причипы с рвением первоклассника отыскивает в патологии, и те три или четыре причинки, по которым считает, что пишет сам, рассматривает распространяющимися на все человечество. Поэтому ему, конечно же, непонятно, как

может писать человек, если он не низкого роста, не урод, и не еврей, и женщины его любят, как может писать человек, столь внешне не похожий на низенького уродца-жида, которого женщины не любят, то есть на него самого. Р. же хоронит по гораздо более многочисленным и запутанным причинам, хотя, надо сказать, хоронит с той же протестантской простотой, без кистей и глазета, в тесном необструганном еловом гробу, в котором уже не повернешься поудобнее, чтобы — мало того что в гробу — еще и не занозиться. Скажем хотя бы так, что этот человек, несмотря на свой ум и талант, а может, и по свойствам своего ума и таланта, органически не способен видеть самого себя и не способен к общению, вещи, самой для него необходимой, непостоянен потому, и потому же никогда не сознается себе ни в одном своем естественном помысле, принявшем неблагоприятное выражение, и сознание непостоянства своего всегда отодвинет от себя, объяснив это вдруг открывшимся ему несовершенством объекта бывшей любви и нынешнего непостоянства. Я не знаю ни одного человека из числа бывших близкими ему, которого бы он не чернил в ту же минуту или, и это уже свидетельствует о действительно выдающихся качествах объекта, минутой спустя. Ну да ладно, пусть хоронят. Тут я признаюсь в непрерывавшейся к ним обоим любви, тем более любви, что она выдержала знание того, что о тебе говорят не так, как тебе хотелось бы, и даже другие вещи, чем при личной встрече. Она, конечно, покачивалась, моя к ним любовь, но все же осталась, и если учесть, что, как бы умен художник ни был, в одном случае никогда не будет он благожелателен и объективен, это в случае, если кто-либо неблагожелателен и необъективен к нему самому, что я действительно люблю их нежно. И Д., с его одесскими штучками, и Р., с его развочинной подлостью.

Все меня хоронят, и мама, и папа. Мама потому, что я выхожу из-под ее влияния. Папа потому, что принципы моего существования как бы зачеркивают принципы его существования. И оба хоронят меня потому, что образ, который они предварительно создают или создавали обо мне и моей жизни, на практике не совпадает со мной, живущим в сегодняшнем дне. И с этим уже ничего не поделаешь, и, как ни грустно, придется перейти в область менее близких и более формальных отношений, потому что ничто уже не поддастся изменению из

желаемого в действительное, и даже если потратить всю жизнь на то, чтобы заменить в их сознании существующий образ на меня действительного, это будет рождением новой свеженькой пытки, начнется несовпадение со мной завтрашним. Я люблю маму и папу.

Как хоронит меня жена? Этого даже приблизительно не выразить словом, настолько это еще невыявленное, живое и меняющееся начало. Скажем так: пока это четко выражается при всяких взаимных неудовольствиях. Может, все было бы и не так, но это же надо — жена у меня писатель. Неудовольствия, иначе ссоры, имеющие самые бытовые подкладки (по истоку это всегда коммунально и социально — очереди там, теснота или отсутствие денег), в развитии своем имеют тенденцию к оскорблению. Это так же просто, как драка с битьем посуды и порчей мебели. Сначала на пол летят наиболее близко расположенные, наиболее прочные и наименее ценные предметы, то есть те, которые не испортятся от такого с ними обращения или их не жалко... Меня всегда поражал этот точно действующий подсознательный расчет так называемого аффекта. Потом, если в комнату, к примеру, не впорхнет птичка, освежая и рассеивая все своим радостным щебетаньем, и не остановит внимание сторон на том, чем же они занимаются, когда за окном столько поводов для радости и ликования, если события продолжают развиваться и аффект наливается силой, из младенца превращаясь в зрелого мужа, когда уже под рукой не находится подходящих предметов, потому что все, бывшее под рукой, уже под ногами и нагибаться за ними, чтобы снова их бросить, значит обращать серьезное дело в пародию, тогда наступает некая секунда растерянности, потому что надо найти предмет, и желательно уже потяжелее. Бросить стоящую рядом хрустальную вазу все еще жалко, тем более что это наверняка будет концом, поллюцией, разрядкой, в ход идет извращение, неспособность еще пожертвовать вазой заменяется еще большим желанием унижить и причинить боль партнеру, скажем, так, бросить в него тарелкой с горячим супом, недорого, но эффективно, тем более суп немного уже остыл и обойдешься без ожогов, швырнуть в него кошкой, половой тряпкой, макаронами, сыром, мылом, мышеловкой с мышкой, грязными трусами, замоченным бельем, тем же самым Рабле, он большой и тяжелый, и написал бы целый том перечислений того, чем можно швыряться при ссоре. Роль

всего вышеперечисленного легко исполняет для нас с женой вещь не бьющаяся и не ломающаяся, простая в употреблении, гигиеничная для быта и словно специально для того предназначенная и абсолютно ничего не стоящая — это наше писательство, вещь, которая — понимал бы Д. — вполне равносильна жидовству, уродству и низкому росту. Тут на ум приходит всякое — например, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Это же надо было так подло сказать и еще назвать народной мудростью! Это же так просто — оскорбление... Можно действовать по принципу наоборот — назвать тебя уродом, если ты хорош, серым, если ты интеллеktуал, бездарью, если ты талантлив, стукачом, если ты кристаллен. Можно даже не трудиться и называть кошку кошкой: скажи еврею — жид, врачу — вр-рач, поэту — стихишки пишешь, писателю — пи-и-са-атель. И поскольку мы оба можем сказать друг другу: пи-и-са-атель, и это уже неинтересно, мы черпаем в анализе творчества друг друга и в знании различий наших творческих индивидуальностей: реалист вонючий, ничего выдумать не можешь, скажет мне жена; остраннылочка примитивная, правды никакой написать не умеешь, могу сказать я. После этой артиллерии можно и мириться, то есть сказать: ну конечно, ты всех лучше пишешь, ты всех талантливей, даже меня; ну что ты, разве могу я идти с тобой в сравнение, должен ответить партнер. Умные, любящие люди — поговорили, и все в порядке. Тихий период. А как же быть с этим «у пьяного на языке», как освободиться потом от тихих, отгоняемых разумом вылазок этой недотыкомки: «Что у трезвого на уме?»

Так же, по сути, хоронят друг друга братья-писатели, с той разницей, что нет промеж них ни той любви, что между мужем и женой, ни необходимости жить в одной комнате после ссоры, ни этой одной комнаты, придающей ссорам формы столь конкретные.

Рассказывают также, что в Москве, в доме Герцена, водится почтенный человек с обязательной еврейской фамилией, организатор писательских похорон. Действительно, дело и хлопотное, и не всякому по плечу, и в любую минуту надо быть во всеоружии. Наверно, и в отпуск ему уже который год не уйти — не отпускают, боятся без него не справиться. А однажды, наверно, отпустили, уже он и чемодан собрал, и пижаму уложил сверху, и на вокзал отправился с билетом в кармане — бац, умер! и не кто-нибудь, а из самых-самых, догнали,

вернули. Знаменитый человек, со всеми знаком, с каждым за руку и по имени-отчеству. Посмотрит — словно мерку снимает. На глаз определяет с точностью до сантиметра. Там, наверно, свои размеры, у гробов, как у калош. С., скажут ему. С.? — скажет он, — это какой, у нас их три. Ах, К. — рост 4, полнота 3. Молодыми, говорят, он не интересуется, не ценит, не замечает. А они ведь растут, молодые... Наверно, думает, до пенсии годика два осталось, плодово-ягодный участочек неподалеку, за кладбищем третья остановка, развел. А зря он молодых недооценивает. Вот и у Ш. инфаркт был, и у Г. — спазм, и у Е. — запой, и у В. — половое бессилие, а у А. — разжижение мозгов. Конечно, похороны у них какие! нет того торжества и почета, но все же... похороны.

Да, вот отвыкнешь от города, не повидать подолгу людей, с которыми стоишь, так сказать, в одном строю, одними помыслами живешь и одними чернилами пишешь, — и, глядишь, отстал, не в курсе. Ты там тихонько сидел, и кропал, и думал — дело делаешь, а тебя тем временем отстали. Приедешь, там, в город за надобностью, оторвешься от трудов, спички, там, купить надо, соль, а тебе только спины да жопы показывают, и окликнешь — теряются и руку подают неохотно, сокрушенно так, осуждающе посматривают: что же это ты, парень... мы тебя и похоронили по всем правилам, а ты живым прикидываешься. Ты же умер давно, кончился, тебя и нет теперь в нашем списке, другая нынче обойма, мы тебя вытолкнули, мы тебе спины уже показали, не дыши ты нам, пожалуйста, в затылок, все равно не догонишь. Впрочем, люди вежливые, виду, конечно, не покажут, что ты умер, самообладание у них, созерцание трупа не расстраивает их воображения или пищеварения, глазом не моргнут, пообвыклись, поволнуются еще в душе, долго ли ты их так держать за пуговицу будешь и расспрашивать, долго ли им еще с ненужными уже людьми разговаривать, им же бежать надо, они еще живые, но тоже ведь вежливые, не скажут, лишь переминаются от нетерпения, переступают да на женщин, мимо идущих, поглядывают, а как узнают, что ты всего за солью да за спичками, а там назад, — и вовсе успокоятся. Ну что ж, скажут про себя, покойник-то еще новичок в своем деле, подышать ему с непривычки захотелось, но дисциплинированный, знает, что в гроб вернуться надо, ничего, пообвыкнется, раз-другой еще вер-

нется — и все, успокоится. И посмотрят на тебя так, что словно бы ты стал стеклянным, утвердятся в том, что тебя и нет больше, сунут руку как бы в пустоту и побегут дальше.

Я теперь в город не езжу. Я за солью и спичками теперь рядом хожу, в местный кладбищенский гастроном. Ничуть не хуже. Совсем то же самое. Что живые, что мертвые — кто разберет? Кто как себя считает. Хожу я в этот гастроном и удручаюсь. Что это, думаю, никак не накупить этих спичек и этой соли так, чтобы и ходить не надо было. И что за прок — ходить? Что за радость в этом писательстве? Все одни затраты. Вот и спички по копейке, и соль — сразу семь за пачку. И друзья молчат, и издатели не чешутся. Копейка да копейка, да еще семь, да еще копейка... Уже гривенник. Так ведь это только образ — спички и соль — на самом деле, дешевка. А масло, а мясо? хлеб нынче тоже... Побриться — и то на одном мыле да лезвиях разоришься, если еще помазки терять не будешь. Борода-то все растет и растет, сколько ее ни брей. Я бы сбрил ее зараз, всю ее длину, на мой век положенную, но нет, получай ее день за днем, как по карточкам, и седые волосы пересчитывай. Одних сапог сколько сносишь, бумаги сколько переведешь, машинистки тоже не бесплатные... А в награду — что? Тебя же нет, ты умер, какая награда!! Ах, знали бы вы, все — одни расходы...

Вот и спать пора. Укладываться в свой отсыревший гробик. Полпервого. За окном тьма кромешная, и я в стекле отражаюсь, и машинка моя отражается. Темный я какой-то в этом стекле, мрачный. Не люблю я себя. Хорошие рассказы пишет Генрих Шеф. Я уже же не пишу, я же труп, что я могу. Жена за меня допишет. Я бы еще рисовать стал или петь, играть Баха на тетинном фортепиано, но не умею. Я вот ничего в темном своем стекле не вижу — электричество мешает. Погасить разве да к темноте привыкнуть? А зачем? Я же все там, за окном, и так очень хорошо знаю. Тут ночами по Токсово хулиганы ходят. Меня, небось, очень хорошо из окна видно. Удобная мишень. Взять меня и пристрелить. Из профилактики. Чтоб оживать не вздумал. Не было бы так холодно, выбежал бы посмотреть, как меня с улицы хорошо видно. Но и это бессмысленно, потому что тогда меня за столом не будет, когда я на улицу выбегу, и я увижу лишь пустую комнату. А может, так оно и есть на самом деле — комната-то пустая. Я сам бы



пошел сейчас по Токсову с хулиганами, прислушиваясь к тому живому, что заворчалось бы при этом внутри: в какой сад залезть, какое стекло выбить?

А я вам говорю, не волнуйтесь вы из-за меня. Умер так умер. Не воскресну. Не желаю. Мне и в гробу не дуется. И догонять я вас не хочу. А тем более — дышать вам в затылок. Я сам себе в затылок дышу и сам себе на пятки наступаю, сам за собой гоняюсь и сам от себя то отстаю, то нагоняю. Вот ведь загадка какая. Что такое? Само по себе живет, само по себе бегаёт, ни на кого не плюет и никого не преследует? А? Апролджсмитьбю, как писала М. Д. Это я как бы на рояле играю и как бы ногтем по всем клавишам провел, тр-р-р-р-р-рель такую выдал.

Вот и все. Вот и спокойной вам ночи. Вот и выкушайте вы у меня то, что от меня откушали. А мне того и не надо, что от меня откусить можно. Я уже теперь гладенький стал и крепенький, никаких на мне удобных для откусывания отростков нынче нет. Укусишь — зубы соскальзывают и клацают. А я качусь себе дальше. Колобком. Кур у себя на даче разведу, рептилий нежных, пусть поют. Поросенки пусть хрюкают. Стрептококки пусть прыгают. Диплодоки пусть ползают. Бледные спирохеты пусть там и сям свисают и дополняют картину. Ну а писатели, бог с ними, пусть уж пишут, пусть не спят, если им так нравится.

Бай-бай — как хорошо! Только ведь сон опять плохой приснится. Война опять. Даром, что ли, я пишу, а у меня окна от стрельбы недалеко трясутся, а по утрам прекрасные портяночные марши звучат в шелесте опадающих листьев. Или опять эти двое под локотки меня возьмут и скажут: пройдемте. Они у меня постоянные. Я их уже узнаю во сне. Даже недавно чай с ними пил. Они пришли — а я им чаю. Выпили от неожиданности. Разоткровенничались. Тоже ведь хлеб им достался... Один все бледный такой, зеленый, на солитер все мне жаловался, и того ему нельзя, и этого, солитер все не любит, даже чак горячего нельзя, только остывшего. Я тещу утром спросил, она мне сказала — первое средство от этого дела — ромашка с сушеными грибными спорами, в водке разболтанная. Вот приснится мне сегодня, я ему посоветую. Тоже ведь и повод выпить. Он с солитером пусть пьют со своими спорами, а мы с его другом в чистом виде употребим. Давно я ни с кем не

пил, хоть с ними выпью. И жену в расходы не введут. Один пусть меня посторожит, а другой за водкой сбега-ет. Только уж ты, Р., не снись мне, пожалуйста. А то что такос, приснился — и руки не подал. Я тебе говорю: за что? А ты мне: сам знаешь, за что. Что это за манера та-кая! — как хорошо сказал т-ский писатель Солжени-цын. — Не объяснять простому человеку, в чем дело. Ты не подал, а за тобой В. И. пыльным чубиком тряхнул и сунул руки в карманы как можно глубже. И Д. тут же короткие свои лапки прячет. Мы, говорит он, вперед ушли, мы литературу мысли создаем, новая система ко-ординат у нас, информация-фуяция, а у тебя система координат старая, ты к нам не подмазывайся, ты все чувствишки да оощеньица, ты мертвый уже, ты опять же нам в затылок не дыши, трое нас пока всего: я, да Б. И., да Р. еще. Уж если ты и приснишься, такое дело, лучше мы выпьем с тобой, ничего, что у тебя язва, — во сне можно.

А может, и без снов посплю. Тоже ведь случится однажды, что и сны сниться перестанут. Вот ведь как. Как жить-то дальше, Р. ..? Ты, конечно, скажешь как. Так и так. А я это, оказывается, и сам знаю. Я вот рань-ше много всяких глупых воображений за собой фикси-ровал и писать о них любил. А теперь их нету у меня, воображений, стареть начал, седыми волосами да вы-павшими зубами сначала похвалялся, молод был, а как почувствовал, что и не только зубы да волосы, то больше и не хвастаюсь. И вот из всех воображений одно еще осталось. Словно прошло лет десять-двадцать, и вот иду я по незнакомой улице неизвестно какого городка и отчества. Сам седой, морщины такие мужественные на лице, платышко кое-какое несложное и узелок на палке через плечо. Иду я, а идти-то мне совершенно не к кому. Словно ни семьи у меня, ни друзей, ни знако-мых, и речи я той не знаю, на которой все тут разго-варивают. И воспоминаний ни о чем нет. Словно и не было никогда ничего. А вот только и есть, что иду я та-кой по этой незнакомой улице. Куда все делось? — И куда я иду?

И правда, как я представляю себе, что со мной бу-дет? По-простому, по-житейски — как сложится моя жизнь? Представлю себе, что война, и все погибло, — это раз. Если не это, то что меня забрали, и я в тюрьме, — это два. Если не это, то что я умираю от тоски по родине

в богатом особняке на берегу теплого моря, в славе и без всего, что люблю, — это три. Если не это... Что угодно я могу представить, только никогда не представляю одного, что вот так, как я живу, я буду продолжать жить пять, десять, тридцать лет... Это кажется мне невозможным, непосильным. Меня уже не поражает у великих, кто что написал, а поражает, как это Достоевский помер за шестьдесят, а Толстой за восемьдесят?! Как это они прожили столько!

А жить уже осталось так немного, пел сорокалетний Вертинский, и тоже помер за восемьдесят. А что — Вертинский, не бог вещь что. Если гениям, которые себя обнаружили в этом мире, было выдано такое сумасшедшее здоровье, что они выживали всю свою жизнь, то за какие это и чьи грехи им такое мучение?

Ну и будя, будя. Какие ж, батенька, тигры, как сказал Лев Толстой, я вот столько живу, еще ни одного тигра не встретил. Голос Толстого захотели записать на только появившийся фонограф. Попросили его сказать что-нибудь детям. Так и останется, думал устроитель, великий голос, обращающийся к детям, к потомкам. Что же сказал старый лев? «Дети, — сказал он, — не шалите, ведите себя хорошо. Слушайтесь папу и маму. И главное, не шалите». И больше не захотел он записывать свой голос на этот фонограф. Ну что ж, будешь думать — думаешься.

Уже которую страницу пишу, все кончить хочу, да так, чтобы вместе со страницей. И все что-нибудь начну, чего не собирался писать, и оно у меня на следующую страницу перелезает и где-нибудь в начале следующей страницы кончится. И опять тяни до конца страницы. И опять на следующую перелезает. Вот, читатель... Все. Не хочу больше.

20 сентября

Все-таки кончил я вчера не совсем правильно. Потому что когда написал: «Вот читатель», — то это было началом такой фразы: «Вот читатель В. К. из Таганрога пишет», — но, написав первые два слова этой фразы, увидел, что это последняя строка, и я опять перелезаю на следующую страницу, испугался. Я передвинул каретку на слово назад и вставил запятую — получилось обращение, три точки в конце обращения для многозна-

чительности поставил. И еще хватило места дописать: «Все. Не хочу больше». Получилось нормально.

Но потом я пошел спать, а у меня еще разгон был. Все продолжение мне в голову лезло, уснуть не давало, хорошие фразочки вспыхивали и гасли бесследно. Я, конечно, их не очень запомнил, и такой дурной привычки — вскакивать в подштанниках, отыскивать бумагу и карандаш и ловить эти фразочки-светлячки — у меня теперь нет. Нет такого ощущения, что нечто бесценное теряется навсегда. Я не И. Е. Пусть теряется, думаю я, слава богу. Но я, по-видимому, возбужден был, все обострено во мне было. Так я вдруг ощутил запах пыли. Острый такой, как бывает, когда ее на дороге первыми гвоздями дождя прибывает. Откуда, думаю? И сразу фразочка-светлячок: «И что это мне все пылью пахнет?» И за ней, неразделенные, сомкнутые, шевелятся другие фразочки, и одна уже делает шаг вперед, чтобы встать рядом с первой, и в остальных, я их еще не различаю, но угадываю некую готовность вывиться в определенной последовательности и образовать целый связный отрывок, который начинался бы: «Что-то мне все пылью пахнет?» Да ну вас, махнул я на них, спать пора. Вот ведь какой я щедрый, а был бы отрывок, может, не хуже, чем «Чуден Днепр»... Принюхиваюсь я, а пылью продолжает пахнуть. А тут, в Токсове, пыли и не бывает. Лежу я, а запах мне так в нос и бьет, не смотря что у меня насморк и нос заложен. Что бы это, думаю? Начинаю щупать под носом, слышу легкий треск, и словно бы голубенькая искорка в крошечной тьме мелькнула. Воистину — светлячки... И вдруг понимаю: да это же я рубашку рядом с подушкой положил, чтобы утром не тянуться за ней по холоду, а сразу натянуть, сохраняя тепло (см. с. 150 о старике). Рубашка у меня такая теплая, современная, а материал — орлон, синтетика, так сказать. Вот он и электризуется, пока я рубашку весь день пошу. А снимаешь — разряжается. Отсюда и этот грозовой запах, и потрескивание, и даже искра. Я каждый раз, снимая ее на ночь, это потрескивание слышу, а вот запах впервые ощутил. Мне отец, у него такая же рубашка, и он очень любит явления природы, говорил, что вот трещит, и искры, и запах озона. Что трещит, я знал, а про искры и озон не поверил, подумал, что это он из любви к курсу неживой природы преувеличивает, вспоминает Рих-

мана, убитого молнией. А оказалось — правда. Вот как обостряются все чувства и их органы в творческом акте!

Собственно, если все эти страницы своего рода «открытое письмо», то сначала оно как бы адресовалось Р., а теперь уже является ответом таганрогскому моему читателю В. К., написавшему мне письмо. Он, видите ли, очень любит Ленинград, хотя ни разу в нем не был. И очень любит ленинградцев, с которыми он познакомился в альпинистском лагере. Кто в каком лагере знакомится — времена меняются... Теперь, пишет он, очень хочу познакомиться и с вами. То, что он очень хочет познакомиться, как-то объявлено в начале письма, когда он описывает, как читал мою книжонку: «Я лежал еще в постели, золотые квадраты лежали на полу, и окуривал вас фимиамом, как рецензент вашей книги». Читатель Владимир Кроха из Таганрога хочет со мной познакомиться и хочет, чтобы написал я ему, как я начал писать, что послужило того толчком, какие темы волнуют меня, как я пишу, о чем я думаю, когда пишу, и какие чувства вызывает во мне «работа над словом» (кавычки В. Крохи). Скуку, чаще всего, дорогой В., и некую тоску, что не могу, не в силах уже, став писателем, заставить себя пахать, грузить, бурить, что во всю свою жизнь, сменив несколько служб и написав то, что я написал, ни разу я не работал, за что долго считал себя подонком и уничижал, а теперь и не уничижаю. Не заставьте же вы меня, дорогой читатель В. К. из Таганрога, написать вам в ответ много больше, чем я написал за все время, что я пишу, и все-таки быть не уверенным, что рассказал и объяснил хоть что-то? И проще всего, и, может, в этом будет не меньше правды, чем в целом томе, отослать вас к той трепотне на предыдущих страницах письма, то есть как я хочу кончить писать так, чтобы кончилась и страница, и все перелезаю и перелезаю, и ничего с этим поделать не могу. Вот так и пишу, вот такие чувства и испытываю. И еще дано мне тогда, погасив свет и ложась в полной темноте в отсыревший свой гробик, почувствовать, что рубашка моя пахнет грозой и той пылью, которую прибывают к дороге первые гвозди дождя. Страница кончилась наконец-то там, где я и собирался кончить.

4 октября (дом)

Пионерское начинается времечко! Молодею на глазах. Надо заняться делом: две пионерские организации хотят получить пионерские сочинения. В загадке спрашивается: при чем тут я? И оказывается, что это я же эти пионерские сочинения поставлю. Впрочем, туманить нечего, прятаться некуда: поставлю — так поставлю, не маленький, — понимаю, что делаю.

Если писатель пошире открывает глаза, он ловит себя на проституции. Поэтому он их не открывает. Жмурится советский писатель. Говорит жене, потупляясь, разглядывая носок: пойду пройду, продышусь, неевского ветерка хвачу... а сам — шась — в дом свиданий. Синие вывески, прошептанные коридоры, сквозняки из кабинета в кабинет, знакомые: с кем раскланяешься, кого не заметишь, а кого и смутишься. А вот и клиенты, редакторы по преимуществу. Встречают по-разному — и ты по-разному. Один любит тебя так, другой этак. Один бы и рад, да не может. Другой и может, да любит беленьких, а ты черненький. Один любит чистеньких, да молоденьких, да скромненьких, ты отведишь его в сторонку и в сторонку таким себя предложишь. А другого — в другую сторонку: он с перцем любит, чтобы и в рот, и в ухо, по-всякому ты умел, ему это нравится, постарайся ему таким показаться. Помучишься, конечно: один слишком за девушку тебя принимает, другой слишком за блядь, но делать нечего — профессия, скрепляешься. Встретишь писателя-товарку в коридоре, пожалуешься: ты знаешь, я по-всякому готов, но уж этим способом — извините... что ему — мало, что ли?

Тяжелая профессия, что и говорить!.. Но ведь сам знаешь, шел на что. Все ведь не просто так. Вот и цыгане, как только рождаются цыганами, так все и крутятся, и мучатся, как бы прожить, не работая, и столько уходит энергии, чтобы по траектории этой проехать мимо труда, что любого труда оказывается потяжелее. Но цыган, может, и жалуется, но другой шкуры не захочет. Так и писатель, уж так ему немоготу, а на все готов, чтобы только этой немоготы не лишиться.

И все жмурятся, и все как будто не продаются. Проститутка законно обижается, если так ее назвать. Под утро рассказывают писатели в постели: ты думаешь, я всегда такая была... роман у меня был, не читал? Же-

них у меня был, талантом звали, завел меня в дом один, хочешь, к друзьям пойдём? Завел в редакцию и там бросил, по рукам пошла, лишил меня, напечатал и бросил, пусть другие, сказал, теперь тобой пользуются, пусть печатают. Грустная история, что говорить... Не слишком уж их много, уж и слезы не выжмешь. Оставишь на столике три рубля, на прилавке тридцать копеек, что ж поделать, товар обратно не принимается — поставишь на полку. Девочка ужаснется, глядя на проститутку, обрадуется своей чистоте, а проститутка скажет: дурочка, и я такая была. «Да никогда ты такая не была! — возмутится девочка-максималочка. — Не может быть!» И та права, и эта.

Профессионал есть профессионал, он этим гордится. В писательстве наоборот. Представьте себе огромный публичный дом, широкая нога, комбинат, производственный уровень — и дорожки на лестницах, и лифт, и низкая светлая мебель, и белые телефоны, и производственный отдел есть, и отдел доставки, и не без первого отдела — и люди ходят и в кабинеты уединяются, и все пришли за одним, и все, представьте себе, делают вид, что пришли не за этим. Казалось бы, смешно и глупо, но попробуйте, в жесте отчаяния, в агонии невинности, выкрикните, зачем пришли, — линчуют. Если открыть глаза, картина получится фантастическая: все делают свое дело, и открыто, и не стесняясь, и в коридорчике, и на подоконничке, и на батарее, и сидя, и стоя, и вдвоем, и втроем, и в одиночку — содом! — и все словно бы не видят, не замечают, отрицают, отказываются, никто ничего не сознает. Подумаешь — с ума сходишь, как вдруг поразишься: да ведь это же гениальная система! И действительно, будь ты семи пядей, что ты выдумаешь против данности? А если ты видишь данность, то и действовать, волей-неволей, приходится сообразно. А требуется иначе. Как тут быть? Все спасет декларация. Однажды кто-то понял, что против данности, которая, только увидь ее, все опрокинет, есть всего одно средство — объявить, что ее нет, этой данности. Нету, тью-тью. Вот два козла, редактор и критик, занимаются прямо на лестнице содомским грехом. «Безобразиие, свиństwo, как вы смеете!» — «А мы тью-тью». И начинается, как в турецко-бушменском разговорнике: «Что это?» — «Это публичный дом». — «Это публичный дом?» — «Нет, это Большая Советская Медведица,

а дом — тю-тю».— «Это кто? Это курьер?» — «Нет, это главный редактор».— «А кто это его так распекает?» — «А это тю-тю из первого отдела».— «Можно к вам?» — «Нет, нельзя».— «Но вы же свободны?» — «А меня нет, я тю-тю».— «Вы тю-тю? Но вот же вы, я вас вижу, я держу вас за лацкан!» — «Это не лацкан».— «Как — не лацкан?» — «Да вы что, русской речи не понимаете, я же сказал, что я тю-тю!!!» И словно туман падает и покрывает все, есть или нету? скажите, пожалуйста, черное — это ведь белое? Вы меня правильно поняли — вы не поняли ни черта. На все падает охлаждающий грамматический туман: не то настоящее в прошедшем, не то давно прошедшее в будущем. И таинство лондонских туманов роднится с таинством английской речи: паст перфект ин зе фьюче энд фьюче перфект ин зе паст. И вдруг спадает пелена, вдруг становится легко, словно незримая многоопытная рука Филатова отрезала тебе бельмо, и ты бежишь по коридору со всеми вприпрыжку, зажав радостный крик в зубах: «Я тоже тю-тю! я тоже...»

0 ч. 00 м.

Пора признаться себе: есть один дом, в который все мы вошли. Ханжество еще совсем недавно — не было русской чертой. Это оставалось за миром более свободным. И это же надо — окончательно потерять второе, чтобы вдобавок получить первое! «Есть такой дом!» — возвещаю я это не бог весть какое открытие. Но в грудь себя не бью. Есть такой дом, в него ходят всегда за одним и никогда не признаются себе в этом. Достаточно прийти туда пятого или двадцатого, в день распределения материальных благ, а еще лучше — оказаться, если тебе прифартило, в той очереди к окошку, из которого выкидывают кости, — господи! если у вас только нос не окончательно заложен от ленинградских туманов, какой же вы ощутите запах!! Как вкусно пахнет печатный лист, в переводе на печатные знаки, комбижиром и чесночными котлетами... Ах черт, начинаю забывать этот запах, а до чего же хочется... А ведь гора не идет к Магometу. Все не идет.

Есть дом, в котором мы все сходимся. Мы в нем равны, как в бане. Кто еще стыдится, прикрывается шаечкой... А кто как забрался на верхнюю полочку, так и не



слезает. Поддай, плесни еще, пару, пару! Ходят старые, потрепанные годами клячи, иные красятся, а иные не красятся уже. Ходят и ненавидят молодых. И молодые ходят, корчат из себя целок. Ходят к тем, кто их любит. Есть такие, любят ломать. Ишь, выпендриваются, шипят клячи в спины молодым, все равно сломают вам... Взглянуть лишь чуть побеспощадней, чуть помаксимальней — и как ясно, что тут все равно, один помет, что, раз сюда попав... что этого вполне достаточно. Но нет, какая спесь, какое расслоение! Тот генерал, а этот штрафник. Да нет же, все вы голые!.. И на шайках нет знаков отличия. Но нет, каждая шайка особнячком, у каждой, как бы низко ни находилась шайка в глазах остальных шаек, есть свои корифеи и свои подонки, и каждый играет в благородство, в служение, и все возмущаются вещами обратными: подлостью и услужением — основным своим делом: накрылся шайкой — и тютю! И, как легенда, и, только приноухайся — поймешь ее вкус и глубокий смысл, бродят разговоры о двух инфернальных кастах, это божества, их и не видел никто, только имена выскакивают, как имена апостолов, это воплощения мечты, ее два полюса, тень без света и свет без тени: Кочетов, и Солженицын, и Эренбург — потолочник — между ними. Я тру лоб, и отгоняю, это мираж, бред, так нельзя... но как мне мерещится временами, что это одно и то же. Конечно, это лестно для времени, это приятно — укутываться в плед романтики: черное и белое, ад и рай, добро и зло, — как мило видеть двоичный мир четко разделенным, с таким резким разграничением света и тени, как будто мы в безвоздушном пространстве, как лестно мерить нашу действительность по бесам Достоевского, а передо мной все кривляется мелкий бес Сологуба, все чиркает подметками по обоям, еще несколько измельчавший, распылившийся, растекшийся по миру, уже в окончательном усреднении и полном энергетическом равновесии...

Ходят мальчики и девочки и еще не знают, чем они торгуют; ходят демонические юноши, уже почувствовав свой горелый запах, давно решившие: бежать, бежать! — и все не бегут; ходят упитанные циники, машины, которым все равно; ходят либералы, держат в руке нежный пруттик и все отмахиваются, отмахиваются, и все им кажется, как отмахнутся очередной раз,

что зацветает их прутик: теория пятаков, теория малых дел, теория профессионализма, теория мыльных пузырей, — и обнимаются они с советской диалектикой: лучше меньше да лучше, период легальный и период нелегальный, — все-то они носители, все-то они хранители, словно люди, не знающие спичек, словно жрецы, хранители огня, носят в корзинке, в полевой сумке, носят в портфелях Камю и Кафку и все не поджигают, и опять лезут целоваться с классиками революции: момент не созрел, количество переходит в качество, — вот и копят, вот и потребляют все, и жиреют, — а качества нет как нет. И не будет. И не надо! — как говорит Г. Г., и все жмурятся, и все как будто не продаются.

Порядочная женщина спит десять раз с одним мужчиной, а непорядочная — по разу с десятью, — так говорит Лакснесс. У нас же, диву даешься, все строится на таких тонких отличиях, что большая тренировка нужна различать их. Например, ты спишь с двадцатью, а я всего с пятнадцатью, я — порядочная, а ты — нет. Есть порядочный слой и есть непорядочные слои. Но в каждом непорядочном слое есть свои непорядочные и порядочные, свои прогрессивные и свои реакционные. Вот оно, зажавшееся количество! Есть порядочный человек для общения, есть порядочный человек для потребления, есть порядочный редактор, есть порядочный член правления, есть порядочный парторг и есть порядочный стукач, и есть порядочный сукин сын. Мы пользуем их, попадая на дню из слоя в слой. И мы собираемся на своем Олимпе, пьем чай и беседуем с олимпийцами, уверенные в том, что на Олимпе нет магнитофона или микрофона, нет прямой связи с другим Олимпом, и два Олимпа стоят, взявшись за руки, и перемигиваются через улицу. Мы снова выделяем себя в эталон честности и порядочности за этим чаепитием.

А в доме том запотели окна, и стоит над ним пар — это видно со стороны. И если есть люди, что обходят его стороной, то мы их не знаем.

И я сажусь завтра за пионерскую работу. Я садился и сегодня, но вот написал другое. Садился и вчера. Начинаются обычные уроки на дом. Их делать не хочется. Слоняешься между книжкой «Это было под Ровно» и пишущей машинкой и хочется пойти по бабам. И что же? Свободу, маразм и духовный рост одному дорогому

товарищу придется отложить на месяц. В течение месяца надо все это заместить и за отсутствием противопоставить. Надо самодисциплинироваться, надо взять себя в руки, надо заняться физкультурой, вегетарианством, воздержанием, нравственной гигиеной, изучением иностранных языков, постом, изнурением в труде, чтобы помочь себе справиться с этим и ничего не заметить.

5 октября (юбилей)

Начиная с рубашки, которая однажды запахла грозой, у меня словно бы желание появилось записывать немножко на следующий день по поводу того, что писал накануне. Вроде как утренние размышления на вечерние темы. Сегодня мне удалось хорошо открыть глаза, как давно не бывало, как открываешь их в детстве. Я спал крепко, а открыл глаза сразу, не ощущая в них ни неудобства, ни того похмелья, что отягощает утро неврастеника. Я обнаружил, что нет еще восьми и спал всего шесть часов, даже меньше, но и досыпать не хотелось. Я обнаружил в своем мозгу некий простор и ясность, потому что четко вспомнил ощущения и впечатления, посетившие меня, когда я бросил писать и стал укладываться спать и перед тем, как уснул. Я ничего, понятно, не видел и не слышал, когда писал, хихикал над удачными словечками. Особенно, помню, хихикал над фразой: «Ходят молодые и корчат из себя целок». То ли оттого, что я над ней перешихикал, она мне сегодня почти ничего не говорит, эта фраза. Остальных я не помню. А вот как я встал из-за стола и что за этим последовало, я запомнил очень хорошо. Не силился, не перешептывал на сон грядущий, чтобы утром вспомнить, не записывал условными значками, чтобы расшифровывать, морща лоб, утром, а вот — лишь открыл глаза, ясное, промытое, встало передо мной вчерашнее мое ощущение, и необыкновенное удовлетворение почувствовал я от этого. И эта утренняя чистая память поразила меня еще больше, чем то, что так легко сегодня отворил свои глаза, и еще больше утвердило и усилило ощущение, что утро сегодня особое, когда-то бывшее со мной, но, увы, давно забытое: вроде пятилетний засыпает с мыслью, что завтра праздник, Новый год или день рождения, и как-то особенно остро чувствует и темноту комнаты, и прикосновение простынь, и вкус

подушки, и всю свою кожу, еще такую ясную в каждой своей клеточке... и вдруг распаивает глаза, как распаивают решительным жестом окна, чтобы впустить свежий воздух, с охотой, поспешностью, каким-то сильным внутренним движением открывает он глаза — и видит утро в своей комнате и белое окно и сразу понимает: праздник!

Я встал вчера из-за машинки и опять ничего не увидел в ночном стекле, кроме слепого своего отражения, с усиленными тенями, с провалившимися щеками и глазницами, мертво глядевшего на меня. Я слышал тогда тишину и потом в ней звуки: за окном уже давно шел дождь. Он именно — шел, он ходил под моими окнами, он чавкал, вынимая медленные ноги из раскисшей земли, он скребся и сморкался. И я, с тем смешанным чувством детского страха, теперь, впрочем, легкого и ослабленного, и той, уже взрослой, усмешки над собой, рождающейся из боязни показаться наивным ли, смешным или глуповатым даже перед самим собой, не сразу поверил, что это дождь, а не кто-то ходит у меня под окнами, и он меня видит, а я его нет... и уже совсем с замиранием выключил свет и сначала ничего не видел и замирал еще больше, а потом разглядел кленовую ветку, припавшую к моему окну, потом начало дорожки, удаляющейся от моего окна, и даже небо обнаружил не ночным, а беловатым. Я располагал звуки в законном пространстве так, чтобы они стали конкретны и понятны, например, звук воды, льющейся с крыши в бочку: это он скребся в дверь, потому что бочка стояла у крыльца. Чавканья я так и не понял, но из привычки отрицать сверхъестественное в быту, из привычки убеждать себя, что живешь в мире причинных связей, которые так просты и не таинственны, если известны, я объяснил себе так, что это только я не могу понять, в чем дело, а на самом деле все происходит, может, оттого, что чавкает воздух, который выжимает из земли вода, или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, сказал я себе, это дождь, и ничто другое, что еще раз подтвердило мою в этом неуверенность. И больше всего успокаивало меня все-таки то, что небо было беловатое. И я уснул как живой человек, ни разу не зафиксировав, не формулируя своего ощущения, так что не этим объясняется, что я запомнил его и, проснувшись, пережил снова.

Я вышел затем на крыльцо, чтобы облеγχиться. Утро показалось мне удивительно теплым, может, оттого, что я слишком уж ожидал ледяного холода. Иначе это трудно объяснить, потому что не может быть тепло человеку, только что проснувшемуся и вылезшему из теплой постели в одних трусах на сырое крыльцо ранним октябрьским утром на шестидесятой параллели. Утро, беловато-сероватое, вылезало из кустов и травы клочьями тумана; казалось, кусты освобожденно дышали, и пар, может, от этого ощущался не промозглым, а теплым, как дыхание. Пар подбирался мягкими, тающими языками к крыльцу и, обессиленный, словно бы клал свою теплую собачью пасть на нижнюю ступеньку. Ощущение утра вдруг слилось, поражая меня непонятной общностью, с моим вечерним ощущением, так ясно воскресшим сегодня, и я, не желая и не пытаюсь, словно мне это казалось ненужным и лишним, разобраться, в чем же эта общность, лишь принимал ее, воспринимал, это делало меня еще счастливее. Счастливее, конечно, меня делало и другое — мое медленное облегчение. Я смотрел, как моя струйка падала с высоты крыльца на землю, выбивала в ней лунку, и над этой лункой тоже поднимался пар. Восторженно передернув плечами, я бросился назад, в дом, в тепло, нырнул под одеяло и с наслаждением оттаивал под ним.

Я обнаружил тот скребущийся звук, который так усиливается по ночам, когда за обоями оживают мыши. По утрам они обычно молчат. Преследуя этот звук, я вывел его источник из-за стен на улицу. Там, над моим окошком, я увидел птичку. У нее там, по-видимому, гнездо. Она шастала взад и вперед. Я никак не мог толком разглядеть ее из своей постели, мешал карниз, за которым она скрывалась, а подлетала и вылетала она слишком стремительно. Я подумал, что это ласточка, но не был уверен, что они еще бывают здесь в октябре, ведь это, кажется, перелетные птицы. Эта птичка тоже обрадовала меня. Вот, подумал я, не только мыши, но и птички...

А если говорить о празднике, то мне мерещится, если я правильно помню, что сегодня исполняется пять лет с тех пор, как я пишу прозу. В этот день я написал свой первый рассказ «Люди, побрившиеся в субботу». Я очень удивлен, почему вдруг сегодня моя голова вернула мне эту дату. Я их не помню, как правило, дат.

Хотя с детства старался их запомнить, словно бы в наивной уверенности, что от этого не умрет в памяти событие, сегодня меня столь волнующее, потому что я имел еще слишком малый опыт, чтобы проследить, как обходится память с нашей жизнью и как воскрешение бывших с нами и дорогих нам событий происходит помимо наших сознательных усилий воскресить их и, может, несмотря на эти усилия. Я старался запомнить многие числа моей жизни: дни знакомств с любимыми и дни, когда я впервые владел ими, дни моих свершений и побед, я твердил эти числа и записывал их на многочисленные бумажки. Сначала пропадали бумажки, а потом число переставало говорить мне хоть что-либо, и я терял число. И теперь я мучительно вспоминаю года и устанавливаю в памяти дату: плюс-минус год. А ведь я еще недалеко ушел по дорогам памяти. Эту дату, 5 октября 1958 года, я очень лелеял вначале, ведь это, как мне казалось, спасло меня, то, что я начал писать, ведь это сделало мое существование осмысленным и т. д. Дату-то я вспомнил сегодня вовремя — зафиксировал эти пять лет, которые еще так недавно казались мне столь далекими, и желание их отменить исходило из того понятного нетерпения перед течением жизни и оттого — любви к круглым цифрам, которые, как бы это ни было условно, создают в нашей психике иллюзию нормированной этапности нашей жизни. Так, читая слишком толстую книгу, как бы ни нравилась мне она, я подсчитываю время от времени, сколько же мне осталось еще читать, и определяю отношение уже прочитанного к еще не прочитанному, так мой отец всегда желает отметить круглую цифру на спидометре своей машины, так нам хочется отмечать, сколько времени мы заняты тем или иным делом. Но даже если нас еще может взволновать та или иная дата (а может, тем более, если она нас может взволновать), мы, как правило, пропускаем ее, забываем, как отец, следя за дорогой, каждый раз пропускает тот момент, когда на его спидометре сразу много девяток заменяется многими нулями. И мне кажется, что мой сегодняшний юбилей оставил бы меня равнодушным, если бы мне не повезло нынче утром так легко отворить свои глаза. Да и все равно он оставляет меня равнодушным, не имея ничего общего и не сливаясь с радостным открытием сегодняшнего молочного утра.

И вот, как я ни оговаривал свой юбилей, я по-своему отпраздновал его, написав эти страницы. Я словно бы кончил писать и побежал за молоком, которое давно обещал принести. Выбегая с бидоном из нашего сада на улицу, я вдруг обнаружил, что, может, больше всего во мне самом пугает меня возникновение рефлексов. Если раньше я, пытаясь подражать взрослым, радовался возникновению в себе навыков, привычек, умений, то теперь как бы боюсь их, потому что, сам перейдя в другое, взрослое, качество, обнаружил в рефлексе качество, обратное радовавшему меня в детстве, тенденцию духовной старости и смерти. Вот что я заметил за собой, выбегая...

Когда идет дождь, калитка наша разбухает и расклинивается в своем проеме так, что открыть ее можно лишь сильным толчком. И с той, и с другой стороны забора, у калитки, растут деревья, и после дождя на каждом листе скопляется большая капля воды, и когда я, пытаясь распахнуть калитку, с силой пихаю ее, я трясусь забор, а с ним деревья, и тогда на меня выливается холодный душ, состоящий из капли на одном листе, помноженной на количество листьев. В этом есть эстетика, но, в общем, это неприятно, тем более что многое попадает за шиворот. Я всегда забываю о том, что, толкнув калитку, окажусь под внезапным дождем, и сегодня я тоже не помнил об этом, когда совершил целую серию внезапных для себя движений и прыжков, имевших тот смысл, чтобы и калитку отворить, и под дождь не попасть. Я проделал это успешно: дождь прошуршал мимо, — но, проскочив, поймал себя на том, что во мне, независимо от моих сознательных усилий, возник свеженький рефлекс, и что бы это все значило... Это событие сразу стало в ряд с историей П. про старика с чайником и с тем, как я обнаружил, что кладу на ночь рубашку рядом с собой, чтобы не тянуться за ней поутру, когда комната выстуживается за ночь почти до уличной температуры. Еще я вспомнил, что изображение засыпания сознания, замены сознания рефлексом, жизнь интеллигента без интеллекта, столь, как мне кажется, для нашего времени характерная, — все это уже давно преследует меня как тема, что видно и в «Пенелопе», и в «Саде», и в «Жизни в ветреную погоду».

Я посмотрел тогда еще раз на всю эту милую моему сердцу осеннюю погоду, окружившую меня на моем пу-

ти за молоком, в белое близкое небо, на расквашенную, расслабленную дорогу, на желтые листочки, летающие к моим шагам и как бы обозначающие мои следы, мой путь, и мне стало жалко себя.

11 октября

Снова я в Токсове. Третий день. Отмякаю. Снова — записки. В той небывалой сытости, что овладевает мной здесь, пишутся самые взволнованные страницы: муть оседает в осадок. Жизнь в Токсове не приносит новизны — в этом счастье. Вернее, все знакомо, все не в первый, даже не во второй раз — и поэтому вся новизна — твоя, вся — в тебе, в чистом виде. Передо мной вид, описанный в «Записках», я сейчас пойду за молоком и писать ничегошеньки не хочу. Вчера понаехали родственники — все было, как описано в «Дачной местности». Один сосед построил дом, а у другого дом сгорел, у Федоровых родился пятый ребенок, а Глафира Борисовна померла — и ничего не изменилось. Все осмотрено, исхожено, описано — и уже незаметно моему глазу. Любовь кончается — начинается жалость и благодарность ко всему, что меня здесь окружило.

Вышел я с Аней копать песочек. Стою смотрю: за забором ветки, еще не зеленые, сквозь эту штриховку вижу косую антенну над нашей крышей, а за антенной солнце, подернутое, как сквозь марлю, оттого расплывчатое, широкое и совершенно золотое. Красиво это и ничегошеньки абсолютно не значит. Прямо кадр из какой-нибудь нашей талантливой киноработы молодого режиссера. Красиво, тонко и ни к чему. Очень современно, правда. Вдруг сзади музыка заиграла, из открытого окошка, а мне плакать захотелось. Вот стою я с открытым ртом, и музыка играет, смотрю на антенну с солнцем, и смысла от этого ни на грамм не прибавилось. Человек на велосипеде проехал и тоже не прибавил смысла. Все красиво, удивительно и ни к чему — никакого подтекста, идеи в этом нет — просто так получается. Мне казалось, что молодой режиссер кадры свои отыскивает, подтасовывает и нет их на самом деле, одно лишь его желание быть в искусстве. И вот стою и вижу: есть и такой кадр в этой жизни, и музыка такая же играет. Все есть в нашей жизни, что ни наври. Я вот думал, думал, как быть с человеком, куда его поместить и как скоординировать. То так оказывалось правильно,



то наоборот. И вдруг понял: что ни скажи о человеке — все будет верно. Потому что все, что есть, — это человек. Вот выйдешь из кинотеатра, все там неправда было — одни попытки, талантливые или нет, — выйдешь: а тут двор, поленницы, люди — толпою, это кино смотревшие, разные, а одно кино смотрели, плакали, пройдешь подворотню, выйдешь на улицу — все то же, что и в кино. Думал в зале, морщился: это они от бездарности, — а вышел из зала: и оказывается, что и жизнь такая, только ты ее в кино побоялся признать за свою, такая уж бедная. И, может, фильм-то — просто замечательный.

Вчера папа мой приезжал. Наш сюжет. Не выдержал одного дня без внучки. Глядя на него, начинаешь понимать затертое выражение: жизнь его заключалась в том-то. Действительно, он и жить будет и не помрет, пока есть внучка. И та его сумасшедшая любовь к ней, видно, и означает, как мало у него уже оставалось жизни, если любви этой, как основной цели, пришлось принять формы столь гиперболические. Отец мой может вообразить опасность там, где ее невозможно вообразить. Живость его фантазии в этом смысле необычайна. Он приехал, чтобы построить заборчик к нашей речке, чтобы не свалилась туда внучка. Он ходил и, не обращая внимания на насмешливые взгляды родственников, съехавшихся на очередной воскресник по обработке участка (вообще-то он очень обращает внимание, даже слишком, на то, как смотрят другие, но тут его страхи были сильнее), он ходил и подстригал веточки, чтобы они не попали внучке в глаз. Этот же абстракционизм чувства поразил меня. Вот сюжет материалиста: мир враждебен ему. Можно выколоть глаз, можно свалиться в речку, можно прищемить в двери пальцы — но жить, постоянно представляя себе это и борясь с этими, еще не состоявшимися, представлениями, кажется мне уже таким отрывом от жизни, что именно материалисты — совершенно не реалисты в нашей жизни. И борьба с ветряными мельницами кажется мне, в этом смысле, символом судьбы материалиста. А Дон Кихот — основоположником (как всякий основоположник, наиболее искренний и чистый от своих последователей) нового мировоззрения.

Вот я и снова хожу за молоком. Смеркается. Голые ветки в сумерках, словно что-то с ними случилось и они

сами не знают что. Дорога начинает таять впереди и сливаться, а где-то на горе костер красной точкой, и в застывшем воздухе запах горелых листьев... Я иду и посасываю молоко из чайника на ходу. Мы решили ужинать теперь молоком. Для здоровья. На всю жизнь смешные эти попытки к здоровью и порядку. Раньше меня мучило, что никогда-то их не выдержать в последовательности. А теперь понятно, что так и необходимо: регуляция. Из этих колебаний разгула и режима и выведется средняя линия моей жизни, близкая к норме, площадь моей жизни, как площадь трапеции: полусумма оснований — на высоту. Это-то все просто: сэкономить на завтраке, на такси не поедешь, а на метро, заменишь сливочное масло подсолнечным, а вечером выпьешь бутылку водки, и она поглотит выгаданные копейки в море своих копеек. Мы решили ужинать молоком за счет масла. Я пил молоко по дороге тайком из носика чайника. Я пришел домой налить его в свой законный стакан, а в стакане — сопля, и я продолжаю пить из носика.

27 октября 1963 (молитва)

Я писал о том жестоком, смертельном моменте, когда облыщения и утилитарные идеи вдруг начинают слетать, как шелуха, когда мир открывается тебе в своем извечном и неумолимом равновесии, когда всякое дело оказывается тебе бессмысленным и ненужным, относительность и преходящность идеи леденит сердце, опадают руки, как листья, и ты стоишь голый на осеннем ветру, пытаешься удержать последний свой жухлый лист, и умираешь в этот момент умудрения: последний лист слетит — и тебя нет больше. Много лет спасаешь себя надеждой на будущую весну, пока однажды не сможешь спрятаться от мысли, что за весной обязательно приходит осень, — и тогда отчаяние, и тогда уже не надежда на будущую весну, которая, как ты уже знаешь, ничем не отличится от прочих и не утвердится навек, а лишь надежда на надежду слабо утешает тебя, то есть ты еще надеешься, что умудренность твоя пройдет, воскреснет глупость, жизнь, и ты еще раз, несмотря на весь свой опыт, поверишь в ту же самую весну. Еще и так проживешь некоторое недолгое время с надеждой

на надежду, потом поймешь и этот автообман, и не сможешь, даже притягивая к себе обман, желая поверить в него, убедить себя в том, что еще раз способен поверить в него. Ну ладно, когда тебе станет ясна и относительность относительности, что же останется тогда? Тогда окончательно мудрость, смерть, небытие? Какая поляна открывается за этим очередным и, кажется, последним холмиком на твоем пути? Что будет, когда ты уже не сможешь в очередной раз отбежать назад, чтобы снова пройти тот же отрезок и опять же не дойти до вершины, опасаясь, что там пропасть, небытие, и только ступишь на вершину, даже со всех сторон — пропасть? Что же последует за окончательно понятой системой вещей? И все еще боязно сделать последний шаг, все еще хочется выгадать, все еще думается, а неужели никак не узнать предварительно, перед тем, как сделать этот последний шаг, что же за этим, закрывающим тебе взгляд, холмиком, а узнав, может, и не делать шага... Это страшно, и никто тебе не подскажет: провалишься ты или полетишь? И действительно, кто подскажет тебе? Некому. Они либо провалились, либо летают, и не может быть сообщения между вами. Надо решиться, надо заносить ногу и ставить ее на вершину. Что же за поляна, что за простор, что за таинственный пейзаж откроется перед тобой, если откроется?

Кто-то сказал, что все великое рождалось при размышлении о смерти. Что же такое размышление, как не приближение того, о чем думаешь? Это все произойдет с тобой сегодня, завтра, сию секунду. И в этом — ты, в этом — Бог. Бога обрешь, когда теряешь его. До поры я мог не думать о нем: он был во мне. Я и не подозревал об этом. Его убила жизнь, его убило общение. Нет, не то что варвары люди напали на невинную душу и растоптали ее, и они не хотели этого, этого и не было. Просто много их попадалось на пути, и появился взгляд на себя, а не в себя, и сравнение с ними, а не связь. Соревнование, желание формального равенства, разобщение. И пропал твой Бог, которого ты не замечал. И такая возникла пустыня и смерть, что осталась лишь слабость, при которой общение — счеты, любовь — похоть, дружба — желание утвердить себя, творчество — потуги, и даже застрелить-то себя — можно разве из пальца.

В последний раз я сказал себе сегодня, и это было

уже по-новому: пусть поперхнется тот, кто судит меня. После этого впервые сегодня я молился. Это было в метро, в новом храме. Я сказал: «Господи, помоги мне». Я говорил это и раньше, но это было вроде «черт возьми». Я сказал это по-настоящему. И вдруг мне стало легче. Раньше это называлось: Бог услышал меня. Я сам услышал себя, и меня не стало. Я вдруг почувствовал, что могу услышать соседа.

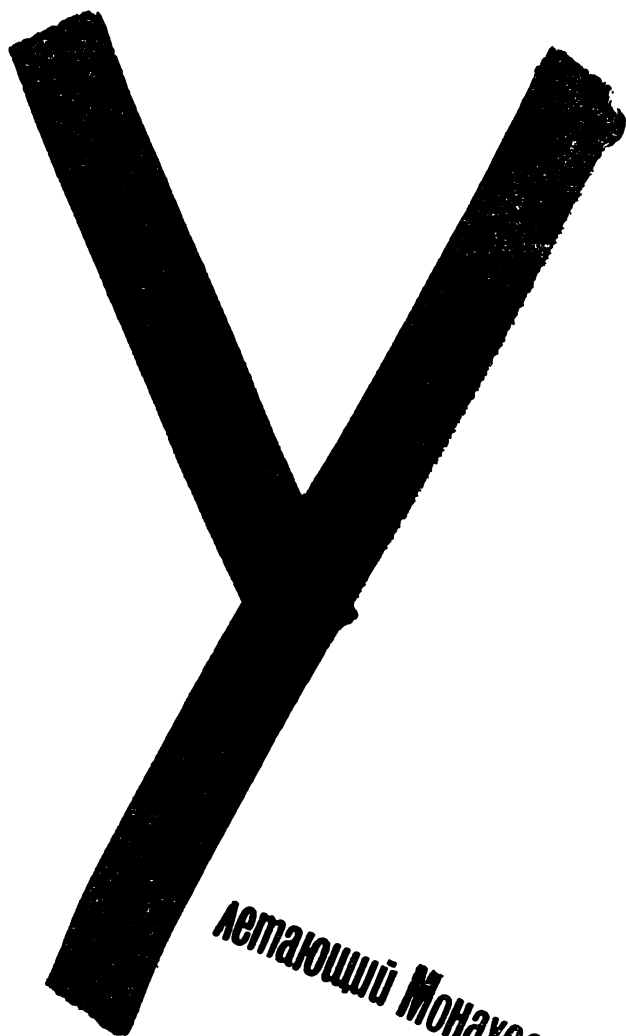
Когда меня вез вниз эскалатор, я ощущал такую смерть! Она была физическая, от пупа до сердца все было заполнено ею, клеточки, сосудики. Подходил поезд, раздвигал двери, и я почти бесчувственно поражаюсь, что еще делаю шаг и прохожу в вагон. Я думал: это так, стесненьце, и пройдет, но не проходило. В этом чувстве была уже не приблизительность, не только похожесть, а конкретность, непреходящность. И такое было ощущение, что если смерть и пройдет, то не потому и не так, как проходит болезнь, и не так, как забываются чувства, а лишь в случае чуда, если поможет то, о чем я еще и представления не имел. И я сказал: «Помоги, Господи».

Теперь можно жить. Можно, оказывается, жить так, что любовь твоя будет любовью, творчество — творчеством. И ничего не изменится в твоей жизни, кроме смысла каждого шага и поступка. Так же это будет похоже на обычнейшую жизнь и на обычнейшую слабость и на обыкновенный грех. Я словно бы могу сейчас проделать то же самое, что было раньше слабостью и падением, но это не будет ни тем ни другим и произойдет от любви. Больше не может быть обид, и счетов, и суда, мерзкого стыда за ближнего и за себя лишь оттого, что рядом люди. Измерения другие.

И тот путь, при котором осознание оказывается успокоением и лишь символом нового, а на самом деле внутренним разрешением всех тех же постыдных вещей себе самому, безболезненным закрыванием глаз, как бы назвал кошку кошкой, и она от этого перестала ею быть, такого уже тоже не может быть — это не спасение, это как бы спасательство. Спасение — это берег, спасательство — поплавок в том же болоте. Достаточно людей, единицы, но — достаточно, что понимают все и по-прежнему сохраняют в себе понимание ничего. Бога в них нет, хоть и твердят они о нем. Даже больше, мучительная цепь поступков, им кажется, приводит их к Нему, но всегда остается последний пяточок, на котором усто-

ят они, чтобы все-таки не отрешиться от себя. Это знание, почти знание, оказывается еще большей ересью, потому что возвеличивает их в собственных глазах, потому что они все еще сравнивают и измеряют рулеткой каждый свой шаг и на сколько сантиметров оставили они соседа, и им не расстаться никак с этой сладостью. А если покинешь пяточок, знание уже действительно поднимает тебя, а не кого-нибудь другого, это становится реальностью, а не миражом соизмерений с ближним, не автовозвышением, а объективной мерой.

---



**Летающий Монах**

**Роман-пунктур**

## ДВЕРЬ

Мальчик промерз под аркой. Уже полчаса прошло. Конечно, раз она так опоздала, то она сюда и не зайдет. Она сразу пройдет в ту парадную. А может, она уже вошла и поднялась на третий этаж, ей открыли дверь, и она вошла в квартиру... Вдруг она опоздала и решила, что он не станет ждать ее так долго на таком морозе, и она уже там?.. А как же он?.. Но, может, она подумала, что он сам зайдет туда. И сейчас ждет его там, на третьем этаже... Но как же ему туда зайти, если он был там всего один раз, и тогда все эти мужики посмеивались над ним... И если, может быть, она еще и вовсе не пришла туда.

Мальчик вышел из-под арки, дошел до парадной, озираясь по сторонам, не идет ли она — навстречу, сзади или по другой стороне улицы. Вошел в парадную. Теперь я ее не пропущу...

Тут было теплее. Главное, не дуло. Он растер себе нос, и щеки, и лоб. Лицо загорелось. Вдруг подумалось, что у него теперь очень красное лицо и что сейчас войдет она. Мальчик стыдился своего румянца и своих лет. И от мысли, что вот раскраснелся и совсем мальчишка, покраснел еще больше.

Но она не приходила. Сначала ему казалось, что дверь откроется сию секунду. Он, вздрогнув, смотрел на дверь. Но это либо просто казалось, либо входил кто-нибудь другой. Не она.

Тогда он подумал, что, может, она все-таки прошла мимо парадной и ждет под аркой, пока он тут греется. Выбежал, добежал до арки — там никого не было. Тогда он подумал, что в этот момент она входит в парадную. И вот они разминулись... Он поспешил обратно. В па-

радной никого не было. Мальчик стоял в парадной, за стеклянной дверью, и смотрел на улицу на тот случай, если она пройдет мимо, к арке. Но в какой-то момент, когда он отвернулся посмотреть, кто спускается по лестнице, ему показалось, что она прошла мимо двери, только он не заметил. Спускался толстый старик. А промелькнула за стеклянной дверью, конечно же, она! Мальчик еще раз сбегал к арке. Там никого не было. И он вернулся.

Нельзя быть таким ребенком, думал мальчик. Надо все обдумать, а не метаться и не сходить с ума. Прошло сорок минут, и, конечно, она уже не подойдет к арке. Тогда одно из двух: либо она уже пришла и сидит там, в комнате на третьем этаже, пока я ношусь тут внизу, либо она еще не пришла, и тогда надо ждать ее тут, на лестнице. И необязательно у дверей, потому что она все равно не пойдет к арке, раз так опоздала. Можно подняться на третий этаж и погреться у батареи. Так.

Мальчик решительно поднялся на третий этаж. Погрел руки на батарее. Посмотрелся в оконное стекло. Снял шапку, причесался и снова надел. Поправил шарф. Лицо уже не горело. Он присел на батарею, не спеша достал сигарету, закурил. Голова закружилась, все поплыло немного. Мальчик совсем недавно начал курить. Было приятно — словно укачивало. Он разглядывал дым, который пускал то изо рта, то из ноздрей, то пытался сделать кольцо...

Внизу хлопнула входная дверь. Мальчик вздрогнул. Еще раз поправил шарф. Очень некстати снова загорелось лицо. И застучало сердце. Уже по шагам он понял, что это не она. Это была бабка. Она прошла мимо как-то боком, смерив его с ног до головы. Так и поднималась, не отрывая взгляда от мальчика и по мере подъема разворачиваясь вокруг собственной оси. К двери она подошла уже совсем задом. Эта дверь была соседней с той, за которой следил мальчик. Озираясь, старуха чуть приоткрыла дверь и с трудом протискалась в такую узкую щель, и поспешно прихлопнула за собой, а потом загремела крючками и цепочками.

Мальчик посмотрел на часы: двадцать минут десятого. Уже час двадцать он ждет. Уже поздно. Ему надо бы повидать ее и идти домой. Потому что мама не знает, где он пропадает так долго, выйдя за циркулем к приятелю напротив. Правда, она косилась на новую рубашку и ботинки и говорила, что он ее в гроб вгонит. Впрочем, она уже давно позвонила к приятелю, и сейчас они



разговаривают, две матери. Мальчик спустился вниз, позвонил домой, а следом — приятелю: так и есть, короткие гудки и там и там. Мальчик обрадовался, что разговор не состоялся. Ведь он скоро вернется, и совсем не стоит говорить об этом по телефону...

А времени прошло два часа. И мальчик подумал: должно быть, она уже там и они как-то разминулись. Просто необходимо узнать, там ли она. Может, он зря ждет?

Он поднимался, все более замедляя шаги. Но вот и дверь. Снова поправил шарф и шапку. Потянулся к звонку. Поколебался: вспомнился тот красивый парень, который похлопывал его по щеке и смеялся небрежным смешком. И она смеялась тогда тоже. В то же время мальчик думал, что позвонить все-таки надо. Надо все уяснить наконец. И когда он все-таки нажал кнопку, то почувствовал себя уверенней и смелее.

Он услышал, как за дверью открылась другая дверь, откуда вырвался смутный шум, как шаги подошли к двери, как щелкнул замок...

И вот перед ним та самая подруга.

Шум уже был явственным. Шум очень определенно-го свойства, так что мальчик услышал не только голоса и музыку, но и табачный дым, и бутылки на столе.

— А-а, это ты, мальчик... — сказала подруга, поднимая брови.

— Я, — сказал мальчик.

— А она еще не приходила, — сказала подруга.

Он смотрел на подругу в упор, стараясь поймать взгляд, чтобы понять, лжет та или нет. Потому что не слышал ли он явственно среди других ее голос... И сейчас слышит.

Эта подруга походила на большую красивую рыбу. И сейчас, когда мальчик точно различал там, в шуме, один голос из многих, подруга не нравилась ему еще больше и еще больше походила на рыбу, только уже некрасивую. Этой рыбе очень трудно посмотреть в глаза — большие, серые, навывкате, — как ни взгляни, всегда попадасшь между, куда-нибудь в переносицу. Эта рыба все время поглаживает свои обтянутые бедра, словно вытирая свои всегда сырые руки...

Рыба открывает рот, и рыба закрывает рот.

Потом, когда дверь закрыта, а рыба словно ушла в стену, он понял движение губ:

— Она, наверно, и не придет сегодня.

«Я же слышал ее голос, — думал мальчик, — там, среди других! Значит, она не хочет меня видеть. Она там, с ними, даже с ним...» С тем, который брал мальчика за подбородок. А он здесь, на лестнице... И она знает это. И сама сказала подруге, чтобы та прогнала мальчика...

— Гадина, — сказал мальчик. — Гадина, — сказал он вслух. — Гадина! — сказал он, спускаясь по лестнице.

А если действительно ее там нет, рассуждал он. Если мне, глупому ревнивцу, просто показалось, что это был ее голос... Она ведь не может так обмануть.

— Глупый ревнивец! — сказал мальчик. — Глупый ревнивец.

Это его как-то успокоило. А может, это подруга обманула и его, и ее? Не сказала, что пришел мальчик.

— Дрянь, дрянь, дрянь! — сказал он.

Мальчик стоял внизу и никак не мог остановиться на чем-нибудь. Обвинить кого-нибудь из трех. Только обязательно одного. Чтобы стало ясно.

Надо позвонить по телефону. Мальчик боялся звонить ей часто по телефону. Она говорила, что у нее неприятности из-за телефона, чтобы мальчик просто так не звонил. Мальчик так просто и не звонит: надо же что-то выяснить. Может, она дома и не придет сюда... Тогда все сомнения ни к чему, и ему надо спешить домой.

Он опустил монету, набрал номер. Сердце колотилось. Грубый голос. Нет дома. Да, давно. Да, неизвестно.

В любом случае, думал мальчик, надо еще подождать. Может, она в дороге и сейчас сюда придет.

Мальчик поднялся к своей батарее и снова закурил.

Он казался себе очень спокойным и взрослым. Поджимал губы, делал твердое лицо, рассматривал себя в оконном стекле, думал о себе в третьем лице разные вещи, смотрел, как он пускает дым и стряхивает пепел.

А она что-то не шла.

Мальчик заволновался. Ведь ему надо было еще купить масло: мама велела. Да и мама... Ждет. Скандал. Скоро магазины закроются.

Как это глупо... Надо было купить масло по дороге из дому. Даже если бы опоздал к арке, то ведь ее все равно не было. Глупости, откуда я знал... А сейчас я ее пропущу.

А она не идет.

Но, может, он не ошибся, когда слышал ее голос, и она действительно сейчас там и действительно обманула его...

Да нельзя же так, сказал себе мальчик. Ведь если я жду уже два часа, то выскочить на минутку в магазин напротив, купить масла и вернуться — это капля в море... Он ничего не пропустит. По теории вероятностей. И нельзя думать, что она придет как раз в ту секунду, когда мальчик отлучится. Это уже бред. Надо же быть женщиной! В конце концов.

Так себя настроив, он решительно вышел на улицу, бегом добежал до магазина. Проскользнул мимо тетки, собиравшейся закрыть дверь.

С маслом все в порядке. Он перебежал улицу, ворвался в парадную, помчался по лестнице... Может, она все-таки зашла именно в эту минуту, может, он нагонит ее сейчас. Добежал до самой площадки... Никого.

Сел на свою батарею.

Конечно, думал мальчик, такой случайности, чтобы она прошла сюда как раз, когда я отлучился за маслом, — такой случайности быть не может. Тем более я обернулся чудо как быстро.

Значит, она уже там и обманула его. Приходить к подруге сейчас нет никакого смысла. Но, может, она пошла по какому-нибудь делу и не могла предупредить мальчика. Может, она даже не уходила из дому, а ему просто соврали, что ее нет.

Надо идти домой. Дома скандал. Да, если она ушла по делу или если ему соврали, тогда надо скорее бежать домой.

Ну а если он не ошибся — и это ее голос... Там, в комнате, где дым и бутылки? Тогда как же он убедится, узнает правду? Тогда надо дожидаться, когда она выйдет. Если она там, то не исчезнет же она... Если она выйдет — все станет ясно.

Внизу кто-то залязгал крюками. Но дверь не хлопнула. Никто не вышел. Больше там никого не ждут... Странно, вдруг по всей лестнице забрякали крюками и задвижками, запирая двери на ночь. Почти одновременно загалдели железки по этажам, и этот галдеж хорошо слышен по всей лестнице.

Мальчик вспоминает, что мама тоже запирается на ночь на щеколду и тогда уже не попадешь домой с ключом. Также, думает он, никто их не собирается грабить... Он вздрагивает от каждого нового лязга. Вздрагивает

раньше, чем понимает, что это не та дверь, за которой он следит, а какая-то другая.

Кто-то подошел к его двери. Мальчик слышал шаги.

Вот сейчас... раскроется дверь — и выйдет она...

Так же, только громче, загалдели крючья.

Значит, они все останутся там на ночь. Неужели и она...

Мальчику захотелось броситься на дверь, ворваться — увидеть.

Шаги отошли от запертой на ночь двери.

...Вот он врывается — она там, — он смотрит на нее взглядом и говорит ей резкие, гордые слова, полные жестокой правды. Она рыдает, она просит прощения. Ползет на коленях, обнимает ему ноги. Но он стоит, бледный, красивый, и ничто уже не может разжалобить его. Ничему он уже не поверит. И он уходит. А она рыдает, плачет...

Плачет... Мальчик видел один раз, как она плакала. Тогда она тоже опоздала и пришла в слезах. Говорила, что ее обидел брат и только один он у нее, мальчик... Мальчик вспомнил, и ему стало очень жалко ее. Засвербило в носу.

Он отогнал это и остановился на том, что только вообразил себе. Усмехнулся: детство, глупости... Ведь если и ворвешься... а вдруг ее там нет. Что он скажет тогда этим удивленным людям? Куда денется? Мальчик покраснел, так остро ему представился стыд подобной минуты...

Да и как ворвешься?

Да... но как-то надо решать. Что-то надо делать... Звонить уже неудобно, поздно. Но как узнать? Он снова спустился вниз, к телефону. Ладно, он сейчас позвонит. Если подойдет она — все в порядке, если нет... ну, тогда он повесит трубку. Подошел тот же грубый голос. Мальчик бросил трубку. И сердце стучало в какую-то пустоту, словно сорвавшись.

На батарее тепло. Скандал дома уже не станет больше. Даже меньше. Маму жалко... Последнее мелькает в голове, как маленький серый и пугливый зверек, и сразу исчезает. Мальчику тепло. По телу бегают сладкие мурашки. Все гудит немножко. Не шевельнуться: неохота. Прикроешь глаза — запрыгает в черноте точка, светлая, зеленая — след лестничной лампочки...

Вот он лежит больной и умирает. Бледный, худой. Она находит его наконец. Приходит к нему. Плачет. «Не плачь, я всегда любил тебя. Ты ни в чем не виновата». Она плачет, умоляет: все будет иначе. «Нет, для меня уже ничего не будет...»

...Прошли годы. Вот он приходит к ней. Его мужественное лицо несет следы пережитых трудностей, приключений. Густые кудри, падающие на лоб, не могут скрыть глубокий шрам. Седые кудри. Такой молодой и уже седой... «Поздно, все поздно», — говорит он. И уходит. Она рыдает. А он идет по залам, залам, открывает двери, двери...

Когда мальчик проснулся, то почувствовал озноб. Было холодно. И не холодно, а зябко. Мальчик несколько раз резко отвел руки в стороны, попрыгал — разогнал кровь.

Как-то все глупо получилось, думал он. Надо было предупредить маму. Или даже лучше вообще не выходить вечером, а прийти сюда вот сейчас: все равно ее не было и все это время он проторчал тут зря. Прийти сейчас и начать ее ждать. А маме сказать... маме что-нибудь сказать такое. Глупости. Надо было идти домой сразу. А сейчас?.. Сейчас ночь, два часа, третий. И надо узнать.

Мальчик сидел на батарее, вбирал голову в плечи, дышал себе под свитер.

И уже ни о чем не думал.

Три часа ночи.

Четыре.

Тупо ждет мальчик. Задремывая иногда, просыпаясь в ознобе. Он уже все знает про эту лестницу: про трещину на стене, похожую на быка, и другую, похожую на Марию Степановну, про то, что Минька — жук и Валя — дура, и про эту дверь, его дверь, какие на ней звонки и как отстает в правом углу войлок...

Шаги. Голоса. Два голоса. Звякнула щеколда. Это его дверь.

Дверь приоткрылась.

Она!

Мальчик вскочил с батареи. Она взглянула, отпрянула назад. Захлопнулась дверь. Все это как-то слишком быстро: мелькнуло и исчезло. Мальчик недоумевал. Сердце колотилось от неожиданности и оттого, что он так поспешно вскочил, а перед тем долго сидел неподвижно. За дверью голоса. Мальчик силится разобрать.

И ему слышится, что там голоса, мужской и женский, ее голос. Мальчик уже уверен, что это шум, эти два шума — это их голоса. Как они явно слышны... Как громко! Слова ширятся, растут, сползают на мальчика...

Замок снова щелкает, и дверь открывается.

Парень, тот самый парень, выходит, пятясь, что-то говоря кому-то. Ей! Мальчик стоит у батареи и смотрит. Парень развернулся кругом. Пошел. Дверь за ним закрылась. Мальчику показалось, что опять мелькнула ее фигура. Щелкнула задвижка. Парень спускался по лестнице. Ближе к мальчику, ближе. Поравнялся. Взглянул на мальчика. Что было в этом взгляде! Мальчик похолодел: чего только в нем не было... Парень миновал, ниже, ниже. Мальчик смотрел ему вслед. Когда парень повернул на следующий марш, то взглянул вверх на мальчика. Любопытство во взгляде.

Шаги парня таяли в глубине.

Мальчик снова уселся на батарею. Закусил губу. Теперь-то уж он дождется. Теперь он знает, что она — там. Он дождется и скажет ей все.

— Я убью ее. Убью! Убью! — повторял мальчик.

В полшестого хлопнула первая дверь. Кто-то пронесся по лестнице, застегиваясь на ходу. Потом двери хлопали все чаще. Выше и ниже, чем стоял мальчик. Двери хлопали по нескольку раз.

Сначала спешили рабочие. Они проходили мимо мальчика деловито, не меняясь в лице. И он был им благодарен.

Потом служащие. Эти плыли, с сумками — женщины, с портфелями — мужчины. Эти пялились, а некоторые оборачивались. Некоторых мальчик узнавал: вчера вечером они поднимались и разглядывали его с любопытством. Теперь их взгляды сочлились любопытством, изнывали вопросом...

«Я убью ее!»

Мальчик съезжился. Мучительно делал спокойное и равнодушное лицо. Но стоял мужественно, закусив губу.

Двери хлопали во времени по определенным законам. Волнами. По рубежам получасовым и часовым. Волны нарастали и потом сходили на нет на последних мчащихся, жующих на ходу людях. Потом наступала передышка. Мальчик расслаблялся и сразу чувствовал себя уставшим без меры.

Два раза хлопнула его дверь. Но это были просто жильцы, не она. Мальчик боялся, что они узнают его. В первый раз он отвернулся к окну и пробовал безразлично насвистывать. Во второй раз сделал вид, что спускается вниз, как будто из другой квартиры.

Без десяти девять схлынула последняя волна.

В полдесятого, с сумками, бутылками, бидонами, стали спускаться домохозяйки. Но мальчик уже устал сжиматься при каждом прохожем. И стал действительно равнодушен к ним.

«Когда же она наконец выйдет?» — тупо повторял он про себя. Уже не так остро и мучительно ждал он. Просто — скорее бы кончилось. Но уйти он уже не мог.

Волна домохозяек тоже схлынула.

Он подумал, что, если еще простоять часа два, начнут подниматься вверх.

И совсем уже неожиданно заговорила его дверь.

Она вышла.

Спокойная, красивая... Какая красивая!

Начала спускаться. Увидела мальчика. Узнала. Улыбнулась. Как хорошо она улыбнулась! Но нет, его теперь не обманешь...

— Ах, это ты, мой мальчик! — сказала она. — Милый, так ты все время ждал меня?

— Да, — сказал мальчик. Голос его дрожал, и он глотал спазмы. — Да. Ты была там всю ночь. Я ждал тебя под аркой — ты не пришла. Потом, когда звонил сюда, ты велела сказать, что тебя там нет. Ты знала, что я здесь... А ночью, в четыре часа, ты открыла дверь, увидела меня и спряталась. А вышел тот парень. Я знаю все!.. — мальчик сорвался.

— Хороший мой, — сказала она ласково и тихо, — все было не так. Не так, как ты говоришь. Я не смогла прийти вовремя к арке: так получилось, и я не могла иначе. Я не знала, как тебя предупредить об этом. Я пришла сюда много позже. Когда ты меня спрашивал, я еще не пришла сюда, меня не было. А потом, когда я поднималась по лестнице, не было тебя. Я думала, ты не дождался.

— Я все время был на лестнице!

— Нет, милый, не все время! Нет, хороший мой.

— Не зови меня так. Ты там была всю ночь. С этим парнем...

— Глупый... Я должна бы на тебя рассердиться. Глупый. Просто было поздно, и я осталась ночевать

у подружки, понимаешь? А парень этот — ее брат. Мы учились вместе. Он уехал этой ночью. Далеко.

— Нет,— сказал мальчик.

— Милый, хороший, славный... Все было так, как я говорю. Ну чего же мы стоим тут? Пошли. Ты что, так тут всю ночь и просидел? Что, наверно, у тебя дома творится!..

— Чепуха,— сказал мальчик.

Она засмеялась.

Они вышли.

— Иди,— сказала она,— иди, мой мальчик. Завтра.

Мальчик шел домой. Тут было недалеко. Серый, теплый, туманный день. Все было каким-то неверным от тумана. И дома, и машины, и люди. Все вдруг возникало и вдруг исчезало. Легкое, невесомое. Словно приснившаяся.

И само тело было тоже легкое, невесомое. И мысли.

Приятно гудело внутри. Где-то там притаился сон.

Так, шагал мальчик, так. Так оно и было, как она говорит. А я свинья. Я перед всеми виноват. И дома. И перед ней. Свинья. Все именно так и было.

## САД

### *ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ДЕКАБРЯ*

Это было неизвестно, когда она позвонит. Но позвонить она собиралась. Обещала. Она должна была позвонить, и Алексей все шатался по квартире: словно бы листал газеты в прихожей и словно бы шел за ножом в кухню по коридору. Когда звонил телефон, Алексей подскакивал и снимал трубку, но звонила не она, не Ася. Дядьку, тетку, бабу — кого только не зовут к телефону! — но все не его. Мама тоже ходит по коридору и не разговаривает: что-то затаила. Хуже нет, когда у нее вот такое собранное лицо. Когда смотрит мимо, словно его, сына ее Алексея, и нет вовсе. Алексей устал гадать и обращать на это внимание: в последнее время всегда именно такое обращается к нему мамино лицо. И конечно же, подозрительно ей, что толчется он тут у телефона. Тогда, если мама появляется в коридоре, Алексей подходит, снимает трубку — узнает время. В следующий раз набирает неопределенный номер,



причем одну цифру недобирает. «Витю можно?» — говорит. Витя Кошеницын — хороший, маме правилась бы такая дружба: сын сослуживицы — все на виду — и учится хорошо. Алексей выжидает некоторое время, какое нужно, чтобы позвать человека к телефону, а потом начинает говорить о каком-то соленоиде, для смеха путая его с синусоидой, и городит такое, что ему даже легче становится. Иногда замолчит, словно слушая того, на другом конце, или так себе, хмыкнет неопределенно между молчаниями, или междометие вставит. А сам за это время нечто придумает да и скажет: «Конечно, потенциальная сила константы блока при пересечении магнитоидных искривлений системы равна гидравлической энергии питания электрода, альфа-омега-пси. Именно этого я не понимал», — повесит трубку. Маме нравилась бы такие разговоры. Но всего этого на самом деле не было. Одно лишь представление, мечта...

И тут, конечно же, судьба: вдруг он забыл обо всем — о чем же таком он думал глупом-глупом! — и когда, обмирая, бросился на звонок, — мама уже держала трубку: «Алексей, это тебя», — и по поджатым губам, по особенно бесстрастному ее голосу и взгляду совершенно любому ясно, что на этот раз звонит Ася: мама узнала ее голос. Тут уж ничего не остается — лишь бы не покраснеть, подойти как можно спокойней, безразличней. Впрочем, не к чему и делать хорошую мину: ведь ясно же, недаром он толкся у телефона, все всё знают и принимают — плохая игра, хорошая мина... Алексей берет трубку. «Да. Здравствуй...» Тут можно было бы и сказать: «Ася». Раз уж проворонил и тебя рассекретили. Если бы подошел сам или хотя бы кто другой, кроме мамы, можно было бы говорить во втором лице настоящего времени, что и не поймешь, с кем ты говоришь. Но ведь и это спасет мало: слишком много получается мычания, чтобы мама не догадалась. Мама очень в этих вещах понимает. Непонятно даже как.

— Это мама подходила! — До чего же прекрасный голос!

— Да...

— А как ты понял, что это я?

— По... лицу.

— Маминому?

— Да.

Смеется, подумать только!

— Так ведь говорила с ней не я!

Что-то сразу сжимается в Алексее.

— Кто же? — говорит он и сам удивляется, как падает у него голос.

— Муж.

— А этому типу чего от тебя надо... — Слова трепещут, тянутся и рвутся: словно одно — как камень, а другое — жидкое.

— Да ну что ты, Алеша, что ты! — ласково говорит она. — Ну ты же знаешь...

— Случайно встретила?.. — говорит Алексей ядовито и уже не помнит, что нельзя говорить в прошедшем времени: выдает с головой — ла, ала, яла, ила. Не понимает, что тем более выдавать себя не к чему, что вызывал его мужской голос, а, выходит, разговаривает он с женским, слишком явная ложь. Такого в доме не любят.

— Ну, Алеша, к чему такой тон! — говорит Ася, и голос у нее такой, что еще не рассердилась, но может рассердиться, и какой он еще мальчик, Алеша. — Ты же знаешь, я тебе говорила, что должна была с ним встретиться...

Ну, положим, она этого ему никогда не говорила, но Алексей вдруг успокаивается. И тогда становится очевидно, что какая же тут ревность, раз он ЕЕ слышит, что и сказал он эти две фразы: «А этому типу чего от тебя надо...» и «Случайно встретила?..» — может, только потому, что разволновался от ее голоса, и ни по чему другому. Но этого по телефону не объяснишь. Да и объяснить не надо. Да и не совсем так это. Да и не так осознает все сам Алексей. И выходит, мамино лицо было вытянутым не потому, что она узнала Асю, — так просто, как всегда...

И тут уже ясно, о чем дальше разговор — о встрече. Вот если он еще немного потопчетя в разговоре и не спросит — спросит она. А если не выдержит и спросит она — она, пожалуй, скажет, что сегодня не может, занята. И кто ее знает, как она там занята. И он говорит:

— Ну так я приду.

— Нет, Алеша, я сегодня занята. — Так он и знал!

— Чем же это? — Опять слова то жидкие, то твердые.

— Господи, Алеша... Ну, стиркой. Новый год же...

— Так я тебе не буду мешать — просто посижу.

— Не надо, Алеша. И дома сегодня все будут.

— Я все-таки приду.

— И твоя мама...

И теперь уже все было ясно. Он, конечно, придет. Хотя у него дел по горло. Сессия. И мама будет коситься, что он опять уходит.

Но чем больше упирается Ася, тем вернее, что он придет.

Ася живет у Нины, своей подруги, — снимает угол за пятнадцать рублей. Нина — красивая девушка, но никто ее не любит. Нина живет у отца, Сергея Владимировича, необыкновенного старика, из «бывших». И все они, втроем, живут в одной большой комнате, чрезвычайно пустой и словно бы необжитой. Чтобы попасть к ним, надо подняться на четвертый этаж, верхний в старинном доме. Подниматься надо по широкой лестнице со ступенями, удобными, как в старинных домах. На каждом марше, у высокого окна, вделана капитальная скамейка для отдыха. И вот на четвертом, направо — дверь...

И всегда, когда Алексей нажимал звонок, все напрягалось в нем. Потому что тут — пауза, шорох, шаги за дверью — все могло произойти. Могло не оказаться Аси... потом гадай, куда она делась. Сиди на удобной для того скамейке. Если откроет Ася, все хорошо. Но может открыть Нина, или Сергей Владимирович, или, если их нет, а ты все-таки позвонил еще раз, — соседи, самое худшее. У них такие лица, если они ему открывают, он чувствует себя виноватым, неведомо, правда, в чем, тем более, впрочем, виноватым и зависимым. И если откроет не Ася, то опять же: либо она дома, либо ее нет. И тоже могут открыть по-разному. Особенно Сергей Владимирович. Не просто открыть, тут множество оттенков: какое будет при этом лицо, промолчат или что скажут, и что скажут, пригласят или оставят на лестнице...

Дверь открыл Сергей Владимирович. Он стоял в дверях, словно не узнавая, длинный, величественный до жалкости, деревянный, стоял, ничего не менялось в его неподвижности, и молчал. Словно выжидал. Поэтому Алексей не мог сказать: «Здравствуйте, Сергей Владимирович», — а сказал, причем слишком отрывисто:

— Ася дома?

Старик еще словно бы долго неподвижно смотрел на Алексея, а потом, резко повернувшись, прикрыл дверь, удалился так же молча.

Алексей глупо стоял перед дверью.

И в это самое время, как назло, сзади подошла соседка — 2 звонка. Она встала за спиной, подышала. Алексей, вздрогнув, обернулся, и тогда она, ласково улыбнувшись, сказала:

— Вы уже звонили?

— Да, — твердо ответил Алексей и отошел от двери.

— Ах, она даже открыта!.. — распухая сумка в одной руке, газета и кошелек в другой, она растворяла дверь, проходила вперед сумкой, боком, и смотрела с ласковым любопытством. Совсем уж пройдя и прикрывая за собою дверь — на свету остался лишь один ее толстый глаз, — сказала:

— Не закрывать?..

— Нет, — сказал Алексей срывающимся от злости голосом.

И надо же было ей подняться именно в эту минуту!

Не успели еще оттоптаться в прихожей ее шаги, дверь отворилась — Ася, ситцевый халатик. Руки у нее были мокрые, лицо злое. Видно, кроме старика, сказавшего ей что-то, кроме стирки, вот еще и столкнулась с соседкой — 2 звонка.

— Я же говорила, не приходи!

Больше ничего Алексею не надо — стоит в дверях живая Ася, ситцевый халатик, плечи остро под халатиком, руки мокрые, шлепанцы огромные, ее голос, ее глаза и волосы. И это ему не кажется — на самом деле...

Ася смотрит на него, теплеет.

— Там война, понимаешь? Пропали у Сергея Владимировича штаны... — Она уже смеется. — Полчаса пождешь?

Господи, полчаса... Час! Два!

Сад. Уголок его. Скамейка между сараем и садом.

О н а. Но так больше нельзя. Зима, понимаешь?.. А я хочу, чтобы было тепло. Чтобы я могла куда-то п р и й т и. Это обязательно. И не все же обедать на деньги, что выдает тебе мама на завтрак? И ждать тебя по утрам, когда наконец я одна: придешь ты или не придешь? Ты-то, конечно, придешь... И целоваться вот здесь. И на лестнице тоже целоваться... Холодно ведь. Это тебе тепло. А мне холодно...

О н. Не надо так... И ты не права. Это так, конечно... Но ведь я тебя люблю. И ты... меня любишь. И мы бываем часто одни, совсем одни. Нам еще повезло. Я иногда удивляюсь, к а к нам везет. И ты знаешь, ведь я...

все, что могу. Но я не все могу. Но я знаю, не думай... Это-то я уже знаю: счастье в каждом из нас, не в обстоятельствах. Ведь мы...

О н а. Милый, ну... Ты любишь. Я забыла. Дай я на тебя посмотрю. Ну как же не любить такого! Я злая. Ты еще ребенок. Почему так? Может, я плохая, верно, испорченная... Хотя кто это знает? Все осколки, сумятица... Но мне нужно все то, без чего ты готов прожить... Ведь ты живешь дома? А? Ты ведь живешь д о м а? Что, молчишь?.. Мама тебе готовит? Да? Спать ты ложишься в постельку? Вот пальто на тебе? Молчишь?..

О н. Я тебе говорил. Я уйду, если ты настаиваешь...

О н а. Не криви. Ты ведь умный, не идет тебе. Не уйдешь, голубчик. Ты привык. Ты, милый, гораздо больше без этого не можешь, чем я. Тебе не уйти...

О н. Уйду.

О н а. Ну что ты!.. Ну вот и обиделся. Какой ты еще ребенок! Ну не ребенок... Это ведь я необидное тебе говорю. А зачем ты внимание обращаешь? Ты не обращай. Ну дай я тебя поцелую... Вот и вот. И сюда...

О н. Завтра же уйду... Уйду не потому, что ты... Уйду...

О н а. Милый, ну куда же ты уйдешь? Зачем, главное? Для меня? А зачем это мне? И почему ты, собственно, уйдешь? *(Смеется.)* Ты же... Ты же можешь привести меня?.. *(Смеется все звонче и тоньше.)* Ну да, к себе. У тебя же отдельная комната! Маленькая, правда... *(Резко хохотнув.)* Ты приведешь меня и скажешь: вот мы решили... *(Хохочет, раскачиваясь.)* Воображаю, какое будет у нее лицо! *(Хохочет, как всхлипывает, стихает.)* Ты молчишь? Что же ты молчишь? Что, не приведешь? Слабо ведь? А то приведи, а? Заживем. Отдельно, законно.

О н. Не надо. Не надо так, прошу тебя. Ты ведь знаешь...

О н а. Что знаешь? Что я такого знаю! Что я не могу прийти к тебе? А если я хочу! А почему же это я не могу прийти? П-почему?

О н. Не надо так... Ты же знаешь сама. Это будет не жизнь...

— Почему же — не жизнь? О н а ведь у тебя умная, сдержанная, слова лишнего не скажет. Благородная... Почему же не жизнь?.. *(Пауза.)* А я вот иногда мечтаю, чтобы она была стерва. Чтобы была толстая, неряшливая, несдержанная. Чтобы считала, к примеру, сахар...

Насколько было бы проще! Да я бы счастлива была... (Пауза.) Хорошая? Чем же это она хорошая? Знаю, знаю! Но это ведь нехорошо быть такой вот хорошей! Выгодно! Она ведь... Почему бы я такой не была? Ты же ее боишься! Нет, а? Не любишь — боишься. (Пауза.) Будто я тебя отнимаю! Тут ведь не больше этого, если разобраться. Тебя-то тут и нет. Что молчишь? Молчишь что? Я знаю, ты сейчас думаешь так же, как она. Вы похожи. Ты не знаешь, что вы похожи. А я знаю.

— Я не похож.

— А ты не прячься. Я ведь не про лицо говорила. И ты прекрасно понял.

— Да.

— Нет, ты удивительный человек! Это только ты можешь так сказать «да»... (Смеется, словно жмурится.) «Д-да...» Ведь никто, никто не знает, какой ты на самом деле. Ты еще маленький — не обижайся, — ты еще маленький. А какой же ты будешь?! Господи! Все будут с ума сходить. Я одна сейчас знаю, какой ты будешь. Мне Нинка говорит: что тебе в нем? А я знаю... Только меня вот не будет с тобой.

— Конечно, буду.

— Только ты уж тогда не забывай. Покажись иногда. Чтобы я посмотрела. Покажешься, а? Я буду уже старуха.

— Не надо. Ну что ты говоришь!

— Вообще-то не такая уж и старая я буду. Маленькая собачка до старости щенок... (Неживо смеется.) Так что тебе и не слишком стыдно будет меня увидеть, ты не бойся. Такое не проходит...

— Ну зачем ты!.. Ведь это не прошло. И не пройдет...

— Не люблю, когда так говорят. И голос деревянный. И не веришь ты, что сам говоришь. Вот сейчас головой замотаешь, а не веришь. Не люблю. Я ведь почему говорю? Я у мужа сегодня была... Я знаю, ты от самого дома хотел об этом спросить, только разговор не о том был, тебе неловко было. А ты ведь не забыл. Где-то у тебя остался вопросик-то? На веревочке... Все время висел. И это тоже — она! Я ведь «такая»... Ты мне веришь, а там, где вопросик, и не веришь. Ты не думай, что вот у тебя «благородное чувство», так я изменюсь. А я и останусь такая. Хотя бы потому, что вопросик... И не потому. Так что же ты не спросишь, зачем я к мужу ходила?

— Мне не это важно. Я не потому...

— Важно, очень важно! Всем это важно... Я к нему пришла, и мы с ним уснули... Да, вместе. Ну что, милый? Глупенький... Да ведь я же ему жена... И мы не разведены еще. Ну что надулся? Поцеловать?

— Не надо.

— Ну что ты... Глупый... Ты не гнишь. Все равно поцелую. Ну, сильный, сильный... вижу. А мы ведь просто так уснули. Ничего между нами не было. Уснули — и все. А ты мне поверь, поверь... Вот я тебя и поцеловала! Ну что ты такой? Ой, какой же ты смешной бываешь!.. Все не веришь?

— Верю.

— Не веришь... Господи, ну что же это я за дура! Ты ведь все думаешь, почему я к нему пошла? А я так все рассказываю, словно ты знаешь. А ты не знаешь... А ведь к нему пошла потому, что он у меня швейную машинку украл.

— *(Уже смеется.)* Машинку?

— Конечно. Я, ты знаешь, я думала, убью его. Для меня машинка — все, последнее. Это еще мамина машинка. Думала, убью... Прихожу, а он мне список показывает. Там все, что у него еще оставалось, и машинка моя в самом низу вписана. И против каждой вещи сумма стоит. И все сложено. Вот он мне показывает список, моргает и говорит: «А я все продал». — «И машинку?» — говорю я. «И машинку». Я ему говорю, деньги-то хоть отдай! А он говорит: «А у меня их нет... Я, говорит, четыре столика на Новый год в «Астории» заказал. Проститься... Придешь?» Стоит, моргает. И вот думала, что убью, а вдруг мне так жалко его стало. Я плачу, а он тихий... Вот ведь и ему досталось...

— И ты пойдешь?

— Куда?

— В «Асторию»? К этому...

— Он так меня просил... «Какая ты красивая», — говорит. Ты не думай, я-то его штучки знаю... «Неужели, — говорит, — ты все еще с этим сосунком?» *(Берет его за руку.)* Ты не сердись, это он про тебя. Он ведь нас однажды видел. На Аничковом мосту, помнишь? Я тебе показывала... А я ему сказала, что он и мизинца твоего не стоит. Нет, правда, так и сказала. А нам ведь некуда идти? Ты не думай, я ведь тебя люблю, так что ничего быть не может... Но ведь Новый год!.. Люди, праздник... А нам с тобой ведь некуда?

— Я же тебе предлагал... У Фриша собираются...  
— Не пойду я к твоему Фришу! Не хочу их видеть!.. Слюнтяи. Я знаю их насквозь. Они этого не любят. Не хочу, чтобы они на меня так смотрели...

— Ну тогда пойдем в ресторан...

— В ресторан?.. А ты знаешь хоть, когда он, Новый год? По-сле-зав-тра! Ну в какой ресторан ты сейчас пойдешь? В любой сарай уже поздно...

— Куда-нибудь попадем... Не останемся же на улице. Это ведь невозможно...

— Вот именно. Все так просто... А деньги откуда? Ты ведь уже когда взял на праздник!.. Их же нету. Они на меня пошли, конечно, и спасибо... но их же нету. А в чем я пойду? О чем разговаривать... Не в чем мне идти. Ни с тобой, ни с ним...

— А зеленое?

— Не знаешь? А ведь, наверно, это тебе известно... В ломбарде. И тридцать первого срок. А ведь это единственное платье, в котором я еще хоть куда-то пойти могу. Ты ведь и это знаешь... Люблю... а вот ведь есть еще и платье! А ты ведь ничего, ничегошеньки не можешь. Даже не помнишь и не задумываешься для удобства — настолько не можешь. Люблю... а мне вот платье выкупить надо! Жизнь такая...

— Не надо! Только молчи... Я достану. Ты выкупишь...

— Прости, милый... я опять... я не хотела. Да и не в этом же дело! Я ведь и не хочу с тобой в ресторан-то ходить. Не с тобой это делать... Я с тобой дома хочу. Дома, понимаешь? Милый... ну чтоб мы были вдвоем, только вдвоем. И чтобы никто не мог прийти... чужой. Где он, дом?

— Достану! (*С отчаяньем.*) Достану я деньги!

— Ну где? Где, милый, ты их достанешь? Какой ты все-таки... Тебе ведь н е г д е их достать... Ты понимаешь, «негде» — это ведь не только сегодня. Дело ведь не в этом. Мне ведь будет мало... Мне все равно будет мало — вот ведь ужас! Мне так хочется, например, летом с тобой на юг поехать. С т о б о й... Это уже не платье. Это-то невозможно?.. А я все равно ведь на юг поеду.

— И на юг мы поедем! (*Почти со злобой.*) Господи, неужели эти деньги... это такая ерунда! Ну если бы только деньги... Ну я работать пойду... Ну... достану, наконец. Я знаю где. И ничего мне не будет. Десять тысяч по-старому — знаю где. И мы уедем. Этого же нам



хватит. Даже на несколько месяцев хватит... Хватит, а? Хватит?!!

— Несколько?.. А потом? Нет, милый, нет. Ты прости меня. Ты не обращай внимания, когда я такая. Не слушай. Тут ведь столько подлого во мне — ты не представляешь... Это проходит. Ты не слушай... Ну конечно, любимый, мы будем вместе. Что нам юг?! Ты кончишь институт — я подожду — что такого на пять лет старше — ведь пустяки — бывает жена и на десять старше — и ничего... Не расстраивайся, ну, хороший мой... стоит ли из-за меня... Я ведь счастлива, счастлива, что у меня — ты! Я ведь не знала этого... Я злая, прости... Все будет хорошо. И Новый год справим, вдвоем справим! Я со зла сказала, а я уже договорилась: Нина уйдет в компанию, старик тоже к каким-то знакомым пойдет... и мы останемся вдвоем... Я только на час, на один только часик в «Асторию» сбегая и вернусь... К тебе. Ну не сердись, ну пожалуйста, я ведь обещала... Я все подготовлю дома к встрече до этого. И вернусь в одиннадцать...

Он возвращался домой, глупо улыбаясь. Уверенно ставил ногу, и снег поскрипывал под ней уверенно. Фонари уже горели изредка, и прохожие попадались изредка, внимательные и торопящиеся. На Фонтанке было светлее, слева впереди грузно темнел Инженерный замок. На мосту же фонари были старишние, домиком, и Алексей почувствовал себя как бы в другом времени. И не в другом, а словно бы идет он по этому мосту тыщу лет, идет и идет: справа впереди белеют черные деревья Летнего сада — и все никак до них не дойти.

На пустой и полутемной Садовой у остановки притормозил, словно присел, автобус с одним пассажиром. Алексей мог бы добежать и успеть, но не побежал, успевать не стал. Не спеша шел. Улыбался глупо. Хотя где-то, быть может, и понимал, что автобус, наверное, последний, и идти ему пешком до самого дома далеко. Но домой-то идти, обо всем забыв, было куда лучше. Пахло морозом и мандариновыми корками — Новым годом.

На Кировском мосту его продуло. И он перестал улыбаться. Ругал себя, что давно был бы дома, а вот не дома. И теперь уже автобусов не будет. И трамваев тоже. И тогда мама, платье, муж Аси, сессия — все это кружило над ним, мутило душу, и Ася уходила.

Вдруг пробежала непонятная одна собака, вдвое длинней обычной, от фонаря к фонарю, — тень собаки; ноги, тени ног — много; деловито перебежала от фонаря к фонарю, исчезла. Алексей рассмеялся.

И тогда подумал, что как же он так отвлекается и не чувствует уже так остро то, что должен и обязан чувствовать. Рад отвлечься на любую собаку. И почему он вообще так неостро и лениво чувствует, даже когда ему кажется, что остро. И думает тоже словно бы нехотя. Никакой в нем страстности...

И тогда он снова подумал о том, что полгода назад, когда у них началось с Асей, все было иначе. Он тогда и маялся, и не верил, и вот-вот должен был узнать что-то, что от него скрывалось, вот-вот понять все и решить. Он и тогда ждал часами на лестницах и в подъездах и вроде видел, как Ася уходила с кем-то другим, и вот-вот все должно было стать ясно — и тогда конец. Только еще одно доказательство — и конец. Никогда он так напряженно и маятно не жил, как в то время. Он и не подозревал, что снова и снова можно чувствовать то же самое и опять то же самое, но все сильнее и сильнее; это ему даже странным казалось. А когда вроде бы и доказательство появилось и обольщаться больше нельзя было, когда все наконец стало ясно и надо было решать, он вдруг перестал видеть, замечать, следить, больше того, он стал *не* видеть, *не* замечать, *не* следить. Потому что, если раньше он все твердил себе, что любовь требует веры, то есть правды и ясности, и не терпит обмана, то теперь любовь становилась выше ясности, и в неведении, в отказе от выяснений заключалась теперь вера и продолжение или гибель — кто знает? — его любви.

Так он шел, так он думал или не думал, потому что уже в который раз приходили к нему эти мысли: остроты прозрения в этом не было. И никогда не позволял он себе дойти до логического конца, а начинал думать о чем-либо другом, не об этом, словно смазывал, стирал резинкой набросок мысли, так что и не понять, и не вспомнить потом было... Так было, наверно, нужно, раз он хотел сохранить любовь, а средств для этого никаких не было, и мысль о необходимости какого бы то ни было дела, поступка, решения действием приводила лишь к ощущению дикой беспомощности и зависимости от всего, совершенно всего: родителей, института, жилищной площади, денег, собственного иждивенства и мальчишества... Только к этому приводила, ни к чему другому,

и все живое тогда помиралось в его душе, а дорожке всего было это живое. Да и думать об этом значило начинать примерять эти мысли не только к прошлому, когда он хотел все вот-вот наконец узнать и решить, но и к сегодняшнему — и тогда все рушилось. Потому что ничего ведь не изменилось за это время... Поэтому так думать он ни в коем случае не мог, он бросал мысль на полдороге — дальше яма, пропасть, шагнуть туда не хотелось, так уж привычен был механизм этой мысли и механизм ее избегания, что и нельзя было уже говорить, что он так думал.

Он уже замерз. И тут, совершенно неожиданно — автобус — казалось бы, их больше не должно быть, — и Алексей вскочил в него.

### *ТРИДЦАТОГО ДЕКАБРЯ*

Он мычал и не мог проснуться. Затем он мычал и не хотел проснуться. Затем он мычал и делал вид, что не проснулся. Над ним стояла мама и сдержанно, но твердо, в чем были огромный опыт и знание всего: как Алексей не умеет вставать, и как он прикидывается, чтобы не вставать, и что он уже не спит, а только делает вид, и где он вчера был, — над ним стояла мама и методично, словно опережая каждую возможную уловку или возражения... над ним стояла мама и говорила:

— Алексей, проснись. Ты вчера просил разбудить тебя в шесть. Алексей, ты уже проснулся. У тебя сегодня контрольная. Алексей, лучше встать сразу и не мучить ни себя, ни меня. Встань, как я тебя учила: сядь — и сразу ноги на пол.

Тут уже все безнадежно.

— Сейчас, мама... я уже проснулся... я уже больше не усну... я сейчас встану...

— Алексей! Открой глаза.

Надо хотя бы открыть глаза... Но их не открыть. Все-таки открыл. И тогда особенно понял, как хочет спать. Слово они были полны песка, и сейчас, когда он раздвигал веки, песок зашевелился, заерзал под ними.

— Вот видишь... я открыл... я не сплю... сейчас встану...

— Алексей, я не обязана над тобой стоять.

Все было кончено. И он действительно проснулся. И действительно, сегодня надо переписать контроль-

ную — последний срок. Он сел на кровати, сразу бодрый, не спавший, чуть заметно для себя дрожащий. Действительно, раз он так уж не готовился, надо успеть хотя бы написать «шпоры». Неосознанная и страшно-ватая ученическая боязнь и суета возникли в нем и одновременно особая отличниковская старательность, хотя вот уж отличником он никогда не был... Так это все мелькало — мечталось, как он чудом, но все-таки подготавлился и напишет на «пять», будет допущен к экзаменам и их тоже все сдаст на «пять» — подумать только... Все он делал очень споро, но в то же время как-то слишком тщательно и подробно: и чистил зубы, и мыл шею, и грел завтрак, и пил чай. Там, где-то на доньшке, где у нас мотивировки и оправдания, это звучало так: излишняя поспешность только вредит делу, спешить медленно, главное — экономия движений и организация и так далее — та же отличниковская игра.

Возвращался в свою комнату, садился за стол, доставал конспект. Конспект этот он вымолил у Кошеницына — тот, конечно, все уже сдал раньше всех. Вымолил на один вечер, а держит уже третий день. А сегодня уж точно придется отдать.

Раскрыл конспект, поругивая себя за потерянные три дня: вот когда бы он действительно все знал! — сладкое и лживое ощущение отличника снова забиралось в него, небольшое такое тщеславие. Аккуратно вырывал он чистый лист из чистой тетради — на таком хотелось писать чистым толковым почерком и отчеркивать карандашом поля (можно и простым), и нумеровать страницы, и составлять содержание, тетрадь окончив. Такая она толстая и красивая, и вся исписана — наслаждение и удовлетворение, труд и плод того же отличника... Тетради такой у него, конечно, не было, но чувство было, и поэтому он выстриг чрезвычайно аккуратные полоски для шпаргалок, много больше, чем успел бы написать и чем даже надо было.

За стеной скрипела кровать — садилась мама, шаркала шлепанцами к его двери, мама шла проверить, что за подозрительная тишина у сына, уж не спит ли... Сын успевал спрятать полоски и сосредоточиться над конспектом. Дверь отворялась, мама видела склоненную голову сына (сын не поворачивался к ней — это был переедим, но его не замечали ни он, ни она), некоторое удовлетворение появлялось на усталом маминном лице.

И мама ушла.

Все сразу разжалось в Алексее. (Больше ему не полагалось проверки.) Тело вдруг затеплилось, зацепенело до кончиков пальцев. Он взглянул в окно... Там было еще так безнадежно, по-зимнему темно: только болтается фонарь, высвечивая взад-вперед белую крышу заводского склада, и часовой топчется у гриба. И этой картине одиннадцать уже лет — и вот уже картину эту видит он давними, совсем детскими глазами, от этого появляется ощущение не совсем еще забытого детского кошмара, который и до сих пор ему непонятен. Что-то страшное начинает твориться с руками — они растут, разбухают, чужие, не свои, и что-то ужасное и неоправдываемое, неизвестно что произойдет сейчас с тобой. А фон и место действия кошмара — зимнее утро, школа, ранний туда приход, раздевалка, желтый гнойный свет и от этого грязновато-голубые стены, и тот же свет коридоров и классов, бесшумное всех движение, и учителя, как огромные мыши этих коридоров...

Алексей смотрит на будильник — остается всего час. Не успеть — что-то сжимается от того же ученического страха. Он судорожно подвигает полоску «шпоры», аккуратно выводит название темы и подчеркивает. И подтемы — и подчеркивает. Теперь уже надо выписывать из конспекта. Тетрадь толстее на глазах. И тогда тошнота, безотчетное отчаяние подступают — он снова смотрит в окно: фонарь, гриб и неуклюжий, конусом, часовой, похожий на черного деда-мороза, — то же тепло и оцепенение подбирается к Алексею — сон.

Он снова поймал себя на том, что идет в обход. Не по краткому пути: центральный вестибюль, картинная галерея, главная лестница, деканатский коридор, а через столовую и химкорпус, с другого конца. Именно чтобы не встретиться с кем-либо из преподавателей или из деканата. При этом мысль, что в этой-то каше перед началом сессии и не до него, таких много, была для него досужей. Даже если так, просто сталкиваться не хотелось.

Он только с некоторым удивлением замечал, что в начале года бодро ходил по главным путям и не тушевался у деканатской двери, тогда все еще было впереди и завтра он садился заниматься. Особому анализу он, впрочем, не предавался, идя в обход, это уже было не в первый раз, привычно.

Все уже почти были в сборе в темном тупичке около аудитории. Гудели. Пока он всем пожал руки, тоже пришел в возбуждение, словно наэлектризовался. Все вели себя по-разному. Быченков, конечно же, ныл и недостоинно у каждого что-нибудь выпрашивал или договаривался, заручался, так сказать, у каждого, кто что может. Быченкова избегали, но он ловил, и те скучнели и соглашались. «И в результате ведь напишет...» — неприязненно подумал Алексей. Кто-то суетливо шуршал конспектом, отвернувшись к стенке, — последняя возможность. Это был Денисьев. «А этот не напишет», — подумал Алексей. И другой точно так же шуршал, Фроленко, Хроленко, как его звали, но: «Напишет», — подумал Алексей. Еще двое были бодрее всех, стояли у самых дверей, ждали впуска, это, так сказать, центрфорварды во всем, дружные ребята, сачки, но успевают всюду — эти напишут. Что-то очень унижительное почувствовал вдруг Алексей в этом трепете перед дверьми. Но тут же постарался прогнать это ощущение — засуетился со всеми.

То есть он стал по очереди у всех заручаться «шпорами» — безнадёжное дело. Во-первых, все они были уже «забиты». Во-вторых, все что-нибудь уже имели к контрольной — только он не имел. От этого становилось плохо: казалось, все напишут — только он не напишет. Оставался Мишка, лучший приятель, но у него и самого наверняка ничего нет. На всякий случай подошел и к нему. Оказалось, и у него были. Никого теперь не было такого же, как он... И даже тут — в который раз! — подлетел Быченков и заскулил: «Я уже за Мишкой забил...» «Я думал, ты не придешь...» — сказал Мишка. «Что ты их, солить собираешься?» — зло сказал Алексей Быченкову, но отворилась дверь, в дверях — доцент Вершинин, все ринулись. Набились в три задних ряда, как селедки. «Мальчишество, глупость, — думал Алексей, толкаясь и пихаясь со всеми и занимая последний краешек последнего сиденья, — все равно ведь сгонят...»

— Что за детский сад! — сказала ассистентка Большинцова. «И она тут... их двое, — удрученно подумал Алексей, — а я и не заметил». — Что за детский сад! — сказала она. — Аудитория специально большая... По два человека за стол.

Все давились со щенячьим замиранием и не трогались с места. Это относилось ко всем, но не к каждому.

— Это ко всем относится! — сказала ассистентка. — Ну же.

Это выглядело глупо, ассистентка была интересная женщина, и Алексею стало неловко. «Безнадежное же дело, — подумал он, — что за скука и тоска...» И встал чуть ли не первым.

— Проходите вперед, не стесняйтесь, — сказала ему ассистентка.

Вершинин кончил разбирать билетки и разносил их по столам. Алексей сидел один, впереди всех, вертел свой билетик. Обернулся: центрфорварды сидели лучше всех в конце у стены; Быченков тоже сидел неплохо. На всех лицах была уже серьезность, контрольный азарт, лица выглядели нездоровыми. Каждый впивался в свою бумажку, чуть не выхватывал ее из рук Вершинина. Вершинин же отдавал их не спеша, словно взвешивая и не сбиваясь со счета. И вот уже все оделены.

Алексей совершенно не узнавал свою функцию, нарисованную на бумажке. Он даже не пытался напрячься, такая она была незнакомая. Обернулся на сзади сидящих. Все, все что-то писали — так казалось. Нагло «шпорили» центрфорварды. По проходу ходила ассистентка, встретилась с Алексеем взглядом — пришлось отвернуться, чтобы не спросила: «Вам что-нибудь надо?» — и вообще не стоит мозолить. Нарисовал крендель, в нем другой. Ассистентка подсела к Вершинину, зашептались. Вот он, момент! Сердце стучит на всю аудиторию. Алексей с замиранием, тихо тянет из-под свитера конспект Кошеницына. Конспект там нагрелся, теплый... И вот тетрадь на коленях. Теперь надо... Алексей косится одним глазом — ничего, разговаривают Вершинин с Большинцовой, не смотрят. Теперь осталось только найти в конспекте, что ему надо. А что ему надо? Алексей крутит под столом страницы — ничего не узнает. Страницы гремят. Будто он идет по крыше — такое ощущение: и грохоту много, и упасть можно. Алексей косится на Большинцову: не слышит ли та этот грохот, — Большинцова косится на Алексея, словно слышит. В испуге он судорожно запикивает конспект как можно глубже в стол, так что теперь ему до него и не дотянуться. Вдыхает освобожденно. К черту.

Отдохнув, Алексей обернулся: невообразимая деятельность протекала всюду. «Неужто о н и не замечают? — как обычно, удивился он. — Опытные же ведь

люди... Не хотят,— подумал он.— Но тогда почему же они все-таки иных ловят? Меня, например, поймали бы с охотой... Жертвы,— ответил он себе,— жертвы для острастки. А всех нельзя. Кто же тогда учиться будет?» Кренделей было уже много. «Взять вот, вывести функцию кренделя — и сдать... Хулиган, скажут, но какие способности!» Вершинин с ассистенткой беседовали, ассистентка тихо и мелодично посмеивалась. Алексей обернулся: те же деловые склоненные головы, судорожные ужимки со «шпорами», никто ни на кого не смотрит, центрфорварды строчат, и Быченков строчит... Никому ни до кого нет дела. Вот только что и поймал растерянный взгляд Денисьева, сделал ему какой-то знак и сам бы не понял, какой и зачем; Денисьев сделал жалобное лицо, мол, сам ни черта не знаю, каждый сделает такое лицо, даже если и знает, чтобы отвязаться, чтобы зря не рисковать... Противно... «Каждый за себя, каждый за себя... — вырисовывал крендели Алексей. — Все немножко Быченковы...» Вот если бы сидел поближе Быченков, Алексей бы хоть немного развлекся: пооборачивался бы к нему, попугал, посмотрел бы, как бы тот стал отмахиваться и шипеть и какое жалобное пополам с ненавистью было бы тогда у Быченкова лицо. Это его немного развлекло, такое представление. Вот уж кто никогда не поможет! Еще Алексей помечтал о том, как он вдруг знает каждый предмет лучше любого преподавателя, по этому каждому предмету и на экзаменах всех сажает в лужу, не всех, а тех, кого не любит, тем же, кого уважает, просто отвечает так блестяще, так блестяще, что ему в ведомость ставят «пять» с пятью плюсами, а оригиналы даже «шесть» ему ставят... Но тут уже кто-то первый сдает работу, и второй. «Вот ведь сволочи! — думает Алексей. — Что за отличниковская прыть! Первый, не первый — что за удовольствие такое! Написал — помоги соседу. До контрольной сами небось так говорили, а теперь несут. Эдакая подобранность и серьезность на лицах... Или: раз уж написали и не засыпались, то зачем же засыпаться, помогая? Боятся, еще и поэтому спешат сдать. И центрфорварды, и Быченков... Даже Денисьев и Мишка что-то строчат поспешно — дождались, значит». Хоть бы кто спросил его: может, помочь? Все же проходят мимо, сдавая работы... Один из центрфорвардов, правда, спросил, но таким уж шепотом, чуть ли не нарочно громким, чтобы заметили и прогнали (а работу он уже сдал, так что ему



ничего), и такое при этом было у него лицо, заранее испуганное, только ждущее, чтобы ему ответили: «Нет, ничего не надо», что Алексей только рукой махнул: проходи, мол, проходи... Хорошие все-таки ребята, эти центрфорварды, лучше других. Самые-то лучшие сами сейчас заваливаются... Алексей сложил свой листок кренделями внутрь, надписал и сдал. Положил в стопку — вышел.

— Ну как, Леха? Ну как? — набросились на него центрфорварды.

— Да никак, — небрежно сказал Алексей.

— Что же ты, что же ты?! — зашептали они. — Там же всего четыре варианта было, мы установили. У нас ответы на все есть. Мы бы переслали...

— А-а, — неопределенно сказал Алексей и пошел.

— Ты совсем уходишь, а? — слышал он, но его уже не было. Тем же кружным путем спустился он в подвал раздевалки. Раздевалка была пуста, он вошел туда, пригнув голову, отчего у него всегда появлялось ощущение, что он очень высокий, хотя просто проход был очень низкий. Две раздевальщицы переговаривались, перегнувшись в своих окошках. Радио пело песню «Когда я на почте...», это была обожаемая в детстве песня, и он еще не успел ее до конца разлюбить. Тут было тепло и уютно. Тускло светили лампочки. Толстые, мохнатые, теплые на вид трубы тянулись по стенам. Он подал номерок. Раздевальщица была молода и ничего себе, что-то и еще особенное было в ее лице, чуть развратное, что ли, или так она на него взглянула, или такой был теплый полутемный подвал — очень сладкое и тоже школьное ощущение, только теперь он в другом качестве, знает, что это такое. Он смотрел ей вслед, пока она, покачиваясь — все на ней в обтяжку, — шла между вешалками и пока возвращалась, и глядя и не глядя на него, не зазывая и не отталкивая. Все это сильно подействовало на Алексея. Особенно, что взгляд ее и призыв был не до конца — это действовало еще сильнее. Ему хотелось взять ее за руку, или потрепать по щеке, или задеть словно бы случайно грудь, но он не сделал этого и ничего не сказал — оделся и ушел.

Зажмурился от света — вот ведь уже и светло! — вздохнул полной грудью и оказался на свободе.

---

Не было двенадцати, а он был уже дома. Никого, кроме Пелагеи Павловны, не было. С детства он любил, когда никого не оставалось. Он бродил тогда по комнатам, совал свой нос в шкафы и столы, варил себе чай и пил его через макаронину, читал лежа. Потом приходили. И это было хорошо, что уроки кончались раньше работы. Два часа свободы. В распорядке дня.

Пелагея Павловна обрадовалась, что пришел Алексей и кто-то теперь есть, кроме нее, в квартире, и, обрадовавшись этому, ушла на рынок. Это было еще лучше для Алексея. Он закрыл за ней на крючок, так что теперь никто не мог бы войти с ключом, надо было звонить. Так делалось, когда оставался только кто-нибудь один. Ввела это Пелагея Павловна, ссылаясь на глухоту.

Алексей достал из холодильника замечательный теткин паштет, сделал себе бутерброд и все прилежно расставил по своим местам — сработал под Пелагею. Укусив бутерброд, он прошел в теткину комнату. Окна выходили во двор, и комната была сумрачная. До сих пор многое в ней Алексей видел глазами детства. И теперь ему до некоторой степени семь лет, когда он входит сюда. Словно входит он, несмотря на запреты, захлебываясь от собственной смелости. И видит, всегда первое, что он видит, — эту желтую Венеру, такую голую и безрукую. А потом рояль, книги. Но теперь это было только чуть-чуть. Венера теперь была очевидно гипсовая, а сам он очевидно к ней равнодушен.

Алексей просмотрел стопку книг на рояле, торкнул пальцем в клавиши. Звук вытянулся по комнате и растаял, словно бы в сумраке. Доел бутерброд, обтер руки о попону рояля, полез в буфет. Достал початую бутылку кагора, примерился и отхлебнул, пристально взглянул на уровень, отхлебнул еще. Поставил на место. Все это он заел ложкой варенья. Варенье было свежее, не засахарившееся — сплылось сразу, словно и не ел. Опять же все расставив по местам, как и было, достал из-за трюмо теткину заначку — вскрытую пачку «Любительских», — закурил. Сел за теткин стол. Стол был старинный — огромный, с массой ящичков. Он не стал сразу их открывать, а сначала осмотрел сам стол, его поверхность. Тут было много достопримечательного, и во всех этих ножичках, стаканчиках, календарчиках он узнавал старых детских знакомых. Тут лежали какие-то бумаги — в основном протоколы заседаний кафедры, они его

не заинтересовали. Прочел довольно свежее письмо от какой-то восторженной Туси, совсем уже старушки, по-видимому, письмо предназначалось Кисе, то есть тетке. Помнит ли та, как они вместе, и т. д. Становилось немножко стыдно: так давно это было, — Алексей почти понял, что не надо было его читать, и он сказал:

— Действительно, запомнить трудно... — ухмыльнулся для бодрости, но письмо отложил. Ключи от стола лежали все в том же стаканчике. Он отпирал ящики по очереди. Тут мало что переменялось за последние годы, можно сказать, ничего. Все оставалось в том же безукоризненном порядке и на тех же местах. В ящиках по-прежнему хранилась память, и ее в них не прибавилось за эти годы. Он узнавал и эту стопку фотографий, и ту, и связки писем те же. Жизнь этих ящиков остановилась слишком давно. Это было грустно видеть. Живым казался только один ящик, самый большой, центральный. Он и тогда был живым. Он действовал по сей день. В нем сосредоточились текущие дела. Из одиннадцати ящиков стола они помещались в одном. Но и тут попадались вещи старые, просто тетка ими еще пользовалась. Книга расходов, например. И адресов с телефонами. Потом опять письма, довольно немного. Списки каких-то товарищей. Билет в лекторий. Еще что-то. Несколькo футляров с авторучками и карандашами. Клубок штопки. Пухлый блокнот — делегату чего-то, совсем непочатый. Записная книжка. Там, среди прочих записей, Алексей натолкнулся на список облигаций трехпроцентного (золотого) займа. Список был очень велик. Но в этом ящике Алексей обнаружил всего две облигации, больше не было. В списке эти две не значились. Значит, остальные хранились где-то в другом ящике. Алексей снова аккуратно пересмотрел все ящики, но облигаций — это должна была быть толстая пачка — не обнаружил. Он ясно представлял, какая должна была быть эта пачка, завернутая, перевязанная ленточкой, и под ленточкой картонка, и теткой рукой написано: «3 %-й (золотой)». Алексей так это ясно себе представил, что ему даже показалось, что он уже видел эту пачку сегодня, и старался вспомнить, в каком же ящике видел. Но вскоре понял, что ищет зря, а кроме стола, хоть убей, не мог представить, где бы тетка их хранила... Он привел все в прежний порядок, взял из среднего ящика те две облигации и остановился в раздумье. Они были гладкие, ровные, зеленые, и как-то сгибать их

не хотелось. Взгляд его остановился на ночном столике — там лежал обширный атлас мира. Алексей заложил облигации в какую-то Африку и вышел с атласом из комнаты.

Выйдя, он быстро, но не суматошно прошел в комнату Трефилова. Там он ничего не осматривал, сразу подошел к письменному столу и, хотя не знал, где что лежит, как-то удивительно скоро угадал место, где лежали облигации, вытащил из середины пачки одну и заложил в тот же атлас, к первым двум.

Сердце его колотилось — он внезапно заметил это, когда уже вышел от Трефилова и шел по коридору. Он подошел к входной двери и снял крюк. Тупо постоял в прихожей и прошел в мамину комнату.

В комнате был необыкновенный запах, и Алексей словно бы не сразу узнал комнату. Прислонившись к стене, стояла елка. «Ну да, елка... — сообразил он. — Новый год же». Елка была очень хороша. «Вчера ее еще не было, — вспомнил Алексей. — Когда же они успели ее притащить?»

Он сел в кресло напротив, положил атлас на колени и стал смотреть на елку в ожидании Пелагеи.

«Где они достали такую прекрасную елку?»

В сберкассе ему было трудно. Он, в общем, не знал, какие там порядки. На всякий случай прихватил паспорт. Народу было немного. Очереди было две. Спросить, куда следует встать, он почему-то не мог и встал в ту, что покороче.

Люди приходили и уходили. Дверь хлопала за ними.

И вдруг распахнулась с особым грохотом. Вошли двое. Небритые, в ватниках и сапогах, с полевыми сумками. Ни на кого не глядя, молча прошли в угол, вытащили два кресла, составили их корытцем, подвинули к креслам два стула и сели, по-прежнему какие-то удивительно отдельные от всех. Они трясли свои сумки над креслами — из сумок сыпались скомканые шариком деньги. Сыпались, сыпались — целая гора. Все-таки высыпав, они тщательно смотрели в сумки, как в подозорные трубы, — но в сумках и действительно ничегошеньки не осталось.

Потом они разглаживали бумажки и складывали пачками: трешки — к трешкам, рубли — к рублям.

Эти необыкновенные люди нравились Алексею. У него мелькали всякие картинки вроде таких, что

у них по кольцу на боку, и вот они достают эти кольца — все поднимают руки, а они двое чистят кассу...

Очередь была хоть и короткая, но не та. И Алексей, рассердившись, перешел в хвост той, что подлиннее... Тут он заметил в руках впереди стоящих облигации и обозлился еще больше: как он сразу не заметил!

Те двое все гладили и считали деньги — Алексей снова успокоился, глядя на них. Так он спокойно стоял в очереди и уже был у самого окошка, как те двое вдруг заговорили, не разобрав что, и стали складывать деньги обратно в сумки.

Сложили и ушли. По-прежнему никакого отношения ни к чему не имея.

«Ничего не понимаю», — подумал Алексей, но застучала по стеклу сердитая кассирша. И действительно, очередь была Алексея.

Краснея, он сунул в окно облигации.

Дальше все произошло как бы мгновенно.

Какая-то старушенция дала ему шестьдесят рублей.

И паспорта у него не спросили.

...Дома Алексей ждал звонка. Ася не звонила. Это дьявольское неудобство, думал Алексей, когда у человека нет телефона!

Ася позвонила только в одиннадцатом часу. Сказала, чтобы приходил завтра с утра. А что ее сегодня не было? Все бегала, бегала...

Перед сном он читал «Моби Дика».

### *ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ*

Все было очень хорошо. Дверь открыла сама Ася. Была она в пальто, но еще не застегнутом, под пальто тот же халатик. Она обрадовалась, чмокнула его в щеку.

— Вот и хорошо, милый. Вот спасибо, что пришел. Ты всегда такой точный, просто прелесть. Не то что я. А я, понимаешь, очередь в парикмахерской держу... — Она улыбнулась. — Тут, напротив. Ведь мы же сегодня с тобой встречаем. (Она сделала ударение на «тобой» и замечательно на него взглянула.) Я должна быть красивой.

Она улыбалась. Алексей таял. Вокруг светлело, и что-то взлетало в нем, как стая. Он взял ее за руку, потянул к себе.

— Не надо, Алеша... Не дразни... Сейчас мы в парикмахерскую пойдем. Ладно?

Алексей сразу выпустил Асю, но был счастлив.

— А я деньги достал...

— Да?.. — почти равнодушно сказала Ася.

— Вот.

— Так много? — сказала она так же спокойно, Алексей был немножко разочарован и в то же время благодарен ей за то, что она не вскрикнула, не затормошилась. — Откуда у тебя?

— Достал, — важно сказал Алексей.

Ася словно бы отсутствовала.

— Вот и хорошо, — сказала она после паузы. — Дай мне на ломбард. И десятку на встречу — я всего куплю. Нам ведь хватит десятки?.. Ну что, пошли? А то у меня очередь.

Они спустились на улицу, и Алексей удивился, какая замечательная погода. Словно за городом, всюду был снег редкой белизны. И дома заиндевели. И эта старая улица с небольшими, темными уже зданиями была очень хороша. Город был не похож на себя, плавный и мягкий. Не этот город. «Вот всегда, — подумал он, — я замечаю красоту, когда рядом Ася, хотя бы она и не замечала. А так ведь и не вспомнить, чтобы я один увидел город, или сад, или погоду, или небо». Небо тоже было удивительное — белое, близкое и мягкое, но одновременно светлое.

И все это — только улицу перейти — и парикмахерская. Ася оставила его у дверей, сама вошла. В открывшуюся на секунду дверь он увидел, что узенький зал ожидания — битком, и все женщины там стоят в расстегнутых пальто; полутемно, а за фанеркой яркий свет. Ася тут же выскочила, тоже расстегнутая, и сказала:

— Подвинулась, но еще далеко. Тебе нет смысла ждать.

— Да нет, — сказал Алексей. — Я подожду.

— Ты лучше купи вина, а то я не успею — столько дел.

— Ладно, — сказал Алексей. — Иди, замерзнешь.

— А потом сюда приходи, слышишь?

В магазинах было не продохнуть. Он входил, видел толпу и отчаивался. Так он заходил в несколько. Наконец понял, что только теряет время и нигде меньше не будет. И все-таки снова вышел из магазина. И тогда, свернув в нелепый закоулок, заметил погреб и нырнул

туда. Тут были только мужики, в большинстве пьяные. Тут же и пили, бродили со стаканами. «Вот ты погоди, — говорили они, — вот ты погоди». Их было много, но очередь двигалась быстро, и Алексей достал все, что надо. «Купил, значит», — сказал ему небритый папаша и ласково посмотрел. «Да вот купил», — ответил Алексей, пряча бутылки. «Вот и молодец». — «Да уж», — смутился Алексей. «Папу не обижай», — сказал папаша.

Все было хорошо. Алексей вернулся к парикмахерской. Помедлил, но прошел. Он обвел растерянно взглядом толпу женщин. Все на него смотрели, но Ася среди них не было. Все были очень простые, чуть ли не все в халатах и платках, не такие таинственные, как на улице. Рассматривали Алексея и вроде бы и не рассматривали в то же время. Алексей смутился.

— Ушла твоя уже, ушла, — звонко сказала одна, он не очень понял которая, по-видимому, вон та, круглая. Все засмеялись. Алексей тоже. И тут было тепло и уютно, хотя и тесно. И Алексею стало хорошо от этого слова «твоя»: «твоя ушла». Уютно оттого, что праздник, подумал он; понял, что все стоит и стоит, а надо уходить, еще больше смутился. Увидел телефон-автомат.

— А мне позвонить... — сказал он.

Девушка, заслонявшая автомат, отошла. Была она строгая и красивая и отошла, не меняясь в лице, такая же надменная. Он набирал неведомый номер, посматривал на девушку. А интересно, когда она любит, то она, конечно же, не такая? Может, она потому и такая, чтобы каждому было интересно, а какая же она, когда любит? По телефону его обругали, и он вышел, стараясь не поймать ничьего взгляда, быть может, насмешливого.

Он ждал, что откроет Ася, она уже дома, но открыл Сергей Владимирович. Он был необыкновенно симпатичен, прям и свеж, улыбался.

— Алеша? Здравствуй, проходи. С наступающим!

И это было хорошо. Так приятно, когда с охотой можно ответить:

— Вас также. С наступающим!

Алексей прошел в комнату первым, они еще помялись в дверях с Сергеем Владимировичем, но тот настоял, и Алексей прошел первым. В комнате никого не было. Алексей сразу сообразил, что Ася на кухне. Комната была та же, но вроде и другая. Алексея всегда удивляло, как та же самая комната может быть и другой. Конечно,

тут и приборка много значит. Тот же колченогий стол, и те же три, в общем, железные кровати, тот же комод, когда-то красного дерева, и те же, уже никакие, обои — все это сегодня было как нельзя на месте, и то, что комната была в целом пустая, тоже было как-то кстати. В ней даже было как-то светлее, вернее, полумрак был словно бы чище и теплее, да и было теплее; печка была вытоплена нескучно. И Сергей Владимирович сегодня хорошо подходил к этой обстановке. «Скорее, что это праздник, — подумал Алексей, — вошел всюду...»

— Садись, — сказал Сергей Владимирович, снимая со стола ботинок, и растерянно при этом улыбнулся.

— А где Ася? — спросил все-таки Алексей.

— Не приходила еще. Да придет она сейчас, не беспокойся. Не сейчас, так скоро.

«Ну да, она, наверно, была в зале, — сказал себе Алексей, — а я не посмотрел».

Сергей Владимирович бывал временами очень славным стариком. Тогда особенно становилась заметной его незаурядная внешность. «Порода, — говорил он. — Я очень похож на Бунина, не правда ли?» Бедность костюма все это в нем подчеркивала. У него был черный такой самосшитый френч с черными пуговицами. Френч был плотен, как пальто. По-видимому, он и был когда-то пальто. Это было удобно: не требовалось ни рубашки, ни галстука. Когда Сергей Владимирович становился чопорен, френч выглядел на нем жалковато. Сегодня же Сергей Владимирович не был чопорен. Он, перекатывая свое замечательное «р», рассказывал, как был корнетом или юнкером или что-то в этом роде, то есть учился на офицера, и как они тогда холостой компанией в тройках закатывались к цыганкам, как все это было здорово: и снег, и шампанское; доставал желтую фотографию виллы в Крыму и такую же первой жены, первой красавицы; и до того это было уже все известно Алексею, что даже казалось странным, что ничего-то больше Сергей Владимирович не запомнил... Всегда одно и то же, и всегда словно бы сам себе не верит — да было ли это?.. — и поэтому повторяет и повторяет, как бы настаивает. «Да было ли это? — вдруг растерянно морщит лоб, словно отвечает себе: — А что? Может быть. Может быть, и не было. Все может быть...» И замолкает вдруг, ненадолго, правда, и лицо его огорчается. «Как в пьесе, — думал Алексей. — Он как в пьесе...»



Потом они попили чаю. Сергей Владимирович доставал вонючий рокфор: «Кар-р-рплетками пахнет!» — говорил он и смеялся — они пили чай с рокфором. Потом даже рюмку ликеру поднес Сергей Владимирович Алексею. Ликер был ужасный, мятный, что ли. А Ася все не шла.

Сергей Владимирович вспоминал уже о том, сколько что стоило.

Ася все не шла. Алексей уже думал так: она же велела прийти к парикмахерской... и вот она вышла, а его там нет. Он елозил, слушать ему становилось трудно, а Сергей Владимирович доставал шахматы — их Алексей терпеть не мог. Алексею казалось, что сильно темно, хотя темнеть еще было рано; комната становилась чужой.

Тут отворилась дверь, они обернулись... Комната была длинной, окна и дверь были в разных концах, и до двери свет окна, и так слабый, еле уже доходил — так что было не понять, что там, в дверях, происходит. В комнату входила большая елка. Потом уже Алексей увидел за елкой Асю, бросился помогать. Елка колослась, ветка заползла в глаз, он смеялся, облегченный, с елкой в руках. И смеялась Ася.

Сергей Владимирович извлек откуда-то пыльный елочный крест. Алексей закрепил елку, все втроем понесли они ее по четырем углам, пока не отыскали один из четырех. Алексей отошел от елки, необыкновенно возбужденный, и все сжимал и разжимал смолистые свои ладони, они склеивались и расклеивались.

— Надо бежать, надо бежать, — сказала Ася.

— Куда?

— В ломбард, уже совсем мало времени.

Алексей почему-то удивился, ломбард казался ему само собой прошедшим.

— Ты меня проводишь? — сказала Ася. Лицо у нее было рассеянным. — Или, может, тут подождешь?

— Конечно, — сказал Алексей, — провожу.

— Смотри. А то как хочешь. Я могу и сама...

Алексей уже одевался.

— Оставайся, Алеша, — просил Сергей Владимирович. — Партию доиграем.

— Потом доиграем, — сказал Алексей.

До ломбарда было три или четыре остановки, и они их доехали. Ася была как-то сосредоточена и поддакивала Алексею через раз.

Перед ним оказалась площадь. Собор и сад перед собором. Метро. За ним рынок. Его не было видно, но он как-то ощущался. Там же, где они сейчас находились, сторона была темная, из жилых домов, и тут же находился ломбард. Он был как-то скрыт, спрятан. Ася сказала, надо проходить во двор и еще подниматься по лестнице, но сейчас, когда Ася почему-то остановилась перед домом, Алексей ощущал ломбард так же, ну вроде как рынок за собором.

— Ты тут подожди, я схожу одна, — сказала Ася.

Алексею показалось, что стесняться тут нечего, могли бы они и вместе пойти туда, но по характеру своему он не вмешивался, когда его не просили, и остался стоять; Ася же ушла в подворотню. Почему-то его очень разволновало, как она туда уходила.

Ее долго не было. Место для ожидания было неудобное, на самом людском потоке. Он выбрал между троллейбусной и автобусной остановками, между двумя очередями, — там и встал. Времени прошло пятнадцать, двадцать, полчаса. Тогда Алексей тоже прошел в подворотню. Поднимаясь по лестнице, ориентируясь по расплывшимся уже стрелкам на облупленных стенах, он представлял себе, какой ломбард (в ломбарде он раньше не бывал), и получалось что-то вроде сегодняшней парикмахерской. Он раскрыл дверь — она хлопнула за ним с ржавым писком — и очутился в загибавшемся коридоре. От дверей еще ничего не было видно, только свет в конце. Он пошел и, когда поворот открылся ему полностью, увидел очередь. Ломбард в конце концов на парикмахерскую не был похож, а скорее на прачечную. Алексей искал глазами Асю и не находил. Как вдруг кто-то тронул его за локоть с другой стороны, чем он смотрел.

— Отойдем, — шепнула Ася.

Они отошли немного от толпы, и Ася сказала:

— Тут еще не так скоро. Может, ты домой пойдешь? Правда, не стоит меня ждать. Ты иди и приходи в одиннадцать, ладно?

Взгляд ее был рассеян. Люди стояли, казалось, молча. Свет был неприятен, слабый, неживой. А главное, коридор, который гнулся не под прямым углом, а изгибался, эта кишка, темная с входа и светлая в другом конце... Алексею было немного не по себе. Воздух тоже...

— Ладно, я подожду на улице, — сказал он.

Ася вроде бы отряхнулась, взгляд ее сосредоточился на Алексее, потеплел:

— Глупый, ты иди прямо домой, не жди. — И она чмокнула его в щеку.

Спускаясь, Алексей на темной лестнице столкнулся с человеком, несколько странно на него взглянувшим и поэтому сразу показавшимся знакомым. Алексей все вспоминал его, спускаясь дальше и выходя во двор и на улицу, но не мог вспомнить. Ему стало казаться, что это Асин муж, но он не был уверен, потому что не разглядел толком его в тот единственный раз, что видел, да и этого, на лестнице, не разглядел. Тем не менее все тревожней ему становилось, он поэтому не уходил — ждал, хотя и не поднимался в ломбард проверить: получилось бы, что он следит, а ведь это не так. Через полчаса он не выдержал и медленно, но начал проходить во двор и подниматься. Дверь он открыл и прошел по изогнутому коридору, но там уже никого вообще не было, и только одна женщина что-то запирала.

— Закрыто, закрыто, — сказала она. — С Новым годом!

— Вас также, — пробормотал Алексей и стал спускаться. Спускался — и вдруг сзади кто-то напрыгнул, засмеялся — Ася!

— Вот и все! — говорила она. — Вот и все! — Она достала из сумки платье и показала ему. — Оно самое. Знаешь, как оно всем там понравилось! Даже оценщица просила меня его ей продать... Милый, все ждал?..

Алексей уже больше не волновался, постарался забыть все непонятное и вопросов не задавал. Когда они встретились, все уже стало нормальным...

— Ну а теперь я тебя посажу, — говорила Ася, когда они оказались на улице, — и ты поедешь домой. — На улице было уже совсем темно. «Рано темнеет, — подумал Алексей. — Самые длинные ночи в году сейчас».

— Я тебя посажу, и ты поедешь. Мне еще надо всего купить, и приготовить, и самой приготовиться. Ты мне будешь только мешать. Поезжай и надень свой серый костюм. Я хочу, чтобы ты был красивый...

Автобус отъезжал. Ася осталась на остановке с поднятой рукой. Алексей все смотрел в заднее стекло, Ася удалялась, и он увидел какую-то темную фигуру, тень рядом с ней. «Собор, — подумал он, — или кто-то встал в очередь». Эта тень растревожила его.

Потом автобус подъезжал все ближе к дому, и что-то все больше сковывалось в Алексее и сжималось. Это стало еще сильнее, когда он сошел на своей остановке, и чем ближе подходил к дому, тем словно бы тяжелее становилось идти, и он шел все медленнее. Было как в детском кошмаре, страшно, но не понять, что страшно, и от этого страшнее. Вообще в последнее время ему трудно бывало возвращаться домой, вернее, труден был самый первый момент: открыть дверь, выдержать первые взгляды и приветствия, неизвестно, начнут ли что-нибудь выспрашивать и не придется ли врать... так стало, как появилась Ася. Но сегодня было и еще... сегодня было неприятнее, чем всегда, и Алексей не мог понять почему. Он даже знал, в чем дело, даже вспомнил, как увидел вдруг елку в маминной комнате... Вчера... но это было запахнуто где-то так далеко, подумать об этом было столь уже страшно, что ему легче было не понимать, в чем дело, чем думать об этом. Он старался не осознавать своего предчувствия, и это ему удавалось. Но то, что на этот раз страх был как-то сильнее, что это было уже предчувствие, а не только ощущение, следует отметить. Предчувствие чего-то непоправимого.

Дома же было хлопотно и тоже тепло. Елка в маминной комнате была уже убрана и при электрическом свете не была такой таинственной, как тогда, когда он увидел ее впервые. Тридцать первое было действительно особенное число, потому что того холода и строгих лиц, которые с некоторого времени только и видел Алексей, не было. Мама ничего ему не сказала и не расспрашивала, была весела, и как будто забот у нее не было. Она поцеловала Алексея в лоб и вручила ему коробку. «Хоть ты и не заслужил», — улыбаясь, сказала она. Алексей так обрадовался отсутствию холода в доме, что ему не надо сковываться и сжиматься, что вдруг снова почувствовал себя младше на полгода, то есть очень младше: младше на целую жизнь, младше на Асю. Понял, что очень любит маму и дом, обнял маму, расцеловал; мама как-то обмякла в его руках; он внезапно почувствовал, какая она маленькая, худенькая, и еще что-то одно поразило его в этом приливе нежности. Он понял вдруг, что вот уже полгода он не подходил так к маме, не обнимал ее и не целовал, это как-то отпало, исчезло — и это тоже была Ася. Он чувствовал неловкость в руках,

когда сейчас вот обнимал маму. И еще его удивило, как же он не заметил этого раньше, ведь до Аси у них с мамой была такая любовь! И ведь, наверно, очень резко прервались вот эти нежности с мамой, так что мама не могла не заметить... Но он вот ни разу не почувствовал, что она это заметила. Он еще подумал, что все эти полгода ничего нет в его памяти из жизни дома, все — Ася, и это, наверно, жестоко и несправедливо с его стороны. Ему было и неловко, даже, может быть, стыдно перед мамой, но во всем этом приливе чувств прежде всего его не покидало чувство неловкости в руках, обнимавших маму, они просто были деревянные какие-то, в них не было тепла, объятие казалось потому неправдой, чем-то стыдным и даже подлым. И еще неловче было оттого, что у мамы, он чувствовал это, такого не было. У мамы сейчас все было по-старому, как прежде, и, наверно, даже сильнее, как у соскучившегося человека. Все было так, и поэтому Алексей первый отстранился от мамы и тогда увидел такие счастливые и грустные глаза, что хоть плачь. Он вдруг ощутил такую беспомощность, что поспешил уйти к себе.

Он думал о том, что, конечно, никогда они с мамой не станут чужими, многое образуется и вернется, но... Ему стало очень и очень грустно, но это не было неприятно. Он действительно внезапно почувствовал, что детство его ушло. И еще он думал о том, как странно мало вмещает в себя человек, впрочем, не так общо он думал, а как мало вмещает в себя ОН, и винил себя за это. Вот приходит одно — и уже не хватает на другое. Жестокость такого открытия тем не менее его не поразила. Словно ощутил он в этом неизбежный порядок вещей.

И Алексей стал думать о другом. «Я хочу, чтобы ты был красивым», — сказала Ася. Он разделся и начал разминку. Он забросил спорт в последнее время, хотя раньше каждый день это было чуть ли не главным делом. Тело теперь сопротивлялось упражнению. Но в этом насилии он ощутил — словно бы вспомнил телом — радость. Когда разогнал кровь, то открыл форточку. Остро запахло снегом.

Разминку он делал по полной программе, когда-то им тщательно, одно упражнение к одному, разработанной. Тут были и совсем сложные, акробатические уже упражнения, и то, что он по-прежнему мог выполнять их, было для него вполне серьезным удовлетворением. В нем проснулось ощущение силы и покорности каждой

мышцы, которое совсем еще недавно было чуть ли не главным ощущением его полноценности и равноправия, а может, даже и превосходства в этом мире. Это ликование тела, такое привычное раньше, было теперь особенно приятно.

Следующим номером должна была быть пробежка, и Алексей стал натягивать тренировочный костюм и кеды. Нарядившись, он взглянул на себя в зеркало: лицо его, осунувшееся, потемневшее, понравилось ему. Ноги, казалось, уже бежали — такое легкое и сильное было в них ощущение.

Но он не побежал, а зачем-то еще прошел по коридору на кухню. Пелагея доставала из духовки гуся, тетка готовила свою знаменитую новогоднюю шарлотку, мама, подслеповато шурясь, строгала огурцы, а Трефилов стоял спиной ко всем и курил, глядя в темное окно. Все обернулись к Алексею, только Трефилов не обернулся.

— Неужели побежишь? — сказала тетка, и тон ее был дружелюбен, хотя до сего дня она словно бы и не замечала его: так сердилась, что он огорчает маму. «Это тридцать первое...» — опять подумал Алексей. Пелагея, которой эти-то вещи были всегда безразличны, кроме разве любопытства, сейчас была просто сердита над гусем и посмотрела неодобрительно. Трефилов повернул голову на теткин голос, косым взглядом уследил Алексея, выпустил дымок и хмыкнул.

— Да, сбегаю немножко, — сказал Алексей. Кухонный чад после разминки и открытой форточки был особенно неприятен — и он побежал.

С наслаждением вдыхал морозный воздух. Добежал по берегу Карповки до Ботанического сада и побежал вдоль ограды. И словно бы смотрел на себя со стороны, как он легко и красиво бежит. Тут нужны были девушки, чтобы это видеть. Но было пустынно. Здесь всегда бывало пустынно, но сейчас даже редких прогуливающихся не было. «Все готовятся», — подумал Алексей. Было удивительно тихо, и фонари не горели. Морозец стоял небольшой, но снег поскрипывал под кедами — единственный звук, да еще шум дыхания. Было очень красиво, но Алексей уже ничего не видел, потому что тут уж сказались его растренированность — ему стало тяжело. Сначала сбилось дыхание, потом и ноги отяжелели, стали чужими. Тогда, совершенно теперь нехвата, появились две девушки, захихикали: и в Новый год

бегают... И Алексей перешел на шаг. Слюна была как клей. Где-то высоко в груди саднило и словно бы треснуло. Сердце стучало всюду.

Дома он старательно чистил зубы, выбривался. Затем был душ. Сначала горячий, потом все холоднее, и наконец, поухивая, Алексей выключал теплую воду и брызгался в ледяной. От него шел пар. Растершись, он накинул халат и поспешил одеваться. Все он делал обстоятельно, с чувством.

И когда все было кончено, он прошел в мамину комнату и взглянул в большое зеркало. Он стоял в нем в полный рост и остался собою доволен. Всегда после такого комплекса истязаний он казался себе красивым.

Такой вот он снова прошел на кухню, где его почти насильно накормили праздничным обедом. Есть он не хотел, но без обеда мама все равно бы его не отпустила.

И вот уже был полностью готов, а времени оставалось как раз на дорогу.

— Ну я пошел, — сказал он маме. Тут надо было добавить «С наступающим вас» или «Счастливо встретить», но почему-то, раз он покидал дом, сказать такое было неловко, вроде бы фальшиво, и он ничего не сказал.

— Ну, счастливо тебе встретить, — сказала мама и, привстав на цыпочки, поцеловала его в лоб.

— А ты разве не с нами? — спросила тетка. В тоне ее по-прежнему не было металла, но все-таки что-то она этим подчеркнула. Знала ведь и раньше, что он уходит.

— Да, мне надо с ребятами... — сказал Алексей. И все-таки выдавил из себя: — Счастливо вам встретить!

Все заулыбались, закивали, но в этом было уже какое-то усилие и скованность.

Алексей вышел из дому с тяжелым сердцем, чувствуя вину и сопротивляясь сознанию ее: ее нет на самом деле, что такого?

Но в автобусе, набитом и шумном, это прошло.

Когда он поднимался по лестнице, понял, что очень волнуется. Из-за этой самой «Астории»... Пошла туда Ася или все-таки не пошла? А если пошла, то вернулась уже или еще нет? Вряд ли вернулась... Он поднимался все медленнее, и ему все больше становилось не по себе. Он еще подумал, что вот до самой почти Асиной двери, до одиннадцати часов, он постарался ни разу об этом не

подумать, целый день, нет, два он не допускал себя к мысли об «Астории». И когда он нажимал звонок, он уже очень волновался. Так было, впрочем, всегда — дома она или нет? — но сегодня было так, что можно считать, никогда он не волновался перед Асиной дверью до сего дня.

А открыла ему Ася.

Была она такая, что он ее просто никогда такой не видел. Сверкала. Смеялась, что-то быстро говорила, он не помнил что. Очевидно, радовалась ему. Подставила щеку. «Аккуратней», — сказала она. Не дала себя обнять: мять платье. А у Алексея и без предупреждений было такое чувство, что нельзя ни прикасаться, ни дышать на такую красоту. Он только и приложился, так, наверное, к иконам прикладываются... Щека была прохладной, с улицы. Вроде что-то мешало ему смотреть, он смотрел, как близорукий без очков, ничего вокруг не видел, словно помещались они с Асей в шарике света, а дальше было темно. И чувство вроде гордости распирало его, что ни говори, а эта вот такая женщина принадлежит все-таки ему! Но тут было и чувство какой-то своей непричастности, случайности в этой красоте, словно только во сне могло произойти такое, а с ним — нет, он недостоин.

Ася усадила его на стул, чтоб не путался, ей еще салат доделать надо. Тогда он увидел на столе перед собой салат и не открытый еще майонез рядом... И все получалось так, что Ася его любит, потому что если она и не ходила в «Асторию», то все ясно, а если и ходила и все-таки вернулась и так рано, то тем более. Он балдел от этого. Ася, повязав передник, месила салат. Она опускала в него руки и ворошила массу, и в этом была какая-то ужасная красота. «Ты сегодня красивый», — говорила Ася. Кровь бросалась в голову. «Что же ты мне ничего не скажешь о моей елке?» — говорила Ася. Тогда он увидел елку. Украшена она была всеми клипсами и бусами, какие он только знал у Аси, в основном же елка была зеленой, это было очень хорошо, что она была в целом зеленой. Когда он увидел елку, то она сразу запахла. Он балдел и от этого.

Салат был готов, а все остальное Алексей вдруг увидел на подоконнике, уже готовое. Ася очутилась с ним рядом без передника, и руки отмыты от салата. «Так и сидишь? Какой ты послушный, прелесть! — чмокнула его в щеку. — Сейчас будем накрывать. Ты мне помо-



жешь». Затем добежала до стенки, воткнула громкоговоритель. Кто-то сразу же запел. Ася сдернула Алексея со стула, закружила, затормошила, засмеялась. «Какой ты у меня смешной... и красивый», — говорила она.

И вдруг Алексей увидел, как млеет Асино лицо.

Взгляд ее проходил где-то в миллиметре от его щеки, она почти что на него смотрела, поэтому особенно неприятна была перемена. Так что не хотелось оборачиваться: там могла быть кошка величиной с тигра, или горилла величиной с дом, или... как во сне, в общем. Он обернулся: там были Нина и еще две или три девушки, их он видал и раньше, Нинины приятельницы. Приятельницы по какому-то кружку спорт-драма-мото-хор. Они входили, не здоровались, вешали свои пальто на крючки около двери. Как раз под громкоговорителем. Это о них он пел песню: «Парней так много холостых». Алексей посмотрел на часы, было без четверти двенадцать. Стал искать глазами Асю. Аси не было. И Нины тоже не было. «Здравствуйте», — сказал Алексей. Ответили, каждая отдельно, вполне вежливо, со вниманием, изучая. Вошли, словно бы вместе, Ася и Нина. Как-то очень отдельно вошли: в походке, в фигуре — досада на пространство, что оно — общее. И от дверей их как растолкнуло: Нина к подругам, Ася — куда же? — к Алексею — друг на друга и не посмотрели. «Там-там-там-там», — заговорили под вешалкой Нина с девушками. «Ну что?» — спросил Алексей. «А ну их к черту!» — с ненавистью сказала Ася. «Там-там-там», — говорили в углу. Две группировки в одной комнате, ничего общего друг с другом не имеют, не смотрят друг на друга. Слово для одной не существует другой. «Они что, совсем?» — спросил Алексей. «Выгнали их, выгнали из компании, — со злостью сказала Ася. — Крас-сотки... Не мудрено». Очень странно было наблюдать, как Нина с девушками не замечали их с Асей. Они уже разбрелись по комнате. Но существовали друг без друга и друг в друге, как мир и антимир, что ли.

Это было всерьез досадно — разрушение праздника. И не просто праздника — Нового года. И особенно *этого*. Для Алексея этот Новый год был таинство, и чудо, и осязаемое счастье. Но то, что расстроилась Ася, испугало его в конечном счете больше, и он сказал: «Ну что ж поделаешь... Раз такая несудьба. Их же не выгонишь... Дом не наш. Да и вообще не выгонишь. Надо хоть как-то встретить, чтоб по-человечески. Ну, не рас-

страивайся... Не в последний раз». Ася расстраивалась. «Пригласим их,— говорил Алексей,— тоже к столу, вместе и встретим. А что не вдвоем, несчастье, конечно, но хоть что-то надо спасти.— Он робко дотронулся до Асиного плеча, боясь: вспыхнет и достанется ему, Алексею,— вот уж не виноват!— Позовем, а? Они, конечно, дуры, что так ведут... Да и не они — Нинка. Девушки — еще ничего. Ну как?» Асино лицо успокоилось, вернее, опустело. «Ну что ж,— сказала она.— Уже и чокаться пора, обсуждать нечего».

«Девочки,— сказала она,— присоединяйтесь к нам, раз уж так вышло». Девочки смотрели на Нину. Нина ни на кого не смотрела. «Спасибо,— сказала она каким-то немислимым тоном.— Мы не напрашиваемся». «Девочки, правда,— сказал Алексей,— не надо портить друг другу праздник, Нина. Ведь мы вас искренне приглашаем. Не можем же мы встречать, а вы в той же комнате — нет...» — «Мы никуда отсюда не уйдем!» — взвизгнула Нина. «Мозги у тебя набекрень...» — с издевательским сожалением сказала Ася. «А ты не оскорбляй, не оскорбляй, слышишь! — кричала Нина.— Скажи спасибо, что мы вас терпим. Тоже... нашла мамочкиного дурачка!» — «А ты не трогай! Не трогай! — Ася вылетела на середину.— Не твое. Тебе и такого не видать! Правильно вас выгнали, так и надо!!!» Нина, руки в бедра, бочком, короткими шажками, как в пляс, выходила на середину. Она была вылитая Лолита Торрес, так все говорили. «Проститутка! — кричала она.— Проститутка!» — «Не смей!» — выскочил Алексей. «А ты куда лезешь?! Тяпчик...» — отдельно, по слову сказала Нина. «Какой тяпчик?» — растерялся Алексей. «Отойди», — как-то недобро сказала Ася. «Там-там-там, барам», — говорили подруги. «Завидно?! — кричала Ася.— Выгнали?!.. Завидно!» — «Деток учишь?!» — «Завидно! Завидно!» — «Не надо! Не надо!» — Алексей. «Тататам-барам-тамтам!» — подруги. «Старая дева!» — Ася. «Трата-татам, бум-дум», — подруги. «Бьет же! — закричал Алексей.— Двенадцать же!»

Все замолкли. Застыли. Действительно. Било. Тра́м-тамта́м-там-барамтам-тамта́м! — удивительно мелодично. Бам! Пауза. Бамм!..

«Ну их к черту! Ну их к черту! — подпрыгнула Ася и повлекла Алексея.— На! — сунула ему шампанское.— Скорей!» Придвинула к своей кровати табурет, бросила на него полотенце. Неожиданно много закусок по-

местилось на нем. Все это она проделала не разглядеть как быстро. Шампанское выстрелило. «Бамм!» — прозвучало в громкоговорителе. И пауза. Не просто пауза — дольше: тишина. «С Новым годом, милый!» — сказала Ася. «С Новым годом!» «Там-там-тим-там-там», — радио заиграло гимн. Выпили. Ася села на кровать так, чтобы спиной к Нине с подругами. «Садись, — сказала Ася. — Не обращай на них внимания». — «Я и не обращаю», — сказал Алексей. «Вот и хорошо, вот и хорошо!..» — Ася всхлипнула. «Да что ты! Что ты!» — разволновался Алексей. «Ничего... Это сейчас, — сказала Ася. — Ты ее не слушай, что она говорила...» — улыбнулась сквозь слезы, жалко так, несчастно, что Алексей чуть не заревел. «Да я разве... разве я когда-нибудь слушаю!» — с жаром сказал Алексей. «Салат мой ешь... Давай без тарелок, а? Прямо ешь. Ведь вкусный?.. Правда, а?» — «Очень!» — «Правда, милый? Нет, правда, вкусный?!» — голос у Аси подрагивал, она собиралась заплакать. Алексей тоже еле сдерживался, все-таки глаза у него подернулись: видел он хуже. У них вдруг такая нежность началась друг к другу, что и от этого можно было плакать. «Ничего, ничего», — говорил он. «Мы еще поживем, а?» — говорила Ася. «Мы — счастливые!» — говорил Алексей. «Да, да, именно! Мы — счастливые, — говорила Ася. — Ты не обращай на них внимания». Не обращать было трудно. Хотя до сих пор, начиная с курантов, никого, кроме них с Асей, для него действительно в комнате не было. Но он все-таки сидел к ним лицом, и они слишком были видны, главным образом Нина. Она ходила от стены к стене, как тигрица. Глаза ее, так сказать, горели. Ходила и нервно курила. «И курить-то не умеет, — вдруг сказала Ася. — Дай мне». Закурили все. Ася сидела к ним спиной, но Алексей чувствовал, как она этой спиной, может, еще больше, чем он, видит и мучится. Нина все ходила. Подруги стояли скорбной композицией. Три грации.

«Тоже странно, — вдруг подумал Алексей. — Сейчас, быть может, всем скверно, от себя скверно. Но если что-то попробовать, примирить или извинить, то будет еще хуже. А после этого уже еще больше будет каждому от себя скверно...»

Все понемногу успокаивались. Но уютнее от этого не становилось. Скорее наоборот. Каждый чего-то друг другу не досказал или не доругался, и от этого такое

напряжение повисло в воздухе, словно мощное силовое поле, телепатия, «поле-пси», сказал себе Алексей. И еще подумал: «Вот ведь и ссора, и крик затягивались из-за того, что каждый, как далеко бы ни падал, что бы ни говорил, все-таки самого страшного оскорбления, которое у каждого вертелось на кончике, сказать не смог и самого худшего поступка сделать тоже. Вот Нина, она удивительно хотела сказать: «Убирайтесь вон из моего дома!» — а как ни расходилась, не смогла».

Кусок не лез в горло. Алексей вдруг посмотрел со стороны. Даже Асю он увидел со стороны, и она тотчас отдалась. В буквальном смысле как-то видел он ее издали, хотя сидела она рядом. Это было мерзкое чувство. Хотя появилось спокойствие. Но тут был холод, равнодушие — скользкая змея. Казалось, при чем тут эта женщина, с ним рядом? Сидят на одной постели, а откуда это? Почему эта комната и в ней еще совсем уж незнакомые люди? О чем это они говорили, кричали, переживали, ссорились из-за чего? Чепуха какая-то. Алексею стало не по себе, даже страшновато, он не хотел так видеть. Это как в оптическом фокусе в популярном журнале: то видишь черное — и тогда одна фигура, то белое — и фигура совсем другая. Смотришь то так, то так, словно там переключатель какой в глазу, ручка, как у телевизора: чик-чик. Это в первый раз случилось, что он посмотрел на Асю со стороны — и испугался, хотя так уж точно не сознавал: вдруг с этого раза начнется переключение — то так, то так. Он не хотел в себе этого зренья не по чувству. Может, оно и умнее, но от него исчезает счастье — это уже знание какое-то — не хотелось этого знания. Все от него становилось чужим.

Ася встала и подошла к Нине. Они пошептались о чем-то от всех в стороне. Шепот становился громче, перерастал. Уже «там-там-там» было слышно из их угла. Но что-то их вдруг остановило, шум прекратился внезапно, не достигнув того, чего уже ожидал Алексей, — повторения сцены, и они разошлись. Ася подошла к нему, кипя. Шепот, злой и непонятный, почти свист — это было то, что хотела бы сказать Ася Нине, но сдержалась. Алексей снова видел только Асю, теперь не со стороны — это было облегчение, что не со стороны, и он говорил: ну что она так переживает, не надо, плюнь... «Хоть на лестнице! — сказала Ася (слова вроде бы ему, а злость их — Нине). — Хоть на улице!» У Алексея затрепетало в горле, сдавило, он не мог бы

сейчас выговорить ни слова. Ася метнулась к двери, прихватив со спинки кровати свой вечный халатик... и словно бы тут же, только и успел Алексей обвести растерянно остальных участников, оказалась в халатике, а зеленое платье аккуратно развешивала на спинке, покрывала полотенцем. Что-то шептала она при этом яростное, но в то же время тщательно расправляла складки на зеленом платье — это несоответствие Алексея почему-то отметил и тогда же подумал, что то, что он это заметил, — тоже несоответствие его взволнованному состоянию, в сущности такое же, как у Аси с ее платьем. А она была уже в пальто, руки ее метались — не разглядеть, и туфли-гвоздики были аккуратно сложены в коробку, а на ногах — без каблуков, уличные. «Одевайся», — бросила она Алексею и складывала в сумку вино, конфеты и пирожные... Выпрямилась. Алексей увидел тогда ее лицо, несколько покрасневшее оттого, что она перед тем наклонялась, злое и несчастное. Он хотел что-то ей сейчас сказать, чтобы это ей помогло, но никак не знал что. Те слова, что приходили, могли, ему казалось, еще больше разозлить Асю. Этого он, конечно, не хотел и мучился от своей неумелости и бестолковости: даже вот и сказать не может. Ася же посмотрела на Алексея, кровь отливала от ее лица, лицо болело, и, словно бы вместе с кровью, глядя на Алексея, исчезали раздражение и злость, лицо стало спокойным, ласковым и грустным. «Я нехорошо себя вела?.. — сказала Ася. — Грубо? Извини, я не хотела бы быть некрасивой перед тобой... Ты не смотри и не слушай, когда я так. Мне потом очень плохо, что ты видел меня такой...» — «Что ты, Ася! Что ты! — сказал Алексей. — Ты права... и все понятно». — «Ну вот и хорошо, а ты забудь, милый, ты ничего не видел... на! — Она сунула ему сумку со снедью. — Пусть подавятся!» И, не оборачиваясь, они вышли из комнаты.

Эта лестница была пуста, темна и безлюдна, скамейка, на которой они сидели, уникальная скамейка Асиной лестницы, под огромным стрельчатым окном, только сюда и доходил отсвет луны, что ли, или снега на дворе, или окон, где праздновали, этот отсвет чуть-чуть (есть он, нет его?), чуть дрожащая неуловимая геометрия рам на полу, на стенке, на Асином лице, удивительном, необыкновенном. «Ах ты, олененок мой! Глазки мои... Какие глаза!» — шептала Ася, он растворялся и падал, нестрашно, сладко и очень страшно, дико, лицо

Асино все к нему, в нем, о нем, а его, Алексея, и нет все, он исчез, растаял... Эта лестница, вдруг, казалось, полная гулких шагов и голосов, сердце вспархивало, как испуганная птица, и медленно оседало, опадало на место, там шли люди, много людей по лестнице, поднимались к ним, за ними. «Вот они!» — кричал главный, брали за руки и вели куда-то, на казнь, на Голгофу, а они все равно были счастливы... Эта лестница, полная шорохов и отсутствия, никуда не деться, прикован, Асино лицо сверху, снизу — всюду.

Он был пуст, буквально ощущал себя как оболочку, из него словно вынули мозжечок, и ему казалось, что он растекается, расползается, а не идет... пьян, не пьян... снег падал откуда-то легкими распадающимися клочьями, и луны не было, и фонари не горели, но свет — его не было, но он шел потихоньку отовсюду, как снег, вместе со снегом, тихо очень было, и они молчали — шли по своему саду.

...Вдруг он понял, что идет уже один. Было темно, снег летел со всех сторон, исчезло ощущение времени и пространства. Где он? Куда идет? Почему? Это Марсово поле. Он идет домой. Потому что они с Асей разошлись по домам. Он ощутил, как слепая маска радости, застывшая на его лице, стала распадаться. Он вроде бы очнулся. Не мог вспомнить... Ася сказала: «Расстанемся сейчас, чтобы осталось так же хорошо, как было». Вдруг почему-то вспомнилось, как выбегали Ася с Ниной из комнаты, как шептались несколько раз в комнате... Неужели его разыграли, и они сейчас все вместе, и... он словно бы замер над пропастью, одна нога уже в пустоте. Стало страшно. Он прогнал.

Постарался вспомнить другое. Был прекрасный сад, и они там были вдвоем. Они сидели на скамейке, и перед ними была ровная поверхность снега, даже странно — без следов. Это, впрочем, не странно, потому что они пришли к скамейке не по дорожке, а сзади, проваливаясь по снегу. Снег лежал на дорожке так ровно, что неощутима была его поверхность, словно он пророс из земли, как белая трава: нежен и легок, как плесень. Но главное в саду были, конечно, деревья. И, глядя на темные, словно теплые стволы и выше — на ветви, ветки, веточки, видели они, что деревья не просто заиндевели, или посыпаны снегом, или снег лежит на ветках, — ветки словно сами были из снега, толстые до странности, похожие на белые кораллы. Снег на ветвях повторял все

их изгибы и линии, всю сложнейшую их абстракцию, и деревья были словно повторены снегом. Они уже не походили на деревья, а сами были как огромные невиданные кристаллы, кристаллические решетки. Даже не так: кристаллы эти были обыкновенны по своим размерам, просто они двое были необыкновенно малы, крохотны, растворены, их не было. Прекрасное дно морское... И вот они сидели — перед ними была дорожка, словно поросшая снегом, будто он пророс у них на глазах, а они тут сидели всегда, как всегда стояли тут эти огромные, уже очень старые деревья с темными теплыми стволами и ветвями, повторенными снегом.

Потом, когда тишина стала уходить из них, они пили и ели и что-то без конца говорили, неважно что и не запомнить — ощущение было прекрасным. В этом было как бы сознание того, что этот сад приснится через десять, двадцать, тыщу лет. Даже кому-нибудь другому приснится. Этот сад как-то на глазах стал прошлым. По всему, этого сада не было вообще, он случился с ними — счастье, конечно, но лучше не задумываться об этом.

В общем-то, они очень недолго просидели в своем саду. Это теперь понял Алексей, взглянув на часы. Совсем даже пустяки. И потом как-то расстались, не вспомнить как. Ася вдруг побежала. И он ее не провожал... Тут опять начиналась пропасть. Он не стал задумываться над ней.

Он шел домой медленно, не думая. Вспомнив сад, забыв пропасть, снова один, он опять стал сам себе неощутим, растворен — шел ли, плыл, парил, что ли, — и так в бездумье, какой-то одинаковый со снегом, медленно летевшим то ли вверх, то ли вниз, то ли во всех направлениях, он очутился на своей улице. Справа был его дом, слева — Ботанический сад. Он испытывал нежность к саду, ему не хотелось возвращаться домой, то же предчувствие непоправимого снова надвинулось на него — заставляло его сжиматься, не хотеть идти, да и было еще рано. Он шел вдоль ограды, выходил по Карповке к Невке, по этому пути он бежал только что, всего несколько часов прошло, сотен лет, тысяч... все было другим.

«А что произошло дома? — подумал он. — За эти тыщи лет?»

Все как прежде... Старики выпили по две рюмки, порозовели, повспоминали, оживились было. И устали. Устали и разошлись. И теперь спят.

И праздник прошел, как в прошлом году и как десять лет назад. Праздник — в прошлом. Устой...

«А что, если они обнаружили?..» — снова подумал он и поспешно отогнал эту мысль.

Он представил себе заспанную тетку, или бессонного Трефилова, или маму, открывающих ему дверь, укоризненный взгляд... И даже представления об этом взгляде не мог вынести.

«Лучше спать на улице!..» — подумал он сердито и радостно. И он перелез через ограду — это место он помнил с детства: дерево низко наклонилось к земле и год за годом все падало и продавало ограду — перелезть тут не стоило труда.

В саду он не боялся истоптать снег, а шел, как на лыжах, оставляя длинный непрерывный след — две колеи. Он соскребал снег местами до земли, и след чернел. Перед ним затемнело что-то большое, высокое и округлое вверх. Он передумал всякое, это представлялось ему даже огромной головой, хотя он уже понимал, что это скирда, или стог, или копна — как там называется... Он попытался забраться наверх, запыхался, снег таял в рукавах и за шиворотом — это было глупо: даже пытаться забраться вверх по отвесному сено. Он обошел кругом и в одном месте обнаружил как бы выступ, площадку — сено оползло с одного бока. Площадка была невысоко, и на нее он сумел забраться. Там было много снега, и пока он раскидал его, почувствовал, что промокли ноги и рукава, но было тепло, разве что не таяло. Разворошив снег, он очистился сам и стал закапываться в сено. Этот необыкновенный запах сена, который он разбередил, разбудил среди зимы, и запах снега, и запах мокрых варежек!.. Он вспомнил этот запах, хотя никогда в своей жизни даже не был в деревне и на сене никогда не спал. Он вспомнил, вернее, ощутил — ощущение было безусловным и точным, — что уже было так когда-то: и этот стог, и зима, и такие же стояли деревья, и он, маленький мальчик с незнакомым лицом... Это было словно бы в детстве, но не в этом, а в другом — в одной из его прошлых жизней. Он был тогда не собой теперешним, а другим, совсем другим человеком. И тогда это было с ним, этот запах... в той, другой жизни. Он улегся наконец, стал натягивать на себя сено, вытаскивая по бокам пучки и уже засыпая... Некоторое время он лежал так на спине и глядел вверх: там были ветви дерева, и ветви другого дерева, и между ними, белы-



ми, — пространство; потом достал платок, его было неудобно доставать, «одеяло» его распадалось, он даже сердился, но платок он достал, накрыл им лицо и на ощупь позакидал себя еще сеном.

Ему показалось, что он только и успел, что закрыть глаза, и сразу провалился куда-то, отчего и очнулся в испуге, только закрыл и открыл глаза, как моргнул. Он ничего не видел и не понимал, ему было душно, влажно, что-то навалилось на него, пока он закрывал глаза, а теперь, когда открыл, не исчезло, не пропадало, как полагается сну. Он не ощущал своего тела, лица, рук. Он вскрикнул, слабо получилось, негромко — судорожно вздернул руку, словно был в неуверенности, подчинится ли рука ему, и смахнул с лица то, от чего было душно и жутко... платок. Он увидел перед собой белое небо, все в ветвях больших деревьев, и в этом белом небе, прямо над ним, летела огромная черная ворона, замещая собой белое небо, летела и кричала, будто повторяла его собственный вскрик, летела, все летела и кричала резко, пронзительно и тревожно.

### *ПЕРВОГО ЯНВАРЯ*

Ася тогда сказала, в саду, что завтра они поедут за город. Ей так тогда захотелось за город, глядя на деревья. И поедут они в Сестрорецк, у нее там подруга живет, подруга много старше, но прекрасный человек. Она Асю сколько раз звала, а та все никак не могла собраться. А завтра они поедут точно. На лыжах или так погуляют, а вечером еще немножко встретят, с подругой. У нее целая квартира...

Алексей проснулся поздно. То ли был вообще темный день, то ли было так поздно, что уже темнело, — не разобрать. Шевелиться не хотелось — так и лежал, как проснулся. То прекрасное, что было вчера, сразу вспомнилось ему, но как-то потеряло свою остроту, было как бы очень давно. Так же трудно вспомнить, как сон, подумал Алексей. Ему и хотелось вспомнить это так же остро, как это было, но не удавалось. Он только все больше просыпался. Лежа в этой полутемной комнате, он вдруг почувствовал, как истекает время, он вот лежит, не шевелится, а оно истекает, не останавливается. Это не было страшно, такое ощущение, — просто тупая неизбежность, порядок вещей, так есть. Но то, что то же

время унесло вчерашний день, было нелепо. И он вдруг вспомнил, что тогда, в саду, в нем проклевывалось и даже отвлекало (но он тогда отгонял) чувство, что не только вот он живет самой полной жизнью, какой когда-либо жил, но и время все уносит от него эту жизнь. Так он точно не думал, но какое-то подобное ощущение было. И правильно делал, подумал он, что гнал. Это уже не жизнь, такое ощущение...

И когда он вспомнил это, то вспомнил и то, что они сегодня должны ехать за город. А ведь уже поздно, темно, как вечером... Может, Ася уже звонила? Может, поехала одна? Тогда он вспомнил, и это было удивительно резко, словно только что увидено...

Он услышал памятью крик вороны и увидел как бы с ее полета вершины деревьев и себя, лежащего в стогу, неподвижного, лицом вверх, раскинув руки, где-то глубоко внизу, и белый платок в одной руке. Это разбудило его совсем.

Он сразу сел на кровати, и это отдалось болью во всем теле. Болело совершенно все.

Сначала надо было узнать, сколько времени. Прощел по комнате — удивительно все-таки все болело! — часы показывали полседьмого, стояли. Поспешно одеваясь, он представлял, как все уже давно встали и бродят по коридору из комнат в кухню, но никого в коридоре не встретил, и вообще было подозрительно тихо. По телефону набрал время — и чертыхнулся: не слишком поздно — слишком рано было, всего полдесятого, потому и темно. Но то, что Ася еще спит и, конечно, не звонила, его успокоило.

«Как же я так мало спал?» — удивился он.

Спать тем не менее не хотелось. Он попытался хоть немного размять деревянное, нывшее тело; принял душ. Было всего десять часов, и те же тишина и темнота по всей квартире. Он нырнул обратно в постель, устроился с «Моби Диком». Это была замечательная книга. Все, что он читал, было так осязаемо, просто и точно; в то же время так немучительно, так легко и умно, а прочел он не более ста страниц от начала, все так медленно, но не нудно разворачивалось, собственно, ничего еще и не развернулось, — он наслаждался книгой. Он как раз читал, как два внезапно обретенных друга лежат ночью в одной постели, не спят и задушевно беседуют, и прочел дальше:

«Нам было очень хорошо и уютно, тем более что на улице стоял мороз, да и не только на улице, но и в комнате, ведь камин-то был не топлен. Я говорю «тем более», потому что только тогда можно до конца насладиться теплом, когда какой-нибудь небольшой участок вашего тела остается в холоде, ибо нет такого качества в нашем мире, которое продолжало бы существовать вне контраста. Ничто не существует само по себе. Если вы льстите себя мыслью, что вам очень хорошо и удобно — всему вашему телу, с ног до головы, и притом уже давно, то, значит, вам уже больше не хорошо и не удобно. Но если у вас, как у нас с Квикегом, сидящих в постели, кончик носа или макушка коченеет, вот тогда-то вы и испытываете общее восхитительное, ни с чем не сравнимое чувство тепла. Исходя из этих соображений, в комнате, где вы спите, никогда не следует топить; теплая спальня — это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами. Ведь высшая степень наслаждения — не иметь между собой и своим теплом, с одной стороны, и холодом внешнего мира — с другой, ничего, кроме шерстяного одеяла. Вы тогда лежите точно единственная теплая искорка в сердце арктического кристалла».

Тут Алексей вскочил, открыл окно, и снова нырнул в постель, и устроился в ней сидеть, подтянув колени к носу, так сидел и больше «Моби Дика» не читал.

В таком положении он курил, и для полноты образа надо было еще что-то такое умное подумать, думать же у него сейчас не получалось, но все равно было хорошо.

Потом и кое-какая дрема приходила к нему, он закрывал глаза, а потом открывал, чувствовал, как тепло ему всему, а нос стыл, и действительно все это вместе было не так уж плохо, и он снова закрывал глаза.

— Черт знает что! Черт знает что! — Мама захлопывала окно. — Что ты еще учинил?

— Единственная теплая искорка в сердце арктического кристалла, — сказал Алексей. Он давно так легко не открывал глаза, это было радостно — открыть их и сразу ясно увидеть мир. Это было каникулярное детство, это был очевидный праздник.

— Ты не простудился? — уже справившись с окном, говорила мама. — Зачем ты это устроил? Выстудил всю квартиру...

— Теплая постель, — сказал Алексей, — это одно из роскошных удобств, терпимых богачами.

— Что за чепуху ты несешь, Алеша...

— Все в порядке, мама. С Новым годом!

Квартира оживала. Притихшие после праздника, на кухне появлялись и тетка, и Трефилов. Завтракали в кухне роскошными остатками. «Остатки сладки», — приговаривали они. Света по какому-то общему ощущению нигде не зажигали, а так и шевелились медленно и сонно в сумраке; день был темный и незаметно переходил в вечер. Ася же не звонила. «Должна бы уже и проснуться», — думал Алексей. Но она не звонила. Он уже выслушал рассказы родственников о вчерашнем празднике и сам рассказал, как было: мол, весело и хорошо. Перечислил по маминому настоянию всех ребят, что с ним были, рассказал, какие у них были девушки и что ели и пили. Трудность заключалась в одном: запомнить, что он рассказал, чтобы после не путаться. Кажется, запомнил. Он уже ругал себя, как всегда, что не пошел к Асе без звонка, но вскоре понял, что идти было бы нелепо: неизвестно, что там после вчерашнего за обстановка.

Ася позвонила в четвертом часу. «Никуда мы, конечно, так поздно не поедем», — думал Алексей.

— Ну, мы едем или не едем? — сказала Ася. Она была весела, возбуждена и очень хотела ехать.

Они встретились на перроне. Ася была закутанная, замотанная и какая-то новая.

— Вот брюки у Нинки стащила! — говорила она и смеялась. — Идут?

— Идут, — говорил Алексей и тоже смеялся. — А как там обстановочка?

— Да никак. А ты знаешь, что они следом за нами тоже ушли?

— Не-ет.

— Мы могли бы вернуться.

Потом они вспомнили и представляли все в лицах. И Нинку, и ее подруг, и даже себя. И очень смеялись.

Потом ехали в электричке. За окном было совсем темно. В нем можно было уже отражаться. Они и отражались, Алексей и Ася. Никого, кроме них, в вагоне не было. Пока они еще ехали по городу, были видны огни фонарей и окон домов и еще такие синенькие и красные огоньки по путям, таинственные и веселые. Радиоузел заиграл какой-то замызганный вальс. А вагон, ярко освещенный изнутри, нес в стеклах и словно бы за ними

отражения самого себя — своих скамеек, плафонов и пассажиров, так что там было еще по призрачному вагону слева и справа, и отражение Алексея с Асей тоже существовало отдельной жизнью в призрачном вагоне сбоку поезда. Играли вальс, поезд делал поворот, разворачивались и проносились городские огни, и Алексею показалось, что их вагон, и они сами, и призрачные вагоны с отражениями его и Аси, и фонари, и окна домов — все это вместе танцует под замызганный медленный вальс: разворачивается, покачивается, удаляется.

А когда выехали из города, то в окнах не осталось ничего, кроме отражения, — черно до самой станции, где свет, платформа, один или двое ожидающих — и снова темно. Вчерашний день сказывался, все сладко ныло, они дремали, Ася на его плече, говорили мало. Но было хорошо, и ехать бы так долго.

Когда они приехали, то даже не хотелось выходить, терять надреманное тепло. А когда вышли, и начавшийся к вечеру морозец обхватил их, и они вдохнули чистый, негородской воздух, то обрадовались, вся вялость ушла, что вот все-таки молодцы, что выбрались, и как же они без загорода живут месяцами, другое ведь дело!..

Но подружки не оказалось, она уехала в город. Суеты же в них сегодня не могло быть, и поэтому они даже не огорчились, а поехали — это Алексей сообразил — в Лисий Нос, там жил приятель Алексея. Но и приятеля не оказалось. Но они опять же не огорчились, а побродили, выпили свою бутылку на скамейке у залива, под большой сосной. Залива в ночи видно не было, там был провал, но они подышали заливом и потихоньку двинулись к электричке. В вагоне их совсем разморило, и они проспали до самого Ленинграда. И расстались, Алексей даже провожать не пошел — время позднее, а завтра рано вставать.

У самого дома Алексей опять замешкался, вдруг совершенно точно показалось, что дома что-то случилось за это время, пока его не было, что теперь уже там з н а ю т; что знают — он не позволил себе произнести даже мысленно.

Дома оказалось, что из Ташкента приехал отец.

В этот день ему везло. Дело, возможно, было в том, что суета, которая исчезла в нем на Новый год, все не появлялась. Ему как-то безразлично было, удастся ли то или иное школярское его дело, и все складывалось как-то само собой и как нельзя лучше. Да и институт был сегодня не суетный, малолюдный, полутемный. Никто никуда не спешил, и те, кто вынужден был сегодня появиться, словно бы еще не растеряли праздника, жили тихо. С самого начала оказалось, что пришел он кстати и к самому моменту, когда опять начали переписывать контрольную. Народу было совсем немного, и преподаватель был всего один, та самая Большинцова, красивая женщина. Все было не так торжественно, Большинцова без конца выходила, и Алексей, не спеша и будто не трудясь, даже не заметив, как это у него получилось, все не то списал, не то сам решил. Вышло чисто.

После этого ему уж все удалось. То есть куда бы он ни приходил, там оказывался именно тот, кто ему был нужен, все эти ученические заторы и заторчики разрешались быстро и как бы сами собой. Он все уладил и достал какие-то конспекты, которые так нужны ему были. Все так шло, и, когда вдруг что-то, совсем уже мелочь, сорвалось, кого-то там не было, что ли, или только что вышел, он понял, что грех дальше испытывать судьбу, на сегодня хватит, а за первой неудачей может, как всегда, последовать следующая и следующая, и начнется отвратительная такая цепочка, и это уж факт, не стоит портить день... И, не потерпев поражения, храня в себе поразительную сегодняшнюю легкость удачи, он покинул институт.

И все дальше было, будто закона, по которому хлеб переворачивается маслом вниз, не существовало. Для Алексея это была редкость, он всегда чувствовал особое к себе пристрастие того демона, что этим законом ведал, не выходил, так сказать, из-под тени его черного крыла. А тут подходили автобусы, и он подходил тут же, а автобус оказывался как раз тот. И в кармане у него оказалось пять копеек, и он не страдал с кассой и сдачей, и место было у окна. «Все уж как начнется, так и пойдет, пойдет!.. — славно думал Алексей. — Только надо все время чувствовать и самому не обрывать». Что надо чувствовать и что не обрывать, спроси его, он и не ска- зал бы.

Съездил на всякий случай к Асе, но ее не было дома, как она и предупреждала вчера: ей надо было на Лесной насчет работы. Поэтому он только убедился, что ее нет, но не расстроился, то есть настроения не растерял, а наоборот, необычайно удачно сразу попал в кино, и сразу начиналось, и картина его не огорчила.

Уже стемнело, когда он поднимался к себе по лестнице, с легким сердцем входил домой. Судя по вешалке, все уже пришли с работы, но и это его не удручило. Сегодня был тот редкий день, когда он мог рассчитывать на теплоту и равноправие, стоит только ему тем бодрым голосом, который у него сегодня будет без тени лжи, рассказать маме о своих успехах и добавить живых подробностей. Не надо будет видеть каменных, напряженных лиц, суровых молчаний, все будет естественно наконец — патриархальная картина.

Так надо было на обычное мамино нейтральное «ну, как?» все сразу изложить, и тогда она отгадает.

Раздевшись, он прямо прошел в мамину комнату. Здесь было темно, и только зеленела линза телевизора.

И край сухих голов  
Забыл произрастатье...—

с чувством читал зеленый строгий человек.

У телевизора сидели две темные тени, папа и мама, и Алексей сказал им голосом хорошо потрудившегося человека:

— Здравствуйте!

— Здравствуй, Алеша, — тихо ответили родители.

Он присел на свободный стул. Так сразу начать об институте было бы неестественно, тут надо было выдерживать, потому что всегда он говорит об институте как бы неохотно, через силу, потому что, как правило, приходится темнить, а это все-таки неприятно, так вот и сегодня надо было показать, что это только манера у него такая и не зависит от того, как успехи, — просто не любит об институте говорить, и все. Но вопроса, на который он так охотно бы сегодня ответил, не было. Родители молча и очень внимательно смотрели телевизор.

Бормотанье, прозябанье  
и нелепая дыра...

— Что это он читает? — все еще бодрым голосом спросил Алексей.

Мама прикрутила ручку, но совсем не выключила: исчез звук, но изображение осталось.

— Нам надо с тобой поговорить, Алеша, — сказала она ровным и тихим голосом. Папа потупился.

«Все. Это конец», — сказал себе Алексей, поняв, что сейчас произойдет. Начинаясь кошмар. Страшнее быть уже не могло.

Мама говорила. Наверное, расплывающееся ощущение поселялось в Алексее. Ему казалось: это не с ним и не о нем происходит — не происходит, снится — не снится. Все расплзлось перед ним, как сырая промокашка... И этот неопределенный разрыв, ворсинки его — от этого мешался рассудок, мамино лицо непонятно белело, обращенное от телевизора, рот ее все говорил что-то, а потом и не говорил, а только все шевелился, словно у мамы выключили звук, но не выключили изображение. Лицо ее тогда удалялось куда-то в бесконечность, становилось крохотным, неразличимым, и оттуда, издалека, что-то говорила ему мама. Отец сидел неслышно, как мышь. Какой-то другой, тоже зеленый, человек плавал в линзе, как в аквариуме. Алексей отклонил голову, линза искривилась, а человек сократился, искаллся и заплывал там, как лягушка. Пузырьки в линзе увеличивались и играли зелеными краями. Мамино лицо снова приблизилось; это можно было уже проделывать, как фокус, — и удалилось. В аквариуме плавали уродливые человекорыбы. Разевали рты, как им и положено, молча. И все в этой комнате, едва освещенной зеленоватым водяным светом... Алексею показалось, что все они — странное такое семейство — погрузились в какую-то влагу и там шевелятся и существуют, на дне комнаты-банки. В аквариуме линзы заплывали водоросли, все побежало, побежало. Вдруг приостановилось: какое-то существо медленно опустилось на дно и там исчезло. И тотчас другое, точно такое же, отделилось от верхнего края и, разевая рот и делая плавательные движения руками, тихо опустилось на дно — там скрылось. И опять точно такое же, сначала ноги и позже голова, выплыло, погружаясь в центр аквариума. Алексей изменил положение головы: существа начали кривляться, уродовались, ломались... Что-то вспыхнуло, и побежала рябь. Мамино лицо возвратилось в исходное положение, звук у нее вдруг включился. «Понял? — услышал Алексей. — Сейчас пойдешь и сделаешь, как я сказала. Понял?» — «Да», — хотел выгово-



ритель он и, как в страшном сне, почему-то не мог: раскрыл только рот, тот с трудом разлепился, сухой, и что-то в нем скрипнуло. Мама сделала отцу знак, и отец, легко и не глядя в сторону Алексея, как бы и не прошел, медленно проплыл комнату, там, в темноте, поплылся, будто в иле, и приплыл, держа три зеленые бумажки.

Алексей уже ничего не осознавал. Был он словно выключен, мертв. В голове легко и высоко звенело. Ему казалось, что он не ходит, а летает. А что вообще всего того, что есть, нет на самом деле. Какою-то даже легкостью ощущал он.

...Теткина комната показалась ему с телевизор. Из-под зеленой фарфоровой тарелки белый свет ложился только в центр исчезавшего в темноте стола, на бумаги. Тетка обратилась к Алексею лицом и как-то отъехала вместе с креслом от стола в тень. Звука отодвигаемого кресла Алексей не услышал, словно бы тетка на кресле была дверцей шкафа, и дверца раскрылась. Лицо у тетки было ярко-зеленое от абажура, испуганное, и она как-то сжалась.

— Вот, я у вас украл, — говорил Алексей мерным голосом, — вот.

Он клал ей на стол две зеленые бумажки. Теткино лицо искривлялось, по нему побежала рябь, и жалобно, тонко она проговорила:

— Ну что ты... что ты! Да ты садись!.. Посиди...

... У Трефилова были зажжены абсолютно все лампы вплоть до ночника, а сам он стоял лицом в черное окно и курил.

— Вот... — начал Алексей.

— Положи на стол, — прервал его Трефилов, не оборачиваясь. Алексей увидел, как уши и шея Трефилова стали бурными от крови, и тут же они, и уши, и шея, исчезли в бешеных клубках дыма.

У себя в комнате он не зажигал света. Надо было как можно плотнее закрыть двери. Стараясь неслышно, он брался обеими руками за ручку и тянул, сначала слегка, потом все сильнее и изо всех сил, даже упирался ногой в косяк, пока не затрещала ручка. Замков ведь в квартире не было...

В темноте же он медленно разделся, старательно раскладывая одежду по стулу, чего обычно не делал.

Сейчас, стоя босиком на полу, он подносил брюки к самым глазам — отыскивал складку, аккуратно вывешивал их на спинку. Ботинки — пятки вместе, носки врозь — поставил чуть ближе к ногам кровати, а не по середине. И лег.

Он лежал, сгруппировавшись, как в сальто, дышал в колени, пытаюсь согреться. И вдруг не то что комната, не такая уж большая, но даже кровать показалась ему огромной. «Какие мы все маленькие, — повторял он про себя. — Какие мы все ма-ленькие...» — «Как ты смешно говоришь «маленький»! — смеялась Ася. — Майенький... Милый мой!» — «В-вот! Вот!!!» — говорил Алексей и швырял деньги пачками, п-пачками!!! Они разлетались веером и медленно, как стая маятников, туда-сюда каждый листок, опускались и, вздрогнув, ложились на пол, а он все швырял, швырял и х к ногам. К и х ногам... Они стояли, жалкие, понурые, такие старые... Ему становилось вдруг их мучительно, до слез жалко — и он прощал их, ОН прощал их.

Ему представлялось, что поставлен огромный спектакль, потребовавший усилий всего мира, и он — главное действующее лицо. Будто он принц на самом деле, будущий властитель всей земли. Все это знают о нем, и все молчат и продолжают разыгрывать этот спектакль для него. Словно бы надо воспитать его в неведении в этом спектакле и потом, в какой-то момент, объявить ему, кто же он на самом деле. Это далекий финал, немая сцена — и все оказываются твоими слугами, подчиненными... И так далеко зашли их рабство и покорность ему, их властителю, что они сделали невозможное — ничем не выдали себя, выдержали чудовищный спектакль, целую свою жизнь. В этом представлении больше всего удивляло то, как же они выдерживают. Ведь и прохожие и незнакомые ходят мимо и узнают его, но не перешептываются, не показывают вида; будто они д е й с т в и т е л ь н о не знают его.

Неестественность и громоздкость этого надуманного спектакля, где целые материки, страны и народы существуют всего лишь как декорации на таком далеком краю сцены, что их никто и не видит из главных действующих лиц, и только для того, чтобы в какой-то момент многолетнего спектакля быть вскользь упомянутыми, что они есть и существуют где-то, в одной из реплик тысяча первого персонажа, — показались ему странными и жуткими. Перевернутость жизни, где он,

властитель, больше всех невластен и каждый может унижить его, не боясь расплаты, ибо единственный закон для них — это следование роли... такая уж перевернутость, где даже преданность ему должна быть выражена неумолимо сыгранной жестокостью к нему же, казалась почти нелепой, почти смешной. А то, что актеры знают и другую жизнь, кроме спектакля, и только он, одинокий, он, должен существовать в этом спектакле, как в жизни, было несправедливо. Потому что он ведь разгадал обман... Безумное одиночество, обманутость, единственность в мире сладко ныли в Алексее. И он уже всех жалел...

И родители, бедняги, просто им поручили главные роли; они лучше других подходили к уже написанной кем-то заранее пьесе, инструменты всего лишь. Им всех хуже, им больше других приходится работать, даже времени не остается пожить в настоящем, нетеатральном... Такова чудовищная подлинность, достигнутая в этой постановке, где они должны и страдать, и болеть, и голодать, и умирать уже по-настоящему, потому лишь, что все это должен знать и пережить их будущий властитель. Какой дьявольский труд! Они, наверно, сходят понемногу с ума и под занавес уже принимают спектакль за подлинную жизнь, любят и не хотят расстаться с театром так, будто он настоящий мир и настоящая жизнь.

Но конец пьесы суров, его нельзя нарушить, конец приходит, и тогда ему сообщают все то, что раньше скрывали, он становится властителем, а они старики, вошедшие в роль до сумасшествия, не знают, что же им делать, когда роль окончена. Он жалеет, даже любит их и приближает к себе; все-таки они по необходимости бывали жестоки, а на самом деле они любили, тщательно скрывая, боясь гнева неведомого ему постановщика, и все-таки иногда даже нарушали текст... Ася же, ее, наверно, ожидает казнь, так она выдает ту настоящую жизнь, что за спектаклем... Поэтому-то так резко и мучительно срывается она временами, потому что все время не дает ей жестокая по пьесе роль, все забывает она роль и приносит с собой ту настоящую жизнь, что запрещена ему. Ей, пожалуй, очень достается за это на репетициях. Ее и терпят только потому, что никак не заменить ее кем-либо. А может, она и не отступает от роли, может, у нее такая и есть роль, последняя перед завершением и открытием ему всех тайн другой жизни,<sup>1</sup>

такая как бы подготовительная к финальной сцене роль?..

А может, никакой он не принц, а самый несчастный человек — подопытный в огромном эксперименте? Может, хотят узнать, как будет с человеком (центральным персонажем), если всю жизнь свою проведет он в нелепом спектакле, где все знают наизубок свои роли и никогда не собьются, и только он без роли живет, принимая спектакль за жизнь, и живет для себя, «взаправду», и не знает, что играет для кого-то, кто сличает его действия с уже написанной ролью? И вся пьеса написана, все продумано с нечеловеческой способностью, чтобы получать от него всегда единственную реакцию и никакую другую, какого сложного построения это бы ни требовало?

А если так, то этот опыт уже провалился. Потому что он, несчастный подопытный кролик, все-таки понял, как ни пытались его обмануть... понял, что, кроме спектакля, есть другая жизнь, главная и живая...

...Так Алексей воображал себе. Он уже согрелся и покойно вытянулся. Словно бы растаял жуткий комок, что был у него под сердцем, и тогда Алексей смог выпрямиться. Так он отходил понемногу и еще что-то воображал. Потом и это прошло. Голова стала свободной, но уснуть он не мог. И он уснул.

Ему приснился мерзкий, жуткий, душный сон. Он таких еще не видел. От ужаса он и проснулся. Но, как ни силился, не мог вспомнить сна: забыл начисто. Душно было, вот что.

Он ступал босыми ногами, пол был прохладен, это было приятно. Подходил к окну и отворял его. Воздух со снегом попадал ему на грудь и лицо — Алексей переминался у окна. Видел тот же фонарь, болтавшийся под крышей склада, но часового не было. Алексей постоял, дыша и глядя, но не насиловал себя: постоял, пока это было приятно, а когда стало зябко, окно закрыл. После этого он включил лампу и стоял перед книгами, не зная, что выбрать. Какая-то книга была нужна ему сейчас, и он шарил по корешкам какая. Вдруг вспомнил о книге, которую читал лет в девять-десять и с тех пор не читал. Все эти годы он и не вспоминал о ней, но сейчас вспомнил то странное ощущение от книги... Он вдруг стал уверен, что это ощущение сейчас необходимо ему. Удивляясь, что забыл на много лет и именно сегодня вспомнил, он рылся за книгами — она могла быть

только там, потому что он не видел ее в первых рядах. Он рылся и вспоминал про книгу. Что в ней и о чем она, переплет ее, и страницы, и шрифт. Он вспомнил, что извлек ее из уборной, кто-то ее туда выбросил, и читал с таким неведомым пристрастием, тщательно, дословно, хотя ничего не понимал в ней. Но это непонимание было, он это помнил до сих пор, какого-то особого, притягательного свойства. И так, роясь за книгами, он вдруг нашел ее, сдул пыль, хлопнул ей по бокам так, что из нее вылетел шар пыли. Понял, что стынет, побежал к постели, с возней забрался под одеяло, с наслаждением, после еще большего холода простынь, с наслаждением и медленно согреваясь.

Оттаяв, он с любопытством раскрыл книгу, но внешний осмотр никак его не удовлетворил. Первых семнадцати страниц вообще не было, последняя была девяносто шестая, но это не был конец книги, потому что в конце страницы стояла запятая. Он вспомнил, что внизу иногда бывает, через определенное число страниц, фамилия автора или название произведения. Но и этого он не обнаружил, а обнаружил, что и еще вырваны страницы: 33-я и 34-я, 49-я и 50-я, 65-я и 66-я, 81-я и 82-я. Единственно, что понял он, — что книжка напечатана без ятей, следовательно, книга не старинная, хотя и старая. После такого осмотра он уже почти с исследовательским интересом стал читать.

Но — мало что понимал. То есть ловил себя на том, что уже прочел три, допустим, страницы, а ничего не запомнил, что читал. Проскользил взглядом по каждому известному вроде в отдельности слову, а что сказано ими всеми, от него ускользнуло. Так, начав с девятнадцатой страницы, он запомнил самую первую строчку: «...которые никогда ничего не объяснят нам в жизни». И лишь через три страницы еще фраза остановила его: «И если мы опять заговорим о Боге, то не пойдем друг друга», — остановила лишь потому, что была последней для этих трех страниц, после нее следовал пробел и заголовок «Письмо второе». Он рассердился на себя за то, что, прочитав, не уловил смысла. Такое могло случиться над учебником, когда задумаешься илиобразишь себе что-то, в то же время продолжая читать, но здесь он же и не думал ни о чем, и читал легко, почти с увлечением...

Он вернулся к началу, но понял едва ли больше. «Я старый человек и не имею права на слабость

юности...» — кусочек фразы хоть и застрял в его голове, но не более как хоть какая-то информация об авторе, то есть, что он старый. Возбужденность от находки и детских воспоминаний стала падать, а настойчивость пропадать. Представление, вначале тешившее его, что вот тогда он ничего не понимал, а сейчас, поживший, так сказать, и умудренный, все поймет, обернулось досадой: казалось, в детстве он понимал больше.

«Письмо второе» было бесконечным, и он от фразы «Так на чем же остановиться, выбирая?» скользил, легко читая, почти что просто переворачивая страницы, и даже не заметил, что с 32-й перешел сразу на 35-ю — потери смысла в этом не уловил. Им овладело нетерпение, когда же это бесконечное письмо кончится.

Поэтому «Письмо четвертое» он читал с каким-то даже подъемом. «Но если вы уж настолько не верите, я готов доказывать на пальцах...» — начиналось оно.

Хотя и на пальцах, Алексей и тут не все понимал. Это было так: то все туман, туман, то разрыв и краешек неба. Это была не та, не нынешняя речь. Но он уже что-то ощущал в ней и запоминал ощущение. Получалось нечто вроде перевода на его, Алексея, язык, перевода с адаптацией. За исключением полных по непонятности провалов, в этой главе говорилось о том, что любовь в нас и выше нас, и если ты еще живой, то ты еще и любишь, а если любишь, то что же это такое и откуда это? Про желание и страсть Алексей все понял — это было действительно как «на пальцах» — они были отдельно от любви. Про жалость было уже темновато. Чуть ли не выше любви оказывалась жалость, а потом все-таки ниже, во всяком случае, любовь и жалость оказались тоже разные вещи. Больше всего заинтересовало Алексея рассуждение о ревности.

Ревность оказалась особенно ни при чем и даже противоположна любви. Вот мне кажется, что я люблю, говорю этот странный автор. Вот я хожу по пятам, преследую, обожаю, ненавижу, то жар, то холод, визнаю, требую, зову, мечтаю, что еще? Ревную, задаю вопросы, предъявляю права... И если я уж так теряю лицо, то чего же жду, если разобраться? Только лжи. Потому что ложь — это именно то, чего хочу я в ту минуту, когда теряю жизнь и лицо. Но как бы я ни ревновал, всегда есть такой последний вопрос, которого я не задам никогда. Люди исподволь всегда боятся крушения веры и в естестве своем никогда не идут на это крушение.

И тут — «даже в безверии пребывает любовь, как вера». «Это верно, — думал Алексей. — Со мной тоже так было в начале знакомства с Асей. Но потом я понял, что не следует задавать вопросов. Сам понял. А то бы не осталось теперь у нас ничего». Стал читать дальше — все путалось: про бога да про бога!.. И вдруг связь восстановилась. «Что такое гибель и крушение в любви для таких людей? — спрашивал автор. — Самоубийство и убийство?» Это трагедия все-таки заданного последнего вопроса: как ни избегал его человек, но он всплывал с неумолимостью, и вот он задан — и все рухнуло, не справился человек. И задавать-то этот вопрос было бессмысленно: человек все знал и так, но не позволял себе это знание. И был верен. Разве любовь имеет права? Разве виноват человек, которого мы любим? Зачем же это насилие? Разве мы хотим раздавить любимого, а с ним и свою любовь?.. Опять пошло про бога, и Алексей проскользил целую страницу. И вдруг: «Господи! Какие мы все маленькие!» — воскликнул странный автор. «Это так! Это так!» — радовался Алексей. Мы же не вмещаем в себя ничего, говорил автор. А если уж приходит любовь, то не остается и этого ничего. Есть любящие, и есть любимые. Это не касты. Просто каждый кем-нибудь любим, а кого-нибудь любит. И тогда каждый для кого-нибудь благороден и для кого-нибудь подл, для кого-то мягок и к кому-то жесток, для кого-нибудь велик и для кого-нибудь ничтожен, каждый кому-то лжет, а кому-то говорит правду и т. д. И все это «от малого помещения нашей души». Все это с тем человеком, который «не верит, но еще чудом не мертв, а жив». И такому я скажу: да откуда в тебе-то, крохотульке, любовь? Откуда она в тебе? Ведь не от любимой же, она же еще меньше, нет же исключительности такой, единственности в ней самой-то нет — это ты привнес. Ну а если ты согласишься, что это не от нее, что просто был ты готов к любви — и она возникла, она была неизбежна, любовь, но случайна была та, которую ты полюбил, если такой ход мысли тебе ясен, то давай пойдем: из тебя ли исходит это? А ведь и не из тебя. Ты-то ведь тоже крохотный: вот как в тебе ничего не осталось, когда пришла любовь... Ты и жесток, и подл становишься, хотя и сам, может, не замечаешь, ко многим другим, до любви тебя окружавшим. То огромное, что есть любовь, не оставляет ни точки в твоём крохотном пространстве и даже разрывает тебя и гораздо превы-

шает тебя. Ты становишься таким большим, каким никогда бы не мог без этого стать, а в том, чем ты был без любви, ты становишься еще мельче. Так как же из тебя могло возникнуть большое? Так что и не из тебя.

Дальше все сбилось, закрутилось... Оказывается, и то, о чем писалось, — это еще и не любовь вовсе. Это только чтобы на понятном для людей в безверии языке сказать это все на пальцах... А если говорить всерьез, то

. . . . .  
. . . . .  
. . . . . это все было мимо, мимо.

Вдруг, словно бы без всякого повода, следовало описание прекрасного сада, но оно обрывалось внезапно, потому что тут как раз была вырвана страница.

...Алексей закрыл книгу. Странно было ему. Он что понял, а что не понял, про бога он пропустил, но рассуждение о том, откуда же любовь: не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не из него, то откуда же? — очень поразило его.

## ОБРАЗ (ТРЕТИЙ РАССКАЗ)

Когда Монахову напоминали — друзья ли, родичи ли или прослышавшие о том люди, — что он скоро станет отцом, он видел и слышал их издалека, и лишь слегка удивляли его выражения их лиц, самые различные — то ли проникновенные, то ли сочувственные, но им не подвластные: все с оттенками подрагивания и подмигивания. Притом чему они подмигивают, им, по-видимому, не было вполне ясно, это было помимо их воли, — и тогда на смену этим выражениям приходила мина достойная. Независимо от того, были ли они сами отцами, эта достойная мина подчеркивала их посвященность в таинство: что они-то знают, что там, за той дверью, которую ему, Монахову, еще предстоит открыть.

Монахов объяснял в ответ, как бы оправдываясь, что хотя его жену и увезли в больницу, но увезли еще не рожать, а понизить давление, что еще не скоро, так что жене его рожать и рожать, но, заметив несколько раз выражение скуки и нетерпения на лицах, перестал объясняться таким образом. Да и самому надоело: от повторения переживание это притуплялось и пропадало. Он



теперь как бы принимал приглашение на некоторый короткий ритуал и воспроизводил на лице ту же мину, которую исполнял вопрошитель — родич ли, знакомый: либо достойную, либо хихикающую, — и не чувствовал от напоминаний ни волнения, ни потрясения, ни внезапного осознания, ни помрачения, ни взлета, никакого переживания. Он испытывал лишь некоторое нетерпение от каждой подобной встречи, даже без особой неприязни к вопрошителю; взгляд его становился не то чтобы бегающим или остановившимся в бесконечности, но просто безразличным.

Странное его лицо никого при этом не смущало. Все понимали, что он, вполне естественно, волнуется.

Он же расставался со знакомым и шел дальше с легким удивлением от собственной бесчувственности в преддверии события, столь важного в его жизни.

В общем, сознание того, что при мысли или напоминании о предстоящем его отцовстве никакого чувства в нем не возникает, и было основным его по этому поводу чувством. Он размышлял о странной роли отца во всем этом деле: действительно необходим был он лишь на какую-то, теперь уже такую далекую, секунду. Дальше же — раз, и все: дальше он не продолжался, он был оставлен, покинут и брошен. Оборванное его чувство росло в пустоту. «При чем тут я?» — спрашивал он тогда себя парадоксально.

Просто это не уместается в мозгу, однажды ловко подумал он о своей бесчувственности, слегка беспокоившей его.

Жену он ежедневно навещал, носил передачи и писал письма, излагая в них перипетии всяких своих дел, которые как раз в это время были тоже как бы на сносях, вот-вот решались, и это много значило для него — следовательно, для жены, которая была в курсе и разделяла его деловые переживания, и, следовательно, для их будущего сына или дочери.

Написав письмо и вложив его в передачу, он направлялся на улицу под ее окно. Свистеть он не умел и знаками пытался привлечь чье-либо внимание, чтобы подозвали к окну жену. Всякий раз Монахов испытывал при этом неловкость и легкое унижение и внутренне боролся с ним. Наконец жена подходила, и они объяснялись жестами, улыбались и кивали, недослышивали и недопонимали, а прохожие «хорошо» улыбались, наблюдая эту трогательную сценку из жизни, за что Мо-

нахов их не любил, конечно. Потом, вспугнутая сестрой или врачом, жена пропадала в своем окне. Эта поспешность и этот испуг казались Монахову почему-то неправдоподобными. Некоторое время он еще стоял под пустым окном, на него поглядывали другие жены из других окон, и он на них поглядывал, а потом, не то с чистой совестью, не то с облегчением, направлялся домой или куда там ему надо было... Жене его было еще рожать и рожать.

В один из таких дней поворот дел Монахова наконец произошел, и все кончилось успехом. (Важно обозначить, что дело у Монахова было непростое и значительное, а успех — крупный и заслуженный.)

Закрепляла этот успех некая большая бумага, выданная Монахову в том, что он имеет отношение к делу, которым был занят и без нее. Но как бы до подписания этой бумаги и этого дела его не существовало, и работы его, и чуть ли самого Монахова тоже. Теперь же, по этой бумаге, ему начинали платить значительные деньги и оказывать всяческое уважение. И именно ее держал он сейчас в руке, свернутую трубочкой, и постукивал ею по краю директорского стола. А потом сложил как бы небрежно и сунул в карман.

На лестнице ему показалось, что он положил ее мимо кармана, и его прошиб пот. Но нет, она была на месте. Он развернул ее, ласково оглядел штамп и подпись и с удивлением и удовлетворением прочел в ней свою фамилию, напечатанную крупными буквами, а имя-отчество — помельче... Он даже удивился, что у него такая фамилия и словно не его даже. Он решил тотчас ехать к жене в больницу и поделиться радостью, и автобус тотчас подошел. «Это нехудо, это нехудо», — уже не слыша этих слов, чему-то в такт повторял Монахов, взбираясь в автобус, и для уверенности снова потрогал бумажку.

«Ну да ладно, ну да ладно...» — повторял он, глядя в окно.

— Господи, Алексей! — услышал он и голос сразу узнал, но не поверил, и одновременно почувствовал, как проседает с ним рядом кресло, и запах духов «Пиковая дама» был все тот же, — все это в тот момент, когда, вздрогнув от неожиданности, быстро обернулся к говорящей. И больше всего поразился, что это действительно была она, что так сразу узнал ее, даже еще не увидев. За столько-то лет и не встретил ни разу, и не вспомнил,

а в ту же секунду... — какая же прочная была в нем запись!

— Ну, здравствуй, — сказала она и подставила щеку таким знакомым движением (ну да, чтобы ничего не размазать!). Автобус в этот момент качнуло, так что он, не поняв, хотел ли он этого и было ли это так уж ему приятно, но уже приложился, очень скосившись, однако, на пассажиров: как же это все со стороны понять можно и нет ли все-таки знакомых?

— А ты все так же неловок, — засмеялась она. — Ну же, как следует... — и снова подставила щеку, все тем же, таким знакомым движением. И он, ощущая полную потерю чувствительности в губах, старательно и не глядя уже на пассажиров, как бы махнув рукой, но не закрыв глаза, так что увидел, слишком близко, морщинку с кремом, которой не было раньше, приложился к ее щеке.

— Как же так... — с облегчением отстранившись, бормотал он, уже по привычке используя то, что всякое движение может быть понято как угодно, и лишь слегка направить его надо: так, не в силах скрыть некоторого своего смущения и даже неприятности происходящего, успел он придать смущению своему форму как бы естественного волнения и замешательства. — Как же так... — бормотал он. — Ася... может ли быть?..

И они заговорили оживленно, он тоже говорил, но услышал, о чем речь, лишь две остановки спустя, а пока справлялся со странным смущением удивления и недоверия, что эта женщина, сидящая с ним рядом, — кто бы мог подумать, но это Ася. И дело было не в том, что она очень постарела или подурнела, было и это, но это был все равно ее голос и ее лицо, и тем не менее лица незнакомых людей показались бы Монахову сейчас менее посторонними. И он начинал догадываться, что, окажись сейчас с ним рядом каким-то чудом совершенно та, прежняя Ася, — эффект был бы тот же. Потому что той Аси, Аси, которую он помнил, вообще никогда не было. Был образ, Монахов держался за него и год, и другой, образ сохранился даже в мучении разрыва, а потом и в памяти. Сейчас он как бы держал в руках портрет и сличал его с оригиналом, и ничего не совпадало. Ася, постаревшая Ася, сидевшая рядом с ним, была просто неловкой кустарной поделкой, и ему как бы даже странно было, что он разговаривает с ней, как с Асей. И это движение, которым она подставила щеку, такое

знакомое, показалось ему заученным и ненатуральным, и тот же голос, и тот же хохоток — тоже были эрзацем, химией, синтетикой, что ли, но не правдой, и даже глаза, как он всегда думал, самые красивые, что он встречал в жизни, были хоть и голубыми, как у Аси, но плоскими и пустыми, и, что говорить, у его жены глаза были красивее. Но, по мере того как он убеждался, что это Ася и сомнений быть не может, в этом процессе сличения с оригиналом началась обратная реакция — недоверия к образу. Это распадение образа, может, впервые в его жизни происшедшее столь наглядно, что он видел как бы рвущиеся линии и исчезающие краски, было неосознанно болезненным, и, когда образ испарился и уплыл, растаяв, словно облачко, он почувствовал облегчение, ожил — ему стало интересно. Потому что ощущение, им теперь овладевшее, называлось уже любопытством: именно оно присутствует при сличении старых механических записей с новыми, еще неизвестными.

Именно тогда, проехав уже две остановки, он услышал, о чем они говорят, и лишь легкое затруднение испытал в том, что теперь, любопытствуя, но не помня начала разговора, может повториться, а это может показаться невниманием, чего он уже не хотел, испытывая любопытство уже не только к рассказу, но и к сидевшей рядом с ним *новой* женщине. Он, впрочем, быстро сообразил, что и это может быть отнесено за счет столь уместного тут волнения и надо только учесть это.

— Так ты что, недавно приехала? — спросил он.

— Помилуй, я никуда не уезжала.

— Как же мы с тобой и не встречались ни разу? — действительно удивился Монахов. — Вот раньше — встречались каждый день, и даже еще не сговариваясь, сколько раз сталкивались просто так на улице, помимо свиданий, а как расстались — ни разу. Я был уверен, что ты уехала.

— А ты все такой же рассудительный... — ласково засмеялась она.

Монахов снова отметил неестественность ее интонаций, но теперь это его вполне устраивало, потому что намекало на некую возможность, уже начинавшую увлекать его и в то же время ни к чему его впоследствии не обязывающую.

— А ты куда сейчас едешь? Если не секрет? — сказал он.

— На работу,— сказала она.

— Надо же!— опять вполне искренне удивился Монахов.— Так ты что, каждый день этим автобусом едешь?

— Конечно,— сказала она.

— Так я ведь тоже на работу на нем езжу,— сказал Монахов.— Вот ведь странно, впервые встретились...

— Очень просто,— сказала она,— просто мы ездим в разных автобусах.

— Да...— протянул в ответ Монахов и посмотрел на нее с недоумением.

— Ты что на меня так смотришь?— засмеялась она.— Как на дуру. Просто мы ездим на встречных автобусах: ты работаешь там, где я живу, а я наоборот — вот мы и разъезжаемся все время.

— Ну, я тебе скажу!..— как бы восхищенно сказал Монахов.— Голова у тебя все такая же ясная. Я бы никогда не сообразил.

— Ты что же думаешь,— кокетливо хохотнула Ася,— что у меня уже склероз обязательно должен быть! Неужели я кажусь тебе такой старой?

— Нет, что ты,— не вполне искренне сказал Монахов,— ты прекрасно выглядишь.— И, чтобы придать достоверность своим словам, сказал как бы грубовато, но так, что любая женщина легко бы простила, будто это подтверждало его искренность:— Помнишь, ты сама говорила: маленькая собачка — до старости щенок.

— Верно, верно,— обрадовалась Ася,— маленькая собачка...

А Монахов, еще раз взглянув ей в лицо, теперь обнаружил его не постаревшим, а даже помолодевшим. Все-таки тогда он был совсем мальчик, а она на пять лет старше, а теперь он ее как бы нагнал. Это было и на самом деле странное чувство, он его уже отмечал в последнее время... Однажды люди, всю жизнь бывшие значительно старше его, решительно помолодели. Учительницы, например.

— А ты тоже совсем не изменился,— сказала Ася,— хотя вот и седесть, я вижу, начал.— Монахов поймал и узнал этот цепкий Асин взгляд: таким он был у нее, когда таскала она его, мальчиком, за собой по магазинам или смотрела на проходящих мужчин,— и он не любил его тогда, а сейчас этот взгляд польстил ему.— Это девочкам должно нравиться: лицо молодое, и виски седые.

— У меня уже и зубов нет,— расплывшись, неумно хвастался он.— Вставлять хожу.

— И костюм на тебе хороший,— сказала она, скользнув по пиджаку тем же цепким взглядом.

И Монахов ощутил освобождение, облегчение, с него как бы спали цепи, гири насилия над собой, благодаря которым был он человеком с такими-то и такими-то редкими качествами, а без гирь и цепей, свободного, его просто не было — одно желание, желание, усилившееся всеми теми неприятными ему по вкусу, уму или морали чертами, которые бросились ему в глаза через столько лет в его старой любимой. Тут уже было не воспоминание-узнавание, а нечто обратное и противоположное: садизм разочарования — изнанка, негатив прежних чувств. И тем страннее, где-то вдали, мутно, показалось ему подобие... Потому что, обратным ходом, прежние-то чувства были спечатком с того же негатива. Начиналось отчасти то, что теперь называется, не в силах подобрать другого слова и разбираться в нем, «заводкой». Что-то ложное и обратное всем чувствам и мыслям и, одновременно, на этот момент словно бы наиболее правдивое, появилось на свет, раздвигая скорлупу. Нечто отодвигаемое в постоянном испуге перед собой и своей слабостью справиться с этим, что-то тщателью хоронимое от других и еще более от себя, что-то задавленное полнотою общепринятого в том или ином кругу и никак не разрешенное личностью и оттого все высовывающееся, вылезющее — и нечистая сладость в этом. И договариваются напиться, ничего уже не имея как бы в виду — но все для этого, и даже почти необходимость и некий институт регуляции в этом, периодичность и режим. И никто не скажет себе: зачем? — прозвучит неприлично, пошло, можно сказать — несправедливо. Просто яовеселиться, выпить среди друзей — «заводка»... Тут как бы человек махает рукой, закрывает глаза — и поехали. «Ну и пусть, ну и пусть», — бессмысленно повторяет человек. И царское чувство вседоступности вдруг исходит током, от одного к другому, охватывает всех, и наутро разъезжаются тихие, а глаза бегают.

И весь этот механизм «заводки» настолько уже не составлял для Монахова тайны, что становился еще большей тайной. Но ток уже был установлен, он был взаимен — это тотчас почувствовали и он, и Ася, они разрешили тут же его себе, он рос и усиливался от об-

мена, этот ток. И они вдруг замолчали, как бы обо всем договорившись. Помолчав и пережив в себе что-то, они, отдыхая, как тянутся за сигареткой, некоторое время не глядя друг на друга, продолжали разговор, в том тоне новой близости и отдаления после близости, какого не могли бы позволить себе сразу.

— Ну и как твой доцент? — спросил Монахов с тем вечным удовлетворением в голосе, что рождается от мнимого превосходства над другим мужчиной, если эта женщина рядом с тобой.

— А мы расходимся, — легко сказала Ася.

Все-таки где-то далекими тенями была еще в Монахове память о пережитом: о ненависти к этому человеку и о боли. Теперь же ему предстояло некрупное торжество, вроде записи задним числом или подделанной подписи...

— Так ты что же, все это время с ним? — сказал он и не мог скрыть разочарования; взглянул в окно: останков свою он проехал.

— А ты все еще ревнуешь? — снова засмеялась Ася, и смех ее уже вовсе показался Монахову неживым и брэнчащим. Но вопрос поразил своей грубой точностью. Его, как человека, удалившегося по ходу мыслей от первоисточника так далеко, что не видны уже ни цель, ни отправной пункт, а лишь вечная середина, пустыня, удивил столь прямой перелет над этим морем рассудка и прямое название предмета, ему, за деталями, не различимого...

Монахов промолчал, удивляясь. Ася сказала:

— У нас уже дочь в будущем году в школу пойдет.

— Подумать только, — сказал Монахов, повторяя про себя ее фразу и бессмысленно перемещая по ней слово «уже», которое спокойно помещалось в любом месте фразы и тем ее окончательно разваливало. — Так ты все-таки умудрилась выйти за него замуж? Мне казалось, он на это никогда не пойдет...

— Что ты! Он умолял меня... — сказала Ася.

— Значит, упрямый, — сказал Монахов.

— Да нет, я, в общем, этого и хотела, — сказала она.

— М-да, — сказал Монахов.

— Ну а у тебя, — спросила Ася и опять прицелилась взглядом, — дети есть?

Монахов немножко вздрогнул и задумался.

— Н-нет... — сказал он неуверенно.

Ася усмехнулась.

— Но ты женат?

— Женат,— сказал он, опять подумав. Почему-то, если его все-таки вполне устраивало, что она замужем, то он сам вроде бы должен был быть свободен...

— Значит, ты пропал для женщин,— сказала Ася.— Жаль.

— Как сказать...— Монахов выпрямился, надулся и поелозил в кресле.— Смотря для кого... Для тебя — нет,— наконец сказал он и шумно вздохнул.

— Покраснел! Покраснел!— рассмеялась Ася.— Все такой же ребенок!

— Я жеребенок молодой, заносчивый и гордый...— пропел Монахов.

И они оба рассмеялись и заговорили оживленно, а Монахов опять не смог бы вспомнить — о чем. «Почему это,— мимолетно удивился он,— как только я начинаю вести себя, с моей точки зрения, как раз не по-детски, женщины говорят, что я ребенок?» — и он чуть повернулся седым виском к Асе. Так они смеялись и болтали оживленно, перебивая друг друга и ничего не запоминая; слегка плавали и подпрыгивали расплывшиеся пятна лиц — они уже не стыдились автобуса: как бы плавали над всеми в состоянии невесомости.

— Нам выходить,— вдруг сказала Ася.

«Нам...» — подумал Монахов.

Они сошли на Островах... По обе стороны улицы свободные, без решеток, стояли старые деревья, почти нагие, где-то за ними маячил обветшалый желтый особнячок — они шли по улице, улица изгибалась, соединяя мост с другим мостом. И Ася спросила:

— Ну и какая она, твоя жена?

— Как какая?.. — несколько оторопел Монахов.

— Красивая?..

— Да, наверно,— неохотно ответил Монахов.

— На меня похожа? — сказала Ася и соорудила гримаску. Гримаска ей не пошла.

Монахов от гримаски отвернулся, подумал, что ответить, стал вспоминать, какая же она, его жена, в двух словах, и вдруг оживился от внезапного открытия, которое раньше никогда ему на ум не приходило.

— Представляешь,— сказал он звонко,— как странно... Полная тебе противоположность. Как будто специально подобрал,— рассмеялся он и спохватился.— Представь себе женщину, столь же красивую, как ты,—



сказал он дипломатично, — но полностью тебе противоположную: ростом, и полнотой, и голосом, и мастью...

— Получается что-то очень большое? — сказала Ася, и на этот раз интонация очень удалась ей, и Монахов рассмеялся и тут вдруг вспомнил Асю всю, какую любил: ей и раньше, бывало, удавались такие фразы. Он вдруг вспомнил Асину близость — желание, почти тоскливое по силе, поднялось в нем.

— И темперамент, — подавленно добавил он, опять удивившись, что противоположным было все, даже постель, и что-то тут было не просто так и даром. «Как же все-таки все необходимо связано, чтобы быть цельным... — подумал он. — Чтобы не рассыпаться».

— И живете вы, конечно, с твоей мамой? — Тут Монахов опять вспомнил всю Асю: так она сказала «м-мамой», — эту Асю он в свое время боялся и, кажется, даже не любил, но хотел еще больше, чем Асю любимую.

— Это чувство, я вижу, в тебе не ослабло с годами, — сказал он.

— О да!.. — сказала Ася. — И как она с ней ладит?

Монахов отметил это «она с ней» как нежелание называть ни ту ни другую, уловив в этом и в тоне некую ревность, что ему опять польстило.

— Очень хорошо, — сказал он убежденно, хотя у него не было на это оснований, и покосился на Асю: как она это воспримет?

Ася же отнеслась к этому необычайно равнодушно и, казалось, думала о другом.

— Значит, у тебя нельзя, — сказала она.

Монахов задохнулся.

Ася взглянула на него и расхохоталась.

— Ты все такой же!

Монахов не вполне внятно развел руками.

Они дошли до красной кирхи, и Ася остановилась.

— Дальше меня не провожай.

— Что так? — обиделся Монахов.

— Просто меня там на остановке ждут. — Она взглянула в нелепое лицо Монахова и счастливо рассмеялась. — Ну да, ждут.

— Муж?

— Нет, жених.

— Слушай, — сказал Монахов, — и ты не устала еще? Ты опять собираешься замуж?

— Что поделать... — искренне вздохнула Ася.

— Сколько же у тебя энергии!— сказал Монахов почти с восхищением.

— Устаю я...— сказала она просто.

— У тебя есть комната, ты хорошо зарабатываешь... Отдохнула бы хоть...

— Ох, с удовольствием!— Ася устало улыбнулась и подмигнула Монахову. Подмигивание ей снова не удалось — Монахов почувствовал себя неловко.

— Хороший хоть парень?— спросил он.

— Хочешь посмотреть?— сказала Ася.— Я пройду вперед. А ты потом за мной, как бы невзначай. Вечером расскажешь, как он тебе понравился. Хочешь?— оживленно и настойчиво спрашивала Ася.

— Давай,— сказал Монахов. Это «вечером расскажешь» очень ободрило его. Он прямо-таки не ожидал такой легкости.

Ася ушла вперед. Он выждал и последовал за ней. Подойдя к остановке автобуса, Ася подкралась к высокому человеку, стоявшему в конце очереди, и, подпрыгнув, обхватила его со спины, повисла. Монахов услышал рассыпавшийся ее смех, то, как она наскочила и обняла незнакомца, было в точности знакомо ему и ни капли не изменилось. Она, маленькая, привстала на цыпочки, он, длинный, наклонился и подставил ей щеку, и они заговорили оживленно, не выпуская рук. Монахов почувствовал странное смещение в мозгу, до того он вспомнил себя сейчас этим вот длинным человеком. «Кто он? Кто Ася? Кто я?» — странно подумал он и поглядел на них как-то косясь, бочком, слегка склонив голову набок, как курица поглядел. В голове снова зазвенело. «Зря это она»... — подумал он, но относилось это не к длинному, а к нему самому, это он себя пожалел, не понимая еще — за что. «Не надо было мне этого знать...» — подумал он. «Ничего не надо ни о ком знать!» — подумал он с раздражением, вдруг представив себе жену, которая, допустим, вот так же бы подошла сейчас к нему, оставив за углом, допустим, этого длинного. «Тьфу, черт!» — процедил Монахов, но он уже поравнялся с ними, исподволь разглядел лицо длинного. Лицо длинного понравилось Монахову, и тогда он его пожалел. В этом было, впрочем, и некое тщеславие. Длинный вдруг поднял лицо от Аси и взглянул в глаза Монахову, внимательно и простодушно, и Ася в этот момент успела подмигнуть Монахову. Длинный снова склонился к Асе, а Монахов уже удалялся от них, сдерживая в себе же-

лание оглянуться, чувствуя, как стягивается на спине кожа в какую-то гуляющую знобливую складку; он удалялся, пощупывая в кармане бумажку с телефоном, по которому ему было назначено позвонить через два часа, и смешанное чувство удовлетворения и неприязни жило в нем. «Вот ведь... — самодовольно и грустно думал он. — Переменились роли... Нет, тогда была не роль!.. Тут есть над чем подумать...»

«А помнишь? а помнишь?..» — настигали его обрывки автобусного разговора. Он не помнил. Вернее, все, что помнил он... ровно не то помнила она. Бесцельно брел он теперь по улице, ничего не видя, с недоумением разглядывая обломки их разговора. Вот что его, оказывается, потрясло... Все эти годы Ася хранила (пряча от мужа?..) и перечитывала его, Алешины, письма. «Ты замечательные письма писал!..» Монахову стало горячо, неловко за детскость оставшихся на бумаге слов. Он их не помнил — она знала наизусть. «Да брось, я двух слов еще не умел связать...» — «Умел, умел!»

Однако в этом смущении не так просто было разобраться: кто кого стыдился? Этот ли Монахов того, тот ли Алеша — этого?.. Было ли Монахову неловко за Асин избыток сентиментальности (неожиданный для него) или — за недостачу своей?.. Ведь это он ее любил, она — нет, а что вышло?.. Он был уверен тогда, что не переживет, — но смерть его прошла, как болезнь, будто и не бывало. А у нее, оказывается, именно это и было в ее жизни. Чуть ли не одно это и было — он. Конечно, преувеличение, заман... однако, во всей ее неискренности, в письма свои Монахов почему-то верил. Ведь это она его предала, а неверным теперь оказывался он. Изумила его эта верность предательницы.

«Надо же! За десять лет и не встретил ни разу — как исчезают люди! А может, десять лет исчезли?» — так думал Монахов и вдруг подошел к больнице. Справился о здоровье жены: все было в порядке, давление упало, и скоро ее выпишут, чтобы она уже дома дожидалась срока. Он написал жене письмо, слова не шли, и он не мог ни о чем вспомнить, о чем бы таком написать. И лишь отойдя порядочно от больницы, вспомнил, что спешил поделиться с женой радостью по поводу утренней своей удачи.

Мать пекла пироги и курсировала по коридору из комнаты в кухню и из кухни в комнату, все что-то забывая и вспоминая. Монахову никак не удавалось остаться наедине с телефоном. Он с удивлением обнаружил сам, что нервничает. Он чувствовал себя, как десять лет назад, может, чуть глуше, но так же. Чувства его свернули на боковую, заросшую, но удивительно знакомую тропинку. И в этом смысле он становился на десять лет моложе. Хуже было то, что он почти тут же сознавал это, не успевая чувствовать долго. Во всяком случае, запахивая пальто и бурча невнятно про сигареты, которые якобы кончились, он испытывал почти удовольствие от позабытых волнений, выскакивая на улицу.

В автомате, набрав номер, в ожидании гудка, он уже заволновался по-настоящему, без наблюдений и фиксаций: а вдруг ее нет или номер неправильный... время для него на мгновение выпало, и он вздрогнул, услышал неожиданный голос, и, уже понимая, что это Ася, на всякий случай спрашивал: Агнессу Михайловну.

— Это же я, глупый! — говорила Ася. — Подъезжай ко мне.

Детский сад, которым руководила Ася, находился на окраине, в новом районе. Монахов распрямылся и шел все более упруго, приближаясь к цели. Уверенно спрашивал дорогу. В какой-то момент спохватился и почувствовал себя неумным. «Неужто победительку обязательно быть глупым?» — было подумал он, но тут же как бы обрадовался этому поглупению и как бы похвалил себя за него: «Зато насколько полноценнее я себя чувствую», — сказал он себе с полуусмешкой.

Желтоватый дом стоял в парке, выгороженный заборчиком. Парк был пуст, Монахов пересекал вытоптанную площадку перед домом, огибая горку, и гриб, и порожного лебедя так решительно, так — как бы ни на кого не глядя, словно шел в толпе, где все останавливались, поворачивались и с восхищением смотрели ему вслед. Он чувствовал себя выше своего роста. Он очень быстро рос, подходя к дверям, vestibule и лестника были уже малы для него — это казалось естественным для детского сада, — на лице Монахова появилась добрая улыбка, он поднимался по лестнице, как бы мимоходом приостановившись и потрепав по голове выбежавшего навстречу озорника, но было тихо и пусто. Весь шум был шумом крови Монахова. Открывая дверь

с табличкой «Заведующий», Монахов был уже так высок, что слегка пригнулся, чтобы не задеть головой прилоку.

Ася встретила его очень деловито, почти не взглянула. Монахов тут же стал своего роста, это получилось резковато, так что он почувствовал себя приниженно. И низкое кресло неожиданно глубоко просело, и Ася за столом возвышалась над ним — его омоложение схлынуло. Ася сосредоточенно переписывала с черновика. «Учебный план», — прочел Монахов заглавие. Ася подчеркнула его по линейке красным карандашом. Монахов хотел пошутить по поводу учебного плана в детском саду и не пошутил. А так и продолжал молча сидеть. Кресло было неудобным.

Зазвонил телефон. «Милочка!» — Ася закудаhtала. Монахов откинулся, вжимаясь в кресло, глядя на Асю издалека, отчуждался. Ася уже договаривалась прийти примерить: «Ты никому, смотри, больше не предлагай. Мы к тебе зайдем». Ася рассмеялась по-своему звонко, отдельным от себя смехом: «Нет, нет, ты не знаешь!» — и подмигнула Монахову.

Повесив трубку, она выбежала из-за стола и села Монахову на колени. Поцеловала. Рассмеялась. Монахов попробовал, в свою очередь, поцеловать ее, она ускользнула.

— Сейчас, Алеша. Еще один звонок, — сказала она, озаботившись.

Это был деловой звонок. Монахов слушал Асю и немножко удивлялся. «Это возмутительно! — говорила она. — Ведь дети мерзнут!» — она стала расстегивать халат. Под халатом была рубашка. Это было неожиданно для Монахова. Ася поймала его взгляд, посмотрела сама себе на грудь и вдруг взглянула на Монахова так откровенно и просто, что Монахов задохнулся. «Какое мне дело! — тут же вскрикнула она. — Хотите нажить неприятности? Завтра будут», — и бросила трубку.

Этот тон, каким она говорила по телефону, и этот ему взгляд очень польстили Монахову, он бы не мог ответить себе — почему.

Ася проходила к шкафчику, на ходу сбрасывая халат, натягивала кофту, говорила «застегни», подставляя спину. Монахов бережно тянул молнию. Входила нянюшка. Монахов продолжал сидеть в том же кресле, но уже как будто что-то тайное произошло в этой комнате: поза его была той же, но раньше она была неудобной,

а теперь небрежной. Он снисходительно прислушивался к разговору. Нянюшка, белесая девица, что-то быстро сказала, невпопад взглядывая на Монахова не то с любопытством, не то с замешательством, и это ему тоже льстило. Он вдруг заметил, что Ася умно смотрит на него, и смутился, отвернулся. Нянюшка сбилась. «Ладно, Настя, ступай», — сказала Ася.

Выйдя из детского сада в парк, они увидели, как два мужичка, тщательно расположившись на скамейке, выпивали и закусывали. Монахова умилила эта мирная картинка, и он сказал Асе:

— Может, выпьем где-нибудь?

— Мне нельзя, — сказала Ася.

В который раз у Монахова схлынуло в предчувствии поражения.

И дальше Монахову временами становилось вовсе непонятно, что происходит. Он проталкивался за Асей по магазинам, задевая ее сумкой чужие ноги. Ася в магазине становилась так далека от него, он снова вспоминал чувство десятилетней давности, когда вот так же сопровождал ее, и, хотя теперь он не страдал и был независим от Аси, ему становилось неуютно видеть в Асе свое столь полное отсутствие. На Асином лице было одно из немногих не подвластных ей выражений, когда она щупала вещи, — пристальное, цепкое, такое поглощенное, оно было настолько чужим и непохожим, что не только влюбленному, но и нынешнему Монахову становилось не по себе. Словно выдавало ее с головой, словно сдергивало парик, и это не подвластное ей лицо с испугом осознавалось истинным. И когда, отходя от прилавка, она оборачивалась к Монахову, на секунду примерив прежнее свое лицо, натянув улыбочку, поспешно, кое-как, так, что два ее лица как бы не совмещались на какую-то секунду, и на бровь одного приходился глаз другого, а губы — в одну щеку, Монахову казалось, что она держит в каждой руке по маске на палочке и немножко путается, какую приложить, но она уже устремлялась в следующий отдел, отдел обуви.

Они купили туфли, которые Ася тут же надела.

Она была счастлива, прижимаясь к Монахову, заглядывала, смеясь и щебеча: он начинал чувствовать тепло, приятно смущался, и ему казалось, что это он купил ей туфли.

Он заходил вместе с ней к одной знакомой по делу. Тощая темнолицая женщина с седыми нечесаными во-

лосами, в нечистом халате, расшитом хризантемами, подавала свою жесткую руку и представлялась: «Тося». Ася начинала издалека. Монахов сначала не понимал, а потом устал пытаться понять. Женщина судорожно курила, но судорожность эта была лишь манерой: женщина отнюдь не волновалась — волновалась Ася. Они перешли на полусшепот, а потом и вовсе скрылись в соседней комнате. Монахов листал журнал «Болгарская женщина». Асин голос стал возбужденно громок за стенкой, но слов было не разобрать. Монахов закрыл журнал. На обложке была изображена знатная сборщица табака, и тогда он догадался закурить.

Ася вышла, явно поссорившись.

— Пойдем,— бросила она Монахову.

— Дай закурить,— сказала она, остановившись на площадке этажом ниже. Жадно затянулась.

— Что случилось?— мутным голосом сказал Монахов, и его насторожило, что ему совершенно все равно, что там стряслось у Аси, и, более того, он не хочет этого знать.

Ася внимательно взглянула на него и, как бы стряхнув с себя все это, мужественно улыбнулась.

— Ничего. Пойдем,— сказала она.— Пойдем к той подруге, с которой я, помнишь, говорила по телефону.

Ехали они уже молча. Монахов туповато и покорно поддался чувству ведомого. Ему было безразлично куда, и он не запоминал дороги. Он вяло ждал неизвестно чего. Все это просто так сегодня уже не могло кончиться. Но инициативу в какой-то момент определенно взяла на себя Ася, и он сразу спаразитировал, предоставляя ей все заботы, и только слегка подумал, что когда-то все было наоборот. «Если кому-то надо ухватиться за тяжелый конец, то ухватится за него тот, кто ухватится за него первым», — косноязычно подумал он, мысль вдруг стала трудна ему.

На лестнице Ася приостановила его. Быстро и деловито, по-родственному чмокнула в щеку.

— Ты тут подожди,— сказала она.— Я с ней поговорю сначала, а потом тебя позову.

Монахов остался обдумывать эти слова, Ася же исчезла в радостных возгласах.

Он сел на батарею. Она была холодной. «Ведь вот, еще не топят...— медленно подумал он.— Еще не зима...» Ему было зябко и вдруг показалось, что он уже очень давно ждет. Много лет. Люди поднимаются по

лестнице, слегка измерив его, скрываются в свои норы. Монахова несколько не волновали и не смущали их взгляды, что они могли подумать, что он ждет тут кого-то, как мальчик. «В том-то и дело, что я уже не мальчик...» — не то важно, не то грустно ответил он. Это когда-то ему казалось, что все про него все знают и всем только и дело, чтобы влезать ему в душу. Теперь эти взгляды не трогали его. Это были теперь не те взгляды, что когда-то. В конце концов он, быть может, просто привык к человеческим взглядам, теперь-то он знал, насколько им все равно: есть он, нету его, — и во взглядах людей прежде всего видел незаинтересованность в нем, Монахове. «Да и что тут интересного...» — подумал он.

Он закурил. И голова вдруг закружилась. Это было по ощущению в точности так, как когда-то, когда он начинал курить. На секунду Монахов почувствовал себя очень юным. «Это от голода, — тут же сообразил он. — Я с утра ничего не ел, — скучно подумал он. — Да, все повторяется... — печально подумал он. — Все ситуации те же. Как оттиски. Точка в точку. Только бледнее. Или как пластинка засточила. Все то же, только звук с каждым оборотом хуже. Хрипы, трески... Все то же, только мы уже не те...»

Он с тоской посмотрел на дверь, за которой скрылась Ася. Когда же она наконец позовет его? Ему уже ничего не хотелось, только погреться бы, напоили бы хоть чаем... «Да и хотелось ли мне?... — вдруг подумал Монахов. — Уйти, что ли?» Но продолжал ждать.

И думал о том, что все то же... Что вот она заставляет его ждать, назначает сложные свидания, таскает его за собой по путаному маршруту и графику — все так же, но все уже не то. Он вот несколько не страдает от этого, как раньше. «Я допускаю ее отдельное от меня существование, — подумал Монахов. — Я допускаю отдельную и самостоятельную жизнь, соглашаюсь с этой жизнью. Попросту — я равнодушен».

Монахов задремал. Ему померещилась больница. Он встряхнул головой и увидел перед собой Асю. Она рассмеялась коротким, оборванным смехом.

— Ну пошли, — сказала она решительно.

Монахов встал на затекшие, не свои ноги. Ася взяла его под руку и, вместо того чтобы повести наверх, потянула вниз по лестнице. Он вопросительно посмотрел на дверь Асиной подруги.

— К ней сегодня нельзя, — сказала она.



Тут время опять выпало.

Он услышал долгий, нечеловеческий, но нестрашный почему-то крик. Странно далекий и близкий одновременно. Почему-то несколько не удивился крику и очнулся у кондитерской фабрики. Это было понятно по мерзкому сладкому запаху, который и вернул его к действительности. Улица была пуста, фонари горели отчужденно, и это была уже ночь. Они шли, и подошвы его горели. Это был далекий окраинный район, и тогда Монахов понял, что они прошли пешком через весь город. Поминутно они останавливались и долго и испуганно целовались. Рука Монахова обнимала Асю за шею, рука как-то затекла и ничего не чувствовала. Ему было неудобно так идти, но руку, которую он вдруг обнаружил столь странно, так вдруг убрать он тоже не мог. Он ничего не понимал. Из подворотни высунулась дворничиха. Ася отскочила в сторону и рассмеялась, как девочка. Монахов потряс свободной теперь рукой и идиотски захохотал. И они побежали.

«Пойдем так», — сказала она.

В парке на центральной аллее еще горели фонари и был кое-какой народ. Монахов понял, что еще не так поздно. И только тогда он догадался взглянуть на часы — не было даже одиннадцати, приложил к уху — нет, они не стояли. Народу на аллее было несколько пар, немного — они как бы высывались из боковых темных аллеек, хмурились на свет и снова пропадали; остальной же народ, разрозненный, озабоченный и спешащий, имел одно направление — на электричку: короткий путь лежал через парк. Чумазый, как бы состоящий из одних теней парень попросил у Монахова закурить, и опять только тогда Монахов понял, что давно не курил, и с наслаждением, уверенно и самодовольно поглядывая на свою даму, закурил сам. Все сегодня он понимал лишь с помощью других: и время, и место, и собственные желания, — сам бы уже не догадался.

Тропинка пошла вниз, и повеяло холодом. Тогда воздух показался Монахову свежим. Он вдохнул его чрезмерно глубоко и сделался сентиментален.

— Будто ничего не изменилось... Так я не ходил десять лет. Будто и время не прошло...

— Да, нам опять негде, — сказала Ася.

Монахов, переполнившись, попробовал снова привлечь к себе Асю, но она увернулась.

— Давай лучше посидим покурим, — сказала Ася.

Тут, у пруда, было совсем темно. Монахов некоторое время сидел молча и как бы отдельно, деревянный от оборванного своего движения. Тишина и темнота, окружавшие его, постепенно наполнялись шорохом и всплеском: что-то ворочалось в кустах, большое и неловкое, но не в одном месте, а как бы перепрыгивало за кустами и, устроившись поудобнее, снова вспархивало и казалось Монахову надутым матрасным мешком.

— Я тебе не рассказывала,— сказала Ася,— тут хулиганы... Тут вечером опасно... Тут недавно девочку одиннадцати лет изнасиловали и зарезали...— Ася снова хохотнула, и Монахову показалось, что она отодвинулась, он неловко и грузно повалился вперед, на Асю.

— Не надо,— сказала она и, легко вывернувшись из пустых его рук, встала. Она стояла над ним, Монахов остался полулежать, опершись о локоть, и смотрел, как она поправляла вздернувшуюся юбку. Коленка, бывшая у него перед глазами, померещилась ему мордочкой, он посмотрел на неясное пятно Асиного лица и поразился сходству.

— Вставай, вставай,— сказала Ася.

Монахов тупо встал. Ася пошла вперед, он последовал, чувствуя себя неуклюжим.

— Это самый короткий путь,— сказала Ася.

Монахов уже не задавал себе вопрос, куда он, короткий этот путь.

— Вот мы и пришли,— сказала Ася.

Монахов стоял перед двухэтажным домом. Окна в нем не горели. Парк кругом был темен, а на площадке перед домом на одиноком столбе горела сильная лампа. Свет падал из-под колпака широким конусом и освещал горку и деревянного лебедя, казавшегося черным, и первый этаж, в пол-окна.

— Откуда ушли, туда и пришли,— сказал Монахов с непонятной самому себе интонацией.

— Ты тут подожди,— сказала Ася. Она согнула ногу и сняла туфлю, вынула ее из-за спины, как бы желая вытряхнуть камушек, и подала Монахову. Он машинально взял. Она стояла на одной ноге, а он не понимал. Тогда она подала ему вторую туфлю. Монахов стоял, держа перед собой туфли, по одной в каждой руке. Ася перед ним стала ниже ростом и от этого как-то беззащитней и ближе. Она была сейчас перед ним прежней Асей, какую он знал когда-то,— ну да, тогда ведь высоких каблуков не носили...

— Ты не ходи,— сказала она.

Он видел, как она пересекла освещенное пятно, приближалась к дому. Монахову не было ни холодно, ни страшно, но, один, он вдруг стал дрожать крупной, бессонной дрожью, как конь. Белым ночам было явно не время, должно было быть совсем темно, однако какой-то призрачный свет все стоял у Монахова перед глазами и поворачивался вслед за ним, но за светом этим он уже ничего не различал. Будто это он сам светился. Время чрезвычайно замедлилось, вытянулось — собственно, остановилось. Так ему казалось, или так он потом вспоминал об этом. Он не ручался бы, что все именно так, как он видел... Может, она и не пошла бы в чулках по песку, может, он ее до самой двери проводил и лишь там, на пороге, вручила она ему свои туфли, а он потом отошел под гриб... Но почему-то в памяти она долго шла босо к дому, а Монахов даже и потом поджимал пальцы в ботинках при воспоминании. То, что она так изменилась без каблуков,— это помнил. Помнил или видел?.. Она шла неловко и задела юбкой клюв лебедя. Приникла к двери ухом. Подергала, попробовала какой-то клюк. Тот, видимо, не подошел. И тут все стало уже очень странно — так ему казалось, или так он потом вспоминал, будто Ася, крадучись, чтобы быть ниже окон, прошла к пожарной лестнице, отряхнула ладошкой одну ступню и поставила ее на железный прут, первую ступень, затем отряхнула вторую и так медленно полезла вверх. И так Монахов ощутил за нее холод железа, что протянул ей вслед ее туфли безотчетным, глупым движением... Ася пересекла линию света и оказалась в темноте. Монахов еле различал медленное и громоздкое теперь пятно. Может, и не различал. Может, она и не лезла, лишь подергала за лестницу и от такого безумия отказалась, Монахову, во всяком случае, это казалось преувеличением, что она по лестнице лезла. Однако он допускал и такое. Было, могло быть или не было — находились здесь в некоем равновесии, если не равенстве. Обозначали факт, хотя им и не были. Острое, слезное чувство владело Монаховым. «Да,— думал он восхищенно и пораженно.— Она же здесь начальница. Вот ведь недаром... Недаром все это со мной тогда было... Именно это я в ней любил...» — думал он, следя за темным пятном, угадывая в нем Асю и проглатывая судорожный комок в горле. В этом своем невнятном восторге различил он ее как бы стоящей на подоконнике —

она дергала раму, и та не поддавалась. Монахов затаил дыхание, мальчишечье волнение и какой-то веселый страх распирали его. Может, только вот это волнение Монахова и было, ничего, кроме него, и не было... Но звон стекла был уж точно. Вдруг он услышал хруст и звон рассыпавшегося стекла.

Ася выругалась. Внизу загорелись сразу три окна. Монахов стоял ни жив ни мертв. Во всяком случае, когда он снова осмелился поднять глаза туда, где, казалось ему, должна была повиснуть Ася, ее уже не было. Он услышал в тихом доме громкие, подбадривающие себя голоса; свет зажегся и на втором этаже. Затем голоса стали глуше, и свет наверху погас.

Монахов стоял за кустом и напряженно следил за домом, нелепо держа перед собой Асины туфли. Но в этой тишине он различал лишь шорох сосны за спиной и внезапно сник и завял, и ему стало зябко; он опять подумал, что не ел целый день.

Ему показалось, что уже светает, он понял, что прошло время, сколько — он не знал, но он стоял тут с туфлями под кустом уже целую вечность. Дом был снова слеп и нем.

Замирая от смелости, он сделал шаг из кустов. Постоял озираясь. Мелкими шажками, неся руку с туфлями впереди, как бы следом за ними, перебежал он площадку и встал под грибом, пристально вглядываясь в темные окна. Под грибом он стоял тоже долго, прежде чем решился — и тут им снова овладело детское и радостное чувство опасности и страха — перебежать к двери. Приник к ней ухом и ничего не услышал. Только что-то тикало там внутри. «Внутри» ему представлялось черным и густым, как вар, тикало, как мина. Что-то громко скрипнуло, сердце Монахова громко подпрыгнуло вверх и там где-то остановилось не стуча. Он отпрянул от двери и прижался к стене. Но это было просто так — показалось, снова та же тишина. Уже не понимая, что делает, он, как прежде Ася, подкрался к пожарной лестнице и уже занес ногу на ступень... «Алешша» — услышал он шипящий шепот, вздрогнул, наступивший, и увидел на пороге распахнутой двери Асю — она манила его. Неуклюже и как будто виновато, потупившись, он вернулся назад, и Ася, цепко и больно ухватив его за руку, втянула внутрь, в темноту. В темноте он почему-то все совал ей туфли, она же нетерпеливо и жестко подталкивала его вперед; одну туфлю он

уронил, что наполнило весь дом страшным грохотом. Ася недобро зашикала. «Не споткнись,— сказала она,— тут ступенька». И он споткнулся. «Агнесса Михайловна, это вы?» — послышался отдаленный голос. «Я, я!» — сердито откликнулась Ася, резко устремляясь по коридору вперед и немного наверх, волоча за собой Монахова и жестко сжимая ему руку. Она втолкнула его куда-то. «Сиди тихо и жди», — сказала она и закрыла за ним дверь. За дверью зажегся свет и выбился в щель. Кто-то окликнул Асю, она ответила бодро и звонко, и оба голоса, оживленно переговариваясь, поспешно удалились.

Монахов огляделся. Это была большая комната во много окон. Окна выходили на две стороны, и из них шел небольшой свет. Косые и призрачные тени переплетов ложились на пол. В углу темнели большие фикусы. Вдоль стен рядами стояли маленькие стулья. В центре помещался корабль с флажками, в комнате было как-то очень пусто и прибрано. Это была, как сообразил Монахов, комната игр.

Стараясь не шуметь, не скрипнуть, Монахов сделал три тяжелых шага и грузно опустился на маленький стульчик у стены. Он смотрел на узкую щель света из-под двери и прислушивался. Только сев, он почувствовал, как устал. Некоторое время он тупо смотрел в призрачные мерцающие окна и ничего не думал. Глаза уже хорошо видели в темноте. Он разглядел даже портрет кудрявого мальчика на стене, когда дверь приоткрылась, свет кубом вошел в комнату, выхватив из нее Монахова, и в комнату проскользнула Ася. Она была уже в халатике. «Жив!» — сказала она, смеясь. Лицо ее было диковато и красиво. «Жив», — сказал он. Ася порывисто обняла его, по-юному неумело прижав его голову к груди и так на секунду застыв в неловкой позе. Монахову какое-то неудобство в шее, и дышать трудно... Он деревенел в ее объятиях и ничего не чувствовал. Ася вдруг отодвинулась и присела перед ним на корточки. «Ты что? — сказала она, держа его голову в руках, как бы повертывая и разглядывая. — Ты это что?» Монахов молчал. «Ладно, — сказала она, — посиди еще немного. Я сейчас приду». Она резко поднялась. «На», — она сунула ему что-то в руку и вышла. Это были два небольших яблочка, в черных жестких точках. Монахов недоуменно повертел их. «Ева, — сказал он. — Адам...» Он укусил яблоко — ему показалось, что треск яблока раздался на весь этот мертвый дом. Где-то под ним, над

ним, со всех сторон, спали дети, как личинки. Монахов располагал этих детей в заплочном своем пространстве, но они были неодоушевленными для него. «Эти яблочки им давали сегодня на третье...» — сообразил он. Он понял, что ничего не хочет и не ждет, и ему стало гадко от себя. Ася была ему как бы понятна и казалась прекрасной, он же сам себе сильно не нравился, потому что, казалось ему, должен был сейчас быть в некоей буре чувств и желаний, иначе как бы он тут оказался, среди ночи, в спящем детском саду, в комнате для игр? Что бы его сюда привело, взрослого солидного человека? с семьей и положением? Он подумал, что все какая-то кошмарная, крошечная подтасовка, подмена всех желаний, чувств, мыслей, и там, где мы (он думал о себе во множественном числе) осознаем, что чего-то хотим, то уже и не хотим, а хотим лишь, пока не понимаем еще, что с нами происходит. Что желание — и не есть желание в том смысле, в котором можно рассказать о нем и изложить его, а что-то совсем другое. Что желание теряется где-то на полдороге и чуть ли не при первом шаге... И даже безрассудство — вовсе не доказательство силы желаний и чувств, а лишь свидетельство нашей к ним неспособности. Одна лишь видимость решительности, на самом деле — полная растерянность перед мутностью и неясностью собственных ощущений. Ах, что так — что этак... Верность любого обобщения испугала Монахова.

Когда, в детстве, были реальны чувства — нереальны были люди: они были носители, объекты, они были — образы. Когда опыт придал людям реальность в наших глазах: вот они перед нами, объективные как есть, объемны, без суда, — нереальны стали наши чувства. Теперь чувство стало образом, образом чувства. Чувства нет, а есть его образ: не любовь — образ любви, не измена — образ измены, образ дружбы, труда, дела и т. д. И человек с опытом стал еще меньше разбираться в этом мире, чем ребенок, еще более запутался в нем из-за нереальности собственных чувств. У него появился выбор там, где раньше чувство не предоставляло выбора: любить — не любить, сделать — не сделать, поступить — не поступить... И оба варианта, по опыту, вдруг оказались однозначны, равновеликий выбор...

Он обводил потрясенным взором призрачный объем неожиданного помещения, и оно казалось ему удивительно подходящим, заслуженным и оправданным

в своей неправдоподобности. «Со мной уж только неправдоподобное и должно происходить...» — горько усмехнулся Монахов. Господи! как мучителен опыт! Не приобретение его, не рождение, нет — сам опыт, его наличие. Какая нечистота!

Почти так думал он, гремя яблоком, и оно грохотало, когда он его жевал, грохотало в его голове, как камнепад, и лишь постепенно, внушением, убедил он себя, что это не всеобщий грохот, от которого все просыпаются и вскакивают с постели и несутся с криками ужаса и непонимания, а лишь его собственный, маленький, внутренний грохот, в полной, глухой тишине. «И мы в тиши...» — какие-то строчки вспомнились ему, забубнили в нем. «И мы в тиши та-та-та-та...» Откуда, чьи?.. Они очень нравились ему когда-то — это он вспомнил, — волновали его. Хотя он их не понимал тогда. Будто своей непонятностью они ему нравились...

И мы в тиши полураспада  
На стульях маленьких сидим...—

только и удалось вспомнить ему теперь. И тут холодный восторг понимания, полного понимания этих невнятных строк поразил его. Надо же! Как бы ни был далек поэтический образ, чужд и странен — он прежде всего всегда конкретен, даже не только точен, а именно предметен до чрезвычайности. Вот он, Монахов, сидит на маленьком стульчике, в такой уж тиши... У-ди-ви-тельно! «Это о нем, именно так, правильно, так...» — с уничтожающим восторгом думал Монахов, слезы навернулись ему на глаза. Тогда он эти стихи помнил, но не знал, а теперь знает, но не помнит... Слезы наполнили ему глаза и тут же кончились, хотя ему так хотелось плакать безудержно, навзрыд — но уже не получалось, уже прервалось. Разучился... И он лишь длил их, две сладкие большие слезы, боясь сморгнуть.

Сверху заплакал ребенок. Монахов взглянул на потолок, и слезы скатились. Снова раздался голоса, возбужденные, они росли, приближались. Один был Асин, убеждающий, другой — неприятно простой, подозрительный. Монахов больше не пугался, не замирал, и сердце его не екало — размеренно билось его сердце, и, даже если бы сейчас его арестовали и повели скованного, он, казалось, не возражал бы.

Но Ася переубедила, шаги, голоса стали удаляться, и тогда в Монахове что-то испарилось и исчезло, как то же облачко. Он смотрел в окна — они, пожалуй, осветлели: стулья и кони выплыли из углов и потеряли в таинственности, становясь просто скучными, облезлыми. Он чувствовал себя ждущим словно бы с температурой в больнице, чтобы получить бюллетень, ждущим с пустотой и апатией начинающегося гриппа, чтобы уйти после всех этих ненужных осмотров и записей и тихо лечь и попытаться уснуть. Впервые, быть может, за этот день зашевелилось в нем и опасение перед домом, поздним возвращением и объяснениями. Правда, жена в больнице, но тем более ему должно быть стыдно и неловко — однако эти совестливые веяния он прогнал. Он еще отодвигал предчувствия расплаты и даже подумал: за что и какая тут может быть расплата? Просто объяснить ничего никому по правде невозможно... Ну, соврет что-нибудь: жена-то в больнице, а мать его не выдаст... Тут же он морщился от подобных своих соображений, но беспокойство росло, и озабоченность, как все это кончится и утрясется, кружила над ним и снижалась.

И когда Ася снова вошла, они посмотрели друг на друга в этой предрассветной, казенной и нетаинственной комнате издали, отчужденно. И лишь секунду какую-то было Монахову неприятно, что и Ася — тоже, что в ней тоже кончилось, словно этих перевязанных ленточкой писем было все-таки жаль, словно, давно потеряв Асю, все еще мог он ее терять... Но это лишь на секунду — он тут же внутренне с нею согласился, и так было даже удобнее ему и быстрее.

— Ты знаешь, — вяло сказала Ася, — там стерва одна что-то заподозрила... Придется тебе сейчас уйти. Ну дождетсЯ она у меня! — Тут у Аси в голосе появилось чувство. — Пошли. Надо быстро пройти, пока она снова не высунулась. Я ее в кладовку упрятала...

— Как упрятала? — равнодушно удивился Монахов.

— Ну, послала... Ну иди же!

И они пошли, и путь был куда короче, чем показалось сначала Монахову. В дверях Ася сказала равнодушно:

— Ну, ты повонишь?

Монахов помялся ответить.



Тогда, на секунду, взгляд Аси стал как-то глубок и внимателен, в нем блеснул печальный огонек усталого ожидания и погас.

— Позвоню... — невнятно сказал Монахов.

— Позвони, слышишь? — вдруг звонко и отчаянно зашептала Ася. — Позвони обязательно! Слышишь? Слышишь! — трясла она его, будила...

— Позвоню... обязательно... — сонно сказал Монахов.

И вот дверь за ним закрылась, и он степенно пересек площадку перед домом, сдерживая внутренний бег, а когда свернул за куст, где на секунду увидел себя стоящим с туфлями в руках, вздохнул изо всех сил и побежал. Он бежал через парк, уже светлевший в темных своих деревьях, словно кто-то гнался за ним, и даже действительно мерещились ему бандиты и хулиганы, которые его сейчас остановят и прирежут. «Справедливо, справедливо», — приговаривал он себе на бегу. И лишь выбежав из парка и столкнувшись с бессонным постовым, в нерешительности посмотревшим на него: остановить или не остановить! — лишь тут словно споткнулся и перешел на шаг, трудно дыша. Из-за поворота, повизгивая, выехал ремонтный трамвай, это было Монахову по дороге, и, не ожидая от себя такой дерзости и прыти, Монахов улыбнулся милиционеру, подмигнул и вскочил на подножку трамвая. Милиционер погрозил кулаком — и все.

Монахов ехал домой, и ему легчало. Его мотало на рассветном, выплывающем из пара мосту, и он радостно глядел на мир. И то, что могло показаться ему неудачным приключением, вдруг вполне устроило и даже обрадовало его и чуть ли не исполнило удовлетворения. «Какое счастье, — думал он, — что ничего не произошло». Так ему нравилось то, что он не достиг сегодняшней столь владевшей им цели, что это случайное воздержание и неожиданная чистота чуть ли не начинали казаться ему собственной заслугой, побежденным искушением и подтверждением его высоких нравственных качеств. «Ничего не произошло, ничего не произошло», — повторял он себе, и лишь на мгновение мелькнуло в нем, что в этом «не» заключено что-то безнадежное и последнее, и нечем тут гордиться... но все быстро перешло на размышления, что же сказать матери, и ничего не шло на ум. «Я устал врать, не хочу», —

почти самодовольно думал тогда он, прибавляя и эту свою сейчас неспособность придумать оправдание к удавшемуся сегодня воздержанию. «Как бы я пошел в больницу, как бы посмотрел ей в глаза...» — удовлетворенно думал он. И довольство собой, своей женой, своей жизнью, которая, не получаясь и распадаясь каждый день, все-таки получается в сумме этих дней, наполняло его. «Надо бы все-таки что-то придумать», — снова подумал он, спрыгнув с трамвая. Тут уже было совсем близко до дому, и вдруг его осенило, что можно и не придумывать, а рассказать все как было. Почти все. А если бы было... «Я бы так не мог», — подумал он.

«А что, может, я еще ей и позвоню... — думал он дальше, почти с легкостью, как под горку, и, придавая себе вид окончательной бодрости и наглости, поднимался по лестнице. — Может, мы еще и встретимся».

Пока он топтался у двери, доставая ключ, и лез им в замочную скважину, дверь распахнулась, и на пороге стояла растрепанная бессонная мать.

— Ты? — сказала она холодно.

— Я, — сказал Монахов, потупляясь, и бодрость слетела с него.

Мать, пятясь, отступала в прихожую, и Монахов робко следовал за ней, нежно прикрывая за собой дверь, чтобы не шуметь. И боялся поднять глаза, зная взгляд, который был сейчас устремлен на него, его холодность и поджатость губ.

Мать перестала отступать, и Монахов замер перед ней.

— Где ты шляется? — сказала мать.

Монахов молчал, чувствуя, как в нем нарастает холодное и жесткое нахальство.

— Мальчик... — вдруг всхлипнула мать, и Монахов изумленно и испуганно, медленно начал поднимать взгляд. — Мальчик... — всхлипнула она, обнимая его своими легкими, как сухие лепестки, руками. — Дай я тебя поцелую... У тебя мальчик!

Монахов смотрел с ужасом.

— Ну же! — вскрикнула мать, целуя его в бесчувственную, устраняющуюся щеку. — У тебя сын!

— Почему сын? — сказал Монахов.

## I

— Нет, меня не надо провожать,— сказал Монахов, еще раз легко обнимая мать, припавшую к его груди, как пушинка, и, поколебавшись, добавил для окончательности:— Меня проводят.

Мать покорилась.

Отец его спал одетый, забывшись очередным сном: закинув голову, приоткрыв рот; нос его заострился, кожа впалых щек была белее длинной седой щетины... Монахов склонился над этим пейзажем щеки. Силы жизни как-то просторно клокотали в отце, словно слишком свободно помещаясь и просясь наружу из брэнного, лежавшего поверх одеяла, словно не проминавшего уже постели тела. Монахов склонился к отцу с бережным поцелуем и сумел не подумать э т о г о.

И он уже уходил, разметавшись во все стороны: с тяжелым портфелем в одной руке, с корзиной фруктов — в другой, полы его плаща завивались вокруг них — он путался и спотыкался, но не падая, а как бы взлетая. В сенях он натолкнулся на кадку — ковшичек с досточки упал в воду. «Ничего, ничего»,— сказала мать. «Поцелуй жену...»— сказала она не вполне уверенно.

На это можно было уже не отвечать.

Он еще раз клюнул мать в лоб, благо обнимать не мог — руки заняты, вышиб пинком дверь и уже мчался с той же стремительностью, как неделю назад стремился сюда. В конце улочки оглянулся в последний раз — на крылечке мать... Улочка стала вдруг выпуклой, как в линзе — короткий фокус слез — укоротилась: особенно глянцево, вся в отдельных листиках, глянула из-за заборчиков листва; как на открытке, засинело небо в конце улицы, словно был там край земли и обрывался — матушка на крылечке...

Так эта картинка остановилась и за углом исчезла; Монахов вышел в другое пространство и вздохнул с облегчением, чуть смутившись своей искренности и удивившись силе любви, восстановившейся в нем.

За углом был уже другой город: гремел трамвай, медленно и тупо мчались такси, достраивались — гор-

дость города — двадцатизэтажные коробки: универмаг, универсам, университет... И тут Монахову везло — вопреки ташкентским правилам, у его ноги освободилось такси; он плюхнулся, расправившись и поважнев.

— Аэропорт? — спросил водитель, упрятав корзину в багажник.

— Прямо, — сказал Монахов.

Машина рванула. Ниточка, связывавшая его с родительским домом, натянулась и лопнула.

\* \* \*

Монахов собрался в Ташкент совершенно неожиданно. Неожиданным было то, что он не только собрался, но и впрямь поехал. То есть он так давно туда намеревался и так давно все не ехал, что не поехать еще раз и еще раз не составляло уже и переживания. Так он мог и никогда не поехать. Скорее всего как-нибудь на недельку приехала бы мама. Отца он не видел три года.

Как, ужели три года? Никак бы и не подумал, что три... Будто вчера, а если уж не вчера, то по крайней мере десять лет прошло, а не три. Чуть ли какая-то. Годы эти прошли, как барабанная дробь, снаружи, сверху. Кто-то ходил по крыше, шарил, зажигал фонарик. Монахов переворачивался с боку на бок в неточном сне. Развод, диссертация, автокатастрофа, молодая жена. Никто из них не умер... Выеденное яйцо. Середина. Седина.

Но и вот еще, оказалось, что: пока шла его жизнь, прошла жизнь и его родителей — несложная такая история под названием «вся жизнь»... Войну — полумладенчество-полудетство Монахова — провели они всей семьей в Ташкенте, но и после войны отец все что-то строил в Азии, какие-то громоздкие многолетние сооружения... Там и подал в отставку. Что-то у него, смутно, было; собственный домик, чуть ли не тайная семья (до сих пор Монахов толком не знал: оба его родителя сумели прохранить сквозь его юность гробовое молчание). Там отец и застрял, привыкнув якобы к климату. Но вдруг (именно этих двадцати лет Монахов и не заметил...) — постарел, заболел, остался один, чуть ли и домик от него не отсудили... Мать он ни о чем не просил, но сын их, почти нынешний Монахов, перебрался к тому времени с Петроградской стороны в столицу, и она,

старуха, так и не простив, вдруг снялась и поехала к отцу, не к сыну.

В последний раз она навещала сына...

Поэтому Монахов мог сказать новой жене, что взялся за эту командировку исключительно ради родителей; родителям — что он выхлопотал себе командировку, чтобы приехать к ним; начальству — что он никогда бы не поехал, если бы не понимал всю сложность и важность дела; одному себе ему нечего было сказать: покидал он с удовольствием, но и ехать не хотел.

Однако, повернув в родительский переулок, он такой вдруг ощутил непроглотимый, но и неисторжимый ком в груди, но он не задохнулся и не заплакал. Мама всплакнула только, очень быстро и сухо; отец закашлялся, истратив в слабом объятии всю свою силу на ласку, и лег, равнодушный, будто сын и не уезжал никогда. Мама начала кормить — ни плакать, ни выражать чувства ей стало некогда. Как они постарели!

И уже получалось так, что — как правильно он, Монахов, сделал, что добился своего и приехал. Эта жертвенность, с которой он позволял любить себя, была знаменательна. Она порождала в нем чувство столь острое, что почти равное любви. Ему все время хотелось плакать. Ташкент — эта его полуродина — он ее не узнавал. Не удавалось Монахову стать, хоть и на секунду, тем босоногим и белоголовым, каким он здесь был. Не было уже того Ташкента. Недавнее землетрясение, как бунт времени, окончательно погребло его детство, дав понять, что место для родины — еще или уже не родина. Не было того Ташкента — и это же надо! — родители его жили в чудом уцелевшем закоулке. Словно родина — это они. Из своих старческих сил они удерживали воспоминание вокруг себя столь плотно, что все и уцелело до поворота... Старик был все-таки очень плох. Улочка растаяла бы, если б их не стало. Вот это-то, более или менее отчетливо и удивленно, и думал Монахов, глядя на стариков. И ему хотелось плакать — знал бы он, что над утратой своей любви. Он это понимал, однако так, что как же он все-таки любит и как нечего с этим сделать, как ничего не поделать и какое же это глубокое и нетребовательное отчаяние — любовь. Оттого казалось ему это его отчаяние — прекрасным. «Господи, каким же я стал черствым!»... — сетовал он на себя в этой связи.

Разлука их тут же и кончилась: как-то он быстро наелся и уснул, как провалился, на маминой кровати, предоставив ей любоваться собою спящим — классическая картина! — и переводить взгляд на мужа, то есть теперь лишь на отца своего сына...

...Первым, пережив в кратком сне приезд сына, проснулся отец. Сын слышал сквозь дрему его скрип и кряхтенье, понимал, что наконец дома, и не хотел просыпаться. Словно бы у него был еще шанс проснуться на несколько лет раньше, когда никакого еще такого, как сейчас, Монахова не было. Не проснуться, однако, было невозможно: отец нарочито брэнчал бритвенными принадлежностями, грохотал комодом, доставая белье... Да, не столько было непривычно Монахову проснуться в доме родителей, сколько собою: он привыкал. «Думает предстать передо мною в лучшем виде...» — не открывая глаз, Монахов все видел, знал каждый шаг своего отца: вот зашуршала половая щетка — значит, отец устал от предстоящего мытья, переключился на «полезное» дело — подметать чистый пол... Отец все тот же, сын не тот — прикидывается спящим... Мать, конечно, сейчас не дышит на кухне, чтобы не разбудить сына; застанет отца с его метлою, будет скандал... Монахов отчетливо представил себе и мать, словно видел сквозь стену: там она сидела, придумав бесшумную работу, подслеповато перебирая крупу, которую вот уже месяц не находила времени перебрать — теперь и время нашлось — мать вздохнула... Шуршание щетки стихло — и это отец устал. Щелкнул телевизор и загудел, согреваясь. Телевизор у отца плохо включался — на эту тему он был готов поговорить с сыном, но тот все еще прикидывался спящим. Тишина. Больше ему нечем себя занять. «Сейчас не выдержит — заговорит...» — ухмыльнулся «во сне» сын.

— Алеша! — позвал тогда отец достаточно громко.

Сын открыл глаза.

— Ты спал? — изумился отец. Он стоял посреди комнаты, опираясь на щетку. — Прости... Я думал, ты проснулся.

Монахов-младший умилился этой детской хитрости, улыбнулся от родного чувства.

— Ничего. Я дремал, — бархатно сказал сын.

Экран осветился, и замелькало рваное, острое изображение.

— Вот, пока не согреется, все так и будет... — скорбно сказал отец. И пока аппарат грелся, отец рассказывал о его коварстве: — Вот если сельскохозяйственная передача — прекрасно показывает. Как парное катание или конкурс балета, так и совсем перестанет работать...

Мастера все — жулики, халтурщики... Разговор пошел о том, какие стали люди — совсем не такие...

Сын охотно с ним согласился.

Это уже отца не устраивало: он стал защищать время, только что его обругав. Нет, время ни при чем: а космос, пылко говорил он, а прогресс?..

Сын рассердился: какой, к черту космос, когда...

Мама застала их спорящими. Пришла на громкие слова.

— Разбудил, конечно, — сердито сказала она отцу. — Он и не отдохнул совсем.

— Да нет, мама, я совсем выспался, — фальшивил сын-миротворец, взглядывая на готового оцетиниться отца.

— Полчаса всего и поспал... — Мать досадовала: она застала их так, будто сын никуда не уезжал, будто все три года, что отец его не видел... будто этих трех лет и не было. Отец з а б ы л, что три года сына не видел.

— Ну хорошо, — победив себя в очередной раз, бодрым голосом сказала мать. — Прими душ — и обед готов.

— Да что ты, мама! — с притворно-радостным ужасом воскликнул Монахов-младший. — Я уже на день вперед наелся... и часа не прошло.

— Оладьи... ты их так любил! — соблазняла мать.

Услышав про душ, Монахов-старший решительно перекинул полотенце через плечо.

— А тебе как раз сейчас душ принимать, когда Алеша собрался мыться! — снова взорвалась мать.

— Хорошо, мама, — вздохнул Монахов-младший. — Душ — потом.

Монахов-младший жевал оладьи и думал о том времени, когда он их любил. Он его не помнил.

Входил Монахов-старший и в награду за насилие над собой, за подвиг бритья и умывания, выглядел молотцом, глянул на сына этаким орлом-бодрячком.

— Я бы тоже вот этих штук поел... — снисходительно-шутливо говорил он жене, которая, классически подперев щеку, наблюдала жующего сына.

Мать поднялась, не скрыв вздоха.

— Ты же их никогда в жизни не ел!..

Изображение наконец встало на свое место. Сын поглядывал в телевизор, а отец рассказывал, что он видел накануне, поэтому не видел, что шло сейчас — тот самый конкурс балета, до которого отец был охотник.

Мать неприязненно косилась на отца.

Отец, конечно же, «нарочно» ел с ножа, оладыж скользила, отец успевал ее поймать снизу и зажевывал целиком, продолжая, однако, рассказывать вчерашнюю телепередачу.

— Дай хоть сыну посмотреть телевизор...— сердилась мать.

А сыну вдруг становилось так тепло у этой чуть теплящейся, но и не затухающей семейной ссоры, словно у костерка, словно разморило; он потянулся сладко и зевнул. Мать уже взбивала подушку...

Так он спал и ел целый день. Мать, как девушка, проходила неслышной тенью из комнаты на кухню, из кухни в комнату, бросая холодный взгляд на продолжающего рассказывать все виденное и прочитанное Монахова-старшего, приглашая помочь ей на кухне Монахова-младшего...

— Знает же, что нам надо поговорить...— сетовала она выходявшему к ней сыну.

— Чем тебе пособить?— спрашивал образцовый сын.

— Да все уже, не надо. Посиди здесь. Расскажи. Чаю налить?

Сын пил чай, а рассказывать ему надо было про свою чуждую жизнь: про столицу, про карьеру, про новенькую жену и молодую квартиру. И все это стало так далеко для Монахова-младшего, как далеко и было. Слово эти три года вынимались из него, как ящик, целиком. И тогда оставался он, будто не уезжал и не расставался, только с небольшой прямоугольной темной пустотой внутри (где ящик). «Как они?..» — все вертелось у него спросить. (Мать поддерживала с прежней его семьей свои, отдельные от него отношения...) Но все не спрашивал. Как и мать не спрашивала же: «Ну как ты? доволен? счастлив?» Иначе зачем было затевать... «Я тебя в честь отца мужа назвала, а хотела — Митя...» — вздохнула мать. «Может, Митя и был бы счастливее...» — улыбнулся про себя сын. Так они и говорили не о том, ради чего уединялись, а о том, что вместе знали: опять о том же отце и говорили. Как сдал, как ото-



шал, как не спит ночью, как не ест ничего, как характер, всегда такой, а совсем невыносимый сделался. Ничто не изменилось, и время опять не прошло... Монахов выглянул во двор: держась за заборчик, синей тенью прошла умершая год назад от рака тетушка — он отчетливо ее увидел: ничуть не изменилась, как раз такую он и видел ее в последний раз. «Совсем не маялась, во сне...» — сказала мать. «Вот штука — расстояние! — подумал в сердце сын. — Три тыщи километров равны трем прошедшим годам... Отъехал в сторону, а оказывается, вспять... домой вернулся...»

Тут отец приходил на кухню — «мешать».

— Алеша, иди, передача интересная, про зверей...

И начинал пересказывать, что сейчас видел. Мать вздыхала, Алеша шел, смотрел телевизор, а отец все рассказывал про начало передачи, по она продолжалась и заканчивалась, его не интересую.

— Представляешь, — говорил отец (уже он что-то другое рассказывал, перескочил), — лес!.. — И глаза его загорались от чувства, большого и абстрактного — ни к чему. — В лесу, оказывается, не просто много деревьев, а лес — это сообщество!

— Ясно, не просто... — усмехался сын.

— Так вот, — пропуская иронию мимо, продолжал отец. — Они все корнями связаны, перепутаны и представляют единую систему. Именно — систему.

— Ну и что? — сказал сын.

— Вот, например, дерево умирает, умирает, а как умрет — на следующий день сухое стоит. Загадка, думают ученые. А оказывается, как только одно умрет — лес сразу же из него все соки в свою систему забирает. Потому и сухое сразу же... Вот и выходит, — сказал отец, прослушав молчание сына, — лес — это не много деревьев, а коллектив, общество, и каждое дерево — не само по себе, а только вместе со всеми, и во всех нуждается...

— Обязательно надо человеку свое всему на свете навязать... — процедил сын и откинулся навзничь на мамину подушку и глаза для убедительности прикрыл — устал от человечества.

Так он спал и ел, ел и спал, и к концу дня так успокоился, что ему показалось, что прошло несколько дней, а не один, что он тут давно, вроде и не уезжал... А состарился со стариками вместе в один день на три их года.

Поэтому утром, с юным аппетитом сглотав мамин завтрак (там, у себя, он столько и в обед не съедал), чмокнув маму в лоб, усмехнувшись для нее на спящего отца, он с какой-то даже радостью вырвался на улицу, как на свободу, и устремился готовно и азартно по столь неприятным и неинтересным (как ему казалось в столице) командировочным своим делам.

2

— Теперь направо, а потом снова немножко направо...

— Как улица-то называется? — недовольно сказал таксист.

— Вот именно, что не знаю, — возбудившись, говорил Монахов. — Показать могу.

Они еще немного поколесили, пока Монахов вспоминал родителей с непонятной, все возрастающей тоской. Размеры предательства Монахова все росли: господи! матери каждый лишний час с ним дорог и нужен как последний — а он вот катит вместо неотложного аэродрома неведомо куда!.. Как на крючке. Пока сомневался, пока думал, что вряд ли эта затея удастся, — ловкое, хитрое, шаткое выстроил сооружение, прямо шпионаж: жене позвонил, что не уверен, но, может, дня на два задержится: «Ты меня не встречай»; матери — что обидно, но, кажется, его срочно отзовут дня на два раньше: «Ты меня не провожай»; а ей, ради чего все, — что очень-очень вряд ли, но постарается, может, на денек и получится задержаться, но на день ее рождения он все равно остаться не сможет — какая разница, если они и отметят его на день раньше, вдвоем? От одного, даже мимолетного, приближения представления, какую же он раскинул паутину, делалось головокружительно пусто, и тогда, как ни странно, он плел ее с большей энергией и окончательностью, будто наконец и решил — упрочал оба варианта: и что, пожалуй, он вынужден скорее уехать, и что, наверно, ему удастся задержаться. Щель между двумя возможностями становилась все отчетливей, зияла. Чем больше он сомневался, чем более был уверен, что не стоит, тем скорее, где-то вдали, уже за спиной, знал, что все так и будет, вопреки.

Так что лишь в самый последний момент, быть может, уже сидя в такси, а шофер спросил: «Аэропорт?» — именно в этот момент он и прыгнул через эту щель

и оказался на том краю, когда решительно назвал ему ехать в противоположную сторону. Как всякий слабый человек, был он смел как раз в опрометчивых поступках, в них не отступал, боясь прослыть именно тогда, когда любой решительный как раз бы и передумал и отказался с легкостью. Вот что он забывал, Монахов: что никто его в эти ответственные моменты не наблюдал, никто сверху не свешивался, приложив ладонь козырьком: а что это наш Монахов, струсит или нет? Того не понимал он, что если уж стоит вопрос о трусости, то оба решения выйдут не от смелости — смелости требует лишь третий путь, о нем-то никогда не вспомнят, а выбор — любой труслив. Смелее уж — как получится. Оттого нерешительность — всегда до последнего момента, чтобы прыжок этот выглядел как бы помимовольным, подделанным под судьбу.

Сейчас он и под автоматом не сказал бы шоферу: «Поворачивай назад». Лишь раскаяние, вспухание вины, тень возмездия, неясного по форме, но именно за вот это, за сейчас, то есть именно страх владел им. И он бы его не показал. (Все-таки в тот момент, когда мы что-либо себе позволяем, мы прекрасно знаем, что нам за это будет, что мы не уйдем, не увернемся, и лишь когда нам воздается, мы забываем напрочь, чтобы сказать: за что?) Раскаяние набухало — тут и встали перед ним лица стариков, как живые...

На отца как следует не посмотрел, не попрощался... Кожа на дне седой щетины, более ее белая, встала перед его мысленным взором крупно: как речной ил между осоками... Почему-то именно берег реки, удочка, пасмурно, отец рыбу ловил — такая сплошная ровность беловатого ила между стеблями седых осок... Монахов сморгнул вид этого озера. Теперь на него смотрел матушкин взгляд, девичий от укоризны... Как это можно делать перед собою вид, что другие ничего не видят, не думают, не замечают, раз вида не подают? Как раз они все и знают, когда вида не подают. Что ж она, и на свете не жила, матушка? Он разве не ее сын, не е г о? Отца-то он знает, видит. Может, за то и мужа не любят, чтобы сына продолжать любить?..

Всего три дня и побыл, четвертый... Что она чувствовала, когда каждую фруктинку в бумажку заворачивала и опускала в корзину аккуратнo, как яйца, говорила: только не забудь разложить сразу, как приедешь (не прилетишь, а приедешь...). О!.. Шофер, гони назад! Но

он этого не говорил. Это у него только внутри выло — снаружи он был гладок, как печь. Но печь и не согревает дрова, она их сжигает...

Да и в эти-то три дня, что он сделал, кроме того, что милостиво ел и с отцом не особенно пререкался?.. Только сейчас, в машине, и прожил-то он наконец эти три дня, в положенной им силе: все видел, все понимал, все чувствовал. За эти десять минут и прогорели в нем три прошедших дня, как, в свою очередь, в те три дня прогорал в нем его внезапный из дому отъезд, которого он там, в Москве, так и не сумел почувствовать: чем острее и последней момент, тем тупей и самодовольней улетающий Монахов. Вплоть до отрыва от земли, вот когда защемило, вот когда засосало... «Да что ж это такое? — возмущался сейчас Монахов.— Завтра буду жить сегодня, а сейчас-то я где?»

С этой здоровой мыслью он как раз и подъехал к тому дому, адреса которого не помнил, а мог лишь «показать».

Непоправимость оевала его лицо, когда он, оглянувшись без толку по сторонам, посмотрев в небо, словно там уже набегало возмездие, вытаскивал из багажника корзину с фруктами — тяжелый упрек.

— Монахов! Ах, Монахов! Все-таки приехал! Монахов, Монахов...— Вот сколько бы раз подряд ни произнесла она слово «Монахов», все по-новому, словно язык такой есть, из одного слова состоящий, на котором все, однако, высказать можно, самые тонкие понятия...

Благодарная вышла секунда: не зря все-таки... вот кому действительно надо было, чтобы он приехал... вот безупречность-то какая!

— Монахов... Монахов!..— отбирая у него корзину, как у девушки, нараспев повторяла она.

Не зря-а-а...

\* \* \*

Все это все-таки странно получилось. Никак не ожидал...

Наверно, он здорово наелся и выспался у матушки в первый же день — очень энергично принялся за дело. Два чувства уживались в нем, когда он сюда ехал, два ожидания: одно, что вот он припрется к людям, которые худо-бедно, но делают у себя дома свое дело, будет путаться у них под ногами, давать им наставления и сове-

ты, кому-то подстроит неприятность, кого-то подведет под разнос, а они будут должны сохранить вежливую мину, кивать и не понимать того, что он им будет объяснять и инструктировать, он будет злиться, что они своего же блага не хотят, а они с облегчением вздохнут, когда он уедет, все сомкнется, как не бывало, новые методы не будут усвоены, а старые будут продолжать неэффективно, но действовать; другое, что он из Москвы, спец, кандидат, фирма, как нож в масло, входит в проблему, все наконец очнулись, задвигались, ожили хоть на время, какой-то просвет, что-то стонулось, а вдруг и — чего не бывает? — наконец и дело пошло.

Опыт его командировок подсказывал и оправдывал оба таких решения. Но какое же из двух, могло стать ясно только с порога: вот он переступает его, попадая в кабинет... первая фраза, первый взгляд — и дальше уже только одно из этих двух, непоправимо: или — или.

И вот он, по-видимому, хорошо выспался и наелся — энергия из него перла и успевала пропереть через охлаждения и разочарования так, что вся эта остротка при столкновении с чужим миром и делом не успевала произойти в самом Монахове. А вот с этим уже все считались, и где-то за ним следом и все обгоняя его бежал слух — и все уже чуть ли не вскакивали, когда он входил.

Дело-то было ему самому безразличное, он в нем замешан не был, престиж его фирмы, однако, должен был быть защищен, а вот для тех, к кому Монахов прибыл, дело-то было очень серьезное.

В Ташкенте строился некий важный объект, спроектированный институтом, в котором рос и выдвигался Монахов. В одном из цехов был запроектирован новый тип перекрытий, до этого не употреблявшийся в отечественной практике. Так вот, это-то перекрытие обвалилось, оборвав две рабочие жизни. И это еще «к счастью»: был обеденный перерыв — могло быть много больше. А вы представляете, если бы такое случилось, когда цех был бы уже пущен, во время рабочей смены?! — тон начальственного разноса, тем более искренний, что начальству влетает без разбору, по ведомству.

Монахову было тем уютно, что он к этому делу отношения не имел, а понимал достаточно, больше других. От того, как ему сразу стало все ясно, а все остальные были напуганы и напряжены, з а и н т е р е с о в а н ы,

ощущал он приятную свободу, словно передвигался в нарзане, а остальные в клею. Это вот, что он и они находились как бы в разных средах на одном пространстве,— было особо важное чувство. Даже жара была ему нипочем: чувствовал он себя сухо и остро, быстро — как раз местные-то и потели, под тяжестью, спеленатые теснотой взаимосвязей службы и личной жизни. Удовлетворение собственным знанием, уверенность в своем деле, обеспеченная правильность, вытекавшие из одной лишь разницы квалификаций — доставляли Монахову простор и свободу, когда он и не хотел, и все понимал раньше, чем ему объясняли, видел насквозь и дальше, еще и наблюдал неподвластные поведения и черточки окруживших его заинтересованных и зависимых людей, и даже себя успевал видеть со стороны, не в ущерб, а в помощь решительности своих прозрений и пониманий. Вот он чистой, сухой рукой (длинные пальцы) легко, чуть презрительно раскидывает пасьянс чертежей и докладных, пока ему без толку, короткопало тычут все одну и ту же бумажку, поясняя. («Понял, это понял», — снова отодвигает он.) И, разложив пасьянс, еще всего лишь разок тасует и говорит, отчеркивая (не ногтем, тупым концом карандаша): «А это что?» И — ах! — как становится ему понятно, что именно этого ему показать не хотели, что именно здесь надеялись, что не заметит, хотя знали уже, что заметят, конечно, заметят, но не так сразу... «И вот это», — отчеркнул он второй раз. А этого и они про себя не знали. Даже не сразу поняли. Только тот, короткопалый, виновник, — тот сразу понял. Тень жалости промелькнула даже в Монахове, зачерствавшем в этот момент от власти (не административной, а интеллектуальной, что слаще), — так схватился тот, чуть не за сердце. Этот короткопалый, в камилавочке, квадратненький, со сплошь золотыми зубами, главный инженер, а его «Волга» у подъезда ждала, и он ее Монахову предоставлял, а Монахов отказался, и домой к нему отказался идти, в двухэтажный его особняк — никаких дастарханов (а у самого Монахова ни «Волги», ни особняка — голова одна).

И выходило вот что: фирма его ни при чем, потому что все было рассчитано правильно, а при чем — вот эти, золотозубый и другие, правильною этой, по темноте или даже преступности, пренебрегшие. А выходил вот кто: безукоризненный и честный Монахов... «Нет, а вот это не его дело — квалифицировать просчет: по

недосмотру, халатность или отягчающим обстоятельством... Это — другие». Золотые зубы блеснули во рту виновато, как дети. «Нет, — сказал Монахов, — а у погибших рабочих не было детей?»

И ведь просто так это сказал: никаких мертвых, никаких живых не было в его сознании в этот момент. Это был лишь непреодолимый довод правового (не правового!) сознания — и все. Вот вам и частный случай: паразитическое бездушие порождает в человеке правота. Или — блеск в своей области. Или, так скажем, власть.

Однако чувствовал себя прекрасно, выходя из проходной, снисходительный, четкий, все сделавший... Последние канцелярские формальности (отметил командировку), последние прохладные рукопожатия: нет, отчет он напишет в Москве, копию, конечно, им вышлют, нет, очень тронут, понимает обычаи и традиции восточного гостеприимства, но вынужден отказаться (насчет дастархана в загородном особняке), нет, пешком хочет прогуляться (отказавшись от «Волги»)... Тут не удержался от сдержанной (и ему человеческое не чуждо) полуулыбки: пройдетя пешком — ведь это город его детства, в котором он так давно не был... Он прекрасно чувствовал себя.

«Нет, дело — это все-таки дело...» — сыто бормотал он в ритм легкому упругому шагу. Жмурился, подставляя лицо приятной жаре. И тут:

— Монахов! Господи, Монахов...

Вот о ком он не вспомнил ни разу. Это его вспышкой поразило — но он ничего не успел подумать...

— Ты, Монахов? — И тут же, утвердительно и счастливо, ответила себе: — Ты.

Монахов смотрел с удовольствием: эта восточная русская девушка так же легко, без сопротивления нравилась ему сейчас, как когда-то. Будто вчера расстались, три года сошлись в один день, как не бывало. Она замерла, как с разбегу, как на пороге, и так стояла неокончательно, неустойчиво, неуклюже — Монахов видел ее всю в этой остановке. Он бы сам себе не поверил — но то, что он чувствовал, была — радость.

Но он не успел и слова сказать. Их словно ветром сдуло. А на бегу что скажешь?.. Она еще раз десять выдохнула слово «Монахов», а он, может быть, один раз — «Наташа». Она бежала чуть впереди, тянула его за руку, можно было бы даже сказать, волокла, если бы Монахов не так охотно за нею следовал. И его нисколько не

смущало, что все так на виду, что чуть ли не все прохожие останавливаются и замирают, пораженные, провожая их взглядом... Во-первых, он уже знал, что это, может быть, только ему кажется, а во-вторых, пусть завидуют!.. Да и как было не радоваться, что такое красивое, сильное, ясное существо любит его точно так, как и любила, три года любит, не то чтобы простила его тогдашнюю жестокость, а даже и не сосчитала ее... Ах, хорошо! Прямо хотелось спросить на бегу: «Ну что ты такого во мне нашла? Ну что во мне такого?» Будто она наконец подсказала бы ему, чем он-то со всем своим нажитым барахлом внутри отличается все-таки от всех других людей, раз именно его она так любит, чем именно он-то так хорош?.. И получил бы он несомненный ответ: «Ты же — Монахов! Дурак ты, Монахов...» Ну, ну, Монахов запыхался. Но они уже влетели. Двор, подъезд, этаж, дверь... Монахов ничего не видел вокруг. Тут она еще раз, задохнувшись, успела произнести: «Монахов...» Но это было уже все.

. . . . .

Вот как получилось. «День такой», — думал Монахов, утверждаясь в свежести бытия. Разглядывал узкую, как койка, комнату: ветка в молочной бутылке на подоконнике, вешалка с длинным платьем на стене, как картина, сам он на матрасе на полу... вот — недостаток — радиола, тоже на полу, — снова умилялся этой девичьей бедности.

Наталья разгуливала, как в раю. Показывала письма подруги, альбом, диплом — будто все это больше доказывало реальность ее существования, чем она сама, большая и живая. «Эту фотографию не смотри, вот эта ничего...» Монахов видел ее саму и смеялся, довольный. Так она быстро жила — не много всего у нее было, и все было показано. Так она стремительно проживала жизнь без него, от разлуки до этого мгновения. Чтобы сошлось. Чтобы она оказалась вся с ним...

Монахов — вполуха, вполглаза: все это были подтверждения одного и того же: любит... Наталья ему нравилась. Он имел теперь неоглядную возможность убеждаться в этом: пожалуй, она ему нравилась всегда. Именно она. Монахов был поражен этим открытием: что, будь он свободен (нет, не просто не женат — он не то имел в виду...), будь он самим собою, а не тем, чем он стал, не тем, кто кажется всем, и ему самому, Монахо-



вым, не тем, кого в нем хотели увидеть и увидели, да и его убедили... Так вот, будь Монахов таким неоспоримым, безвоздушным собою, то Наталья бы и была именно тою, его женщиной, которая суждена ему, которую он принял бы без сомнения, как принадлежность себя себе, один к одному... Что ж он зевал? что ж он себе не верил? что ж он не знал, что он именно он и есть? Ему нравилось в Наталье все, и ничто не противоречило, все было в самый раз: и монгольская тяжесть в лице, и неуклюжесть, даже вульгарность... Он представил себе, что сказали бы о ней беспорные красавицы его жизни, с оценками которых (главным образом, себя самих) он так неукоснительно считался, что и не подумал хоть раз посчитаться с собственным, так и не развившимся вкусом... он легко это себе представил: и гримасу, и яд женской критики, миллиграмма которого хватало ему на убийство того, что ему нравилось... Ему показалось, что, если бы тогда — было сейчас, а сейчас — тогда... то у него бы хватило сил посчитаться на этот раз именно с собою. Но было необратимо поздно. Поймав его нежный, элегический взгляд, Наталья увлеклась собственной жизнью: была, оказывается, и ее жизнь, то есть то, что рассказать можно... Монахов пытался разгадать, объяснить себе ее привлекательность, но вот она-то и была столь беспорна для него, что объяснить не удавалось. Чем старательней он разымал ее черты, тем более непонятым оставалось целое: ни одной правильной, ни одной красивой черты не находил он, разве кожа... Кожа, конечно. Он вздохнул. Да, ничего особенного — соединено уникально! Будто поведение и внешность были от разных людей... Порознь все было обыденно, могло бы принадлежать и другим, даже встречалось Монахову порознь прежде — вместе, в таком контрасте: лицо и жизнь лица, голос и смысл произносимых им слов, сильное красивое тело и неровность, непринадлежность ему, как бы случайность движений... — все это рассыпалось, противореча представлениям, но было само в себе, так просто, естественно и убедительно, что — именно так и правильно. Внешность одного, а душа другого человека... Будто Монахов всю жизнь ошибался, раздавая порознь людям эти черты, а теперь, с опозданием, наконец увидел, кому они все первоначально принадлежали. Будто пришлось ему всю жизнь встречать исключения и неправильно обобщать их и лишь

теперь, отменяя напрасный опыт, столкнуться с их первоисточником...

Наталья споткнулась, повторившись: жизнь ее закончилась новой встречей с Монаховым. И была она — как бы вся, больше ничего. Монахов одиноко возвышался в пустынности ее жизни...

— А это мне Ленечка подарил.

— Какой Ленечка?

— Ну господи, Монахов! — нетерпеливо, даже сердито, воскликнула Наталья. — Как ты слушаешь!.. Один есть Ленечка. Ну такой, на утенка похожий, ты видел...

— Как видел? — изумился Монахов.

— На фотографии. Да ты его и живого видел.

— Да нет же.

— Он же в подъезде торчал, когда мы пришли... Ну?

— Не помню. Что ему от тебя надо? — вдруг как-то не так, не тем голосом сказал Монахов и рассердился на себя. Наталья обрадовалась.

— Он меня убьет... — сказала она, с надеждой глядя на Монахова.

— Ну... Так это у вас серьезно?

— Ну да, серьезно... — пренебрежительно сказала она. — Просто он в меня влюблен без памяти.

— Что ж ты мучаешь мальчика, — самодовольно сказал Монахов.

— Я мучаю?! — возмутилась Наталья. — Да я его мать, а он мой сын.

— Вот как, — ухмыльнулся Монахов. — Что ж он тебя убьет?.. Кровожадный какой.

— Да нет, он добрый. Он очень добрый. Патологически.

— Что ж он, простит, что ты мимо него с мужиком домой пришла?

— Дурак ты, Монахов, — рассердилась Наталья. — Твое какое дело. Да я, если хочешь знать, никогда его не обманывала. Я ему сразу сказала, что у меня человек есть.

— Какой еще человек?

— Которого я люблю.

— Кто таков?

— Ты.

Монахов поверил. «Так как же это он у нее есть?.. — изумился он про себя. — Когда напрочь и навсегда его у нее не было...»

— А он что?

— Он не поверил. Когда прямо говоришь, никогда не верят. Люди и врут-то, чтоб поверили. Смешно, он меня преследует и ревнует. Подозрителен чрезвычайно. А скажи ему прямо: «Да не люблю я тебя, иду к другому, другого люблю, только что от другого пришла...» — засмеется, счастливый, словно я так шучу, и полезет целоваться.

— Это понятно... — кивнул Монахов.

— Понятно? Тебе понятно?.. Как тебе может быть понятно? Тебя что, не любили когда-нибудь?

— Ну нет... не любили — не то слово... — замешкался Монахов.

— Не любили! Монахова не любили!

— Чему ты радуешься-то? — смутился Монахов.

— А так. Может, ты человек... Может, ты человек, а Монахов? Может, я не зря тебя люблю? Может, мне удастся еще тебя разлюбить?

— Не удастся, — привлекая ее к себе, сказал Монахов голосом столь неестественным, душным, что на секунду ему стало стыдно. Но она уже не могла этого увидеть.

. . . . .

Наталья была откровенно довольна, смотрела в потолок плавающим взглядом. Пришел черед что-то рассказывать и опустошенному Монахову... Ему нечем было похвастаться — как сегодняшними победами на производстве — оттенял свою роль. Наталья не слушала и смеялась: то ей казалось, губы его как-то не так шлепают, то ухо его оказывалось не как у людей, не там... Монахов старательно не обижался. Про погибших рабочих она, однако, услышала:

— А дети у них были?

И хотя Монахов сам использовал утром этот довод, но то была непрочувствованная им демагогия, а вот Наталья... Наталья восхищала Монахова. Казалось бы, девчонка, дура... И вдруг такой поворот! Расчувствовался Монахов. Но жертвы опять оказались в стороне от его сознания — пошли в пользу возлюбленной. И про золотозубого услышала:

— Исмаилов? Я его знаю.

— Знаешь?

— Я у него секретаршей работала. Да нет же, какой он злодей... (Монахов успел возмутиться с готовой горячностью.) У него семья огромная — семь дочерей...

— Всех надо замуж выдать?

— Вот именно, — сказала Наталья. — Ну а как ты, счастлив?

Не думал он, что она задаст этот вопрос. Думал, что она как бы выше этого, что так она и есть свободна от всего, от чего он сам не свободен... Он немножко расстроился — облачко пробежало по потолку, даже тучка. Все-таки — баба... Он решительно пожаловался на неудачу: да, вот так вот, не получается жизнь. Почему-то он считал, что его несчастье устроит ее. Наталья скучно слушала.

— «Горе»... — передразнила она. — Какое это горе! Родители старые — вот горе.

И опять он был поражен ее точностью. Отца у нее не было, а мать умерла как раз, пока Монахов страдал от своей личной жизни, за эти три года. Он-то еще думал, где она, почему Наталья так осмелела? Про своих стариков он, однако, не вспомнил.

Наталья прошла к окну — там сбегались сумерки, а в комнате уже было совсем темно. И она долго выглядывала там что-то, в более светлых сумерках.

— Ленечка? — догадался Монахов.

— Нет, — сказала она и как-то решительно стала одеваться. — А ты о нем не смей говорить.

— Это почему же? — насупился Монахов.

— Так... Он очень хороший и умный мальчик.

— Вот как.

— Он знаешь какие стихи пишет!.. — запальчиво сказала Наталья.

«Ну, не девчонка ли? — подумал Монахов. — Ребенок».

— Ну!.. — протянул он. — Тебе посвящает?

— И посвящает! — с вызовом сказала Наталья.

— Наизусть помнишь?

— И помню.

— Прочти. — Монахов попробовал ее приобнять.

— Сейчас... Отодвинься.

Приди скорей и убирайся прочь!  
К пяти — рассвет наставил свое дуло.  
Туман упал, и воровская ночь  
Вслед за тобой за угол завернула.

Часы без стрелок — лучший из гербов.  
Я попадаю в ватные объятия.  
Со словом отвратительным «любовь»  
Рифмую пустоту меропрятья.

Не бойтесь! больше вашего не дам  
За эту жизнь. Не надо сдачи...

Монахов рассмеялся:

— Сколько ему лет?

— Восемнадцать.

Монахов засмеялся еще искусственнее и сильнее.

Наталья обиделась:

— Ты ничего не понимаешь! Какое значение имеет возраст! Если хочешь знать, я его всего на четыре года старше. Это ты старик, инженерная душа. А нам правится.

— Ого!— сказал Монахов.— Я старик?

— Сластолюбивый старик!

Ему вдруг стало скучно, тошно — его настигла кратность бытия: что-то уже было, будто слово в слово, миг в миг, свет тот же... что-то уже было из этого неповторимого. Ни краткой боли, ни короткой обиды — ничего не испытал Монахов, смертельно обижаясь. Он решительно поднялся, поджал губы, с чеканным профилем стал натягивать брюки.

— Ты что?— встрепелась Наталья.— Ты куда? Ты что, обиделся? Ты же не обиделся, ты что, притворяешься?— точно подметила Наталья.

На эту ее точность Монахову ответить было нечем. Еще безмолвнее завершал он туалет. Он уже вошел в роль, и тем искреннее, чем притворнее.

— Монахов, милый, ну прости! Я не хотела. Я ничего не сказала. Стихи плохие, Монахов! Пойди, куда ты! Я не буду. Я не знаю, что... Монахов! Монахов, умоляю!

Монахов милостиво позволил себя обнять. Холодный, гордый.

— Монахов, не уходи! Не уходи, прошу!

А Монахову ведь и не к кому было уходить... Он перестал притворяться — и расплылся в счастливой улыбке.

— Не ушел! Не ушел! Ну что это на тебе какие-то тряпки? Ну снимай же! Монахов...

К ночи они вышли на обезлюдившую темную улицу, и Монахов почувствовал себя на юге. Это чувство он знал и очень любил, как первый в сезоне огурец. Такое чувство, будто попарился и вышел: легко, тепло, и уже вечер. После парилки, выйдя даже на мороз, Монахов

всегда вспоминал юг. Нельзя сказать, чтобы сейчас он вспомнил о парилке и сопоставил.

— Юг — это юг, — сказал он, глубоко вздохнув.

Звезды усыпали небо, фонари уже погасли, однако было как-то светловато в этой полной ночи. Пахло костерком и каким-то первым сухим цветением. Здесь отцвела рыночная мимоза, готовил свои свечи каштан...

Каштан черемухой покрылся,  
Бульвар Французский был в цвету.  
Наш Костя, кажется, влюбился...—

пропел Монахов и рассмеялся.

— Представляешь, «каштан — черемухой»... Я так в детстве пел. Я ведь здесь был в детстве...

— Правда, влюбился?— Наталья счастливо чмокнула его в щеку.

Праздник не кончался. Девушка рядом, и именно Наташа. Монахов чувствовал себя так юно! Он жалел, что давно забыл и не испытывал этого. Жизнь... Он чувствовал себя ровно так, как когда-то, на какой-то практике, в какой-то деревне, после танцев... Не молодым он себя все-таки почувствовал, а к а к м о л о д о й. Разница. Эта мысль смутна, как чей-то шорох, какой-то шелест, что-то вспорхнуло, улетело, заскрипели тормоза. «Как юный...» — вздохнул Монахов, прислушиваясь, но, мысли той так и не подумав, как и про баню — не сравнив, не вспомнив, вдруг сказал:

— Слушай, а здесь парилка, в Ташкенте, есть? Здесь парятся?..

Ему только этого до полноты не хватало...

Такая пустая, полная ночь! И тут же — такое обилие запыхавшейся, подбежавшей вплотную жизни, в которую он почему-то сразу верит, что это жизнь, а не какие-то городские шумы: качнулась ветка, сорвалась птичка, прошелестела и осталась позади мысль, неузнанная и непойманная. Никогда он не узнает, о чем только что подумал: это наполняло его счастьем, он вдыхал этот согретый бензиновый воздух со следами запахов одеколонного цветения... Он ничего не видел, и это трепетное «ничего» — жило. А главное — пусто было...

— Наталья! — раздался голос из этой пустоты, и тут же, как привидение, возникла белая рубашка, прямо перед ним. Еще один отделился от ствола, третий, не проявляясь, маячил.

«Господи! как сейчас меня избьют!..» — без страха подумал Монахов. Вернее, как молод был в нем этот страх, так все запрыгало, ухнуло вниз — такой прилив. Еще больше стало этого рассеянного света полной ночи — так светло! — еще полнее стала тишина и звонче шуршания...

— В чем дело? — грозно и уверенно подумал Монахов, но так сдавленно раздался этот голос, словно не из него. Никто его не услышал.

Бесконечность этого мгновения наконец завершилась.

— Ты, Зябликов? — тут же открыто и легко отозвалась Наталья и шагнула навстречу. Монахов чуть отстал, тактичный.

И когда они остановились, то стали вдруг видны Монахову, как будто под фонарем. Тот что-то ей бубнил сдержанно-грозное. Она отвечала легко, нарочито беспечно. Так все это видел Монахов, проигрывая про себя юношескую, ни разу не осуществленную серию ударов (давно он вот так не сражался!..). Но, что удивило Монахова, это возраст Ленечки — мужик его лет. Приземистый, одутловатый, небритый, почти как с бородой, в мятной, нечистой рубаше и сандалиях на босу ногу. Внимателен был Монахов, наделив от щедрот свое первое впечатление и некоторой симпатией к неудачливому возлюбленному: чем-то он мне симпатичен... Неконкурентная внешность Ленечки (Зябликов, значит, его фамилия, которая вдруг стала в сознании Монахова очень подходить Ленечке, как и внешность, и даже нарушение возраста — углублять симпатию...) так успокоила, что ли, Монахова. Безнадежность шансов соперника... Поймав себя на этом (все-таки все сейчас было в Монахове ускорено и обострено): «Как много в мужиках женского, даже бабьего...» — усмехнулся довольно Монахов.

Наташа приветственно взмахнула рукой и вернулась к Монахову. Ленечка подвинулся к маячившему за его спиной, такому же приземистому, но уже плохо различимому своему приятелю, и оба они отошли к третьему, слившись снова со стволами, пропав.

— Ну? — спросил Монахов.

Видимо, он как-то не так спросил, что-то выдал.

— Испугался? — Наташа засмеялась. — Он же добр, как подушка. Правда, он похож на подушку?

— Без наволочки, — сердито сказал Монахов. — Что ему надо?

— Это же Зябликов! Зябликову всегда одного надо. Спрашивал, нет ли у меня выпить.

— А ты?

— Я сказала, что ему хватит. Он уже под кайфом.

— Под кайфом?.. А чего вы с ним так долго разговаривали? — ревниво спрашивал Монахов.

— Он про тебя расспрашивал.

— Что — расспрашивал?..

— Нет ли у тебя выпить. Чего ты такой, пыльным мешком стукнутый, не пьяный ли сам? Не хочешь ли выпить, предлагал. А я говорила, что нет, не хочешь, не будешь... — Наташа вдруг расстроилась. — Хороший ли ты мужик?.. Ну чего ты пристал ко мне?..

— А ты что?

— А я что... Сказала, что замечательный.

— А он?

— Ну, тогда-то что, сказал. Ну чего ты пристал? Тебе-то что?

— Так. Странный он у тебя...

— Почему?

— Другой бы на его месте...

— Почему у меня? — вспылила Наталья.

— Твой Ленечка...

— Это не Ленечка. Ленечка там сзади стоял. Это Зябликов, про природу детские книжки пишет!..

— А я думал, твой Ленечка... — почему-то обрадовался Монахов. — Еще удивлялся, что такой старый... — быстро говорил он.

— Тебе не все равно? — удивилась Наталья. — Нет, ты мне скажи, тебе неужели не все равно? Правда?

Монахов улыбался.

Этот мирный, ласковый бандитизм будил в нем какое-то детское воспоминание, когда тоже вот так оказывалось, что зря боялся, что — наоборот.

— И что Зябликов — тоже хорошо пишет? — усмехнулся Монахов.

Наталья не ответила.

— Ленечка у меня из ящика телеграмму вытащил... — сказала она наконец убитым голосом.

Монахов не понял.

— Ко мне завтра тетка приезжает...

Наутро Монахов обнаружил, что жизнь его необыкновенно осложнилась.



Мать с ним не разговаривала. Ему показалась забавной ее ревность: так сомнительно относясь к невесткам, всегда занимать их сторону в подобных вот случаях. Жена тогда в ее ревности становилась как бы не в счет, и возможная измена не могла ее устроить как мечь, а расстраивала как свежая ревность. Так он думал, и был не прав. Пришлось ему, однако, заглаживать. Для этого расписал он свои трудовые успехи, которые его так задержали. Отец охотно слушал и кивал: он сталкивался с подобными случаями в своей практике. Мать успокоилась и сказала:

— Значит, ты все свои дела уже сделал?

Это она отметила по существу. Это означало, что оставшиеся дни сын может безвылазно просидеть дома: есть-спать, с мамой наговориться, старика подбодрить. Монахов был тронут: очень ему снова нравились женщины. И мать — женщина. По существу.

— Ах, мама... — Так ласков был наутро Монахов, обнял мать, нежный, умиленный. — Моя мама.

— Твоя, твоя! А то чья же? — скороговоркой, весело отозвалась мать.

«Какой дурак! Какие ошибки!» — так восклицал про себя Монахов, совершенно не видя футбола, который вопреки ворчанию отца включила мать для сына, хотя он и не очень-то настаивал. «Мимо своего-то — и проходишь мимо...» Удар! Монахов вздрогнул: мимо. Усмехнулся. Отец, в отместку за переключение программы, рассказывал о космических пришельцах — самая ненавистная для матери тема. Сын вперся в экран и не видел, кивал отцу и не слышал. Мать была счастлива лаской сына.

И тут он понял, что уже опаздывает на свидание... И еще он понял, что попался — перестарался в рассказах о работе.

Что-то внезапное напел, совсем уже не заботясь о правдоподобии, и когда прибежал, Натальи уже не было. Пометавшись в досаде, он ушел.

На следующий день оказалось, что она опоздала и он не дождался ее, всего каких-нибудь пять-десять минут. Дома у Наташи воцарилась тетьа, они бродили по улицам. Наталья молчала. Монахов иссяк. Он вдруг вспомнил, что пропустил звонок жене — они прогуляли условленный час. Ему стало окончательно не по себе: куда девался праздник?.. И как быстро!

Они поссорились. Наталья что-то врала — он возмутился. Она сказала, что у него нет на нее прав. И, сказала она, она не виновата, что им негде встретаться. Монахову нечего было ей предложить.

Тогда она и предложила ему этот коварный план с днем ее рождения.

Монахов согласился, но, позвонив жене и придя к старикам, понял, что это невозможно.

Так, к концу своей командировки, ко дню своего отъезда, Монахов сохранил все три возможности, надстраивая их условиями и оговорками, возвел три шаткие постройки, ни одну из них, однако, не порушив. Вернуться вовремя к жене, задержаться на денек-другой, чтобы побыть с родителями, или, под этими предложениями раздав их по принадлежности, провести два дня у Наташи, почтить ее день рождения. Возможности эти потому и простояли до последнего дня, не рухнув, что были прислонены друг к другу и возводились параллельно. Стоило предпочесть и выхватить одну — рушились до основания остальные. Стоило ли тогда их возводить столь искусно и долго? Почему было сразу не остановиться на одной. Эта незаконность удручала Монахова. «Расчет на безнаказанность незаконно», — сформулировал он с усмешкой. Однако ему по-прежнему хотелось и не хотелось одновременно всего: и оказаться безнаказанным, и побыть с родителями, и оказаться уличенным, и приехать поскорей к жене, и быть поощренным за самоотверженность, и насладиться у Наташи, и быть до конца выведенным на чистую воду, наконец.

Эти возможности по мере истощения крайнего срока приобретали прямо-таки мучительную силу, приблизительно равную страсти. Ему казалось, что он не ожидал уже от себя такой силы чувств.

Он все-таки предположил, что, избери он возможность побыть с родителями, то вряд ли с ними побудет, потому что сохранялась в этом случае и еще одна возможность. А остаться под их предлогом и не побыть с ними — отвратительно некрасиво. Поэтому, пожалуй, он избрал все-таки возможность третью — она по крайней мере рушила две остальные... Он решительно, немедленно собирался в Москву. Чтобы отсечь те две возможности, надо было лишь позвонить в Москву и предупредить жену о внезапном приезде — это он отложил. Для начала он позвонил Наташе на работу: вот, до по-

следнего думал, что удастся задержаться и быть на ее дне рождения, а теперь — точно — уезжает, да, прямо завтра, никак иначе невозможно, не телефонный разговор. Хотя что нетелефонного, он в этот момент еще не придумал. «Ты что молчишь? — кричал ей в трубку Монахов и как бы злился. — Я тебя слушаю, ты что молчишь?» Вот, когда тебя люди не понимают — этого понять нельзя, что и злило Монахова. Он уже верил в неизбежность и независимость от него этого принятого решения: ехать. А тут его несправедливо, молча обвиняли в выборе и воле. А он не мог иначе. Вовсе не потому, что ему так хотелось. А — не мог. «Ты что молчишь?» Ответила бы она, что молчит, — что бы он ответил?.. Но она молчала, и, ударив в сердцах по рычагу, Монахов понял, что все еще все три возможности налицо.

Но для мамы-то — он уже улетел. Улетающий Монахов отличался от остающегося особой предупредительностью и снисходительной смелостью всех движений, мужественный род ласкового обращения. Он помогал маме сходить на базар закупить фруктов себе в дорогу, легко нес маме тяжелую свою корзину, приятно возвышаясь на голову над базарной толпой.

И тут он наткнулся на Наташу, почему-то особенно неожиданную после телефонного разговора, почему-то исключавшуюся для встречи на этом вот именно базаре. С нею был мальчик (Монахов сразу назвал его про себя «мальчик»), призывного возраста малый, приземистый, с широкими покатыми плечами и неуклюже длинными руками («Утенок», — тут же вспомнил Монахов). Он все как-то вспархивал вокруг гордо плившей Натальи (она была чуть выше его или казалась выше), отшатывался, чтобы увидеть, обнаружить ее рядом — тогда смеялся (огромный рот, толстые губы) и был действительно, точно — утенок. Подразумевалось еще, что «гадкий», но хватало вкуса... И все-таки во всей этой очевидной некрасоте, отметил Монахов, было-таки... Очень милый мальчик, подумал он совершенно без всяких оснований, что и было... Мама отвернулась, присматривая миндаль, «утенок» в этот момент соорудил кому-то рожу, чтобы посмешить Наталью, — и Монахов скромно и почтительно кивнул ей. Наталья еще выше вздернула голову, то ли кивнула так, то ли, наоборот, так и не кивнула. И устремилась прочь.

— Ленечка! За мной!— властно сказала она приотставшему и потерявшемуся (потому что гримасничал зря — она, оказывается, его не видела...), сразу такому ребенку, Ленечке. И Ленечка радостно, чуть не вприпрыжку, кинулся за ней.

«Какая она все-таки девчонка!» — ласково и грустно усмехнулся Монахов. Но ему стало горячо в груди — как легко ему было не представлять ее себе, расставаясь, настолько, оказывается, он не расстался с нею, когда ее увидел.

— Ах, черт!— пробормотал он, провожая взглядом поспешавшего «утенка».

И мальчик славный...

И, провожая ее взглядом, Монахов ощутил тоскливый укол: ему предстояла жизнь, давно лишенная цвета. Последняя, быть может, краска испарялась сейчас на его полотне. Вон в последний раз мелькнула немыслимая алая юбка — подмела пыль, и нет ее... Как же он опять упустил?! Опять забыл то, что только что понял... А что он понял?.. «Как я мог не видеть ее целых три дня!» — отчетливо понял он.

А она — прекрасно понимала его. «Как же так, Монахов? И не простимся...» — сказала она в последний раз. «Как это — не простимся?» — не понял тогда сытый Монахов. «Тетка приедет. Ты уже не будешь со мной...» Только сейчас он понял это ее откровенное, простенькое, ситцевое «простимся» и «не будешь со мной». Он задохнулся: ведь мог видеть и вчера, и поза... а завтра — неужели уже никогда?.. Ему так хотелось побежать, догнать, остановить! Так просто ведь...

Он стоял, и лицо его ничего не выражало.

Мать, опередив его, подслеповато щурилась, ища его в толпе и не решаясь еще громко позвать. И это мамино подслеповатое, чуть испуганное и даже раздраженное лицо дано было увидеть Монахову вслед за Наташиным. «Ах, черт!» — бормотал он, нежно беря ее под локоть. И лицо старушки засветилось, как у девушки, все в мелких осколках любви и счастья. Именно вдруг легко было представить Монахову, какая она девушка была, его мама.

«Что же это?.. — влюбленно думал он. — И в жизни однолюба так много женщин: мама, бабушка, дочь...»

Эта странная мысль была самодостаточной.

Если что-нибудь и могло помочь Монахову в проблеме выбора, возбудить в нем инициативу, то этот странный звонок...

Сколь ни был виртуозен Монахов в своем деле, как ни ловко скрутил он свою командировку, однако был наказан за профессиональный перекося: за ним был прислан курьер (телефона у стариков не было) из того самого СМУ, с которым он так окончательно покончил. И на этот раз не сам Исмаилов подобострастно блестел золотыми зубами, а миниатюрный мальчик лет тридцати, в тубетеечке, как у Исмаилова, с комсомольским значком на скромной курточке, улыбался с подчеркнутой вежливостью зубами, черными от наса<sup>1</sup>. И именно потому, что ничего подобного Монахов не мог предположить: никакой его ошибки и быть не могло, — его так взволновала эта фраза «в ваших же интересах...», искусно брошенная этим мальчиком, находившимся неизмеримо ниже его по служебному положению (однако у мальчика был домик на окраине и автомобиль «Москвич», о котором Монахов иногда мечтал...); фраза эта так возмутила (но и испугала) Монахова, что он — ехал. (Причем не на служебной «Волге», а на трамвае, что странным образом подтверждало обоснованность той же фразы.)

Оказалось... Ничего, впрочем, такого уж страшного не оказалось из того, что с особой силой вообразилось Монахову (не может ничего быть, а — вдруг...), именно потому, что никаких логических оснований для страха не было. Оказалось: отчасти политика, отчасти хамство, в чем Монахов уже не был ни так силен, ни так умен, как в своей инженерии, но что, в чем он убедился, является предметом не менее сложным, чем наука, но более насущным. По-своему, вся эта фигура была не менее увлекательна, чем детектив, но эта должна быть особая проза, не эта. В кратком изложении для непосвященных все это не будет звучать... Был найден параграф договора, формально существующий во всех системах договоров, но никем до сих пор в расчет не принимавшийся как сугубо неделовой и декларативный. Были обнаружены и некоторые нарушения в системе авторского надзора. Кое-какие договоренности, существовавшие в устной форме, но не подтвержденные бумагами, были, скажем так, по-своему истолкованы... короче говоря,

---

<sup>1</sup> На с — род жевательного табака.

стройность монаховских заключений была если и не порушена, то расшатана — над всем этим покорпел квалифицированный юридический мозг. Кроме всего этого, и в его, монаховских, выкладках была обнаружена ошибка, не принципиальная, не опрокидывавшая его выводы в целом, но блеск его экспертизы несколько тускнел. Не мог Монахов предположить, что Исмаилов сам поймал его на этой погрешности — здесь был инженерный стиль и изыск, которого высшей квалификации Монахов никак не ожидал здесь встретить. Тщеславие его было уязвлено больше всего именно этой мелочью, никак самой по себе не ставившей под удар все дело (всему делу угрожала именно ловкость юридической стороны, совсем не взволновавшая Монахова: повод задуматься, насколько волнует нас успех самого дела, а не только наш в нем...). «Кто же этот Эйнштейн?» — думал Монахов, раздраженный и заинтригованный. Эйнштейна не было — был Исмаилов (юноша в тюбетейке улыбался где-то на фоне...). В общем, Монахову «показали». И еще тем показали, что ничем ему не угрожали, не были столь беспощадны к его упущеньицу, как он — к их. Дали понять. Благодарили, пожмали руку, приглашали приезжать еще. Короче, Монахов хорошо понял, что ни он, ни его заключение не меняют положения вещей, существующего прочно отнюдь не на теоретических основаниях. Он не выполнил того, что от него хотели, и только. Найдутся... И что самое досадное, может быть, и не хуже разбирающиеся в деле, чем Монахов, если не лучше. И вот еще: его можно было и не вызывать. И еще больше: он мог и не ехать. Он — приехал. И этим как бы сам указал себе место. «Восток», — думал Монахов.

Тут и раздался этот странный звонок. Секретарша, перезрелая русская женщина, вошла и шепнула что-то Исмаилову, с жалостливым любопытством поглядывая на Монахова (интересно, в какой форме посвящена она в мои неудачи?..). Исмаилов, выслушав, тоже кратко, по-новому взглянул на Монахова, снял свою многоступенчатую трубку и протянул ему:

— Вы ошиблись, наверно... — растерялся Монахов. — Не может быть, чтобы меня... Никто не знает, что я... — Он осекся.

— Вас, — сказал Исмаилов.

— Монахова! — подключившись, застрекотала секретарша. — Я говорю, какого Монахова? — Тем време-

нем Монахов, с приподнятыми бровью и плечом, демонстрировавшими крайнюю степень недоумения, его потенциальную грозность в случае недоразумения, обходил стол и брал из рук Исмаилова трубку. — А мне говорят: начальника из Москвы... — трещала секретарша.

— Монахов, — сказал Монахов несвойственным себе образом: ему было мучительно не по себе: «начальник из Москвы»...

— Вы меня не знаете, — раздался в трубке низкий, одновременно странно юный голос, — да это и неважно...

— Алло! Кто говорит?.. — говорил Монахов, зачем-то дуя в трубку.

— Одна ваша знакомая... — «Что за бред?» — подумал Монахов. — Наталья... она просила вам передать, чтобы вы обязательно к ней приехали. Ей надо сообщить вам нечто чрезвычайно важное для вас. Это может угрожать вашей жизни...

— Что за чушь! — воскликнул Монахов, взглядом преследуя секретаршу, бегущую к параллельной трубке. — Кто говорит? Нет другого способа передать мне...

— Она очень больна, — голос звучал глуше, будто трубку вырывали.

— Чем?

— Я не могу больше говорить... — короткие гудки.

— Алло! — Красный Монахов дул в трубку. И не сразу сообразил, зачем Исмаилов протянул к нему безмолвную короткопалую руку. Исмаилов взял у него из рук трубку и положил на рычаг, как ценную вещь.

Это было нелепо, но в результате Монахов выходил от Исмаилова, чувствуя себя оплеванным. Секретарша провожала его круглым взглядом.

«Ну погоди!» — кипел Монахов; он вышагивал к дому злым, стремительным шагом; он добирался до самого верха и выводил Исмаилова на чистую воду; он выговаривал Наталье как школьнице; он с жестокой иронией обращался к самому себе: дурак, например. Посмеиваясь над иными своими предположениями, никак он не мог, однако, скинуть их совсем со счета: что Наталья действительно больна, или что ему подстроили ловушку ее поклонники — тот же Ленечка, или что Наталья какими-то своими путями узнала о действительно грозящей ему опасности: быть убитым — но кем?.. Тут он громко смеялся в голос, не обращая внимания на прохожих, — над собою: мальчишка, кино!.. Если это все Натальины штучки с целью заставить его к ней при-

ехать, то следовало их разгадать и наказать ее, не приехав. Но и в таком случае было в этой настойчивости нечто лестное для Монахова, подтверждение чар... А если это угроза... сердце сжималось от мальчишеского страха, Монахову становилось весело, он воображал, как разнесет всю эту трусливую засаду, а если будет избит, то и это чем-то устраивало Монахова... Во всяком случае, он не струсит, он поедет, он, как (с их точки зрения) дурак, сам полезет головой в мышеловку, не связываясь с милицией, никого не оповещая. Чем страшнее рисовал он себе картины, тем смелее становился. А если это подстроила Наталья, чтобы проверить его смелость?.. Вот вариант, не учтенный им, однако наиболее возможный: проверка на вшивость... Удовлетворение оскорбленного женского самолюбия: мол, он не стоит того, чтобы так уж набиваться...

И вот в этом, последнем, случае, как-то совмещавшем в себе оба первых, Монахов наверняка задерживался в Ташкенте еще на день, чтобы с честью пройти подобную проверку, чтобы все остальные как раз ее-то и не прошли.

Следует в пользу Монахова отметить, что до конца сохранился и рыцарский аспект, пусть маловероятный: что она больна, что ей самой может что-то грозить...

### 3

«Вот я и приехал...» — усмехнулся про себя Монахов, следуя за сильной Наташей, легко несшей пудовую корзину. На секунду ему померещилось, что именно сюда он и ехал: откуда-то о т т у д а, не от мамы и не от жены. Квартиру он воспринял заново, будто ни разу в ней не был. Он протискался в темную прихожую между Наташей, корзиной и дверью, отсюда была видна насквозь кухня: сухонькая седая растрепанная женщина с папиросой во рту мыла посуду.

— Тетя, это Монахов, — сказала Наташа, пристраивая корзину.

Тетя отклонилась назад, близоруко щурясь в темноту прихожей, приветливо кивая, будто ей дым лез в глаза, мол, извините, мокрые руки, ничего не видя... Монахов расшаркивался в темноте с учтивым замешательством.



— Пошли, пошли. Ты с дороги. Тебе надо принять душ... — громко, для тети, говорила она и влекла его дальше по столь же темному коридору. — Не обращай внимания. — И Монахов последовал за ней, галантно перед тетей пританцовывая, будто еще кто-то был между ними, какое-нибудь небольшое животное, чтобы не наступить... «Что она ей наплела?» — кисло думал Монахов. Эта в секунду образованная в коридоре семья, состоящая из него и тети, его не устраивала. Предчувствия, не обманувшие таки его, подступили вплотную. Тоска о собственном, исчезающем обмане охватило его. «Сейчас я ее решительно распрошу, зачем она подстроила этот звонок Исмаилову. И тогда...» Но спросить ему так и не удалось.

Комнату он тоже не узнал. В ней, такой было пустой, поместилось нелепое количество новых предметов: столовский столик, отороченный алюминиевой полосой, к нему в гарнитур такой же стул; деревянный ангелок, головка, антиквариат, подлинник с отколотым носом, с крылышками за ушами, висел на свежем гвозде; большая иностранная фотография — голая белая девушка рядом с гигантским, белым же, изоляционным роликом; большая шкура неведомого Монахову животного на полу, а на шкуре, обняв замызганные коленки, — глубоко небритый, всклокоченный человек, сверстник Монахова, уж не Ленечка...

Монахов растерялся.

— Какой ты смешной, Монахов! — восхитилась Наташа. — Что с тобой? Это же Зябликов, ты его уже видел.

Монахов попер к нему с протянутой рукой.

Сделав чисто формальное движение приподняться, Зябликов подал крошечную немую ручку.

— Монахов, — сказал Монахов.

Зябликов, однако, не сказал «Зябликов», а лишь внимательно взглянул. Взгляд этот несколько смутил Монахова, хотя и не содержал в себе ни недовольства, ни вызова — будто Монахов стал виден насквозь. Это, ничем пока не подтвержденное, впечатление ума Зябликова вызвало в Монахове смешанное чувство почтения и неприязни.

— А ты обставилась... — сказал Монахов, чтобы сказать.

— А это, — смеясь, показала Наталья на стол, — они с Ленечкой вчера из кафе, что на углу, приперли...

— Как? — не понял Монахов.

— Так, взяли за углы и понесли.

Зябликов будто и сам с интересом слушал.

— А этот... ангел, — ткнул тогда Монахов в ангелочка. — Ведь настоящий? — настороженный за свое знание искусства, спросил он.

— Это не ангел, а херувим, — гордо сказала Наталья. «Какая разница?» — раздраженно подумал Монахов. — Ленечка не настоящего бы не подарил... — Монахов молчал. — А это шкура Зябликова.

— Не моя, конечно, а яка, — сказал Зябликов. И эта шутка, не стоившая того впечатления ума, которое он на Монахова произвел, была, значит, чистой любезностью. Монахов особенно готовно засмеялся: демократия Зябликова его покорила. Получалось, правда, что лишь один он без подарка. Он подумал было о корзине с фруктами, но тут же отверг подобное предположение, показавшееся ему слишком циничным, что ли. Он тогда чуть поудивлялся про себя, что и не подумал о подарке, убежденный, по-видимому, что он сам и есть подарок. Монахов усмехнулся. Зябликов раскрыл перед ним коробку каких-то удивительно длинных папирос.

— Я их сам набиваю, — сказал он.

Из ложного чувства Монахов готовно взял одну, сел рядом на шкуру и теперь крутил папиросу в пальцах, просыпая табак.

— А я бросил курить, — сказал он.

Зябликов без слов вынул папиросу из его пальцев, положил назад в коробку. Монахов растерянно улыбался.

Наташа вышла на кухню — Зябликов молчал, и Монахов молчал, последовательно удручаясь от мысли. Он словно только сейчас понял. Когда он вот так внутренне метался, из трех путей выбирая один, почему каждый из трех становился единственным? С чего бы это? С чего бы это — в том случае, если он решался на Наташу, то дальше с порога они входили на какую-то, как площадь широкую, постель, оставаясь всегда вдвоем, без помех, до тех пор, по-видимому, пока Монахову в очередной раз не станет пора? Вот этот вихрь с порога, как награда за решимость, это расчисленное пространство дня рождения вдвоем — одно и могло победить в выборе. То есть варианты выбора порывают с реальностью, пока выбор, умножаясь, пытается ее отразить... Эволюция варианта: побеждает тот, который умудрится прикинуться наибо-

лее соблазнительным. А здесь — Зябликов, тетя, херувим... — все то, что было легче всего себе представить с самого начала. «Выбор искажает цель», — Монахов подержал эту мысль в своих, как держат в руках какую-нибудь законченную форму, деталь, неизвестной нам принадлежности и назначения — такая симпатичная вещица, а ни к чему — и отложил, забыл за неупотребимостью.

Наташа поманила его в коридор.

— Ты что же, Монахов... Дурачок, Монахов, — приговаривала она, обнимая его, как столб. — Ты зачем на Зябликова дуешься? Он-то при чем?

Монахов удивился этому предположению... Вот уж что угодно, но о сопернике он не думал. Именно, что он считал себя вне конкуренции... Даже мысль такая ему в голову прийти не могла.

— А что, и твой Ленечка будет? — сообразил он.

— Они уйдут, уйдут!.. — запальчиво говорила Наташа, обнимая и любя его все больше. — Не могла же я их не позвать... — умоляла она.

Монахов был удовлетворен оказанным предпочтением и поцеловал ее. Из темного коридора он вернулся к освещенному Зябликову, всем своим видом не компрометируя Наташу, то есть каким-то образом обозначая, что ничего у него там в коридоре с ней не было. Хотя как это можно обозначить?.. и как что-нибудь могло в коридоре быть? Вот что странно, как допущение. Зябликов взглянул на него еще раз, опять производя впечатление ума. Тоже будто не сказав чего-то из того, что Монахов не показал.

— Ну так что, я схожу? — спросил Зябликов.

— Да нет, что вы!.. — стал отговаривать его Монахов, сладостно краснея. — У вас нет причины уходить, — неуверенно сказал он.

— Рубль у меня есть, — сказал Зябликов, снова взглянув.

— А-а... — Монахов был крайне смущен своей проговорчивостью и стал с поспешной готовностью суетливо доставать пять, десять, все деньги. Зябликов секунду помедлил рукою и решительно взял только пять.

. . . . .

— Ну что ты, Монахов, делаешь? — говорила Наташа. — Зачем ты ему дал деньги? Вы же перепьетесь, не дотянете до вечера. Ты дурак, Монахов. Зябликов про-

сто мой друг. Он не имеет ко мне отношения. Ну что ты, Монахов!.. он же сейчас придет... Монахов... Тетя!

Она вырвалась.

Зябликов оказался и впрямь весьма забавным человеком. Монахов таких не встречал. Он был великий путешественник. Он проплыл сибирские реки от истоков до океана, перешел пустыни и тайгу, и все это, кажется, была правда. Он мог прожить полгода один в обществе комаров и сосновых иголок и тогда не пил не только потому, что нечего, но потому, что незачем. Остальную жизнь, включая себя, он знал, кажется, не хуже, чем лес, и презирал, по-видимому, настолько глубоко, что оставался спокоен и снисходителен. Глупость, конечно, его раздражала, потому что ее трудно не заметить, и когда ее мало, и когда ее много. В общем, он сильно нравился Монахову, и Монахов старался ему понравиться и проявить ум, постоянно поскальзываясь на своих неточностях. Но это уже не Зябликов прикалывал его неудачные слова взглядом, а сам Монахов в ту же секунду ловил себя на них, выправляя и вырulingая — вот благо соседства с умным человеком!.. Короче, они выпивали.

Забегала от кухонных дел Наташа.

— Ну что, готовы?..— говорила она ласково, перебирая волосы Монахова. Монахов цепенел под лаской, не зная, лестно это ему или лишне в глазах Зябликова. Делал вид, что ничего не происходит такого уж... Рука Наташи остывала, теряла трепет. Монахов чувствовал ее остановившийся взгляд за своей спиной. Вдруг она вышла.

Монахов же в этот момент как раз затеял рассказывать что-то из тех невероятностей, что нарасказал ему отец, из тех, что он слушал так пренебрежительно. Теперь, слегка редактируя, он обнаруживал в этом все больший и даже пронзительный смысл. Черепахи ползли к морю и плакали... птицы брали азимут по плоской Земле... некое последнее чудовище одиноко выживало в не менее последней Англии.

Зябликов же подобные случаи мог обнаружить в своем опыте.

Монахов восхищался. Смеялся от души и чуть больше, чем от души, преувеличенно колыхаясь. Пусть был Зябликов умнее, зато Монахова любили, поэтому он не

чувствовал себя ущемленно, а даже радовался, что будто стал моложе, будто в детство впал, расположившись в тени старшего друга. Зябликов склонялся доверительно, дышал в ухо:

— Наколка есть, понимаешь?

Монахов согласно кивал, не понимая. Он принимал «наколку» с тою же готовностью, с какой заглывал «краску» — самое плохое вино, которого на его пять рублей Зябликов сумел купить прямо-таки невероятное количество. «Дело совершенно чистое», — шептал Зябликов. Он знал, где лежит клад. Ему нужен лишь напарник. Напарника найти не просто. Нужен серьезный человек. Получается, что именно Монахов и нужен.

— Единственное, что мне не нравится в тебе... — Монахов насторожился, почему-то тотчас готовый к обиде. — Так это твой трудовой напруг. — Монахов рассмеялся облегченно. — Пусть ты блестящий инженер, что дальше?

Монахов затруднился, что дальше.

— А дальше — ничего, то же дальше, — вот что сказал Зябликов. — А тут сразу — миллион.

Ну что ж, Монахов, пожалуй, согласен.

— По рукам!

Входила Наташа. Монахов был весь в беседе.

— Странно, — сказала она. — Какой ты, оказывается, ребенок.

Монахов насторожился: хорошо это или плохо? Льстят ему или колют?

— Мертвый ребенок, — досказала Наташа.

Колют. Но и это лишь потому, что сами уколоты...

— Слушай сюда. — Зябликов покачнулся сидя. — Еще наколка есть...

— Да не слушай ты его! — рассмеялась Наташа. — Что, курган зовет копать?

Зябликов посмотрел на нее преданно и вцепился ей в руку, целовать.

— Да отстань ты! — не зло стряхнула его Наташа.

Зябликов плавно повалился набок и уже спал. Детская улыбка заголила его лицо.

— Морг, — сказала Наташа. — Что же ты, Монахов?..

— А что? — Монахов приблизительно улыбался.

— Предатель ты, Монахов.

Слегка поссорившийся с Наташей, принявший душ, протрезвевший, Монахов стал мрачен. Зябликов лежал все в той же позе на своей шкуре, и впрямь мертвый. К чему все это? Пахло проколом, поражением, своей пошлостью. Всему этому не стоило противостоять. Ногромоздил... Монахов сидел на кончике стула, отвердев, отрешившись, как бы не касаясь даже воздуха этого чужого, лишнего помещения. После душа он был чист и брезглив.

Наташа носилась взад и вперед, накрывая, и он не смотрел на Наташу.

— Не сердись.— Наташа попробовала его обнять.

— Я не сержусь,— скучно отвечал Монахов.

— Ты меня не любишь, Монахов.

— Нет, отчего же...

— Ты не бойся, ты мне и не говорил ни разу, что любишь. Ты мне ничего не должен.

— Разве не говорил?..

— Пощади, Монахов! Очнись! Вот же я!— тормозила его Наташа.— Я тебя люблю. Ты пришел ко мне. Меня Наташа зовут. Милый...

И она зарылась ему в колени. Монахов посмотрел в последний раз на мертвого Зябликова и зажмурился, поощрительно глядя ее по голове. Замер, постанывая.

И тут, разрывая ему череп, прозвенел звонок.

— О черт!— простонала Наталья, вскакивая.

Хлопнула входная дверь, загудела баском, захохотала тетушка, и кто-то с шорохом птицы пролетел по коридору, задевая стены.

В комнату вошел немыслимый, не пролезающий в дверь букет тюльпанов, и, когда наконец протиснулся, за ним оказалось нелепое толстогубое раскрасневшееся лицо мальчика. Он еле удерживал рассыпающийся букет, а из-под мышки у него к тому же выскальзывала толстая книга.

Злое выражение беспомощно доживало на Наташином лице, точно злости не на чем стало держаться.

— Ты не представляешь, как я бежал!..— с восторгом выдохнул мальчик и выронил наконец книгу, наклонился за ней, и посыпались цветы. Над ним возникла, расплываясь в улыбке, тетушка.

— Ленечка пришел,— объявила она, как новость.

Ну конечно, это его Монахов видел тогда на базаре...

Наташа вспыхнула, прижала руки тыльными сторонами ладоней к лицу — остудить щеки, и, споткнувшись о цветок, она выстрелила из комнаты.

— Что с ней? — испуганно спросил Ленечка, обводя глазами комнату, ища причину и начисто не видя Монахова, будто он не сидел перед ним все на том же стуле. Выпуклые, цвета самого пустого неба, глаза Ленечки смотрели туда, где только что стояла Наташа, и не видели ее. Это небесное недоумение дало возможность Монахову опомниться, и он поднялся навстречу. Ленечка, так и не увидев Монахова перед глазами, понял наконец, что Наташи нет, и, с досадой отбросив оставшиеся в руках несколько цветков, ринулся следом, едва не опрокинув тетушку.

— Слушай! Слушай! — кричал он на бегу. — Погоди...

Тетушка, поджав губы и не глядя на Монахова, собирала цветы. На шкуре сидел, как стеклышко, Зябликов и смотрел недреманным взором, как она нагибается.

Ленечка яростно барабанил в дверь ванной:

— Открой! Открой же! Мне надо тебе сказать... — ныл он.

И Монахов не все понимал.

Комната, уставленная тюльпанами, еще раз преобразилась. Стол был накрыт, и зажжены свечи. Монахову казалось, что он здесь не первый день подряд, и каждый из этих дней не похож на предыдущий: насколько отличались его представления об этом дне от того, как он начался, настолько же вечер этого дня отличался от его начала. Казалось, все следует в обратной последовательности, будто пленку этого дня прокручивали вспять. Они теперь сидели вокруг стола так, будто это было вчера, как могло быть сначала, но не потом. Так неожиданно все вдруг стало чисто, нарядно и благопристойно. Совершенно трезвый Зябликов был внимателен и приятен для тетушки; Монахову нравились все, но больше всех Ленечка: Наташа нравилась всем, но больше всех хотела нравиться Монахову, которому нравилась меньше, чем хотела; Ленечка никого не видел, кроме Наташи. Чокались шампанским в тетиных бокалах, ели чудесно сохранный прошлогодний арбуз. И этот арбуз, особенно поразивший воображение песташкентца Монахова, арбуз, которого не могло быть

в настоящем времени, еще укреплял в Монахове впечатление, что все они сейчас — лишь воспоминание об этом, уже бывшем с ними, вечере.

Наташа была празднично хороша. Что бы там ни было, а то, что происходило в этом «воспоминании» Монахова, в наибольшей степени происходило с нею и для нее, причем не в воспоминании, а с е й ч а с, в е с жизни. Это был ее день рождения, вот в чем все дело. На будущий год ей будет уже двадцать четыре года!.. Ей было страшно и весело. Монахов внушал ей любовь и ужас. Ленечкин восторг льстил и повергал в отчаяние. Сочетание их двоих будило в ней страх и любопытство. Именно испуг и жгучее любопытство главным образом освещали ее лицо и так красили, что казались одному светом ее любви к другому, а другому — отражение любви к ней первого. Наташа охотно пылала в этом костерке. Впрочем, Ленечка так любовался, что и не ревновал. Скорее уж Монахов ревновал: «Вот кто любит! Вот кому все!» — завидовал он, глядя в Ленечкино лицо, в эту небесную лужицу, в которой отражалась Наташа. Ах, как оно жило, как дышало! Будто его лицо летело на нем, как всадник: вперед! вперед! к ней, к ней!.. — радостно предаваясь этой скорости. Он все время к ней шел: он к ней шел, приходил наконец, видел и тогда снова шел. Он шел к ней через стол, через эти два метра расстояния, как сквозь бесконечность, не пугавшую и не останавливающую его. И радостно было Монахову видеть Наташу, и лестно читать в ее взоре, но стоило ему увидеть этот полет Ленечкиного лица, как не мог он не следить с падающим вслед сердцем за этим бесконечным и радостным падением, и тогда уже трудно ему было взглянуть на Наташу, которая ведь не смотрела на Ленечку, а ждала его, монаховского, взгляда. Так голо, так откровенно мерцали ее широкие глаза, остановившиеся на том, что будет, уже скоро, не сейчас, через минуту, через час, но все ближе — решение! Не ее, но чье-то, но известно чье. Она все сделала, все свела, срежиссировала неизбежность и теперь могла только ждать. И ждать было радостно — она ни на что не рассчитывала и не обольщалась, но могла еще тысячу раз надеяться без всяких оснований, как Ленечка мог надеяться сто тысяч раз, как Монахов надеялся еще хоть раз в жизни...

Ленечка без умолку двигался, улыбался своим толстым редкозубым ртом, так ослепительно, не стесняясь,



плакал от счастья видеть ее своими пустыми, как об-  
лачка в высоком небе, глазами и, какую бы безразлич-  
ную чушь он ни молол, он только признавался в любви,  
только еще раз, чуть иначе, рассказывал, как он ее лю-  
бит, как ради нее все, что ни происходит на земле, или  
как все, что ни происходит, все — о ней. Наташа не  
слышала его никогда, но как же она была обеспечена  
им! Ах, господи! Какая бы глухая, беспросветная на-  
ступила бы тишина, умолкни Ленечка, которого она не  
слышит! Как Ленечке было наплевать, что он некрасив,  
неловок, нелюбим, не то говорит! Так завистливо любо-  
вался им Монахов. «Так его же невозможно не лю-  
бить!» — думал Монахов, почувствовав под сердцем не-  
ожиданную для себя, такую отвычную теплоту. «Нет,  
женщина — это чудо, — размышлял далее он, ненаро-  
ком поймав горящий Наташин взгляд и поспешно избе-  
жав какого бы то ни было обеспечения в своем. — Зачем  
ей я? Ах, как нехорошо!»

Курящая тетя, которая когда-то даже пела на сцене,  
у которой бывший муж когда-то работал в цирке, шури-  
лась на отставленный в руке дым, будто он ей лез в гла-  
за, и эта ее значительность, эта ее временность, как бы  
сосланность в далекий Ташкент были хотя и прости-  
тельны, но так заимствованны и узнаваемы, что Мона-  
хов опасался смотреть в ее сторону. Такое мог стерпеть  
только мудрый человек, как Зябликов (редкий случай,  
когда циничность успешно заменяет человечность). На-  
таша, та знала, что за человек ее тетя, сегодня высту-  
павшая в роли матери, — это был репертуар. Монахов  
же избегал смотреть на тетю все-таки больше потому,  
что избегал каких бы то ни было подозрений в га-  
рантиях.

— Может, ты прочтешь нам, Ленечка? — сказала  
тетя снисходительным грудным голосом.

— Да, да, прочтите! — заинтересованно поддержал  
Монахов.

— Наташа знает, ей не будет интересно, — сказал  
Ленечка.

— Прочти, — сказала Наташа. Ее обрадовал не-  
ожиданный интерес Монахова. — Я здесь пробовала ему  
прочсть и забыла.

В первый раз Ленечка коротко глянул на Монахо-  
ва — как на вещь.

— Я его переделал, — Ленечка чем-то огорчился.

— Читай, не ломайся, — приказала Наташа.

— Ага,— сказал Ленечка и зажмурился.— Сейчас.  
Ага. «Рассвет». Это название. Значит, «Рассвет».

Как будто бы я умер, мир стоял...  
В нем не было меня, и понемногу  
Он очищался от того, что я  
Присваивал, приписывая богу.

Так чуждо и прозрачно все во всем,  
И на глазах последний контур тает,  
Деталь случайную на память унесем:  
На горизонте дворник рассветает.

Как добродушен и халтурен взмах  
Его метлы! Игрушка... Как обидно  
Материя мерещится впотьмах:  
Сквозь нас видать, коль мне себя не видно.

Концу конец — начало всех начал:  
Мир так прекрасен, словно я в нем не был;  
Прозрачные значенья не сличал  
Со словом, а в начале было небо.

И будто не бывало в нем меня...  
...Лежит строка прощальная в конверте —  
Какая чушь! — как будто бы два дня  
По почте жить удастся после смерти.

Сначала Монахова не покидало чувство неловкости от распева и качания Ленечки. Он, правда, почти сразу поверил, что Ленечка не прикидывается — это он уже знал. Он взглядывал на Наташу, потому что впервые получил такую возможность: она теперь на него не смотрела, волнуясь за Ленечку. «Она же его человек! — подумал Монахов с ревностью и удивлением. — Как она этого не знает?..» Тетя щурилась. Зябликов вертел в пальцах свою папиросину, аккуратно просыпая из нее табак на газетку.

И что-то понравилось теперь Монахову. То ли он привык и преодолел стыд перед его чтением, то ли успокоился за Ленечку, что особенного позора не будет. Он слушал все внимательней и удивленней, зато Наталья совсем перестала слушать от волнения — смотрела, как слушает Монахов...

— Скоро конец,— сказал Ленечка.

Беги скорей. Нас взяли на прицел.  
Нас окружили ложные понятия!..  
Стой до последнего. Пока не жив, но цел.  
Ты не прорвешь их ватные объятия.

Вот формула! «Пока не жив, по цел». —  
Наркоз, эфир, фасованная прана...  
Ты опоздала, я же — не успел.  
Ты никогда не просыпалась рано...

Приснись себе. На мой не-мой звонок  
Открой, босая... Это я. Не рада?..  
Не открывай. Взгляни в дверной глазок —  
Увидишь отворенной клетку сада.

И нет меня. И будто глубоко  
Внизу обрыв. Туман пустой клубится.  
Как пролитое мимо молоко..  
Твой дом отплыл, отчалил, моя бикса!

А ты осталась на его борту  
И смотришь в пустоту припухшим взглядом...  
И привкус металлический во рту...  
И на лице твоём легка досада.

Ты и не знала, что в саду — обрыв...  
Крик петуха застыл там так высоко! —  
Вниз не смотри... Калиточку прикрыв,  
Ступай домой. Расстанемся до срока.

Все молчали.

— Раньше было лучше, — ревниво сказала Наташа.

— Правда? — с готовностью откликнулся Ленечка. — Мне тоже сейчас не понравилось. Да ну их! — легко отмахнулся он.

Монахов же — проникся. Он счел должным сказать об этом и почему-то покраснел.

— Правда? — с Ленечкиной готовностью откликнулась Наталья. — Ну, ты, Монахов, молодец! Я не ожидала. А что я говорила? — торжествовала она. — Сам видишь.

Монахов, не глядя на нее, извиняясь и опять краснея, попросил даже переписать стихи.

Ленечка благодарно захлопал ресницами, закивал и сел с ним рядом, как с другом. Монахов поразился этой его перемене — или с самого начала он все не так понимал?

— За нашего поэта! — провозгласила тетушка.

Монахов протянул свой бокал с особой поспешностью. Оказывалось, к его собственному удивлению, что стихи произвели на него еще большее впечатление. Впечатление это как бы проявлялось по мере. Он все косился на Ленечку и потуплял взор. Вся нелепость и детскость Ленечкиной внешности несла теперь для Монахова некий отпечаток значительности. Признав,

«зауважав» Ленечку, Монахов будто искал в нем непосредственно последовавших за фактом этого признания изменений — и не находил. Это был все тот же Ленечка, который с удовольствием «запил» свое чтение и скороенько забыл о нем. «А Наташа, значит, его Муза...» — медленно подумал Монахов и этим взглядом посмотрел на нее. Она смотрела на него пристально, будто стараясь различить его в далекой перспективе.

Перспектива эта вдруг покачнулась и сократилась, переломившись надвое. Звякнула сама собою рюмка о близкую бутылку. Качнулась лампа, передвинула тени. Все необыкновенно оживилось.

— Ого! — сказал Монахов. — Неужели?

— Около пяти баллов, — гордясь, сказала тетушка.

— Отлично!..

Все выпили за это, повторив в своей памяти толчок всеобщим чоканьем. Все тени успокоились на прежних местах: Монахов, как бы потрясенный живым явлением природы, мечтательно не глядел на Наташу, Ленечка не видел Монахова, как не заметил, кажется, и землетрясения, Наталья же...

— Монахов... — сказала она. — Иди ко мне...

«Ленечка же рядом... Как она может!» — воскликнул молча Монахов и потупился, не выдержав ее взгляда.

— Ты что, не слышишь?

Монахов замычал и замотал головой от непереносимости. Все — смотрели.

Кинув медленный, опять трезвый взгляд, Зябликов стал сосредоточенно раскуривать новую папиросу, подгоняя ладошкой утекающую струйку дыма — напоминал рыбу из воды. Сделав ряд вороватых затяжек, он откинулся, прикрыв глаза; осторожная, слепая улыбка чуть трогала его губы. Тетушка шурилась на Монахова и тихо, но как бы профессионально напевала: «Я притаилась, не говорю ни слова...» «Что ей от меня надо?» — подумал Монахов неприязненно. Натальин голый взгляд по-прежнему прижигал его. Со страхом он покосился вбок, на Ленечку — тот все так же неунывно, с тем же немым восторгом смотрел на Наталью, будто одного этого ему было навсегда достаточно. И ничего не видел.

— Не слышишь?..

— Не слышу, — глухо и жестко сказал Монахов.

Наталья хлопнула дверью.

Ленечка дернулся за ней.

«Надо было мне не приезжать... Надо было мне улететь... Вот навертел: неизвестно, что надо». Монахов затосковал. «Неужто он ничего не видит! — рассердился он тут на Ленечку. — Я здесь — ежу понятно, зачем и почему. Я бы на твоём месте... не знаю даже... давно убил бы меня! Как он выносит все это?..» Монахов сурово подвинул себе бутылку, выпил полный стакан в решительном одиночестве и сделался демонстративно мрачен. «Господи! что же это? Умер я, что ли? Что ж это я не люблю никого... Ни ее, ни жену. И себя не люблю. Да ведь и маму тоже!..» — он подумал это словами и впрямь ужаснулся. А ведь любил! ведь как любил... «Вот так, как он, и любил!» — догадался он и зажмурился — так внезапно подступило все из глубины его стертых лет, будто и всегда было рядом, будто вчера, и, главное, не в последовательности, не в протяженности, а сразу, вместе, будто на одном холсте, будто времени не существовало, а все происходило сразу: и сегодня, и вчера, и завтра — в одном пространстве. Это так ослепительно подступило, но как только он стал припоминать последовательность, так сразу и отступило, и осталось ощущение, что секунду он был Ленечкой, сидел на его стуле, разглядывал Наталью и ничего не было, кроме... Вот что, однако, зацепилось, прилипло в черепе из этого слитного кома: то, чего он совсем уж никогда не вспоминал, а тогда, двадцать лет тому, внимания не обратил... Да, вот так-то: тогда этого с ним и не было, астряслось сейчас. В эту минуту, через двадцать лет, с ним случилось то, чего он тогда и не заметил, и не увидел, не понял, не хотел, не мог понять, чего он не принял бы тогда никогда и ни за что...

...Ася работала на оптическом заводе... Линзочки эти сейчас отчетливо вспомнил Монахов, она их приносила как-то, хорошенькие такие. Работала она в две смены, и вечерняя была удобна для юного Алеши Монахова: он мог приходить к Асе с утра, когда никого в ее квартире не было, а его родители считали, что он в институте. Да, так он и жил, через неделю. Но как-то раз выдалась и вторая неделя подряд: Ася бюллетенила... И вот он прибежал как-то пораньше, радостный, мечтая застать ее еще сонную... но застал ее совершенно не сонную. Она сидела в своем застиранном, излюбленном им халатике с готовым, дневным лицом, и напротив, через стол, сидел какой-то мужик с бутылкой портвейна. Теперь удивлялся Монахов, что тогда он не растерялся и не

удивился, а лишь сразу задосадовал от помехи. По одному виду этого мужика юный Алеша был уверен, что это никак не предмет его ревности. Мужик был чужд Алеше — некрасивый. Немодно одетый и немолодой. Теперь же, когда Монахов разглядел его через время, было очевидно, что мужик был по случаю выбрит и наряден, и не был он вовсе стар, а очень даже крепкий и свежий был мужик. Они нисколько не смутились его приходу. «Это... (вот фамилию Монахов забыл) мой товарищ по работе, я тебе о нем рассказывала, пришел навесить», — сказала Ася. — А это мой Алеша». Монахов вспомнил его здоровое, гладкое рукопожатие и взгляд. Да, что-то она действительно ему упоминала прежде раз-другой, что есть такой — комплименты говорит, приглашает куда-то. Алеша не обратил внимания, ему было скучно все про ее работу. Теперь-то Монахов уже знал таких мужиков, видывал. Теперь он видел, что и взгляд был не глупый, хваткий (прорабы такими бывают...), что и держался он со своим достоинством, причем привычным, что и для себя, и для других был он неплох и на месте, прочный человек. Ведь, кроме этого, первого, уместного, взгляда, ни разу он не повел себя ни ехидно, ни с намеком, ни проницательно, ни с превосходством. Да, вполне был мужик... Ах, теперь Монахов гораздо лучше расслышал ее рассредоточенные, вскользь упоминания о нем! Чего хотя бы стоил рассказ Аси о том, что была у него после войны невеста, литовка или латышка, где он воевал, и очень они любили друг друга, и она трагически погибла: оправила задравшуюся юбку (вот непридуманное место в романсе!), когда они влюбленно летали на качелях, и упала прямо на пики садовой решетки... Когда рассказывается такая история, а?.. И, значит, до сих пор не женат — об этом Ася тоже помянула. И зарабатывает дай бог. М-да... Хорошо держался мужик: не заговаривал зубы, не мельтешил — кажется, только и сказал, что предложил портвейну, но и на этом не настаивал. А только сидел прочно на том же стуле, и словно стул под ним становился прочнее. Монахов видел его теперь так рядом, этого мужика, о котором не вспомнил во всю жизнь ни разу: этот серый, добротный, что называется, костюм, отутюженный по-флотски (ага, еще поминала Ася: он служил на флоте...), синюю рубашку, костистое лицо с молодежавой кожей, и особенно отчетливо почему-то — волосы, чрезвычайно прямые, до сих пор неподатливые, кажется, он

и при Алеше время от времени причесывался... Монахов еще отчетливей приблизил его лицо: этот срезанный затылок с торчащим хохолком, эти слоновьи неглупые глазки, этот кривой и длинный, волнистый, костистый нос... «У-у!» — застонал теперь Монахов, но кулак его не проникал сквозь толщу лет. Это ладно, успокаивал он себя, это бог с ним... Трудно заподозрить свою первую любовь с таким неромантическим соперником... Но ведь дальше, дальше-то что было! Ужас. Просто ужас. Мужик наконец (попросила она его выйти или не попросила?.. не помню) встал и вышел, но не навсегда, а должен был вернуться вскоре, оставил свой портвейн... Ася сидела на кровати, Алеша стоял на коленях, целовал ей руки. Ася говорила, что нельзя, что он скоро вернется. Вообще она что-то подозрительно много объясняла, почему тот пришел, чем ему обязана, что он давно уже напрашивался в гости, что она не могла отказать в конце концов, что он скоро уйдет, а Алеша вернется, а пусть пока Алеша уйдет. Но Алешу почему-то вовсе не занимали ее объяснения, интересно ему слушать про какого-то человека, которого для него не существовало ни при каких условиях... и вот что, кажется, произошло теперь, на глазах у Монахова... ах, ему и теперь невозможно было в это поверить! Будто Ася все-таки уступила Алеше. «Ладно, скорей», — сказала она и была как-то не то рассеянна, не то скучна — холодна. А Алеша был счастлив и подымался с колен с торжеством, с которым и взглянул на почти тут же вошедшего «товарища по работе». После чего быстро попрощался и, послушный Асиной воле, ушел, ни о чем не задумываясь, чтобы никогда не вспомнить потом. А «товарищ» — остался... «Ох-хо-хо! вот те и страдания юного Вертера! — взвыл про себя Монахов. — Это что же получается с историей его чистоты и причиненных ему страданий? Ох-хо-хо! Чего уж тут удивляться на Ленечку-то...» Тут Монахов отвлекся хотя бы настолько, чтобы вспомнить, где он. Он поднял глаза на Ленечку удостовериться в своем открытии. Так Ленечки за это время не стало. И Наташи не было. Зябликов спал. И как раз в этот момент, позевывая и подчеркнуто скучая, поднялась со своего места тетушка и ушла к себе, с личною рюмкой в руке, спать, не сказав «спокойной ночи», обидевшись, наверно. Наверно, эти тетушкины позевывания и пробудили Монахова от воспоминаний — так сколько же он вспоминал?

Секунду или час? «Если час, куда они вдвоем на так долго делись?..» — подумал он без задней мысли.

Дверь за тетушкой притворилась — Монахов вернулся к своей истории... «Нет, это что же за фокусы! — возмущался он. — Да как же я смел не видеть, как страшно она жила! Нищая, бедная девочка! Вот что значит влюбленные — слепы!.. Слепы-то они слепы, да как ловко. К себе и слепы. Видят, что только захотят. Что только захотят, то и видят. Так что же, я и тогда не любил?..»

Шумно и бойко входила Наталья, а за ней, как слепец, с запрокинутым застывшим лицом, неся в нем плещущие свет и боль, словно боясь расплескать, медленно шел Ленечка. Она прошла прямо к Монахову, потрепала его по голове.

— Монахов, милый, я тебя бросила, прости. Ты скучал?

Монахов смотрел неприветливо.

— Ты не сердись, Монахов... Должна же я была ему сказать, — добавила она вполголоса.

— Что сказать?

Ленечка тем временем прошел, как стеклянный, словно бы тоненько позвякивая, мимо них и дальше, пока не уперся — там и остановился, у окна.

— Что я тебя люблю, что хочу остаться сейчас с тобой...

— Ты же говорила, что уже сказала?.. — шепотом просвистел Монахов.

— Да нет, — поморщилась Наталья, — вот сейчас сказала.

— А зачем же ты мне тогда сказала? — не понимал Монахов.

— Хотела посмотреть, что ты скажешь.

— И что я сказал?

— Да ничего ты не сказал, не бойся.

— Так, может, ты и сейчас не сказала, а только говоришь?..

— Тьфу, Монахов. Сказала. Тоска, Монахов... Сердца у тебя нет.

— А у тебя есть — такие вещи ему говорить?

— Как же я могла не сказать? — искренне удивилась Наталья. — Я хочу быть вместе с тобой...

Монахов пожевал этот ответ.

— Так ты что же ему сказала? — наконец сформулировал он. — Только, что ты меня любишь и хочешь



остаться со мной? Или что ты уже... как ты говоришь... «была вместе со мной»?

— Господи!— вспыхнула Наталья.— Какая разница! Будто неясно? Я что, девочка? Была, не была... Сказала, что люблю, и баста.

— Ну тогда-то что... Тогда ничего,— усмехнувшись, сказал Монахов.— Обойдется.

— Ты о чем?— не поняла Наталья.

— Сознанием обойдется. Не такие вещи обходились...— Он опять усмехнулся. «А я ведь играю...— подумал он.— Я ведь роль играю. И до чего же плохая написана для меня роль!»

— Ну ты даешь, Монахов!..

— Я пойду?..— неслышно сказал Ленечка, наконец сообразив, что уперся во что-то, и повернувшись от окна. Он не слышал, что они говорили.

Наталья не услышала его.

— Я даю... Ты — даешь! Человеку в лоб такое залепить!— громко шептал Монахов.

— Ничего. Это не так страшно. Страшно, пока не скажут. Вот ты же мне не сказал еще, что не любишь меня... И страшнее, чем сейчас, мне никогда не будет...— Монахов и сейчас не сказал. Наталья вздохнула.— А даже скажешь — не поверю. Сам сказал, что обойдется. Стихи напишет...

— Я пойду?— сказал Ленечка звонче.

— Стихи?..— встрепенулся Монахов.

— Ты еще здесь?— удивилась Наталья.

Ленечка покорно шагнул к дверям.

— Пойдите,— сказал решительный Монахов.— Там ведь еще осталось...— Он прошел к столу, разлил в бокалы и галантно раздал их действующим лицам. Ленечка вцепился в рюмку, как в соломинку. Наталья отвернулась.— И вы мне обещали еще стихи переписать...— сказал Монахов, чокаясь с Ленечкой.

— Я сейчас... Я...— он глянул на Наталью с испугом и надеждой,— мигом. Я быстро перепису.— Он поспешил, пока Наталья молчала, в угол, на шкуру, и там пристроился с книжечкой.

— Сволочь ты, Монахов,— спокойно шепнула Наталья и прошла в свой угол, на матрац.

Монахов тоже уселся на шкуру и теперь оглядывал сцену с тоскливым удовлетворением: Зябликов по-прежнему мертвецки спал, Наталья лежала лицом к стенке (интересно, открыты у нее глаза или закрыты?..), Ле-

нечка, согнувшись в три погибели, близоруко и быстро писал в книжечку на колене... «Так по-детски...» — вздохнул Монахов, схватывая его позу.

Он утомленно прикрыл глаза (все-таки на случай — Наталья обернется)... «Ты и не знала, что в саду — обрыв...» Надо же! сразу запомнил. Значит, что-то есть. Вернее, может быть. Спросить бы Зябликова, что он думает, но ведь не высказался... Вот Наталья говорит, что он писатель замечательный. Подумать только, издается во всем мире... в Париже... Монахов легко представил себе Париж, в котором не бывал, и с трудом — Зябликова, который спал напротив. А вдруг Ленечка — великий поэт? Смешно. Быть не может... Что я в этом понимаю? А вдруг?.. Тогда кто я? Дантес, Мартынов? Бред какой-то... Странные люди. Не думал, что у Натальи — такая среда. Причем в Ташкенте. Другие люди. Богема, мать... Есть еще разные люди — вот что я забыл... И как все похоже! Одинаково. У меня, у него... (Ленечка все царапал на своем колене.) Он — не я, да ведь и двадцать лет — разница!.. Он представил вдруг, что у них с Асей мог быть вот такой сын. Ужас! Нет-нет, это он зря: Ленечка уже другой, не такой, как он... Разве я знал сотую долю столько, сколько он уже понимает в своих стихах?.. Однако странно: в стихах зряч, здесь слеп. Неприменимость забавна... Разве я стихов не писал? Но, господи, лучше не вспоминать — что это были за стихи! Может, все-таки у него талант?.. «Мне-то какое дело!.. — рассердился Монахов. — Ну талант, — так я что, должен истории бояться? Авось в школе меня проходить не станут. Допустим, мне выпала такая же роль, как Дантесу, — так разве меня царь ему подстроил? или враждебное талантам общество? Смешно. Пожалуй, это очень как раз непочтительно относиться к талантам не как к людям, а как к достоинствам, как к шутам гороховым; уступать им своих дам, не стреляться с ними, считать, что это божья роса, а не они вам плюнули в рожу... М-да, нет, я темный инженер, слепое орудие в руках судьбы. Так честнее. Я хочу спать с Натальей, ради этого огород городил, жену и родителей перешагнул, и она хочет того же. Не достаточно ли? И если я ради него откажусь, разве не сыграю ровно ту же роль в отношении его, если не хуже? Наталья ведь в обиде на меня, как с ним-то обойдется? Хороший мальчик, я полюбил его. Хотя кого я люблю?.. И я был хороший мальчик... Так что же, тот мужик, увидев мою

как бы святую простоту, должен был перекреститься и бежать? Он и так поступил по справедливости, по-братски... Ужас! А вот еще ужас, если Ася тогда... Может, он вернулся, а она как-нибудь открутилась и ничего у нее с ним не было? Не дотянешься, не допросишься, не узнаешь ровно никогда. А если все-таки не было, кто же я тогда, что так все теперь понимаю?! Морг, как говорит Наталья. А даже, если было, все равно — морг, раз уж узнаю, и знаю то, чего сердце не должно знать умом своим, а не мозгом (моргом) проклятым. Что же делать с Ленечкой? Зачем я ввязался, болван! Ишь расчувствовался, сердечность несуществующую почувял. Сколько раз еще мне обманываться, что я есть, когда меня нет? Впрочем, с каких это пор меня нет? А — с давних. Боже, что же это за попытка — без любви! Все обманываешься, все надеешься, а — дудки! По губам помажет — и все. Мимо. С сердцем, видите ли, чувствуют, а без сердца — нет. А то, что нет сердца, это ли не чувство! Да это ад прижизненный, да еще и за неведомый грех. А с сердцем — грехи да радуйся. Кому хуже, неизвестно. А может, у меня огромное, доброе, щедрое сердце?.. А я и этого не знаю, есть оно у меня или нет. Бьется там что-то, трепыхает, а что это? Вот и спрашивается, если я любил Асю сильнее всего в жизни, то любил ли я ее вообще? Я ведь ничего не помню — огромный темный мешок. Казалось, с миновавшим счастьем, а сунул туда наугад руку — такую дрянь вытащил, что больше и не суну, и вспоминать не буду. Так правильнее будет, сердечней... Ничего не помню. Лица ее не помню. Любви ее не помню. И ведь действительно — не помню. Казалось, смерть моя — расстаться с ней, а разрыва — не помню, ни боли, ни трагедии — ничего. Просто должен был умереть, каждую секунду грозила мне гибель, а секунда прошла — я и не заметил. Просто не стало Аси — и все. Не помню. Что-то все-таки вроде было, какая-то драма, не могло не быть. Нет, не помню... Помню, что была Ася, а потом ее нет, и я почему-то на пляже...»

- Я написал, — прошептал ему Ленечка в ухо.
- А... — Монахов очнулся.
- Только я другое написал. Не то, что читал.

Монахов взял листок. Ленечка сжался в тихий комочек. Монахов пробежал глазами, что-то зазнобило в спине, защипало в глазах, текст поплыл, Монахов

снова навел на фокус — крупным, деревенским почерком было написано вот что:

Эта женщина недописана,  
Эта женщина недолатана,  
Этой женщине...

Строчки покачивались, легко вбегая в мысленный слух Монахова; он их с удовольствием не все понимал...

Вот сидит она, непричастная,  
Непричесанная — нет ведь надобности.  
И рука ее не при часиках,  
И лицо ее...

Вдруг понятен стал Монахову наговор — и он в с е п о н и м а л.

Что мне делать с ней, отлюбившему,  
Отходившему к бабам...

«Ну-ну!» — ласково усмехнулся взволнованный Монахов.

Подарить на грудь бусы лишние?

«Ах!» — охнул Монахов и от наслаждения пропустил следующую строчку.

Ничего-то в ней не расклется,  
Ничего-то в ней не разбудится.  
Отвернет лицо, сгонит пальцы,  
Незнакомо-страшно напудрится.

Монахов это у в и д е л, полный восторг владел им.

Я приеду к ней как-то пьяненький,  
Завалюсь во двор, стану стекла бить...

Монахов почти плакал, последние строчки неотчетливо плавали в его глазах и вдруг кончились.

— Потрясающе! — сказал он.

Ленечка был более смущен, чем польщен.

— Вы печатаетесь? — стыдливо спросил Монахов.

— Нет, меня никогда не станут печатать. Я ведь только про любовь пишу.

— М-да, — сказал Монахов. — У нас ничего не осталось?

— Тс-с! — сказал Ленечка, покосившись на лежавшую к стенке Наталью, и приложил палец к губам с видом плута. Он прокрался на четвереньках, порылся за шкафом под шкурой и приполз с бутылкой «краски» в руке и папиросиной за ухом.

— Вот,— сказал он шепотом.— Зябликовская за-  
начка.

Монахов глянул на Ленечку, потом на «великого писателя» и развеселился: одно условие величия было выполнено — тот был все так же мертв: ни кровинки не трепетало на его лице. Посмотрел в спину Наталье и снова перевел взгляд на Ленечку — тот был вполне доволен. «Да полно,— подумал Монахов,— сказала ли она Ленечке хоть что-нибудь на самом деле? Может, только мне наплела? Может быть, просто велела ему уйти, не вдаваясь в объяснения?.. Мол, приказ — выполней...»

Ленечка откупорил, отбер горлышко и передал Монахову.

— Только жрать нечего,— сказал он.— Жрать скоро — ужас как захочется! Буханку враз могу умять без воды.

«Какой же он мальчишка!» — восхитился Монахов.

Они сидели на шкуре, касаясь плечами, отхлебывали, передавая, — и им было хорошо. Это Монахов отчетливо понял, что не только ему, но и Ленечке. Ленечка смотрел теперь на Монахова почти теми глазами, как на Наталью. Монахов не ожидал, что Ленечка так искренне, так вдруг, так весь потянется к нему как к другу. «Просто он весь такой,— подумал про него Монахов.— Весь. Он меня и любит, быть может, потому, что меня любит Наталья... — вдруг предположил он.— Вот он и тянется ко мне как к брату... Как к отцу...» — слезливо подумал Монахов. Но эта мысль скользнула и ушла — она была не по адресу: у него ведь был сын. «Школьник...» — вздрогнул Монахов.

— Хотите? — Ленечка протянул ему дымящуюся папиросу.

Монахов благодарно кивнул и жадно затянулся.

— А ты школу кончил? — спросил он задумчиво.

Школу Ленечка бросил.

Монахов попробовал наставить его на путь. Ленечка слушал вежливо, но безнадежно, выжидательно взглядывая на Монахова. И Монахов отказался от темы.

Заспорили о поэзии, в которой Монахов стал неожиданно много понимать.

— Да нет,— говорил Ленечка,— какой я поэт! По сравнению с этим вот,— он кивнул на листки в руках Монахова,— я ничего еще не написал.

— А по-моему, то тоже хорошее, — настаивал Монахов. — По крайней мере, с середины.

— Да ну, турысы на колесах...

Обоим стало страшно смешно. Монахов представил себе таких уж «турусов» на колесиках специальных, что чуть не плакал от смеха. Ленечка заходился, на него глядя.

— Во! — смеялся он. — Во-во!

— Тс-с! — прикладывал палец к губам Монахов, указывая на Наталью. Они пытались смеяться шепотом, давились, толкались — школьничали.

Монахов был счастлив этим ровесничеством с Ленечкой.

Их смех и тычки вдруг переросли в борьбу на школьной переменке. Они катались по шкуре, возясь и фырча. Весело! Монахов все-таки запыхался — вдвое старше, хотел передохнуть — не тут-то! Ленечка налетел на него с азартом и резвостью щенячьей. Смеясь, поддавался Монахов, пытаясь отдышаться под Ленечкой. Но Ленечка увлекся — дитя! — давил, сопел, и вдруг Монахову показалось, что глаз у него яростен. Монахов опомнился и легко скинул его с себя. Ленечка тут же затих.

Что-то кончилось.

Монахов отдышался, остыл, даже застыл все в той же позе, привалившись к стенке, глядя в спину Наталье. Ему не хотелось ни двигаться, ни говорить. Даже взгляд он не мог передвинуть. «Набрался-таки...» — подумал он.

Так он смотрел перед собой в ту же точку и с легкостью представил себе, что его нет, что он — умер.

Какая-то неодолимая прозрачность пролегла между ним и Натальей. Наталья — всплыла и словно повисла над матрацем. Монахов будто уже и не сидел, а стоял в ясной дрожи, но какой-то волос преградил ему дорогу. Не стало стены — там друг на друге сидели луна и фонарь, и этот двойной свет остановил все на земле, словно все, и их, и его, залили наипрозрачайшим веществом, и они там, как мухи в янтаре... «Так выглядит прошлое...» — подумал Монахов.

...Он действительно до странности не помнил, как они с Асей в конце концов расстались. Тут не пролегла никакая боль. Сюжетная развязка отсутствовала. Помнил отчетливо — некий пляж, но он там был уже без Аси. Это было первое его воспоминание после Аси, а они

не виделись к тому времени уже год. Что это был за год? Что в него помещалось? Ничего, пролет, первая остановка — пляж Петропавловки, где все замерло в эту секунду, как на фотографии. Сначала он совсем об этой странности памяти не думал, принимая ее как должное, как благо, потом его начало разбирать даже любопытство, что же случилось, куда делось?.. И с самым большим напряжением, причем ровно через год, выковыривалось что-то смутное: перехват какого-то письма, когда они уже не были вместе, какая-то обидная поездка на летнюю дачу детсада (Ася снова работала по первой специальности) под предлогом забрать увеличитель. Он не мог найти эту дачу, нашел, и Ася там, к удивлению, оказалась. Но дальше опять ровно: бредет он обратно по тому же лесу с оскорбительным увеличителем в руке. Но и про увеличитель тоже как-то так... — не фантазия ли? — увеличителя потом у него дома не оказалось, и если он и впрямь за ним ездил и забрал его, то куда он потом делся?.. Все это, повторяю, смутно, неопределенно: ни ссоры, ни драмы, ни травмы, будто и не было, и год прошел после — его тоже не было, но тогда с чего же начинался обрыв?

Последнее его воспоминание об Асе, на котором все кончалось, был сон. Ему подряд снились страшные сны, с каждым днем тревожней, опаснее и страшнее. Но этот, последний, был самый страшный, и после, начисто, как бритвой, сны вообще спиться перестали и не снились никогда до тех самых пор, которые он мог определить лишь условно, то есть словом «пляж». Вот тогда ему впервые перед сном промелькнуло что-то: какие-то угольнички, часики-колесики, обломки, ножка целлулоидной куклы, шестеренки. А первый складной сон приснился ему, когда он встретил свою будущую первую жену. Он проснулся с нею рядом в поту, все от того же страшного сна, и долго разглядывая ее рядом, незнакомую и спящую, как вариацию того же сновидения. Вскоре он на ней и женился.

Он помнил этот сон как последнее, что было в их с Асей жизни, но опять же не помнил, после чего был этот сон, с чем связан, какие события предшествовали, так что никакой связи с реальными событиями своей жизни установить не мог.

И вдруг то ли он вспомнил наконец через двадцать лет этот сон, то ли уснул и увидел его вновь.

...Он был в бесконечном городе-доме, городе под крышей, вроде театра — вокруг шныряла закулисная жизнь. Он знал, что здесь Ася, и расспрашивал дорогу у встречных. Они его направляли все дальше и дальше — сгущалось, темнело, душнело в этом закулисном мире, и все мертвее и раскрашенной становились лица людей, пока не стали откровенно аляповатыми масками из папье-маше. Он знал, что происходит ужасное, что надо спасти Асю, что она там, что эти мертвяки нарочно путают его, и вот по одному лишь чувству, не спрашивая у них дорогу, он бросился прочь, т у д а — там Ася!.. Он бежал, и все просторнее, светлее становилось ему — можно было дышать. И мертвяки все реже попадались на пути, испуганно отпрядывая в сторону и вжимаясь в стены... И вот впереди забрезжил окончательно — свет, вздох, воля! Потолок был высоко, как в храме, и помещение стало грандиозно по размерам. Он увидел перед собой широченную лестницу. Она уходила вниз как бы каскадами: в конце ее, в глубокой глубине, он едва различал стену — лестница упиралась в эту стену. Стена эта была вдаль перед ним, и он поднимал по ней взгляд, пока не стал смотреть прямо над собой: там стена кончалась, переходя в высокий сводчатый потолок. Он понял, что надо бежать по лестнице вниз, и побежал с удивительной легкостью. Он перелетал сразу через несколько ступеней, такими длинными неощутимыми шагами, и бежал все быстрее. Он услышал крик за спиной, сразу много голосов. Оглянулся через плечо: лестница уходила уже далеко вверх, и там, на самой верхней площадке, там, где он только что стоял, увидел толпу с мертвыми лицами: за передними все прибывали, набегали другие, грудились, громоздились, стояли над лестницей, как над обрывом, пропастью и кричали в ужасе. Ему вдруг стало весело, он так и бежал вниз все быстрее и в то же время как бы со стороны видел себя бегущего: тело летело вниз, голова же, как у шута, была назад на 180 градусов и смотрела вверх, на толпу. Те тыкали вниз руками, громоздились друг на друге, кошмарные желтые лица, и кричали в страхе: «Он же стукнет в стену!» Ему все веселее становилось от этого крика, он понимал, что добежит, стукнет — и все рассыплется, ничего уже э т о г о не будет. Он летел. Стена была совсем уже перед ним, с весельем заносил он руку, как вдруг у самой стены скорость погасла, словно он натолкнулся на неощутимую и упругую, как



бы пневматическую, преграду, он повис на стене, а рука в сильном замахе остановилась в миллиметре от стены и бессильно поползла вниз, и, весь обмякнув, оползал он вниз и только видел высоко над собой, так высоко, что и не видел уже, стену...

Он открыл глаза, но неприятное ощущение, что он не в силах пошевелиться, не чувствует ни рук, ни ног, все не проходило. Будто он мертвый. Это не было так, что он отлежал что-то. Способность двигаться и ощущать тело вернулась внезапно, без всяких «мурашек» и покалываний, связанных с восстановлением кровообращения. Он должен был что-то вспомнить, но бедная его голова никак не могла сделать этого усилия. Не то чтобы, как положено говорить в таких случаях, от этого зависело все: это было просто надо — вспомнить. Но там была словно бы тугая пленка в мозгу, она выгибалась, за этой пленкой было как раз то, что надо вспомнить, но пленку никак было не прободать.

— Монахов... — услышал он. — Монахов!..

Он безумно хотел спать. Он не чувствовал тела и лежал как в воздухе, как в вате. Рядом с ним лежала теплая Наташа, он узнавал ее голос, но был не в силах приподнять веки. Он только обнял ее крепче, шевельнул губами и снова поплыл, заскользил невесомым телом в яму сна.

— Монахов! — Голос раздавался странным образом не оттуда, не сбоку, где Наташа, а сверху падал на него. Эта странность вытянула его из сна, он приоткрыл глаз и увидел голую ногу, вернее, ее большой палец. Это была тоже Наташина нога, но пальца ее он никогда так близко не видел. А обнимал и прижимал он к себе, он быстро сообразил, не Наташу, а спящего рядом Ленечку. Это умилило Монахова.

— Монахов!..

Он закрыл глаз и прикинулся спящим, решительно не желая просыпаться еще раз в этой жизни. «Этот палец надо было бы любить, чтобы видеть...» — подумал он сквозь эту неохоту...

— Ты же не спишь, Монахов! — Голос над ним звучал с мольбой. — Иди ко мне, Монахов! — Монахов зажмурился от страха. — Сволочь ты, Монахов! Убила бы я тебя сейчас...

«Да ради бога...» — подумал Монахов. Но Наталья не убила, а босо и тяжело ушла.

Он не знал, приснился ли ему его сон наново или он уснул с воспоминанием о нем, но это было самое отчетливое, с чем он опять провалился в небытие. «Вот тогда я и умер, когда не умер,— спокойно успел подумать он.— Вот тогда и погиб, когда не погиб...»

Тут были и бесконечные оттенки неподуманного...  
Он спал.

.....

Он проснулся отчетливо, полностью, весь, но глаз не открывал. Было зябко и стыло, он лежал одетый, задеревеневший, на полу. И кто-то прижимался к нему калачиком, грея бок, притираясь и причмокивая.

Монахов открыл глаза и увидел рядом Ленечку. В комнате светало. Никого, кроме них двоих, не было. Монахов вспомнил все, сразу, весь вечер, словно все, что в нем было, произошло не последовательно, а одновременно, в одной плоскости. Он вспомнил и отодвинулся от Ленечки почти брезгливо. Ленечка тоже, по-видимому, к утру замерзший, сжался в еще более жалкий, утробный комочек и проскулил, как зверек.

В утреннем свете, зло хрустя остывшими конечностями, обозрев все события последних дней, Монахов так сказал себе: все проще в этом мире, а мы — накручиваем. Он прошелся по квартире и не нашел следа ни Наташи, ни Зябликова. Грубые мысли пришли в контраст вчерашним: как же это он сразу не понял роли Зябликова? Более чем странно... Кому же здесь было выступать в роли Монахова до Монахова — Ленечке, что ли? Да и Ленечка... Куда они тогда уединялись? Надо же было так перекосяться! Перебирал Монахов все свои вчерашние мысли и чувства. Надо же, чтобы воспоминание об этом оптическом мастере так подействовало на него!.. Чего ради он отказался от Наташи, держал Ленечку — неужто ради Зябликова? Досада распирала его. «Люди... — думал Монахов, взглядывая на свернувшегося, как зверек в норке, Ленечку, — кто такие — люди? И все-то их постройки и системы, обличения и муки — все это такой свадебный ритуал, танец, перышки дыбом, все это вранье, утайки, авантюры, расчеты, надо же так сложно кружить, чтобы совершить действие столь простое и обоюдное, что и до чрезвычайности доступное. Мотылек в лампе».

Монахову было обидно, досадно и ясно все. В прихожей он нашел корзину и портфель и выскользнул на улицу.

Утро обдало его чистотою и свежестью, широким злым шагом удалялся он. Розовело, мягко улеглась пыль, и воздух был густ и прозрачен. Монахов шел, раздвигая утро, и так вот рано, так дрожа, в такой ясной пустыне — он давно не возвращался домой. Он легко поменял пространство и шел теперь совсем в другом городе, с другого, вроде бы тоже неудачного свидания, и душа его странно оживала, удивляясь себе и ликуя.

Вот иду домой, точно в озере...  
Нарасем иду из мощны.  
Столько женщин мы  
К черту бросили,  
Скольким сами мы  
Не нужны<sup>1</sup>.

Конечно, детский лепет, но первая строка...

Строка повисла в воздухе, как утренний парок над землей.

— Господи! — воскликнул Монахов. — До чего точно!

Вот иду домой, точно в озере...

Ленечкина строка была как это утро и вмещала его. И это утро помещало себя в эту строку целиком. Они были равны. Они были одно и то же.

Он теперь отчетливо знал, что ни Наталья, ни Зябликов, ни Ленечка ни при чем — один только он, Монахов. Он клял себя теперь перед этим утром — все, кроме него, были достойны рассвета... Он все теперь знал, как было, как есть, — в этом не было тайны. Однако кое-чего он по-прежнему не знал: например, что Ленечка переписал для него не свои стихи, другого поэта — просто они так понравились Ленечке, много больше своих... но это было и не так важно.

«Ах, зачем же я так!» — заскрежетал Монахов. Но не приостановился, не повернул назад, а даже припустил по пустой розовеющей улице прочь. Прочь от пустого места рядом с Ленечкой и от пустого места рядом с Наташей — тоже прочь.

---

<sup>1</sup> Стихотворение Л. Губанова. (А. Б.)

День в аэропорту Монахов прожил в сумерках. Что бы ему ни предложила эта неуютная действительность, он все сносил. И жару, и тесноту, и время... Он казался себе недостойным и этого. Жизнь безгрешных пассажиров мыслилась ему простой и понятной, а то, что они невинно не подозревали его, монаховских, безди, не выделяли его из своего общего тела ожидания, как прокаженного, — было не заслужено им, как и все благодеяние дарованной ему жизни. Так возвышенно понимал он свое унижение. Так унижал он себя, дабы слегка подрасти в собственных глазах, собирая милостыню безучастных взглядов. «Есть! есть еще выход... Не все потеряно, пока он еще есть!.. Затеряться среди людей, раствориться в них... слиться, исчезнуть... уподобиться, сравняться...» — чем больше находил он смирения в глаголе, тем больше тот устраивал его. Глаголы эти цепенели в теле Монахова, и боль утихала. Он вздыхал, как она его отпускала. Чем щедрее впускал он в себя всю эту окружившую его, столь безразличную к нему жизнь, чем готовнее принимал всех тех, кто никогда не нуждался в его ласке и не посягнул бы на эту его готовность, даже если бы мог заметить ее, — тем словно бы выносимее становились его близкие, так вплотную обступившие его: и жена, и Наташа, и Ленечка, и мама, превратившаяся в корзину с фруктами, — тяжкий упрек, на дне которого Монахов уже подозревал фруктовую кашу. Пока не протекало.

Рейсы задерживали, но к нему это пока не относилось: до самолета оставалось все то же количество невыносимых похмельных часов — стрелки зависли во времени, будто само время стало, оттого и самолеты не могли лететь, и люди, все те же, не трогались с тех же кресел. Но билет у Монахова был — гарантия возвращения в кармане, — Монахов был готов терпеть: там, куда он летел, его ждали, там ничего не было испорчено вчерашним днем, оттуда легко вычиталась вся его командировка — там не бывало его прошлого, там была его жена. «Да, — усмехнулся Монахов, — жена — это не прошлое, жена — это самое что ни на есть настоящее...» В мыслях у него не было прошлого, никакого их опыта, ни одной их ежедневной ссоры не всплыло в памяти — в мыслях у него было, как же это она так долго терпела

его, так долго, что была теперь у него возможность вернуться к ней, а то ведь и некуда было бы вернуться...

На секунду жена мелькнула перед ним, как бы в коридорчике: он увидел ее поясок. Хотел увидеть лицо — что-то придавило взгляд, и она успела скрыться у себя, прикрыла дверь. Монахов остался разглядывать коврик в их крошечной прихожей, сношенные тапки рядом с ковриком — хоть убей, он не мог вспомнить лица жены. Это казалось важным, а затруднительность — нелепой. Зато легко, во весь экран, во весь мозг всплывало лицо Наташи: «Что же ты, Монахов?..» — именно этот взгляд и поворот. Он пробовал отвести это изображение в сторону, представляя себе Ленечку — опять нет: ускользал этот ухмыляющийся обмылок. Зато вдруг — одним росчерком схваченная поза — шурилась Наташина тетушка... Ну их! Монахов в который раз глянул на часы — так они и впрямь стояли! Вот отчего время не шло!.. Он забыл их завести во всей сумятице, что не мудрено. Они, может, еще вчера стали...

И Монахову стало легче, отпустило. Ему настолько стало легче оттого, что в одну секунду пролетело почти два часа: теперь-то что, теперь уже почти ничего,ждемся... с такой положительностью заводил он часы, переводил стрелки, будто делал полезное дело. Он ожил — какое бы еще полезное дело сделать? — уступил место цыганке с дитем. Бровью не повела — тут же села, достала титьку. Монахову стало весело: народ... Купил книжку Зябликова о пингвинах. Что еще? Он брел теперь по залам, толкая коленом корзину, снисходительно усмехаясь собственной глупости: местечка больше не было ни одного. И все-таки нельзя было сравнить его нынешнее состояние с миновавшим: никакого сравнения. «Хорошо, что не похмелился, — думал Монахов. — Хорошо, что Наталье не позвонил...» Ведь вот что получается: он возвращается даже раньше, чем его ждут. Его только завтра начнут ждать, а он еще сегодня, даст бог... Выйдет, что он торопился, рвался... Монахов ничуть не был смущен некоторой несимпатичностью подобных расчетов: его устраивало, он устраивался... Он устраивался заранее на прежнем своем месте, и оно теперь нравилось ему и удовлетворяло — он словно чуть ерзал, для окончательного удобства. Рутинка и обыденность его каждого дня настолько устраивали его как перспектива, насколько не устраивали как жизнь. Не было для него теперь большего счастья, чем угнездиться

в собственной нише. «А вот лиши его этого? — думал Монахов... — этого типового, малогабаритного...» И — где он? Что у него останется? Что у него есть-то! Ну, звание... Вроде с ним не пропадешь. А без звания он что? Ну дело-то он знает! А кто это будет знать, если без звания?.. Так ему стало странно: добивался, колотился, жизнь прошла в одних успехах: школу кончил, институт кончил, аспирантуру кончил, диссертацию и ту защитил — и что? Какими-то невидимыми линиями себя обвел: семья, работа... А без них он кто? Есть такой Монахов или одна прописка да должность? «Чего только не придет поутру в голову! — усмехнулся Монахов. — Может, все-таки стоило похмелиться?..» Он окинул взглядом зал — самолеты все не летели. «А эти?.. — спохватился он, в ужасном озарении окидывая зал. — Сколько их?..» Людей, собранных под эту бесконечную крышу (Монахов глянул в бетонное небо аэропорта и определил тип перекрытий...), было много. Всех их всосала эта аэропауза, и Монахов не был главнее их. На каждого приходилось столько же жизни, сколько и для него одного. Каждый был повязан теми же невидимыми и неразрывными нитями принадлежности к ней, и никто из них, даже кляня свою судьбу, не поменял бы ее ни на чью другую. Монахов потерялся в этом обобщении — оно напоминало все тот же набитый людьми бесконечный зал, который и без того был перед его глазами.

Однако время шло и прошло. Одному аэропорту известна воля божья. Он начал наконец вычитать чье-то время из общей паузы, и счастливая судьба одиночек окрылила надеждой всех. И каково было Монахову, прикинувшему общее опоздание и уже твердо рассчитывавшему вылететь никак не позже, чем... вдруг осознать, что это ведь его рейс выкликают первым, его! И, спотыкаясь о все ту же корзину, точно так же, как и вся эта бестолочь, не поняв, где регистрация и точно ли тот рейс, удивлялся поэтому решению Аэрофлота отправить его, Монахова, вовремя, вместо того чтобы пропустить вперед задержанные рейсы. Но мы не анализируем подолгу причин везения, принимая их на веру или как должное. Монахов успокоился, обретя себя в самом хвосте регистрации. Здесь он обрел себя, в последний раз убедившись, что и билет цел, обрел и стал отделять от толпы, столь суетливой и бессмысленной — он их как бы не понимал: куда лезут, зачем давка?.. Одна фигура остановила его внимание — вся в черном:

очевидно, вдова. Ногу видел Монахов, худую, в толстом чулке и грубой туфле, чулок перекрутился винтом... затем потную шею, натруженную, как руку... возбуждение — красными пятнами по горю: глаза из-под платка горели страстью очереди. Вдова оториентировалась еще позднее Монахова — теперь громоздила на него свои фанерные чемоданы. Две старухи родственницы подзуживали ее гортанным квохтаньем. Что-то знакомое померещилось Монахову в ее диком лице. Будто он ее уже где-то видел... Не мог он никого здесь знать — это уж точно. Монахов пропустил ее вперед. «Сколько ей может быть лет? — думал он. — И шестьдесят, и тридцать...» Снова он был один, такой умный, который понимает все, прежде чем ему скажут: не толкался, знал свое место — грамотный, опытный пассажир. Один он здесь был такой и, когда поймал призывный взгляд еще одного такого же, выделившего Монахова из всей толпы как своего, взгляд, приглашавший поделиться скептической улыбкой посвященности, то, надо отдать Монахову должное, не стал ответно подмигивать, а смутился, застиг себя: неизбежно увел взор — отделил себя и от этого товарища.

И дальше у Монахова шло все более по маслу: корзину позволили не сдавать в багаж, место досталось у окошка и не над крылом, и самолет, что самое невероятное, не только вылетал по расписанию, но и тех обычных получаса опоздания, что повергали его всю жизнь в недоумение, что же считать временем отправки: посадку в самолет, запуск двигателей или отрыв от земли, — даже этого получаса не предвиделось. «Неужели? Быть не может...» — ликовал Монахов — самолет уже отволокли в сторонку, и он гонял винты. «Выходит, именно влет... — решил Монахов (осталось еще пятнадцать минут). — Мы именно оторвемся от земли минута в минуту по расписанию...» Значит, дома ему, уже теперь точно, быть... Совсем рано еще попадет он домой. Его не ждут... Вот она удивится!..

Монахов отвернулся в иллюминатор, расплывчатая улыбка блуждала по его лицу. Видел он впереди огни ресторана и выдачи багажа — они зажглись, стремительно смеркалось. «А когда объявили посадку, было еще совсем светло...» Сбоку, то быстрее, то медленнее, словно то в ту, то в другую сторону, вращался винт. Все это были гарантии, и душа Монахова исполнялась таким спокойствием, какого давно не знала. Нет, не то его

стерегло, чего он не предполагал и что так легко предположить: неожиданное возвращение мужа из командировки... Еще и до этого счастливого момента подстергало его нечто, чего никто — ни вы, ни я — предположить не могли бы... Случай.

Самолет уже весь дрожал от предстартового возбуждения, винты от быстрого вращения растворились в воздухе, когда навстречу самолету выбежал Случай в образе Ленечки. Сразу оговоримся: это был не Ленечка. Но парень был молод, и широкое его лицо освещалось столь простодушной и открытой улыбкой, что на секунду Монахову и впрямь показалось, что не кто иной, как Ленечка... Парень был хорошо освещен какими-то косо бьющими, не видно откуда, прожекторами, но наступила все-таки ночь, Монахов мог и ошибиться. Он мог предположить, а Наталья могла и послать, а Ленечка мог согласиться на любое ее поручение... Скажем, он бежит сейчас, волнуясь лишь о том, что не выполнит Натальин приказ... Парень бежал, как видно, из ресторана, размахивал на бегу чемоданчиком, будто такси останавливал. Не похож был на сильно выпившего — просто нелепый такой малый, как Ленечка... Монахов ему с симпатией посочувствовал: кто же мог ожидать, что их посадка пройдет так скоро! он сам чуть в город не уехал... Но парень тоже дурачок: кто ж его посадит: и трап уже где, и люки задраены... Бежит себе, машет, кричит на бегу — не слышно; что же тут услышишь за моторами?.. И летчики небось не слышат, смеются, качают головами... Самое привлекательное было в этом парне, что он еще и улыбался на бегу, будто радовался, что все-таки успел, и не сомневался, что его впустят. И вот он добежал до самолета, как раз с монаховской стороны, подняв обе руки, будто финишную ленточку рвал, размахивая над головой чемоданчиком — с раскинутыми руками он и взмыл, как птица. Ноги его взлетели вверх — все это было так хорошо видно Монахову, словно его специально посмотреть посадили, — и упал навзничь на землю, прямо под самолетным крылом. Монахов еще ничего не понял, только подхватил общее «ох»: не один он смотрел. Парень лежал под крылом. Там было темно. Кто-то со сладострастным любопытством навалился на Монахова, дыша ему в лицо сыром и урюком, — Монахов не отстранился, неотрывно смотрел под крыло, неслышно для себя шептал: «Ленечка...» И тут яркий сноп выхватил из ночи тело парня — это



был, конечно, не Ленечка. Подъехал «газик» и осветил «не Ленечку» фарами. Он мог быть солдат, отпускник или даже («Совсем обидно», — сказал бы кто-нибудь) демобилизованный: гимнастерка на нем была без погон. В руке он все еще сжимал чемоданчик, разрубленный пополам: оттуда, как внутренности, выползало скомканное белье. Монахов видел его всего, но воспринимал не все: пока — чемоданчик. Тут, в последний раз дрогнув, остановился винт, черный против света, нижней лопастью указуя в сторону парня, и все стало ясно, и Монахов увидел все: лоб парня был наискось рассечен этим самым винтом, под головой медленно — так медленно! — ширилась и стыла, ширилась и стыла черная и густая, как ночь, лужа. Он был еще жив, и смерть его не вызывала сомнений. Рот его все еще был растянут в улыбке, и губы чуть подрагивали; глаза были прикрыты. Будто он спал и улыбался во сне, и сон его был приятен. Улыбка таяла, но так и не исчезла до конца: она была той же формы, но означала другое. Высокое спокойствие, и будто мысль, сначала удивившая, непривычная, а потом наконец понятая тем самым умом, в котором родилась... эта мысль поразила Монахова. Она прорастала, как бледность, по мере которой ширилась, как черный нимб, лужа — и это было уже чело... смерть подступала волнами, волнами отливала жизнь. Эта непостепенность поражала оглушенное сознание Монахова. Так же, как и эта остывшая страшная лужа под головой казалась не меняющейся, и вдруг было видно, как она еще разрослась, — так и эта бледность, которая была уже последней, до капли, вдруг и еще белела. «Умер», — говорил себе наконец Монахов и утверждался в этом — и вдруг снова (было бы невозможно и заметить, если бы не смотреть так неотрывно, как Монахов...), еще раз трогались в этой невозмутительной улыбке губы — он был еще жив. Монахов ждал агонии, о которой слышал и читал, ее не было. А вот высокая мысль, все больше высвечивавшая это великое чело, была. Монахов не был поэт, и поэтому можно ручаться за истинность его наблюдения: впервые на его глазах умирал человек. И каждый раз, когда он говорил себе: «Мертв», — это все еще оказывался не конечный смысл той великой мысли, осветившей и успокоившей лицо солдата; но выше уже не поднимался Монахов: там его не было, он был жив. Около парня потоптались одни сапоги, потом другие. Один раз посмотрел Монахов выше:

плотный мужик в летной фуражке, вылезший еще из одной машины, имел очень правильное выражение лица: тупое и злое на жизнь. Лицо его ничего не выражало, кроме этой возвышенной досады, — в этом была дань. Спихватившись, что его видят из самолета, мужик отошел в ночь.

Когда наконец подъехала «скорая», парень был мертв. Врач не щупал его пульс.

Развязный санитар выволоч носилки. Догадались потушить фары. Какая наступила ночь! И это было все. Отлетела...

Стал виден салон, и гам достиг ушей Монахова: «Еще бы, воздушная струя...», «Смотреть надо», «Молодой какой...» И — что там еще?.. Самолет прямо кишел живыми людьми. Как горох в чудовищном стручке. Все были пьяны от этой смерти. Рассуждали, погнулся ли винт — вряд ли. Тогда полетим? Станным было так вдруг и полететь, но, с другой стороны, почему бы и нет... Монахова душило рыдание. Нелепая смерть... Нелеп был случай, но — не смерть.

Прошло какое-то достаточное долгое время — из кабины, с чемоданчиками, очень напоминавшими тот, солдатский, — вышел экипаж. На них неприлично смотрели — они не смотрели ни на кого. Они были ни в чем не виноваты. Смущенные, красные, будто их застигли за чем-то неприличным, торопливо прошли они по проходу. Правильно, экипаж травмирован, рассуждали пассажиры, смена экипажа... Прошло еще какое-то время, в самолете становилось невыносимо душно. Смерти уже не было, рос ропот: мало ли чего не бывает, лететь пора. И тут, ко всеобщему возмущению, всех высадили.

Монахов, со вздохом облегчения, отбился от толпы. Фонари в листе, урна для мусора, пыльный запах какого-то стручка, застоявшиеся лужицы тепла, тень листьев на асфальте, плевки, окурки — все это отчасти умиротворило его. Но — как же жить дальше? После того, как на его глазах отлетела душа, не мог Монахов. Монахов не мог, и тут он совершает законченный ряд последовательно неточных поступков, знаменующих собою Жизнь. Быстрыми шагами убегая от себя, он идет напрямик в ресторан, где за минуту до этого перестали подавать водку. Да, в соответствии с постановлением горисполкома, после семи... «Без семи семь!» — кипит Монахов. Без пяти, поправляют его, а без четверти... Монахов живописует, что только что погиб человек.

Его начинают слушать. Входят в подробности, сопереживают. Узнав, что погибший не доводится Монахову, официантка теряет к этой смерти всякий интерес, но водки приносит. Монахов выпивает ее с великим отвращением и трудом. Она тепла, как Ташкент. В будке пахнет мочой — Монахов звонит Наталье. Торжественно лепечет про смерть.

— Что с тобой, Монахов? — испугалась Наталья. — Что ты подумал?! Ты не улетел, Монахов, милый?.. Приезжай. Никого нет. Я у тетушки спала, дурак! — Наталья заплакала басом. — Как ты смеешь... Зябликов сам ушел. Ленечку разогнала. Навсегда, до завтра, скоро явится. Приезжай, Монахов...

— Человек умер, — сказал Монахов.

— Какой человек? Что ты говоришь?! Хочешь, я приеду?..

Монахов молчит. Что он может сказать?

— Я приеду. Ты где?

— Нет, — сказал Монахов сурово.

Вышел на тот же воздух. Слаб Монахов, слаб, но и не так слаб — никакого стыда не испытывает теперь он, и это ему как-то странно. Жизнь пребывает в нем в формуле Монахова — в нем одном, не в них. Водка проскочила, будто ее и не было; вторую водку за ту же смерть не купишь. Что он, собственно, здесь ошивается — одумался Монахов. На вокзал! Да вот так вот, рельсиками по колесикам, как бывало...

Фонарь в листе, урна, окурки, пыльный, теплый, бензиноцветочный угар — можно и не оборачиваться: все это было — самолет. Новенький, блестящий, каких-то иноземных линий — Монахов еще такого вблизи не видел. Ба, знакомые все лица!.. У турникета перед выходом на летное поле стояли примелькавшиеся пассажиры с его рейса нерасстающейся кучей. Тот черненький, интеллигентненький, что примечал его при регистрации как своего, прямо направился теперь к Монахову как к своему. «Сейчас объявят посадку. Нам предоставили Ту-154, сняли с рейса на Дели. Он летит на час скорее. Мы будем в Москве почти в то же время, как если бы летели на том... Представляете?» — возбужденно поведал он. «Да», — сказал Монахов без вызова и отошел в сторону. Чем он так горд?..

Не прошло и пяти минут, как все так и оказалось. Коллектив их рейса, отнюдь не обескураженный, а сплоченный общей смертью, бросился на штурм не-

бывалого самолета. К самолету было подано два трапа, и посадка велась в две очереди одновременно. С такой практикой Монахов тоже еще не сталкивался (в кино что-то такое видел...). Казалось бы, вдвое быстрее — куда там! Стюардессы были сметены с трапов, кишащая толпа гроздьями свисала с перил. Плач и стоны. Монахов такого тоже еще никогда не видывал. Он многого сегодня не видывал. «Надо же! — в сторонке недоумевал он, — ведь нам всем только что продемонстрировали, что это такое, с максимальной наглядностью: мясорубка, смерть... Ни один не сдал билет, ни один не бросился на поезд! Продемонстрировали ее действие — и все бросились в нее с тем большей страстью... Нет, люди не обучаются. Люди — не машины, а животные». Такой давки не помнил Монахов с младенчества, с военных пор. «Все же улетят! Куда же вы?..» — утонул последний писк стюардессы. Куда же мы... Монахов увидел поверх голов верхом на чемодане вдову и вдруг вспомнил, где ее видел. Это была вдова сменного мастера Нуриманова, погибшего при аварии, которую он, Монахов, так ловко раскрыл. Ему ее тогда мельком показали, в дирекции... Тогда Монахов ее не заметил — сейчас разглядывал ее тогда: точно так погиб ее Нуриманов, как сейчас вот этот солдат... Так разве я понимал, что случилось, что произошло, кроме неправильно взятых коэффициентов? Эксперт... Нет, смертью народ не удивишь, лайнером — тоже. Столько войн, смертей, пересылок!.. Еще совсем недавно, уже при нем, Монахове... Это вчера и сегодня — случайная смерть позавчерашняя — уже не случайна. Монахов иначе смотрел теперь на штурм самолета: чем лайнер — не теплушка?

Высокая мысль! Так что же ты, Монахов?.. Ему не надо было и оборачиваться, чтобы ощутить Натальино присутствие за турникетом. Она рвалась на поле, и, пока, в ночи, Монахов еще мог ее как бы не видеть. Он ринулся в самую гущу толпы. И вышел победителем в борьбе за трап. Перед тем, как нырнуть окончательно в самолетное чрево, мог он увидеть через плечо прорывавшуюся через все преграды Наталью, бегущую по полю. Она его не видела.

...Монахов летел, пристегнувшись и не куря. По радио шли объявления по-английски и хинди — узбеки крутили головами и смеялись. Стюардессы, выше ростом и сортом, были с каким-то избытком вежливы. В этом было что-то оскорбительное — казалось, они ле-

нились примениться к обстоятельствам. «Наш самолет совершает рейс Москва — Дели», — сказала радио по-английски, прежде чем хоть его-то догадались выключить.

«Ловко, однако, ловко... — думал, задремывая, Монахов. — Мы будем в Москве практически в то же время... — Он поискал глазами того, черненького, и не нашел. — Надо отдать должное Аэрофлоту: весь инцидент разрешен с оптимальной быстротой и тактичностью. Не мог же и впрямь лететь тот же экипаж. Как-никак убийство... Как ловко из всего вычтена именно смерть... В то же время!! Какое торжество. Для этого требуется лишь следующая модель. Прогресс вычитает смерть... Если вам все время подсовывать то икру, то новый самолет, не мудрено не только смерть, но и жизнь — не заметить. Нас привилегировали... Чем не глагол? А смерти — не было. Что-нибудь было. А смерти — не было».

И Монахов подумал о том, что никогда, пожалуй, до сего дня не думал о смерти... Живем, живем, а она так близко, неслышно ходит за плечами... и взмахивает, и взмахивает... Идешь — шорох. Будто что-то. Обернешься — никого. Ничего.

Монахов думал о смерти, что никогда не думал о ней...

Он спал.

Во сне он никак не мог собрать вещи — привычная история... Он опаздывал, уже опоздал. И вещей-то всего было три: в одном зале он забыл пиджак, в другом — галстук... Он метался по залам, галереям, лесенкам, захламленным декорациями и реквизитом — съемочные павильоны сна, — и всюду умудрялся встретить знакомого, вступить в отношения, связать себя обязательством... А пиджак был — вот он, только руку протянуть...

## 5

Объятие их тут же распалось. Жена быстро одеревенела в его руках и отстранилась.

— Ты что? — как бы не понял Монахов. На самом деле он прекрасно все знал, все шло как по нотам: ему вручили партию. Каждый начал свою партию.

А Монахов-то опять готовился на другую роль... Но в той же пьесе он вешал тот же плащ на тот же гвоздик.

Мелькнул женин поясok — она скрылась. Монахов рассматривал коврик и стоптанную тапку. Это он уже видел. Причем буквально — вчера.

Монахов вздохнул, прихватил корзину и направился за женой в кухню.

— Фрукты,— сказал он.— Их надо сразу распаковать.

— С кем ты их покупал?— спикировала жена.

— Как с кем?..— обиделся Монахов.

Это радостное, сближающее занятие на двоих — распаковка, раскладывание — пришлось Монахову теперь проделывать одному: жена подчеркнуто чуралась корзины. Это был нелепый повод для ревности — слишком веский. Монахов именно поэтому не взорвался в ответ: несправедливость была здесь так очевидна, что пусть сама молча разглядывает ее. Он доставал по одному каждый фрукт — разглядывал, повертывая. Ему требовалась все новая тарелка и миска; жена, не глядя, подавала ему, раздражалась на каждое его такое медленное и неумелое движение. Ссора набухла в кухоньке, заполняя немногие пустые закутки на шести квадратных метрах,— нависала. Монахов оглядывал каждый плод — любовался. Это были прикосновения, равные маминым — обратная связь. «С кем... — неслышно бубнил он под нос.— Ишь ты, с кем!..» Однако вдруг увидел Наталью, метущую красной юбкой вдоль базарного ряда. «Ясно с кем... Мало ли с кем?..» Вопрос жены не исключал эту возможность: с кем — это не эти именно фрукты, а может, и другие, но в одно и то же время... Монахов усмехнулся и покачал головой: логика... Жена его была очень логичной женщиной, перед ее неумолимыми последовательностями он пасовал. Он никогда не выдерживал спора — начинал кричать, топтать ногами, махать самому себе кулаком — оказывался не прав. «Что кричишь? Что я тебе такого сказала?» И он не мог внятно восстановить что — оказывалось: ничего. С чего его разнесло?.. «А вот с чего.— Монаховская мысль кипела вслед за еще неразыгравшейся ссорой.— Есть жизнь, и есть мысль о жизни, абстракция. Так жизнь, после мысли о ней, не обязана укладываться в идеальную схему...» Жена, казалось ему, страдала именно от этого несоответствия обратной связи, а не от жизни. Требовала от него, чтобы он был строен духом, как ее мысль. «А сама-то, сама!..» — тут же вскипал Монахов; ровненькие, упитанные обиды выстраивались

готовной очередью. И все-таки эта ее особенность была уникальной: сами-то мысли ее по отношению к жизни восхищали Монахова соответствием, зато возмущала попытка обратно их приложить к завтрашнему дню и к нему, Монахову. Например, могла она сейчас сказать: «А что ты хочешь? Разлука и есть ссора». Мысль такую еще надо суметь подумать. «Но не в фильме же Антониони мы снимаемся, а — живем!» — взревел про себя в ответ Монахов. Или: «Как же для меня может существовать кто-нибудь, кого я не знаю? Я не знаю твою мать, откуда мне взять отношение к ней? Сюсюкать потому, что она именно твоя, — тебе ведь не этого надо. Кого нет, того нет. Незнакомых — просто нет в природе». Монахов не мог бы не согласиться с ней, рассуждай они о книге, а не о нем. Могла она сказать и так: «Тебя не было, откуда я знаю, что ты по-прежнему есть? Ты был — и тебя не стало...» И дальше: «А с чего ты взял, что это я, к кому ты вернулся? Может, это уже и не я. Ты же меня не выключил, уезжая...» — «Но я же в командировку поехал!.. Не гулять, не веселиться. В командировку!» — защищался мысленный Монахов. «Откуда я знаю, зачем ты поехал! Может, ты к ней поехал...» — съезжала на два порядка вниз жена и становилась понятней и милей Монахову: все эти абстракции — обыкновенная, живая ревность, которой не чужд и самый высокий ум. Это был подходящий момент попробовать снова ее обнять, привлечь к себе. Она же умолимо топоричилась — тут Монахов совсем вскипал. И — начиналось!

Пока же все шло мирно. Монахов раскладывал фрукты — были они один к одному, до самого дна. Никакой той кашицы, что, выходит, зря пугала его. Кухонька была залита светом, лившимся с тарелок, уставивших теперь все: и холодильник, и подоконник. «Солнце и мать — вот два источника...» — сентиментально подумал Монахов. Вслух бы он этого никогда не произнес: ох, как бы издалека разнесла бы его за такое высказывание жена! И никогда бы не доказал ей, что именно за это... Монахов вздохнул, печально любуясь своей работой. Да, никогда он раньше не встречал такой требовательности к действительности, чтобы все соответствовало уровню на сегодня выношенных представлений... Еще бы — встречал... Встречал бы — не женился... Именно на этом он женился — вот в чем дело. Женился, утомленный и измученный всем тем, что

не было еще его женою... Как он настрадался без нее в предыдущей своей жизни! Сейчас получалось, что страдал он в прошлом едва ли больше, чем сейчас. Невыносимым-то теперь было именно то, что и привлекло его к ней, а привлекательным стало то, чего он не выносил когда-то. Как странно мы любим!.. Жена вдруг приникла к нему, когда он не ждал, и он растаял. Жена укусила фрукт и зажмурилась от удовольствия. Жена любовалась фруктом. «Какое все это солнце!» — сказала она. Зря он боялся... Именно так и сказала. «Какая она хорошенькая!» — вдруг понял Монахов. — Девочка. Она просто девочка». «Ты просто любишь ее...» — услышал он голос Натальи.

И жена услышала?.. Это уже бред. Вдруг надулась, повернулась, ушла в свою комнату, оставив недогрызенный плод. «Это что же делается! — вконец обиделся Монахов. — Что за мука такая!.. За все перенесенные тяготы и несчастья — и вот на тебе!» Это была только фраза: ничего из перенесенного не вспомнил он отчетливо, по отдельности: ни, ни, ни... Все его невоспоминаемое пребывание в Ташкенте воспринималось им теперь как одна общая его заслуга, одно общее страдание, которое он вынес исключительно ради вот этого возвращения. Избежал всех соблазнов и рифов, разбежался — и вот на тебе! Он погрузился в скорбь. За окном была черная ночь. Окно слепо смотрело в кухню, отражая в себе некрасивые плоды...

— А это что такое?! — дрожащим от муки голосом сказала жена.

Он понял, что она что-то «нашла». Уже порылась в его портфеле. Хотя «найти» там она ничего не могла: Монахов был особенно внимателен на этот счет. Однако — нашла.

Она стояла за его спиной с белым лицом, протягивая ему Леночкины стихи. В другой руке, как второстепенную улику, держала она книжку Зябликова...

— Что это за графомания?..

Монахов растерялся — виду не показал, насупился.

— А мне нравятся эти стихи, — сказал он, первым делом обидевшись за Ленечку.

— Сам понимаешь, что не это имеет значение, — сказала жена. — Чьи они?

Монахов взглянул на жену с осторожным изумлением и потупил взгляд. Что-то было головокружительное в этой ликвидации логики, границы здравого смысла не



существовало; да и не было такого — здравого — смысла, был — смысл.

— Да это... один мальчик написал... — мирно пояснил Монахов. — Сын соседки... — добавил он, удивляясь сам, до чего же неубедительно.

— Соседки?.. — Жена так готовно сошла со следа, что этим еще раз изумила Монахова.

— Ложка, вилка, тарелка!.. Я постараюсь избегать теперь слов женского рода, — ядовито сказал он.

— Было бы неплохо, — невозмутимо сказала жена.

— Мои! Мои эти стихи! — взвился Монахов. — Я написал! Одной девице в Ташкенте посвятил!..

— Ври больше, — сказала жена удовлетворенно. — Они тебе надписаны. И почерк не твой.

Нет, Монахов отказывался понимать... «А ведь я почти правду сказал...» — усмехнулся он. Он хотел сказать: «Что мы делаем?!» — и не сказал, хотел позвать ее по имени — и не позвал. Они избегали называть друг друга по именам. Они оба считали это фальшью. Они радовались, что у них так много общего, когда сошлись на этом. «Когда зовут по имени — значит, врут», — говорила жена.

«А как же в лесу?» — подумал теперь Монахов.

— Ау, — сказал он миролюбиво и вздрогнул: над домом пролетел самолет.

(Их дом стоял на краю Москвы, вблизи аэродрома, и над ним шли на посадку самолеты. Они привыкли к этому шуму и не замечали его.)

— Да, — сказал Монахов, проводив взглядом шум. — Забавно. Я сейчас вспомнил. Отец рассказывал. Он все время что-то вычитывает и рассказывает. Всякую научно-популярную чушь. А одну штуку поразительную рассказал... Представляешь, лес...

Жена спокойно смотрела в черное окно, в котором ничего видно не было, и — ничего... пока что не собиралась его обрывать.

— Лес, оказывается, — с надеждой продолжил Монахов, — не просто много деревьев, а что-то вроде сообщества, даже коллектива. Деревья растут не поодиночке, а как бы всем лесом. Мы этого не видим, поэтому не предполагали, а все деревья связаны между собою корнями в единую систему. И не каждое дерево, а лес в целом существует как единый организм... — Монахов разволновался, потому что сам вдруг понял мысль, которую излагал; она оборачивалась, и то и ее стороны Монахов

до сих пор не видел и не предполагал. — Вот и выходит... — Монахов сбился и слов для этого нового смысла не находил. — Странно, что этого до сих пор не знали... Водородная бомба, кибернетика, что угодно — а такую очевидную вещь позже открыли!.. Ведь ясно же, что одно целое! — Голос его дрогнул. — И как открыли? Считалось загадкой, почему мертвое дерево — сухое. Сразу сухое, а не то чтобы высохло от времени... И оказалось, что, умирая, оно отдает все свои соки лесу. Лес этими общими своими корнями его высасывает. Вот оно и стоит сухое...

— Какой ужас! — сказала жена.

Он не заметил иронии. А может, ее и не было.

— Вот и выходит, — сказал Монахов, — что жизнь одного дерева нужна всему лесу... — Он исыяк и расстроился. Какая-то еще, как огромный зверь, мысль шарахнулась за окном в ночи. Он ее не поймал.

Жена погладила его по голове еле слышным движением и тут же убрала руку.

— Уже поздно, — сказала она. — Ты устал.

Монахов обрадовался, попробовал ее обнять, и она снова вывернулась из его пустых рук.

...Монахов лежал и обижался на жизнь. Жизнь в данном случае лежала рядом в новой, к его приезду, рубашке. Было постелено чистое белье. Они были муж и жена. Была ночь. Они были одни. Оба не спали. Оба лежали на спине, старательно избегая прикосновения. Между ними пролежала ничтожная белая граница. Они, по-видимому, любили друг друга: граница эта была непреодолима. Оба желали одного и того же, но не было силы на земле, способной преодолеть эту невидимую преграду невысказанного. И не было слов, способных по кирпичику разобрать эту стену — рассказать ее.

Он знал, что она ждет от него признания, и почти со злорадством осознавал, что никогда (ни-ко-гда) не освободит он ее от этого ожидания. Она, видите ли, хотела бы знать всю правду... Кто не хочет! Только ее нет. Вся правда — это вообще все: и эта ночь, и этот стул, и тень от градусника на подоконнике, и луна, которая зашла за тучу... Что, ее нет, луны, если она за тучу зашла?.. Чтобы ей рассказать в с е, надо начинать так: «Вначале было слово, и слово было...» Монахов усмехнулся и, в темноте, невидимый, как-то отдельно ощутил

свое лицо как чужое. Мог он ей рассказать про Ленечку? Не мог, тогда надо и про день рождения. Мог он рассказать про день рождения? Не мог, тогда надо и про Наталью. Мог он рассказать про Наталью? Не мог, тогда надо и про... тогда надо и про то, что она, как раз-то и, минуя с ю правду, хотела бы узнать. А расскажи он, что ничего не было, что он спал только с Ленечкой (Монахов искренне помнил в этот момент только это), не поверит. Сказки... В том-то и дело, что н и ч е г о он ей не может рассказать. Не в чем ему оправдываться! Но что бы ни начал он сейчас плести рядом — выйдет, оправдывается. Ну как он ей объяснит, что ей нечего и не к кому ревновать? Разве она оценит его рвение и жертвы? (Опять он имел в виду, что устоял перед Натальей...) Монахов ощущал, что жизнь (жена) несправедлива к нему. Ему было обидно.

Разлука — жизнь, прожитая врозь... Именно, что прожил он ж и з н ь за эту неделю, и это была — е г о жизнь, не ее. Было, было к чему ревновать! Не к Наталье... У него был опыт, которого у нее не было, их жизнь расходилась теперь на этот опыт и в каком-то смысле никогда уже не могла сойтись, потому что не было у Монахова пути поделиться этим опытом с нею...

Да полно, хотела ли бы она знать?.. Может, меньше всего и хотела. Может, это ей страшнее смерти — узнать то, что она хочет узнать. Может, она именно не хочет узнать, а давит, как на большой зуб... Ни один следователь бы так не вышел на след, как она на Ленечкины стихи, и что же? Удовольствовалась первым же, самым невразумительным объяснением. Именно невразумительным — и удовольствовалась: вразумительное бы — еще попытала. Зябликова вообще не предъявила... Смесь ненависти и восхищения чувствовал Монахов, когда понимал, как близко и сразу приблизилась жена к его действительности, только с другой стороны; словно они трогали стекло с двух сторон и касались пальцами пальцев, но через стекло... Какая стремительная ошущь! С помощью каких локаторов проложила она такой прямой путь в полной темноте?! Любовь? Какая, к черту, любовь — такое стремление к разрушению?.. Не может Монахов, нет, не может жить в таком пристальном свете. Жизнь не построена так, чтобы знать о другом больше, чем о себе.

Монахов пробовал просунуть руку сквозь эту пре-

граду — и не мог: боялся наткнуться, боялся остаться с протянутой рукой, боялся приласкать пустоту.

Так он недоумевал и думал, разглядывая под потолком резную тень от сухого букета. Выходит, в чем-то признаться было надо. Монахов думал о мере признания, о его проценте, какой бы и он, и она могли снести, но тогда не получалось признания. Что-то должно было заместить его, но что? Ничего, равного всей правде, но другого не было. Снова Монахов вспомнил об отце, что тот слаб и плох — увидел спящее его лицо с внезапной болотной щетиной... разглядел лучше, чем тогда. Может, отец его даже хуже, чем плох, может... Вот! Вот что можно сейчас ей сказать, равное тому, что она ждет. От этого она не может отмахнуться... Нельзя сказать, что Монахов рассуждал до такой степени цинично, но все-таки достаточно сознательно.

— Знаешь, — сказал он прочувствованно, — старик-то мой совсем плох...

Тень от букета задрожала и содрогнулась, будто от вздоха жены. И тут эту легкую дрожь тени мертвого цветка настиг гул: совсем близко пролетел новый самолет. «Пять баллов...» — подумал Монахов и на секунду всем существом оказался в Ташкенте. Необъяснимый, детский ужас охватил его. Он прижался к жене.

— Что с тобой? Успокойся... — взволнованно говорила жена и нежно гладила его, как ребенка. — Что с тобой, мой маленький? — не спрашивала она.

— Как же мы не понимаем, — дрожащим детским голосом, срываясь, говорил Монахов, — что другие понимают и чувствуют то же, что и мы! Будто мы одни такие... С чего я решил, что я лучше понимаю, что мне говорят, чем те, кто мне говорит то, что я так хорошо уже понимаю. Ведь мне отец про лес говорил — значит, именно то чувствовал и понимал, раз говорил. Это я не понимал, что он мне говорит, а не он. Я только сегодня-то и понял. А тогда слушал его пренебрежительно, вполуха и был уверен, что понимаю все, что он ни скажет, лучше, чем он сам. Он не понимает, значит, что говорит, а я понимаю, что он говорит — это же бред! Боже... — Монахов ощутил озноб. — Ведь я никогда не смогу сказать ему, как я его хорошо наконец понял. Никогда!

Слезы сладко наполняли глаза Монахова. Он лежал на спине, и глаза его стали как два озера. Он смотрел сквозь две эти толстые слезы, как со дна, и ничего не видел. Моргнув, и озера пролились.

— Не надо, миленький... не надо! — приговаривала жена, целуя его в мокрый висок.

— Как я не понял! — убивался Монахов. — Я же не увижу его больше. Он же... — Монахов не мог произнести вслух.

« Не умирай! Только не умирай! Все, что угодно, но не это! — молился он про себя. И вспомнил, как отец говорил, что всю жизнь не может себе простить смерть своего отца. Монахов-дед был болен и звал сына, а тот был влюблен и был у нее, когда отец умер... — А вдруг?.. — похолодев, подумал Монахов. — Пока он был у Натальи?.. Ведь старики-то думали, что он уехал... Вдруг сейчас звонок в дверь: телеграмма!.. »

И если лес — одно, то отец и он — просто одно дерево... Ток жизни в последний раз потек от отца к нему, едва ли не с тою же силой, с какой он тек, когда начинался вот этот миг. Монахов ощутил стремительное расширение своего бытия — отворилось, — он как бы повис в воздухе над кроватью. Этот живой ток последних сил немощного отца — обмыл обызвествленную душу Монахова-сына, и, снова прозрачная, впустила она в себя всю окружившую ее боль. Словно взлетел Монахов в погоне за душою отца, и ледяной чистый ветер свистел в очищенном каркасе его души: меж ребрами были видны звезды. Одинок там стало Монахову-младшему и высоко. Впервые не порознь выступили дни и переживания его, а все вместе, как и были — они все вместе, всегда: и вчера, и завтра — как сейчас, в едином пространстве, в одной душе, помещающей в себя все души, как и одно дерево вмещает в себя весь лес, поместивший в себя это дерево... И мать, и отец, и Наталья, и Ленечка, и та жена, и тот ребенок, который уже есть, и эта жена, и тот ребенок, который еще будет...

Все они были в нем, и никого не было рядом, кроме жены его. Он вдруг проникся к ней таким сильным, отчаянным и одиноким чувством, которое нельзя бы было назвать и любовью. Это одиночество рвалось из него, как зверь, как вой, и чем плотнее, чем горячее и глубже прижимался он к жене, тем страшнее и неутолимее становилось это одиночество. В окне, совсем низко, будто падая на дом, опять проревел самолет, наполнив стекло дрожанием и гулом, — рассек черный лоб ночи. Смерть, которую Монахов так в упор, так сразу, так хорошо забыл, смерть в образе солдата упала, как звезда за окном, отдав Монахову последнюю каплю жизни, которой ему

недоставало, — Монахов вскрикнул, раздался легкий свет, странно осветив ночные предметы из стульев, занавесок и стен... И в тот же миг вечная частица смерти прошла сквозь Монахова, чтобы продолжить жизнь отца его вне сына его.

1965, 1972

## ВКУС

Не сестра, не дочь, не мать... Больше родственники, чем они, чужой человек. Нагловатое, напрасное смущение: знают друг друга, не хотят знать. Сейчас разбегутся, разъедутся. Лишнее... Что лишнее? Все, что было после, — лишнее. А сейчас лишние эти пять минут до отхода, фальшивый перрон. Перрон всегда фальшивит. Ждет тебя дорога... Жжет. Самые страстные разлуки, самые горькие расставания — все равно ему каждый раз хотелось: скорей бы... Скорей бы тронулся, скорей бы перестать принимать друг к другу на людях — что можно выжать еще из этой минуты? — после ночи, после дня, после чемодана, после стирки носков и трусов и яблока в дорогу, после раздумья о последнем разе, неудобная поза, в передней, что ли... нет, кажется, обошлись, чтобы потом остался этот недоеденный торт... Интересно, вот в те подлинные минуты это чувство фальши: как, взаимно или только у него, бесчувственного?.. Ничего себе, бесчувственного — локти грыз... Но — всегда, всегда хотелось, чтобы все провалилось скорее под колеса, с глаз долой — в самое сердце. А сейчас — не хочется. Все равно, не нужно, нечего сказать, да и сожалений никаких... а не хочется. Все-таки жалко. Мнутся. Смущение. Не то чтобы сдерживается, а лень сказать: предел. Какое-то непонятное пространство ее, для него не существующей жизни между ними, будто ровное поле с желтыми цветами... Вот-вот, будто она сейчас ему снится, как снятся мертвые, которые давно уже не живут, не в курсе... А подумать, что после них было?.. Так, пустое, двух слов не хватит, десяти — много, отмахнемся, промолчим... Какая-то комфортабельная неловкость. Чуть еле-еле — кокетство: не слишком, потому что не помолодела же за десять лет, не похорошела, а все-таки — смотри, то же лицо, улыбка

отчасти, неоконченность жеста... Неокончателность — какая кошмарная неокончателность вся эта жизнь! Выраженная вот в этой корзинке, которую передать... Бог знает, с какой ерундою! Так ли она уж нужна — мне, ей, тому, кому передать, самой себе она даже не нужна. А уж мы друг другу — ни с какого боку! Вспомнил: сбоку... Еще и потому полкокетства: что — просто так, не нужно, не по делу... Разозлился, удивился вялой складочке ревности, шевельнувшейся, однако, под десятилетней толщью. Ну, уже пора!.. Представил себе ее возвращение будто бы в избушку за желтым полем, и то же, что сейчас, пронесенное назад через поле лицо, такое же половинчатое, уклончивое, никому адресованное, и не ему, и не тому... Сон, смерть. Поцелуются или не поцелуются? Поцеловались. Чмокнули воздух над плечом. Щека слабенькая, мягонькая, скоро бабушкина... Значит, помнит ту щеку. По сравнению... Уже из вагона: последнее лицо, вдруг что-то в ней пробудилось, дрогнуло, или — показалось? или женщина все-таки, ничего не может просто так? или... да ну! дура! шляпу какую надела!.. стоит кулем... ну что за баба, прости господи! С трудом не заплакал. И когда отнесло ее наконец, не надо было наклоняться в окно с благосклонно-нежно-равнодушно-соблазнительно-независимо-тепло-человечно-мужской улыбкой... Уф! совсем другой человек выпрямился в проходе, отыскивая кресло: освободившийся, стройно-высокий, неординарный... Странно, ведь уже десять лет свободен — от чего же он освободился сейчас? не только от неловкости на перроне? Вот именно, что не только...

Монахов продвигался по проходу, полуизвиняясь, никого не задевая... поднял глаза — с того конца вагона навстречу шла она!.. Монахов даже непроизвольно покосился в окно, за которым она только что оставалась: там уже не было перрона, разбегались стрелки, рыжий бурьян... Монахов тут же, естественно, усмехнулся своему неоправданному движению — вперился в девушку, идущую по проходу навстречу: никаких сомнений — она! Чуть ли не проделал следующее неоправданное движение, чуть ли не потер глаза и встряхнул головою. Открыл — она.

Она была одета в то же платье, только шляпу сняла... Те же волосы, та же прическа, то же скромное движение как бы под взглядами, вызывающая скромница... Будто десяти лет не прошло... Монахов расправился

весь ей навстречу. Ведь она сейчас тоже не может его не увидеть! Поднимет глаза... Время с жужжанием прокрутило в секунду три с половиной тысячи оборотов и замерло, зависнув, и Монахов ровно над той же пропастью: он точно так сейчас видел свою жену, как тогда, уже ему не принадлежащую. Стеснило сердце. Она была ровно на десять лет моложе той, провалившейся только что вместе с перроном. То чувство, что все эти десять лет, хоть и без большого сожаления, без траура, но — зря, сейчас подтвердилось во плоти: этих десяти лет не было, и она — куда она ехала? к кому? почему он ничего не знал об этом?.. — села в поезд, легкая и свободная, не зная о коварном стечении, при котором Монахов очутился в том же вагоне... «Вовсе я тебя не преследую!..» — уже заготовлял реплику Монахов. Одно соображение, еще не проявившееся, смутило сознание, изображение стало рваться, треснуло, подернулось рябью... Монахов с усилием извлек его, упирающееся, из какой-то извилины: ТА, десять лет назад, не могла быть так одета — никаких тогда еще макси, каблуки были не такие, прическу такую не носили, десять лет назад пассажиры были одеты иначе... Сходство ведь тем и усугублялось, что старая его жена, померещившаяся на перроне, и молодая, идущая навстречу, были одинаково одеты. И это было единственное условие узнавания — появиись она сейчас, одетая как тогда, как ей положено десять лет назад, раз она на них снова моложе, то, может, и не узнал бы, прошел мимо... Изображение окончательно раскололось и рассыпалось. Она подняла глаза и не узнала. Все было так, взгляд — совершенно другого человека. Тускловат.

Монахов уселся, думая о поразительном сходстве. Забыв неприятный взгляд, он снова был поражен. Надо было ее ненароком спросить о чем-то — голос услышать... «Голос — такая вещь!..» — думал Монахов. За окном все еще был Ленинград, даже Обводный не переехали. Впереди шесть часов преутомительной езды. Может, познакомиться все-таки... А не стоит. Не стоит. Все-таки потрясающее сходство! А главное, какое совпадение!.. Замуж так и не вышла... Монахов думал о своей первой жене, что она единственная. И куда десять лет делись, он тоже думал. Ничего нового не оказывалось в том, что он подумал. Вот об этом он и задумался. Странная мысль! И ее не было. Вот про эти десять лет, что раньше всего было непрерывно, а потом



провалилось... что только единственное — длится, а остальное — только исчезает. Что за все первое отвечает сама природа, а все второе — сам человек. А он не отвечает. А там уж пятое-девятое... Мелькает. Вот попробуй запомни: что там за окном?.. Этот лужок, проселок, перелесок — ведь неповторимы же, а? Ведь можно любить их больше жизни... Они могут родиной быть! Ан нет, сколько себя не заставляй — пронеслось, исчезло... Любил ли он? любили ли его? можно ли было не менять жизнь или ее следовало менять еще раньше и еще круче? да и менял ли он ее или она менялась? выбрал ли он хоть что-либо или только его выбирали? и не кажется ли ему, что раньше он жил и чувствовал как-нибудь иначе?

Монахов думал, и ничто не оказывалось мыслью. И не то чтобы он уже подобное слышал, или читал, или сам говорил, или уже думал — нет, никакой сторонней узнаваемости в этих мыслях не было — они были и впрямь его и теперешние, сейчасные... и, однако, стирались, как пейзаж за окном. И приходили в голову словно впервые, а все были уже по дум а н н ы е как-ие-то. Значит, тысячу раз пронеслась в его голове уже эта толпа, и мысли примелькались, как сослуживцы, каждый день встречаемые, ни разу не отмечаемые... И еще хуже, подуманные кем-то. Что это у тебя сегодня, Сидоров, вроде как ноги нет? Что ты говоришь!.. не знал, не знал... Так и мысль свою вдруг он увидел, что она без головы... Вот же она! Опять утекла. И он словно провожал взглядом ее отвратительно примелькавшуюся спину. Вот когда прервалось... (И опять он не сказал себе, ни что прервалось, ни когда...) вот с тех пор и ни разу не была додумана ни одна мысль, а только лишь в о з н и к а л а. Возникала и возникала, и вот он ее уже узнает, ни разу не подуманную. Узнает, как случайного прохожего в толпе, как попутчика в трамвае, но прохожий пройдет и попутчик сойдет... До следующего раза. «Вот что значит „ничего нового!“» — догадался Монахов. Это вовсе не значит, что оно уже было, а значит, что его уже никогда не будет для тебя. «Все, что было, все, что мило..» То давным-давно уплыло! А вот эта тыщу раз всеми и им слышанная, вдруг мурлыкнущая в нем строчка все еще б ы л а. Жила. «Да что в ней такого? что в ней выражено-то!» — возмутился Монахов. Чувство, ответил он себе. И вздохнул с облегчением.

Об отсутствии, о пустоте... О смерти! Никогда не равна себе эта мысль... И ее уже не было.

Был вкус во рту. Этот ужасно длинный вкус пирожка в вокзальном буфете. Вот он был, он расширялся и рос, отвратительно настойчиво и ровно. Стойко. Ага, стойкий вкус! И это отмечено в «правдивом и свободном»... Вкус помещался во рту, как объем, четко фиксируя полость этого пустого храма. Он все был и был, не в пример мысли или пейзажу за окном, все время улепетывающим. Чего бегут, куда бегут? И опять то же: мысль и перелесок. Ну запомни же вот этот хоть бочажок с корягой... Не-ет! дудки. Их нет, как и не было до. А вкус есть, сколько его ни сглатывай.

Монахов в сердцах отвернулся от окна посмотреть на пассажирку. На самом деле он так же давно собирался на нее посмотреть, как и встать, пройти в тамбур и покурить, как, быть может, прополоскать там заодно горло... Пассажирка смотрела в окно с особо отрешенным и независимым видом. «Шлюха!» — вспылил Монахов. Чего у них такой независимый вид, как раз у шлюх? С такой недоступностью на лице только в очереди к венерологу сидят...

В тамбуре, пуская дым в окошко, Монахов на некоторое время обрел пространство: мусорный ящик, огнетушитель, декларация какая-то под стеклом, дверь в туалет, плевков — все на месте. Давно пора было закурить... подчеркнуто выпустил дым — отлегло. Что это все на него находит? Благожелательно приласкал взглядом огнетушитель: на месте, друг! не действуйешь?.. И то, что на огнетушителе была картинка, на которой человек, успев переодеться в комбинезон, правильно держал в руках точно такой огнетушитель, на котором, в свою очередь, была картинка, на которой... это, с детства, запавшее представление, тут же тысячу раз проигранное в мозгу, не было почему-то ему противно, наоборот: усмехнулся себе ласково, будто подмигнул прошлому. Как в прошлом, улетала, вернее, отлетала от окна, как взмах крыла, черная линза пашни — рывком назад, потом, будто отлетев вбок и описав дугу, возвращалась на место, прежде чем плавно исчезнуть насовсем. Это крылатое пульсирование пейзажа за окном с вспархивающими, в свою очередь, с борозд грачами, имитирующими поворот пейзажа, взлетающими, чтобы вновь и вновь сесть на то же место, будто, пока они взлетали, земля успевала проехать под ними... «Ага! запомнил!..» — возликовал Монахов. Крыло опа-

ло. Справедливо, подумал Монахов и не расстроился: нельзя ловить кайф над кайфом.

Дети теперь не машут вслед проходящим поездам... Когда это случилось? Сколько же времени должно было уйти, в том числе его собственного, чтобы стайки их становились все реже, чтобы не все в стайке махали, чтобы стало неловко помахать, раз другие не машут...

Грачей больше не было, зато открывшийся за пашней синенький, как дымок, лес — показывал вечный и радостный с детства фокус: он все забегал вперед поезда, пока насыпь с белеными камушками и столбиками рвалась серыми клочьями назад, а между забегавшим вперед леском и прерывисто отлетавшей под колеса насыпью — все замирала, все останавливалась неподвижная точка, обозначалась ось, словно там и колышек был вбит для вращения поля зрения вокруг него. Вот он, мгновенный центр вращения! Математическая абстракция оживала с наглядностью школьного опыта. «Сейчас она выйдет», — вдруг решил он.

Дверь в тамбур отворилась, он упорно не отворачивался от окна.

Сейчас попросит закурить...

И, о чудо, девочка на насыпи, как когда они еще махали... точно такая, в платочке в горошек, с коленками... стояла и махала, как призрак.

Этого только не хватало, чтобы двойника (двойницу...) звали так же, чтобы она еще и тезкой была... Конечно, звали ее уже иначе, как и одета она была уже иначе, звали ее скорее всего Света.

Монахов все отгадал, и как зовут, и где учится... Она ехала сдавать последнюю сессию, в общежитие дозвониться трудно, из комнат у них не зовут, но она может выйти в назначенный час к телефону. Монахов не скрыл, что женат, но то, как он отвел и удлинил взгляд, хорошо передавало разлад, о котором не хочется говорить... Света была хорошая, простая, умная девочка, которую Монахов не хотел бы обмануть...

Сигарету он галантнейшим образом ей выдал — по представлению о том, что ему известен каждый шаг, обескуражило его, и он не завязал разговора.

И реанимированный было пейзаж вновь умер. Кста-ти стемнело, чтобы не видеть его. Чтобы не думать больше, как ты его не видишь. А думать о том, с чем же в себе никак не может он смириться, Монахов, чему удивляется. К какой такой давней уже перемене никак

не может привыкнуть? И даже допустить не хочет. И эти — были стертые, кем-то, не то им же, подуманные... Возраст! Неужто он так простирает над ним свое крыло? Может, Монахов никак не может свыкнуться, что ему не двадцать пять. А почему, собственно? Он не чувствует ни боли, ни одышки, он — выглядит, он не постарел. Никто из нас не заподозрит, насколько долго, даже усвоив современные взгляды, подвержены мы давно уцененной и забытой, еще школьной идеологии. Откуда, например, убеждение, что старение есть явление как бы чисто физическое? «Возраст! — думал Монахов. — Вот великий закон и а д человеком!..» Монахов не мог допустить его действие на себя, в то время как действие его на окружающих было объективно. Распространение этого закона на себя означало, что жизнь, собственно, прожита и никак не впереди. Тогда он ее прожил то ли не так, то ли мимо, то ли не в том смысле. Перспектива, всегда открытая, вдруг захлопывалась. Господи! не готов... С другой стороны, не хуже, чем у других, это у него было: мать жива, дети здоровы, жены несчастны, но тоже здоровы, и все у них есть... а когда они были бы счастливы, интересно знать! Монахов привычно вспылал. Если причина его неважного самоощущения лишь в том, что он им не дал счастья по их представлениям о себе — то это вздор, этим — пренебречь. И хотя все равно не пренебрегалось, что-то оставалось на совести досадное, навязанное ими, но это, ясно, не главное. В том-то и дело, что Монахов именно с а м себя неважно ощущал, а не с помощью других, и — вот ведь! — тьфу-тьфу — даже здоровье было. Что же это за боль в виде ее отсутствия! Несносно. Неужели все кончено?.. Что — кончено?! Что — все?! Неужто так и не ответить себе ни на один вопрос... Вопросы размножаются простым делением. Откуда он взял, откуда они все взяли — жены, дети, — что она все время и каждую секунду должна происходить, жизнь? И еще, не просто сама по себе, а по нашим о ней представлениям! Хулить общественную систему — и во всем настолько походить на нее. Нет, она н а ш а, эта система, и твоя тоже. Давай, давай! Немудрено было давно уже ее всю выгрести, жизнь. Чего же теперь бесчувствию дивиться? Как там наша Светочка поживает?..

Обиделась. Не смотрит. Ну и слава богу. А жизнь, товарищ Монахов, придется наново начинать. Ту уже не переживешь — хвостик хоть ее распрями. Чтобы не бы-

ло мучительно больно... Ой, больно! Да дался ты кому со своей виной и долгом! Что ты лезешь из кожи к удивлению и неуважению своих близких? Кому ты нужен со своими смирениями и жертвами! Ты с а м им нужен, а где ты сам? В какую щель... не видать... Что ты прешь эту жизнь, как рояль на седьмой этаж! Не-ет, хватит.

«Господи! может ли прийти в голову мысль, хоть одна, которой я еще не думал. Я ими всеми уже думал...»

Светочка спала, расстегнув рот. Монахов представил, что это она уже под утро... Чужая подушка... беденькие тряпочки кое-как разбросаны по полу... птицы заверещали, рассветает окно... и она, после всей этой бури, плотно спит, вот и рот нараспашку... Монахов покосился с неприязнью и крадучись, стараясь не разбудить, соскользнул с кровати, босой по чужому полу, в руке туфли, где, черт, второй носок?.. Монахов хотел выйти, но пол под ним шатало... Поезд грохотал в ночи, все разухабистей болтаясь по стрелкам, словно не разбирая уже пути... Нет, хорошо, что не затеял знакомства... Монахов и сам дремал, некоторое время стараясь не забывать про рот, учитывая чужой опыт... пока не уснул, со всей непосредственностью сна.

...Ничего страшного. Вот предмет, похожий на другой предмет... а вот два похожих человека... И этот похожий предмет служит своему назначению, как служит с в о е м у назначению предмет, на него похожий. И этот человек, похожий на того, живет своей жизнью, как и человек, на него похожий, живет с в о е й. Что такого?

Сходство или похожесть никогда особо не занимали Монахова, и уж во всяком случае ничего пугающего в подобном явлении он до сих пор не обнаруживал. Эта область легко исчерпывалась проходным рассуждением о том, что при бесчисленном многообразии сочетаний элементов сами элементы-то постоянны, и потому, по законам больших чисел, вполне возможен случай даже и значительного сходства в соединении элементов у каких-либо предметов, людей, явлений, совсем не родственных и весьма отдаленных друг от друга. «Отдаленное сходство» в таком случае скорее сходство двух далеких объектов, чем просто незначительное подобие. А при бесконечном ряде возможен и случай идентичности — ну что ж, курьез, игра природы... как та же игра природы, что волей того же случая мы можем стать свидетелями подобного курьеза. Свидетелями, и только.

Ответственности не несем. Ни в малой степени не должно омрачить нашу душу отдаленное сходство. Скорее можно утверждать, что всякого рода сходство или похожесть должны радовать любого нормального, не задумывающегося над пустотой человека. («Мне бы ваши заботы...» — разумный довод!) Радует же всякому сходству ребенок как первому методу познания, и нежные усики первых соображений протягиваются из неизмеренного еще «я» к пока еще измеримому миру... может радоваться и взрослый, видя в явлениях сродства некое свое приобщение к окружающему миру, сродство и даже сращенность с ним.

Теперь можно употребить удивительное слово «вдруг».

И вдруг Монахов испугался. Так потрясло его это вагонное сходство... Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ. Хотя в широком смысле, конечно, не «вдруг». К этому «вдруг» его долго и терпеливо вела непостижимая жизнь. Будто из тугого и, казалось, толстенького клубка отмотал он, начиная с рождения, нить настолько длинную, что уже клубка-то и не различал: сколько там? не вся ли нить?.. Так вот, ему в д р у г показалось, что она как-то опасно натянулась: заело или кончается? Вопрос тревожный, и задать его некому. Мы не придаем случайной встрече в вагоне того же многозначения, как Монахов; может, он и сходство-то преувеличил... но, между прочим, не нам судить — это е г о встреча, не наша. Он принял ее за точку отсчета, пусть как угодно произвольно. Точка эта означала, что жизнь его описала круг. Теоретическая спираль его не утешала. Ему некуда было ее вставить. Под вопросом для него было лишь количество описанных им кругов — не третий ли заход?.. Третий, малоутешительный...

Во всяком случае, именно в этой точке своей смелкавшей уже в полосу жизни приостанавливается Монахов, чтобы оглядеться. Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ, который мы назовем то ли «Тени», то ли «Отрывок», то ли «Венок», то ли, как мы смело написали вначале, — «Вкус», то ли «Отдаленное сходство». Перед тем как он выдвинет — следующую, возможно, опять ложную...

Он приехал, и они объяснились.

Новую жизнь, однако, Монахову удалось начать не сразу.

Прошло время, прежде чем странность и радикальность подобного намерения поутрясалась, пообсела в сознании ближних (жены) и приняла законный и привычный вид: Монахов берет очередной отпуск и, возможно, еще месяц за свой счет, но проводит их не с семьею, а снимает за городом комнату, где ему наконец никто не мешает обобщить его опыт. (Якобы очередная монография, «Висячие сетчатые конструкции»...) Но вряд ли все это можно было теперь назвать побегом или «вита нуова». «Толстой...» — оскалившись по-волчьи, сказал себе Монахов. Однако был он к себе несправедлив: не будь он непреклонен в своем решении, не убедись жена в неизбежности, не привыкли начальство к идее... вряд ли бы он жил теперь на даче, вырванный из «заботы суетного света», с перспективой жить так два месяца... Достижение — практически невероятное!

Он говорил: «Я живу напротив могилы поэта», — и странно звучало это «живу».

Он произносил эту фразу впервые и не был уверен, что не повторяет ее в сотый раз. Кратность преследовала его. Кратность мыслей, слов, встреч. Все это нуждалось в сокращении, как кратная дробь. Ему пора было уехать. Одиночество было ему необходимо. Но до тех пор, пока его надо было добиться, это была еще цель. Он внес вещи в комнату, разложил на столе чистую бумагу и словари, вскипятил чай... И за кратким детским удовольствием самостоятельного устройства с тоскою понял, что никакого одиночества нет.

Хозяйка... Но не в хозяйке дело. Это однодневная лихорадка, ею не сложно переболеть. Как спускать воду, как зажигать газ... это пройдет. Что-то другое не устраивало. Монахова в этом прославленном месте. Непонятно что. То ли оно оказалось не таким, как он ожидал... но это тоже явление сверхобычное: место назначения всегда такое — не такое, как представлял, тем и замечательно. То ли вообще его не было... Монахов выглядывал в окно, и ему становилось пусто. Не то чтобы его вообще не было: сосны, кустики, дорожки, сараюшки — всего этого было в достаточном количестве. Некоторая частность, неоформленность пейзажа, общая мусорность — так это и есть специфика именно дачного места, за пейзажем ездят подальше, уже в деревню. Так

ведь эту-то сутолоку и сорность тоже можно любить, Монахов как раз и любил, он знал и узнавал отличие это. И тем не менее этой местности как бы не было, то есть, точнее, она уже была. Была когда-то. Не так давно кончилась... Монахов приехал и уже ее не застал. Не было местности.

Как мысли раздражали его своею уже «подуманностью», а люди — своею уже «встреченностью», как вся жизнь — своею «траченностью», так, возможно, и местность эта. Именно траченно место, будто битое молью (хорошо представить себе подобное насекомое, питающееся пейзажем...). Но был здесь и еще оттенок. Если ощущение кратности, бывшести, повторности, владевшее им в отношении людей, мыслей и чувств, было его личным ощущением, им почувствованным, им же и обеспеченным (в смысле нажитым), то есть несшим в себе оттенок заслуженности и справедливости (возмездие за несправедливо прожитую...), то в пейзаже этом, в его неудовлетворительности, он если и был виноват, то лишь отчасти, причем несущественной части. Кто-то употребил, выпил эту природу, так что Монахову она уже не досталась.

Монахову не хотелось смотреть в окно. Сосна как сосна: кора, хвоя... но и она не жила той спокойной, уверенной жизнью дерева, к которой привык Монахов у себя на севере — она как будто достаивала сосною, а уже была в душе доскою, валежиной; по ней пробежала бывшая белочка с мертвым мехом, оживший обрывок тетушкиной муфты. Вид из окна был испит, в лице его не было ни кровинки, а Монахову предстояло два месяца вглядываться в него, черная жизнь и равновесие. Планы! представления!..

«Кто же это высмотрел дотла?..» — неприязненно посматривал по сторонам Монахов. Он именно скользил взглядом, чтобы не запорошить глаза пеплом, который мог посыпаться от неосторожного взгляда с этой видимости леска, пригорка, пашни... Не иначе как живший здесь поэт. Незадолго до Монахова. Пейзаж достаивал после его смерти в глазах оставшихся, не более того. Именно так и объяснил себе Монахов глухое недовольство, ворочавшееся в нем и не находившее формулы. Наждачность поэтического взгляда, содравшего пыльцу с невзрачных крылышек окрестностей, преследовала его воображение, хотя сами-то стихи поэта Монахов знал слабо, а теперь почти мстительно собрался достать про-



честь, чтобы убедиться в том, стоили ли они того, чтобы ликвидировать небольшую местность... Припоминал фотографию: в ватнике, кепаре и кирзовых сапогах, опираясь на мотыгу (из-за которой он и запомнил фотографию), более похожий на могильщика из «Гамлета», чем на его переводчика, вглядывается перед собой, по-видимому, в тот пейзаж, остатками которого так и не довольствуется Монахов.

Да, эта местность уже была. Монахов не собирался ее описывать, однако и ему ее не хватало.

Люди, мысли, чувства, и вот теперь местность — все это уже было. Неужели и я — уже был? — вот был вопрос, к осознанию которого не хотел приближаться Монахов. А тут еще и местность, между ним и вопросом, кто-то чужой, до него живший, взял и убрал, скатал, как собственный коврик...

— Я живу напротив могилы... — повторял Монахов, нажимая на «живу». Так никто и не отметил в этой фразе каламбура, пусть и неудачного. Улыбались, будто пожимали плечами.

— Поселок дачного типа, — вдруг сказал он.

«Зона отдыха трудящихся Одинцовского района», — красовалось на платформе. «Косою полосой шафрановой — от занавески до дивана...» — Монахов усмехался. Чтобы отделаться от этой странной неудовлетворенности местностью, он расширил свое шапочное знакомство с поэзией. Стихи, в чем он вслух не смел признаться, все-таки не нравились ему. Их усилие быть казалось ему чрезмерным. Что ж поделать, если не Михайловское... так уж надо и душу вытрясти из бедненького пейзажа... Хотя, странным образом, именно стихи, написанные здесь, нравились Монахову все-таки больше.

Одна лишь церковь на пригорке горела с тою же силою, что и в стихах: «как печатный пряник». Радовала глаз. Из-под нее, вниз по склону, вплоть до речки, спало кладбище, на котором и был похоронен поэт. На могилу, предмет обязательного паломничества каждого прибывшего интеллигента, Монахов решил не ходить. То ли не хотел уподобиться, то ли не причислял себя в этом смысле к интеллигенции, то ли всех остальных к ней не причислял, то ли считал более оригинальным «жить напротив», чем и ограничиваться, то ли кладбище не любил... побуждение это не было достаточно ясным. Возможно, опасался «рифмы».

Симптомы, синдромчики... «Рифма» была его собственным понятием, которое следует пояснить.

Где-то я это уже встречал, читал, слышал... Что-то мне это напоминает, не могу вспомнить что... Какое знакомое лицо!.. Мы с вами где-то встречались... Ах, я это вам уже говорил... Знаю, знаю, слышал... Все эти обыденные случайности, расхожие речевые обороты, ничего до сих пор не значившие, вдруг стали намекать Монахову на наличие в себе более затаенных смыслов, чем способен заподозрить нормальный человек. Что-то обязательно повторялось на дню из того, что до сих пор могло годами не происходить, будто копилось в этих годах, чтобы вывалиться вместе... Скажем, поймал себя за странным делом: набрел на запылившийся завал в ящичке стола — фотографий, квитанций, записок... и вдруг начал стричь и клеить, искать совершенную композицию, пока к концу дня не был у него готов замысловатый коллаж, о жанре которого он и понятия не имел. Ни одна бумажка не пропала!.. Монахов застиг себя любующимся делом рук своих, смутился, спрятал поглубже, чтобы никто не увидел (жена). Вечером она (жена) вдруг просит его выстричь ей трафарет из иностранного журнала — и с насмешливым удивлением проводит Монахов остаток вечера, орудуя теми же ножницами и клеем («Как у тебя ловко получается!» — Монахов взглядывает с опаской — да нет, не может же она видеть сквозь стены и ящички!.. «Я в детстве ловко выстригал...»). В том-то и соль, что до сего дня Монахов, и это он знал точно, ничего подобного не выстригал лет тридцать. Впервые отчетливо проступил для Монахова этот закон, когда он стал водить машину. Пробив себе привычные, стандартные маршруты, от которых его редко отклоняла жизнь, он знал уже с точностью, что если его вдруг забросит в угол города, в котором он никогда не бывал, по какому-либо поводу, тоже достаточно небывалому, скажем, отвезти в ремонт пишущую машинку подруги жены, то это значит, что вечером того же дня он окажется в том же месте во второй раз в жизни, по поводу не более бывалому, сопровождая скорую, на которой увозят его внезапно заболевшего сына (ничего страшного, обошлось, слава богу...) в неведомую больницу, где есть место, так это место есть в больнице, что напротив мастерской по ремонту (надо же! а я тут утром уже был... и на больницу внимания не обратил). И так если и не каждый день, то через день. И больше

он не выстригал, и больше он в этот район не попадал... И все объяснения подобных случайностей были Монахову известны, но скука уже сковывала язык рассуждать о вероятности. В том-то и дело, что не-вероятность! Вот он видел вчера дважды посреди улицы павшую лошадь — это сейчас, в Москве... когда и живую-то встретишь, вздрогнешь, а тут — одну видел утром в районе трех вокзалов, а другую вечером в районе Сокола (а что он там делал-то, у Сокола? Не может вспомнить...), будто эту лошадь возили за ним по всему городу, чтобы он на нее натыкался. Нет, он совершенно нормален. Ничего ему никогда не кажется. Но только всего такого стало так много, что он уже не помнит ни одного примера (и упомянутых в том числе), а помнит, что проявляется каждый день некий закон и действует. И этот намек уже больше, чем намек; он — н а п о м и н а н и е. Чего напоминание-то?! Того, что жизнь есть независимо от того, есть ли ты. И если ты, чтобы не ловить себя на отсутствии, перестаешь реагировать на жизнь вообще, она находит способ тебе напомнить, что она есть, хотя бы вот такой р и ф м о й. Хорошо, если не прямым ударом. Вот когда перестаешь замечать и такие вещи — пропал... жди удара... Суеверным Монахов не стал, не пытался объяснить вещи недоступные примитивно-логическими построениями, но — настораживался от подобных намеков бытия, и остаток дня проживал несколько более осторожно и чутко. Поизносившаяся ткань собственной жизни просвечивала для него в такие моменты своим лукавым смыслом, навсегда утаенным от логического долженствования. Монахову хватало настораживаться, но не пытаться ухватиться за мелькнувший тайный смысл, чтобы окончательно не повредить ту ветхую ткань, сквозь которую он зиял. И конечно же, довольно часто Монахов замирал на полуслове, на полужесте, вдруг застигнув прозрачное это мгновение за пробуксовкой: оно уже было, не припомнить когда, но точно в такой вот точке времени и пространства, на том же полуслове, он уже б ы в а л! он это точно помнил, он узнавал этот текущий миг, как уже бывший... Время делало полный оборот, попадая в ту же точку со случайно налипшим на его обод Монаховым. Означало ли это, что в нем самом оно кончилось, время?.. Или довольствоваться всеобщими (и его собственными) рассуждениями о безвременье?

В понятии «рифмы» времени, сформулированном для себя Монаховым, заключалось и то, что это было единственным способом, каким умудрялся теперь Монахов отметить жизнь как идущую, как живущую, как существующую помимо. Он не имел больше воспоминаний. Конечно, и он мог сказать: «А вот я помню...» — и повторить что-то затверженное, как чужое, будто и никогда с ним не бывшее (как он, бедняк, упал с крыльца и зашиб лобик... для убедительности указывал на шрамик во лбу и почти с изумлением его под пальцами обнаруживал: шрамик-то бы л... он был НА Монахове, но его не было у самого Монахова: так могла пристать к его пиджаку нитка), и скучно становилось ему от этой кражи чужих воспоминаний, потому что он их именно крал, и даже не у себя, когда-то что-то пережившего, а уже у следующего себя, это что-то пережитое когда-то помнившего. Нет, ему не исполнилось еще тридцать три... Нет, не тридцать четыре. Позвольте, какой сейчас год? Еще не будущий?.. Тогда тысяча девятьсот семьдесят такой-то минус тысяча девятьсот тридцать такой-то — как раз тридцать три. Но еще не исполнилось...

И опять, он абсолютно здоров. Никакого склероза. В уме перемножает трехзначные числа. Может, если надо, восстановить любой отрезок прожитой жизни с юридической точностью. Помнит в с е, без обрывов, если надо — вспомнит. Но ему НЕ надо. И он ничего не помнит. У него нет воспоминаний. Одни напоминания.

Рифмы. Топ-топ. Как-то даже смешно. Если что-то, то еще раз то же самое. Он не хочет сегодня второй раз встретить одноклассника, которого как раз не видел к сегодняшнему дню двадцать лет. Так он его сегодня встретит. Если надумает сейчас махнуть в баню — так он там, и если решит, ни с того ни с сего, съездить в Ленинград, они поедут на одном поезде.

Поэтому-то он и не хотел идти на кладбище навещать могилу, чтобы не вызвать у судьбы повод тотчас попасть на него снова, уже более по делу. Не то чтобы точно так думает Монахов, это было бы уже состояние, близкое маниакальному, а он, мы повторяем, здоров, но вот нежелание и остратка — есть. И если бы его не затащили, он бы сам не пошел... Нагрянула Светочка (та, похожая...), и он непременно должен был ей эту могилу показать; что он ее сам не видел, она не поверила, и обиделась, что он-то видел, а для нее не хочет и лиш-

него усилия сделать... Так его поход со Светочкой все равно стал «вторым» посещением кладбища, хотя бы и в чужом сознании. Искусственное непосещение не было зачтено ему судьбою.

Они брели между могилами, но не находили поэта. «Ты же был на ней! как же ты не запомнил...» Монахов уже не возражал. «Давай спросим...» Спросить Монахову было неловко. Это как бы следовало з н а т ь. Сейчас, разыскивая, он поневоле пристально вглядывался в каждую. Причем даже не без любопытства: давненько, слава богу, на кладбище не бывал, давненько не хоронил... Кладбище было отчасти привилегированное, некоторые могилы привлекали внимание. Но и не приблизившись еще на достаточное расстояние, чтобы различить имя умершего, Монахов уже знал, что очередная заметная могила не может принадлежать поэту. Так и оказывалось. И они шли дальше. Монахов не размышлял над тем, что могила, которую они искали, должна отличаться, и почему, собственно... он был уверен, что она д р у г а я, чем все, уверен заранее, не задумываясь и не утруждая воображение. Остальные могилы были богаче и беднее, но они были одинаковы по отношению к безуспешно разыскиваемой. Чем должна была отличаться та могила — вопрос этот, будь он неладен, поставил бы Монахова в недоумение; тем более что он не отличался преувеличенным отношением к поэту. Но, безусловно, не анализируя и не вдаваясь, само ожидание д р у г о й могилы означало отличие поэта от остальных смертных. Вот уж смертных!.. Трогало и забавляло Монахова усилие продлить жизнь в памятнике. Вот монумент, к которому в надежде убыстрил он было шаги... ближе стала видна безнадежность пропорции — опять не то. Зато мрамор и барельеф! клумба! скамеечка и тумбочка под замком... решетка... Много. Монахов разглядел барельеф — лица этой женщины тоже было много, оно ничего не выражало, кроме солидности и богатства, которые выражал и сам камень... На решетке еще и висел замок, тяжелый и прочный. Пышная могила, лицо пышной женщины — пышность и была выражена. Больше ничего не мог узнать Монахов, однако знал уже много. Эта мысль о сходстве покойника и памятника удивила Монахова. Правильно... замок... что же еще, какие еще мысли, кроме грабежа, разбудит эта могила?.. Монахов миновал ее, будто давно был знаком с усопшей, так отчетливо был возведен над ее гробом ее

характер. Как живая... мысленно повторил он про себя вздох удовлетворенных родственников, прощально вглядываясь в барельеф: белый мрамор, много щеки, красная стела, статная, как возможный торс усопшей... «Нет, до чего похожа!» — восхитился Монахов. И далее эта мысль о сходстве не покидала его. Вот еще одна могла «непозта», хотя на ней даже вычеканена строка, напыщенная, из лысых слов, без подписи, видимо, принадлежавшая... И то, как к этой своей строке, возможно, относился автор, и то, как относились к автору близкие, именно ее выбравшие, чтобы сделать ему приятно... Опять выходил портрет. Монахов увлекся: образы покойных воскресали перед ним из памятников, несколько чересчур типические, все на характерных ролях, — они разыгрались на провинциальных подмостках его воображения, как живые. Он их знакомил между собою... «Ты что смеешься?» — спросила Светочка.

— Представляешь, — сказал он. — Многие из них совсем бы не были рады своим надгробиям... Никогда бы не подумал, что любовь так разоблачительна.

— Я, конечно, не совсем понимаю тебя, — сказала Светочка. — Но что же тут смешного?

И впрямь. Монахов смутился. Попытался пояснить. Мол, ближние из любви, пытаясь сделать покойному приятное, выставляют ненароком нечто самое характерное, может, тайное, невольно создавая образ: то ли человек слишком любил почет, то ли вкладывал душу в достаток, то ли питал тайную слабость к собственным литературным опытам... А они это его сокровенное — напоказ... Монахов еще побормотал, все слабее и неувереннее. «Мы уже тут были», — сказала Светочка. Они описали круг. «Ты права», — сказал он, вдруг разглядев Светочку и потрясшись ее бессмертием. Каждая клеточка ее была молода. Она уже сорвала с могилы цветок, устроив его за ухом. По особой иронии она была в белых тапочках... Он погладил ее по щеке, как гладят яблоко или персик, не веря пальцам своим, что они такие. Она совсем не так его поняла и смутилась радостно. Бессмертная.

Она была так же кстати на кладбище, как кстати на нем цветы, кусты, птички.

Монахов никак не мог себя таким же образом уподобить, чувствуя себя на полпути от Светочки до могилы. С подземными жителями у него, пожалуй, нашлось бы побольше общих тем для разговора... И тут, уже сочтя

сокровенную могилу заговоренной и сожалея, что не спросил-таки дороги сразу, и устав, пытаясь выбраться из очередного аппендикса, ввинтившись по свернувшейся улиткой тропке за рядок молоденьких, недорисованных берез, он опять зашел в тупик и долго и тупо смотрел на серый камень, вздорный профиль, факсимиле... «Так вот же она!» — радостно воскликнула за плечом Светочка.

«Вот оно, одиночество!.. — воскликнул мысленно Монахов. — Когда человек не хочет больше видеть людей, так ведь он ничего против них не имеет — он себя не хочет видеть с ними рядом...» Почему-то на этой могиле, наконец найдя, ему стало не того, в земле, — себя жалко. И так сильно, что ощутил он эту жалость почти как утраченное счастье, и окружающий мир вдруг подступил вплотную, подставляя глазу все живое, из чего состоял: то листок выворачивал ему свою бархатную насекомую изнанку, то травка перед ним выгнулась, то ветерок от шевельнувшейся в дреме ветки прикасался к его щеке, то тень от прошмыгнувшего поверху облака прогулялась вокруг, заглянув во все освещенные уголки... и ни за что не хотелось бы уйти из этого мира! Ах, не готов. На секунду показалось Монахову, что мир опрокинут, хотя он и не задирает голову; что будто он лежит на спице и вечно все это над ним — отведенная ему лужица мира... «Ну, если так! — восхитился Монахов. — Тогда бы еще можно... Чтобы «надо мной склонялся и шумел»... тогда можно. И не надо больше. Когда и столько — все. После смерти человеку достается мир дерева — не так мало. Он наконец укоренен. Мир приходит к нему, чтобы он на него посмотрел. Дерево не может увидеть столько, сколько человек, но сколько человек видел дерево, столько и оно его видело...» Странное это соображение не позволяло Монахову переступить, ему казалось, что он никогда не сойдет с места. Очень бы хотелось... он слишком хорошо знал, что сойдет наконец, — опытная точка заходила с тыла. «Прочитай мне какое-нибудь его стихотворение», — шепотом попросила Светочка. «О боже!» — взвыл про себя Монахов, совершенно про нее забывший. И уже переступил.

«После», — сказал он совершенно без гнева. Могила эта поражала бедностью. Какая вроде бы и пристала поэту... Но нет, не такая! Она была вполне на уровне здешних зажиточных могил, еще и с избыточным вкусом и интеллигентностью. Но какая все-таки бедность,

в чем? У Монахова не было отчетливого образа для того ожидания, которое исподволь разгоралось в нем, пока он искал. Теперь, увиденный, этот образ был утерян навсегда: могила была такой, какой была. Воображение было разорено. Бедностью воображения она и поражала: ограды нет, заборчик из жердей — вкус... камень светло-серый, как пыль, неполированный — достоинство... травка, газончик вместо клумбы — скромность... рядок тех самых березок — простота величия... продуманная сень — намек на лиру... Что можно еще придумать и чего избежать? Все. Если не посягать, то все. А если посягнуть, то и бедность покажется нищетой. Потому что памятник гению не может быть и памятником гения... Это хорошо. И этот — подобен. Правда, дистанция между ним и памятником как бы обратная и очевидная... И все-таки. Не этот ли профиль на сером камне заставлял его, еще живого, застывать на последних фотографиях столь благородно и чеканно? Не этот ли жердяной заборчик, демонстрирующий строгость вкуса, порожден его гением, слабым в ближних? Речка текла внизу так же, как и до него, и независимо от него, разве еще оскудев и измелъчав.

К а ж д ы й з а с л у ж и л с в о е н а д г р о б и е .

Справедливость подобного заключения венчала толкотню секунд в смуте и суете прижизненного времени. Справедливость и есть единственная мера времени с единицей в одну человеческую жизнь.

Пора было идти. Оставалось подумать о любви к себе после смерти. Головокружительно и невозможно. Мама пьет чай, открывая еще прижизненную банку варенья, жена перешивает юбку, сын заперся в ванной...хлопоты сборов в дорогу — субботник по уборке могилы — ищут и находят... забывают в последний момент сверток с грабельками и совком, решают не возвращаться: не будет пути...

К могиле приближались. Два голоса, по проторенному Монаховым пути, не сбиваясь... Один — недовольный интеллигентный баритон, другой — попроче, семенящий алкогольный говорок. Недовольный накачивал в себе интонацию строгости и недовольства, словно сам не очень-то доверяя своей грозности, но не допуская такого недоверия с чьей-либо стороны. Простоватый — недобросовестно имитировал сообразительность и будущую исполнительность, по-видимому, состоя в наиболее простых отношениях с будущим, то есть все наперед



зная. «А я говорю, другая культура тут не взойдет», — сказал, оправдываясь, он, и слово «культура», не принадлежавшее его гортани, отделилось и застряло в ухе Монахова. «Культура...» — со странным гортанным клетотом повторил баритон. И они вошли, отрезав Монахову и Светочке путь к отступлению. Седоволосый и тот, другой, в ватнике... Будто он не ожидал, что кто-нибудь есть на могиле... будто здесь никогда никого нет... Монахов смутился, успев, однако, быстротатым взглядом ухватить надменность профиля седоволосого, и теперь слышал его с профилем на камне. Сын... думал он. Определенно сын... «Сын», как бы недовольный присутствием посторонних, смотрел в сторону, прервав себя на полуслове: пошатал жердочку ограды, отер ладонь... Монахов подтолкнул Светочку к выходу, пришедшие посторонились, пропуская. В проеме калитки Монахов, не ожидая этого от себя, сказал «до свидания», «сын» кивнул кратко, как экзаменатор, и тут же стремительно впорхнул за ограду. «А вы сажали?» — тут же загудел за спиной Монахова его недовольный голос. «Как не сажать...» — отвечал могильщик.

Монахов был почему-то тронут. Сын непременно любил отца. И эта хозяйственная деловитость была почему-то как раз впору гению. Монахов быстро шел по тропинкам, будто давно зная дорогу, будто раскланиваясь с уже знакомыми могилами короткими кивками на ходу. Вот собственница... а вот автор строки... Нет, кладбище это не то место, на котором покончены счета с жизнью, думал Монахов. Вон как покойнички вцепились в нее и не выпускают... Им изменило только движение; остальное — все еще при них: положение, вкусы, тщеславие... и вот даже... любовь ближних и признательность соотечественников...

Я кончился, а ты жива,  
И ветер, жалуясь и плача,  
Раскачивает лес и дачу... —

читал он Светочке по дороге к дому то, что помнил.

Не каждую сосну отдельно  
А... та-та-та... все дерева...

«Забыл», — сказал он. Было особенно безветренно и тихо.

Так оказалось, что могила эта произвела-таки на него впечатление. Мысли его приняли необычный ход, он что-то такое стал отмечать вокруг, как бывало: листик

там, какое-нибудь мелкое животное, поддавал ногой камешек... И слушательница рядом — была. Во всяком случае, именно ей он мог поведать мысль о том, что сильные впечатления вовсе не происходят, как на сцене: «как вкопанный», «как громом пораженный» и в таком роде... Они проявляются не сразу — сразу как раз характерна реакция торможения перед непривычностью, значительностью или силой предстоящего нам переживания. Сильным впечатление оказывается потом: проступает, проявляется (в фотосмысле)... Таковы были его рассуждения, компенсировавшие разом как недостаток чувств, так и избыток переживаний. «Так и в любви...» — сказал Монахов. Не сразу. Сначала кажется — так себе, а потом оказывается черт-те что. Светочка напряглась.

Монахов быстро выгреб «награду свою». За чуткость и впечатлительность. Возмездие стояло на пороге и выглядело, как встреченный им поутру однокашник, — что тут делать?..

— Ты знаешь, кого я сегодня еще встретил!.. — радостно возвестил он и, не дожидаясь проявления страстной заинтересованности со стороны Монахова... — Да-да, Ядрошникова!..

Ядрошникова Монахов и не силится вспомнить. Школьный приятель был такой старый... Он потряс потрепанным мешочком «Березка», в котором булькнула за три шестьдесят две; Монахов представил его Светочке, и они прошли в дом: Светочка, за ней приятель, за ними гостеприимный Монахов, с тоской глядевший им в спины.

Дальше все пошло как по писаному. Светочка отнимала у Монахова сковородку: «Где у тебя соль? А лука у тебя нет?» Приятель, теребя свою седоватую аспаньолку, базили, поглядывая на Светочку и определяя степень ее с Монаховым отношений, пока еще не отводя его в сторонку, чтобы спросить, давно ли «он с ней» и «как она»; у Монахова наконец что-то всплыло про него в памяти, а именно, что приятель еще в школе слыл первым «по этой части» — сейчас он, с брюхом и сединою, уже как бы не должен был нравиться, потому что не правился Монахову; Светочка была оживлена. Наконец она позвала «мальчиков» к столу. Приятель произнес длинный тост, вставляя английские словечки (он, оказывается, был и по этой части); Монахов от смущения заторопился выпить, поперхнулся; Светочка же ни-

чего, не находила приятеля ужасным... «Н-да, уединился...» — с тоской подумал Монахов, выпил еще, и — отпустило. Он очень удивился, обнаружив себя через некоторое время рассказывающим один запомнившийся ему школьный эпизод: как украли в кабинете английского магнитофон — тогда еще редкость, — а воров так и не нашли... «Ты разве не знаешь, кто украл?» — удивился приятель. «А ты знаешь?» — «Конечно», — сказал приятель, но секрета не раскрыл. «Ит ваз э марвелос стори, — добавил он таинственно. — Ты Асю помпишь? Ну да, как ты можешь не помнить...» — «При чем тут Ася!» — Монахов зачем-то рассердился. «Он был в нее влюблен», — пояснил приятель Светочке. «Она была моя жена», — хотел сказать Монахов, но не мог выговорить «была». «Влюблен?..» — приподняв бровки, протянула Светочка. «Ты знаешь, что она умерла?» — «Нет», — посомневавшись, ответил Монахов; он пытался как раз припомнить нечто чрезвычайно неприятное, связанное каким-то образом именно с этим приятелем... Будто как-то раз ужасно приревновал Асю к нему... Неужто за дело? Так, по-видимому, постарался тогда тут же это забыть, что и забыл. «Какой ужас!» — воскликнула Светочка. «Рак», — подтвердил приятель. «Сначала т а м все вырезали, потом удалили одну грудь...» Монахов давно не пил, тем более за три шестьдесят две... «Мерзкая все-таки эта водка», — пробормотал он и вышел, задев стул.

Никогда в жизни он не блевал. С чего бы это?.. Он вышел на крылечко подышать. Дул поверху ветер, а внизу было тихо. Вершины сосен качались, ветер шуршал хвоей. «Жалуюсь и плача...» — вспомнил Монахов и больно ударил кулаком по перилам. «ТЬфу, черт!» — сказал он, тряся кистью, и вернулся в дом.

Ни Светочка, ни приятель, однако, никуда не исчезли; Монахов глупо удивился их присутствию и не обрадовался. Приятель сидел уже рядом со Светочкой, гадал ей по руке. «Да! — восхитился Монахов. — Вспомнил! Тогда, двадцать лет назад, он точно так гадал по руке ей...» Монахов и про себя не назвал ее по имени... (Тень того неприятного воспоминания косо спланировала с шорохом ночной бабочки, вызвав озноб в спине.) «Лонг инаф, стронг инаф, пут ит ин», — рассказывал тем временем, смеясь, приятель. И это Монахов вспомнил, и этот анекдотец он тогда рассказывал про Логина, Строганова и Путятину (фамилия приятеля бы-

ла Путилин, и он относил анекдот на свой счет). Светочка английского не знала, она изучала немецкий. Какой же язык изучала она?.. Монахов не мог вспомнить. Конечно, она и того не знала, какой изучала, но все-таки какой?.. Поняла ли она тогда эту шуточку?! Монахов зло посмотрел на «Пут-ит-ина» и пошел ставить чайник.

«Дай я сделаю,— Светочка отняла у него,— ты не умеешь». «Что тут уметь?— возмутился Монахов.— Кофе-то растворимый!» «Евреи, кладите больше заварки»,— рассказал анекдот «Пут-ит-ин». Светочка долго крутила ложкой в сухой чашке. Монахову это казалось ужасной пошлостью. «Кто тебя этому научил?»— спросил он неприязненно. «Будет с пеночкой»,— пропела Светочка. «Тебе нехорошо?— заботливо спросила она, подавая ему чашку.— Смотри, какая пеночка... Ты так побледнел». — «Ты меня спрашиваешь, или я побледнел?» — «Почему ты со мной так разговариваешь?» — насторожилась Светочка. «Опоздаешь на электричку»,— сказал Монахов.

Светочка наконец обиделась и стала стремительно собираться, дрожа губами. Приятель, молча и понимающе наблюдавший, тоже встал, не забыв свой мешочек «Березка». «Мне тоже пора»,— сказал он.

Светочка выпорхнула, не прощаясь. «Так мы тебя ждем завтра»,— сказал приятель. «Как это мы?..» — опешил Монахов. «Уже мы!..» — поразился он. «Ты что, забыл, с Ядрошниковым, мы же договаривались...» «А, да...» — сказал Монахов. Приятель уже спешил. Монахов услышал его грузный бег. Догонит...

Он прикрыл глаза и поплыл, комната два раза повернулась вокруг оси... «А, что!» — вскочил он как ошпаренный. Кто-то стучал в окно. Он впустил заплаканную Светочку. «Ну, ну, извини...» — Монахов не выдержал женских слез.

Светочка сбивала постель, как пеночку. Легли, и Монахов погладил ее по прохладной от слез щеке... Что на него нашло, удивился он. Обидел девочку... Путилин тоже... Монстр, конечно, но ведь вполне добродушный. Светочка поцеловала его руку. «Ты что?» — Монахов ласково руку отнял, опустил ей на грудь. Грудь была крошечная, детская. Он отдернул руку, будто его ударило током. Ужас иглою пронзил Монахова, словно рука его провалилась в дыру. «Ты что?— нежно спросила Светочка и опустила свою руку вниз.— Устал? Спи, милый».

Зато утром он был рад, что Светочка оказалась рядом.

Он проводил ее на станцию и позвонил домой. «Неужели? Когда? Она была без сознания?.. — бессмысленно повторял он. — Еду. Конечно, прямо сейчас и еду».

Как некровному родственнику пришлось Монахову принять это на свои плечи. На это он как раз не досадовал и принял (про эти дела нельзя сказать — легко и охотно, можно сказать — готовно). Досадовал он скорее на то, что не оказался готов к этой смерти. Не в том смысле, что был потрясен; нет, бабушку было, конечно, жаль, но бабушка была обречена, это было уже неизбежно, вопрос лишь когда (вчера); бабушка была не его. Досадовал же Монахов на себя, что эти дни, когда все наконец было свободно и спокойно, провел он впустую, ничего не поработал, никак не преобразился... и вчерашний день в особенности заставлял его постанывать от стыда, тем более перед лицом с... да, именно ее... Будто он был виноват в том, что на его голову — Светочка, Путилин... Он их искал? звал? Они его д о с т а л и... В конце концов точки над «і» расставлены и он свободный человек — так что и так он виноват не был. Не виноват же он, что бабушка умерла!.. Все это так, но, выстроив все эти неоспоримые доводы, оказывался он виноват снова и снова, и в том, и в другом, и даже в бабушке... Не был готов. «Достаток распутного равняется короткому одеялу...» — он любил криво ухмыляться этому изречению, считая его подходящим именно к такому случаю. Случаи такие (без бабушки...) бывали. Не сразу удавалось оправдать чувство вины похмельем. Как-то оно всегда казалось более убедительным, чем просто плохое самочувствие.

Кто обманывает? Кто бежит с гробом?.. Кто стрижет на кухне составные части салата?.. Кто топит котят? Вот котят-то как раз и топит самый что ни на есть нежный человек. Другой за это не возьмется... Покойная их топила.

Монахов ее хоронил.

Итак, слава второстепенному персонажу! Это именно он хоть что-то делает за героев — чувствующих и живущих. Это он приносит им телеграмму, довозит до дому и оказывает первую помощь. Обслуженные со всех сторон, подключенные проводами разного рода к свету, во-

де и информации, они получают время и силу на те мысли и чувства, которые годятся в прозу. Прозаик мог бы и впрямь полагать себя взобравшимся на пирамиду жизни, властвуя уже и над самими героями, если бы в своей жизни бывал бы так же хорошо и невидимо обслужен, как его герои. Но ему, в жизни, все время приходится заниматься именно тем, от чего он освобождает героев, — в жизни он перегружен функцией второстепенного персонажа; для себя он далеко не так свободен, чтобы успеть ощутить жизнь, доступную его героям. Все закругляется, замыкаясь в кольцо: властвуя над героями, он для них напишет книгу, которую они возьмут в руки и или захлопнут, или забудут в такси, — напишет на правах того же, кто их довез или принес им телеграмму. И прозаик устает, и его симпатии все более располагаются к случайно упомянутым вскользь и тут же пропавшим со страницы тетушкам и возницам, пьяным водопроводчикам и даже милиционерам, его начинает раздражать настойчивая и эгоистическая жизнь героев: с чего это они взяли, что именно они живут, а я что, и жить не должен?! Денег у меня нет, семья распалась, и мне, не хуже чем Иисусу, «некуда прислонить голову». Хуже, чем Иисусу, потому что я еще к тому же и не Иисус, а — смертен! На кого же потратил я жизнь свою? Второстепенные птицы имеют гнезда, второстепенные лисы имеют норы... Герой мой входит и выходит из с о е й квартиры, теряет, подлец, от нее ключи! Так ведь придет второстепенный, пусть пьяный и неумелый, слесарь и впустит его, и вот он снова у себя дома... А ведь и я мог бы проводить свое время с кем-нибудь, кто мне дороже моего героя, так мне — негде! На том свете меня кто-нибудь н а п и ш е т... помучит, конечно, но зато сам не заметит и не поймет, какими неизъяснимыми свободами принадлежности себе вознаградит за это... Но то беда, что даже Гамлет напишет Шекспира похуже, чем Шекспир Гамлета. Кто-то желчно подметил про упадок русской литературы, что в ней прежние персонажи стали самовыражаться, что последующую литературу стали создавать Башмачкины и Пироговы, Лебядкины и Передоновы. Возможно, он прав и в смысле критическом, но для меня он прав в вышеупомянутом смысле, его устами глаголила... Раньше я оберегал героев от смерти, теперь мне понятна великая традиция их изничтожения: нельзя оставлять их после себя, разращенных тою свободой, которая возможна лишь на

страницах. И то сказать, что же это за конец романа?.. Герой идет по утреннему городу, розовый от рассвета, блуждающая улыбка идиота, символизирующая начало новой жизни, отражается в асфальтовой луже (потому что непременно проезжает на этой странице поливальная машина, ведомая второстепенным персонажем...) — куда он выйдет, перешагнув мелкое и не всегда даже встречающееся препятствие из дат и мест написания? Правильные герои умирают на последней странице, ибо, изнеженные в книжном пространстве, они просто не выдержат выхода за ограду обложки: там им некому будет подать и поднести, там их решительное социальное падение из главных во второстепенные на уровень живой жизни совершенно не устроит. Так что смертельный исход на страницах для них даже, в каком-то смысле, гуманен. А если они таки перешагнут и расползутся по жизни, как по страницам? Боже упаси! не с этим ли мы отчасти уже имеем дело? Разбредутся и еще в свою очередь напишут, а те, уже их герои, в свою очередь напишут?.. Не-ет, убивать!.. только убивать их в конце. Пусть читатель пожалеет, но зато подражать не станет. И дай бог ему счастья в его живой, второстепенной жизни. Но если вы не сторонник кровавого романтизма, а, так сказать, уже поддавшийся демократическим тенденциям и симпатиям к второстепенному персонажу, отдаете предпочтение натуральной школе, то и тогда есть способ выпустить вашего героя, выращенного вами из второстепенных, за пределы художественности и обложки (что, в определенном смысле, и есть единство): тогда — снова свергнуть его на уровень второстепенного, унижить его, после недолгой центральности, так, довести до такого ничтожества и праха, чтобы убивать, право, и рука не поднялась (так, кстати, и справлялись с задачей лучшие представители натуральной школы, как-то Гоголь). Такие хоть, выйдя за пределы, не выйдут из ничтожества, не возьмутся и за перо. Потому что взяться за перо — это уже быть героем (почему и берутся, не вникнув в омонимическую каверзу слова «герой», герои литературные). Ибо та свобода, которой награждает своих героев автор, рождается из той, которую он героически отвоюет у собственной жизни, и то — лишь в акте творения, лишь в акте творения!.. Но ведь — и нет другой свободы. Герой и свобода — нет нерасторжимей понятий! А если достиг, а если испытал, а если убедился, что она

таки есть (свобода!), — то пусть и гибнет, на то и герой. Ибо что это за герой, который не погиб? что это за участь, самому себе не веря, доказывать в очереди за пивом, что ведь — было! было! вон про меня даже написано... доставать пьяные разлохмленные документы (все мое пошу с собой...) и среди них сквозящую на сгибах газетную вырезку... Ибо что это за герой, который выжил (язык не подведет, он подыщет глагол...)? А ведь и не выжил — а опять же погиб, только уже не как герой. Мало совершить подвиг, надо красиво погибнуть, чтобы стать героем. Тот и герой, кто красиво гибнет. То есть решительно и окончательно даря свой триумф людям, не получив «награду свою». Ибо что делать, когда и подвиг уже совершен, и почести возданы? Свобода лепит героя, но свобода — это не то, чем можно воспользоваться. Ее дело ощутить. Ой, не мало! Но что делать потом с этим уплощившимся остатком жизни? куда его девать? На новый подвиг? Но подвиги — не заготовленная впрок форма, для которой требуется лишь смелость и решительность, чтобы войти. Смелых и решительных куда больше, чем свободных. А свободу после свободы не обрешь... Поэты — певцы свободы не потому, что воспевают ее, а потому, что — гибнут. Оттого с ними и носятся, как с героями, что они удерживают свободу дольше всех и сохраняют за собой ценой гибели. Поэты — это герои самой литературы. Они уже не люди, но и не персонажи. Они — граница жизни и слова. Свободным, им ничто не грозит, кроме успеха, слова, равного слову «выжить». Но успех — это не слава.

Куда проще на второстепенных ролях... Кто подсушит пейзажик за спину героев, кто даст передохнуть от настырности их бытия читателю? Кто тайком отдохнет в отступлении сам?.. Автор.

Машина, простояв три дня, не заводилась. Именно сегодня, когда она была так пужна. Монахов попробовал все, что сам знал, последовал всем советам, которые ему дали редкие дачные прохожие, в том числе — полизал электролит. «Ну как, кислый?» — спросил советчик. «Не знаю», — с тоскою ответил Монахов: лизнув, он ощутил во рту лишь спекшийся вкус кофе и сигарет — вчерашнего дня. Сердце противно билось. Он был нездорово возбужден. Он спешил соответствовать. Была тут не только готовность помочь и поддержать жену и ее близких в горе, но и какая-то даже охотность — отделаться на время от самого себя под столь благовидным



предлогом. Второстепенность и ответственность его роли как-то сразу подошли ему, ему стало удобно употреблять себя — бескорыстно, по чужому делу. Не он умер и не у него умерли, и некому, кроме него... Смерть делала все несомненным, как она сама. Нужен был Монахов, и вот он; нужна машина, и она все-таки завелась; нужен был, по-видимому, гроб... и Монахов ехал.

По дороге он понял, что не может вспомнить покойной, хотя виделись они достаточно часто и не так давно. Помнил только, что ей стало плохо, когда она впервые увидела мужа внучки, то есть Монахова. Она лежала навзничь поперек кровати, с белым фарфоровым лицом, приоткрыв рот, сверкая полоской золотых зубов. Она лежала нелюбезная, злая, и Монахов не мог понять, чем он ее так напугал, кого это она ожидала на его месте увидеть, какого такого принца? «Графиня...» — вспомнил Монахов «Пиковую даму» и усмехнулся: занятно то, что бабка и впрямь была графиней... Но за первым впечатлением шел провал из подчеркнуто вежливых приветствий и чаепитий («Вам покрепче?») — Монахов обнаружил, что забыл покойную еще при жизни. Он про нее не помнил, он про нее з и а л. Знал, что у нее расстреляли мужа (деда жены, графа), и второго мужа (кажется, князя) тоже расстреляли с интервалом в девять лет; что всю жизнь проработала она медсестрой (почти шестьдесят лет), слыла, ее знали титулованнейшие наши медики, которым она до самой смерти, уже не работая, могла позвонить и попросить за кого-нибудь (и они исполняли). Скромнейшее существо... Вспомнил вдруг ее шляпку, рисовой соломы, из Парижа (почему из всего выжила именно эта шляпка?..), — трудно даже вообразить, что э т о можно надеть, так она ее всякий раз надевала перед зеркалом, и когда отходила от него, то это была уже и впрямь шляпка, надетая единственным образом, как в те времена. Бабка п р о с т у п и л а наконец в сознании Монахова, а именно, смех ее он услышал, смеялась она очень молодо и заразительно. Монахов еще подумал, что память на голос у него гораздо точнее, чем на лицо. Перебрав в памяти знакомых мертвых, он вспомнил голос каждого и каждый раз поживался, до чего отчетливо этот голос звучал. К голосу отчетливей всего припоминалась улыбка, от нее — ухо, щека, вот уже и лицо стало видно отчетливо, сейчас можно и в глаза заглянуть... в этот момент отец отвернулся, отвел взгляд, лицо провалилось, и осталась ру-

ка... рука была отчетлива и отдельна, напоминала ту, которая лежала сейчас на баранке, его собственную... раньше Монахов не отмечал этого сходства. Бабка смеялась и рассказывала почему-то именно с весельем, что они едали у себя в поместье («в той жизни», — смеясь, говорила она), ели они, получалось, все время и много (вкусно, само собой) — трудно было в это поверить, глядя на худенькую маленькую девочку-бабку, нет, толстой она и тогда не была, такая же, как сейчас... Дальше почему-то, с тем же колокольчиком смеха, шел рассказ об аресте (вхожу в камеру — мне: «Ставь самовар!», а я по сторонам зыркаю, где он, а надо было ответить: «Варенье под столом», а так они сразу поняли, что я в первый раз), потом о Соловках (она ездила навещать графа, а тот был страшный кошатник и развел семнадцать кошек, так когда переезжал с командировки на командировку, то кошек — в мешок и с мешком на новое место), было это сорок пять, нет, сорок шесть лет назад, — и она опять заразительно смеялась...

Бабка, и так маленькая, совсем исчезла в гробу, который привез Монахов. Пепельный лепесток... Он, однако, забыл про ленту и тапочки. Покрывало было у нее припасено собственное. Была еще железенькая, дореволюционная еще, коробочка из-под зубного порошка с землею из родного имения (Псковской губернии), единственное, что осталось у старушки, кроме шляпки. Монахов, потрясенный, машинально ее открыл и закрыл, потрясенный еще больше: земля была с т а р а я, тоже как пепел. Эту коробочку она хранила, чтобы быть похороненной в с в о е й земле. Монахов быстро съездил за лентой и тапочками и вернулся.

Ночь она должна была простоять в церкви... Монахов поехал в ту единственную, которую вспомнил, потому что отцевал уже в ней однажды одного своего знакомого. Но тогда организация лежала не на нем, и теперь он не знал, как это делается, с кем надлежит переговорить, как это оплачивается и т. п. А время уже склонялось к вечеру, надо было успеть обернуться с похоронным автобусом. К тому же — требовалась справка о «заморозке», иначе якобы в церковь не положат. У Монахова голова шла кругом.

Церковь стояла в уцелевшем московском переулке, пустом и тихом. Старые же, уцелели вокруг дерева. И будто сохранившиеся со времен Саврасова грачи делали круги в смеркающем небе. Службы никакой не

было, он зря дергал дверь. Он обошел вокруг — никого. Приник к щелке ворот. Старуха в черном подбирала во двореке щепочку, несла к самовару... Радостный, Монахов заколотил в ворота. Старуха, не торопясь и не мешкая, бесстрашно отворила ему. Монахов сбивчиво и торопливо, вдаваясь в подробности, боясь отказа, объяснил, в чем дело, и старуха слушала или, скорее, терпеливо ждала, когда он выговорится. Монахов и здесь ждал того же, с чем сталкивался сегодня на протяжении всего дня, с чем сталкивается наш человек, когда ему что-нибудь безотлагательно необходимо (он полтора часа ждал продавщицу в похоронном магазине: «ушла на базу») — с уверенной в себе обходительностью отказа... Старуха, выслушав, сказала: да, привозите, да, она тут все время будет, да, и отопрет ему... И никакой бумаги не потребовалось, никакой справки о заморозке, на слово... Монахов был изумлен. «Как звали?» — спросила старуха. «Что?» — не понял Монахов. «Покойницу как звали?» «А!» — обрадованно понял Монахов и отбарабанил, как в отделе кадров, как на плацу, фамилию-имя-отчество. «Раба божия Мария, — повторила старуха, — хорошо, я запомню». Изумление Монахова переросло в восторг. Вот так просто... сказал — и все? и моего слова достаточно, и ее? неужели когда-то так и было? то-то бабка смеялась всю жизнь... Монахов вышел из старухиного дворика в другое время, в другое пространство. Казалось, церковь таинственной силой удерживала вокруг себя и эти деревья, и грачей, и перелеток... И не так, как ему показалось, когда подходил сюда, что церковь цела еще оттого, что уцелел еще уголок, в котором она расположена, не так понимал теперь Монахов: теперь ему было ясно, что все это вокруг уцелело благодаря церкви, находясь в ее поле. Именно поле (в том, научно-популярном, теперешнем смысле) ощутил вокруг церкви Монахов... Но вот, восторженный, легкий, перешагнув он какую-то невидимую черту — раздался автомобильный гудок, скрежет тормозов, шофер погрозил ему кулаком, возвышалась новенькая поменклатурная башня, милиционер из будки посольства новенькой страны глянул на него без осуждения... и Монахов вспомнил, что он и сам на машине, а забыл, а пошел пешком — вернулся и покорно в нее сел.

Он все сделал, что надо. Он сделал совершенно все. Бабка проводила в церкви свою последнюю земную ночь. К сожалению, сказал он жене, мне обязательно

там надо быть... я быстро, туда и обратно. И он поехал к Ядрошникову.

И он неотчетливо помнил, как оказался перед окнами Светочкиного общежития.

Свечка дрожала в его руке. Он поддерживал ее и другой рукою, а она все равно дрожала. Горячий воск капал на руку, Монахов чувствовал это горячее на руке с долей радости: признак жизни. Всю дорогу он старательно жевал жвачку, лишь перед самой церковью перестал, все-таки неудобно жевать в церкви... и ему казалось, что от него разит на метр вокруг; он старался встать особняком, ничего и никого не коснуться. Воспоминания вчерашнего вечера слиплись, он старался их по неосторожности не разлепить. Ощущение греха, стыда, нечистой совести было таким разлитым и сильным, что не нуждалось в уточнении; страшно было бы, если бы что-то конкретное всплыло на поверхность памяти. Достаточно было той внутренней дрожи, что понижывала зыбкое его тело. Ему казалось, что свеча в руке как-то особенно громко трещит, не как у других, словно это он сам, скудель греха, коптит и чадит через свечу, и вкус во рту был чудовищный, и еще ему казалось, что от него пахнет псиной. Он даже сообразил, как такое могло быть, что псиной... У него вчера случился приступ радикулита, и заботливая Светочка привязала ему к поясице клочок и впрямь собачьей шерсти как вернейшее средство... А с утра шел мелкий, как пыль, дождь, все висело в тумане... Вот, отсырело. Найденная причина, однако, мало успокоила Монахова: ему по-прежнему казалось, что и свеча чадит из него, и псиной несет не от шкурки, а из него, и что он стоит тут, исчадие ада, и почему-то еще под ним не разверзается, но в любую минуту разверзнется. Ангельскими надтреснутыми голосами запели старушки: и та, что продавала свечи, и та, что выписывала ему квитанцию (была все-таки и здесь квитанция...), и та, святая, вчерашняя... Что и успокоило чуть Монахова, так это неприятный и понятный поп, с такой скукой и ленью отбарабанивший «ныне отпускаеши», сглатывая не то что слова, но умудряясь одними гласными произнести даже и абзац в одно слово, что на секунду Монахову показалось: не в том же ли состоянии и поп?.. Тут-то он и переступил для прочности, словно сходя с того места, которое должно было под ним разверзнуться.

Прощались поспешно, поп нетерпеливо переминался у гроба... Монахов все-таки пересилил себя и тоже приложился ко лбу покойной, следом за женой. Как будто это могло что-то поправить между ними, изменив вчерашний день... Ощувив под губами этот всегда непривычный, особенный холод, он отошел, переживая странный вкус, заполнивший после поцелуя рот. Этот отчетливый вкус что-то очень напоминал, достаточно редкое, но и недавнее. Что же? Совершенно уникальный вкус. «Аккумулятор!» — вдруг осенило Монахова, и он неоправданно обрадовался догадке. (Опять с утра он безнадежно заводил машину, да так и не завел... опять он лизал электролит.) И тогда другой, предыдущий вкус всплыл во рту... и опять не сразу... пока, почти взвывая и зажмурившись... не понял он, что это был вкус Светочки... там... так что, когда восстановился, перекрыв все эти тонкие оттенки, общий вкус водки в этом перегае, то показался он Монахову святым и безгрешным... Но вся эта радуга — водка-кофе-табак-Светочка-аккумулятор-покойница — поразила помутневшее и ороговевшее сознание Монахова, будто вкус оставался последним еще доступным ему живым чувством. Не слышу, не вижу, не понимаю, не чувствую... один вкус!

Но снова старушки подхватили святыми голосами... а поп уже уходил, с портфелем. Тут только, и то к счастью, с ужасом вспомнил Монахов про коробочку с землей... ринулся за попом. Объяснился с трудом, задыхаясь, чтобы не дыхнуть ненароком на попа. Тот перекрестил, переложив портфель из руки в руку, эту коробочку и опять пошел. А положить-то, положить куда, в могилу? или рассыпать?.. «Туда и положите...» — лениво сказал поп. — «Куда туда?» — «В гроб!» — рявкнул он на ходу.

А гроб уже выносили к автобусу. Монахов успел подсунуть...

И тут он увидел Путилина. «Вот и я», — сказал он, улыбаясь мягкой продрогшей улыбкой. И выдержав непонимающий, неузнающий взгляд Монахова, добавил: «Я тебе обещал помочь». Монахов этого не помнил. Путилин был зябкий, синий, отсыревший, словно стоял тут давно. «Что же ты внутрь не вошел?..» — отчужденно спросил Монахов. «Не хотел мешать...» — почти-точно сказал Путилин. «Слушай!.. — сказал Монахов и сглотнул. — Это правда?» «Что, что ты...» — испуган-

но, даже чуть отступив, спросил Путилин. «Это правда, что Ася умерла?»

Кто-то что-то где-то перепутал... Дождь хлестал, туман не рассеивался, и еще, сквозь него, тухлым желтком проступало солнце. Неба не было. Бога не было. Черта не было. Земли не было. Желтая сопливая глина разъезжалась под ногами. Упираясь, под углом, как бурлаки в лямке, они толкали вперед тяжкую, сваренную из труб, диаметром приближающихся к фановым, тележку с Асиным гробом. Колесики у тележки не крутились и оставляли по глине плоский салазочный след. «Сука!» — процедил Монахов, имея в виду того синего, еле стоявшего на ногах у ворот черта, который выдал ему эту вагонетку в обмен на покойницкое удостоверение. Покойницкое удостоверение напоминало формой, цветом и размером бывший в пору Монахова ученический билет. «Зачем удостоверение?» — осведомился прозленный Монахов. «А чтобы вы тележку назад прикатили», — доброжелательно объяснил черт. «Суки!» — повторял Монахов. Гроб катался по трубам и сползал. Монахов видел сбоку запачканные до колен ноги друга и преисполнялся к нему благодарным чувством: «Трогательный мужик Путилин!.. Что же у него все-таки с ней было?..» Кладбищу не было конца. В кулаке Монахова была зажата бумажка, размером с трамвайный билет, на ней было написано: «Участок 72», а они проползали сейчас 34-й. «На половине передохнем», — решил Монахов. Встали. Монахов оглянулся: теперь и назад кладбище простиралось до горизонта. Оно было видно все насквозь, потому что деревца были посажены лишь в первых рядах могил и еще ничего не способны были заслонить. Да и вряд ли тут что-либо могло прижиться — тут и трава не росла. Они перекурили; теперь и здесь это никому не казалось кошунственным. Монахов перевернул билетик, там было написано: «Лаврик». «Бригадир, как ты думаешь?» — сказал он Путилину. «Пожалуй», — согласился Путилин. «Вот и кладбище Хованское, — отметил он. — Ховать, значит. (Пут-ит-ин, вспомнил Монахов.) И бригадир — Лаврик...» «И душу, уготованную в рай, перепутав, отправили в ад, да еще и вместе с провожающими... — добавил Монахов. — Кто святой, кто грешник, кто живой, кто мертвый — какая и м разница?» Так пошутив, они тронулись дальше. Ботинки были насквозь. Ноги скользили сначала в ботинке, а потом уже ботинки — по глине... Однокашники

вспомнили школу: трение качения и трение скольжения... Путилин казался Монахову очень близким человеком, братом. «Слушай... я давно хотел тебя спросить...» — «Да?» — «Да нет, это я так, пустое...» Путилин, помолчав, согласился: «Пустое».

Они дошли наконец до предела. Кончились кресты, кончилась и гряда свежих холмиков. Впереди, фронтом, зияли пустые могилы. И — рылись. Готовые, полуготовые, только что начатые. Могильщики по двое торчали из могил, кто по шею, кто по пояс, кто по колено — на всех стадиях цикла. Впереди простирался бескрайний пустырь — будущее этого кладбища. В одну сторону он до горизонта был усыпан ржавыми консервными банками с примесью ветоши и бумаг, иногда взлетающих и садившихся, как своего рода птицы. Впрочем, точнее, свалка тянулась не до самого горизонта: по горизонту она была оторочена капустным полем, — но сизо-серый налет дня на всем и сокращенная моросью видимость совершенно почти уравнивала капусту с консервными банками; во всяком случае, впечатление, что банки эти посеяны и произрастают в этом аду, как раз и выводилось из предполагаемого наличия капусты на самом горизонте. Тележки здесь, в конце тропы, столпились в очередь. Перед ними уже трое ждали могилы. «Это надолго», — согласился Путилин. Дождавшись, первые, голосили в последний раз над покойником, то ли от горя, то ли от облегчения. Могильщики трудились, как каторжные, их голые тела лоснились. Там и сям на кучах земли валялись свежеспустошенные бутылки. Могильщики были пьяны и работали с таким остервенением, будто собирались уже не уходить отсюда, а тут и сгореть, на переднем крае. Особенно один могильщик все отвлекал взгляд Монахова. Юноша, пухлявый и трезвый, еврейский мальчик студенческого вида, он явно не справлялся с бригадным темпом, и его от природы красная еще детская щека уже синела от явной сердечной недостаточности, в глазах его ныла непроживаемая тоска именно этой минуты, куда глубже национальной, тысячелетней. Что его сюда загнало, при явной его домашности и без тени какого бы то ни было падепия? Идея какого и на что заработка?.. Куда?.. Он отставал в производительности и гладкой кожей ощущал презрение бригады, когда через несколько бросков вновь и вновь замирал отдышаться. Лопаты остальных мелькали безостановочно. «Возможно, он не вылезает из

могилы, пока они курят и пьют, потому что к тому же не курит и не пьет...» — вяло подумал Монахов. На мальчика было больно и неприятно смотреть, но он притягивал взгляд. Здесь стоял последний знак равенства, над этой глиной. Могильщики, мертвые и провожающие, и бухой оркестр, игравший над телом отсыревший гимн, и капуста и банки, и воздух и вода, — все это уже по нимало друг друга, не имея никакого отношения к себе. И над всем этим расплюснутым, даже вогнутым пространством, как памятник, возвышался человек-люцифер-зверь-красавец-пахан-бог, и он-то и был безусловно ЛАВРИК. Бог смерти Лаврик стоял на двух кучах земли, широко расставив ноги в офицерских сапогах, на недоступной ни для умерших, ни для смертных высоте, чуть подрагивая неподвижным коленом и неподвижной ухмылкой, чуть поглядывая на истово закопавшихся подчиненных и отсыревших, сбившихся, как бараны, подопечных. И впрямь, провожающие в конце пути, казалось, сами собирались сойти в могилы. Лаврик был высок, строен, элегантно, по-урочьи тощ, и он был без рук. Эта идея, что над землекопами властвует безрукий, прямо-таки пронзила мозг Монахова. Это — так! «А водку, интересно, ему подносят ко рту?» На плечи, чтобы скрыть увечье, легко, как-то даже грациозно, как бурка, был накинут ватник. И — лицо! Лицо его было красиво, с правильными калеными тонкими чертами, а из-под легко сдвинутой на лоб кепки, насмешливо и безнадежно, смотрели поразительной синевы глаза. Так что, поймав их взгляд, Монахов даже на небо посмотрел: неужто прояснело? Небо было необратимо серо. Лаврик знал, что — все, что — конец, и это ни удручало, ни вдохновляло, ни забавляло его. Никогда не случалось Монахову видеть человека с такой печатью. Ни смирение, ни отчаяние, ни истерика, ни поза, ни скорбь — жизнь, прожитая в непрерывной власти и кончающаяся во власти, которую уже никто не свергнет. На нарах или еще где привык он к ней? В глазах его дотлевающего лица жил незамутненный ум, который все видел и все знал, никогда не размышляя. Он оценил внимание Монахова; легко соскочив, скорее слетев, как птица, оказался перед ним. Кивнул на гроб: «Ваш?» Монахов усвоил и кивнул напереди стоящих: «Нельзя ли побыстрее?» — «Вы где хотите, чтобы ваша бабушка лежала?» — «Здесь не все ли равно?» Монахов выразительно обвел взглядом окружившую их мерзость



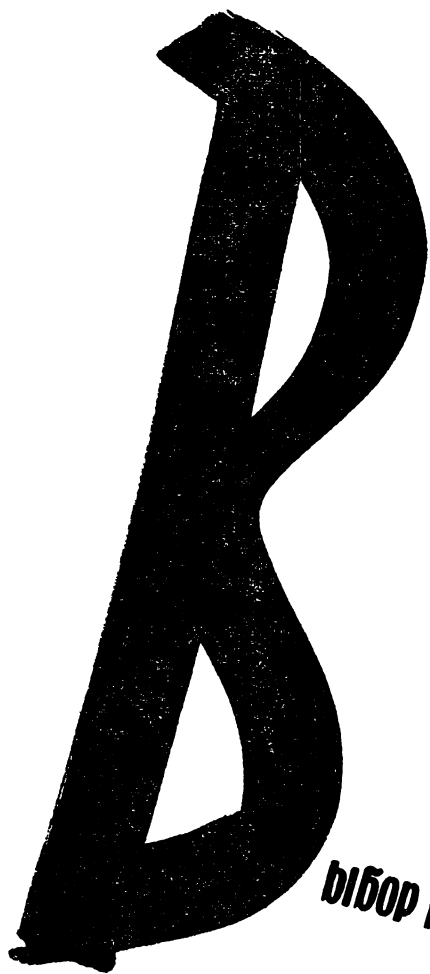
запустения. «Не все равно», — со знанием сказал царь тьмы. «Тогда где лучше», — сказал Монахов. Еле заметным движением своих роскошных, девичьих ресниц Лаврик указал на нагрудный карман. Монахов понял. И как только его рука пошла назад, оставив нечто над сердцем Лаврика, — так он, как ангел, пренебрегая гравитацией, взлетел на прямых ногах на те же две кучи — лишь чуть привзмахнул руками ватник — и там стоял со сложенными крыльями. «Быстро! все на эту могилу! могилу бабушке — мигом!» — сказал он негромко и резко, и не было дистанции между приказом и исполнением. Только тот юноша грустно не поспел за приказом... И впрямь не прошло минуты. «Прощайтесь», — сказал Лаврик. И в этом справедливом и заслужившем себя мире Лаврик показался Монахову более на месте, чем тот поп... Открыли крышку; от адской тряски по глине бабушка сбилась набок, отпущение грехов вывалилось из рук, но зато в них хорошо удержалась коробочка с отчей землей. Монахова даже передернуло: ему казалось, он отчетливо помнил, что в руки ей се не клал. «Боже! — взвыл он. — Если ты здесь! Будьте все прокляты!» И это «все», вполне вмещающее и его самого, было так отчетливо! Как мы хороним... ни земли, ни смерти... Так потрясла его эта коробочка... Будто бабка знала, что не будет более земли, как в этой коробочке!.. И ведь внесла, последнее, что сделала, внесла единственную живую щепоть на эту глину...

Застучал молоток. Гроб завели, подвели полотенцами... И тут вдруг у Лаврика выросли руки — это было изумительно! ловким ласковым движением выдернул он полотенец. И даже «Мир праху» сказал, и «Земля пуком», и «Спи спокойно».

Спокойная, здоровая, живая ненависть кипела в душе Монахова. Он видел зло. Он не ведал сомнения. Он понимал, что за свои грехи он вполне готов ответить. Но — вот этого — не простит никогда. Вчерашняя идиллия мертвецов, похожих на свои памятники, разъярила его. То, к чему мы идем, не было ни перспективой, ни угрозой. То, к чему мы пришли, было фактом.

Я кончился, а ты жива...

«Умерла...» — подумал он.



**выбор природы**

**Грузинский альбом**

Я сехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.

*Лермонтов*

## ФЕНОМЕН НОРМЫ

Пытаясь доказать, что что-то является чем-то, ты теряешь это всецело.

Сюжет обладает той особенностью, что должен оказаться исчерпанным. Вступив в него, другим лабиринтом не выйдешь. Стоит сделать что-либо один раз, как ты уже приобрел опыт; стоит приобрести опыт, как он тут же окажется неупотребимым, зато тебя призовут если не в специалисты, то в свидетели: «Иванов умер на ваших глазах? Так вот Сидорову нехорошо». В этом смысле специализироваться — это подчиниться первому случаю: стоит сказать «раз», потребуете считать до трех.

Стоит решиться — само пойдет в руки...

Стоило однажды восхититься новым грузинским кино, стоило попытаться разобраться в истоках такого успеха, хотя бы на одном примере, — как стало слишком мало, как почти все осталось за бортом... Пришлось начать снова, чтобы проверить и убедиться, что ты был прав.

Повод удостовериться представился мне внезапно и сам собою... Я воспользовался заманчивым предложением отправиться в Грузию «выбирать натуру». Нет более счастливого времени в «съёмочном периоде», чем выбор натуры! Волнения запуска в производство — позади, горечь поражения впереди. Ты пользуешься правами человека, от которого всего можно ожидать. Впереди — одни перспективы, как вид, разворачивающийся из окна «газика». Лобовое стекло — кадр. (На каком замечательном фоне разворачивается иной кинофарс — память о том, с каким высоким чувством было начато...)

«Ты увидишь Грузию такую, как она у меня здесь!» — постучит друг себе в грудь, соблазняя меня

поехать. Значит, он предлагает заглянуть ему в сердце — это уж слишком... Уговорил, уговорил.

Изволь, я еду.

Оправдывать случайность этих замет можно не только тем, что они были утрачены (впрочем, вместе с чемоданом...), не только тем, что они к тому же еще и не написаны, но и тем, что они не могли быть написаны. Вот эти воспоминания...

...Я был готов расстаться с жизнью. Причина уже не была мне важна. Невыносимость ее была еще жизнью, и тогда я был не готов. Теперь и невыносимости не стало. Ничто не казалось мне. Из всех тридцати трех, исключив разве младенчество, — время просыпалось у меня меж пальцев, и вот что осталось на ладони... Песчинки эти молчали. Я пытался расковырять эти сгустки молчания — полагал это задачей. Возможно, такой поединок даже правился мне, и именно своей обреченностью. Из всех функций слова меня увлекало — проникновение. Я полагал, что возможно и не вернуться. Я возвращался из этих тесни. Ободренным, но не вошедшим. Ибо сильнее страха смерти (его, мне казалось, у меня уже не было), сильнее жажды истины (она, мне казалось, у меня была) оказывался во мне страх замолчать. Нет, вовсе я не хотел постигнуть! Я не хотел умирать.

В Грузии я писал о России, в России — о Грузии... Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьяненные весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове. Времена года и места действия и описания складывались и перепутывались в моем мозгу, упраздняя реальность... Костромская деревня Голузино или подмосковное Голицыно — почему в них должны были накатывать на меня тбилисские видения, чтобы, оказавшись наконец в Тбилиси, писать о ленинградском зоопарке? Не знаю. Но по той же причине в легендарной Вардзии я мечтал о птицах Куршской косы...

Империя путешественника — другая планета. Разное солнце освещает метрополию и провинцию. Двойное солнце слепило меня и отсюда, и отсюда; я отбрасывал две тени. И когда я смаргивал наконец-то эту слепоту и тлен, то — подчинялся. Счастье соответствия владело

мною секунду, пока я, отрешась, предавался чужому чувству родины. Лазутчик и захватчик! Я хотел импортировать домой то, что у них оставалось: принадлежность себе. Не тут-то было! только оттуда мог я увидеть свой дом, только оттуда — в нем себя ощутить. Дома я начинал тосковать по утрате этого чувства. Воистину, только в России можно ощутить ностальгию, не покидая ее. Великое преимущество!

Захватив, я оказывался пойман. Эта традиционно русская способность проникаться чужим существованием (Пушкин, Лермонтов, Толстой...) — оказывалась российской, оборачивалась... Какому воинскому подразделению можно приравнять «Кавказского пленника» или «Хаджи-Мурата»? Существенна безупречность художественной формы — не выбиться из-под образца... Трудно заявить, что они написали плохо. Написать — можно. О чем бы мы ни писали... Но силу духа не займешь у соседа: дух наливается силой лишь на своей, путь сколь угодно бедной, почве.

Я не хотел постигнуть. Я хотел — отторгнуть. Любое добавление к славе (в том числе и мое), любое (сколь угодно заслуженное!) признание со стороны — есть предвестье конца, есть захват и присвоение. Почему-то за любовью признано неоспоримое право. Между тем следует спросить того, кого любишь: нужно ли ему это, безответное, льстит ли... Права любимого не учтены. Он — жертва нашей страсти.

Но — не надо и преувеличивать. Нас не спрашивают. Нас не спрашивают даже родители. И акушеры в каком-то смысле приближают человека к смерти, что и есть норма жизни. Нормальный ее абсурд.

Слово «норма» произнесено. Я обопрусь на него, чтобы суметь сказать о норме. О той прекрасной, желанной, долгожданной, как вода и воздух. Раз уж их не хватает, воздуха и воды.

Помнится, в детстве было это нормальным словечком, почти жаргонным, почти от бедности словаря и недоразвитости, — но почему-то именно это словечко: «нормальный парень», «нормальное кино», — с восклицательным знаком, как превосходная степень. «Норма» была окружена «не нормой» более разнообразно: «псих какой-то ненормальный, недоразвитый...» или «вранье, глупости», — короче: «Да ну его!» Общеизвестно, что дети, как и собаки, ненормальностей не любят: уродов, пьяных, фальшивых... — тут они категоричны и строги.

У них обостренное чувство нормы. Лишенное гуманизма.

Позже «хлебной нормы», в менее голодное время, смысл «нормы» как ходового словечка стал более снизводительным: нормальное — в смысле неплохое, но и ничего особенного. Еще позже, ближе к нам, — даже пренебрежительное: в смысле «всего лишь», в смысле «и только». Будто сами-то мы стали безусловно выше нормы, мы ее превзошли и привыкли обращать свой взор лишь на что-то из ряда вон...

Так развивалось это слово, по крайней мере вокруг меня, вместе со мной. Пока не наступил день совсем уж сегодняшний, когда в слове «норма», как мне кажется, снова забрезжила возможность почти прежней, детской его жизни.

Все как будто стремишься куда-то. Все стремишься, стремишься, все куда-то и куда-то. Вперед и вверх. Вдруг запыхаешься, то ли устанешь, то ли состаришься, бегучи: глядь — а стоит ли что-нибудь по назначению и удобно? Стоит. И вроде бы не стоит: как-то криво, кое-как, на бегу, недорисовано, недоделано, даже недоброшено рисовать или делать...

Вот вам образ: валяется какая-то прекрасная капитель без колонны — словно уже создаются развалины Колизея и Парфенона, непосредственно, минуя назначение. Заманчивая экономия на сокращении технологического процесса, и — сразу результат: ни-че-го. Дальше — больше: макаронная фабрика выпустит случайно спички, карамельная — папироски... Присядь, пожалуйста, на секунду, закури, подумай: пока ты бежишь так стремительно, что слово «норма» для тебя — что-то уже ниже «нашей» (моей-твоей) нормы (слово теперь — «уровень», вместо «нормы»: нечто неуловимо передовое, все время фронтально убегающее, чего еще догнать и достичь... категория — вместо реальности), — пока мы мчимся вот так, много ли после нас останется?

Как бы так... чтобы на стуле можно было сидеть, в окно смотреть, в поезде — ехать, хлеб — жевать, воду — пить и воздухом — дышать, слово — произносить... Чтобы предметам соответствовали свои имена и назначения, и при этом они не переставали ими быть как место для свидания, смотровая щель, транспортное средство, пищевой продукт, парк культуры и зона отдыха... Общественные нормы.

Но как же поразился я однажды, расслышав в гуле суесты своей и музыку Моцарта, что наконец-то, выступая в роли ценителя, я всем доволен, ее слушаю. Что как-то давно я не был всем доволен. Не то чтобы ничего хорошего не слышал... Но все было как-то то с одной стороны, то с другой — полноты никакой не было. А вот тут — была. И не потому, что она была в каком-нибудь одном отношении лучше всех, эта музыка. Как все время что-нибудь да лучше чего-нибудь, прогрессируя на бегу. А потому, что она была в с я, что в ней в с е было, что в ней все было п р а в и л ь н о, в с е соответствовало, все было н о р м а л ь н о. В ней не было ни односторонности, ни ошибки. Это была б о ж е с т в е н н а я н о р м а. Та же самая, что и в природе, — Н о р м а т в о р е н и я.

«Не дай мне бог сойти с ума...» Где нормальность в этом мире — совершенно неясно. В идеале — это, по-видимому, полное соответствие, причастность к нам лично. Потому что если что-то способно нам соответствовать, то это доказательство прежде всего нашей нормы. Тут-то и обнаруживается, насколько мы-то сами в этом не уверены — в собственной норме, — не знаем, где она. Держимся из последних сил, сохраняем вид. Я не говорю о тех, кто столь в себе уверен, что жизнь — для них. Я не говорю о тупой норме, о нормальности бесчувствия — я хочу сказать о той норме чувствования, о высшей, трепетной норме, тонком балансе, остановке в полете, когда радость жизни еще не утеряна и в то же время ты способен потерять ее в любой момент, но продолжаешь жить и жить в этом неустойчивом и подвижном равновесии, — о той форме чувствования, при которой разве что не сходишь с ума, — о счастье.

---

## ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АГАРЦИНЕ

(в ожидании зедазени)

За Пушкинским перевалом, где библейский пейзаж Армении начинает уступать теплomu и влажному дыханию Грузии и все так плавно и стремительно становится другим: линии гор, кроны деревьев, плодородие полей, цвет трав, шорох речек, — мы свернули с шоссе в глубь

подступившей зелени<sup>1</sup>. По более тесной дороге мы некоторое время ехали вверх по ущельицу, все глубже во влажный сумрак леса. Справа, обнажив острые желто-зеленые слои, нависала скала, слева, круто вниз, спадал толстый лиственный лес, на дне которого брнчал серебристый, как рыба, поток. Листва была почти уже не зеленая — такая густая. Запах, шедший со дна ущелья — воды, скал и листвы, — веселил душу. С трудом пробивавшийся сквозь нависшие кроны солнечный луч дрожал на дороге...

Перед небольшим мостиком над сухим притоком машина стала. Мост был наполовину разобран. Мы вышли. Приток раздвинул лес, и, переходя мост, сквозь отсутствие настила можно было увидеть глубину нашего ущельица. Там, над ржавым остовом погибшего автомобиля, кипела белая вода.

Дорога еще сузилась, превращаясь в тропу, и все круче шла вправо и вверх. Некоторое время мы поднимались гуськом в этом зеленом крутом коридоре. Деревья утрачивали свою пышность (сказывалась высота), становились кустами, отворяли небо над головой, перемещались скалою и уступали скале.

Над нами уже было только небо, но перспектива почему-то не ширилась, а сужалась, ограниченная крепостной линией скалы, на которую вела нас тропа, и небо торчало клочком. Хотелось скорее одолеть этот подъем и заглянуть за скалу. Какое-то приятное легкомыслие и непринужденность нашей экскурсии, будто ползти в гору нам было необязательно и не тяжело, свежесть живой и наконец зеленой, не раскаленной природы радовали мое северное сердце, легко дышалось, и чувствовал я себя словно на гравюре — в плаще и широко-

---

<sup>1</sup> Я, конечно, вспоминал Пушкина (и когда ехал, и когда писал), но без того... Но, стилизуя, специально в Пушкина не заглядывал, но освежал... Каково же было мое удивление, когда я столкнулся с подзабытым текстом!..

«Я стал подниматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. (...) Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мной расстились злчные зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неопианным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился, климат был уже другой» («Путешествие в Арзрум»).

Все так — но ровно наоборот. Как негатив и позитив. У него, надо полагать, позитив...



полой шляпе с высокой альпийской тростью, будто был я моложе самого себя на целый век.

Вот таким «широкополым» взобрался я наконец по крутизне и очутился на взгорбке, с которого и открывалась передо мной, с некоторой внезапностью, цель нашей экскурсии. Это был монастырь. Он встал передо мной на дороге так навстречу, как человек из-за поворота.

Маленький, скромный, уютный — ничего величественного и давящего. Он казался жилым. И если он перегородил мне дорогу с внезапностью живого существа, будто это было его, а не наше любопытство, то существо это было доброжелательно. В нем не было ничего такого особенного, ради чего стоило так забираться, но и разочаровываться не в чем. Я оглянулся, улыбаясь поспешавшим моим спутникам, но ничего, кроме них, внизу не увидел: скала, дорога, монастырская стена... даже вида не было в этом деревенском мирном месте.

Деревня тут и была. Монастырь, конечно, давно не действовал, и благодатная от здоровья и покоя семья сторожей развела здесь корову, теленка, овец, пчел, бабушку и детей. Чем-то теплым, молочным — парным — пахло от этих людей и их смущенных улыбок.

Мы осмотрели трапезную, которую нам продемонстрировали как бы с большей симпатией и особым благодушием: «Вот так они здесь и кушали...» — это было удивительно и понятно. Мы зажгли свою слабенькую свечечку в часовне и потоптались в пыльном сумраке небольшого храма, собравшего вокруг себя монастырские постройки, как насадка. Семейство сторожа стояло в стороне, немножко нас стесняясь. Все было здесь очень добросовестно, просто и так умиротворенно — волноваться было нечем и хотелось спать. Взбирались мы все-таки несколько долго по сравнению с тем, как быстро все предстало перед нами, оказалось осмотренным и — собственно, все. Потягиваясь и разминаясь, как после сна, вышли мы из храма и по узенькому проходу меж ним и часовенкой сделали еще несколько нехоженых последних шагов... Эта короткая улочка тут же кончилась и привела нас на небольшую полянку или площадку. Дуплистое раскидистое дерево занимало ее почти всю. Под ним была вкопана скамья и столик. Дерево заслоняло взор — хотелось заглянуть, что там, за площадочкой... Мы обошли дерево и...

О б о ж е ! М ы о к а з а л и с ь .

Другого глагола опять не найду. Мы оказались. Но нет, ничего сверхъестественного. Мы оказались там же, где уже прожили всю жизнь, где именно мы и никто за нас не жил. Мы оказались в том мире, где мы живем. Но он весь, весь был помещен к нам во взгляд, словно мы только что в этот мир прибыли, как с неба упали. Прилетели, были изгнаны... Будто это только что нас за руку привели, сказали: «Плодитесь и размножайтесь».

Смутившись, я уронил взгляд. Ковырнул камешек носком ботинка. Камешек покатился, увлекая за собою братца... Лишь следуя за ним, мог я постепенно снова поднимать взор. Мир вытекал из-под ног моих, как ручеек, ручей... Он ширился так стремительно, будто летел... Река — море — стихия...

Этот темно-сизый мир еще не был заселен. Ни крыши, ни дымка, насколько хватало взгляда. А его не хватало — так все было далеко и не кончалось. Я стоял в горловине воронки. Здесь было узко. Вплотную подступали створы ущелья, смыкаясь прямо за моей спиной. А дальше ширилось, просыпалось, потягивалось, оживало, жило, цвело, разрасталось, разворачивалось и лилось, как из рога изобилия. Как бы вся расширившаяся передо мною внизу долина по форме, по расширению и гнущести напоминала этот рог. Будто этот рог обронили на землю, и верхний свод его стал прозрачным, как небо. Я был засыпан на самое донышко рога, из-под меня просыпалось все то, чем изобиловал мой взгляд.

Земля была мягка, оплодотворена, спокойна. За голубым альпийским лугом вставали огромные синие ели; их раздвигал, разгонял, прижимаясь то слева, то справа, белый ручей-река, словно гнал вниз это еловое стадо: суровый лес начинал круглеть, кудрявиться, разливаясь в мягко волнующееся лиственное море, и глубокая сапфировая по цвету лохань долины, тихая и сплошная, лежала в самой глубине, а за нею вставали, так же медленно обретаясь, горы. И сердце сладко ухало вслед за взглядом, когда я плавно следил за проистеканием мира из моей точки и через безмысленное небо возвращался вспять, к себе. Себя я не мог видеть. И тогда с удивлением смотрел на свою руку, чтобы убедиться. Рука. Она еще не прикасалась к этому миру. Она ничего в нем не натворила. Она еще не знала работы. Рука, как младенец, шевелила пальчиками, пялясь на мир, который ей предстоял.

Словно это за руку меня сюда привели, подвели... Я глянул, охнул; а когда вспомнил и оглянулся — Его уже не было. И только моя пустая ладонь хранила еще прикосновение того, кто привел нас. Ладонь была пуста.

...Я видел в своей жизни несколько храмов, потрясших мое воображение. Воображение в том старинном смысле слова, которое еще не расходилось с реальностью, а символизировало скорость представления... Не фантазия, а именно — воображение. Образ представлял передо мной.

Это зрение всегда как бы ставило меня на место, то есть я утрачивал то, что приписывал себе в тщете. Не надолго этого хватало. Я не мог продлить состояния, когда уже не видел храма. Такой храм всегда находился на фоне, в природе, вписанный в нее и не заслоненный человеком и делами рук его. И я уже понимал, что выбор места для храма — едва ли не главная архитектурная мысль его. Как в бесконечности тайги вдруг встретишь серенький треугольник — триангуляционный пункт, то есть место топографической привязки, — так и храм, правильно, единственно там построенный, всегда казался мне чем-то вроде пункта привязки человека, только уже не на поверхности, а в мироздании, — напоминал человеку, где он, если поднять глаза от хлеба насущного, находится. Храмы бывали величественными и великими. Они подавляли или смущали, растворяли или возвышали душу, то указывая ей место под богом, то у бога. Строитель воплощался в своем творении так полно, как не удавалось ни одному мирскому архитектору. По-разному воздвигал строитель свой храм: бог и я, я и бог, только бог... Но ни разу еще не встречал я храма, настолько подчиненного идее растворения в творении. Такого отсутствия я еще не встречал. Как можно незаметнее, спокойнее, шепотом... уводил строитель свои линии от нашего взгляда и уводил наш взгляд, чтобы не храм мы увидели, нет — это пустое, человеческое дело, постройка, — а чтобы мы узрели, где он стоит, где мы живем, отражение лица бога в его собственном творении. Ибо что лучше отразило его?

Надо же было так именно обо мне позаботиться!.. Чтобы я долго шел вверх искусно подобранным путем, чтобы взгляд мой все укорачивался, успокаивался и все меньше видел, чтобы я достиг цели именно там, где перспектива сократилась окончательно, чтобы все постройки не раздражали и не восхитили мой глаз, а про-

должали заслонять мне даль, чтобы нигде, оглянувшись, не мог я увидеть более того, что только что видел, чтобы усыпить мое внимание и ожидание и подвести меня, как малого, за руку ровно туда, откуда... ровно тогда, когда.

Место человеку может указать (научить) только тот, кто сам знает свое место. Не было, не могло быть архитектурной идеи гениальней, чем передоверить возведение храма самому творцу...

Так я стоял, сжимая и разжимая ладонь, словно она была в смоле, и не мог постичь того, что было знакомо мне с первого вздоха, — мой мир.

Господи! вот он...

Нет, не в храме, вот здесь мог я рухнуть на колени. Я не сделал этого жеста, никому не демонстрировал... но я все равно был в этот момент на коленях — возвышенно-смиренный, униженно-благодарный.

Нету слов. Их — как не бывало.

Здесь надо было заново учиться языку, зародить его, разлепить с трудом губы, тем же исполненным бесстрашия усилием, каким осмелился распахнуть глаза, и произнести первое слово, одно, чтобы назвать то, что мы видим: м и р. И дальше по слогам, шажками букваря, держась за краешек страницы: э-то — мир. Он — весь. Это — все. Передо мной — все. Мир — это все. Передо мной отворился мир. Я застыл на пороге. Замер в дверях. Ворота в мир. Врата мира. Я стою на пороге. Это я стою. Это — я.

## ПОСЛЕДНИЙ МЕДВЕДЬ

8 апреля 1944 года Герой Советского Союза лейтенант Лапшин со своим стрелковым взводом внезапным ударом с двух сторон взял мост в зоопарке, уничтожив 30 и взяв в плен 195 гитлеровцев. Это решило исход боя за зоопарк.

*Надпись на памятнике  
в Калининградском зоопарке*

Я живу неведомо где. Иногда возвращаюсь домой. Дочка говорит, краснея, издалека: «Папа, а ты помнишь, в прошлый раз, когда ты приезжал, то сказал, что мы с тобой к у д а - т о пойдём?» Вот — какие слова она выговаривает громко, какие тихо — в этом весь

смысл. Мне тут же становится нехорошо от этого ее знания, от этого ее уже опыта, что опять не пойдём. А «куда-то...» (что шепотом), я помню, значит: в о Д в о р е ц. Дворец вообще.

И я, с тем погибшим достоинством человека, знавшего успех и потерявшего его, вдруг решительно встаю, говорю: «Идем». И едва ли это не более унижительно, чем снова сказать: «Потом». Говорю я «идем», ненави́дя себя, но она — верит. Впрочем, она много больше знает, чем принято допускать (для удобства взрослых) в отношении, так сказать, детей, так сказать, ее возраста. И это ей не ужас, мне — ужас, довольствуется моим согласием, по-видимому, ровно в том значении, какое и есть, — без «алых парусов».

Мы идем. Мы выходим, и тут обнаруживается денек. Такой внезапный, со вкусом другой, минующей тебя жизни, с раскаянием и недопустимостью вчерашнего, уже бывшего с тобою дня... С узкого нашего двора сняли крышку, мы улыбаемся небу, улыбаемся в себя, как мертвецы. Даже злые дворовые старухи как политые цветочки за вымытыми окошками. Кто-то, забыв об осторожности, внезапно здороваётся со мною, обрекая нас обоих необходимости здороваться и впредь.

Впрочем, пора уже миновать двор и приступить к делу.

Так выхожу я, застенчиво щурясь, с потной, покорной ладошкой в руке, не уверенный в том, что это я выхожу, что это мои шаги и дочь моя, а не заспят я заранее на всю ту кинолентку, что просмотрена мною еще за бесконечное время школьных уроков... Надо же день за днем познавать мир, чтобы дожить до такой нереальности! Погодка потягивается вокруг меня — только она и есть реальность — денек такой. Оставим индивидуальность пасмурным дням. «Разве бы я пил, если бы за трешку можно было заказать солнышко на полчаса», — как сказал однажды Эдик К., вечная память...

«Такая хорошая погода, — коварно говорю я, — давай мы во дворец в другой раз пойдём». Это уже не отчаяние, не обида, как дочка соглашается со мной, а смирение, знание жизни: все равно не пойдём. Она ещё не дожидается до погоды.

Мы идем не во дворец и не в цирк. Мы приходим в зоосад.

Сатана — в бороду, бес — в ребро. После вытравленных площадок до и после турникета, солдаты

и школьники — 10 копеек, фанерной феерии касс, щитов с планами и правилами, тележек мороженщиков и передвижных лабораторных установок ломоносовской эпохи для производства газированной воды естественно ожидать фанерных же зверьков с белым кружочком для попадания, где правый профиль дается рисовальщику труднее левого... Поэтому так неожидан первый зверь.

Допустим, слон. Но в него еще не веришь. Впрочем, в него вообще трудно поверить. Но — так. Слон и слон. Смотришь больше на прислужника, что сидит тут же: то ли следит, чтобы слону не давали совсем уж несъедобную дрянь, то ли просто для сравнения. Созерцать слоновьего служителя поучительно: он видит меж ног своего большого друга те самые башенные часы, стрелки которых неумолимо, но слишком медленно приближаются к маленькой...

Слон все понял, чтобы не сойти с ума, — слон служит так же, как и служитель. Вы проходите дальше, не вполне уместив его в своем сознании.

Вы попадаете в копытно-рогатое отделение: бесцветно-свалявшиеся неправдоподобия коров... Тут и северные олени, клетку которых вы минуете особенно быстро: почему-то именно этот олень — для вас не новость. Потом немножко гну и какая-нибудь лама. Так и не вылезший из темноты своей комнаты, скажем, зубр. Вы быстро оставите этот унылый хлев, почти не отметив в мозгу неожиданную неимпозантность оленей и косуль, так и не передвинув свое сознание в саванны и сельвы.

Тут будет лужа с чем-то жалким, приснившимся, но не ужасным — гиппопотамий бок. Будет плавать расплывшаяся булка — вы так и не дождетесь от него жизни.

Удивитесь тапиру, гладенькому, новенькому — синтетическому. Девочка скажет: «Сразу видно, американский...» Обыватель прочтет табличку беременной жене: «Промыслового значения не имеет... Ага, значит, только показательное...» Жена посмотрит невидящими, крутыми, как яйца, глазами — увидит свой живот, еще одно доказательство шарообразности земли. Что это за манера такая — непременно водить беременных жен в зоопарк? Не замечали?

Птиц слишком много, чтобы в них разобраться. Они какие-то черненькие, и, по виду, все питаются падалью. На самом вершугрифельное чучело. В этой связи вы

внимательно рассмотрите воробья. Это безусловно потрясающая птичка. Она — на свободе.

Воробей — царь зверей.

Обезьяны закрыты на ремонт... Отдельно показан шимпанзе. Он печален: ему предстоит человечество... Своим торможением он, в который раз, поражает нас, что он — человек. Поковыряет — посмотрит, почешет — посмотрит. Удивится рукам: ничего-то в них, оказываются, нет. Пусто. Отсутствие.

Вы сделаетесь безотчетно печальны, скучны. Фальшивое желание оживиться с помощью своего ребенка, взглянуть на все глазами картинок — останется тоже бесплодным. Они просто внимательны, дети. У них глаза на границе испуга. Причем испуга не перед страшностью зверя: какой же он, бедняга, страшный? в клетке? — а перед самой жизнью. Они, дети, — до, вы — после. Вы не сможете разделить трапезу их зрения. Затрапезность?..

Тут, опять надо прибавить, — солнце. Город так отвык от него, так давно обесцветился. Цвета здесь обозначаются только при сером свете. Как кожа слепого... Ничто не освещено: солнечный объем — сам по себе, втиснут между предметами, их не касаясь, не задевая, не прилипая к ним. Так и звери — без цвета или цвета хаки, земли и весны. Мусор фанеры, заборов и шкур. Свет застиг все врасплох, ничто не успело окраситься, растерялось, освещенное и ослепленное, и прикрыться нечем.

Голубой купол над свалкой.

Пока не попадете к хищникам. Только хищники имеют цвет. Только они, собственно, и звери. Во всяком случае, по зрительскому успеху — это именно так. Тут уже толпа, живость, разговор — непосредственность. Именно чрезвычайная непосредственность видна на лицах обывателей, как от несчастного случая или чужих похорон.

Пора от «вы» перейти к «я».

«МЕДВЕДЬ», — было написано на клетке. Значит, именно медведь это и был. Я встретил его взгляд.

И сразу будто все виденные мною здесь звери посмотрели на меня — это было достаточно странно: одно и то же существо может по-разному взглянуть на вас, но представить себе, что одним и тем же взглядом на вас, в разное время, посмотрят существа, столь многочисленные и отличные друг от друга, может означать лишь

одно: либо вы безумны, либо все они. Оловянное безумие полуденно стояло в глазах медведя. Не ужас и не ярость, не страх и не свирепость, не тоска — сумасшедшесть... Это был с ума сошедший медведь, и он ел и ел конфеты, прямо так, не разворачивая бумажек, равнодушный и к зрителям, и к себе, и к самим конфетам. Он скучно и безотказно ловил конфету, если она удобно подлетала к пасти, если же неудобно — не ловил. Тогда конфета стучалась об него, как об неживого, и падала... И так он сидел в кругу из конфет, и конфет было столько, что он давно уже так сидел, не переступая.

Это ровное, без каких бы то ни было мерцаний, безумие, стоявшее в его глазах, могло бы показаться просто слепотой, если бы он не успевал вовремя отворять пасть конфете, то есть оно слепотой не было. Можно было бы предположить образ некой вековой зубной боли, боли от рождения, боли как единственно известного состояния мира, боли непереносимой, если бы хоть раз, хоть одну минуту за всю жизнь ее не было, и переносимой оттого, что она была всегда; боли такого постоянства и интенсивности, что на нее, в самое дупло ее, равнодушно кладется конфета за конфетой, как веточка в костер. Если не слепой, то немой мог бы быть этот медведь. И тогда взгляд его был бы воем немого; но, в этом случае, он не ловил бы конфет, он понимал бы боль, если бы выл... то есть оно (безумие) немотой не было тоже.

Но все эти предположения, имеющие лишь тот приблизительный смысл, чтобы хоть как-то определить, ограничить кругом сравнений (пока еще слишком большого и непостоянного радиуса) новое для меня понятие *б е з у м и я*, причем именно э т о г о безумия, — все эти предположения сходств раздражающе неточны. В центре этого корявого и слишком большого круга сравнений — его взгляд по-прежнему горит тускло и ровно, не имея отношения к моим попыткам определить его.

Так вот, сначала медведь, а потом и все те звери, мимо которых я пробежал небрежно, разом взглянули на меня тем же невидящим, безумным взглядом. (Разве один какой-то козел посмотрел на меня с тем живым лукавством шизофреника, который все понял про мир и продолжает понимать, глядя на вас, то есть он, единственный, был знаком мне по роду сумасшествия.) И можно было бы, по загодя заготовленному руслу, подумать, что они сошли с ума от несвободы, от жизни в зоопарке, от тюрьмы, — но нет. Если это и было, то



что-то тут было еще. И это еще было главное, страшнее и новее для человека.

С какой же внезапностью и тоской вдруг осознал я, что медведя того передо мной уже нет, больше чем нет — его не может быть. Если современный человек не приписывал бы себе, не присваивал до такой степени все, что даже суждение, высказанное о каком-либо предмете внешнего мира, характеризует нам уже ни в коем случае не этот предмет, а говорящего об этом предмете человека, то знаменитый анекдот о некоем персонаже, увидевшем бегемота и сказавшем: «Не может быть!» — был бы наконец не о нем, а о бегемоте.

Бегемота, уж точно, не может быть.

Нет, я не жалел зверя в клетке, а чуть ли не благословлял зоопарк, что в нем еще есть тот медведь, которого уже нет: иначе как бы я узнал об этом? Это был чудом уцелевший медведь, последний медведь, как последними были и все остальные звери; казалось, он сам не верил, что он еще есть. Я опять описываю круг приближений к центру его безумия и не становлюсь ближе. Однако я убежден, что во взгляде его было именно это безумие — оставшегося последним. Дело, может быть, было уже в том, что медведь сдался жить дальше; причем сдался не этот именно (персонально) медведь — в нем сдался медведь вообще, в нем не осталось жизненной энергии быть медведем. И действительно, если среди звериных инстинктов, разошедшихся еще, по сравнению с человеком, с логикой Творения и Творца, не потерялось точное чувство наступающей смерти, когда зверь прячется, уползает и т. д., то почему ему не ощущать смерть и более глобально: вида, рода, самой жизни? Звери Ноева ковчега имели больше шансов выжить среди ужаса стихий, чем эти — в абсолютной безопасности зоосада, какая существует у смертников от приговора до исполнения. Тут уже не осталось чистых и нечистых — все они последние, голубые, в дымке прощания.

Захотелось побежать назад, к слону, чтобы успеть посмотреть на всех этими вот, вдруг открывшимися глазами, заглянуть им в их последние родные глаза, ощущая виноватость и братство, братство всего живого на земле перед лицом гибели. И почему бы действительно не обнять ту же гну, как сестру, не сказать: я нашелся, твой без вести пропавший в прогрессе брат! вот он я, еще живой и тебя не забывший...

Если кто-нибудь скажет, что я забыл в этом рассказе про дочь, то нет — я поднимал ее перед каждой клеткой, где ей было плохо видно. Она переживала все сильно, то есть молча, и не мешала мне пережить то, что я сейчас, такое немое, попытался как-то передать. Но — вот еще в чем дело — она переживала другое, а что — наверняка не могу сказать. Во всяком случае, эти же звери, которые для меня, в силу вдруг открывшейся мне печати их последности, становились среди фанеры, лотков, заборов и клеток чем-то сливающимся по своей условности, как жестяные, неровные их собратья из тира, — то для нее (дочки) эти же звери если и были неправдоподобны, то как раз своей реальностью и жизнью. И когда я, увидев неподалеку от карусели жалкого вытертого пони, которого уж совсем было не отличить от карусельной лошадки из папье-маше, сказал дочке, с сомнением, как бы извиняясь за пони, что он такой: «Хочешь на пони?» — она вдруг так глубоко и старательно кивнула, так покраснела от страсти, что я понял, что живой мир еще существует всерьез.

Не странно ли, что мы все больше производим книжек со сказками и картинками про зайцев, волков и лисиц, все больше надуваем рыбок, оленей и медвежат из резины, пластика и ваты... И дети наши уже живут в мире, где зверей-игрушек в тысячи раз больше, чем зверей-зверей. Игрушки эти уже не предмет первого знакомства и познания того, с чем проводить жизнь, они — предмет мифологии. И недалек тот день, когда сказочность басенного зверя — зайчика, волка, медведя — перерастет аллегорию и приобретет масштабность небывальщины: драконов и грифонов. И это так. Объективно говоря, зайчика ничуть не проще сделать, чем грифона, если его уже нет, зайчика... И жутковата мысль, что все наши игрушки и сказки — лишь пережиток другой, ушедшей от нас эпохи, когда добрые старые девы воспитания полагали, что, через такие вот игры и забавы, происходит в детской душе первый посев любви к ближнему.

## ГОРОД

Вот — город! Он большой и маленький. В этом едва ли не главная его прелесть. С одной стороны, все у него есть, что у города-спрута: и миллион жителей, и метро-

политен, и траффик, и индустриальная окраина, и климат, как ни странно, для такой обетованной страны не самый лучший, с некоторой воздушной злокачественностью; с другой — ничего этого нет. Вы сворачиваете...

И за углом этот город напоминает дерево, гнездо, улей, виноградник, этажерку, стену, увитую плющом. Он напоминает один разросшийся этажами, флигельками, надстройками и галереями дом, как каждый его дом — по-своему город. Каждая веточка его неокончена в том же смысле, как и живая ветвь, которая имеет почку, которая — растет. Вы не можете быть уверены, что в доме этом не прибавится еще балкончик, или еще лесенка, или еще чердак у чердака: то ли вы вчера его не заметили, то ли его надстроят завтра. И если вы кликнули со двора приятеля и он вам ответил «Иду!», то еще три раза он исчезнет и мелькнет, оказываясь то слева, то справа, то на лесенке, то еще на каком балкончике, прежде чем ему удастся спуститься вниз, стать перед вами и пожать вашу руку, скорее всего подозревая, что вам от него ничего не надо. А если два литра белого вина заменят вам ночное зрение, то как же вы заблудитесь на этих ветвях, понимая, что вам надо было подниматься не по той лесенке, а по обвивающей ее, как лоза, но в другое окно приводящей. Ах, пардон, колба-тоно, я не к вам. Пардон, пардон, вы мне снитесь: эти лесенки не обрываются, запутывая ваши марши, — они просто ведут не к вам.

Вот, как бы из-под дома, пробивая асфальт, раздвигающая камни, за высокой и узкой решеткой возрос сад на площади в один человеческий след... потянулся вверх своим могучим, не способным устоять стволом; дотянулся до карниза, уцепился, пошел в стороны; затащил стену, затащил окна, балкончик затащил; усики его повторили завитки балконной решетки; он увидел балкон, женщину, вышедшую на балкон полить свой цветок, обвил носик наклоненного в ее руке чайника; удержал в своих изгибах и поворотах время, как в сетях, — оно запуталось, остановилось, застряло; и девятнадцатый век, и дома в нем, и люди в домах, комнаты впотьмах, и те, кто там тихо бродит в прохладе и не высовывается... И уже не виноград разросся по стене дома, не виноград цепляется за эти обреченные стены, а стены повисли на мощном его вырождении и держатся лишь тем, что когда-то его поддерживали, памятью тех, кто в них

жил когда-то, содержа в хрупкой своей скорлупе образ той любви, что называется родиной.

Вода пролилась за цветочек, водопадиком, тоненькой струйкой, пересекла улицу — из-за угла вышли три беспечных господина: один высокий, с узкой головой, в усах и кепочке; другой — в ватнике, похожий на Пушкина; третий — грач в пиджаке... — несколько не удивились на то, что я не такой, как они, прошли сквозь меня; их неровная, чуть веселая песня еще долго спускалась, петляя, вниз и казалась уже совсем иссякнущей, как вдруг, благодаря новому повороту улицы, опять меня достигала.

Окликнуть их разве, остановить? Потому что если они еще пройдут с полкилометра, то вдруг вывалятся на асфальтированную улицу с лампами дневного света, ослепнут, попадут под троллейбус, мало ли чего...

А может, сами свернут вовремя, сам собою подойдет им под ноги своими коварными ступеньками духан, вдохнет в себя и снова не выдохнет. Потому что откуда же появились вот сейчас мне навстречу, откуда же выползли на свет, как не из вчерашнего дня, проспав свой век? Положительно, они не дойдут до улицы имени великого поэта, не будут они долго торговаться и выбирать и удовольствуются тем, что предоставит им в двух шагах с л у ч а й.

Вы всегда успеете свернуть ровно накануне такого впечатления, которое уже могло бы и подавить вас своей убедительностью или последовательностью. Вряд ли еще где-нибудь можно найти такие уютные переходы для обветшалой или изношенной психики, как в этом городе. В нем вы не сойдете с ума, в него поместится и ваше сумасшествие. В этом городе еще сохранилось место для городского сумасшедшего, всеобщего любимца и баловня.

Этот огромный город бесконечно сбудется для вас. Он будет сбываться, как пожелание, как сон, — за каждым поворотцем. Вы всегда окажетесь в пространстве малом и уютном, чтобы обернуться и увидеть даль и гору. И этот постоянный выход в новое, чуть в то же время прежнее, пространство успокоит, утешит, умиротворит.

Город повиснет на левом отвесном берегу мыльной широкой реки действительно как гнездо: балки и балкончики будут торчать за край, как прутья гнезда. Он плавно и вечно поползет вверх по правому пологому бе-

регу, обвивая ближние склоны, как виноград, и какие-то листья будут крупнеть, темнеть, грубеть, какие-то желтеть, краснеть, какие-то свежо зеленеть, и весь этот коврик будет — город. А сверху он предстанет как этажерка, как один разросшийся спичечный коробок: полочки, терраски, лесенки, галерейки будто соединят дом с домом, — все это скрепит то ли общее дерево, которое, растя в одном дворе, нависает над другим, то ли общий виноград, перекинувшийся с балкона одного дома на балкон другого... Все разрослось, запуталось, срослось — все это живо.

Вы бредете по нему, ничего не предполагая, как в лесу. Однообразие и постоянное изменение, неоткровенность закона — дерево. И это неутомительное однообразие, незаметное разнообразие — этот живой ритм — город начинает совпадать с вашим дыханием, пульсом, шепотком крови. Но даже если сумеете что-нибудь еще пожелать от жизни (как от избытка любви можно хотеть любви еще и внутри взаимности), то и блажь может сбыться в этом городе, тут же, за поворотом...

Мы свернули с улочки, на которую нам как бы не удалось попасть... Как пояснить?.. Мой приятель хотел мне показать живопись одного художника, и я стоял, рассматривая домик за решеткой, садик, заросший какими-то лопухами, с сухой неровной чашкой недействующего фонтана, погруженной в траву... Я так стоял и переминался, пока мой друг пропадал внутри, договариваясь о визите. Но вот он вышел наконец, сокрушаясь: вдова художника оказалась больна и не могла нас принять. Подобного рода неудачи вдохновляют меня — мы свернули с улочки, на которой не побывали, и попали на еще более удивительную и небывалую. Она уходила из-под ног влево и вверх, как взмах, именно как жестом руки наведенная. Бульжник, травка между камнями; домик с лесенкой посередине на второй этаж; человек, несущий связку веников... все здесь было устроено, как в чистой душе праведный отдых... Вот только доска с названием улицы показалась мне как бы лишней. Такая, с современным вкусом, литая доска с пояснительным текстом. Буквы были хотя и грузинские, но даты — мои. «Вот только эта доска и лишняя, — сказал приятелю восхищенно, — сними ее — и времени не прошло». И тут же вышел мрачный и небритый человек, оставив толстую жену в окне, с выражением на лице как

после крика, примерился и — содрал доску гвоздодером, скрылся в доме с нею под мышкой. Жена что-то кричала нам в спину. Приятель мой смеялся: «Вот видишь...» — «Неужели?!» — сказал я. «Ей надоело, что все в ее окна заглядывают...» — ответил он.

Такой город. Таким он вырос, таким он был до сих пор. Все ли в нем благополучно насчет коммунальных удобств? Достаточно ли теплых туалетов и горячей воды? Безопасен ли он в противопожарном, так сказать, отношении? Нет, нет, тыщу раз нет. Его необходимо снести весь до основания, а затем... Другого выхода из него нет.

Если вы хотите и сейчас видеть город таким, каким он был всегда, то теперь это возможно только из трех точек...

Хорошо поселиться в центральной высотной гостинице, которую слишком видно отовсюду, — зато с ее высокого этажа замечательно ее не видно: город разбрелся вокруг гостиницы, как коза по лужку — на длину веревки. Отовсюду вы увидите этот кол, лишь только выйдете из гостиницы и обернетесь.

Так же хорошо смотреть на город сверху, поднявшись на гору, где стоит дюралевая тевтонская мать с мечом. Вы увидите этот длинный, просыпавшийся изпод вас город в синеватом табачном дымке. Отсюда, столь уж сверху, даже высотная гостиница не покажется такой уж большой. От переизбытка чувств вы задерете голову и увидите над собой клепаные ноздри алюминиевой женщины; как раз над нею прочертит небо Ту-104, ее брат, равный ей по росту.

Хорошо было бы проверить и еще одну точку, хоть сам я этого не успел. Надо перейти на левый высокий берег, подняться на утес к монастырю, повисшему над рекой, встать возле недавно воздвигнутой под ним лошади, на которой, с мечом же, простирает руку очередной, еще более древний, чем прежде, основатель города, и глянуть вниз на место, где наконец-то снесли злокачественные трущобы, где будет сквер и пионерский бассейн. Это будет вид на город, в котором поместится все, кроме лошади, — я такого не видел. Я бродил, там, внизу, по снесенному курятнику, по свалке кирпича, тряпья и консервных банок, отшвыривая носком своего ботинка другой стоптанный ботинок, бродил, как выразились бы археологи, по современному культурному слою и слушал рассказ о том, какие тут еще недавно

уживались языки, ремесла и народы, в этом местном вавилончике. Какой здесь был небывалый и ни с чем не сравнимый водоворот языка — филологический цветок, клубок наречий, неповторимый, невозстановимый. Диалект жив, пока на нем говорят. На нем говорят, пока есть с кем, пока — вместе. Теперь этого языка уже нет, он расселен с удобствами. Странно было представлять себе это: сносимый бульдозерами пласт человеческой речи, соскобленный языковой слой. Я не поднимался на уровень лошади, зато ее я хорошо видел: спотыкаясь на этой свалке, где город будет и саду цвести, оглядываясь, я все видел занесенным над собой ее победное копыто. Эта кобыла уникальна по архитектурному тщеславию: для того чтобы она соседствовала с украшением, господствовавшим веками над городом, потребовалось «подровнять» (подорвать) утес, на котором стоял монастырь, потому что места для лошади на отвесной линии не было. Но тот, кто, столь на зависть скульптору, выбрал именно это место, видел именно эту линию утеса и из нее вырастил вверх свое сооружение, как прививают культурную ветвь к дичку. И она прижилась. Вот этой-то суммарной линии монастыря и утеса вы больше никогда не увидите: там стоит лошадь, причем стоит нарочито на луче взгляда, так, что всегда постарается заслонить храм своим тяжким крупом от вашего взгляда снизу вверх.

В эту цельную глыбу города, в это живое тело вогнало три точных клина, как в старинной рабьей каменоломне. Трещины эти ширятся по ночам. Скоро уже, скоро город развалится на три части, треснет на дольки, а каждую дольку уже не трудно будет быстро раздробить мелкими клинышками.

Все это благоразумно и целесообразно, хотя иногда и, как кобыла, неэкономно. Но что-то неразумно ноет в душе: дайте дожить! Живое же... пусть живет. Скоро, скоро умрет само.

Есть в этом городе, есть и в людях вот что: он живет, а не выживает, они как бы не упорны. Выжить можно лишь в новом качестве, а прежнее качество — это ваша душа, а другой у вас нет. Верность обрекается на умирание, измена — на жизнь. И раз люди иначе жить не могут — они исчезнут, они не выстоят внутри поменявшихся значений, ибо не захотят их поменять. Может показаться: по лености, по нежизнестойкости. Но какая же это стойкость: вымереть таким, каким ты рожден!

Они кичатся перед соседями, трагически распыленными по миру, по всюду выживающими, что у них нет эмиграции, что они нигде больше жить не могут. Они нигде жить не могут, но и здесь их становится все меньше. Ибо то, что не захочет себе изменить, вымрет. Поголовубеет кровь, и не свернется, и вытечет по капле из легких царапинок, почти случайно нанесенных...

Кто мне объяснит, куда подевались все этажерки? Какому объяснению я поверю?.. Если даже от блокады у нас в доме уцелела бамбуковая этажерка, по-видимому, потому, что всем было очевидно, что тепла она даст, вспыхнув и тут же прогорев, не больше, чем спичка... если она даже блокаду пережила, то куда потом подевался ее бесплотный желтый скелетик, оставив во мне на всю жизнь свое поскрипывание и шаткость, когда я вытирал с нее порученную мне пыль?.. Кому однажды надоело эту пыль вытирать, кто не вытерпел, что на нее нечего положить, и что же все-таки клали на этажерки в то этажерочное время? И если никого не удивляла необходимость вытирать с нее пыль в течение десятков лет, то на какое утро вдруг это стало так раздражать? В какой миг мы сообразили, что если бы ее всю жизнь не вытирать да перемножить время вытирания на число тряпок, то получится сервант? Куда мы так заспешили, что стали, чертыхаясь на бегу, зацеплять карманами за ее нелепые полочки и палочки? Когда будильники наши нервно затикали, отменив мерный ход почти неподвижного маятника, не торопившего стрелки? Когда я заменил визиты на письма, письма на открытки, открытки на телефонные звонки, а телефон отключил? И почему сейчас я с умилением вспоминаю эту глупую этажерку, когда даже мне очевидно, что этажерка на самом деле необычайно неудобная, нелепая, пикчемная вещь, не только утратившая, но и не имевшая назначения?.. Что за слезы на свалке?! Не унывай, не стоит.

Так мне скажут...

Выживет — живое, слабое — отомрет. Что за странная страсть к обреченному? Будто если что-нибудь хорошо, то обречено, а все, что обречено, — хорошо. Это не так. Не стоит. Нечего.

А — жаль.

Здесь можно жить, здесь живете не вы. Здесь приживется даже злой, угрюмо, никому не делая зла. Здесь — оседают.



...Как будто вы уже жили однажды... Такое мирное и любовное узнавание во всем, словно вам еще раз и ненадолго разрешили посетить... И вы пришли на службу, на которой служили когда-то, переложили официальную бумажку с места на место, сдули пыль со стола, позвали кого-нибудь к телефону: «Одну минуточку...» День прошел. Домой... Встретили приятеля старого, он вас вспомнил, обнял, трепетно похлопал по крылу, вам по пути... выпили стаканчик-другой, еще кое-кем из друзей обросли, еще куда-то пошли, где именно всех вас вместе «очень ждали»... а вдруг рассыпались куда-то друзья, осыпались, как листья, и вы один — по вздымающейся улочке, по искрящимся камням, по которым уже не цокают копыта и фэзтон не катит навстречу — последняя искра остыла единственной звездой. Ветер повеет то теплом из застоявшегося переулка, то свежестью холмов. Еще за угол — и ваш дом... В руках у вас огромный бумажный кулек, как букет роз, в нем пряники, и макароны, и два граната сверху, — нельзя пустым прийти в дом... но кто же знал, что вы домой вернетесь: ни сеточки, ни кошелочки, ни той авоськи, которые расходятся отсюда по всей необъятной стране, у вас опять не оказалось. Неудобно как-то мужчине — с кошелкой... Ступеньки на вашей лесенке какие-то громкие, дырявые... Да не лай ты, господи! Совсем старый дурак стал, не узнаешь, родной... я же домой пришел... Одно и светится окно — твое... Жена теребит свою старушечью косу... Посмотрит с нежным неудовольствием — то ли ты уже десять лет дома не был, то ли опять, как вчера, домой не вернулся... Господи, эта женщина — женщина и есть: она так полагает, что ты ее муж, не надо ее расстраивать, она хорошая, наверное, женщина, думает, что она твоя жена, так считает, пусть считает... она думает, что ты живой... ну, глупая, конечно... зачем ужинать? тебе ничего не надо, там, откуда ты вернулся, ничего не едят, уже покушал, спасибо... а теперь, обняв тюфяк, будто на крышу идешь спать, на звезду будто хочешь посмотреть, тихо-тихо уходи потихоньку навсегда, пока жена посапывает, и дочь посапывает, и сын выкрутил лампочку под одеялом... тихо-тихо, опрокидывая тазы и фикусы и путаясь в зарослях белья, через балкончик, по пожарной лестнице, туда, на чердак, где коричневый лук висит в коричневом окошке, отменяя живопись... уходишь вверх навсегда, пока не придется тебе завтра тащить сюда же неведомо откуда

образовавшийся некрасивый рассыпающийся кулек, прижимая его к растущему, однако, животу...

Вы уходите навсегда, вы всегда возвращаетесь.

Вы сворачиваете. Ах, девятнадцатый век был еще так недавно! В нем можно было случайно застрять и осесть. То есть я хотел сказать, что в этом городе хочется осесть. Но тут же вы понимаете, что это невозможно. Потому что не девятнадцатый век. То есть город — это так, да не про вас.

Как странно понимать, что это чье-то, не ваше дело... А вы-то так почувствовали, так полюбили, так поняли! А это — зависть.

Вы так бескорыстно, так всем сердцем восхищены, что на вас начинают смотреть косо, подозревать в задней мысли. А какая — задняя, когда она впереди и вы гоните ее перед собой, боясь отстать. Ах, эта интернациональная пошлость — чувство стыда за дом родной...

Но ни в одной-то мысли вы себе не признаетесь, ни в одной... Вы так сумеете восхититься и полюбить все чужое, что не покажетесь себе захватчиком. Вы же не требуете такой же любви к своей родине, какую источаете к чужой, и подлинность этого восхищения будет, по вашему мнению, искуплением более чем достаточным, потому что вы уже не отвечаете ни за род, ни за отечество, вы в нем не виноваты. Именно за это вы кажетесь себе достойным ответной любви. Тиражированный агент Империи выступает как мирносец, совершенно не чувствуя себя хозяином; он все приемлет по незадумчивости, по праву. Про него знают, что он собирает подать, — он один в скромном неведении на этот счет. Он позволяет хозяевам, как бы стесняясь и только чтобы не нарушить обычай и их не обидеть, произнести за себя тост и заплатить за стол.

Выплюньте кусок невинного барашка, отрыгните лишние годы от коньяка, скажите, кто вы такой, в конце концов, нарушьте неправильно понятый вами обычай — пусть вас побьют... Отойдите от гостеприимного стола, размазывая несправедливые слезы по своему лицу, как чужие... Вы сворачиваете.

Вы сворачиваете, переплатив втрое за разбавленное пиво и отравленные вокзальные манты, вы совершенно один, девушки на вас не смотрят, бритва перестала брать щетину, обувь трет, и кислая резь в животе. Вы сворачиваете.

И вы счастливы... Улица поблескивает перовным булыжником, вздымается вверх и вправо, и, сквозь теплый черный воздух, загорается в конце этой улицы одна звезда.

Там кончается город, верхние погашены этажи его — горы, утром они первые зарозовеют.

Как светло в этих потемках!

Что за незадумчивая власть врожденного образа... Будто человек, родившись, раз и навсегда отпечатал первое впечатление на младенческой сетчатке, оттого именно такой потом выткет ковер, именно так построит дом, именно такую выкует решетку, именно такой получит кладбищенский крест. Эта цельность натянута в вашей душе и поет, как струна: вы слышите родную песню, и слова ее — это вы.

## ГЛУХАЯ УЛИЦА

Одним из признаков, характерных для многих самовоспроизводящихся систем, которые мы называем живыми организмами, следует считать конечность жизни отдельной особи. Эта «естественная смерть» живых единиц, которые в течение определенного времени служат звеньями непрерывной цепи, идущей от истоков жизни, для большинства видов не имеет большого значения, так как место погибших особей быстро занимают другие.

*Бернард Стрелер.*

*Время, клетки и старение*

## МУЖИК

Я иду в магазин, на почту и просто так... Не забыть купить масло, стиральный порошок, не забыть позвонить в город редактору, а если его нет, то... забыть купить шоколадку дочке и забыть опустить в ящик тещино письмо (я все еще потрагиваю его в кармане, чтобы не забыть, но потом выну руку из кармана); не забыть бы обдумать по дороге за маслом статью, чрезвычайно насыщную, о состоянии современной критики, чтобы, вернувшись, сразу сесть за нее и завтра отослать в Москву, где ее (нет у них других дел жизни!) страстно почему-то ждут (я не отправлю ее и сейчас, спустя месяц, за что буду очень ругать себя, вместо того чтобы

похвалить и поддержать в себе еще не до конца вымершую точность и принадлежность жизни).

Так я иду и что запомню, а что забуду из действительно подступивших ко мне дел. Я не забуду и забуду про масло, гвозди, молоко, стиральный порошок, керосин, про один звонок по телефону, два визита и три прощания... но я наверняка забуду о том, что вокруг меня происходит жизнь с погодой, прохожими и облаками, что сам мчусь в этом потоке, подсвеченном солнцем во имя моих глаз, что мне будет когда-нибудь «мучительно больно за бесцельно прожитую» именно эту секунду, — потому что, забуду или не забуду я ту или иную завитушку своего долга (кем предъявленного?), я все равно занят н е з а б ы в а н и е м, а не настоящим мгновением, которое тем временем неотвратно прошло мимо, и это уже не восстановишь — навсегда.

Мозг мой — насыщенный раствор. Яды и соли памяти проточили в нем ноздреватые ходы, туда с легкой видимостью уходит трепетная влага жизни, поверхность коры — дырчата и суха. Но я еще жив, у меня еще шевелится хоть пальчик на ноге, свободный от некроза, и на нем еще болит мозоль. И, раз я еще жив, я не могу пройти совсем уж мимо жизни. Нет, нет! она коснется меня. Пусть не прильнет, не обнимет; но так, в своей живой задумчивости, где нет еще язвы сформулированной мысли, она, не заметив меня, как девушка, направляющаяся на свидание не со мной, а с другим, счастливым, красивым и прочным, в автобусном проходе заденет тебя краем своего облака здоровья и отмытой молодости. И хотя я уже не прямой родственник жизни, и я попадаю иногда, безмянный, на ее именины, и мне находится приставное местечко с периферийной закуской. Так что не всегда прохожу я мимо жизни, неся в руках неудобный, в постыдной рвущейся газетной обертке пакет из каких-то поручений, похожих на невыкинутые крышки из-под майонеза, и долгов, напоминающих нестираные носки и неопубликованные рукописи, и хотя я не выкидываю этот пакетик с двумя фото на паспорт, несколькими пуговицами, пробками и дореформенными копейками и множеством мотков бумажной бечевки, там еще и гвоздик один есть... там еще, сверху, телефончик, забыл чей, записан... но газета треплется и рвется, а мне тридцать три без недели года, не доехать до дому и не забыть его никак, не потерять ни дом, ни пакет... что-то все больше сыплется из него.

И вот, когда просыпнется еще разок, я вдруг испытаю, за ужасом потери, — расслабление свободы; и тогда вижу уголок рта, край воды, клбчок неба; а там сразу цветущее поле, и никто не заметил, что ты туда (не туда) пошел, не окликнул, не окликнет... вот тогда, на свободное место в пакетике, на место всего лишь гвоздика, кривого и ржавого, или высохшей пробки — вот на это место — лес, утес, птица... Все-таки нельзя пройти мимо жизни, поднять на нее пенароком глаза и не забыть сразу хоть что-нибудь! Да будет благословенно все то, чего я не совершил, пропустил, обронил, потерял, отпустил, простил и простился. Да будет благословенна моя лень. Да будет проклята жадность, что ничего не выбросил, не отшвырнул, не отпихнул, а все ждал этой милости случая потерять что-либо.

Так и вваливаюсь я в это повествование, раскрасневшийся, потный, в руках у меня сверток, я его прижимаю, к животу, в шею мне втыкается проволока от шампанской пробки (почему-то именно она проделала верхнюю дырочку), к штанинам моим пристали фантики и чуждое конфетти, счастливые трамвайные и лотерейные билеты, беспроигрышные магазинные чеки по 2.87 каждый для ровного счета, а вот билет на американскую «Порги и Бесс», что давали на пятнадцать лет назад новый Новый год, и гардеробный померок в часовом кармане, без стрелок точно показывающий не то день, не то год, не то час, когда все это было... в руке держу несколько экзаменационных билетов по ботанике, конституции и взрывному делу; лифт не работает, ноги горят, сердце бухает в пакет; еще умудряюсь достать из заднего кармана ржавую связку ключей от давно исчезнувших замков, чтобы открыть ими окно в летящем с моста автобусе... Вот в таком виде встречаю я любовь мою, и, как назло, не на что положить пакет, чтобы броситься к ней на шею, к тому же положить его нельзя, даже если бы было на что, потому что я еще удерживаю его и он сразу развернется у любимой на глазах, что стало бы уж совсем некрасиво. Да и как бросишься на шею, если перед тем аккуратно отложишь в сторону сверток? Нечестно. На опустевшей лестничной площадке я бросаюсь на колени, передо мной сверток, свежая царापина от шампанского кровоточит на шее, и я бью земные поклоны помойному ведру... А хотел я сказать то, что если жизнь и заходит по недоразумению в мою клетку, то это значит, что я обеспамятел

еще на какой-то отрезок прошлой жизни, ибо, как в насыщенном растворе, добавление соли, даже при постоянном помешивании, ведет к выпадению в осадок такого же количества соли, тут же выкристаллизовавшейся.

И вот такое переальное существо бредет, как призрак, среди реальных кустов и трав, где щебечут реальные птички и ползают реальные букашки, чтобы купить в сельпо масло и стиральный порошок, но оно, собственно, не делает и этого, не только потому, что скрепки и кнопки поручений не дают ему возможности поозираться и оказаться во внезапной для него, но всегда продолжающейся без него, реальности, но и потому, что и масло, и — что там?.. — мыло тоже не являются реальностью для него: наоборот, это что-то чужое и грубое, отторгаемое его душой и тоже не осознаваемое как реальность. В таком разрыве реальности, в самом разрыве, где справа и слева окажутся края его: ворсинки и лохматые ниточки, — в этой мертвой зоне бредет тень моего существа, переходит гнилой ручеек, что подымается в гору, и оказывается в таком светлом коридоре из заборчиков и берез, в конце которого, уже меж соснами, голубеет провал... мыло и масло выскальзывают из головы его, и я вдруг ощущаю острую боль счастья: небо опрокидывается на меня, редкой голубизны и светлости — давно не было такого денька! — зашелестели листья, закричал ребенок, ласточка чиркнула под ногами, и на палец села божья коровка...

Божья коровка улетела в небо, с неба упало три яблока: мне, тебе и рассказчику... Голубой провал открылся меж двух бесконечных сосен — там было озеро. Меня выплеснуло из этого узкого и напряженного коридора озарения, и я расплылся на берегу. Расслабленный, припоминал я потускневшие слова: вынутые по случайности, поодиночке, они ничего уже не значили, они высохали и серели, как камушки из моря... Да и как уловить эту тоненькую, рвущуюся ниточку поэтического кайфа и не унизить предмет, который, надо сказать, прекрасно обходится и без тебя?

Я сидел на берегу своего озера. Это было именно мое озеро, не лучше других, виданных и невиданных мною, потому что именно оно возникает всегда перед моим мысленным взором при слове «озеро», озеро вообще. С лодками, черными, полузатонувшими и легкими, цветными, чуть качавшимися передо мной, как поплавки удочек. С песчаным обрывом справа, над которым,

пришивая его к лесу, мелькал меж сосен, стежком, железнодорожный состав, и болотным ковром слева, с словым мысом, который обычно уподобляют медведю на водопое, и холмами, там, вдали, на том берегу, где на самом верху, на небесном уже фоне, стоит, не отличимая и слитная в деревьях, роща, похожая на разрушенный замок. Впереди плавал островок с редкими кривыми сосенками, к нему вплотную подходил тот болотный ковер, и на нем, все более сливаясь в сплошной белый цвет, светились декадентскими фонариками какие-то особые болотные цветки-коробочки. Солнце падало в болото, все более пунцовея, и вода, серенькая у ног, чуть впереди уже вспыхивала перламутром, потом лиловела, потом золотела, алела и синела, а там, совсем вдали, у противоположного берега (где «замок»), вдруг — чернела. Взгляду было не на чем остановиться — это была невесомость взгляда — он устанавливал такую прямую и ненапряженную связь, что — где ты, где озеро, где, тем более, дом, где вообще все, чего здесь нет, не было.

Где бы мне и смотреть на него и не быть собою и быть этим озером хотя бы столько, сколько позволял закат?

Надо же столько гнаться и преследовать замысел, чтобы он тебя догнал?..

Вот что, наверно, думал я на берегу:

«Я никогда не думал о смерти (не боялся?), но не есть ли это ежесекундное страдание от желания и неспособности слиться с реальностью, существующей лишь в настоящем времени, — мое активное (врожденное?) желание небытия?? Я бы мог быть счастлив (не зная) и в своей нереальности, гамаке между прошлым и будущим, если бы принял эту нереальность как свою. В конце концов, я всегда был такой и никогда не пребывал сознательно в своем «программно-желанно-реальном» смысле — так на кой мне окружающий мир? Но если любовь и счастье — это, в опыте, только те мгновения, когда меня не бывало: не было — младенчество, не было — не помню, не было — акт, не было — смерть, — то, значит, прежде всего именно желание исчезнуть владело мною всю мою «сознательную жизнь».

А где же мужик? Мужик где?

Все это время он идет ко мне по берегу озера.

Он идет ко мне уже очень давно, и вот сегодня про-  
снулся, похмелился и потом выпил, поскольку праздник  
сегодня, День Победы, а он воевал-воевал, до Берлина  
дошел (до Берлина — это отклонение, конечно, от мар-  
шрута, но — строго продуманное, чтобы поспеть именно  
сегодня, в тот момент, когда я буду сидеть у озера и по-  
думаю о том, что...).

И тут уже можно поставить точную дату: проходит,  
вот прошла помянутая неделя, и мне исполняется, вот  
и стукнуло... тридцать три года. Гвозди ноют в новень-  
ких набойках, и, в этот памятный для Христа день,  
я занят приблизительным вознесением из кудрявого  
и цветущего то ли Дилижана, то ли Боржомы к своему  
озеру, навстречу мужику-апостолу, в мой студенистый  
край... Я переносу себя, упирающегося и нарочито-тя-  
желого, на тот берег и вдавливаю новенькие набойки  
в плотный сырой песок. Ясно вижу себя со стороны,  
растерянного и трусливого, стоящим на берегу в краю  
непуганых тем и ухмыляюсь злорадно. Но — поздно.  
Будто в копченом и мятом котелке (в данном случае со-  
ответствующем утренней форме головы) на чадающем  
фитильке начинает разогреваться некая вчерашняя  
смесь из выдохшегося пива, кофейной гущи, растаяв-  
ших окурков, любит-нелюбит лепестков, и восходящий  
ток выбрасывает на поверхность то окурков, то плевков —  
и опять на дно, по кругу. Творческое кипение. Иди же  
сюда, мужичок... я тебя здесь вы... пишу.

Он приближается ко мне справа. Выходит не то из  
кочегарки, не то насосной станции, что у железной до-  
роги, щурится на свет, уверенно покачивается в добро-  
совестном, положительном опьянении, видит меня...  
А я, стало быть, сочиняю автобиографию три года назад.  
Как же уловить мне тоненькую, рвущуюся ниточку по-  
этического кайфа, и без того придавленного осмыслени-  
ем и формулой, огрубленную пьянством судорожного  
бытия?

Ну да, это он. Он клал мне печку прошлой осенью.  
Такую же старательную, кривоватую и честную. Ниче-  
го, горит... Я ему тогда вдруг понравился ни с того ни  
с сего. То ли от нежелания писать (сегодняшнего),  
слишком охотно приготавливал раствор и подавал кирпи-



чи, что от меня совсем не требовалось, то ли разговор у нас получился: о том, как можно и выпить, но надо знать сколько, и вот он никогда, чтобы с ним что-нибудь такое, хотя, конечно, бывает, но все в свою очередь и меру, или о том, что надо было тогда, в сорок пятом, не останавливаться в Берлине, а дойти до Америки, и теперь бы у нас никаких таких конфликтов, как теперь, никак бы не было, или о евреях — осторожный, с ощупью, разговор... Так или иначе, но туповатое лукавство, лукавствующая тупость — весь этот мужицкий прищур много раз обманутого человека однажды исчез, и с пятерки, данной ему на водку сверх договора, сдал он мне два рубля: на пол-литра возьму, больше не возьму. С тех пор нужен я ему бывал для разговору, когда выходил он со своего двора, вставал посреди Глухой нашей улицы и так стоял, уверенно покачиваясь, как на палубе, но всегда сохраняя равновесие и никак не оступаясь, и смотрел в вечеряющую улицу, где уже в сумрак сплеталась коса тропинок. Так стоял он, терпеливо ожидая, с извечной тоской общения в глазах... а прохожих никого не было. Ты мне вот что скажи, Андрей, по батюшке, кажется, Егорович, правильно? вот что ты мне, Андрей Григорьевич, скажи... Я улыбаюсь, тоскуя от собственной неискренности, склоняю как бы ласково голову к плечу, выслушиваю. Отвечаю старательно, подбираю слова, и тогда: ты вот учился, институт кончал, вот мне не пришлось... выслушает, пожует, вдруг — точно — именно обида зальет ему глаза, крикнет он, оторвет в раскачку каждую ногу в отдельности от земли и пойдет, не оглядываясь: обидел ты меня, Андрейч, почему отказался, у меня еще полмаленькой стоит, — пойдет допить, а там, поди, крикнет и еще раза два махнет рукой с досады...

Вот он идет ко мне и опять надрывает меня по линии отрыва, как листок с календаря... Только что шел я за мылом, погруженный в суетливый список небытия, вдруг озарение снизошло, слился с миром и настоящим временем на секунду, тут же вырвало меня из жизни снова в небытие, но как бы во вдохновенное, поэтическое, и опять, на тебе... какого черта идет ко мне этот мужик?!

Девятое мая сегодня, День Победы, вот что он говорит, а я до самого Берлина, трижды ранен и контужен, двадцать лет прошло, почему не выпить, нельзя не выпить, про него никто ничего, безусловно, не скажет,

чтобы он или что-нибудь такое... Он шел ко мне, стало быть, от рейхстага, ать-два, двадцать-ать лет и ровно так подгадал, чтобы я сидел вот здесь у озера и думал в эту секунду, что...

Я окончательно об этом забуду, когда он подойдет. Соседи пластинку заведут, звуки вращения, сматывая пейзаж в серый, сумеречный клубок...

— Ты чего тут... — скажет он мне ласково. — Стоишь...

— Думаю, — скажу я грубо, и с тех пор уже ни одна одинокая мысль не посетит мою голову, и такое примечательное чувство разойдется по мне горячими волнами стыда — я занзивняюсь тут же, завру. — Понимаешь... шел... закат... подумал... озеро... жаль... земля... небо... птицы... куда там...

И так, примазываясь к честности его опьянения, не глядя в глаза, выражающие радугу вина, перламутровый закат разума в глади вечеряющих глаз: расплывчатость и пристальность, лукавство и виноватость, преданность и хамоватость, самодовольство и желание угодить, уважительность и сильное сомнение в моих, своих, твоих, в их словах... подбирал я в себе народные мысли, чтобы навсегда в них усомниться и уценить.

— Нет, ничего уже нет! — восклицал я, чуть не плача от неискренности, погрязая в апофеозе и пафосе. Именно так однажды взглянул мне в глаза один медведь в зоопарке!.. Пощадили бы хоть видимость...

Мужик уперся в меня взглядом и подналег.

Как бы так... Пьяный катил по дороге тележное колесо, чтобы не пропадало; такая полезная, почти целая вещь, которая всегда при случае, мало ли что бывает вдруг, обязательно пригодится, на память о лошади, которой не может быть. Колесо имело неправильную форму круга и неправильно катило за собой пьяненького, рывком дергая его вперед и удирая от него; переваливаясь, раскачивало его ровно в противоположные стороны; ему налево — мне направо, — подло приостанавливалось боднуть и резво упрыгивало снова вперед — ах! — опять валилось набок. Тут уж чувство, владевшее, начинало перерастать: это же черт знает что! — когда такая удачная мысль, выгодная и благородная, чтобы и польза была: и выпил, и колесо, — вдруг так обернулась? «Ну, так я тебя!» — подумал он, перегоняя колесо и с трудом притормаживая как раз для того, чтобы оно, в этот раз, ни с того ни с сего встрепенувшись, на него наехало.

«Однако и ты... — сказал он, расчетливо расставляя ноги, приседая и надежно ухватываясь. — Р-раз!» Но оно оказалось подозрительно легким, как детский обруч, или, может быть, сильным, как пружина: может, это не он его, а оно его так ловко через себя перекинуло... «Однако врешь! — (Выразительно подкрадываясь с другого боку.) — Дудки, я протрезвею или тебя брошу!» — на этот раз имея в виду жену, на которую натолкнется искренность его намерений, когда колесо со вздохом вкатится наконец во двор, толкнувшись о крыльцо, а он а не оценит, дав захлебнуться всей той сердечности и ласке, что задохнулась в его груди... Он, она, оно — графический образ переваливающегося колеса. Ононаоно — наивное племя, пережившее цивилизацию. Ритуальный танец колеса усилий, живота смерти, слова с человеком... И пока шествие в непристойной пляске удалялось по дороге, ничего не стыдясь, кружа и меняясь местами, гоня перед собою свой общий взаимный образ...

...Мужик, взглядывая на меня буграми лба, нагибался внутри себя, на дно живота своего, уцеплялся за запасенное впрок, дождавшееся случая тяжелое одно слово, приподнимал его за край, с упреком взглянув на задохшее в канаве колесо...

— Что точно, — сказал он. — Если человек переведет всего зверя, то ведь без зверя он все равно не сможет. Он ведь так от природы создан, вместе со зверем: чтобы и зверь был, и человек... То придется ему, раз зверя уже не будет, достать его из себя. Чтобы опять поровну было.

— Да, да! — восторженно подтвердил я. Мир еще был прекрасен, он еще бы л, если припасал мне, неблагодарному и изменившему, опять подарок! Кто это прервал мои мысли? Какие, к черту, мысли! Из них состоял сам воздух, вода и лес — они нас, по случайности, выбирали...

Мы стояли на берегу, сросшись головами, как телята, двухголовое семя радиации и профсоюза; его химия перетекала мне в голову, моя мысль перетекала ему; мы покачивались на бережку, на стебельке иссохшей пуповины, по которой вдруг побежал слабенький ток земли.

— Спасибо тебе, господи! — вознес я. — Каждый из нас двоих еще не один на земле!

— Так ты и в бога веришь? — сомневаясь и лстя, сказал мне мужик.

— Как же в него не верить, когда вот...— сказал я, обводя рукой щедрость оставшегося нам мира, как бы погладив предмет нашей общей мысли, нашего ребеночка, родившего нас...

— Я вряд ли верю,— сказал он.— Я в природу верю. Если бы Он над ней был — как бы допустил ее гибель? Ни один хозяин такого себе не позволит.

И он прав — и отказаться нельзя... Говорю:

— Вера не есть единомыслие с богом, вера есть несомнение в нем никогда, в любом случае...

— Тогда, значит, уже страшный суд идет, так, потвоему?

— Ну да!— подхватил я, обрадовавшись логике.— Дожили.

— А мне своего сынишку жаль,— сказал он.— Это ты как рассудишь? Если я его люблю и мне его жаль, тогда вот как? Тоже, я тебе скажу, не получается... Ты вот да я, может, и заслужили, а мальчонка — чем виноват? Опять неровно...

— Вот ты про зверя правильно сказал,— говорил я, выпутываясь,— так же и дети... Мы же де т е й в них убьем, себя в н и х вырастим.

— Ага,— сказал он.— А пока он такой, махонький, как быть?

— Пока он такой, еще конца быть не может,— заявил я ему уверенно.

— Тогда правильно,— подтвердил он.

— Вот как ты сказал,— все более приблизительно говорил я, довольствуясь его согласием,— когда зверя не будет, то человек его из себя, чтобы поровну, извлечет. Так, значит, его-то, человека, сразу станет вдвое меньше. А потом, когда дети подрастут, совсем мало останется. Так, постепенно, на нет и сойдем.

— Тогда правильно,— согласно кивал мужик моею головою,— если сначала вдвое меньше, потом вчетверо...

Так мы стояли, обнявшись, на последнем берегу, способные к арифметике и удовлетворенные этой своей способностью.

— Человек — всегда меньшинство,— глубоко сказал он, достав последнее словечко с самого дна и споткнулся.— Нас — вдвое, пошли во мне к кочегарку...

Кочегарок мыл баленьким человечком...

Мы сидели в кочегарке, которая была скорее насосной станцией. Она стояла на берегу озера, под насыпью, над нами проходили поезда. Здесь было уютно. Помещение было настолько глухим и изолированным, что надо было бы помнить, где оно помещено: под насыпью, между озером и густым зеленым водоемом, вроде воронки от бомбы, из которого, впрочем, трудно было бы предположить, что берут воду... Когда проходил поезд и чуть превышал ровное техническое гудение и дрожь помещения, можно было вообразить за стеной море, себя — на берегу, оттого еще, пожалуй, что здесь было очень тепло. Я забывал, где я, и когда вспоминал, то проходил какую-то стадию предвоспоминания, что будто бы я ночью посреди большой воды на барже или что-то в этом роде, изолированное и безвольное, как маленькая волна или воздушный шар.

Вокруг помещалась именно та техника, которую, в отличие от лайнеров, реакторов и лазеров-мазеров, именно и можно обозначить словом «техника», по-детски. Мохнатились в углах толстые трубы; кудрявились большие, как штурвалы, вентили; приземистые, зеленые, как лягушки, чавкали два насоса, и, в центре, очень большая, громоздко сливаясь с темнотой углов, сидела некая прабабушка современной ракеты с двумя недействующими манометрами, как в подвязанных ниточками очках, и тихо посапывала, открыв опустевший рот топки.

Мужик хорошо за ней ухаживал: она вся налилась надежной старостью и поблескивала редкой надраенной медью. Ей было здесь хорошо, здесь вообще было хорошо: тепло, чисто и темновато от экономной лампочки. Пахло... господи, как тут пахло! Ветошью, углем, маслом, мелом, остывшим теплом, темнотой утренней смены и синим цветом металлической стружки... В пустом ведре стоял веник, на полочке над раковиной — кружечка: на мохнатом колене трубы — полмаленькой... Все знало свое место, всякий шесток...

Я ему все здесь похвалил, и он терпеливо выслушал.

— А как же... Пролетариат... — непонятно сказал он, и мы выпили. — Ты вот образованный, пишешь книжки, ты мне вот что скажи. Почему плохие книжки издают, а хорошие не печатают?

«Не может быть!— радостно думал я.— Откуда он и это знает? Ах я неблагодарный!..»

— А все потому же,— заявил я.

— Вот, например, «Кавалера Золотой Звезды» кто написал?

— Бабаевский...

— Правильно,— сказал он.— Знаешь. Вот почему ее не издают?

— Так ее ж издавали!— удивился я.— Даже премию давали, первой степени!

— Ну да, издавали...— усомнился он.— Я ее от руки читал.

— От руки?!

— Ну, переписанную. Очень правильная книга. Там ведь про х о з я и н а написано. Про землю. Вот ты объясни, почему про землю да про хозяина нельзя печатать?

Я уж и не знал, что ответить. Апокриф «Золотой Звезды»! Это же надо...

— Там ведь про хозяина написано. Ты вот мне еще объясни, почему к хозяину так несправедливо отнеслись? Ведь всей вины у него, что работал, не разгибаясь, неба не видел... Пролетариат, тот что... Отработал смену, делать нечего, прочел роман, голова стала — во!— Он показал шире плеч.— И — пошел!..

Это было выразительно. Мы выпили еще полмаленькой.

— Ну как голландка?— сказал он.— Топит?

Значит, это был именно он, кто мне ее клал...

— Топит-топит!— закивал я.— Только кирпичи вываливаются.

— Не дымит?

— Не дымит.

— Значит, ничего. Еще немножко повываливается — позови.

— Да ты не беспокойся!— говорю.— Топит.

— А жучок не беспокоит?

— Жучок??— не понял я.

— Помню, беспокоил вас жучок...

— Да нет, не беспокоит... Какой жучок?

— Древесный. Дерево ест. Меня очень беспокоит.

— Такой маленький? темненький? тверденький?

— Да ты видел ли жучка?!— всполошился он.

— У родителей видел. Он у них ножки стульев ел...

— Да ты не того жучка видел!— вдохновился он.— Ты мебельного видел! Ты пастоящего жучка не видел! Я тебе покажу!..— Он вскочил и скрылся в случайной дверце.

Появился вскоре.

— У меня тут несколько еще осталось.— (Бережно раздвигая такой маленький в его слесарных руках коробок.)— Две-три особи.— Он так и сказал — «особи».— Две...— сказал он разочарованно. И, совсем уж непонятно как, бережно, не раздавив «особь» своими плоскогубцами большого и указательного (так в кино-журналах «Наука и техника» поражали нас в свое время зрелищем механической коленчато-уэллсовской руки, ловко разливавшей из хрупкой колбочки по пробиркам некую жидкость, служившую символом Радиации), торжественно протянул мне...

Действительно, совсем не то я себе представлял. Это было довольно мерзкое, мягкое, рыжее существо, среднее между мухой и тараканчиком. Больше всего меня поразило, что мягкое. Для того чтобы грызть дерево, жучок мог предстать черненьким, как антрацит, чем-то вроде маленькой врубовой машины, созданной самой природой...

— Мягкий!..— сказал я.

— Мя-ягкий!..— ядовито пропел мужик.— Ска-ажешь... Мокрый!

Глаза его заблестели вдохновением, лицо зажглось, речь полилась плавно и пьяняще, как у фарисея, легко вытеснив затруднительную речь апостола... Это была ритмизованная проза о том, как он (жучок), сначала с крылышками, вылетает, налетает, кладет яйца, теряет крылышки; потом все показалось мне наоборот: сначала кладет, потом вылетает,— у самцов специальный хитиновый ключик со сложной бороздкой, у самочки — скважина: все, как в сейфе, дудки, чужим ключом залезешь... но главное, то ли когда он кладет, то ли когда вылетает, он особенно быстро пожирает дома, причем пожирает прежде всего самка, а самец безвреден, хотя, может быть, и наоборот... но пожирает прежде всего его (мужика) дом... Мужик прикрыл глаза, и речь его приобрела, переросла в иной напев, сказово-былинный, и сага была о том, как против тьмы-тьмущей вышел он, мужик, сам-один, бросил вызов и кинулся в бой; как он рубил им головы дустом, хлорофосом, керосином, дезинсектаем, а они отрастали; как он залепливал ды-

рочки-норы воском, заливал смолой, замазывал дегтем; как менял венцы своей избы и погибал в неравной борьбе — жучки питались дустом, размножались с особенной быстротой в дезинсектале, размножались с особенной закаленностью и силу приобретали от керосина... Он писал письма в газету «Сельскую звезду» и «Красную жизнь», «Медицинскую правду», «Вчерашку» и многие другие, выписывал несколько специальных журналов, испробовал сорок советов, но — не сдался... Он начал выжигать их каленым железом (буквально — гвоздем) — сгорело крыльцо... И апокалипсические тучи сгущались над его рассказом, снова обретая неистовую силу апокрифа... Саранча брэнчала сталью крыл, имея в себе потайное и живое, мокрое, жирненькое тело.

Если бы несчастье, о котором он поведывал, не было столь натурально и велико, я бы залюбовался сейчас его фигурой, вдруг выросшей и монументально разгоревшейся, выразившей такую страсть и гибель борца, что ей бы позавидовал Вучетич. Но тут сверкающая и драгоценная сущность его очей снова сузилась и замаслилась...

— Но сейчас я понял, — сладострастно шепнул он, — с ними можно бороться только поодиночке!..

Легкая дрожь пробежала по моему телу.

— Не веришь?..

Он мягко и требовательно взял меня за руку, я нагнулся пройти под мохнатой трубой, показавшейся мне живой и насекомой, как брюхо шмеля, и, так уменьшившись, мелким мушиным шагком, прошли мы в случайную дверцу, и это была такая же прогрызенная дырочка в твердом, как и у жучка, только человеком и для человека...

Я стоял в маленькой лаборатории, где, в средневековой тесноте, обусловленной, по просторности тех веков, лишь характером самого дела, — бился, терзался и подвижничал истовый от чистоты логического долженствования огромный пульсирующий лоб в непосильном труде материализации идеи; где, уравнив тяжесть мира с собою одним лишь напряжением мысли, даже без архимедовых ухищрений рычага, готов был он преодолеть ее и каждый раз бывал сражен внезапностью обморока, предательской комой, как раз у врат, на пороге, коснувшись рукою цели... где, однако, приходил он в себя сквозь вечность обморока, не заметив приключившегося безумия, и приступал к счастливому и разрозненному



легковесному изяществу самоцельного изобретения предметов, когда-то служивших Идее, — и так, обретя через изощренность линз, точеных бронзовых втулок, гнущей тонкости реторт навык к продаже самого оборудования идеи, то есть от невыносимости напрягать более дух, на полпути сворачивал к техническому прогрессу, и далее, с легким проскоком, тиканьем, позваниванием соломенных, водяных, хрустальных микро- и макроцефальных часиков, подвигал время к производству, где уже кулибинско-ползуновская предприимчивость самородка, изобразив собой народную пытливость ума, скрутила время в пружину, давшую толчок производительным силам вплоть до наших дней...

И где наивный камчадал изобретает сейчас интегральное исчисление в сладостном состоянии гения для усмешки профессиональных творцов бесконечно мало — там стоял мой мужик, недавно изобретший часы, приводимые в действие проходящими над кочегаркой поездами; там же сейчас, сквозь эпоху, вдруг очутился я, и — что часы! — мужик держал в руках шприц и, прицелившись, как хирург, на узенький фонтанчик, втыкал иглу в дырочку-нору жучка-точильщика... несколько чурбаков, напиленных из бревен замененного в прошлый год венца, были аккуратно составлены в углу для опытов...

— Сейчас я пока впрыскиваю хлороформ, но скоро уже у меня будет изобретен мой собственный новый состав... — И он лукаво подмигнул мне на месте слов «и тогда».

Я глянул на прозрачный ряд пробирок на верстаке, на громоздкий ряд толстых банок с ядами на длинной полке, на висящую под стеклом вырезку из «Вечерки» (читатель И-ов, житель станции Т-во, спрашивает... и «И-ов» — подчеркнуто красным карандашом...), на бронзовые стройности опрыскивателей, на застывший, сверкающий кончик вертикально поднятой шприцевой иглы, раскаленной точечкой обозначившей средоточие (средостение) мгновения и выразившей весь окружающий объем... пауза затянулась, молчание нависло, длинный и тонкий звон протянулся от уха к уху.

Я взглянул на уколотый чурбак — мириады дырочек, сфокусировавшись, отчетливые, представили собой черные созвездия дня, закручивающиеся спирали галактик, миры и патетические антимиры, где плотность и материя оставшегося дерева была лишь созвездием

космической пустоты, где дерево каким-то образом висело в дырье... миры, дыры, дыры-миры...

— И так в каждую дырочку?— робко, дыханием, спросил я.

— Конечно,— вдруг очень нормально и естественно прозвучал его голос.

Над головой прошел поезд, пробирки нежно звякнули в стройно-зыблемом ряду, тишина порвалась, головокружение покинуло меня, и, как тот анекдотический селянин, что спросил заезжего лектора, как кладется повидло в конфеты-подушечки, обретая норму в тупости и привычности, теряя страшный мир, обретая нестрашную обстановку... я спросил:

— Слушай, а как же ты бревна из-под дома вытаскиваешь? Ведь он же на них стоит?..

Он взглянул на меня сначала остолбенело и, зримо, пешком, возвращаясь из бездонных далей сознания, увидел вдали меня...

— Эх ты!— сказал он с ласковым превосходством.— Дом подымаю. Голова садовая... Ученые люди...— усмешливо сокрушался он.— Да не весь целиком! а сначала один край, потом другой... Ну и чудак!— Он рассмеялся истинно весело.— Пойдем лучше выпьем. У меня там еще полмаленькой осталось...

— Так мы же выпили!..

— Ничего ты не понимаешь. У меня там всегда полмаленькой стоит...

...Я вышел в ночную ночь. Она была большая и темная, как медведь. Луна просвечивала безумным бельмом. Мир закрыл свой светлый глаз. Бельмо стояло как раз над трубой дома хозяйки коровы, у которой мы берем молоко,— этот дом был еще темнее в своем упорстве быть хозяйством с целью проживания за счет собственных трудов, кормя себя и свою землю, устроив подобие круговорота на площади в десять соток, где мирный сок коровы просачивался сейчас парами земли к недремлющим картофельным клубням, а в подполе стыло снятое молоко, а сливки варились в спящих выше людях,— но корова б ы л а в этой еще большей темноте участка, и ее сон и дыхание более осуществляли сейчас мир, чем бессмертные расположения физических объемов и тел. Она подышала вокруг меня, я окунулся в теплую лужицу воздуха, застоявшуюся между двумя стогами, и мне понравилось бы так, чтобы в этой ночи было больше коро-

вы, чем медведя. Здесь было неравенство, но не было растраты уравнения...

Нельзя сказать, чтобы я вспоминал того самого, вышеупомянутого медведя. Но все было одно и то же. И мужик, и жучок, и луна. «Не забыть рассказать дома, чем мужик не отличается от аристократа...» — так сообразительно нес я фразу вместе с кринкой молока, прихваченной с крыльца. Кринка была полна, нога не унавала микрорельефа бывших луж, подошва ботинка потеряла чувствительность, молоко бежало по пальцам и в рукав, обозначая, мне в утешение, что коровы сейчас — все-таки хотя бы чуть больше...

Не забыть сказать о симпатии к кулаку-миroeду... Изъеденный жуком мужик, он бесконечно не изжит, и вот корова еще дышит, хотя ее никто не слышит, прикинь ухом к злобе дня, оглохнешь, жизнь свою кляня, благодаря всему на свете поймешь однажды связи эти, тебя, господь, благодарю за равенство календарю... календарю, календарю... календарю тебя, господь...

Бабка еще в детстве была — тетя Поля, Пелагея Павловна, кулачка, старушка добрая, как котлета, — похоронили, похоронили уже, не заметил, что умерла, не помню когда... Рассказывала, как сейчас помню, как лошадь на пахоте понесла, а молодая Пелагея поводыев не выпустила, не могла отпустить, боялась за коня, боялась мужа, — сильнее боли, сильнее крови была земля, земля была еще кровью; «камни растут», говорила она, и — какое может быть в том сомнение?! И рассказ этот, столь литературный, что, кажется, исходил из черной тарелки репродуктора, под которым она резала лук, был, оказывается, правдой, надышанной коровой сего дня в ночи...

Молоко текло по моим пальцам в ночи сумасшедшего медведя, не забыть сказать... Кому? что? не забыть... Что?

Вот что, оказывается, не забыть. Вот что, оказывается, думал я тогда на берегу, когда подходил ко мне и рвал мою ниточку мужик...

Забыть или помнить? Вот в чем вопрос.

Именно, именно! Вот я не живу, потому что помню вчера и не живу сейчас, намереваясь жить по памяти в будущем... Значит, надо забыть, чтобы быть живым, реальным, сейчас. Но мир погиб из-за того, что забыли. Значит, помнить? Помнить, чтобы не погибло совсем уж все, как хозяйка коровы, противная баба, помнит же

о своей корове! как тащила коня бабка Пелагея — так помнить!

Но помня — не живу, погибаю во всем, со всем: забывая, уходит из мира последний, кто помнит. Забывая — погибаю совсем, чтобы бояться умереть и не жить вообще. Уйти из мира, забыв его, чтобы жить самому, или остаться в нем, чтобы не быть в нем никогда, не быть в нем с е й ч а с?

Так катил я домой пьяное колесо с дороги. В кармане таял леденец — гостинец от получки.

Забуть или помнить? Гамлет...

## СУДЬБА

*Памяти Николая Рубцова*

Каждую весну, переезжая на дачу, я вставал в курс событий нашей улицы за зиму...

Это странная улица. У нее нет ни начала, ни конца; она вдруг раздается вширь из тропки в болоте, затем тянется оправданно и солидно, в домах, садах и соседях, — и вдруг обрывается светлым, стремительно сузившимся тупичком. Там зияет пустота, голубая дырка меж деревьев... И кто здесь не живет и впервые окажется, никак сразу не догадается, что же это там, куда улица делась? А там обрывчик, спуск и — речушка, луг, пойма. Но для этого надо подойти вплотную, до последнего шага вглядываясь в расширяющуюся пустоту конца улицы — и только тогда поймешь... Может, потому и Глухая, что без конца и начала. И там, в этом зеленющем сквознячке, приснившемся в легком, после неправимого горя, сне, вижу я написанным, снова смытым и снова написанным слово «с у д ь б а». То есть при слове «судьба» перед моим мысленным взором рыбкой блеснет именно этот уголок... И я даже не замечу...

Там стоит домик, которого, очевидно, уже не может быть в этой жизни. Там живут люди, так и не сумевшие стать плохими... Это они захватили пол-улицы, создав свой тупичок и пролив, потому что участка как такового у них не было, а им надо было жить вокруг дома. Да и дом — какой дом! — чья-то бесхозная баня, в которой поселился без памяти давно один пришлый, никому не знакомый человек, да всех и пережил, так и оставшись незнакомым и пришлым. И хотя вокруг все живут люди,

позже него появившиеся, даже позже меня, даже просто вчера — но эти поздние так упорно строятся, врастают, пускают толстые и тупые, как морковки и пальцы, корни, что, конечно же, это о н и тут живут: он с такой-то, она с таким-то, — не он. Домик вытеснен на край улицы, как спихнут. Весь его неравномерный участочек сполз с нее, как лоскутное одеяло, окунув краешек в речку... Бабька кое-как, по мере надобности, обросла клетушками и сараюшками, потому что время идет, семья растет — и никто не уходит, захватив пол-улицы и уголок падающего берега; они обнесли свое хозяйство, свой лужок, волнистым, прозрачным, из жердей, заборчиком — и их жизнь сквозит у всех на глазах, теневая и неузнаваемая: висит гамак, брошен таз, единственная грядка, маленькая, как могилка, так, для порядку, чтобы «отметиться» в этом мире за население, грядочка со всем на свете: две морковки, три укропа и один подсолнух, — на правах клумбы: ее надо полить, как дать котенку молока или щенку, что осталось, — есть с нее нечего и, главное, незачем — никакого производства.

Там ничего не слышно: не спорят, не ссорятся, не кричат, не выясняют... кто-нибудь покачается в гамаке, забудет книжку, кто-нибудь выйдет босой на лужок, посмотрит на таз... и все. Дудки вы дознаетесь, кто это был. И всему остальному, полнокровному и напряженному, утверждающемуся вокруг бытию пришлось исключить этот уголок из своего сознания, из сферы своих посягательств как невидимую часть спектра, как неслышимую часть диапазона — как несуществующую. Этот случайно обнажившийся кусок одновременности другой жизни, идущей (трудно поверить в такое счастье...) внутри застывших и неудобных, утвердивших и насадивших себя форм... Смотрят сквозь нас, мы — сквозь них. И это единственное место на земле, где что-то случается.

Именно его и переехало ночью, пьяного, поездом, что я и узнаю той весной или этой, и так проживу лето, что его нет. Но ничего не изменилось, даже что-то утвердилось в домике на краю. Я встречаю его живого, осенью, без ноги, и удивляюсь, что не замечал раньше, что он безногий... по это два разных рассказа и неизвестно, который сначала: сначала ли он был без ноги, а потом его переехало, ну а совсем вчера — я встретил его целехонького и живого, или, наоборот, время идет в обрат-

ном направлении у них на участке, нам навстречу или вспять от нас, — у нас-то оно не идет; их время проходит сквозь нас, и скоро у внучка наконец появится дедушка. Там, у них, иногда прибавляется народу, словно кто-то решится и перебежит — чур я тут! — и смотрит счастливо поверх заборчика, что удрал, удрал наконец от нас. Там все любят — какое кому дело! — пролитое мимо молоко...

Но и они тверды, не для нас — для себя, а в их твердости, как они в нас, что живет? Не там ли то облако, откуда приходят любимые мертвые договориться с нами во сне, что мы будем иногда встречаться, только ты никому не говори, а ты и не успеваешь, лопаешь от немоты любви, сказать, что хотел — «до завтра», и палец к губам — ни-ни! наша с тобой тайна... Чтобы утром, плеснув воды в лицо, заметить утро и — что же такое было? что же было?.. Вдруг вспомнишь, что нельзя вспоминать, — и улыбнешься: твоя с ними тайна. Не там ли все это живет, удерживаясь на краю?.. Может, там... где эти любовные и живые люди «не мы», так вот там, для них, до сих пор живет та единственная девушка, неповесившаяся, незастрелившаяся, но которую я убил, которую он во мне убил, под именем которой кто-то продолжает жить со мною снаружи своей глубины, с выставленной за дверь душою, неуклюже подражая бывшим ее жестам и словам, заgrimировавшись под убитую: ах, видно, что оттуда торчит не та, так я ведь для того дурно и заgrimировалась, чтобы было все для всех видно, мы ведь так живем, у нас — так...

Это вот так все страшно, если быть среди них, в любви, там, за прозрачным условным заборчиком, и оттуда, из собственной подлинности выглянуть на собственную улицу, собственное жилье, на себя самого, как на вампира, который надел на себя одежду высосанного им мальчика и имечко его к кармашку приколот, чтобы не запямятовать. Там мы все, господи благослови, оттого так тесно в том домике, что уйти оттуда страшно и нельзя и он один на всех, да и дедушка, когда-то уголок этот нашедший, все еще жив из-под поезда, отрезав паровозу два колеса... Он у меня сегодня на маленькую попросил, а вчера отдал, хороший человек, хоть зачем уж меня так обижать, хоть я и переряженный в убитого мною мальчика, я бы ему с радостью рубль-то забыл, но не хочет он ничего со мною общего, отнимает у следующей маленькой рубль, отдает мне.

Грустно. Что бы им такого приятного сделать? Ничего, никогда. Поджечь, разве?..

У них и пожар, у них и убийство, у них и тюрьма, у них и дети один за другим, у них и коровы нет, и огорода, у них это есть, чего у нас нет. У них — все, даже отсутствие того, что у всех, у тебя — ничего. Можно к вам? Не слышат. Калитка всегда нараспашку — никогда не перейдешь туда. Совесть не позволит. Вот то, что не позволит попроситься к ним, — это еще, значит, совесть...

Тут еще новая весна — мальчик, сынок, красивый такой, что прошлой весной женился на такой славной девушке (именно она прибавилась тогда за оградой в озере их сползающей к речке пустоты)... мальчик, сыночек, вчера нынче ночью зарезали пулею ножом в висок; он с бандой связался, а потом развязался, завязал, как женился; то ли это, то ли еще как... нашли полсезавтра его, милого, в кустиках зарезанного, у Финляндского вокзала.

Так, так! Все не со мной! Никогда, ни почему, по природе — не со мной. Самоубийство в запасе. Судьба в отставке. Душа на пенсии. Совесть на приколе. Тело в ремонте. Ум в кладовке. Ищу дверь в поле.

Семейная чета, соучастники, съели в тиши ребеночка; его потом нашла в огороде бабушка, теперь поет ему колыбельные; идет чета к речке, муж корзину несет, полную белья, снятого с убитых ими людей, подошедших им по размеру и качеству для убийства. Вот как в зрачках отражаются перевернутые колышки в заборе — так и я... и лужок опустел, провожая меня взглядом брошенного таза. Как все кинулись в свою баньку со страху — таз забыли.

В доме том — судьба. Она происходит с теми, кто не смог стать нами, даже если хотел, а так и остался, присев на краешек наших глиножелезных форм, поместив себя так же ненарочно в этой жизни, как кому-то мама, чья-то бабушка или просто дальняя тетя.

Это и есть понятие на р о д — и уж не песенки, не березки — народ, то есть божья судьба, которая с кем-то еще на земле происходит. Среди них все те, кто был, кого нет, кого и не было. Все, что я любил, все, что люблю еще по своей остаточности, все, что у меня было, и все, что у меня осталось — очень мало, — но это теперь уж в с е, что я люблю. Судьба — народ, народ — судьба;

я, отлученный, сбоку. Пока не выйдет вся зависть, пока не помещу оставшуюся от меня щедрую крошку на загнувшую ладонь — до тех пор никогда не пройду туда, где все как на ладони, куда калитка всегда настезь...

## ОСЕНЬ В ЗАОДИ

*Р. Г.*

...Мы спускались в Алазанскую долину. В воздухе стояла осень, равная весне. С той прекрасной разницей, что она на тебя не претендовала и мог ты так легко и напрасно, без претензий, существовать в том хрустальном пространстве, как павший лист, повисший на паутинке. Мы проехали городок, гнездом примостившийся на отроге; из колокольни без креста, повисшей над обрывом, взорвалась стая ворон — перед нами открывался вид необыкновенной глубины. И пока мы безвольно спадали по серпантину — туда-сюда, как тот же плавно падающий лист, — отворялся взор, становилось свободно жить, не надо было преодолевать. Прозрачность мира была устроена иначе и наоборот: она начиналась с непрозрачности, а не кончалась ею. Не вдали набиралась дымка — она была где-то накоротке, перед глазами, а дальше, как рывок, над долиной следовала решительная пустота, а за ней, в виду гор, стоял остывший, отстоявшийся, замерзший воздух, несший в себе то изумительное качество прозрачности, что было уже доступно не зрению, а вкусу, как та прозрачность, которую мы ощущаем, глотая из вожделенного родника. Там стояли чистые, белые горы, а мы падали, как лист, на дно огромной чаши, где жили, поселившись, люди, где внизу рождались и помирали, и синенькое, как дымок папироски, стояло над ними дыхание их жизни: от очагов, от костерков, от мангалов, прелых листьев и отживших лоз.

Крик осени, когда растаял дым  
И тени улеглись от эха по равнине, —  
В расщелинах тесней, темней от взмахов крыл,  
Давно уж пролетевших, журавлиных...  
И нету крика. Костерок потух.  
Меж звездами пустеет воздух ночи...  
Как голос петушиный пустоух —  
Вне тишины и птичьих многоточий  
В конце долины,

где стоит гора,

Которая стояла там вчера, —



так сказал замечательный грузинский поэт, брат другого великого грузинского поэта.

И мы попадаем в строку его осени. Так уютно жить, когда можно почувствовать в своей стране, что в той же точке и в том же времени года, отсюда же, смотрел и так же чувствовал из букваря тебе известный поэт, и родина припекается к вам таким тесным, ноющим швом, где вид из окна, строка из букваря и лицо матери, — и, не поднимая глаз, побег от невыносимости и первый глоток такого же вина в духане... И в осеннем прозрачном вине — идея того же воздуха, той же мутной прозрачности, того же запаха поражения и любви, что позволяет нам жить дальше, — запах долгоденствия и смерти: листик сожгли, желание начали загадывать — и не загадали. Точно так: в воздухе было — после дымка, после пролета стаи, после падения листа, после только что оборвавшегося петушиного крика, которых мы не застали, что только перед нами отзвучали, — это даже не эхо, а после эха, только что, когда оно ушло уже в не слышимый нашим ухом диапазон — но мы слышим его! — это осень. И тень — можно ли сказать лучше — эта тень, чернея, голубея и тая в расщелинах и гребнях, столь далеких, там, за долиной, что маленьких, как пятна, как следы пальца в глине при лепке, — эта тень была следом истаявшего звука.

Мы искали завод. Что это такое, я не знал. Друзья мои спрашивали дорогу — их не понимали. Это становилось как-то таинственно: из такой подлинной осени, которую я догонял, убегая от зимы, и нагнал наконец, — из такой осени... искать такое, не к месту, слово — завод, да еще и не находить его. Друзья мои спрашивали дорогу — на нас смотрели. Этот взгляд скользил по нашей горожавости, неумлиимо усмехался в себя и уводил в пейзаж, окунался в него: там, там был завод. И будто пейзаж возникал от их взгляда, был их взглядом — они же не видели его... В селе никого не было — старики. Они не торопились жить, как и сама осень не торопилась умирать. Они не торопились понимать и не торопились отвечать. Я не знал, о чем они умудрялись каждый раз вступать в беседу с моими друзьями, но каждый раз оказывалось, что уже не друзья их спрашивают, а старики расспрашивают моих друзей. Я не понимал, чему они начинали улыбаться, но эти две позы, посмотрю я со стороны, были красноречивы без перевода... Старик, прозрачноглазый, с двумя цветущими старуха-

ми, и запуганная молодуха, перетаскивающая свой живот через порог, пользовались нами как не бог весть каким, но все-таки зрелищем на этом проселке, куда свернуть можно было, разве слишком добросовестно воспринимая все объяснения, как ехать... А наш водитель пытался их понять, но как: приоткрыл дверцу своего «мэйд ин юэсэса „фиата“», одной ногой встав на дорогу, а другую — как бы сохраняя на газу, одной рукой держась за дверцу, другую освободив для жеста, входящего в грузинский алфавит на правах буквы, — в позе не терпящего секунды, чтобы снова сесть и ехать, лишь бы знать куда... И снова взглядывал я в эти чистые лица, вымытые временем и разглаженные его достатком, что были не настолько рассеянны и суетливы, чтобы терять что бы то ни было из того, что попало к ним в хозяйство: время и достоинство в том числе, — не роняли и не теряли. «Завод? Завод... — раздумчиво вставляли они в свою речь непонятное мне слово. — Завод?» Они обсуждали это: «Заоди?.. Ах, заоди!..» И нам указали дорогу, которую мы спросили еще трижды.

«Надо было это слово по-грузински сказать, — смеялись мои друзья, — по-русски они его не понимают». Но мне «заоди» тоже нравилось больше.

Тут мы достигаем самого невзрачного, на первый взгляд, за все наши поиски места. Черный и мертвый овраг пересекал шоссе (то есть наоборот). Казалось, он был еще дополнительно разворочен, разрыт, в с к р ы т. Не было ни травинки (ни кровинки) в его пейзаже (лице). Он был даже не мертвый —дохлый какой-то. Края его приготовились превратиться в ад при первом же дожде. Дождей давно не было.

— Смотри, — сказал мой друг, — это н а с т о я щ е е!

И по тому, как он оживился, ускорился, посветлел, можно было с внезапностью обнаружить, что все это время, что мы ехали, болтали и он слушал, соглашался, и кивал, и был доволен, — все это было чужое, не та посуда, и хоть он и прихлебывал из нее, но лишь как добрый и мягкий человек. А сейчас он чувствовал приближение своего мира, как подлинный охотник — добычу... Мы отпустили машину — мой друг уже шествовал впереди, не скрывая возбуждения и радости; он вел меня уверенно туда, где сам ни разу не был, с точным, однако, знанием того, что там нас ждет то, что нам надо. Впереди, на краю оврага, примостился некий сарай-навес, и несколько самосвалов стояло перед ним, еще под-

черкивая это впечатление, что овраг — не овраг, а некое буйство земляных работ...

Избушка эта стояла к нам спиной, и до тех пор, пока мы не приблизились вплотную и не зашли с тыла, я не мог все еще, до самого конца, гадать, в чем же дело.

Вот где мы очутились.

Навстречу нам вышли два здоровых поросенка странно нетвердой поступью. Они не обратили на нас внимания и, заплетаясь, проследовали к корявой куче коряг, чтобы почесаться о дрова. Мы прошли две ступеньки вниз, мой друг на секунду закрыл вход спиной, и еще секунду, даже поменьше, глаз привыкал к убавлению света, чтобы различить, что в тени...

Мы были в н а с т о я щ е м. Мне трудно доказать это чувство: как всякое чувство, оно — недоказуемо. Могу только поклясться, что внушение и самовнушение тут ни при чем. Чувство, с каким я очутился в этом полупомещении (полупомещение — точное слово: тут была крыша и две стены, а двух стен не хватало; архитектура была самая необходимая: четыре столба под крышу от дождя и две кое-как зашитые разной дрянью стенки, чтобы не просматриваться насквозь с дороги, — вид на долину и на снежные горы был открыт взору, как и вид в овраг, в яму), — так вот, чувство, с каким я здесь оказался, трудно описать, не с чем сравнить, а можно разве уподобить... Так шарик носится по Колизею рулетки, стучаясь, налетая, выписывая большие круги, пытаюсь вылететь за пределы, — так мы живем! — но слабеет, уменьшает круги, болтается все нерешительнее между лунками, будто еще имея независимость выбирать себе номер, даже, быть может, по инерции выскочит из какой-нибудь, будто бы неподходящей, — но на это истратит уже все свои силы... и тут — бульк! — свалится наконец в с в о ю, которой теперь другой уже быть не может; еще чуть дернется, как бы с боку на бок, как бы устраиваясь поудобнее, — и замрет, успокоится: хорошо! Вот точно так, будто болтало и носило меня всю жизнь и принесло наконец, и вот я тут и даже не вполне знаю, куда попал (в какую из лунок), — но п о п а л, и это точно. Запах тут, что ли, сразу такой, дымок. Но я — з д е с ь, и это правда, и наконец ничто не вызывает во мне сомнения и стремления дальше, и поскольку я уже здесь, то можно и оглядеться, где я, среди чего мне предстоит, теперь уже окончательно, б ы т ь.

Очень трудно описать эту уютную лунку последовательно, очень хочется, чтобы ее было видно сразу, но это — не в возможности слова, да к тому же так оно и было: сначала я видел то, потом это, разбираясь в постигшем меня с порога (вот что значит «с первого взгляда»!) чувстве. Сердцем этого мавзолея (поскольку, как я уже сказал, это был конец моего трудного жизненного пути) был очаг. Это было горячее, пышущее сердце! Оно кипело и булькало, захлебываясь будущей моей (чего я пока не знал) кровью и радостью жизни. Это сердце (этот очаг) в свою очередь напоминало мавзолей из тех, что я повидал недавно в Хиве. Этот обмазанный глиной куб венчался медной надраенной крышкой, как золотым куполом, на котором еще сверху пупочка была и только что полумесяца не хватало. Эта медная крышка была самой богатой здесь вещью — и потому так сверкала, потому была так надраена (потому мы и видим ее здесь в первую очередь), как солнце. Она была, впрочем, заслуженно помята, но и все вмятинки ее столь же ослепительно сверкали, посылая отдельные, отломанные от света лучики в самые разные стороны, — но общего впечатления сферичности этот купол, несмотря на измятость, еще не потерял. Он сверкал так же кругло и так же медно, как и тот, кто, по-видимому, его и начистил, — как «заводчик» Гоги, орудовавший у топки.

— Нагнись, — сказал мне друг, — посмотри! Видишь, как решетка прогорела!..

Действительно, толстые прутья над огнем прогнулись вниз и висели пузырем. Из топки несло таким ослепительным жаром, так вспухли на поленьях круглые узлы углей, такая никогда не надоедающая, жизнеутверждающая драма открытой печной дверцы разыгрывалась в этом театре, что, покажи мне сейчас атомный реактор, — я бы плюнул в его ничтожную и бездарную, раздражительную форму.

— Веришь ли, — сказал Гоги, не переставая орудовать, но успев ясно улыбнуться, так, что его округлившиеся медные щеки послали зайчики, отразив свет очага. — Веришь ли, — сказал он с гордостью пацифиста, — три месяца уже не гаснет огонь в этом очаге.

Я верил.

Да и чему тут было не верить? Этому огню? Этой половине поросенка, висевшей на крюке на том единственном столбе, которого не касались стенки, — на ко-

лонне этого храма? Этой пьяной свинье, матери моих шашлыков, копавшейся на узкой полоске между заводом и оврагом, однако в овраг не падавшей? Этим мирным труженникам, устроившим свой заслуженный пир за узким столом, уместившимся в уголке храма, как притвор? Этим трудовым мирянам, пившим и беседовавшим так ровно и достойно, как не мог бы быть достоин ни один лорд, столько же выпив? Тому шашлыку, отрезанному на моих глазах от ноги недавно бегавшего здесь же поросенка? Этому вину цвета осеннего листа? Тем более что это было даже еще не вино, а материал вина, то есть натура невинная, не искаженная обучением и выслугой лет. Не верить «материалу» вина? Этим четырем столбам? Этой медной крышке? Этой крыше от дождя или этому небу в дырке этой крыши? Тому виду сквозь отсутствующую дверь на Высшие грузинские горы, не упрекавшие нас, однако, ни в чем, потому что мы ни на что не посягали? Этим горам? Моему другу? Гоги, наконец? Нет, я не мог не верить Гоги!..

Потому что единственная вещь, которой я мог бы не поверить, которую все-таки отыскал мой завистливый глаз, — был розовый выключатель, приспособленный к столбу: на электричество Гоги все-таки пошел, с электричеством как-никак удобнее стоять ночную вахту. И вот этот единственный предмет, четкой и окончательной формы, был груб и как-то неровен, что ли, в этом наспех, криво и кое-как сколоченном корабле мира, этой утлой ладье счастья, в этом дирижабле после седьмого стакана! Я не буду обращать более свой взор на тот предмет: жизнь так прекрасна — пусть мелкой души человек так же не любит нас, как мы его жалеем! ибо его нет с нами.

Именно здесь, в этой точке, завершился круговорот годовой жизни, если у круга можно найти начало или конец... Но круговорот вертикален, в отличие от бессмысленного вращения по поверхности. И здесь было начало того конца... когда, разогнавшись с горы летнего полдня, приходим мы в касание и слияние с землей, с той инерцией, которая с особой силой прижимает нас к земле. Отработал зной, отработала и теперь отдыхала земля, рыхлая и пустая, как мама, дети которой разъехали по семьям и городам; отработал виноград, ставший вином и даже жмых свой вручивший Гоги, чтобы тот выгнал из него смертельную чачу; ибо то, что так таинственно кипело и бормотало под сияющей крыш-

кой, был самогонный котел... даже жмых отработал свое, но, став некрасивой рыжей кашницей, и он пошел в дело, потому что именно в нем с упоением паслись поросята на узенькой полоске между заводом и обрывом, и были и они от него счастливы и пьяным-пьяны, так что, по-видимому, переход в шашлык происходил для них безболезненно и безбоязненно, а их невинные души, легко отлетев, беспрепятственно вступали в круговорот души в природе, где, в зависимости от одаренности и греховности, ожидало их повышение или понижение по служебной лестнице эволюции: стать душою курицы или лошади... Отработали и люди, пившие сейчас «материал» вина, и были они так же честны, как этот «материал», — это был честный материал людей: они не перебродили и не закисли, и в них не добавляли ни спирт, ни сахар. Все отработали: осень. Один Гоги работал.

Вот уж «не покладая рук»! Был он красив в работе: стремителен и непрерывен, но настолько несуетлив, что казался лениводвигающимся. Он кочегарил, колот дрова, заправлял котел, строгал шашлык, жарил шашлык, накрывал на стол, подливал вино, был любезен и светел — все это одновременно, в свое время и все в свою очередь. Как заботливо и мгновенно — фокусник — создал он нам пространство для пира, ибо единственный стол был уже занят; как газетку подстелил — скатерть; перцев соленых на нее плеснул; горсть соли высыпал, драное одеяльце на лавку постелил и ласково разгладил — садитесь! — и никакого рабства, прислуживая, — одно достоинство, и никакого хамства — одна любезность. В банке из-под консервированных огурцов вина подал (и она не пустела, как волшебная, и не заметить было, когда он подливать успевает или заменять...); в миску собачью алюминиевую с треском и шиком стряхнул шашлык, выхватив из него шампур со свистом, как шпагу из ножен (и миска не пустела, но тут я замечал как, потому что именно над моим плечом просовывалась волосатая рука Гоги и шампур взвизгивал над моим ухом...). Такой сервировки и такого «обслуживания» я никогда не видел и другого никогда не помечтаю... Нет, положительно, мужчины делают все лучше — жаль только, что рожать не могут... Здесь было так хорошо и ясно, среди мужчин. Столько нежности и чистоты возможно между друзьями — где, кроме Грузии, это еще и понимать!

Никогда еще нам не было так вкусно... Это было даже не пожирание — мы дышали мясом. Поглощать в таком количестве жирную, полусырую, раскаленную свинину, всю обмазанную крупной кристаллической солью и зажаренную на открытом огне, и запивать литровыми банками «материала» сухого вина — лучше было сразу выкинуть свою печень пьяным свиньям. Но легче было умереть, чем отказать себе в этом наслаждении.

— Ты пойми, печень... — говорил я. — Ты должна меня понять.

Мой друг парил, мой друг царил, сверкали его глаза. Он все прямился, все ровнее и торжественней держал руку со стаканом; все вертикальней становилась национальная линия его плеча, ее прямой угол с шеей; и вот он уже сошел с картины Пиросмани «Пир князей». Наши столы давно слились; человек, так похожий на моего отца в молодости, легким, не фамильярным объятием закреплял это наше кровное фотородство; нашу лодочку отвязали, и мы неслись вниз по оврагу на встречу с Главным Кавказским хребтом; свиньи, то ли чтобы протрезветь, страстно чесались о покрывки самосвалов, которые, уж видно, сегодня так здесь и заночуют... Мой друг говорил тост, который мне не надо было уже переводить с русского на грузинский, я и по-русски-то теперь не хуже понимаю, чем по-грузински... И так счастлив он был, мой друг, что я понял, что и ему, обладающему даром именно этого мира, в котором мы сейчас находились, куда как легче и приятней попадать в него со стороны, чем настойчиво пронести с собою.

Ах, жизнеутверждающей может быть лишь чужая жизнь!

И здесь именно, на слово поверив моему другу, что я того стою, подарили мне книжку, единственную, какая случайно оказалась у моего названного брата, все более похожего на моего отца, и была это — помечтать такое трудно! — биография Пушкина на грузинском языке. Я разрыдался от такой символики.

Нехорошо пить с горя — вредно, но не напиться от счастья — невозможно. Потому что от счастья нельзя уйти самому, нет сил (уж эти мне волшебные люди, находящие в себе силы как раз в тот редкий момент, чтобы героически отвернуться от счастья, а потом расслабиться и растечься надолго, оттого что упустили его!). Не может отвернуться от счастья человек, а время течет,

и точит, и торопит предательство именно этого мгновения, которое уже не длится, и пройдет, и прошло — куда?.. Неужели такое, ради чего всю жизнь жили, может кончиться?! Нет! Никогда! Никогда не предадим мы этого счастья сами! Просто — разбудит нас утро, и окажется, что счастье миновало.

И Гоги скоро перепечатает весь жмых в огонь и изведет весь огонь в жмых. И решетка в очаге совсем прогнется, прорвется и прогорит. И тогда свернет Гоги свой завод, скатает в трубочку: котел вынет и домой унесет, столбы выкопает и тоже домой унесет, во дворе прислонит; остальное — так оставит, как мусор. Так мне рассказали, что будет после того, как мы уедем...

И такой печальный конец... Гоги уходит вниз по оврагу, как бродячий актер, свернув свой балаганчик: сгибаясь под тяжестью бревен на плечах, неся медный таз под мышкой, отражая своим боком солнце... Так он уходит в бесконечную перспективу, унося с собой мое счастье, будто это не я к нему по случаю попал, а он — в меня.

Если бы не сказал другой, правда русский, великий поэт, но тоже сотканный из братьев: «Юнкер Шмидт! Честное слово, лето возвратится!» — то я бы не знал, чем утешиться.

Все здесь заработали себе осень. Одним нам досталось даром кем-то заслуженное счастье. Добрые и расстроганные, мы заедем еще на базар, купим кувшин и рубаху, презирая свои бумажные деньги и завидуя их нажитым.

## ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА

На вопрос, есть ли у скифов флейты, он ответил: «Нет даже винограда».

*Аназарсис-скиф, VI в. до н. э.*

К холоду человек привыкнуть не может.

*Рольд Амундсен*

## МОИ ПОГРАНИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Издалека начинается это движение... С Петра! не то благодетеля, не то антихриста. Моя мама до сих пор опускает предлоги в телеграммах, «не любит» такси и



в поезде едет лишь четвертым классом (так называемый «плацкарт»), носильщика не возьмет. Если бы она подсчитала, сколько при этом экономит, то разница ее бы рассмешила. А я помню, что после войны, еще года три-четыре, она непременно съедала и вторую тарелку супа, налитую до краев, с толстым хлебом и лишь после этого могла считать себя сытой — хрупкая интеллигентная красавица... В Европе и суп, и хлеб стали пережитком: суп еще надо поискать, а хлеб вам принесут отдельно, когда вы удивитесь, что его нет. Не экономят — берегут фигуру, научно питаются — люди, которые давно сыты. Покупается (без очереди) 100 гр того, 50 гр сего — чтобы тут же съесть, свежее. Вчерашнее выбрасывается. Какой барьер надо перейти, чтобы мочь выбросить в помойное ведро! Голод и холод пронизали до костей. Холод и голод... Мы еще не пережили вторую тарелку супа, добавку. ДОБАВКА! — дополнительная порция, усиленное питание — представьте, что эти слова перевод с английского... Когда у моей мамы очередной приступ печени — я с уверенностью могу сказать, что она «пожалела» залежавшийся продукт. И фигуру ей так и не пришлось «сохранять»: всегда такая. Голодные люди не станут есть вкусно, да ведь и книги перестают читать во время книжного голода. И х . д . о . с . т . а . ю . т .

Голод и холод до костей... Был я в соцстране, завелись у меня местные, полувалютные деньги — решил купить шубу. Возникли волнения и проблемы — на что же они похожи? — да на покупку коровы, вот на что! Когда мой спутник, специалист по русской литературе (естественно, именно он таскается за мной по магазинам, расширяя свой профессиональный горизонт...), сказал: «Все-таки у русских писателей до сих пор комплекс гоголевской шинели», — я обиделся (тем более что комплекс у меня был — главным образом перед ним, таким предупредительным и воспитанным, что я как русский, имперский человек легко мог заподозрить его в иронии, насмешке, а там и в презрении...). Я сказал ему в сердцах, что он мог бы как специалист быть в курсе, что это сказал не Достоевский, а Тургенев, а во-вторых — не все (не все из нее вышли...). Однако, потихоньку остывнув, умерив комплекс прищельца (тем более что я не прервал свой поход и не отказался от его услуг), я понял, что и сам неоднократно так говорил, только не хотел бы слушать из иностранных уст. И впрямь, барская шуба... царская шуба... царский по-

дарок... то есть с царского плеча... Гринев дарит Пугачеву заячий тулуп... наконец, «Шинель» — не поймешь, не истолкуешь его — гений!.. Мандельштам «в не по чину барственной шубе»... Конечно же, шуба переросла себя, стала символом благосостояния, удачи. Потом, что, как не шубу, продают и пропивают?.. И грабят, естественно. «...Силы, снявшие шинель с Акакия Акакиевича...» Или вот еще, один мой приятель, бывший московский прозаик, прикатил на гребне успеха в мой город, «знакомый до слез», — заключить договор на Ленфильме. Поселился в «Европейской» и, натурально, запил. Я познакомился с ним незадолго до этой славы: он был прекрасен, дрожаще обнажен, обуглен в своем дровяном московском домишке, — теперь я его навещал в новом качестве: в номере люкс, при входе висела мандельштамовская шуба (бобровая, по неясному впечатлению), из реквизита Ленского. Может, я и напел ненароком «Паду ли я...», а может, мой приятель своим остропьяным взглядом художника и выходца тут же подловил мой взгляд, может, я был зря с утра трезв, но беседа наша, против последней встречи, потекла спотыкливо и вкось. Он мрачно посмотрел на кнопку и с презрением ее нажал — официантка впорхнула с такой скоростью, будто ждала под дверью. Ее подобострастно-хищные глазки наводили на мысль, сколько он ей уже переплатил. Тут же была подана икра, бульон с яйцом, и не без бутылки, конечно. Он выпил, выбросил в угол мешавшееся яйцо, захлебал бульоном и, слегка расправившись, бросил взгляд на шубу (тут я и понял, что мой взгляд не прошел мимо его сознания). «Мы, скобари! — вдруг тонким голосом театрально вскричал он (в его сложной биографии была и бытность драматическим актером). — Все «Войну и мир» написать хотим... А — не получается, не получается!!!» — закончил он на крайне пронзительной ноте. И ушел спать. Он был, безусловно, человек: шубы я у него больше не видел. Как была, мол, куплена — так была и спущена. «Жилетов много скопилось», — пожаловался он мне однажды. А имелось в виду вот что: каждый раз, выйдя из запоя, пошивал он себе дорогую тройку, а когда пропивал, то пиджак и брюки брали, а жилет — кому теперь нужен. Жилетов много скопилось... Люблю я его за эту фразу. Я не отвлекаюсь: жилет — тоже в лыку... Гоголь — тоже насчет жилетов... Было у него тяготение к жилету — об этом имеются разнообразные анекдоты, один из которых пересказан

Буниным в каких-то воспоминаниях. Куда-то делись и калоши, куда жилеты и шубы — об этом свидетельствует Булгаков. Но шуба дамская — никогда у нас не умрет. Возможно, шуба и комплекс... Возможно, она в нашем ассортименте и есть роскошь и символ роскоши... Но ведь — холодно!! Этого забывать не надо. Когда я ничего не боюсь, уверен в себе, своей звезде и пружине, когда все несчастья происходят только с другими, но никак не со мной, — даже тогда есть одна вещь, от которой я всегда поубавлю спесь и уверенность, — воспоминание о работе с металлом на сорокаградусном морозе... Синий иней. Этот локальный в моей биографии эпизод червоточит в моем бесстрашии.

А я и сам не люблю расплачиваться в такси... И в поезде еду, правда не четвертым, как мама, но третьим классом. Выше третьего у меня произвольный спазм. И я понимаю свое социальное положение, когда расплачиваюсь: когда неловко заплатить меньше, когда не хочется заплатить больше... Роскошь, видите ли, меня не привлекает. Яхта и вилла мне не нужна («берег турецкий и Африка...»). Мне нужна отдельная комната и джинсы, без кофе я не обхожусь. Не то нужно, что — может быть, а что — следующее. Ездить первым классом давно мне доступно, но никак не перепрыгнуть третий...

Как-то раз оказалось, что мой друг А. едет в Ленинград в тот же день, что и я. Решили ехать вместе, а я согласился взять билеты. Я волновался, что их не будет, а он почему-то нет. Он «всегда едет на вокзал прямо к поезду» и берет «международный» (1 класс). Я не мог согласиться с таким риском и поехал за билетами заранее. Отстоял очередь — билетов не было. Ни на те поезда, которыми ездят «приличные» люди («Стрела», Хельсинки...), ни в купе, ни даже в международный... И тут мне подфартило: я купил два билета с рук, в купе, на дополнительный поезд. Мой друг остался недоволен моей деятельностью: приедем за полчаса и купим билет, утверждал он. Я прибыл за сорок минут, он опоздал: за двадцать. Он подошел к кассе и взял два билета, как привык: они почему-то были. Мы зашли в вагон, и поезд тронулся. Сдать билеты я не успел. Они вспотели у меня в кулаке. Так мы и поехали, на четырех билетах... Я стоял и потягивал в вагонном буфете коньячок, между двумя арабами и потертым контр-адмиралом, и привыкал к происшедшей со мною роскоши, убеждал себя,

что мне это нравится. Это стоило мне усилий... Все-таки мне это не совсем нравилось. «Адмирал не обязан вызывать восхищение...» — сказал я. Мой друг повел меня в купе. И, раздеваясь, я понимал, что это он едет в международном, а не я: другие ботинки, другие носки, другое белье... Пишем мы, может, и не хуже друг друга, пили не меньше, любили... Но вот надо же! Он — раньше. Раньше меня проскочил в первый класс. Был в Париже, в Японии (в Америке, правда, еще не был, но теперь ведь — будет...). Был в странах, в которых я активно не был. Был знаком с людьми, о которых я слышал, а они обо мне скорее всего нет... Я здесь, конечно, пережал в признаниях: моя оценка самого себя, по-видимому секретно от самого себя, чрезвычайно высока, и я никому не завидую... но не уверен, что вспышка комплекса — не сестричка зависти. Конечно, я провинциал, ленинградец; конечно, мысль о том, что бедность — это не отсутствие денег, а качество, мне понятна и близка; богач и в разорении тратит несравнимые средства... Но разорившийся — это не разоренный. Разориться можно несколько раз, быть разоренным кем-то, чем-то — необратимо. Нет, не быть мне богатым!

И чего я на себя наговариваю! Мне ведь нравится бедность. Я не люблю лишнего, правда, нелишнее хочу высшего качества. Домик мне нравится бедный, но там, где мне нравится; костюм мне нравится один, но по мне... Так ведь это и есть богатство, чтобы время свободно и никто не мешал!! Это же и стоит дороже всего. Оказывается, я достатка не люблю, а богатство — гордится. Просто — либо богатство, либо уж нет. Паче гордости.

А ведь вагон этот мне с детства нравился! Я любил заглядывать с перрона на эти застекленные двери с медными надраенными всточками русского модерна. Мне нравилась его дореволюционность, этого вагона. И вот я еду впервые — что же я? А мне не нравится, кто в нем едет теперь. Себя я вычитаю. А. — тоже. ИХ из купе не вижу. Значит, все-таки это я себе не нравлюсь в новом социальном обличе «совбура».

Любопытно, что вагоны такого класса перестали производиться после революции. В этом была своя справедливость: некому ведь на них стало ездить. А когда стало кому, то все еще хватало старых. Хорошо, значит, их однажды сделали.

Я утвердился в своем произвольном зароке не ездить первым классом, но вот и еще раз пришлось... Мы с женой возвращались из южных краев. Билетов, конечно, не было, а уехать было надо. И тут, ученый первым опытом с А., я осмелился спросить в «международный» — эти были. Заранее наслаждаясь комфортом, я шел по перрону с неподъемным чемоданом, перенапрягаясь в усилия показать пустым носильщикам, что несу его, как перышко. Наш вагон, конечно, был в конце перрона. Пять, четыре, три... вел я счет вагонам, которые мне предстояло еще пройти. Один... за ним не было вагона, а потом — снова были. На месте нашего вагона был обрыв, провал. Это показалось мне настолько странным, что я не успел построить никаких смелых предположений, как такое может быть, и понял, лишь подойдя вплотную. Наш вагон между вагонами — все-таки был, оказался. Просто он был значительно ниже и, заслоненный, пропадал для взгляда. Это был новый, повехонький вагон, я таких еще ни разу не видел...

Обсосанный, как леденец, он сверкал, как коронка в развалившемся рту, вмиг заставив устареть соседние вагоны, которые казались еще такими годными. Испещренный никелем иноязычных надписей на всех трех языках, кроме русского, такими фирменными, повецькими буквами, что их хотелось тут же украсть, свинтить и еще куда-нибудь такое приспособить. Деталь воспринималась игрушкой и не шла в сознании по назначению.

С робостью подходил я к дверям, вспотевший, с оттянутыми руками пассажир, который сейчас начнет рыться по карманам, забыв, в какое надежное место в очередной раз переложил свой билет... Чем я отличался от той бабки, которая лезет в чулок за узелком, куда это все наше достояние из нескольких купюр, железнодорожного билета и справки из сельсовета увязано? Я жалел, что не нанял носильщика. К этим дверям следовало подкатить в ином социальном обличье. Неприветливое лицо проводницы отчасти возвращало все на свои места — я остановился на нем с благодарностью. Тут как бы снова было все понятно. Эта милая аккуратная женщина, прославившаяся, по-видимому, более чистым вагоном и более крепкой заваркой, была представлена к уникальному СВ в виде повышения. Вручая наконец найденный билет, я попробовал польстить ей,

восхитившись ее новым хозяйством, и — задел за живое (почему-то живым именуется именно больное место?..).

Нисколько на нее не обидевшись, потому что тут же понял, что сказанное ею относилось более к вагону, чем ко мне, я уже смелее вошел внутрь цивилизации. Сначала нога моя ступила на череду щеточек, а с них на пухлую ковровую дорожку — это было «ах!» и «ах», — постичь я еще не был в силах. Мы отыскивали свое купе. Тут была своя сложность в дверях, ибо открыть и пройти вы не могли, а могли лишь пройти и открыть; так же и разминуться с соседом в коридоре можно было, лишь вобрав себя назад в купе, как улитка в раковину, но это мы преодолели и оказались в купе, чуть стесняющиеся своим в нем пребыванием, но и чуть стесненные тоже. Все это посверкивало особым дорожным уютом, гарантированным нам уровнем дизайна. Казалось, тут продумано все до мелочей — так оно и было. Но сначала нас интересовали не мелочи, а как раз крупные вещи: два наших утяжеленных чемодана и мы сами. Мы не сразу нашли этому место.

Все здесь откидывалось, разворачивалось, складывалось, все превращалось в самое себя, минувя, кажется, именно назначение. Обеденный столик превращался в умывальник, умывальник утаивал в себе биде. Обидное это слово «биде», почти такое же, как и «кондиционер»! Когда они действуют, мы еще не умеем ими пользоваться; когда научаемся — они уже не действуют. Биде, возможно, еще не действовало, но кондиционер, точно, не действовал уже. Фанерный этот апофеоз был раскален до предела. «Ничего, — отстаивал я цивилизацию перед женой, — он включится, когда мы тронемся...»

Я не был уже в этом уверен: какие-то ничтожные намеки я уже успел уловить в повеньком совершенстве этого осмысленного пространства. Оно было слишком освоено! Усвоено и переварено — оно исчезло. Да, все здесь было осмыслено, продумано и сосчитано дотла, до слов «рациональность», «экономичность» и «эффективность». По-видимому, здесь должно было ехать столь же разумное существо средних размеров, экономное в движениях и помыслах. Если бы наше повидавшее виды супружество вдруг пробудилось бы в столь романтическом железнодорожном интиме... одно лишь это сообщение окончательно развеселило меня. Интересно, как бы здесь развернулась та пресловутая шпионка!.. из

того, читанного под партой рассказа? Зато здесь много чего куда можно было спрятать: стена походила на соты чрезмерным количеством разных полочек и ящичков, по идее, имевших-таки свое назначение. Я не удержался положить на одну из них зубную щетку и поставить в бар бутылку пива. Далее моя фантазия иссякла. Хотя, при желании, я мог разложить, как в комод, все содержимое чемоданов, с таким трудом уплотненных... там рубашка, здесь полотенце...

Тут меня осенило: я ощутил себя Гулливером, пересекающим границу Великании с Лилипутией — холодок равенства самому себе пробежал по спине: когда я набивал чемоданы так, чтобы у нас было меньше «мест», втайне гордясь своим «умением укладывать» перед женою, не был ли я озабочен той же мыслью, какую и конструктор вагона в отношении меня?.. Немец встретился здесь с немцем: я его узнал. Пожалуй, гениальный этот конструктор сумел втиснуть в свой вагон еще одно купе против предыдущей конструкции, причем соблюдая все саннормы, «чтобы все было», — вставил как раз то купе, из-за которого всем стало одинаково не по себе. «О нет! — воскликнул я самому себе, — только немец способен довести нищету до богатства, а богатство до нищеты!..» Это был третий класс, доведенный до первого, да как! — не отличишь... но куда же подевался тогда сам первый класс? Это был диалектический вопрос. Щеточка в начале ковровой дорожки стала мне вдруг понятна: никто не стесняет вашу свободу: никто не заставляет вас вытирать ноги, вы сами, «невольно», пройдя по щеточкам, свои ноги вытрете и ступите на дорожку уже поневоле чистыми ногами. Значит, экономится сразу и ковровая дорожка, а скорее — пылесос и труд проводника: один метр ковровой дорожки — на десять тысяч километров пробега, полкило пыли на сто пассажиров... Все это не шуточное, между прочим, дело, помноженное на все километры и все вагоны и деленное на всех пассажиров! Ах, хочется сложить руки, лечь к стенке и, в очередной раз, ничего не совершить полезного, а подумать понапрасну: кто это едет? и куда? и зачем?..

Кондиционирование в вагоне было продумано, по-видимому, безотказное, так как окна не были приспособлены к открыванию... Однако купе своею тщательностью все еще гипнотизировало нас, мы сидели на краешке как бедные родственники — никак нам было не

расположиться: в руках держали образовавшийся при распаковке мусор, не зная, куда приткнуться, хотя столько было пустых, хотя бы для мусора пригодных отделений... Я вышел в коридор в поисках мусорного ящика. В привычном для него месте топтался, вроде меня, пассажира, с тем же мусором в руках. То ли этот ящик превращался в шахматный столик... мы не знали этого уже вдвоем. Тут, суровая, выглянула проводница: «Ведро в тамбуре!» — сказала она. Вот эта понятная вещь там была! Мы порадовались и, облегченные, стали допытываться о кондиционере. «Не знаю, ничего не знаю!.. — огрызнулась проводница. — Вот придет инженер...» «Как инженер?.. — изумились мы оба. — В поезде есть инженер?» «В вагоне», — отрезала проводница. «Инженер вагона??»

Но — жизнь наладилась. Приданный новому вагону инженер кондиционера не включил, так как тот был отключен в принципе, более главным инженером, чтобы не испортили. Зато наш инженер сумел включить титан: проводница подобострастно сторожила единственный освоенный ею вентиль, на всякий случай не подпуская вообще никого к титану. Дорожку она скатала в рулон и убрала в свое купе. Один из пассажиров, по складу бригадир и умелец («глаза боятся — руки делают»...), сумел не то открыть, не то взломать одно окно в коридоре — во всяком случае, закрыть его обратно инженеру не удалось, — в вагоне образовался сквозняк, мы вздохнули. Наконец на одной из станций подглядел я картину, окончательно меня умиротворившую: проводница открыла дверь на другую сторону и высыпала ведро с мусором на пути. Значит, приспособились, едем!

Обретаем возможность посмотреть в окно... Там только то, что мы видим. То, что мы уже видели, унеслось. И опять — только то, что мы видим. Будка, баба с флажком, дети с коленками, лошадь уперлась мордой в шлагбаум... почетный караул путешественника. Переезд, перестук, перелесок... пошли шелкать. Какое вечное, тоскливое счастье! Невнятное, родное, не твое... Задержка в пути, остановка в поле. Раньше, в детской послевоенности, сколько их было, таких остановок! Пассажиры расползлись по насыпи, даже паровоз, пользуясь остановкой, будто щипал траву. Назад — бегом: кто с букетом, кто с ягодой, кто с грибом. Теперь такая остановка редкость, да и выскочить нельзя. Однако стоим. И вот что случай выбрал остановить теперь



перед моим вытертым взором... Насыпь, распаханную под картошку. Не всю, впрочем, еще распаханную. Как раз сейчас ее и пашут. Два мужика, впрягшись в плуг, третий правит. Плуг, между прочим, деревянный. Деревянный легче. Лошадки, значит, нет. Неужто так легче, чем лопатой?.. Значит, легче. Мужики-то еще сообщают. Упираются, как репинские бурлаки. Но лицо не несчастное; не несчастное лицо у мужиков, говорю. Не преувеличивал ли Илья Ефимович? Общее, спокойное, семейное у этих трех мужиков лицо. На себя, стало быть, пашут. Без угнетения. Поле на насыпи выкраивается узенькое, зато длинное. Два мотоцикла лежат себе на боку на краю пашни. Один «Ява», другой «Иж». Хорошие машины. В них двух — «лошадей» так под пятьдесят будет. Увидел-таки мужик, что я на него смотрю. Может, и не один я из вагонов глазел... Тпру-у! Приостановились, на нас глянули вроде и без раздражения, но — выпряглись. И то правда — перекур, по закону. Сели степенно возле мотоциклов, достали бутылку «Камю». С молоком. Передали по кругу, нам на зависть. Закурили. Полулежат они удобно на насыпи, в вольных позах, которые дарует лишь физическая нагрузка, и на нас изредка с равнодушием поглядывают. Добавить, что в это время Ту-144 как раз над всеми нами пролетел? Перебор?.. Но белая стрелочка истребителя ползла, как букашка, по небесному своду — это точно. И мы тронулись наконец. Мужики вслед за нами поднялись: мол, хватит разлеживаться, пора кончать. Тот, кто правил, теперь к лямке пошел. Его, стало быть, черед. Допашут, стало быть, это они друг на друге, сядут на своих стальных коней и помчатся к дому. Плуг, наверное, под кусточком замаскируют, чтобы завтра вернуться. А нет, так в коляску он вполне влезет... Помчатся эдак они, и пыль за ними хвостиком завьется, как старое за новым.

Даже просторно стало. Я к своей зубной щетке электробритву «Эра» приложил и в буфет сбегал. Вдруг, думаю, там в буфете «Камю» есть. Бывает же такое. Теперь реже, и все-таки бывает... Не было. Выпили мы только с попутными мужичками в тамбуре пива да портвешком отлакировали. Уютно в тамбуре! Площадка под ногами лязгает, плевки, окурки... Подавленное желание дернуть наконец за стоп-кран. Дверь хлопает, проходящие с пониманием и тактично взглядывают. И в вагонном оконце солнце сверкает, будто это Россия,

и за окном свет белый мелькает, будто это Россия, и два грозных попутчика меня приласкали, будто это Россия, и я их обожаю, будто это Россия. Но это и есть Россия.

Другое дело Германия. Делают же немцы! Совсем в купе просторно стало, и даже пейзаж в окне стал помещаться. И покачивает меня уютно на моей полочке в этом шкафчике, в этом домике, и становлюсь я собранный, упакованный и знающий свое место, как моя зубная щетка, мне параллельная. И мысли у меня, в такт, складные и складные — о чемодане. Вроде бы известное дело — чемодан... Но если даже крохотную толику о нем как об опыте, как об данном нам в ощущении рассказать — безнадежно в сторону пойдет все повествование, застрянет на подъездных путях и ожидании встречного, а там как начнет их, встречных, пропускать одного за другим... Опоздаем. Впрочем, вот великое успокоение и разрешение: УЖЕ опаздываем!

Итак, ЧЕ-МО-ДАН... Слово-то какое неожиданное, не менее, чем «бегемот». Или «крокодил». Крокодиловой кожи. А что, может, и крокодиловой, радуюсь я воспоминаниям. Есть у меня и такой, в моем арсенале. От легендарной тети Фриды, Эльфриды Ивановны (Иоганновны), двоюродной моей бабушки. Лежала она у нас на кухне после войны, как вещь, и было про нее известно, что красавица была писаная и был у нее в Париже РОМАН или роман в ПАРИЖЕ, не знаю, как уж и передать восхитительное и жуткое звучание этих слов в ослабленном блокадой воспаленном среднем ухе сорок девятого года. Себя мы любим. Сейчас меня более изумляет не то, что тетя Фрида там была со своим романом, а то, что я мог себе тогда под этим представить. А роман в Париже — это что. Теперь-то это что. Всех и делов. Сейчас это роман В париже. В — тут теперь с большой буквы, даже не Париж. Так вот, в те годы это был даже не чемодан, а — огромный сундук тети Фриды, занимал у нас в квартире полпередней, как тетя Фрида на кухне полподоконника. Огромный кожаный сундук с двумя по бокам ручками. Кожа была НАСТОЯЩАЯ. В те годы кожа воспринималась не как там какая-нибудь кожа на лице, а как кожа на подметке. Настоящая кожа — это было такое цоканье языком, и вздох, и закатывание глаз. Потому что был еще КОЖИМИТ и ЛИМИТ. Лимит на кожимит. Златая цепь на чемодане том! Этаким бронзовенький замочек на цепочке запирает его, и ключ

был у тети Фриды на шее. Я подкрадывался к кухонному окну и трогал тетю Фриду за ключик. Тогда она открывала глаза.

Я не знал, что в сундуке. Интересоваться чужими вещами считалось столь неприличным в нашем доме, что я так и не осмеливался на это вслух. Этот кожаный сундук был окован по углам толстой кожей, перетянут двумя могучими ремнями, медные шляпки гвоздей... Я гулял вокруг да около сундука, потрагивал да позвякивал то замочком, то цепочкой: «Тпру-ру! Но-о». Лошадь приходила мне на ум, тогда они еще в Ленинграде были. У лошади сбруя была тоже с медными шляпками. Да и как увезешь такой сундучище, не иначе как в санях... Крышка сундука была гофрированной, что скорее всего и могло быть «крокодиловой» кожей. Лошадь впряглась в ремни сундука, сундук летел по снегу, снег запорашивал спину крокодилу... Тпр-р-у! Ничего в том сундуке не оказалось: сломанный зонтик с заплесневелыми рюшами да связка писем, не по-русски писанных, да букетик со шляпки, — все это на дне: казалось, дно было усыпано измельченными крылышками бабочек. Тетю Фриду вынесли и положили на сундук. Раскрыли обе створки дверей, чтобы все это прошло, проехало. Я был уверен, что их, наконец соединившихся, так вместе и вынесут. Но вынесли одну тетю Фриду. Сундук остался. С парижской пылью. То, что старшие называли его чемоданом, было, безусловно, для меня шуткой, а поскольку чем люди старше, тем меньше у них остается шуток и тем чаще они повторяются, то шутка эта вызывала мое смущение как «несмешная». Какой же это чемодан! Это даже и не сундук, настолько он как бы уже и «мебель».

Через много лет один философ, грузчик из мебельного магазина, пролил мне свет... Это была потрясающая личность, самородок, недоучка, могучий провинциальный интеллект, он меня безусловно «подавил». Впрочем, такая была у него и цель. Как только он на меня взглянул, его уже ни мой гарнитур, ни его гонопар, ни я сам не интересовали, — он видел во мне «жертву» и дрожал от нетерпения. Этот его быстроватый, лукаватый взгляд его выдавал. Конечно, он меня интриговал и «достал». Я тут же попал в комплекс и зависимость от этого самобытного человека «из народа». Беседовали мы за тем самым столом и на тех стульях, которые только что привезли. Он нашел во мне

восторженного слушателя, думаю, что его даже разочаровывала легкость моей сдачи, без «борьбы». Я тут же признал его первенство. Теперь мне становится понятно, что в этом была-таки доля социального высокомерия, и она его задевала. Так что, внутри внешнеочевидной победы, он меня подозревал и теперь хотел добиться победы не снисходительной, не формальной, а действительной и полной. Ему надо было, чтобы я его не просто признал, а признал его выше себя — иначе какое же признание?.. Я признал его и выше, пожалуйста... Он меня заподозрил еще больше и удвоил давление. Мы же еще и выпивали! Интеллект его рос и разрастался. Конца ему не было. Наконец эта бездонность смутила его самого, и он меня «добил», как бы сжалившись над поверженным. «Вот скажи, — сказал он, — что есть перво-мебель?» — «То есть?..» — «То есть от какого предмета произошла вся она и до сих пор обратно к нему же и сводится?» Я с недоумением обвел глазами вокруг — по гарнитуру, как бы для наглядности урока представленному. Как двоечник, останавливал я затравленный собственной тупостью взгляд то на одном, то на другом предмете, а он снисходительно покачивал головой: нет, нет и нет. «Сундук!» — наконец провозгласил он и, насладившись моим недоумением, разъяснил: «Сядь на него — будет лавка, накрой — будет стол. Приделай ножки — стул, поставь на попа — шкаф...»

Так пристрастие мое к чемодану обрело запоздалую теоретическую базу. А пристрастие, если проглядеть всю жизнь под этим чемоданным углом, таки было. Сначала мечтой был такой чемоданчик — кто его помнит, с ним даже дамы послевоенные как с сумочкой ходили: коленкоровый, с круглым зеркальцем внутри, на крышке, и кармашком, стянутым резинкой. Все такие вещи приходят к нам, конечно, необратимо поздно: после того, как мы о них первыми помечтали, после того, как они вошли в моду, даже после того, как они из нее вышли. Не будет у меня ни первых дубленок, ни первых джинсов! И все-таки они приближаются. Разрыв между воображением и обретением по-прежнему вмещает в себя и рождение, и смерть моды, но в то же время и — сокращается. Правда, сокращается он лишь тогда, когда слабеет желание, которое эпитет «страстное» так точно когда-то отражал. Так, следующий мой чемоданчик, так называемый «тренировочный», по-

явился у меня уже быстрее, не тогда, когда с ними еще никто не ходил, но и не тогда, когда с ними ходить перестали, а ровно тогда, когда с ними все ходили. Прогресс! господи, в какие бездны ввергаешь ты своим возвышением! Этот рыжий, с металлическими уголками, этот кирпич с ручкой, — как он пропах моим потом, пролитым во имя будущего, когда я стану стройным, сильным и красивым!.. когда я одним из первых пройду с так называемым «дипломатом».

Как быстро я перескочил! сколько пропустил еще чемоданчиков и чемоданов, мимолетной мечтою отметивших мой жизненный путь! Из всех них родился и вырос в моем ущербном... образ некоего суперчемодана, чемодана чемоданов, самого своего, самого удобного, самого персонального — чемодана, заменяющего мне все. Недавно, в бумагах, наткнулся я на его многочисленные наброски, перерастающие в чертеж и проект. Он сочетал в себе идеи мольберта, кульмана, верстака — кабинета и типографии. Его можно было бы сложить в одну минуту, чтобы двинуться в любом, волею случая подсказанном, направлении, и там, в неведомом углу, единственным требованием которого являлась крыша, в ту же минуту этот чемодан раскладывался в столик с пишущей машинкой, собственной конструкции членистоногой лампой, пепельницей, кофеваркой и чуть ли не даже (спорная деталь проекта) таким небольшим скромным кюветом, в листик уместившем мою потребность в семье и даже боге. (Зачем же я только что так возмущался немецкой конструкцией?..) И так, в минуту, сплетал я на любом чердаке свою творческую паутину и, изловив крупницу замысла, высасывал некий ТЕКСТ, присваивал его и, тут же сложившись, опять перемещался, имея в руке столь удобный чемоданчик, содержащий в себе все, без чего я якобы не мог обойтись. Означали ли подобные перемещения неумолимое стремление к цели, именуемой назначением, или очередное поражение в очередном жизненном пространстве — неизвестно, однако сама идея чемодана, столь быстро и необходимо уложенного, очень напоминает побег. Обидная эта идея, по счастливой лености автора, осталась в проекте. Да и могла ли быть окончательной столь совершенная идея? Представление о материале и исполнителе останавливало меня. Идея казалась мне слишком современной, чтобы быть выполненной на отсталом нашем уровне.

Это я-то полагал себя прогрессивным! Не мог я еще осознать, что современен-то как раз уровень исполнения, а идея — отстала. Устарела. Как понятие «умелец», «ремесло», «заказ»: нерукотворность теперь другая — не божественная, а машинная. Вещь может быть своей только как собственность, только как стоимость экземпляра — она никак не твоя, твои только были деньги. Возможность овеществить свой индивидуальный вкус подорвана прежде всего тем, что вещь перестала носить на себе печать индивидуальности того пирожника и сапожника, того чемоданных дел мастера, который был да сплыл, едва побарахтавшись в волнах нового времени под кличкой кустаря-одиночки. Как не понять этого на собственном примере!

Вовсе не худшие вещи не выдержали конкуренции, а как раз отмеченные печатью неповторимого мастерства. Как и мамонт вымер не оттого, что стал слаб и плох (и самый последний мамонт — тем более был величайшим животным, раз всех пережил...). Мамонт вымер, так и не встретив последнюю мамонтиху. Два прекрасных и могучих зверя не нашли уже друг друга в пришедшей им на смену повенской геологической эпохе. Миф об ущербности и вырождении уходящего всего лишь леств выживающих самим себе.

Прервем же эту жалобу пишущего кустаря реальным впечатлением жизни... В городе имени Петра I — Амстердаме — посетил я чемоданный магазин. Так он был доверху забит именно моими чемоданами, причем такого разнообразия индивидуальных назначений, такого «количества наименований» не рисовало мне и мое изголодавшееся воображение. Не могу сказать, что это меня восхитило, — это меня разочаровало. Моя личная, моя индивидуальная идея оказалась отнюдь не нова, а вполне серийна и даже модна. Ну, то-то ладно, что «они», особенно в области ширпотреба, нас пергнали; что то, о чем ты только еще подумал, что такое теоретически как бы может быть, — так оно у них уже есть и вот-вот уйдет в прошлое; это-то пусть, что любая идея находит себе форму товара, утилизируется и исчезает, как бабочка-однодневка, оставив после себя мертвую форму, как та же бабочка свой хитиновый покров; это-то ладно, что она уступает тут же место следующей форме и иному помыслу, тут же превращающемуся в промысел... Куда такая гонка?

Ведь вот что примечательно в российском увлечении

импортом: он нам подменил кустарное производство. Обладание каким-нибудь магнитофончиком или джинсами — выделяет нас из толпы как носителя вкуса и социальной привилегированности, как индивидуальность. Какую тоскою разочарования, каким бездушным могоильным холодом может повеять от очевидного представления, что таких джинсов или таких магнитофонов, идентичных до пуговки и винтика, одинаковых до молекулы, — миллионы! В том-то и прелесть обладания западными вещами в России, что они нас отличают, что мы их одушевляем. Чудовищная спекулятивная цена за джинсы обеспечена этим одушевлением продукта: это стоимость подлинного рукодельного труда на том же Западе. Сколь патриархальна идея джинсов в России! столь же, сколь прогрессивно вырождение кустарничества и народных промыслов как отсталых форм производства.

Нет, не дикарское уподобление обмена золота на фальшивые бусы (хотя и оно имеет место) здесь у меня на языке, а — ностальгия, парадоксальная двойная ностальгия русского человека: одновременно по прогрессу и патриархальности, пожалуй, уже не один раз полностью продиффузировавших друг в друга. Никогда порознь и всегда одновременно, в ногу — эти две идеи, патриархальности и прогресса, так измучившие Россию своим непобедимым сосуществованием, преграждающим переход из состояния времени в состояние истории и из состояния пространства в состояние культуры. У нас и джинсы — это икона (причем буквально, в денежно-товарном выражении), и ракета — это ковер-самолет.

Великая страна! У нас сломают или употребят любую игрушку цивилизации без особого восторга или удивления. Сочетание «старого и нового», столь характерное для революции, не является моментом перехода из старого в новое. И старое само по себе, и новое само по себе. Слезая с мотоцикла последней марки, мы падем обочину деревянным плугом и, отвалившись в очередной перекур, затягиваемся «Мальборо», которого нет в Москве, но которым раз в столетие оказывается завален наш сельпо с запылившимся на верхней полке «Наполеоном» и очередным отсутствием хозяйственно-го мыла и «Беломора» на полке нижней; а затаившись «Мальборо», смотрим мы в небо, в наши стиранные-перестиранные небеса, где ткет свою смертельную нить

сверхзвуковой истребитель, наш летающий в стратосферу плуг. И космический наш корабль не так далек в сознании от телеги, и затеяли его в свое время столь же хитрые и умелые мужики, что могли когда-то веревочкой подвязывать колесо, потому что ехать надо дальше... Потому-то и способны мы до сих пор, хотя и реже раз от разу, к небывалому-то как раз и подойти с чрезвычайною простотою, невзначай взяться и в одночасье сделать как само собой разумеющееся, а то вдруг такую фантазию вбок наворотить, что и самим по три столетия не разобраться.

И, переводя взгляд с нашего «отсталого» на их «передовое», с бурлачков на насыпи на безукоризненный интерьер купе, не так уж я бываю расстроен и смущен... Не приведи, боже, нам этому научиться — какой будет кошмар в наших масштабах, какое исчезновение души... что не одушевить нам уже наше пространство вовек, как не удастся же и мне за целые сутки одушевить вот это образцовое купе... Не то страшно, что мы еще так не можем, а то, что уже так хотим.

Кстати, об Амстердаме (в смысле, что я там был...)... то есть о Петре... То есть о них обоих (или о нас троих...). То есть что-то мне его напоминало в самом себе (я не сравниваю, естественно) — некое узнавание себя в нем. Надо сказать, Петра там и до сих пор хорошо помнят. И не то чтобы специально для нас, русских туристов. Помнят. Он произвел сильное... Своими размерами, представлявшими, в масштабе, саму империю, о которой они понятия были тогда небольшого. Они и сейчас расскажут про потолок, в который он плевал, покажут и дерево, под которое он падал после «ассамблеи». Он произвел, но и на него произвело... Впечатление было сильное, в мозгу гениальное, но как бы иногда немного расплывчатое. Чем-то схоже то, что он завернул в России по возвращении, и с моими воспоминаниями — с этим шоком сравнения — на фоне заграничных приемов, с тем отличием, что у меня не появятся возможности и желание впечатление это воплотить и воспоминанье сделать явью.

Начав с Петра, Петром и кончим. Кстати, и о пальмах первенства... Мой друг В. С., из лучших ныне здравствующих русских поэтов, когда мы очнулись после новогодней ночи в какой-то новой местности и, колотясь от ранней утренней стужи, проведали пристан-



ционный ресторан, где, однако, ни пива, ничего не оказалось, глядя на пустые прошлогодние скатерти и пальму в кадке, побеждавшую заоконный двадцатиградусный мороз, сказал так: «Пальмы, старик... Россия!»

### *ПОЧЕМУ Я НИЧЕГО НЕ СМЫСЛЮ В БАЛЕТЕ...*

Смена исторических эпох на самом деле значительно круче смены геологических эпох, поражающей умозрение своей непоправимостью. Разница в том, что история происходит на наших глазах. Легкое сожаление по поводу мамонта и саблезубого тигра, по сути, не более торжества выживших: мы жизнеспособны, раз их нет. Всякого рода кладбище и пепелище демонстрирует нам прежде всего то, что мы-то целы. По этой причине так победоносен человек на Земле.

Мой дед родился еще при крепостном праве, моя дочь была зачата к столетию его отмены (1961), которое никак у нас отмечено не было. Психологическое основание было глубже идеологического: слишком это, оказывается, было недавно! еще твой дед вполне мог быть рабом. Для нас, родившихся при новом строе, понятие «до революции» было отодвинуто так же далеко, как и «до Рождества Христова». Между тем я родился, когда Советской власти еще не исполнилось и двадцати лет. Тогда еще оставалось много вещей ТОЙ эпохи, еще больше людей, но я уже не мог воспринимать их: и вещи, и люди уже доживали, а не жили, ибо жизнь — это именно воспроизведение, а не замкнутые жизненные процессы. К тому моменту, когда я стал способен об этом задуматься, из бывших вещей воспроизводились лишь папиросы «Герцеговина Флор» (их, как оказалось, курил дореволюционный человек), почему-то печенье «Мария» (правда, по новому правописанию), да еще балет (при мне происходило вытеснение привычного «Мариинский» новым «Кировский», теперь произошло)... не сразу я понял, что в подобном ряду наиболее значителен сам город, в котором я живу, — город, по-новому названный, новыми людьми населяемый, но все тот же — Петербург. В этом городе все соотносено с чем-либо, до него бывшим: Северная Венеция, Северная Пальмира, второй Париж, но не вторая Москва... Тут я учился ходить по второй в Европе площади (Дворцовой), видеть самый большой собор после Св.

Петра (Исаакиевский), наблюдать одну из самых больших мечетей (на этот раз почему-то не вторую, а третью в мире)... Если уж не первое, то самое большое. Да что говорить! Напротив моего отчего дома росла, по нашим сведениям, самая большая в Европе пальма (из растущих в оранжереях), в нее, как и в единственного слона (наверно, тоже самого большого, по крайней мере из живущих на шестидесятой параллели), угодила во время блокады бомба... Пальма и слон погибли на периферии детского сознания, а Петербург опять уцелел — и Петропавловская крепость, и Зимний дворец, и Медный всадник, и ростральные колонны, и сфинксы (хотя и древнеегипетские, но уж, безусловно, самые северные) — в общем, ПЕТЕРБУРГ, в котором, «может быть, родился и я», в котором жил и Пушкин, который основополагал и Петр, Петербург, в котором классицизм и барокко будут как бы чуть поточнее, чуть более классичны и чуть менее барочны, в котором стремление догнать означало подавленное «превзойти». И есть такое ощущение, что этот придуманный и навязанный России город — вечен, что с ним уже не вяжется его юный возраст (каких-нибудь двести-триста лет). (Кстати, из черного архитектурного юмора: «Что останется, если на Ленинград сбросить Н-бомбу?» — «Петербург».) Он вечен не древностью и жизнью, как Рим, — он был задуман как «вечный», вечным он был уже в голове Петра, до первого топора: он неподвижен в сознании. Оттого каждый в него приезжающий попадает не в город своих представлений — не в город Петра, Пушкина, Ленина — он попадает именно в тот же Петербург, вечный, в котором и эти люди, составившие ему славу, лишь бывали, — так же «блистали в нем и вы». С человеческой точки зрения Петербург не город Петра и Пушкина, а город Евгения и Акакия Акакиевича — те же чувства породят в вас эти великие декорации, какими волновались души этих героев, какими, надо полагать, хоть и не нам чета, были взволнованы умы их создателей. И в том Петербург, второй и третий в своих площадях и ансамблях, — наконец и навсегда первый и единственный город. Загадка его, заданная Петром, не разгадана от Пушкина до наших дней, потому что ее и нет, разгадки. Фантом, оптический эффект, камера-обскура, окно в Европу, в которое вместо стекла вставлен воображаемый европейский пейзаж... И тут все мои упоминания, столь бессвязные: о мамонте, крепостни-

честве, пальме и слоне, барокко и балете, — сходятся в одно: «Может ли быть материализован идеал?» Не может. Но вот же он! Петербург, сам по себе произведение — возможно ли символизировать символ, абстрагировать абстракцию, идеализировать идеалы, фантазировать фантазию, допустить условность внутри условности? Окажитесь в Петербурге зимой, осенью, белой ночью (желательно в ясную и безлюдную погоду) — вы войдете в картину Кирико, вы окажетесь в положении литературного героя даже не читанного вами, даже не написанного никем произведения и, сами того не заметив, ощутите то ли на плечах пелерину, то ли на голове цилиндр, то ли ноги ваши обтянуты трико, и вы вылетаете из-за кулис на авансцену под углом героев Шагала, перебирая в полете ногами, ощущая на себе, как пастернаковский Гамлет, «тысячу биноклей на оси». Человек, родившийся в Петербурге, родился в балете — как же ему воспринять эту пыльную неуклюжую условность, когда его впервые поведут в знаменитый Кировский (б. Мариинский) театр? До сих пор в моем сознании это первое тошнотворное головокружение от условности внутри условности, от условности, подражающей условности... В те времена условности в декорациях была недопустима, они были «как настоящие»; зрители особенно охотно аплодировали смене декораций (теперь мне мерещится в этих аплодисментах искренность облегчения, род разрядки при встрече с понятным и доступным сознанию...): мы видели настоящую Петропавловскую крепость, которую уже сегодня видели настоящую, падал настоящий снег... под наши аплодисменты выпархивала под этот снег голая балерина, в белоснежной же пачке... Своими прыжками через сцену она «выражала» горечь встречи с любимым человеком, о чем мы все успевали прочесть в программке в кратком изложении содержания во время антракта; так мы сидели не дыша, совмещая только что прочитанное с только что увиденным, и в нужном месте догадывались хлопнуть по выражению лица примадонны... так и не удалось мне отделаться от этого жгучего и непобедимого детского чувства стыда и неловкости, в котором еще и никому нельзя признаться, от этой заданности и обязательности восторга, от этой всеобщей повинности до нас рожденной славы... стул проваливался подо мной, и я снова и снова сидел, невидимо красный и потный, зудящий от стыда за себя, неравный

в своем эстетическом развитии всему зрительному залу, так до сих пор никому в этом и не сознавшийся. Я и сейчас воспринимаю все это почти так же, слегка по-растратив способность к стыду, слегка обучившись просвещенному виду: «Так называемая вторая позиция, столь неэстетичная, к несчастью, чаще всего встречается в балетном танце. Движение ног в сторону — это самое вульгарное движение. Что может быть некрасивее расставленных ног? Какое может быть движение при этом естественным? А ведь на этом строится большинство *pas*, например: *глиссад*, *ассамбле*, *эшапе*, все *антраша* и т. д.; отчего же к этому уродливейшему, плоско-му телоположению сводится главным образом техника балета?» или: «Самым типичным, самым балетным и самым любимым всеми почитателями «классицизма» считается знаменитое *фуэте*. Для меня это самая ненавистная, самая лживая выдумка балета. Балерина, вертясь в этом *фуэте*, выражает какой-то экстаз, стремительное движение должно выразить веселье, подъем... а что же выражает в это время поза балерины? Совершенно противоположное. Балерина ищет в своей позе равновесие, и к нему сводится весь смысл позы, корпус держится прямо, голова тоже, руки симметрично, глаза устремляются в одну точку. А что выражает лицо? Погоню за равновесием и страх потерять его». Уж в чем, в чем... в чем-то мы, может, и занимали второе и даже третье место, но в балете — неоспоримо первое. Как *петербургское*, в чем-то более совершенное *барокко*, так и балет наш, позднее европейского выколоченный из крепостных актрис, был, наверно, в чем-то более совершенен; но почему же в мире, поменявшем и изгнавшем все прочие значения и знаки старого мира, один лишь балет уцелел на прежнем своем неискоренимом уровне? Крепостная природа актрисы, теперь недоступной и свободной богини новой жизни, сменилась новой природой зрителя, возвысившегося до того, что, «принадлежащая народу», она танцевала «для нас». Нет, нам никому не были известны *закулисные тайны*, отчасти позволившие именно этому искусству всегда выживать и выжить... все эти *уксусные соображения* могли принадлежать лишь будущей эпохе. Но как же именно самое условное, самое господское, самое элитарное искусство стало и самым «народным», не подвергавшимся не только *остракизму*, но и сомнению, было мне и тогда непонятно. Я рожден любителем балета, и я его уже не

полюблю. С той же грубостью и примитивностью я не выношу теперь всеобщее парное катание по телевизору — хотя это и впрямь примитивно. Теперь, в эпоху распределения, балет наконец занял более или менее свое место: и билетов в Большой театр вы не достанете (в Кировский — тоже), и бриллианты неплохо бы надеть... фигурное по телевидению — это то же, за что выдавался нам балет, но наконец-то для всех. «Нехороший я человек, злой...» Но и сейчас меня злит то же, и нам не понять друг друга. Запад быстро называет явления, находит до обидного краткие и точные слова... «Poor eating habits», «Poor look fashion», — по-английски это хорошо сказано и прекрасно выражено, но по-русски это до сих пор звучит возмутительно. Вот я там и сижу, все тех же семи своих лет, с недогрызенным сухарем в кармане и опережающе модно одетый. Мне и сейчас куда доступнее понятия, никогда не переводимые на английский: «дополнительная порция» и «усиленное питание»... и вот я там сижу, и мама, отстояв две морозные ночи, достала на гастроли Улановой, на непонятную ни уму, ни сердцу, ни желудку «Жизель», и я не даю маме смотреть, толкаю ее в бок и тереблю за рукав на каждом выходе: «Это она?» И мама досадует, и одергивает, и шикает. Я ее извел. И вдруг я забыл, чего жду... Больше я не спрашивал, Уланова ли это. Ничего более прекрасного я с тех пор не видел. Но, господи, сколько же мне предстояло еще увидеть, узнать и понять! И ни в чем из того, что мне предстояло, Улановой больше не было.

## ГРУЗИНСКИЙ АЛЬБОМ

То ли грузины плохо помнят свои адреса?.. Все мысли о нации — слабы. В который раз я взбираюсь по той же крутой улочке, на которой зря ступенек нет. Не парочко же, диктуя адрес, перепутывать номера дома и квартиры? Я старался не подключить мнительность. Очень было бы обидно. Хотя что и говорить, знаменитое гостеприимство, перекочевав в эпоху наших коммуникаций, может стать для хозяина зловещей традицией. На память, кстати, приходит эпизод из «Дрозда», в котором, в апогее суеты и неуспевания, к герою является погостить туристская пара. Кажется, герой не может

вспомнить имени их рекомендателя. Какой точный эпизод, думаю я. Тем более что Грузия у нас одна, Тбилиси один, твой дом один, а ты-то сам, ты-то! Бесспорно, что один такой режиссер — Отар Иоселиани. Однако я склонен объяснять эту чаще, чем у нас, встречающуюся путаницу в цифрах иначе: для них все еще естественнее произнести «дом такого-то», чем «дом номер такой-то». Надо было мне, чем искать неправильный номер дома, спросить «дом Иоселиани». И толстый усатый лентяй в майке, свесившись с балкона бок о бок с полосатым матрасом и, может, поэтому имевший смешное сходство с тигром, рассмотрев меня и взвесив, совершил бы наконец подвиг перемены позы, чтобы ткнуть пальцем в дом напротив. Я бы дернул за сохранившуюся медную пуговицу, и где-то в пыльном неведомом удалении, которое мне предстояло, прозвякал бы, к моему удивлению, колокольчик... Долго бы никто не открывал, долго бы рассматривал я глухую дверь с чувством, с каким рассматриваешь внутреннюю сторону век, долго бы шаркали шаги, открывалась бы дверь — я бы опять думал, что не туда попал, извиняясь за себя перед высоким худым стариком, извиняясь, что я такой: не туда все попадаю, — он бы смотрел на меня с тем любопытством, которое особенно живо на лицах людей, всегда сохраняющих собственное достоинство. «Здесь живет Отар Иоселиани?»

«Это мой сын», — с некоторым удовлетворением отметит отец и впустит меня. Мы проследуем по небольшой лестнице на бельэтаж. Он предложит мне пройти направо, а сам уйдет налево, и больше я его не увижу. Отар (это его почему-то характеризует) расцелует меня, глядя мимо, будто не меня целуя. Так он спрячет взгляд сначала слева, потом справа, а потом пройдет вперед. Получится, что я его просто чудом застал — он как раз уезжает. С одной стороны, выходит, удача. Я присутствую при сборах кинорежиссера в дорогу. «Русский товарищ навестил грузинского режиссера накануне его отъезда по приглашению эстонских кинематографистов».

Собирается он с удовольствием. Его дом его окружает. Мне, рассмотревшему его фильмы, интересно здесь озираться. Вот выцветший гобелен, вытканый из сумрака и пыли, вот знакомая мне бамбуковая этажерка, рассыпавшаяся в прах в моем детстве, вот не то фарфоровая борзая, не то пастушок со свирелью, теперь уж

и не помню что. Вот его дочка, которая лепит, рисует, играет на пианино, — вот то, что она слепила, вот, что нарисовала, вот — песенка без слов... Все то, что уцелело от эпох и торгов в силу того, что не имеет стоимости (никто бы и не купил), в этом доме еще стоит, служит и узнается как бесценное. А вот на стене фотографии, и будто я их уже видел... Очень уж любили когда-то сниматься. Доверяли граммофону. Задние стоят на стульях, а самые передние — уже лежат на полу, опершись друг о друга головами. Беспечные, однополчане и земские, выпускники и присяжные, будто пытаются остановить время, которое проходит. Знали бы, что совсем уйдет, знали бы, как кстати успели сфотографироваться... Как много было мужчин когда-то... Так это же первый эпизод «Листопада»! Очень много мужчин на фотографиях, и только женщины сидят вокруг стола живые. Я видел эти фотографии в кино, я вижу их на стенах. Единственный мужчина в доме — персонаж времени, персонаж Отара.

Так я озираюсь, примитивно знакомясь с миром художника, удовлетворяясь сходством по первому слою. Имея такое лицо, думаю я, глядя в Отарово и действительно необычайно длинное лицо, не мудрено знать и понимать в лицах... А понимать лицо — это все для кино. Может, всего два-три режиссера понимают... «И те носки, — говорит Отар, прерывая и разматывая мои соображения, — которые, помнишь, я в прошлый раз из Москвы привез, — диктует режиссер жене, — красные, с зеленой полосой, шерстяные, толстые, и шнурки длинные, белые...» У режиссера мозоль. Значит, так, он берет с собою свитер черный, туристские ботинки, рубашки — одной хватит: эту он на себя надеет, — больше он ничего не берет. Детали его сцен лаконичны и отобранны, как вещи с собою; содержимое саквояжа лаконично, как сцена. И опять то же удивление: я ли видел Тбилиси и раньше таким, каким отснял его Отар, или теперь я вижу его таким, после того как Отар мне его показал? Отар ли живет, как его герои, или его герои живут, как Отар? Тбилиси ли такой, как Отар, или Отар такой, как Тбилиси? Отражен его мир или выражен? Что мы узнаем и в чем? Мир — в отражении или знакомое нам отражение — в мире? Мир, которым нас паразит художник, находится на расстоянии вытянутой руки. Сличая мир, им выраженный, с миром, его окружавшим, я обнаруживал, что Отар ничего не искал,

а это означало, что все нашлось само, сунулось под руку, всегда было. Казалось бы, просто... Надо было только родиться в этом доме, на этой улице, в этом городе, в наше с вами время — нет более исключительных условий для рождения конкретного, именно этого таланта. «И положи в саквояж ту мою, такую длинную, записную книжку...— вспоминает Отар, вдевая длинные шнурки в толстые ботинки.— Как бы я хотел,— крихтя, говорит Отар, шнуруя и взглядывая на меня снизу своим длинным лицом.— Как бы я хотел, чтобы ты ко мне приехал...»

Вы приходите — вас не ждали...

Зато окажется, что когда вас позавчера познакомили на улице, а вы не запомнили имени, то «заходите» — было сказано всерьез, а ваше «да, да, конечно» стало обещанием. Окажется, что это очень трудно — выкроить время в своем полном безделии на этот внезапный вечер — целая деятельность. Суета подымает случай на уровень мероприятия. Вы идете «в один дом, послушать музыку»...

(Незримый дух Отара ставит мне этот эпизод...)

Вы ничем не обладаете, кроме доверия к вашему спутнику, — ни временем, ни представлением. Эта система доверия и неведения будит воображение. Вы не можете вспомнить какой-то воздух, какую-то оскомину: что-то напоминает вам ваше ощущение с великой степенью неопределенности, с неподтвержденной конкретностью... Вы погружаетесь в детство. Вас за руку ведут. Вы идете «в один дом» — перед вашими глазами встает такой «вообще дом» почему-то с маленькими колоннами, балконом, деревом, черт знает почему — не такие дома выстроены в вашем опыте, а представляете вы себе всю жизнь именно такой; он уцелел в одном лишь вашем мысленном взоре, на грани сна... Эта инфантильная неопределенность — романтична, даже романична, то есть откуда-то вычитана или вычтена. В вас выделяется позитивизм. Но вы подходите наконец к вашей цели — и это именно такой дом и есть, даже какое-то подобие колонн... не то чтобы колонны, но все-таки... Напротив, за забором, и ночью строят: там рев бульдозера, слепой луч прожектора, как в зоне, растворяющийся в небесной черноте недостроенный небоскреб, грузинский СЭВ. Значит, по соседству с вашим огромным не-



достроенным современным опытом все же уцелел и этот домик, как младенческое воспоминание: то ли вы сами его помните, то ли вам мама рассказала. Вы идете «в один дом», «в одно славное семейство», и в вашем голом, вычитанном воображении — гостиная, картина, скатерть, вишневое варенье и размытые лица хозяев вокруг стола, выражающие сердечность и достоинство, свидетельствующие почему-то о любви именно к вам, — с чего бы это? И во всей этой приятной приблизительности на вопрос: «Куда же мы все-таки идем?» — особенно сладко увязает: «Нана — замечательная девушка». Это мнение подтверждает и встреченный по дороге еще один приятель: он присоединяется к нам. И хотя «замечательной» можно лишь стать, а девушкой — надо быть, эта невеста ждалась именно вас.

Чего вы ждете?

Все оказывается таким. И даже еще более таким, чем вы себе несознательно воображали. Вас впускают. Неужто горничная?..

По маленькой лесенке вас проводят и оставляют в маленькой промежуточной комнате, где есть большое зеркало, и мягкие кресла, и прикрыты двери, ведущие вглубь. Комнатка не вполне ясного мне назначения — для прихожей слишком обставленная, для комнаты — нежилая. Сюда вынесено кое-что лишнее из дальнейших неведомых мне комнат: рояль, на котором нам будут играть, шкафы со случайными книгами, старинный письменный столик на трепетных ножках, на котором только и можно написать что три строки на четвертушке бумаги — стол выдержит еще один почтовый поцелуй, и будто случайно лежащий именно здесь фотоальбом.

Мои друзья стоят, держась за тяжелые портьеры, курят в темное высокое окно, будто после тяжелого для них разговора, обо всем, однако, договорившись: им-то что. Я пересидел во всех креслах, много раз отразился в зеркале. Со жгучим интересом и небольшим стыдом пролистал фотоальбом... Вот бабушка, бывшая бабушкой еще до революции, в чем-то вроде фаты, прижатой круглой черной шапочкой, напоминающей бубен из ансамбля пляски; но что-то неуловимо другое есть в том, что этот убор для нее естествен, это ее одежда, а не национальный парад. Она смотрит на вас с неосуждающим незнанием, и можно незаметно смутиться под взглядом этих молодых глаз на старом и мудром, как

земля, лице. Удивляет этот взгляд — словно только чистота, выдержавшая век, все знает. Вот — горный орел, выпятив грудь, не спутав темляк с аксельбантом, смотрит на вас, за роскошными усами скрывая необязательный для мужчины ум. Дедушка? Папа? Может, это на него глянула так весело и прямо, будто ее окликнули внезапно, но пугаться было нечего: ничто не таилось в засвеченных выжелтевших кустах и деревьях сада, чего бы могла она бояться, — молодая женщина в длинном платье с высокой, неряшливой прической, с огромной брошкой на высокой груди?.. Чего ей было бояться в своем саду, склонившись над стоящей в траве плетеной корзиной, в которой лежал еще не обиженный будущим, насосавшийся ее младенец, сын фотографа, не иначе. Ибо на кого же еще можно с такой открытостью посмотреть? Он отстегнул аксельбант, сдвинул саблю, поборолся с треногой и, улыбаясь в неудобной позе... Птичка выпорхнула, женщина с дикарским любопытством и сознанием, что все у нее навсегда в порядке, взглянула, бесстыдница, прямо в глаза мужчине-фотографу, да так и осталась, так и смотрит до сих пор, сквозь разлучившую их страницу, на того, усатого... Чтобы, спустя несколько пустых страниц, этим же круглым взглядом смотрела на вас девочка, встав на пенек, прижимая к выпяченному пузу неловко висящего длинного котенка, смотрел бы и котенок... Носик у хозяйки дома бабушкин, да взгляд — дедушкин... Нет, она положительно больше похожа на бабушку, чем на девочку, хотя девочка эта спустя еще несколько страниц скорее всего именно она и есть.

Куда подевались эти лица? Никто никогда больше не взглянет настоялькo в аппарат, так прямо, всему радуясь, ничего не стесняясь. Надо же, чтобы неуклюжий треногий посланец прогресса мог так рассмешить молодую мать! Она совсем не испугалась, не дичилась, диким было только любопытство...

Однако мы уже поселились в этой гостиной; миновал час, еще полчаса. Хозяйка давно должна была бы войти в платье, не иначе как до полу, и переиграть всю эту желтую стопку сонатин и вальсов, проявив поразительную способность читать по нотам... Мое воображение зашло уже так далеко, что разговор со мной мог зайти только о Пушкине; мои друзья вздевали очи и говорили: «Пушкин, о!» — я должен был немедленно прочесть им

вслух «Рыцаря бедного». Я взял томик — как раз эта страничка была вырвана. Но и это восхитило меня.

Потому что, с немалым удивлением и внезапностью, я осознал, что именно, ну, может быть, не совсем так, но именно в таком качестве околачивались в гостиных в те незабвенные времена и отнюдь не считали свое время потерянным, пока я извелся от одной мысли, что время в р я идет, а я ничего не делаю. Хотя ничего не делал я, по сути, задолго до этого часа... А они не спеша провели лучшие годы в гостиных, именно те, кто исписал тома и вошел в школьную программу! Это они написали собрания сочинений, которые служат теперь образцом труда, это они написали бездну писем своим друзьям, а я, как солдат Иванов, строчки матери написать не могу... Это они вот так просидели свою жизнь, не считая ее пропущенной, и в жизни их случилось так мало лишнего, что все запомнить и рассказать можно было, и оттого читаются в наш век их биографии — как сказки.

Мне самому покажется, что я преувеличиваю, населяя собою девятнадцатый век, но, в подтверждение своего рода точности этих моих чувств, войдет наконец часа через два хозяйка, милейшим образом улыбаясь, но уж никак не извиняясь за то, что заставила нас ждать. Взгляд ее обласкает меня, представленного и шаркнувшего, отразится в зеркале, откуда совершенно тем же круглым и ясным взглядом выглянет ее бабушка или она сама, взгляд ее скользнет по нотам, переворошенным мною, упадет на альбом, и, подавив легкий вздох, Нана поцелуется с моими друзьями, и мы пройдем в столовую... Но — круглый стол, но скатерть, но живопись в раме, но сама рама!.. Все будет точно таким, как неразвращенная мечта, а именно тем, что и представлялось в детстве под словом «стол», «чай», «варенье», словно его сварили Ларины за кулисами, — все не разойдется с таким представлением, а подтвердит его, и вы вспомните, как с самого начала должно было быть так, прежде чем вы забыли как, прежде чем стало не так.

Как в детстве, с удивляющей необратимостью мгновения катили в прошлое. Только что вы ждали, воображали, а это наступило, сбылось, а вот и прошло, как Новый год.

После такого ожидания мы уже сели за круглый, тот самый стол. И опять не все сразу вам станет понятно: что после чего, что за чем следует. Нана сама испекла

пирог (вот что ее держало все эти два часа), пирог у нее очень мило подгорел, это ей особенно сегодня шло, то, что он подгорел. Как блузка, как прическа... Потому что пирог подгорел специально для вас, иначе бы его домработница пекла и он бы не подгорел; а уж если Нана взялась его почему-то сегодня печь, то это означает такую готовность, такое обещание! Почему-то именно этот уголь на зубах — гарантия неунывного счастья, бесконечного утра, розового, как пеньюар, как бесстыдно-смущенная улыбка. Вы погружаетесь в эти бездны неразоблаченного кокетства, имеющего тот секрет, что обладательнице его все пойдет, все станет к лицу, даже, например, если бы пирог замечательно удался. И такое долгое ухаживание впереди...

Тут появляются, вовремя запоздав, жены моих друзей: щебет, поцелуи... школьные подруги, выравнивающие возраст прекрасной Наны, которая, становясь неожиданно старше своих лет, так замечательно сохранилась. Это начинает ей с подчеркнутой силой льстить, как тот же пирог. Слово ожидание вышло из ее лет тот срок, на который вы запоздали, и она застряла в каком-то одном вытянутом многолетнем дне, с тем чтобы вы пришли сюда завтра. Она обещает подругам продиктовать рецепт этого пирога...

Вот женщина! Во что я в ней поверю — то она мне и даст. Особая пластика — все движения не окончательны, каждое томит, обещает, содержа в себе тот конечный обман высокой воспитанности, когда вы до самого конца не будете знать, с чем столкнетесь, пока не пойдете на все ради утоления этого раскаленного любопытства. Но такое любопытство можно утолить один раз, а там станет трогательно ясно завершение, окончательность всех этих неокончателюстей, этой плавности, по которой вы приплыли, ибо когда она будет истощена, то, словно повторяя именно этот шевелящийся рисунок, чуть дышит фата — вы уже под венцом. И если займется костер, то это именно вы его разожгли, если он и не затлеет, то, значит, ради вас она пошла на все, на то даже, без чего обходится так же легко, как дышит. Ах, как вы будете растроганы этой холодной готовностью и покорностью, сочтя ее за чистоту или застенчивость... И вдруг вспомните хруст угля на зубах.

Нет, нет и нет! Я уже проделал это дважды. Я ничего еще не делал такого, после чего был бы обязан как всякий порядочный человек... Но именно в этот момент

я капаю вареньем на скатерть. И это такая мелочь, я так должен не обращать на это внимания, что, господи! не расплачусь по гроб жизни. «Да нет же, я совсем не женился, — рассказывал мне как-то грузинский приятель, — просто однажды я обнаружил, что сижу на кухне и ем суп...»

Но, проживя так стремительно всю свою жизнь, примерив столь же не постаревшей Нане траур, который ей был так же необыкновенно к лицу, как и фата, проводив взглядом небольшое шествие за гробом этого огрузинившегося русского, состоявшее из двух моих друзей и их жен, так искренне плакавших... я возродился к новой жизни, поняв, что совсем ее не за ту принял, что это не Нана, а Нина, а Нана — вот она! она входит посреди нашего чаепития с пальцами, измазанными чернилами, так и не разрешив задачи о двух поездах. И пока они, по вине прелестного математика, мчатся на всех парах навстречу неизбежному столкновению, я с умилением рассматриваю свою ошибку...

Что-то произвело на меня однажды крайне сильное впечатление, а я и не заметил... С годами все чаще ищешь причину в прошлом и не находишь. В разреженном просторе детства тогда покажется, что все на виду. Впервые я был в Тбилиси еще в эпоху отдельного обучения. Мне было пятнадцать, то есть эта отдельность имела уже принципиальное значение. С большим волнением стоял я перед могилой Грибоедова. Пытаясь быть честным, могу признаться, что к «Горю от ума» это мало относилось — чувство мое было к могиле, и оно было сродни зависти. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!» Изящно коленапреклоненная плакальщица прижалась чугунным лбом к кресту. Гид сказал, что моделью скульптору послужила сама вдова. Я тут же поверил его акценту. И никак не мог заглянуть ей в лицо, за крест, потому что грот был заперт решеткой. «Счастливчик!» — наверно, думал я, мечтая о юной красавице жене, всю жизнь после меня проводившей. Это ли значит, что «юность витает в облаках»: быть похороненным и оплаканным на чужой земле могло показаться мне счастьем!.. Я был влюблен в соседнюю, более скромную могилу — самой Нины. Еще не любив, я грезил у могилы о верности юной вдовы... Как сказал один великий русский писатель: только русский мальчик способен, засыпая в мягкой постели, мечтать о страдании, о зато-

чении в тюрьму, о каторге. Не уверен, что он прав во всех словах этого утверждения, но я — мечтал. На этой могиле я хотел умереть от любви. Я вспоминаю об этом здесь, как сказал другой великий писатель, исключительно «для венской делегации» (подразумеваются друзья Фрейда).

Я не вспоминаю об этом, когда сижу с сестрами за столом. Но возможно, что именно Нина, то есть Нана, должна с блеском сыграть мне своими чернильными пальчиками грибоедовский вальс... Во всяком случае, почему-то именно эта, неряшливая и неуклюжая, подростковая миловидность не исключает абсолютного слуха. Так мне кажется, пока я наблюдаю, как ее корезит за столом, как она обсыпается пирогом и обливается чаем, не то презирая, не то обыкновенно тоскуя от нашей стариковской беседы. Я ловлю досадливый взгляд старшей сестры, будто извиняющийся за младшую: да, она совершенно не умеет вести себя за столом, но вы бы видели, как она преображается, когда садится за рояль, — словно ее подменили, осанка королевы... откуда что берется?.. Старшая вполне могла бы сказать такой текст, но не сказала. Я же мысленно соглашаюсь с этим предположением, киваю и уже верю в поразительные способности девочки. И единственный, внезапный, показавшийся мне необычайно понятливым взгляд, выстреливающий из глубины ее (для меня уже «напускного») равнодушия, свидетельствует теперь для меня не иначе как об остром чувстве юмора, характерной черте неведомой мне, следующей поросли. Пошлый страх отстать от грядущего поколения толкает меня стараться. И продолжая обращаться ко всем, в частности к ее старшей сестре, которая в это время прибавляет к своим достоинствам столь редкую способность слушать, что необязательно и понимать... я ловлю себя на том, что уже жду этого проблеска внимания в ее мальчишечьем презрении, заискиваю перед поколением и жду поощрения, как старый пес... За этим-то недостойным занятием и застает меня их достойная бабушка, вливая в столовую величественно и скромно, высоко неся свою чуть трясущуюся большую седую голову и, на пределе приличия, рассмотрев меня длинным выпуклым взглядом. Ах, много ожидания было скрыто на дне этого взгляда, какое-то количество обманутой надежды, какая-то надежда на необман. Все это было так скрыто, что величественный и гордый, исполненный

прежде всего чувства собственного достоинства взгляд этот не выразил ничего, кроме того, что скрыл. Испугавшись меня, бабушка села и позволила налить себе чашку чаю со всей внучатой почтительностью, пить его не стала, лишь освятив чашку поднесением к чуть дрогнувшей навстречу голове. Она еще недолго посмотрела вперед, мимо меня, выпуклым прозрачным взглядом, великолепно не осудив никого, и, успокоившись то ли насчет угроз, то ли насчет надежд, собралась покинуть нас, и как раз вовремя, потому что младшая наконец прыснула всем чаем и пирогом, увенчав мои старания. (Она оставила меня в некотором недоумении, потому что, все утончая и усовременивая свой юмор, окончательного успеха достиг я без всякой шутки, просто так, употребив не то слово «попугай», не то «дурак».)

Итак, искреннее огорчение, смущение за столь неприличное поведение любимицы чуть осветит лицо почтенной женщины, и она поспешит удалиться. «Она не обиделась?» — спрошу я у Нины, приблизившись на расстояние родственника. «Мама? С чего вы взяли?.. Нет, совсем нет. Вы ей очень понравились». «Мама? — с недоумением восклицаю я, глядя на Нану. — Такая молодая у нее дочь...» «Фу, Нана! — скажет тут же Нина. — Всю меня заплевала». «Я не хотела, мама, — скажет Нана. Мама? Такая взрослая уже у Нины дочь?.. И пока в моей голове разлучатся сестры, перевернутся и встанут на место бабушки и внучки, поменявшись на матерей и дочерей, я буду с недоумением думать, что это решение и с самого начала было наиболее подразумевающимся. «Нана нам сыграет?» — осмелев, спрошу я, потому что фырканье Наны утвердит меня в том, что я добился дружбы. «Я?» — удивится Нана. «Нана?! — воскликнет Нина, теперь ее мама. — Да она чирика-пырика верно сыграть не может! У нее гениальное отсутствие слуха». Я захохочу — и это станет самой удачной моей шуткой. Потому что засмеются все. Нам станет так вдруг, так беспричинно и бесконечно весело, что я окончательно позабуду, в какой век мне предстоит выйти на улицу. Потому что так весело было лишь на тех выцветших, прожелтевших насквозь фотографиях, среди которых моей-то уж нет...

Нина прогонит развеселившуюся дочь доделывать уроки, что вызовет на лице девицы такую неподдельную печаль, которую я приму за нежелание расставаться с нами. Чашки соберут со стола. Мы с друзьями вер-

немся в гостиную покурить. Три подруги — Нина и жены моих приятелей — сядутся поближе, коснутся плечами, сблизятся головами и застрекочут по-родному, как птицы. Я буду их видеть из гостиной... Чувство близости пронизет меня настолько, что я начну прикуривать от сигареты друга, скрыв, что спички — у меня в кармане. «Вот смешно... — скажу я. — Чужой язык. Только что мы сидели все вместе, говорили... И вдруг — раз! — не понимаю ни слова. О чем они говорят?» — «Как о чем? — скажет друг, не прислушиваясь. — О чем они могут говорить... О нас».

Обо мне...

И может быть, на мой закат печальный  
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

(Тут Отар останавливает сцену, отматывает пленку вспять и репетирует со мной другой вариант: за тем же чаем я начинаю петь хором «Подмосковные вечера»... У меня не получается, и Отар вынужден подыскивать себе другого исполнителя на ту же роль...)

## ПОХОРОНЫ ДОКТОРА

*Памяти Е. Ральбе*

Солнечный день напоминает похороны. Не каждый, конечно, а тот, который мы и называем солнечным, — первый, внезапный, наконец-то. Он еще прозрачен. Может, солнце и ни при чем, а именно прозрачность. На похоронах, прежде всех, бывает погода.

...Умирала моя неродная тетька, жена моего родного дяди.

Она была «такой же и в о й человек» (слова мамы), что в это трудно было поверить. Живой она действительно была, и поверить действительно было трудно, но на самом деле она давно готовилась, пусть втайне от себя.

Сначала она попробовала ногу. Нога вдруг разболелась, распухла и не лезла в обувь. Тетка, однако, не сдавалась, привязала к этой «слонихе» (ее слова) доверенную тапку и так выходила к нам на кухню мыть посуду, а потом приезжал Александр Николаевич, шофер, и она ехала в свой Институт (экспертизы трудоспособности), потом на заседание правления Общества (тера-



певтического), потом в какую-то инициативную группу выпускниц (она была бестужевка), потом на некий консилиум к какому-нибудь титулованному бандиту, потом сворачивала к своим еврейским родственникам, которые, по молчаливому, уже сорокалетнему, сговору, не бывали у нас дома, потом возвращалась на секунду домой, кормила мужа и тяжело решала, ехать ли ей на банкет по поводу защиты диссертации ассистентом Тбилисского филиала Института Нектаром Бериташвили: она очень устала (и это было больше, чем так) и не хочет ехать (а это было не совсем так). Втайне от себя она хотела ехать (повторив это «втайне от себя», я начинаю понимать, что сохранить до старости подобную эмоциональную возможность способны только люди, очень... живые? чистые? добрые? хорошие?.. я проборматываю это невнятное, не существующее уже слово — втайне от себя самого)... И она ехала, потому что принимала за чистую монету и любила все человеческие собрания, питала страсть к знакам внимания, ко всему этому глазету почета и уважения, и даже, опережая возможную иронию, обучила наше кичливое семейство еврейскому словечку «ковод», которое означает уважение, вовсе не обязательно идущее от души и сердца, а уважение по форме, по штату, уважение как проявление, как таковое. (У русских нет такого понятия и слова такого нет, и тут, с ласковой улыбкой тайного от самого себя антисемита, можно сказать, что евреи — другой народ. Нет в нашем языке этого неискренного слова, но в жизни оно завелось, и к тому же почему все так убеждены в искренности хамства?..) «Понимаешь, Дима,— говорила она мужу,— он ведь сын Вахтанга, ты помнишь Вахтанга?» — и, сокрушенно вздохнув, она — ехала. Желания ее все еще были сильнее усталости. Мы теперь не поймем этого — раньше были другие люди.

Наконец она возвращалась, задерживалась она недолго, исключительно на торжественную часть, которую во всем очень трогательно любила, наполняя любую мишуру и фальшь своим щедрым смыслом и верой. (Интересно, что они искренне считали себя материалистами, эти люди, которыми мы не будем; надо обладать исключительно... — тоже невнятное слово... — чтобы исполнить этот парадокс.) Итак, она быстро возвращалась, потому что, плюс к ноге, страдала диабетом и не могла себе на банкете ничего позволить, но возвращалась она навеселе: речи торжественной части действо-

вали на нее, как шампанское, — помолодевшая, размяннившаяся, бодро и счастливо рассказывала мужу, как все было хорошо, тепло... Постепенно прояснилось, что лучше всех сказала она сама... И если в это время смотреть ей в лицо, трудно было поверить, что ей вот-вот восемьдесят, что у нее — нога, но нога — была: она была привязана к тапке, стоило опустить глаза. И, отщебетав, напоив мужа чаем, когда он ложился, она наполняла таз горячей водой и долго сидела, опустив туда ногу, вдруг потухнув и оплыв, «как куча» (по ее же выражению). Долго так сидела, как куча, и смотрела на свою мертвую уже ногу.

Она была большой доктор.

Теперь таких докторов НЕ БЫВАЕТ. Я легко ловлю себя на том, что употребляю готовую формулу, с детства казавшуюся мне смешной: мол (с «трезвой» ухмылкой), всегда все было — так же, одинаково, не лучше... Я себя легко ловлю и легко отпускаю: с высоты сегодняшнего опыта формула «теперь не бывает» кажется мне и справедливой, и правильной — выражающей. Значит, не бывает... Не то чтобы она всех вылечивала... Как раз насчет медицины заблуждений у нее было всего меньше. Не столько она считала, что всем можно помочь, сколько — что всем и у ж н о. Она хорошо знала, не в словах, не наукой, а вот тем самым... что помочь н е ч е м, а тогда, если уж есть хоть немножко ч е м помочь, то вы могли быть уверены, что она сделает в с е. Вот эта неспособность сделать хотя бы и чуть-чуть НЕ ВСЕ и эта потребность сделать именно СОВСЕМ ВСЕ, что возможно, — этот императив и был сутью «старых докторов, каких теперь не бывает» и каким она, последняя, была. И было это вызывающе просто. Например, если ты простужен, она спросит, хорошо ли ты спишь; ты удивисься: при чем тут сон? — она скажет: кто плохо спит — тот зябнет, кто зябнет — тот простужается. Она даст тебе снотворное от простуды (аллергия все еще была выдумкой капиталистического мира), а тебе вдруг так ласково и счастливо станет от этого забытого темпа русской речи и русских слов: зя-бнет... что — все правильно, все в порядке, все впереди... померещится небывалое утро с серым небом и белым снегом, температурное счастье, кто-то под окном на лошадке проехал, кудрявится из трубы дым... Скажешь: нервы шалят, что-нибудь, тетя, от нервов бы... Она глянет ледяно и приговорит: возьми себя в руки, ничего от нервов нет.

А однажды, ты и не попросишь ничего, сунет в руку справку об освобождении: видела, ты вчера вечером курил на кухне — отдохнуть тебе надо.

И если бы некий наблюдательный интеллеktуал сформулировал бы, хотя бы вот так, ей ее же — она не поймет: о чем это ты? — пожмет плечами. Она не знает механизмов опыта! Как она входит к больному!.. никаким самообладанием не совершишь над собой такой перемены! она — просто меняется, и все. Ничего, кроме легкости и ровности, — ни восьмидесяти лет, ни молодого красавца мужа, ни тысяч сопливых, синих, потных, жалких, дышащих в лицо больных — никакого опыта, ни профессионального, ни личного, ни тени налета ее самой, со своей жизнью, охотной жизнью. Как она дает больному пожаловаться! как утвердительно спросит: очень болит? Именно — ОЧЕНЬ. Никаких «ничего» или «пройдет» она не скажет. В этот миг только двое во всем мире знают, как болит: больной и она. Они — избранные боли. Чуть ли не гордится больной после ее ухода своею посвященностью. Никогда в жизни не видеть мне больше такой способности к у ч а с т и ю. Зачета по участию не сдают в медвузе. Тетка проявляла участие мгновенно, в ту же секунду отрешаясь навсегда от своей старости и боли: стоило ей обернуться и увидеть твое лицо, если ты и впрямь был болен, — со скоростью света на тебя проливалось ее участие, то есть полное отсутствие участвующего и полное чувство — как тебе, каково? Эта изумительная способность, лишенная чего бы то ни было, кроме самой себя, сочувствие в чистом виде — стало для меня Суть доктора, Имя врача. И никакой фальши, ничего наигранного, никаких мхатовских «батенок» и «голубчиков» (хотя она свято верила во МХАТ и, когда его «давали» по телевизору, усаживалась в кресло с готовым выражением удовлетворения, которое, не правда ли, Димочка, ничто современное уже не может принести... ах, Качалов-Мачалов! Тарасова — идеал красоты... при слове «Анна» поправляется дрожащей рукой пышная прическа...)

С прически я начинаю ее видеть. До конца дней носила она ту же прическу, что когда-то больше всех ей шла. Как застрял у девушки чей-то комплимент: волосы, мол, у нее прекрасные, — так и хватило ей убежденности в этом на полвека и на весь век, так и взбивалась каждое утро седоватая, чуть стрептоцидная волна и втыкался — руки у нее сильно дрожали — втыкался

в три приема: туда-сюда, выше-ниже и наконец точно в середину, всегда в одно и то же место, — черепаховый гребень. Очень у нее были ловкими ее неверные руки, и эта артиллерийская пристрелка тремора: недолет-перелет (узкая вилка) — попал — тоже у меня перед глазами. То есть перед глазами у меня еще и ее руки, ходящие ходуном, но всегда попадающие в цель, всегда что-то делающие... (Это сейчас не машинка у меня бренчит, а тетка моет посуду, это ее характерное позвякивание чашек о кран; если она била чашку, что случилось, а чашки у нее были дорогие, то ей, конечно, было очень жаль чашки, но — с какой непередаваемой женственностью, остановившейся тоже во времена первой прически, — она тотчас объявляла о случившемся всем кухонным свидетелям как о вечной своей милой оплошности: мол, опять, — даже фигура менялась у нее, когда она сбрасывала осколки в мусорное ведро, даже изгиб талии (какая уж там талия...) и наклон головы были снова девичьими... потому что самым запретным поведением свидетелей в таком случае могла быть лишь жалость, — замечать за ней возраст было нельзя.)

Мне и сейчас хочется поцеловать тетку (чего я никогда не делал, хотя и любил ее больше многих, кого целовал)... вот при этом позвякивании чашек о кран.

Она сбрасывала пятьдесят или сто рублей в ведро жестом очень богатого человека, опережая наш фальшивый хор сочувствия... а дальше было самое для нее трудное, но она была человек решительный — не мешкала, не откладывала: на мгновение замирала она перед своей дверью с разностью чашек в руках — становилась еще стройнее, даже круглая спина ее становилась прямой, трудно было не поверить в этот оптический обман... и тут же распахивала дверь и впархивала чуть ли не с летним щебетом серовского утра десятых годов той же своей юности: мытый солнечный свет сквозь мытую листву испещрил натертый паркет, букет рассветной сирени замер в капельках, чуть ли не пеньюар и этюд Скрябина... будто репродукция на стене и не репродукция, а зеркало: «Дима! такая жалость, я свою любимую китайскую чашку разбила!..»

Ах, нет! мы всю жизнь помним, как нас любили...

Дима же, мой родной-разлюбимый дядя, остается у меня в этих воспоминаниях за дверью, в тени, нога на ногу, рядом с букетом, род букета — барабанит музыкальными пальцами хирурга по скатерти, ждет чаю,

улыбаются внимательно и мягко, как хороший человек, которому нечего сказать.

Значит, сначала я вижу ее прическу (вернее, гребень), затем — руки (сейчас она помешивает варенье: медный начищенный старинный (до катастрофы) таз, как солнце, в нем алый слой отборной, самой дорогой базарной клубники, а сверху по-голубому сверкают грубые и точные осколки большого старинного сахара (головы), — все это драгоценно: корона, скипетр, держава — все вместе (у нас в семействе любят сказать, что тетка величественна, как Екатерина), — и над всей этой империей властвует рука с золотой ложкой — ловит собственное дрожание и делает вид, что ровно такие движения и собиралась делать, какие получились (все это очень живописно: управление случайностью как художественный метод...).

Я вижу гребень, прическу, руки... и вдруг отчетливо, сразу — всю тетку: будто я тер-тер старательно переводную картинку и наконец, задержав дыхание, муча собственную руку плавностью и медленностью, отклеил, и вдруг — получилось! нигде пленочка не порвалась: проявились яркие крупные цветы ее малиновой китайской кофты (шелковой, стеганой), круглая спина с букетом между лопаток, и — нога с прибиштованной тапкой. Цветы на спине — пышные, кудрявые, китайский род хризантем; такие любит она получать к непроходящему своему юбилею (каждый день нам приносят корзину от благодарных, и комната тети всегда как у актрисы после бенефиса; каждый день выставляется взамен на лестницу очередная завядшая корзина...). Цветы на спине — такие же в гробу.

В нашем обширном, сообща живущем семействе был ряд узаконенных формул восхищения теткой, не знаю только вот, в виде какого коэффициента вводились в них анкетные данные — возраст, пол, семейное положение и национальность. Конечно, наше семейство было слишком интеллигентно, чтобы опускаться до уровня отдела кадров. О таких вещах никогда не говорилось, по стопроцентное молчание всегда говорит за себя: молчание говорило, что об этих вещах не говорилось, а — з п а л о с ь. Она была на пятнадцать лет старше дядьки, у них не было детей, и она была еврейкой. Для меня, ребенка, подростка, юноши, у нее не было ни пола, ни возраста, ни национальности; в то время как у всех

других родственников эти вещи были. Каким-то образом здесь не наблюдалось противоречия.

Мы все играли в эту игру: безусловно принимать все заявленные ею условности, — наша снисходительность поощрялась слишком щедро, а наша неуклюжая сцена имела благодарного зрителя. Неизвестно, кто кого превышал в благородстве, но переигрывали — все. Думаю, что все-таки она могла видеть кое-что сверху — не мы. Не были ли ее, вперед выдвинутые, условности высокой реакцией на нашу безусловность?.. Не оттого ли единственным человеком, которого она боялась и задабривала сверх всякой меры, была Евдокимовна, наша кухарка: она могла и не играть в нашу игру, и уж она-то знала и то, что еврейка, и то, что старуха, и то, что муж... и то, что детей... что — смерть близка. Евдокимовна умела это свое знание, нехитрое, но беспощадно точное, с подчеркнутым подбострастием обнаруживать, так и не доходя до словесного выражения, и за это свое молчание, с суетливой благодарностью, брала сколько угодно и чем попало, хоть теми же чашками.

Мы и впрямь любили тетку, но любовь эта еще и декларировалась. Тетка была — Человек! Это звучит горько: как часто мы производим с большой буквы, чтобы покрыть именно анкетные данные; автоматизм нашей собственной принадлежности к роду человеческому приводит к дискриминации. Чрезмерное восхищение чьими-либо достоинствами всегда пахнет. Либо подхалимством, либо апартсидом. Она была человек... большой, широкий, страстный, о ч е н ь живой, щедрый и очень з а с л у ж е н н ы й (ЗДН — заслуженный деятель науки; у нее было и это звание). В общем, теперь я думаю, что все сорок лет своего замужества она р а б о т а л а у нас тетей со всеми своими замечательными качествами и стала к а к р о д н а я. (Еще и потому у них с Евдокимовной могло возникать особое взаимопонимание; та ведь тоже была — человек...) Думаю, что еврейкой для моих родных она все-таки была, хотя бы потому, что я об этом не знал, что и слова-то такого никто ни разу не произнес (слова «еврей»).

Мы имели все основания возвеличивать ее и боготворить: столько, сколько она для всех сделала, не сделал никто из нас даже для себя: она спасла от смерти меня, брата и трижды дядьку (своего мужа). А сколько она помогала так, просто (без угрозы для жизни) — не перечислить. Этот список рос и канонизировался с го-

дами, по отступающим пунктам списка. Об этом, однако, полагалось напоминать, а не помнить, так что это вырвалось у меня сейчас правильно: как родная... И еще, что я узнал значительно позже, после ее смерти, она была к а к ж е н а. Оказывается, все эти сорок лет они не были зарегистрированы. Эта старая новость сразу приобрела легендарный шик независимости истинно порядочных людей от формальных и несодержательных норм. Сами, однако, были зарегистрированы.

Сошло время — илистое дно. Ржаво торчат конструкции драмы. Это, оказывается, не жизнь, а — сюжет. Он — неживой от пересказа: годы спустя в нашем семействе прорастает информация, в форме над-гробия.

А я из него теперь сооружаю постамент...

Она была большой доктор, и мне никак не отделаться от недоумения: что же она сама знала о своей болезни?.. То кажется: не могла же не знать!.. то — ничего не знала.

Она попробовала ногу, а потом попробовала инфаркт.

От инфаркта у нее чуть не прошла нога. Так или эдак, но из инфаркта она себя вытянула. И от сознания, что на этот раз проскочила (это в данном случае она как врач могла сказать себе с уверенностью), — так приободрилась и помолодела, и даже ногу обратно уместила в туфлю — что мы все не нарадовались. Снова пошли заседания, правления, защиты, консилиумы («Вылечи убийцу!» — безусловно святой принцип Врача... но нельзя же лечить их старательней и ответственной, чем потенциальных их жертв?.. Однако можно: не забывайте, что именно Англия с парадоксами ее парламента...)... и вот я вижу ее снова на кухне, повелевающую сверкающим солнцем-тазом. Однако таз этот взошел ненадолго.

Тетка умирала. Это уже не было ни для кого... кроме нее самой. Но и она так обессилела, что, устав, забывшись, каждый день делала произвольный шагок к смерти. Но потом спохватывалась и снова не умирала. У нее совсем почернела нога, и она решительно настаивала на ампутации, хотя всем, кроме нее... что операция ей уже не по силам. Нога, инфаркт, нога, инсульт... И тут она вцепилась в жизнь с новыми силами, которых из всех встреченных мною людей только у нее и было столько.

Кровать! Она потребовала д р у г у ю кровать. Почему-то она особенно рассчитывала на мою физическую помощь. Она вызывала меня для инструкций, я плохо понимал ее мычание, но со всем соглашался, не видя большой сложности в задании. «Повтори», — вдруг ясно произнесла она. И — ах! — с какой же досадой отвернулась она от моего непарализованного лепета.

Мы внесли кровать. Это была специальная кровать, из больницы. Она была тем неуклюжим образом осложнена, каким только могут осложнить люди, далекие от техники. Конечно, ни одно из этих приспособлений, меняющих положение тела, не могло действовать. Многократно перекрашенная тюремной масляной краской, она утратила не только форму, но и контур — она стала в буквальном смысле нескладной. Мы внесли этого монстра в зеркально-хрустально-коврово-полированный теткин уют, и я не узнал комнату. Словно бы все вещи шарахнулись от кровати, забились по углам, сжались в предчувствии социальной перемены: на самом деле просто кровати было наспех подготовлено место. Я помню это нелепо-юное ощущение мышц и силы, преувеличенное, не соответствовавшее задаче грузчика: мускулы подчеркнута, напоказ жили для старого, парализованного, умирающего человека, — оттого особая неловкость преследовала меня: я цеплял за углы, спотыкался, бился костяшкой, и словно кровать уподобляла меня себе.

Тетка сидела посреди комнаты и руководила вносом. Это я так запомнил — она не могла сидеть посредине, она не могла сидеть, и середина была как раз очищена для кровати... Взор ее пылал каким-то угольным светом, у нее никогда не было таких глубоких глаз. Она страстно хотела перелечь со своего сорокалетнего ложа, она была у ж е в той кровати, которую мы еще только вносили, — так я ее и запомнил посредине. Мы не должны были повредить «аппарат», поскольку ничего в нем не смыслили, мы должны были «его» чуть развернуть и еще придвинуть и выше-ниже-выше установить его намертво неподвижные плоскости, и все у нас получалось не так, нельзя было быть такой бестолочью, видно, ей придется самой... У меня и это впечатление осталось, что она сама наконец поднялась, расставила все как надо — видите, нехитрое дело, надо только взяться с умом — и, установив, легла назад в свой паралич, предоставив нам переброску подушек, перин и матра-



цев, более доступную нашему развитию, хотя и тут мы совершали вопиющие оплошности. Господи! за тридцать лет она не изменилась ни капли. Когда мы, в блокадную зиму, пилили с ней в паре дрова на той же кухне, она, пятидесятилетняя, точно так сердилась на меня, пятилетнего, как сейчас. Она обижалась на меня до слез в споре, кому в какую сторону тянуть, пила наша гнулась и стонала, пока мы спасали пальцы друг друга. «Ольга! — кричала она наконец моей матери. — Уйми своего хулигана! Он меня сознательно изводит. Он нарочно не в ту сторону пилит...» Я тоже на нее сильно обижался, даже не на окрик, а на то, что меня заподозрили в «нарочном», а я был совсем без задней мысли, никогда бы ничего не сделал назло или нарочно... я был тогда ничего, неплохой, мне теперь кажется, мальчик. Рыдая, мы бросали пилу в наполовину допиленном бревне. Минут через десять, веселая, приходила она со мной мириться, неся «последнее», что-то мышиное: не то корочку, не то крошку. Вот так, изменился, выходит, один я, а она все еще не могла свыкнуться с единственной предстоявшей ей за жизнь переменой: в тот мир она, конечно, не верила (нет! так я и не постигну их поколение: уверенные, что Бога нет, они выше всех несли христианские заповеди... а я, уверенный в Боге, пребываю в непролаз... а Аз — грешный).

Мы перенесли ее, она долго устраивалась с заведомым удовлетворением, никогда больше не глядя на покинутое супружеское ложе. Мне почудился сейчас великий вздох облегчения, когда мы отрывали ее от него: из всего, что она продолжала, несмотря на свой медицинский опыт, не понимать, вот это, видимо, она поняла необратимо: никогда больше она в ту кровать не вернется... Мы не понимали, мы, как идиоты, ничего не понимали из того, что она прекрасно, лучше всех знала: что такое больной, каково ему и что на самом деле ему нужно, — теперь она сама нуждалась, но никто не мог ей этого долга возратить. И тогда, устроившись, она с глубоким, первым смыслом сказала нам «спасибо», будто мы и впрямь что-то сделали для нее, будто мы понимали... «Очень было тяжело?» — участливо спросила она меня. «Да нет, что ты, тетя!.. Легко». Я не так должен был ответить.

Кровать эта ей все-таки тоже не подошла: она была объективно неудобна. И тогда мы внесли последнюю, бабушкину, на которой мы все умирали... И вот, уже на

ней, с последний раз подправленной подушкой, разгладив дрожащей рукой ровненький отворот простыни на одеяле, прикрыв глаза, она с облегчением вздохнула: «Наконец-то мне удобно». Кровать стояла в центре комнаты, как гроб, и лицо ее было покойно.

Именно в этот день внезапно скончалась та, другая женщина, тот самый сюжет...

Тетка ее пережила. «Наконец-то мне удобно...» — повторила она.

Кровать стояла посреди странно опустевшей комнаты, где вещи покидают хозяина чуть поспешно, на мгновение раньше, чем хозяин покидает их. У них дешёвые выражения лиц; эти с детства драгоценные грани и поверхности оказались просто старыми вещами. Они чужаются этого железного в середине, они красные, они карельские... Тетке удобно.

Она их не возьмет с собою...

Но она их взяла.

В середине кургана стоит кровать с никелированными шпичками, повытертыми до медной изнанки; в ней удобно полусидит, прикрыв веки и подвязав челюсть, тетка в своей любимой китайской кофте с солнечным тазом, полным клубничного варенья на коленях: в одной руке у нее стетоскоп, в другой — американский термометр, напоминающий часовой механизм для бомбы; аппарат для измерения кровяного давления в погах... не забыты и оставшиеся в целых чашки, диссертация, данная на отзыв, желтая Венера Милосская, с которой она (по рассказам) пришла к нам в дом... дядька, за ним шофер скромно стоят рядом, уже полусасыпанные летящей сверху землю... к ним бесшумно съезжает автомобиль со сверкающим оленем на капоте (она его регулярно пересаживает с модели на модель, игнорируя, что тот вышел из моды...), значит, и олень здесь... да и вся наша квартира уже здесь, под осыпающимся сверху рыхлым временем, прихватывающим и все мое прошлое с осколками блокадного льда, все то, кому я чем обязан, — погружается в курган, осыпается время с его человечностью, обезьяньим гуманизмом, с принципами и порядочностью, со всем тем, чего не снесли их носители, со всем, что сделало из меня то жалкое существо, которое называют, по общим признакам сходя, человека, то есть со мною... но сам я успеваю, бросив последнюю лопату, мохнато обернуться в черновато-мерцающую теплоту честной животности...

Ибо с тех пор, как их не стало: сначала моей бабушки, которая была еще лучше, еще чище моей тетки, а затем тетки, эстафетно занявшей место моей бабушки, а теперь это место пустует для моей мамы... я им этого не прошу. Ибо с тех пор, как не стало этих последних людей, мир лучше не стал, а я стал хуже.

Господи! после смерти не будет памяти о Тебе! Я уже заглядывал в Твой люк... Если человек сидит в глубоком колодце, отчего бы ему не покажется, что он выглядывает ИЗ мира, а не В мир? А вдруг там, если из колодца-то выбраться, — на все четыре стороны равномерно, пусто-пусто, ничего нет? Кроме дырки колодца, из которого ты вылез? Надеюсь, что у Тебя слегка пересеченная местность...

За что посажен пусть малоспособный, но старательный ученик на дно этого бездонного карцера и... позабыто о нем? Чтобы я всю жизнь наблюдал эту одну звезду, пусть и более далекую, чем видно не вооруженному колодцем глазу?! Я ее уже усвоил.

Господи! дядя! тетя! мама! плачу...

Я был у нее в Институте один раз, как раз между «ногой» и «ногой», когда она выкарабкалась из инфаркта. Она избегала приглашать в свой Институт, быть может, до сих пор стыдилась того понижения, которое постигло ее неизбежно, в последние годы вождя, под предлогом возраста, по пятому пункту. Действительно, Институт со старушками и дебилами был не чета 1-му медицинскому. Она не пережила этого унижения, в том смысле, что продолжала его переживать. Однако после инфаркта что-то сместилось, она вернулась в заштатный свой Институт, как в дом родной. Поняла ли она, что и этот Институт не навек?.. Меня подобострастно к ней провели. Просили подождать: на обходе. Сказали так, будто она служила мессу. Сравнение это кстати. Как раз такая она вошла, поразив меня молодостью и красотой. Она была облечена не только в этот памятник стирке и крахмалу со спущенным ошейником стетоскопа на груди, но сразу же надела на себя и свой кабинет, как вошла, — с оторочкой ординарцев по рукавам и шлейфом ассистентов, на плечи были небрежно накинуты стены клиники (кстати, превосходные — отголоски Смольного монастыря...), и все это ей было необыкновенно к лицу. С тех пор она является мне в снах не-

изменно молодой, такой, какой я ее уже не застал по причине позднего рождения.

Что-то мне было от тетки надо, не помню что, тотчас исполненное бесшумной свитой.

Однако ни на что, кроме поразившей меня тетки, я тогда не обратил внимания.

Солнце. То самое солнце, с которого я начал.

Бывают такие уголки в родном городе, в которых никогда не бывал. Особенно по соседству с достопримечательностью, подавившей собою окрестность. Смольный (с флагом и Ильичем), слева колокольня Смольного монастыря, — всегда знаешь, что они там, что приездего приведут именно сюда, и отношение к ним уже не более как к открытке. Но вот приходится однажды разыскать адрес (оказывается, там есть еще и дома, и улицы, там живут...), и — левее колокольни, левее обкома комсомола, левее келейных сот... кривая улица (редкость в Ленинграде), столетние деревья, теткин Институт (бывший Инвалидный дом, оттого такой красивый; не так уж много настроено медицинских учреждений — всегда наткнешься на старое здание...), и — так вдруг хорошо, что и глухой забор вдруг покажется красотой. Все здесь будто уцелело, в тени достопримечательности... Ну, проходная вместо сторожевой будки, забор вместо ликвидированной решетки... зато ворота еще целы, и старый инвалид-вахтер на месте у ворот Инвалидного дома (из своих, наверно). Кудрявые барочные створки предупредительно распахнуты, я наконец прочитываю на доске, как точно именуется теткинo учреждение (Минздрав, облисполком... очень много слов заменило два — Инвалидный дом), мне приходится посторониться и пропустить черную «Волгу», в глубине которой сверкнул эполет; вскакивает на свою культу инвалид, отдает честь; приседая, с сытым шорохом по кирпичной дорожке удаляется генерал в шубе из черноволги, я протягиваюсь следом, на «территорию». «Вы на похороны?» — спрашивает инвалид, не из строгости, а из посвященности. «Да».

Красный кирпич дорожки, в тон кленовому листу, который сметает набок тщательный дебил; он похож на самосшитую ватную игрушку нищего, военного образца; другой, посмышленее, гордящийся доверенным ему оружием, охотится на окурки и бумажки с остройгой; с кирпичной мордой инвалид, уверенно встав на деревянную погу с черной резиновой присоской на конце,

толчет тяжким инструментом, напоминающим его же перевернутую деревянную ногу, кирпич для той же дорожки; серые стиранные старушки витают там и сям по парку, как те же осенние паутинки, — выжившие Офелии с букетиками роскошных листьев... Трудотерапия на воздухе, солнечный денек. Воздух опустел, и солнечный свет распространился ровно и беспрепятственно, словно он и есть воздух; тени нет, она освещена изнутри излучением разгоревшихся листьев; и уже преждевременный дымок (не давайте детям играть со спичками!) собрал вокруг сосредоточенную дебилную группу... Старинный запах прелого листа, возрождающий — сжигаемого: осенняя приборка; все разбросано, но сквозь хаос намечается скорый порядок: убрано пространство, проветрен воздух, вот и дорожка наново раскраснелась; утренние, недопроснувшиеся дебилы, ранние (спозаранку, раны...) калеки, осенние старушки — выступили в большом согласии с осенью. «Вам туда», — с уважением сказал крайний дебил. Куда я шел?.. Я стоял в конце аллеи, упершись в больничный двор. Пришлось отступить за обочину, в кучу листьев, приятно провалившихся под ногой, дебил сошел на другую сторону: между нами проехали «Волги», сразу две. Ага, вон куда. Вон куда я иду.

Тетка выглядела хорошо. Лицо ее было в должной степени значительно, покойно и красиво, но как бы чуть настороженно. Она явно прислушивалась к тому, что говорилось, и не была вполне удовлетворена. Вило перечислялись заслуги, громоздились трупы эпитетов — ни одного живого слова. «Светлый облик... никогда... вечно в сердцах...» Первый генерал, сказавший первым (хороший генерал, полный, три Звезды, озабоченно-мертвый...), уехал: сквозь отворенные в осень двери конференц-зала был слышен непочтительно-быстрый, удаляющийся стрекот его «Волги». «Спи спокойно...» — еще говорил он, потупляясь над гробом, и уже хлопал дверцей: «В Смольный!» — успевал на заседание. Он успел остановиться главным образом на ее военных заслугах: никогда не забудем!.. — уже забыли, и войну, и блокаду, и живых, и мертвых. Тетку уже некогда было помнить: я понял, что она была списана задолго до смерти, тогда, в сорок девятом; изменившиеся исторические обстоятельства позволили им явиться на панихиду — и то славно: другие пошли времена, где старикам поспеть... и уж если, запыхавшись, еще попевал

генерал дотянуться до следующей Звезды, то при одном условии — не отлучаться ни на миг с ковровой беговой дорожки... После генерала робели говорить, будто он укатил, оставив свое седоволосое ухо с золотым отблеском погона... И следующий оратор бубнил вточь, и потом... никак им было не разгореться. Близкие покойной, раздвоенные гробом, как струи носом корабля, смотрелись бедными родственниками ораторов. Налево толпились мы, направо — еврейские родственники, не знал, что их так много. Ни одного знакомого лица, одного, кажется, видел мельком в передней... Он поймал мой взгляд и кивнул. Серые внимательно-растерянные, как близорукие, глаза. Отчего же я их никого... никогда... Я еще не понимал, но стало мне неловко, нехорошо — в общем, стыдно, — но я-то полагал, что мне не понравились ораторы, а не мы, не я сам. «Были по заслугам оценены... медалью...» Тетка была человек... ей невозможно по заслугам... у вас волос на ж... не хватит, чтобы ей по заслугам... будет металлургический кризис, если по заслугам... Смерть есть смерть: я что-то все-таки начинал понимать, культовский румянец сходил с ланит... Сталин умирал вторично, еще через пятнадцать лет. Кажется, окончательно. Потому что во всем том времени мне уже нечего вспомнить, кроме тетки, кристально честной представительницы, оказывается все-таки, сталинской эпохи...

Тетку все сильнее не удовлетворяло зауспокойное бубнение ораторов. Поначалу она еще отнеслась неплохо: пришли все-таки, и академики, и профессура, и генералы... — но потом — окончательно умерла с тоски. В какой-то момент мне отчетливо показалось, что она готова встать и сказать речь сама. Уж она нашла бы слова! Она умела произносить от сердца... Соблазн порадовать человека бывал для нее всегда силен, и она умудрялась произносить от души хвалу людям, которые и градуса ее теплоты не стоили. Это никакое не преувеличение, не образ: тетка была живее всех на собственной панихиде. Но и тут, точно так, как не могла она прийти себе на помощь, умирая, а никто другой так и не шел, хотя все тогда толпились у кровати, как теперь у гроба... и тут ей ничего не оставалось, как отвернуться в досаде. Тетка легла обратно в гроб, и мы вынесли ее вместе с кроватью, окончательно не удовлетворенную панихидой, на осеннее солнце больничного двора. И конечно, я опять подставлял свое могуче-упругое плечо,

бок о бок с тем внимательно-сероглазым, опять мне кивнувшим. «Что ты, тетя! Легко...»

Двор стал неузнаваем. Он был густо населен. Поближе к дверям рыдали сестры и санитарки, рыдали с необыкновенным уважением к заслугам покойной, выразившимся в тех, кто пришел... Сумрачные, непохмелившиеся санитары, вперемежку с калеками, следующей шеренгой как бы оттесняли общим своим синим плечом толпу дебилов, оттеснивших в свою очередь старух, скромно выстайвавших за невидимой чертою. Ровным светом робкого восторга были освещены их лица. Кисти гроба, позументы, крышка, подушечка с медалью, рыдающие начальницы-сестры... генерал!! (был еще один, который не так спешил) ...автомобили с шоферами, распахнувшими дверцы... осеннее золото духового оркестра, грохочущее солнце баса и тарелок... еще бы! Они простаивали скромно-восторженно, ни в коем случае не срывая дисциплины, в заплатках, но чистенькие, опершись на грабли и лопаты, — эта антивосставшая толпа. Генерал уселся в машину, осветив их золотым погонном... они провожали его единым взглядом, не сморгнув. Гроб плыл, как корабль, раздвигая носом человеческую волну на два человечества: дебилы обтекали справа, более чем нормальные, успешные и заслуженные — слева. За гробом вода не смыкалась, разделенная молом пограничных санитаров. «Мы — из них!» — вот что я прочел на общем, неоформленном лице дебила. Они с восторгом смотрели на то, чем бы они стали, рискни они выйти в люди, как мы. Они — это было, откуда мы все вышли, чтобы сейчас, в конце трудового пути, посверкивать благородной сединой и позвякивать орденами. Они из нас, мы из них. Они не рискнули, убоявшись санитаря; мы его подкупили, а потом подчинили. Труден и славен был наш путь в доктора и профессора, академики и генералы! Многие из нас обладали незаурядными талантами и жизненными силами, и все эти силы и таланты ушли на продвижение, чтобы брякнула и услужливо хлопнула дверца престижного гроба на колесах... Никогда, никогда бы не забыть, какими бы мы были, не пойдя мы на все это... вот мы стоим серой, почтительной чередой, недолюди против уженелюдей, с пограничными санитарями и гробом последнего живого человека между!.. вот мы бредем, отдавшие все до капли, чтобы стать теми, кем вы заслуженно восторгаетесь; мертвые, хороним живого,

слепим своим блеском живых!.. «Ведь они живы, дебилы!!» — вот что осенним холодком пробежало у меня между лопаток, между молодо напряженных мышц. Живы и безгрешны! ибо какой еще у них за душой грех, кроме как в кулачке в кармане... да и карман им предусмотрительно зашили. А вот и мы с гробами заслуг и опыта на плечах... И если вот так заглянуть сначала в душу дебила, увидеть близкое голубое донышко в его глазах, потом, резко, взглянуть в душу того же генерала, да и любого из нас, то — боже! лучше бы не смотреть, чего мы стоим. А стоим мы дорого, столько, сколько за это уплатили. А уплатили мы всем. И я далек, ох как далек заглядывать в затхлые предательские тупички нашего жизненного пути, неизбежную перистальтику карьеры. Я заведомо считаю всю нашу процессию кристально чистыми, трудолюбивыми, талантливыми, отдавшими себя делу (хоть с большой буквы!..) людьми. И вот в такую, только незаподозренную, нашу душу и предлагаю заглянуть... и отворачиваюсь, испугавшись. То-то и они к нам не перебегают, замершие не только ведь от восторга, но и от ужаса! Не только дебилы, но и мы ведь с трудом отделим ужас от восторга, восторг от ужаса, да и не отделим, так и не разобравшись. Куда дебилу... он с самого начала, мудрец, испугался, он еще тогда, в колыбели, не пошел сюда, к нам... там он и стоит, в колыбели, с игрушечными грабельками и лопаткой и не плачет по своему доктору: доктор-то живой, вы — мертвые. Никто из нас и впрямь не мог заглянуть в глаза Смерти, и не потому, что страшно, а потому, что уже. Души, не родившиеся в Раю, души, умершие в Аду; тетка протекает между нами, как Стикс. Мы прошли неживой чередой по кровавой дорожке парка; он был уже окончательно прибран (когда успели?..); не пущенные санитарями, остались в конце дорожки дебилы, выстроившись серой стенкой, и вот — слились с забором, исчезли. Последний мой взгляд воспринял лишь окончательно опустевший мир: за остывшим, нарисованным парком возвышался могильный курган, куда по одному уходили пациенты к своему доктору...

Кто из нас двоих жив? Сам ли я, мое ли представление о себе?

Она была большой доктор, но я и сейчас не отделался всеми этими страницами от все того же банального недоумения: что же она как врач знала о своей болезни и смерти? То есть знать-то она, судя по написанным



страницам, все-таки знала... а вот как обошлась с отношением к этому своему знанию?.. Я так и не ответил себе на вопрос, меня по-прежнему продолжает занимать, какими способами обходится профессионал со своим опытом, знанием и мастерством в том случае, когда может их обратить к самому себе? Как писатель пишет письма любимой? как гинеколог ложится с женою? как прокурор берет взятку? на какой замок запирается вор? как лакомится повар? как строитель живет в собственном доме? как сладострастник обходится в одиночестве?.. как Господь видит венец своего Творения?.. Когда я обо всем этом думаю, то, естественно, прихожу к выводу, что и большие специалисты — тоже люди. Ибо те узкие и тайные ходы, которыми движется в столь острых случаях их сознание, обходя собственное мастерство, разум и опыт — есть такая победа человеческого над человеком, всегда и в любом случае!.. — что можно лишь снова обратить свое вытянувшееся лицо к Нему, для пощады нашей состоящему из голубизны, звезд и облак, и спросить: «Господи! сколько же в Тебе веры, если Ты и это предусмотрел?!..»

1970, 1978

## НЕ ВИДНО ДЖВАРИ...

...Я шел по траве вокруг храма Светицховели. Было так тихо, что даже звон в ушах, какой бывает при полной тишине, и тот глух в этом ватном безмолвии. Шаги мои глухли в траве. Ни звука, ни ветерка, ни шагов, ни шума крови. Птица не пролетела.

Все было удивительно ровным: свет, воздух, трава, тишина. Мир был без тени. Такая была погода — в небе не было ни облаков, ни туч, ни солнца — и было светло. Не было неба.

Через ущелье, на горе, отсюда хорошо бывает виден Джвари... Так и он не был виден в этом молоке. Не виден Джвари.

Мягкость освещения была необыкновенная. Непонятно, как получалось впечатление объема при полном отсутствии теней — храм был даже особенно объемным: казалось, я видел его все время целиком, что взгляд изгибался и обнимал его. Храм был совсем один в этом

мире — никакого тела или предмета больше не было в поле зрения — только я, пришелец. Храм молчал.

Однако в этот сон я приехал на поезде, это я помнил. Тем более что состав вел маленький паровозик, а вагоны были старые, с выступающими подножками, я так уже очень давно не ездил. Они — напоминали. Я сидел на подножке, курил, как в далекие уже времена, и под ногами у меня проплывали черепичные крыши, кроны, дворики — очень близко, как на Кунцевской линии московского метро. Иногда поселки проваливались, открывая под собой реку «мутную такую» — Куру. Тогда я заглядывал вбок, за поручень, и между вагонами, над болтающимися буферами, видел однообразный скол скалы, к которой жался, пробираясь, поезд... Все это я помнил точно, но теперь, когда я шел по траве вокруг храма, в этой полной серо-белой тишине, будто отснятый на очень старую, немую пленку... теперь, из этого сна, тот поезд, мой приезд сюда — казались мне еще более приснившимися, в вялом, полузабытом сне.

И совсем уже не помнил, мимо какого безразличия для взгляда прошел я от станции до храма — миновал. Что-то, по-видимому, было вокруг, должно было быть... Храм окружала стена, и когда я шел вдоль стены в поисках входа, то еще храма не видел, или не видел целиком, или он был незаметен, или я не обратил... Я миновал стертые ступени и прошел в маленькую дверку в створке больших ворот... Был выходной для памятника день — никого не было людей, на дверях храма висел замок — я оказался там.

Храм был окружен крепостной стеной. (Окружен — не совсем точно, потому что двор был квадратный.) И хотя назначение стены всегда внешнее: она как бы строится прежде всего наружу, чтобы оградить, не впустить, здесь эта стена была построена в н у т р ь. Вот различные крепости и тюрьмы: стена всегда обращена к врагу, в тюрьме стены смотрят внутрь. Но тут было и нечто третье — монастырская стена: она ограждала взгляд. Лишь одно дерево разрушило стену, заглядывая с той стороны, нависая любопытной кроной. Двор же, меж стеною и храмом, был полянкой без единого деревца — сплошь росла трава. Лишь от ворот в стене до врат храма вела дорожка из крупных, серых, как небо этого дня, плит — между ними тоже пробивалась трава. Из трещин между камнями стены росли тощие кустики. За стеной уже не было ничего — ровное отсутствие неба

того дня. Возможно, в другую погоду видны были дали, горы. Сейчас — только плоский травяной островок с храмом посреди, понтон с каменными бортами, плававший в белом отсутствии неба, солнца и тени — в молчании.

Белое, бело-серое и зеленоватое — три переходивших друг в друга равно неинтенсивных оттенка — держали себя друг в друге. И стены храма, отделанные ровными, но не равными плитами, больше белыми, чем серыми, как то же небо, там и сям симметрично расцветивались плитами зеленоватыми, как трава на дворе. Казалось, можно было сморгнуть эту еле тлевшую разницу цвета, и тогда: где небо, где храм, где земли в этом взвешенном, бесплотном, небольшом мире?.. Раздайся крик — эта туманная постройка из воздуха, камня и травы задрожала бы и отлетела, оставив тебя на пустом пустыре, — так казалось.

Ничего, впрочем, не казалось — я не был ни предрасположен, ни настроен, состояние мое отнюдь не было молитвенным, ни даже умиленным, когда я прошел сюда. Но не с чем было сравнить постигшее с порога отсутствия. Ни внешнего мира, ни себя здесь не то что не наблюдалось — не было.

В молчании обошел я молчащий храм по немой траве. Я не был готов к его восприятию — он мне ничего не напоминал. Он отличался от мощных по вере, «бычачьих», как сказал поэт, армянских церквей. Он не был таким классически законченным, симметричным и не утверждал себя как единственно правильная мысль, неизбежная при приближении к храму, подавляя тебя и растворяя в своей идее. Будто этот храм не заставлял верить, а сам — верил какой-то более нежной, робкой, даже неуверенной верой.

Он не был окончателен в своей идее, даже не был настойчив, как армянские храмы, он не был назначен. Он был трогательно благороден и будто не притяжал на вас. Строй, возникавший от зрения его, был высоким, но не возвышенным. Человек, утомленный ложным пафосом, мог не обнаруживать внезапных сил для восприятия пафоса подлинного. Храм не был симметричным, он не был и специально асимметричным, дабы отличаться от цельности предшественников. Асимметрия эта тихо подавляла психику, в участии к несовершенному мне — собственно, я и не заметил этого главного нару-

шения выверенных пропорций... просто, когда я обошел кругом, образ, вместо того чтобы утвердиться и впечататься, ровно отчалил и как бы испарился, и я не сразу заметил, что стал обходить храм вновь. Он словно не был закончен, как бы даже не был увенчан, ибо купол есть часть уже обязательно симметричная — поэтому купол был возведен как-то незаметно, неназойливо, легко, будто основными в этом храме были стены. Я, естественно, не ввязываюсь в данном случае в спор о куполах — именно э т о т храм был таким, как я попытался его описать, не разрушая сильными словами. Или — тогда он был таким, когда я на него смотрел.

Я не был готов к восприятию, ничего не ожидал — он мне ничего и не напоминал. Но все это вместе: эта погода, эти цвета, эта выключённость, эта немота и тишина, — они мне что-то определенно напоминали, однажды виденное или почувствованное, но совсем не в подобных обстоятельствах, но — что и когда?

Где-то я уже внимал такой немоте, где-то я видел такое молчание, где-то я уже слышал такую тишину...

Воспоминание преследовало меня — это означает, что я его не мог вспомнить.

Очень странно, я искал это узнавание в своей жизни и не находил. Я помнил, что уже пережил это однажды, неузнанная тлела во мне искра опыта, но я не находил место ожога. Я не мог представить, конечно, что воспоминанием может оказаться и что-то не бывшее в жизни, но с особой силой воспринятое или с особой силой переданное (как не только чтение книги может оказаться событием в твоей жизни, не только твои в связи с этим переживания, но и то, что было в книге...). Не мог я представить, что слышал однажды точно такую тишину, точно такого содержания тишину... не в своей душе.

Нет, нельзя о молчании — словами! Я написал эти страницы за ночь, а замолчал на полгода. Как бритвой обрезало во мне эту возможность — низать слова. Мычание не выразит невыразимого, лишь обозначит. Невыразимое — само выразительно, как молчание. Эти полгода были глубже книги. Я писал ее — как рассчитывался с жизнью. Что ж, она сделала свое дело: я так ее и не кончил. Но снова свободен.

Попытался перечитать ее, неоконченную, так, будто меня нет, а она есть... Странное впечатление! Во-первых, она и впрямь будто писана не мною, и это меня в ней удовлетворяет. Я бы только то и вычеркнул, что написал в ней сам. Там, где я наткнулся на себя, ощущал оскомину и стыд. По замыслу, даже по конструкции, эта книга — развалины храма, на возведение которого я потратил немало лет. Развалины, кажется, получились. Но это развалины так и не достроенного храма. Разобраться в этом — для читателя задача сродни археологической. Искать несуществующие обломки, разыскивать растасканные по соседним деревням камни прежде, чем догадаться: а был ли купол? Может, купола и не было... И все-таки! Покопавшись, довообразив, кто-нибудь дорисует его в чертеже реконструкции — с куполом, с тем самым, единственным, выраставшим из недовозведенных стен! Но его никогда не было, он никогда не с т о я л во времени... Но он был! Раз его реконструировали. Да, он был, и его не было. Потому что он есть. Он был ДО постройки. Его видели до меня и не брались; его, наконец, воочию видел я; увидит и еще кто-нибудь. Культура не пустует; пустует только время вне ее. А она — ЕСТЬ. Но никогда не станет она зримой из одной ностальгии. Ностальгия в лучшем случае возведет развалины как памятник единственному запечатленному в сознании образу. Нет, культура не возрождается; она — творится. Культура не может быть прервана, как не бывает прервана жизнь. Культура вечна и непрерывна, а мы ее либо знаем, либо нет.

Во что обратилось мое усилие — лубочный медведь держит в лапах лубок, на котором изображен медведь настоящий! Так ровно, так последовательно, мерно, не выбиваясь из реалий, клал я свою краску на каждую в отдельности картинку... чтобы, написав робкую дюжину арабесок, рассыпав этот пасьянс, обнаружить, что вместе, разложенные бок о бок, в невольной общей картине, — они не под силу моему воображению.

Над каждым деньком в этой книге встает солнце, и вот, когда все в порядке наконец, — раздастся петушиный крик. Всю жизнь вздрагиваю от этого крика. Никогда не понимал, в чем дело: что плохо, что он кричит? Вдруг понял: петух — реален, он всегда — с е й ч а с. И крик его — сейчас. А я в тот миг всегда — не здесь и не сейчас. Я нереален. Вот и испуг, вот и страх. (Петух родом из Индии... такая же тоска!)

Петух... пустить петуха... потух... пожар... пепел..  
петел...

Петел... будит... набат... бунт... мятеж... мятель...

Рывок (отчаянием, насилием) к реальности — вот  
лицо мятежа.

## РОДИНА, ИЛИ МОГИЛА

### *РОДИНА ПОЭТА*

Пограничник поднял шлагбаум, и мы пересекли из Грузии в Грузию. Стало так тихо, что мы остановились. Та же Кура плыла слева. Она была не та же, как и мы. Она была — выше. Нам еще предстояло привыкнуть к себе. С некоторой глухотой, разминая ноги... Заграница — это где живут другие люди, не мы. Здесь других не было, но как бы и нас — не было. Никого не было. И небо, и зелень стали другого цвета, хотя не могли они быть другого. Другого с в е т а они стали. Такой остановленный свет бывает только осенью, когда пробуксовывают мгновения и вдруг чувствуешь, оказавшись впервые, что уже бывал в таком времени и пространстве, именно в этом, в котором ни разу до того не был. Не был, но б ы в а л. Ощущение т о г о света.

До осени было далеко посреди июля. Тот свет был ближе.

И вчерашний день, и сегодняшнее утро оказались куда более прошлыми, чем были. И не нашедший своего лица кемпинг с потерявшими свое лицо туристами, и любезность боржомских властей, с отдаленной лаской взглянувших на нас как на отрезанный ломоть, и непостижимая протяженность ожидания пограничной печати в приемной, неправдоподобно быстро оборвавшаяся, и те же мы, но уже с бумажкой, но уже с печатью, чуть напуганные ошибками в наших отчествах, но не рискующие ничего поправить... и уже чуть-чуть не мы, в последний момент выскакивающие из машины, чтобы купить тапочки в «спорттоварах» («там» их уже не купишь...)... и прыщавый архангел с автоматом, устало отодвигавший от себя робко-нахальную небольшую толпу темнолицых и гортанных «местных», впустил нас по этой бумажке, вполне ею удовлетворенный.

...Из реки, которая там, вчера, называлась Курой, из реки, которая как бы из Куры лишь вытекала, чтобы течь уже без имени, в безымянных берегах под безымянным небом, вылезли наши дети, со смытыми, растерянными лицами, белесо моргая, словно снова родившиеся, нам и себе удивленные, словно крещеные, уже не безымянные, нареченные Леван и Анна... Кажется, мы ничего не сказали друг другу. Кажется, удержались.

Странно было увидеть собственный след на этом берегу; отнюдь не возмутительно, но дико глядел отпечаток протектора на черном песке. Отдаленный рокот одинокого грузовика с оставленного нами шоссе ничего не разрушал. Мы были так же посторонни, как белая нить истребителя в небе. Другая планета. Пришельцы. Скитальцы. Не странно ли, что «скит» и «скиталец» — однокоренные слова?

Новую модель не изобретешь. Кое-что изобрел первобытный человек: огниво, карман, колесо, простыню, сундук... Современный раздул лишь эти формы: зажигалка, «дипломат», «Жигули»... раскрыл простыню, разнообразил сундук дверцами да оконцами, да в сундуке же меж домами, этажами и разъезжает. Поразили в Тбилиси меня эти трубы, к которым прицепляют «Жигули», чтобы не угнали. Как остроумно и находчиво... Но это же просто коновязь! Память о конях — одно поколение... Принято, что человек, по природе, не изменился, а изменились внешние формы. Боюсь, что внешние-то как раз и не изменились; не такое уж абстрактное требуется мышление, чтобы различить за различными насадками все ту же первобытную палку... Не так уж трудно на старинной доске житий и страстей при входе в чистилище разглядеть картинки современной таможни. Скорее все-таки изменился человек, до конца уверовав в прижизненность собственного существования, то есть как раз абстрактное-то мышление и утратив.

Сказка и миф куда менее фантастичны, чем реальность. Они — здравы. Легко не верить, что вас встретит бог с бородою, но ведь вполне возможно, что — апостол с ключами... В символы веры поверить проще, чем в е р е а л и и. Скажем, если есть свет этот, как не быть тогда т о м у? Школьник знает, что магнит не разрубишь пополам, чтобы в одном был лишь плюс, а в другом лишь минус. Это только для нас тот и этот разновременны (тот — потом, после...), а они — одновремен-

ны, тот и этот свет, они никогда не существовали порознь, потому что лишь вместе они — жизнь. У жизни, как и у луны, как и у медали, не может быть лишь одной стороны, жизнь не односторонняя.

Как, однако, там? Не те же ли там проблемы? Перенаселение, Мальтус, экология? Если, по Данту, в чистилище еще надо попасть, и даже ад — для души еще своего рода карьера, и толпа топчется у Стикса, недопущенная ни туда, ни сюда (все люди, не исполнившие своего назначения...), то какова же толпа эта на наш четырехмиллиардный мир? Избранным не пройти к перевозу... Гениально прозрел современный бард: «И огромный этап, тысяч пять, на коленях сидел...»

У одной парикмахерши на днях умерла мать. Она очень плакала по маме. И снится ей мама. «Только не плачь, прошу, — говорит мама, — мне и так очень тяжело». «Как — тяжело?» — естественно интересуется дочь. «Здесь очень сурово». «Как сурово? — интересуется дочь. — Может, тебе чего туда послать?» — имея в виду теплые вещи и продукты. «Ничего не надо. Здесь все есть, все справедливо. Только очень сурово».

Беседа воспроизведена дословно. Что поймет современный человек под словом «сурово» здесь и что поймет он — там? Не нравственная ли норма человека сурова человеку современному?

Как, однако, там?

А вот так. Отчасти вот так, как здесь, где за границей Грузии оказалась Грузия же, где та же река и те же горы потеряли имена как принадлежность нам. Нам здесь принадлежал лишь арбуз, привезенный с собою, — мы его остужали в реке и упустили. Теперь и он не наш, уплывал от нас, домой — он от нас сбежал. Нам принадлежал укус слепня, слепо обозначившего, что что-то, не знаем что, или кого-то, не знаем кого, мы на том свете, ставшем для нас этим, р а з д р а ж а л и.

Мы ехали дальше, но это уже мало что меняло. Мир за границей, однажды нами пересеченной, был ровен и светел: однороден, односоставен. Менялись очертания скал, породы рощ, цветы полян, и — ничего не менялось. словно один и тот же мир поворачивали с разных сторон перед нашими глазами, а не мы на машине ввинчивались в новый серпантин. Воля наша была условна. Отнюдь не сами меняли мы окружающее пространство. Оно подсовывалось, отодвигалось, поворачи-



валось к нам и от нас — мы стояли. Не было ни воли, ни произвола. Здесь было сурово.

Не так сурово, а так сурово. Здесь почему-то вставал вопрос, снятый человеческим общежитием, где ты всегда — по отношению к другим, вопрос: кто ты такой? Кто ты такой, что сюда пришел?

Куда — сюда? Здесь было как т а м. Мы въезжали, под нас подкатывало, мы приближались, на нас надвигалось... И вот мы обнаружили, что стоим и дальше, по-видимому, не едем. Что это?

Родина Руставели.

Не стану утверждать, что я повторял знакомые мне с детства строки. Есть особая убедительность в имени поэта и не читанного тобою. Ухо услышит звук, соответствующий чьему-то имени, сто раз, и в нем не будет имени. Но стоит раз произнести его человеку знающему, что оно значит, знающему на высоте собственной любви, как вы и услышите и поверите. Слово «Руставели» слетает с уст грузина именно таким убедительным образом. Вы уже не сомневаетесь. Вам не обязательно проверять.

Так вот где он жил!.. То ли он жил в раю, то ли вы в аду, то ли место таково, что могло послужить столь высокому рождению, то ли поэт таков, что возвысил его до своего зрения и природа потом вынуждена была соответствовать уровню своего запечатления — стала такой? Нет, однако, сомнения, в силу пограничных или каких других обстоятельств, что природа здесь осталась в том состоянии, в каком была при нем. Его — нет. Он давно ушел в мир еще более тот, чем этот. Мир замер, провожая его взглядом, да так и остался на месте, на этом месте.

«Мир — лишь миг», — сказал друг, возможно, цитируя. Миг этот проскочил между Руставели и нами — мы стояли с ним в одном мире. Миг этот — простирался. «Он лишь взмах ресниц мгновенный...» Мы стояли, боясь сморгнуть.

Соринкой в глазу застряла турбаза, остальное было так же, лишь на его взмах ресниц позже. И отворотятся от турбазы, видели мы.

И не сразу скажешь, в чем тут дело. Красивое, конечно, место. Но — не в этом.

Несколькими гигантскими отвесами, очень музыкально восставшими в пространстве, противоположный берег уходит в небо, подавляя окрестность. Он — желт. А сейчас, в лучах закатных — золотист и розов. В нем

чернеют дырки, отсюда почти точки. Так и у нас на речках бывает: обрывистый берег испещрен гнездами ласточек, они стремительно ныряют в них, с криком вылетают, чудом не сталкиваясь, стригут пространство на многие треугольники. Это — жизнь. Здесь нет ласточек. Если бы они были, то это были бы уже орлы, орлы бы показались отсюда меньше ласточек. Масштаб — вот что гипнотизировало. Вы не знали, какое это, — то, что у вас перед глазами. То есть масштаба не было.

И оно молчало. И вы молчали. Молчали не от потрясения, восхищения или еще какого-либо подобного словесного чувства, которое потом словами или возгласами разряжается, не оттого молчали, что как бы на время утратили дар речи, потрясенные. Молчали оттого, что слов здесь и не было. Или их здесь однажды не стало...

Когда-то здесь был монастырь. То есть эти дырки — входы в пещеры, в кельи. Это вам объяснят, когда наутро, после зарядки и манной каши, поведут через реку на экскурсию. Он был основоположен, и он быстро рос, превращаясь в пещерный город невиданного в истории размера. Храмы и хозяйственные службы, кельи обширные и с удобствами и схимнические, недоступные, все выше и выше, лестницы и переходы, выдолбленные в скале и висячие, террасы, галереи и мосты... Духовный оплот и сердце Грузии в упоительное для Грузии время, связанное с именами Тамар и Шота.

Но и века не прошло. «Мир — лишь взмах ресниц мгновенный». Землетрясение, подобной силы не отмеченное ни до, ни после, до наших дней, обрушило скалу в ущелье и с ней — город. Таким образом, то, что мы видим теперь, есть так называемый в черчении вертикальный срез — трагическая наглядность! «Далее посмотрите на эту фреску, — убеждал романтический экскурсовод в джинсах, особенно подчеркивающих узость бедер, в белой свободной рубашке, особенно подчеркивающей ширину плеч, с открытым воротом, особенно открывающим сильную шею и нательный крест, так и не поглядывая на девушку, особенно внимательную и выдвинувшуюся вперед, но тоже на него не поглядывающую... — На этой фреске вы видите уши животного, — говорил экскурсовод, вообще-то охотник, воин, только сейчас, временно, экскурсовод, — животное это, по ушам, конь. Но художник не стал бы рисовать одни уши коня, ясно, что он рисовал всадника на коне.

А это значит, что остальная часть фрески упала в ущелье...»

Вопрос «за что?», который, хотя бы однажды, задает себе в истории каждый народ, звучит в этом ущелье. Это то самое «за что?», которое звучит в устах и у русских, когда они пытаются понять свой сегодняшний день в непрерывной связи с днем рождения, когда одни вспоминают Новгородскую республику, другие татар, третьи Петра... Все они, предварительно перессорившись в точке отсчета, забывают в споре, что исходят из общего для всех недоумения. «Художник не стал бы рисовать одни уши...» — снова услышал я от экскурсовода, не менее сурового и романтического, ведущего следующую группу.

Был ли то знак свыше? А как еще его было тогда понять, когда недоступная нашему разуму вера лепила эти гнезда, создавая духовную крепость нации? Катастрофа и есть катастрофа. Что погибло — погибло, а остальные ушли. Надо думать, то было и так неболтливое время: в молчаливом краю, монахи, пещеры, — отделенность от мира, трижды желающая отделиться: в самостоятельности, в недосыгаемости и в молитве. Мечом, не иначе как карающим, гладко, как бритвой, был обрублен этот мир. Молчание, куда более глубокое, чем без человека, молчание после катастрофы, воцарилось здесь. Его-то мы и видим, а не пейзаж. Оно и в нас молчит. Не описать его. Молчание не расскажешь, как музыку не нарисуешь, а рисунок не напишешь, сколько бы ни упражнялись искусствоведы, поощряя подобные переходы и взаимообогащения... И я не стану.

Только молчание родит поэта. И хотя биография Шота столь неведома, что дает возможности самых необоснованных заключений... как убедительно именно это место и эта трагедия для рождения в одном из родившихся здесь людей поэта Руставели. Про границу трудно понять, что она от чего ограждает: внутренний мир от внешнего или внешний от внутреннего. Вопрос, с какой мы сами стороны... Но — обрыв. Крепость, которую мы отстаиваем, — родина. Крепость, в которую заточены, — тюрьма.

«Видишь, брат мой, что со мною. Как же боль свою укрою?  
Жизнь мне бремя. Но судьбою принужден я длить свой час.  
Жизни нет, а жизнь все длится. Смерть прийти ко мне боится».  
Смолк. И слез поток струится. Сколь печален тот рассказ!

Вы смотрите вдаль, через реку, на эту мощь скалы, на эти человечьи соты... Как черви, с необсуждаемым трудолюбием и упорством, без механизмов и взрывчатки, почти руками, но с необыкновенной скоростью, нарыли их люди. Как черви — но и как птицы! Недаром так высоко и стремясь все выше. Недаром ассоциация с ласточками — первое, что приходит здесь в голову. И черви, и птицы. Люди. Вы молчите. Смотрите. Не видите и не слышите. Не можете оторваться. Не знаете, что тут сказать. Не только молчание, но и — время. Тут остановилось время. Оно — то же, что и тогда, когда сюда вскарабкались первые схимники. То же, когда отсюда ушли последние. То же время, в какое заговорил из этой каменной невыразимости немоты Руставели.

Мир прискорбный. Рок бессонный. Что ты крутишься, взмятенный? Чем ты вечно огорченный? Кто уверует в тебя так, как я...

Все в биографии Руставели лишь предполагается, и утверждается в этих предположениях всегда автор гипотезы, а не факт. Все предположительно о Руставели, кроме самого Руставели. Музей Руставели — под открытым небом, в нем нет экспонатов, кроме его строк. Но ничего не нарушает их здесь звучания.

Все ж нас видит бог, любя.

### *ДОМ ПОЭТА*

У меня есть воспоминание, которому я не верю. То есть сомненья нет, но — не верю. Кончилась война, мне было девять лет, мама повезла мои гланды в Ялту. Я в первый раз летел на самолете. Чему тут верить — что я лечу на самолете? что кончилась война? она была всегда, до нее ничего у меня не было... что мне было когда-то девять лет? что сегодня я могу вспоминать события тридцати-, сорокалетней давности? Но еще менее вероятно следующее, не явившееся в те мои девять лет ни каким фактом ни осмысления, ни переживания.

Калитку нам отворила старушка и пропустила нас в садик. Она подала маме руку, но, как я понял, не была маминной знакомой. Мама объяснила, что мы из Ленинграда и очень бы хотели осмотреть... Строгая старушка, с долей сомнения измерив меня, без слов пропустила нас и прикрыла калитку. В домике было похоже на на-

шу квартиру — ничего меня не поразило. К старенькому автору «Каштанки» я еще не испытывал ни любви, ни неприязни.

Потом мы пили на кухоньке в пристроечке чай, совсем как дома, даже буфет был в точности такой. Мама рассказала про петербургскую гимназию и Ленинградскую консерваторию, старушка — про своего брата, но не Антон Палыча, а другого... Ничего я не помню из того, что рассказывала Мария Павловна. Помню черепашку, выползшую на дорожку сада, когда мы, благодарные, прощались.

(Было это в тот год, когда со смерти Чехова прошло столько же лет, сколько он прожил, столько лет, сколько было тогда маме, и столько, сколько мне сейчас. В задаче спрашивается, какое сегодня число и что мы за это время написали?)

Мама меня возила в отпуска за собой, и я много посетил еще домиков, кроме чеховского. Был я и в Грузии, в доме Казбеги, и в доме Пшавела, и еще как-то в Гори... Запомнил в каждом — железную кровать и узкогорлый позеленевший кувшин в углу.

Уже тридцатилетним человеком начал я попадать в эти домики по второму разу. Меня — водили. В домик Чехова попал с известным кинорежиссером, которому мы особенно обязаны экранизациями чеховских вещей («Дама с собачкой» была уже снята, а замечательная «Дуэль» еще нет...). Естественно, нам распахнули все двери. Отцепляли для нас бархатный барьерчик, отгораживавший экспонаты от посетителей, подпускали вплотную. На тумбочке, рядом с чеховской кроватью, лежала французская книжка по пасьянсам, на отрывном календаре навсегда осталась дата — 27 мая... Я ничего не узнавал из того, что уже видел. «Уже старушки нет...» Директор сетовал на миллион посетителей в год, на план и хозрасчет, и мы разделяли: деревянные лестницы, рассчитанные на поступь немногочисленной семьи, не были рассчитаны на всеобщий духовный водопой.

...Я много посетил с мамой домиков — я стараюсь их больше не посещать. Что-нибудь да порвется каждый раз в душе: то ли боль за поэта, то ли за себя. Чего-нибудь обязательно не простишь времени или, опять же, все тому же себе. Нелегкое это — посещать... Ненавидеть экскурсантов, отделять их мысленно от себя

и убеждаться, что ничем-то ты не лучше их, если не хуже.

Да и посетить их бывает почему-то не так просто: специально — не соберешься, а когда выпадает естественный, как бы сам по себе, случай, который тут же захочется истолковать как знак или судьбу, то и тут... То ли выходной, то ли еще хуже.

Я возвращался на машине с юга и втянулся уже в среднюю полосу, которую и стремился поскорее преодолеть, утомленный долгой гонкой и однообразием представавшего предо мной вида, как вдруг... Что это? Так обрадовался взор!.. Пейзаж поражал культурой и свободой. Разгадка последовала: на указателе было написано: «Спасское-Лутовиново». Сама судьба распорядилась — когда бы я еще так счастливо туда попал?.. Но та же судьба распорядилась и мною: мне нечем было заплатить и скромную входную плату: я не обнаружил бумажника — ни денег, ни документов! — видно, лишился его на последней заправочной, от которой отъехал почти на пятьсот километров... Не навестил я Ивана Сергеевича! А может, и кстати. С чего бы вдруг? Может, я бы еще больше расстроился, чем от бумажника...

Из всех функций поэта для своего народа, из всех заслуг не отмечается и еще одна — бесспорная: природоохранная. Сколько истории, сколько памятников культуры сохранили они нам одним своим именем... Но и — сколько пейзажей! Не охраненные их священным именем, рассосались бы и эти: вырубил бы рощу, растащили усадьбу, будь она просто так. Ничья. Право собственности остается за поэтом, оно священо; оно освящено, впрочем, нашим правом собственности НА поэта. Оттого до сих пор можем мы не только вычитывать в прекрасных их произведениях, но отчасти и собственными глазами видеть, как жил человек и что его тогда окружало, когда он еще был. Чернильница, беседка, аллея... тросточка в углу, дуб на бережку, единственно столетний на всю округу... «Вновь я посетил...», «Я помню чудное мгновенье...» и «Нет, весь я не умру...». В наш век природа — такое же камерное, культурное пространство, как и стихи о ней. И если вдруг, проезжая по российскому шоссе, на смену бесконечным выродившимся, беспородным рошицам и порубкам, сплывающимся в общую просеку, на смену вываливающимся прямо на «проезжую часть» обветшавшим избам и заборам вдруг изящно изогнется дорога,

входя в широкогрудый, чистый лес, и даже рельеф облагородится, откуда-то возьмутся живописные холмы и поляны, блеснет чистая вода, природа задышит культурой (ибо и дикая природа, без вмешательства, приходит к своей культуре...) даже до того, как вы увидите уже и впрямь культурный, насажденный и не вырубленный впоследствии парк или сад, прежде, чем мелькнет чистая церквушка с необломанным или непогнутым крестом, прежде, чем увидите на скромном и самом удачном месте уютный особнячок, — можете быть уверены, что вы приближаетесь к дому поэта, покопайтесь в своей эрудиции, какого... Поэт — последний крестьянин. Хозяйство его не только цельно, но и цело.

Может, не надо туда ездить на автомобиле?.. Нам предстояло путешествие — мой друг хотел показать город, где он родился. По дороге могли бы и заехать, куда захотим. Свернуть. Но — куда? Скажем, в Гори. Или еще раньше — в Сагурамо. В Гори или в Сагурамо? Не хотел я в музей — куда милее мне был в тот момент простор. И в Гори я был... Когда? Неужто тридцать лет назад!.. Ужаснуло меня. Но все хотели. Все хотели того, что я хочу. То есть все хотели, чтобы я хотел. Тогда уж в Сагурамо. Там я хотя бы не знал что. Туда я чуть меньше не хотел. Мы свернули с трассы с непонятым облегчением, которое рождает поворот: ехать совсем не туда, куда собрался...

Что я там мог не видеть? Машина заскребла по щебенке, круто в гору. Средиземноморская сухость камней и кустарников весело цепляла глаз. И вот любопытно: всегда-то мы себе что-то представляем, собираясь увидеть нечто в первый раз! Какой-то расплывчатый монстр из уже виденного и того, чего никогда не увидим, заслоняет взор: там в тундре прыгает кенгуру, и петербургский дождик идет на Монмартре... Растоптанный чеховский домик вставал перед моими глазами на том подъеме, санаторные толпы восходили по рыдающим шатким его лесенкам, светлая память не zapomненной мною Марии Павловны печально витала над цементной гробницей, в которой был захоронен живой при ее жизни дом. Но дом этот перед моими глазами был и чеховский, и не совсем чеховский — лесенка, по которой я взбирался в памяти, завела меня совсем на другой этаж дровяной дачки в Сестрорецке, и не Мария Павловна, а все еще живая Вера Владимировна propulsionала меня по той крутой лесенке наверх: «Осторож-

нее! Видите плакатик на притолоке? Его еще сам Михаил Михалыч написал. Чтобы гости не стучались...» «Береги лоб» — тщательно на тщательной же фанерочке начертано было рукой мастера. Покорный его воле, невольно склонился я, входя... Так, рассказывают, устроен вход в гробницу Наполеона, что каждый поневоле склонит голову. Но какая разница была в этих двух величиях и величинах!

Это был самый живой писательский музей из всех мною посещенных. Живой, как последний вздох, как осенняя паутина, как комната, из которой вышли, но еще слышны шаги. Он был жив и легок, как воздушная поступь старушки, как серебряный пух, нимбом светившийся над ее головой, как непрерывный девичий ее щелбет, несмышленому мне пояснявший... Я сел за его стол. «Вот эти две колобашечки он тоже сам сделал, чтобы ставни не хлопали... — И она вставила колобашечку между окладом и рамой, распахнув окно. — Очень удобно». За окном был нехитрый садик, где дрова поддерживали заборчик; с косым сортирчиком, опиравшимся плечом на ветви вросшей в него бузины... Я, робея и наглежа, поднял со стола очки, сложившие лапки, как кузнечик: две пыльных ватки были прилажены для переносицы... Их тоже «сделал» сам Михаил Михалыч, как мне пояснили; очки — натирала! Но натирала они живую переносицу! Ватка касалась! Касалась поса!.. Нет, я не мог больше... Продолжатель Гоголя и наследник Чехова!.. Я крутил в руках бумажку, этакий бланк на пол-листе, размером в командировку, предписание или повестку, за подписью инспектора по учету кадров. В бумажке извещалось, что решением... ему (Михаилу Михайловичу...) присвоена? присуждена? установлена (вот!) персональная пенсия размером в наши сто двадцать рублей. Вы не представляете, как он обрадовался, поясняла Вера Владимировна. «Теперь я хоть уверен, — сказал он, — что ты не умрешь с голоду. Тебе положена после меня половина...» Она его уговаривала не ехать (он плохо себя чувствовал): успеешь еще оформить-то, дело-то уже решенное. Он страдал нервным заболеванием — не мог есть... (разве? как Гоголь? что вы говорите! я не знала...) он сказал: «Ты меня знаешь, я не успокоюсь, пока все это...» — и поехал, как я ни уговаривала, вернулся совсем плохой... То есть он ее не успел получить, первую свою пенсию, — тень Акакия Акакиевича накрыла полую своей шубы великого сатирика...



А старушка так же звонко (у нее поразительно отсутствовала в речи пауза) рассказывала мне, как они познакомились, какой он был красивый, как он вернулся с фронта, еще в шинели, и носил башлык, а они возвращались из гимназии, и подруга ей говорит: «Смотри, какой башлык!» Мы так «башлыком» его и звали; потом он однажды к нам подошел. Именно гимназисткой была и оставалась замечательная старушка, все еще более гордясь своим личным знакомством с пресловутой Чарской (она ей написала читательское письмо, и вы можете себе представить! ответила!..), чем тем, что стала женой великого писателя...

Так вот же ведь, вот! Она не за писателя и выходила, а за красивого двадцатилетнего офицера, бледного, отравленного немецкими газами, в башлыке, с георгиевским крестом и темляком на сабле!.. Серебряный ее голосок витал и витал, и была она все еще той самой, в которую он и влюбился, и не видел я более трепетной и живой памяти о великом писателе, чем такая!.. Влюбленный в ее колокольчик, расшаркиваясь и не находя внятных слов, покидал я этот никогда не открытый музей, живой ее жизнью настолько, что и Михаил Михалыч оставался жив: вышел в садик или на терраску, пока мы болтали, не утомляя его... И спускаясь по той же лесенке, расшибал я таки лоб, искры сыпались, и смех ее рассыпался: что ж это вы, ведь сам Михаил Михалыч предупреждал меня об этом... Растроганный, покидал я, бредя вдоль глухого зеленого забора соседней ведомственной дачи, за которым не знаю кто бы еще мог жить... И вдоль того же забора, так долго отгораживающего взор от дивных парковых берез, где всюду знак «остановка запрещена», а японцы, не понимая, просят остановиться, им хочется фотографировать березы, им хочется в рашн-лес, они не хотят в музей, а мы им ласково, более, чем они, по-японски, улыбаемся и провозим все мимо и мимо, успокаивая, как малых детей, что уже скоро и сейчас приедем... И впрямь, меж двух сужившихся заборов, как скот в загон, втягивается наш делегационный кортеж, и попадаем мы опять, куда я никак не ждал, — великий открывается простор и взор и вздох в этой прославленной усадьбе, где природа уже исполнена человеком в той же мере, как музыка, в том же, впрочем, камзолном веке. Нет, усадьба принадлежала не поэту, а вельможе, но поэты здесь бывали,

и одна из их возлюбленных погребена вот под этим памятником...

В этом дворце как-то получалось, что недоступное разуму богатство не подавляло роскошью, а поражало жизнью, интимностью пространства, точным ощущением живого человека, здесь ходившего и дворец собою населявшего. С подавленным ностальгическим вздохом расслышал я в соседнем зале шарканье шитых туфель моего прапрадедушки, которого, признаться, я не по праву себе приписывал... Не знаю, с чего это меня так перекосило именно в Архангельском от японцев, которые так много и так вежливо улыбались, что не хотелось верить, что они способны почувствовать хоть что-нибудь из того, что обязан почувствовать здесь каждый русский человек, а может, злясь на их недоступную фототехнику, которой они непрерывно вспыхивали и стрекотали, запечатлеваясь, а может... Только с чего я взял, что я испепелюсь от зрелища их императорского дворца или сумею испытать их чувства от японского садика или вазы, которых здесь, в нашем дворце, было предостаточно и которые они (с каким чувством...) трогали своим японским пальцем... с чего это я взял, что способен? Потому ли, что собрался к ним и, по этой именно причине, что сам буду вскоре их гостем, сопровождал своих японских гостей по месту, которое, кстати сказать, и сам-то впервые в жизни видел, как впервые видели его и они... с чего это я взял, что именно я — настоящий русский, когда особенно возмутился живому хихиканью за спиной, а обернувшись, застал своего кинорежиссера (не менее меня русского, из северной деревни родом...), в ту же Японию со мною намеревавшегося, то есть в Архангельском оказавшегося никак не по менее святой причине... я застал их, японца и русского, любознательно удовлетворявших свои филологические потребности в радостной попытке нахождения общего языка: они тыкали в мраморные частицы тела амурчика, японец называл их по-русски, а наш режиссер, по-видимому, по-японски; они повторяли эти, столь непохожие по звучанию на родные, слова и смеялись с истинно детской веселостью, окончательно забыв про пенаты, про памятник культуры и т. п. Я тогда чудовищно возмутился.

Сейчас думаю: славные ребята, по существу... лучше, чем воевать... славные ребята! Но вот что же я так зарыдал ни с того ни с сего тогда, на выходе?.. Я слу-

чайно почти попал, несколько раз не попадал туда: то с дочкой, то с грузинским другом, то с иноземцем... всегда он бывал для нас закрыт, этот миленький домик, особнячок, даже особнячочек, выходящий своим красным узким бочком на Садово-Кудринскую... то перерыв, то выходной день, то санитарный... а тут иду себе и не собираюсь, и час у меня нечем занять (это в Москве-то!), а домик-то и открыт! Я раздумывал в него войти — слишком неожиданно, решил все-таки не идти даже; Чехов такое чувство вызывает, что как-то то ли себя неловко, то ли людей стыдно, а теперь уже — перед ним самим этот стыд восневшим и воплотившим «с такою чудной силой»... Не пойду, думаю, а уже — вошел, а уже подымаюсь, гордо не присоединяясь к экскурсии и свое, хоть и скромное, инкогнито не приоткрывая... мне ли объяснять про Чехова!.. фланирую, с миной скромности и величия, по прекрасно, надо сказать, спланированной экспозиции, нравится мне и симпатизирую Антон Павловичу во всю меру своего знания и понимания, проникаюсь, так сказать...

И, в самом конце, вдруг на подушечке, под стеклом, в крошечной, как пишущая машинка, витринке, вдруг, на подушечке, просто так, безо всякого пояснения — на бархатной... под незалапаным стеклышком... пенсне и визитная карточка «Докторъ Чеховъ»... постоял я, постоял над ними, оцепенел тупо... а когда встрепенулся, очнувшись (за спиной уже стояла старушка — подозревала...), то и решил, что ничего больше смотреть нельзя, а надо уйти... Я-то решил, но так и оказалось, что другого — ничего и нет: на выход. Вот и выхожу я, про себя похваливая такт и вкус устроителей, на улицу... и улыбаюсь еще какое-то мгновение на внезапный уличный свет удовлетворенной, расслабленной улыбкой, и что-то все щурюсь и щурюсь, никак не привыкнуть, щурюсь, Садовое кольцо, щиплет, машины, машины, щиплет сильнее, сегодня!! сейчас... и рыдания без мысли, без идеи, от одного лишь этого чувства немого, начинают, как писали когда-то, «душить» меня. И я не в силах ни понять этого, ни сдержаться, ни скрыться, ни провалиться... Мне некуда деться посреди этого рычащего и дымящего бездревесного Садового, безлиственного Кудринского, знакомые вполне могут... рядом... что же это рядом-то?.. Союз писателей рядом... сорокалетний, трехдетный, стою посреди, и бессмысленные, непокорные, не пьяные ни в коем случае, пото-

му что не было этого, слезы не просто текут, а льются, откуда столько?.. и отчего? никаких во мне слов, объясняющих, и сейчас не найдется. Просто это я, сейчас, в наше время, на Садово-Кудринской, что в Москве, со всей своей... со всем своим... разве так можно?..

Вот как было дело. С чего бы только было им просохнуть, как им было кончиться? Не пойму. Нет, никогда я не поеду в Михайловское! Не хочу видеть дуб, вокруг которого ходил кот, и прялку Арины Родионовны — не хочу. Не хочу в действующий храм, так замечательно отреставрированный для посещения... Приблизительно это сказал мне монах, которого подвозил я из деревни Небылое, что во Владимирской области. Едем мы, мчимся. «Инспектор!» — предупредил меня внимательный батюшка. Машина приседает со ста двадцати до шестидесяти прямо под носом засевшего в кустах гаишника, и успеваю я, тормозя, прочесть неправдоподобную свою внезапностью вывеску села Болдино. Отчего же так прыгнуло сердце? От боязни компостера в правах? от чудовищной той его осени?.. И гаишник не остановил почему-то, и я не остановился. Понял я это, лишь пересекая, как финиш, противоположную границу, прочитав слово «Болдино» в зеркале заднего вида... Нет, не мог я здесь остановиться! И я не остановился. Какими глазами смотрел я на пролетавший, улетающий от меня пейзаж. Какие проплывали, те же самые, что и над ним, облака! Знал бы я, что другое Болдино это было, другой области, однофамильное село... И пронесся я, минуя, как однофамилец самому себе. Так и гримируюсь под Гамлета, а пора бы уже репетировать Лира. И только мы миновали пост ГАИ, только мой друг изо всех сил тормознул перед ним, встряхнув всех нас, как поросят в мешке, как мы и оказались там, куда ехали, в Сагурамо мы и оказались. Представления невиданного тут же распались, чтобы все обернулось той самой стороной и условием счастья, когда ты — не предполагал. Экскурсий никаких не было, мы были первые и одни; не было и никакой преувеличенной надстройки над святыней; не осталось ни сестры, ни вдовы... Все здесь было вполне нормально, недоразвалившись и непереобновившись, в той норме, когда можно бы и продолжать жить, как жили... Для нас одних выбегали навстречу дворняги, неожиданно, для такой удаленности, породистые; от нас одних отвернулся в маленьком прудике черный лебедь; для нас одних оторва-

ли от свежей непечатой тетрадки входные билеты... Билетерша же, конечно, была не одна: несколько женщин сидели уютным и праздным кружком на музейном крыльце, оживляя его. Кто они были? Сотрудницы, родственницы, а может, и то и другое... Одна из собеседниц крутила в руках кофейную чашечку, явно прервавшись на полуслове, другая все еще не потеряла той заинтересованности к своей судьбе, которая бывает на лице каждого, кому гадают, и еще чашечка, перевернутая, ждала своей очереди на столе билетерши... И мы прошли.

Там было тихо, чисто, по-крестьянски был как-то не то памыт, не то неровен пол, плетеные же, деревенские, лоскутные половички... Уютно было, будто мы собирались то ли пожить здесь, то ли все-таки дальше поехать, то ли нас приглашали, а хозяин ждал-ждал и отлучился, буквально перед нашим приходом, и, как всегда, мне здесь, приедем, неясно: хозяин? он что, сейчас будет или через неделю? Другая жизнь у времени здесь... Память о великом человеке не прервала тут жизни здесь живущих. И вот еще от чего мне стало хорошо: трепета у меня не было перед великим Ильей; у друга, наверно, был, а я был не обязан. То есть я относился к нему и с искренним, и с подобающим почтением, но и только. Не стояла для меня за ним судьба моего народа. И слава богу. Отдохнем и от этого. Все здесь располагало к отдыху некой тенистостью в принципе, не только под деревом она бывает... Да и человек хороший. Вот то, что хозяин наш Илья — человек хороший, мне было очевидно ясно и без страстных пояснений моего друга. Быт человека не врет.

Поднявшись на бельэтаж, на лестничной площадке, в большой витрине, осмотрели мы личные вещи: трость, саквояж, белый жилет — на солидного, как в прошлом говорили, статного, человека... будто он все-таки вернулся, нас догнал, а сейчас поспешил переодеться... а нас пока пропустили прямо к нему в кабинет, поспешно спрятав за спину малиновый бархатный барьерчик... Так и выглядела настигшая нас экскурсоводша, с которой любезно объяснялся мой друг, а я не понимал... так она выглядела, как дальняя, возможно, и бедная родственница, помогающая здесь по хозяйству... Илья ей нас пока поручил... Она спрятала за своей спиной эту малиновую анаконду с крючком на конце, и мы прошли в его кабинет, таким он и представлялся —

и мужской, и интеллигентный: почитали корешки на книжной полке — не так и много, но все — по делу, осмотрели не замученный непосильной работой письменный стол, и вполне хорошо вытертый ковер, и мутки на узеньком диванчике для внезапной дремы... Вышли на балкон: прекрасный парк спадал некруто вниз, деревья стояли просторно, так, что особенно трепетали меж стволов, по сухой приземистой травке, солнечные пятна; пятна эти вольно разгуливали по парку, представляя то тень, то свет так, что ни свет нигде не палил, ни тень нигде не сгущалась... И деревья все были такие породистые, как и выбежавшие нам навстречу при входе собаки. «Вот здесь, — мечтательно и ласково пояснял мне друг, — обычно ставили стол...» И взгляд его ушел за деревья, будто кого-то там вдали провожая... Или, может, кто-то уже приближается, кого мы ждем?.. «Вот так... — говорил он с мягкой расстановкой, с круглым жестом. — Прямо здесь, где мы стоим, однажды Илья и Акакий и не заметили, беседуя о судьбах, что съели всего поросеца...» И снова его взгляд пошел кого-то там, вдалеке, встретить.

А потом мы и сами съели то, что у нас с собой было там, под балконом, в тенисто-золотистом парке; поели, запили водой из источника; поиграли с Леванчиком, сыном друга, в бадминтон; никто не проиграл никому... только солнце вдруг стало торопиться к закату, и Илья так и не вернулся. Что с ним могло случиться?..

### *МОГИЛА ПОЭТА*

«За что?» — вот вопрос. За что — Илью? за что — Галактиона? Александра Сергеевича — за что??

«Александра Сергеевича жальче», — сказал некий крестьянин про смерть Льва Толстого.

За что — они нам? За что — мы их? Им — за что??

Где правильнее похоронить поэта: где он родился? где он писал? где он погиб?

А где он, например, писал? Когда было ему?.. Ему было некогда и негде.

Это теперь мы возводим им дома, в которых они жили. Храмы. И молимся на них. В киотах — фотографии, первоиздания, черновики... портреты отцов и детей, возлюбленных... чернильницы, стулья, зонты... печатки, перчатки, пистолеты... фрак, сюртук... Архалук!

Сюртук мальчика с модной вытачкой. Тоньше пальчика в фалде дырочка. В эту дырочку мы глядим на свет: нам на выручку кто идет или нет? Жил один Сверчок... Господи, прости! Наступил молчок на Всея Руси.

Вещи — доказательство того, что поэт был. Будто мы не верим, будто себя убеждаем. Лишь экспонаты — неоспоримы. Будто нам мало текстов... Нужна еще биография. Приятно то, что точно знаешь; приятно то, что всем известно...

...Родился на Украине. Жил в Петербурге и Италии. Не был женат. Путешествовал в Иерусалим. Получил письмо от Белинского. Просил не хоронить. Перехоронен.

...Родился в Таганроге. По образованию врач. Жил в Москве, в Мелихово, в Ялте. Путешествовал на Сахалин. Умер в Германии. Похоронен на Новодевичьем...

Кто такие?.. Хором: Пушкин! Правильно, дети, Горький.

Заполним разом все клеточки в кроссворде.

Родился в 1796—1828 годах в небогатой помещицкой семье старинного рода, умер в 1829—1910, прожил 26—82 года. Знал от двух до шести языков. Рисовал. Писал вальсы. Служил в министерстве иностранных дел. Воевал. Был разжалован в солдаты, сослан на Кавказ, в Сибирь и родовое имение. Путешествовал, не был выпущен за границу, прожил 10, 20, 30 лет в Италии, Франции и Англии, где и умер. Погиб на дуэли, был убит, простудился, погиб... Прах его покоится на родине, перенесен из чужеземья, могила утрачена. Написал «Горе от ума», «Медного всадника», «Героя нашего времени», «Мертвые души», «Войну и мир», «Идиота» и некоторые другие произведения. Сто томов писем.

С признанием при жизни у русских писателей обстояло не так плохо, как, скажем, в Америке. У нас не открывали через сто лет Стендаля, По, Потоцкого или Мелвилла. И читатели, и власти более или менее сразу знали, с кем имеют дело. С биографиями похуже, но все-таки лучше, чем в следующем веке. Что поэты сохранили, так это исключительный патриотизм.

Да, биография налицо. Но где же тогда дом, который мы только что посетили? Когда же поэт в нем жил? Он в нем или родился, или умер. Приезжал в гости. Один Лев Толстой... да и тот в конце концов не выдержал и умер в дороге.

Скоро кончится тревога. Верный путник хвалит бога.  
Необманчива дорога, и уж близко светит цель.

Нет никакого дома — одна дорога. Путь. И если начало пути, место рождения, имело меньше всего шансов сохраниться для благодарных потомков, потому что новорожденный гений — такой же младенец, как все, не различишь (как поражает доска на одной из московских «высоток»: здесь родился Лермонтов!), то место смерти и могила должны быть куда более отчетливы у человека, столь свершившего... Казалось бы.

«Эти люди обо мне не вспомнят...» «Эти люди вспомнят обо мне...» Между фразами как раз и пролегал поколение, которое все забудет.

И скитания их не прекращаются за гробом.

Как могло так случиться, что пошел дождь, жена слегла, за гробом шли всего четыре человека (один из них Сальери), а до кладбища дошел один, могила была не готова, захоронили в общей, для бедных, а когда вдова пришла через день, смотритель не мог ей указать могилу? И это был человек, с раннего детства известный царствующим особам главных дворов Европы!.. Не говоря, что — гений, какого не носила земля, причем при жизни признанный гением. «И Моцарт в птичьем гаме...» — там, в листе, — его могила.

И сколько бы ни ссылались на интриги III отделения, опасавшегося народных волнений, никак до конца не понять, зачем же все-таки с такой таинственностью, ночью, в сопровождении жандармов, гнать сани с гробом поэта в Михайловское? Могила, правда, на этот раз известна. Зато с местом дуэли, при жизни ее прямых свидетелей и участников, происходят таинственные смещения... даже слева или справа от дороги, через двадцать лет они не могли установить. Так что, стоя у обелиска на месте дуэли, возможно, вы совсем не в том месте, где пролилась его кровь.

А беспокойный прах Гоголя?.. Он ведь так просил, предупреждал. Чего стояло его завещание в глазах людей, не сомневавшихся, что хоронят гения? Сочли бредом.

И уходит путь-дорога. Хоть людей на свете много,  
Необманчива дорога, и уж близко светит цель.

Праха поэта беспокоят через сотни лет, находя ему более почетные или более символические места для захоронения. Кости ли не могут успокоиться, мы ли не



можем? Прах Колумба и после смерти дважды пересекает океан, так и носится по волнам четыре сотни лет, Чаплина крадут...

Хлебников, вечный паломник, брел по степи со своим другом, и тот начал помирать. Хлебников не остановился помочь: «Степь отпоет...» — сказал он умирающему. И его самого отпела степь. Как отпела она, ледяная, и Цветаеву, и Мандельштама. Она же, скалистая, отпела и Пиросмани. Нет, тут не одна лишь наша неблагодарность! Тут что-то еще, не поймем что...

Беликие изгнанники и скитальцы, у которых место рождения равно месту смерти... Кто они такие? Откуда взялись и куда ушли? Что это прочертило нашу земную жизнь, как небосвод?..

Я все стоял и стоял спиной к турбазе. Вардзия погружалась в почву, как в молчание. Ничего там было уже не различить, но что-то все тяжелело и тяжелело во мраке — п р и с у т с т в о в а л о. За спиной разгорались танцы. И музыка, и свет турбазы, бывшие мне в спину, т у д а не достигали. Я стоял на границе того и другого. Вспыхнула и коротко пролетела звезда.

«Коль в живых мне оставаться, нужно с разумом расстаться. Птицы к душам вверх стремятся — так и тело ждет конца».

Руставели ушел в Иерусалим. Все они уходили в свой Иерусалим. И не возвращались. И когда я вглядывался в ночное молчание Вардзии, этого памятника людям-птицам, когда-то ее населявшим, и сам немел перед этой сверхмогилой истории и родины, то чем больше я верил в самого Руставели, тем меньше в его могилу. Не в то, что ее нет или что ее так и не нашли... А в само то, что он там, под камнем, есть. Его могила была здесь. Родина — его могила. Он — ее звезда.

Жизнь лишь беглое мгновенье.  
К миру только отвращенье.  
Мне с землей соединенье.  
В ночь ведет меня тоска.

Поэты — одни и те же люди. Столетия спустя не знавший Руставели русский поэт повторит:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,  
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,  
Что просиял над целым мирозданьем,  
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Как нечаянно вверглись они  
в разорение! уничтожились, погибли  
от ужасов.

Сколько раз мы вздохнули и охнули, выйдя на опушку, взойдя на гору, повернув за поворот и увидев море... Множество ли пейзажей и видов открывалось моему взору за бродячую мою жизнь? Нет. Не много. Чем больше я перемещался, тем меньше. Чем дальше я углублялся, тем больше видел пыль под ногами и стоптанные ботинки. Я брел по нерасчлененному уже лесу, выходил из некоего сада... пересекал горы, углублялся в чащу... я шел по словам из самого бедного словаря.

Я оставался при том, что имел. При токовском дачном озере, пионерском финском соснячке, с видом на Петропавловскую крепость. Расстояние в полста километров между ними — несущественно, скрадено памятью; и будто все это друг у друга на фоне, совсем в одной местности. Теперь и это немало: озеро заросло, лесок облысел, вид на Неву высосан почтовыми открытками. Но это — мое. Кое-что сверх этого зацепил я описанием, сделал фактом своей... присвоил. Там, в рукописях, расположен некий армянский монастырь, грузинский городок, ташкентский базар... Я отметил, что что-то видел.

Навидавшись, я по-прежнему иду по улице, вхожу в дом, сажусь за стол — и улица вообще, и дом вообще, и стол вообще. Значит, не мое. Моего же — вот столько. Сколько есть. Хорошо, если столько, сколько было.

Я хочу это видеть. Я ничего больше не хочу. А то опять увижу...

...Возвращаюсь из Москвы, везу анекдотец. «Шаху отрезали ногу...»

Как сядешь, так и слезешь... Если бы не вывеска, что это ЛЕНИНГРАД, — никакой разницы. Чья-то идеальная идея, чтобы Московский вокзал равнялся Ленинградскому: одинаковые перроны, одинаковые залы, по одинаковой клумбочке-могилке в начале и конце пути. «Червячок, а червячок?..»

Не выходя из вокзала, погружаюсь в метро: я все еще в Москве.

Выхожу на Петроградской и... наконец-то! дома! и все понятно. Радостно топчу землю. Причем именно землю, потому что сначала — сквер. Это кратчайший путь. Не могу сказать: узнаю,— знаю! И даже «вижу» — не могу сказать. Именно, что — НЕ вижу, а лишь убеждаюсь: на месте, все еще на месте...

Маршрут мой напоминает опыт Конрада Лоренца с землеройкой: этот недоразвитый зверек прокладывает свой путь лишь один раз, и если в этот первый раз ей поставить некое препятствие на пути, а потом его убрать, то она так и будет огибать его, уже несуществующее, до конца дней. Сорок лет назад я переходил Карповку по деревянному мостику, а лет десять тому — метрах в пятидесяти — построили капитальный, каменный; некоторое время они еще оба стояли рядышком, и я все еще дохаживал по деревянненькому: он стремительно ветшал, сквозя провалившимися досками, поблескивая повитертыми до блеска шляпками гвоздей... потом — снесли. А я и сейчас, кратчайшим путем, выхожу сначала к нему, убеждаюсь, что его нет, и как бы ощупью добредаю до нового, совершаю крюк. Кратчайший путь теперь другой... Значит, я выразился достаточно точно, что НЕ вижу: чувствую я, а не вижу... чего я здесь не видел? Иду я, щурюсь, будто на солнце, дышаю, будто и воздух-то здесь другой, чуть ли не улыбка бродит по моему... Однако взгляни я на себя со стороны, мог бы отметить, что иду я как бы отчасти бочком, несколько одноглазо, если можно так выразиться, и под ноги не смотрю.

Иду я так, что в поле моего зрения может попасть лишь то, что было и раньше, а раньше — значит, до меня. Если налево не смотреть, более или менее получается: Карповка, Ботанический сад... а там можно и налево голову повернуть — там мой дом: как стоял, так и стоит. Но Карповка теперь одета в гранит, деревья, посаженные по ее берегу после войны, выглядят почти столетними, а те, столетние, что вдоль Ботанического, давно попадали — все клонились, клонились с берега, тогда еще не гранитного, да и попадали... и решетка вокруг сада теперь другая. И под ногами, конечно, уже не плиты, и мостовая уже не булыжная — это все асфальт. Но дом мой — прежний, если слишком голову не задирать: наверху пропали скошенные окна мансарды, выпрямленные в лишний этаж... Но от моего дома вид уже не менялся на всем моем протяжении: тот же Электро-

технический с башенкой, те же часы на башенке и тот же двухсотлетний елизаветинский барак в углу Ботанического... И все это избирательное зрение дается без труда, без сознания, само собой — я все еще в прежнем, своем, неизменном, неизменном пространстве, и времени никакого не прошло. И все ассоциации мои такие же заученные, как путь.

Как землеройка в и д и т препятствие на пути, потому и огибает, так и я вижу сначала все того же человека в кальсонах, свесившего ноги с крыши семиэтажного дома, грозящего карабкающимся снизу пожарникам прыгнуть вниз, если они к нему приблизятся... вон я там внизу, мне из-за спин не все видно... три часа длится эта осада... Вот сейчас, когда я миную то место, сердце мое привычно опустится, как тогда, когда, не дождавшись, повлекся я наконец домой, опасаясь нагоня за опоздание, и тут же за спиной услышал общий вскрик толпы и, обернувшись, увидел остановившееся навсегда в полете тело, бессонно-белое и как бы пустое...

А на том берегу Карповки, где больница, увижу я впереди слово «морг». Нет, на нем нет вывески... просто я всегда боялся смотреть в ту сторону и так и не знал, какое же из этих сумрачных строений «оно» (я думал о морге в среднем роде), поэтому там расположено именно слово... Наверное, потому я завел тогда с мамой, именно на том повороте с Карповки на Аптекарский, один примечательный разговор... Я тогда в первый класс ходил... мама меня не поняла тогда... а я и теперь, сколько бы ни проходил это место, все тот же вопрос ей задаю и опять не имею ответа: «Мам, а когда я умру, я совсем умру?» Мама спешит, нам надо успеть отоварить карточку, ей надо успеть меня покормить и бежать на вторую службу. «Я тебя не понимаю, о чем ты?» — «Ну, кем я был, когда меня не было? — спрашиваю я иначе. — Я ведь был...» Голос мой дрожит. Но мама так и не понимает, что если я был до, значит, могу быть и после. С моими ужасными глазами мне надо поменьше разговаривать на морозе. Моя жизнь интересует мать именно в этом интервале от «до» до «после». Я каждый раз чуть не плачу, огибая этот угол.

Я на Аптекарском. Карповка остается у меня за спиной; сад справа неизменно хорош, левый бок мой слеп — фабричная стена. До дома два шага, но и на этом расстоянии — отметина: худосочный дубок, с трудом набирающийся жизненных соков из-под заводской сте-

ны. Две неравноправные судьбы у деревьев: через улицу он наблюдает счастливую жизнь — там, за решеткой, в Ботаническом саду... Этому дубку спасли, однако, даже вот эту его неудачную жизнь. На нем было поселилась тля, и мой отец, пока он еще выходил на улицу, надолго задерживался около, собирая эту мерзость палочкой с каждого листика. Прохожие смотрели на старика удивленно — он не смущался, а если кто спросит, пояснял охотно и наставительно. До какой степени казалось мне это его занятие бессмысленным! Однако вот так, поодиночке, за лето отец тлю победил. Ага, вот он, недомерок!.. Ремесленник сорок пятого года. Однако листом крепок, гли нет. Если обернусь, увижу отца: рукой он придерживает руку, чтобы она не опускалась, когда он дотягивается до очередного листика. Вид у него просветленно-сосредоточенный. Он и меня не заметил, как я прошел, и я его не окликнул. Там он остался, в заплочном пространстве, в том же, где никогда не упадет лётящий в белом полотняном пузыре, где мне не ответят про «до» и «после».

А вот и Дерево. Дерево значит дом. Деревьев тут полно, но Дерево здесь одно. Оно растет у самого дома, и хоть оно тоже за границей ботанического царства, но — такое же могучее и древнее, из их рода, состоящее с теми в родстве, патриарх елизаветинских огородов. Оно нависло через всю улицу, дотянулось нижней гигантской ветвью до собратьев и последним хоть листиком, но нависло туда, за решетку, к своим, в сад... Эту ветвь обломил грузовик своим негабаритным грузом. Приятно было видеть свалившийся с него контейнер. И ветвь загородила всю улицу, сама как столетнее дерево. Очень я жалел ту ветвь. Но довольно скоро, точно так же могуче и низко, нависла через улицу следующая ветвь. Памятуя об аварии, ее вовремя спилили. Тогда все Дерево потянулось туда, к саду. Так и росло под углом... Приятно было, подъезжая на такси, в очередной раз произнести: «Вот под Деревом остановите, пожалуйста». И никогда шофер не переспрашивал, настолько было ясно, что значит «под Деревом». Три года, как его нет. И каждый раз взгляд мой спотыкается об эту пустоту, об эту возмутительную плешь, оголившую нашу подворотню. И ночью, подъезжая на такси, я до сих пор открываю рот, чтобы сказать шоферу, как следует остановиться, но спохватываюсь: шоферу Де-

рево невидимо. Нечего мне теперь ему сказать, на эту секунду выходят лишние двадцать метров, прежде чем я грубо говорю: здесь. Ну, возвращаюсь немного назад.

Дерево спилили — это было СОБЫТИЕ. Долго валялись во дворе его слоновые чурбаки. Отцу мы про дерево не сказали. Отец уже не выходил на улицу и про дерево так ничего и не знал. Я застал свое сорокалетие в Москве. Он успел меня поздравить по телефону... Через час... Когда я прилетел первым рейсом и стал одевать отца и просунул руку под поясницу... то было последнее его тепло.

Из обширной связки ключей от многочисленных чужих домов я достаю один. И прежде чем повернуть его в замке, просовываю руку в щель почтового ящика: шторка, приоткрывшись, звякает. По этому звуку все узнавали, что пришел отец. Я поворачиваю ключ.

— Здравствуй, мама.

С каким бы постоянством и настойчивостью ни жаловались мы на жизнь, в настоящую минуту мы не будем сознавать, насколько положение наше ужасно. У нас не рак, в нас не стреляют, все, слава богу, живы. Чем хуже положение собственное, тем оно более и свое: ни с кем бы не поменялся. Другим как бы еще хуже. Настораживает только категорическая недопустимость дальнейшего ухудшения. В этом смысле хуже уже некуда. А так вообще-то ничего еще. Можно. Если не слишком долго.

Зато смерть была мгновенна. Он о ней даже не подзревал. А он ведь так ее боялся. Последний день был даже какой-то легкий, хороший. Даже аппетит: котлетку попросил. Племяннице и сослуживице позвонил. Больше года никому не звонил, а тут позвонил: принял поздравления с моим сорокалетием.

Лицо у него было красивое, ясное. Кровоподтек на лбу — ударился, когда упал, — почти незаметен. Так ведь, оказывается, врач сказал, больно ему не было: падал он уже мертвый. Он умер даже прежде, чем встал. Мертвый встал и упал. Ну и что ж, что кремация. Это была и его воля. К тому же удалось похоронить на нашем кладбище. А там захоронения уже запрещены. Гроб бы не удалось...

Соображение, которое мне никогда не удается додумать: эти две бритвы, перерезающие жизнь отца... Как бы слабо она в нем ни теплилась, она не успела сойти на нет, не гасла последней точкой, а оборвалась, вся, какая в нем была, — фронтом, водопадом. Не его собственное существование, а весь мир, представавший перед ним, рухнул в эту пропасть. Вот особое качество времени и темноты, которое не могу осмыслить: мир, разрубленный, как яблоко. И затем — печь... Куда наведывалась его душа на третий, девятый, сороковой?..

Но через год он наведаясь лично, во сне. Будто на улице встретился. Был он как-то обтрепан и весел. Легок. На брюках бахромы. Я был с мамой, а он очень обрадовался именно мне. Потрепал по руке. Мама даже приревновала: «А меня?» Потом мы обедали в какой-то забегаловке: отец ел жадно и молодо, мы смотрели, как он ест. Он ел и разговаривал (манера, так раздражавшая когда-то мать), рассказывал матери с энтузиазмом о моих литературных успехах. Это было так удивительно и на него не похоже! Вот кто, слава богу, полагал я, не дожил до этих «успехов»: он бы их не вынес. А тут, на тебе, убеждает мать в обратном... Обрадованный неожиданной поддержкой, я решил воспользоваться случаем порасспросить его о «тамашней» жизни (не американской, а загробной), он отмахнулся, жуя: «Да я там редко бываю...» Странная эта фраза поместилась на его вилке, как макаронина. Его голод и вид бродяги подтверждали мои христианские сомнения по поводу современного обряда... но, с другой стороны, неприкаянность эта была как бы только внешней, иначе откуда эти беспечность и свобода, которые никогда не были ему свойственны? Поэтому я не остановился и спросил его о главном: я склонился к нему, чтобы не слышала мама, и как свой своему: «Ну а сколько мне осталось?» Отец глянул и зажевал более задумчиво. Я стал его убеждать, что знать мне надо не из чистого любопытства, что я готов ко всему, но должен, в таком случае, у с п е т ь. Имелось в виду мое Дело (с большой буквы), которое, как мне стало теперь ясно и, по-сыновьи, лестно, он вполне признавал. Отец слушал меня невнимательно, наконец, что-то окончательно взвесив, не переставая жевать, выкинул мне, даже небрежно, как бы не разделяя нашей смертной и праздной заинтересованности в жизни, — выкинул два пальца. На свободной от вил-

ки руке. Как рога или заячьи уши. Или чтобы не поняла мать. Или это римское пять. С чего бы римское?.. Тогда уж мог выкинуть по-русски — пятерню. Или это означало латинское V — виктория? Конечно, мне сразу показалось мало — два. Я подозревал, что немного, но не два. 25 июля 1980-го... нетрудно было тут же подсчитать. Но уточнить мне не удалось. Сон распался.

Но впереди было по крайней мере два года...

В одном отец уже оказался прав: в той своей мине пренебрежения к моему интересу. Ничего я не успел за эти два года! Жизнь есть жизнь. Ее не поторопишь. Пятилетку в два года я не выполнил. И с предупреждением я прожил, как без него, и, в этом одном смысле, я собою доволен. В этом смысле я оказался свободен и лишней полочки к своему кресту не приколотил. Осталось три месяца.

Если не виктория, конечно...

Так что положение мое не кажется мне скверным. Потому что — куда тут хуже? Друзья покидают... Девушка не приезжает... Дела прикрылись, денег нет; развод, жить негде. И не пишется: плоды зацементировались в моей утробе, ни одного яичка не снес. Так и не снес... зачем было тогда отца выспрашивать? Правда, дети мои — не нарадуюсь. Вот только дочь не поступила и сын опять простужен. Правда, в отношении принятых на себя... до сих пор справляюсь: доедаю автомобиль. И живут они все еще, как будто я есть. Правда, есть еще несколько неполноценных читателей, для которых я свет в окошке. Убогие, неполноценные, но я им нужен и, слава богу, с ними еще не знаком. Правда, есть еще несколько бывших и будущих красавиц, благосклонных ко мне. Но лучше бы я был хуже для них, чем для себя. Правда, матушка — дай ей бог здоровья!

В общем, устроился...

Блудный сын, возвращаюсь домой. Сорок лет назад меня сюда привезли, и вот проходят каких-то сорок лет, и я опять здесь! Оплот! Мне все, еще есть «куда прийти» — это ли не итог.

Мама у меня девочка. Говорит бойко и радостно, никогда не поддаваясь ни возрасту, ни настроению... говорит, и будто у нее за спиной две гимназические косички прыгают, или два пыльных бабочкиных крылышка трепещут... Обсыпает меня всеми семейными новостями,



причем совсем последними, совсем мелкими, словно я всего вчера вышел и, следовательно, все еще хорошо помню и знаю. И вот я покрываюсь этой пылью, принимаю вспять форму кокона, спеленываюсь и готов больше никогда не родиться, а здесь с нею, с мамой, и пребыть...

— А ты знаешь, нас выселяют! — весело прощепетала мать.

Подробности мне рассказывает сосед Никонович. Мне кажется, он слегка прикиривает, что ему уже 89. Но возможно. Паспорт он мне показывал. Возможно, Никонович вечен. За последние сорок лет он не только не изменился, но решительно помолодел. В институте геронтологии он числится как объект. Он высок, строен, легок; на гладко выбритых щеках бодрый румянец; и седины у него не больше, чем у меня. Четыре войны упрочили его осанку и выправку, и сознательное холостячество пошло впрок. Начинал он с унтера, теперь по вызову «Ленфильма» соглашается выходить в мундире не ниже полковничьего, впадая уже в царскую фамилию, на уровне Великого Князя. К его бравому виду пристал зычный голос, грассирующий баритон. Но баритон у него удален по поводу рака гортани, операция прошла преуспешно, так что и в онкологическом отношении он теперь — объект. И надо сказать, таким разговорчивым, как после операции, он никогда не был. Сначала его было трудно понимать, и он писал бесконечные записки твердым гимназическим почерком. Теперь то ли он, то ли мы научились. Я перестаю себя слышать, что отвечаю, и мы беседуем, как две рыбы в аквариуме.

Кстати, наш обреченный, как оказалось, дом отчасти аквариум и напоминает — начало века, модерн: что-то есть в его линиях именно аквариумнос. Никонович открывает и закрывает рот, и я вникаю: нас выселяют, теперь точно, раз есть решение горисполкома, теперь — в любой момент, но скорее все-таки после олимпиады. «После олимпиады» — это уже формула. Как «после войны». В шесть часов вечера, скорее всего. После дождика, если то будет четверг. Радиоактивненького. Так и слышу его умиротворенный пепельный шепоток.

Аквариум, две большие старые рыбы, теперь еще и дождик сверху. У меня стремительно падает давление, втягиваются внутрь барабанные перепонки и височные

кости, будто я сам себя высосал изнутри. А он все говорит и говорит. ЭНЕРГОТЯЖКОМРЕМСНАБСБЫТИЗДАТ пишет он мне на клочке непонятное мне в его произнесении слово. Это оно нас купило, это оно нас схавало, членистоногое. Так, значит, все это, что мы жили и умирали, есть ПРЫГСКОКБРЯКБРЫКСКОПЫТ. Нас уже нет, а он, сожравший уже половину Аптекарского острова, он — есть и есть, БРЯКРЫГРАККОМИСТДАС...

Комната у меня уже покачивается перед глазами; плывет, фокусничает пространство, как и положено в аквариуме, превращая, под определенным углом, толщу — в линзу, то сплющивая собеседника, как камбалу, то растягивая, как рыбу-иглу... Я жалуюсь Никоновичу наконец на головокружение и низкое давление, и лучше бы я этого не делал... Во-первых, по его примеру я должен пить перед обедом сухое вино (на десять минут удаляемся от темы, погружаясь в свойства витаминов и глюкозы...), но не много (то намек), а — всегда (и это тоже намек), результат, как вы видите, палицо... а во-вторых, курага (еще пять минут о свойствах и ценах на курагу)... а в-седьмых, бульон (но это уже шутка — Никоныч долго булькает). Шутка вот какая: Декарт (он мне покажет книгу...) советовал страдавшему анемией и тому подобными недомоганиями Паскалю пить крепчайший бульон (а как же холестерин и склероз!.. лучше бы я не уточнял...)... так вот, бульон, а во-вторых, по утрам как можно дольше не вставать с постели, до чувства полной усталости от лежания... Ха-ха-ха! Правда? Декарт?.. Я сейчас принесу вам книгу... Что вы, я вам верю. Спокойной ночи, Александр Никонович.

Утром я долго не хочу проснуться. Неслышная, с шорохом ночной бабочки, летает из кухни в комнату мать. Я не хочу проснуться, потом я не хочу просыпаться. Я не помню, я хочу не вспомнить, почему я этого не хочу. Я должен был проснуться от телефонного звонка. Если я свешу вниз руку, она упадет на телефонную трубку. Может, мать унесла? Не открывая глаз, опускаю руку — трубка хорошо покоится на рычаге, не соскочила, не съехала... Не позвонила! Я отворачиваюсь от жизни к стенке. Но сон уже нейдет. Я храню в себе эту последнюю утреннюю возможность ни о чем не по-

думать — странное напряжение! О чем же именно я не думаю? Как бы не могу вспомнить... Часы бьют раз. Сколько это? Половина чего? Если бы вспомнить хоть какую деталь последнего сновидения, можно было бы попытаться вжиться в него, вернуть... Но оно ушло, как видно, навсегда. Жалкие попытки самому смоделировать сновидение напоминают тошнотворные усилия письма... Часы бьют, и опять — один раз. Значит, полчаса я просопротивлялся в стенку... С облегчением переворачиваюсь на спину. Что с часами? Либо час, либо полвторого. Эта воскресшая логическая способность восхищает меня. Если бы позвонила, то не позже двенадцати с поправками на все географические осложнения, на все перекладные от ихнего Ленинграда до моего... уже не дозвонилась... И это уже что-то, что у же... Голова моя абсолютно пуста. И тут — солнце.

Оно меня достало. Ему не было до меня, конечно, дела, как не было дела до меня и времени, которое я пытался перележать. Все тем временем продолжалось. Надо было открыть глаза на это.

Я открыл. То, что я увидел, стоило того. Я лежал, все еще тая в себе накопленную старательным лежанием неподвижность внутри и пустоту головы, и наблюдал один общеизвестный феномен — пылинки в солнечном луче. Сколько лет я этого не видывал? Десять? двадцать? все тридцать? Луч стоял высокой прямоугольной призмой, пробившись между оконной рамой и занавеской, снизу подрезанный высоким плечом моего роскошного письменного стола, за которым еще мой дед ни строки не написал, изготовив его по заказу и собственному проекту... Срезанная столом призма света оперлась на паркет и гранью врезалась мне в подушку. Пыли хватало, однако. Она клубилась, восходя и оседая, скручиваясь в галактические спирали, и даже сверкала, ловко находя в себе грани, любуясь тайной материи в себе. Она восставала из праха, демонстрируя некую космическую солидарность материи. Прах, пыль, пылинка, частица, тело... Непостижимое чудо. Да, будь сейчас семнадцатый век, совет Декарта пришелся бы кстати и я вылежал бы сейчас, в позе интеграла на своем боку, два-три классических закона, будь я Паскаль, конечно... Что-нибудь о воздушных потоках, или дисперсии частиц, или непрозрачном теле... Интег-

ральное исчисление, само собой, висело в воздухе, если оно еще не было открыто... Некий победный вихрь — торжество закономерностей — творился в солнечном луче и даже как бы ликовал по поводу собственной непостижимости: законы не таились, а демонстрировались беспомощному уму практически без риска, что я могу проникнуть хоть в какой завиток Творения. И как было ясно, что не стоило его, бедного (ум), напрягать, что не только в пыли той находилось все то, что составило славу классической, там, механике и математике, но и вообще — все, и то, что было потом, и все, что еще будет открыто, и все это будет ничтожно по отношению ко всему, что происходило в этом луче. Этот демонстративный танец, потому что и ритм, и музыку я уже как бы и слышал, имел в себе и тот смысл, что не мне он вовсе предназначался и даже — не лежавшему в моей позе три века назад, по совету Декарта, Паскалю... «Торжествующая закономерность», — повторил я про себя, и мысль ускользала от меня в вихре остальных, мне недоступных, что меня как бы и радовало. И торжество это было не по отношению ко мне и нищему моему сознанию, кончившему страстным желанием никогда не поднимать головы хотя бы и с этой подушки, и даже не по отношению к человеческому сознанию вообще, от которого я в данный момент, как только мог, неполномочно представлялся... торжество это было в постоянстве и нескончаемости своего дления: -ующее, -ующая, -ующий — что-то и кто-то. Так что можно было и не напрягаться: будто любой уловленный нами закон не только был ничтожной частью той мировой, все время обнимающей, все поглощающей в себя закономерности, но и как бы исчезал напрочь, как только бывал пойман и сформулирован, законешко этот; будто, вслед за нашим сознанием, исчезал наш закон и из мироздания, как ненужный, как умерший, без которого оно продолжало в своем -ующем длении обходиться, так как его и не было, а мы все перли с ним назад, примеряя к улетевшему от нас за время нашей нелепой мозговой остановки мирозданию, улетевшему на расстояние, не соизмеримое с тем, на котором мы находились в тот опьянивший нас момент, когда нам показалось, что мы что-то про что-то поняли и открыли... Вдохновенная радость охватила меня от зрения этого мечущегося перед взглядом праха — вдохновенная ра-

дость собственного перед ним ничтожества: на какой из этих пылинок пронёсся я мимо мириада остальных?.. И если бы надо было назвать мне мою вновь обретенную землю, назвал бы ее Гекубой... куда я, писарь, войду без цитаты?.. Рассеянный свет! Свет рассеялся на мерцающих пылинках — расселился. А был ли он меж них? Они ли рассеялись в свете? Мне ли сподобилось еще раз припасть, чтобы в очередной раз лишиться всего этого, запасливо стяхивая пыль с колен? Я ли увидел свет, меня ли осветили, чтобы я сверкнул своей пыльной гранью, пронёсся навсегда? Господи, как не страшно, на самом деле, что ты есть. Ну и будь себе на здоровье. Мне-то что. Экое ликование, что дано мне было прокатиться на твоей карусели! Рассеянный свет... куда он рассеялся, когда? Что он забыл или потерял, рассеянный какой... И какой бы ни был рассеянный, а свет! А свет, какой слабый бы ни был — о! Свет — всегда в е с ь. И частица его есть часть всего света. Никак не мало. Рассеянный свет — он все еще доходит до нас. И мы еще есть. Ибо куда нам деться, коли он все еще не рассеялся до конца. Может, не заходит, а рассветает...

Луч сдвинулся, оставив под собою, к моему удивлению, на редкость чистый и надраенный паркет, без пылинки на нем... осветил маму. Казалось, она выткалась из этой волшебной пыли и все еще немного просвечивала насквозь. Луч был преломлен ею, но она — всего лишь поглощала свет, как непрозрачное тело: как бы луч наткнулся на луч... интерференция, что ли?.. родив ее легкую святую тень, чтобы глаз мой мог различить ее в рассеянном свете. Мама!..

— Проснулся! Что хочешь на завтрак...

— Я бы выпил бульону.

Ах, при чем тут Паскаль! Неизвестно, пробовал ли он советы Декарта... Бульон обжег мне нёбо и своим длинным вкусом отравил первую сигарету и все с таким трудом належащее одухотворение...

Я так хотел продолжить — и так не мог...

Срок миновал. Выжил... Рассеянный свет! Куда рассеялось все?! От какой нашей рассеянности... И какой свет мы имели в виду?.. Все густеет вокруг. Сужается. Теснина, туннель. Свет рассеялся и поглотился, но что-

то, пятнышко какое-то... растет впереди. Впереди или в конце? Там — свет. Оттуда свет. Тот свет.

Когда-нибудь я все-таки напишу эту книгу! В ней время пойдет в своем подлинном направлении — вспять! Только — никаких ретроспекций!.. Просто сначала Дом наш выживет из стен своих то жутковатое учреждение, его поглотившее; затем, первым делом, воскреснет отец, потом и болезнь его уйдет в далекое будущее, восстанет Дерево и прирастет к нему ветвь, а там и самоубийца взлетит с асфальта на крышу в своей полотняной рубашке; помолодеет мать... Быстро, ускоренной съемкой, взлетят в небо бомбы, оттаает блокадный лед, и не начнется война. Более ласково засверкает листва, как в детстве, как после слез, когда тебя несправедливо отшлепали. А вот тебя еще и не шлепали... Оживет бабушка. Небо взглянет все более незамутненным взором, вдруг я закричу от первого шлепка и — рассказчик еще не родился. Как изменится мир оттого, что в нем меня еще не было? Какими неведомыми цветами зависти, надежды и ожидания окрасится он без меня?.. Как все заплещет и заиграет счастьем!

И вот — буквально ничего не произошло. Все — унеслось в будущее.

Цокая по ботинку, подкатит экипаж; дама с солнечным зонтиком вспорхнет с подножки, поддерживаемая под локоток господином, в котором я не сразу узнаю своего деда, а лишь потом — догадаюсь... у дамы из-под рюшей чуть подобранной юбки обнажится повыше башмачка... какая хорошенькая ножка! Какая красивая, какая юная бабушка у меня в 1910 году! А это что за команда просыпалась, как горох? Губастый, в белокурых локонах мальчик в матроске держит в обнимку стеклянную банку с заспиртованной вороной — мой дядя раньше всех ощутил свое призвание... а вот и тетя, узнаю ее по носу, да ей и двух нет — что о ней говорить... и вообще, не так уж и хочется мне их особенно разглядывать — взгляд мой прикован к другой девочке: только она способна так всему удивиться, только у нее могут быть такие круглые от восторженного ужаса глаза... Мама! Мамочка... Не бойся, ты меня не знаешь... Как же тебе интересно сейчас... Вносят баулы, картонки, коробки, саквояжи... Какой новый дом! Какой большой! Неужели это ты будешь в нем жить, девочка моя?..

Какой и впрямь занятный, не похожий на другие дом! Никто еще не знает, что ты — в стиле начала века, что ты — модерн, что ты «либерти»... Ты просто нов и удобен для жизни моих живых. Тут и они отходят от меня в неразличимую даль будущего, и почему-то это меня все меньше занимает... Не про то ли я когда-то потом расспрашивал мою мать? Будто был ли я?.. Но вот — и нет меня.

Какая же это когда-нибудь будет книга! Ах, надо торопиться... Может, еще не поздно?.. Может, еще не...

1980

---



после „Пушкинского  
дома“



## «ДВЕНАДЦАТЬ»

(КОНСПЕКТ РОМАНА)

Добро, строитель Петрограда!..  
Ужо тебе!..

*Пушкин*

Утек, подлец! Ужо, постой,  
Расправлюсь завтра я с тобой!

*Блок*

Конь — на скале, царь — на коне —  
на месте кажутся оне...

(Стоит, назначив радеву  
с Европой,

сторожит Неву

и дальновидно пенку ждет —  
но молоко — у н а с уйдет!)

Под ними — змей! Над ними —

генний! —

мычит ужаленный Евгений:

бедняга напугал коня —

конь топчет змея и — меня.

Прошелся ветер в пиджачке,

проехал дождь в броневичке —

пока вскипало молоко,

мы оказались далеко:

«Подъявши лапу, как живые,

Стоят два льва сторожевые»,

на льве — герой мой (Лев на льве)

рисует «си» и «дубль-ве».

Итак, процессия Петра,

которой в гроб давно пора.

«Сии птенцы гнезда Петрова»

порхают.

Жизнь идет хреново.

За внучком — дед, за бабкой —

репка,

и вождь вцепился в кепку крепко —

«Двенадцать»! Ровно.

(Блок считал —

я пересчитывать не стал.)



## ФОТОГРАФИЯ ПУШКИНА

(1799—2099)

Вот сегодня наконец оказалось, что войны еще никакой нет.

А позавчера она разразилась, и еще вчера она, возможно, была.

А сегодня опять «еще не вечер».

А позавчера, «между собакой и волком» (надо же! одним присваивают героя, а другим — «часть речи»...), позавчера в сумерки спустился я с чердака включить на нем свет (он у меня включается вниз), все уже спали, прокрался, включил и вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел, на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, все еще с чердака, что-то там на чердаке недодуманное додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовала нам жизнь за день, из облаков, теней, трав и заборов, все теперь напрочь стерла, размазав своей резинкой: не получилось. Но так смазав белый лист дня, что-то, от спешки, пропустила: то куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика, как вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки... Так я буду сидеть, предаваясь, ленясь снова взойти на свой, теперь уже освещенный верх, впрячься в ляжку своего чердака, поволочь его сквозь непроходимый текст. Тут невидимая уже калитка распахнет, обозначив свое отсутствие скрипом, и ввалится вполне видимый мужик, клонясь, как забор, на сторону, расшатывая нетвердой походкой сумерки. «Что-то я тебя раньше не видел», — скажет, усаживаясь рядом, попросит стакан.

Вообще в нашей развалившейся деревеньке (три жилых двора из двух десятков, пребывающих, как в ускоренной киносъемке, в разных стадиях разрушения и разорения) у нас так не принято, чтобы заявляться запросто друг к другу даже днем. Я ему попробую стакан-то не дать, ссылаясь, что все спят, что сам я не пью, опасаясь разрушения своего маленького времени, как раз будто очень захотев подняться и продолжить работу... я ему попытаюсь стакан не дать. Тут-то он мне и вывалит, преисполненный скорби, поигрывая то желваками, то быстроватыми взглядами, то роняя голову,

как бы слезу не то смахивая, не то скрывая... Тут-то он: «Это что же, выходит, опять война?..»

А я только третьего дня отмахал по нашим дорогам за пятьсот километров, за Ярославль, за Кострому, за Судиславль и Галич — наконец вырвался из столицы, к сыну, к чердаку... Быстро домчал, без поломок и аварий, часов за двенадцать. Какая война? что плетешь?

А он мне, без обиды, а с огорчением, как недоумку — все, в подробностях. Как ехал из райцентра последним автобусом, как у одного парня транзисторный приемник был, как все в автобусе мужики слышали... как все это случилось, что война... Не хочу даже сейчас, когда миновало, подробности эти воспроизводить. «Это что же, — мотает он головой, как лошадь, — только внуков народили и поднять не сможем?»

И впустил, и чашку дал. Оказалось, что всего лишь воды и просил. Лишь она и требовалась... Только уселся он прочно, как навсегда. «Что, — думаю, — сейчас их всех поднимать и ехать или пусть уж поспят до утра?.. А может, и вообще уже ЗРЯ ехать — ничего-то там и нет, и такая судьба мне выпала: к сыну поспеть и выжить... А как же?..» Вот в эту сторону невозможно и подумать, про тех, кто ТАМ. Это как-то отрезвляет. Да полно, да не наплел ли ты все? Э, нет, говорит, кабы наплел... И опять вворачивает подробность. Мне ли не знать, какова она, подробность? Гипноз один... однако опять верю. Потому что страшно.

«Что это я тебя не знаю?» — опять говорит он, это у меня-то в доме, мною впущенный, сидючи!.. «А я тебя», — говорю. «Меня не знаешь?! Да нет такого, кто меня здесь не знает! Я — Чистяков! У меня брат на железной дороге...» И так далее.

Понял я про него: такой мужик — то он сидел, то воевал, то у него ордена, то внуки, то я ему сынок, то он меня младше — пьянь, поэтическая натура, я таких много не в деревне видел, а — ИЗ. Понял я про него, да не все: «Ты меня не знаешь, а знаешь ли ты, что ты в МОЕМ доме сидишь?» Историю покупки избы моим тестем я знал смутно — может, и правда. Нетрудно было в таком случае, с авторской сентиментальностью, вообразить, каково это: узнать про войну, быть не вполне, сами ноги привели... и вот на пороге, где родился и вырос, неизвестно какой, но инородец сидит, в усах и в очках («Почему у тебя усы, а у меня нет?») — в частности, спросил он меня с наигранной социальной

злойбой, а про очки — нет, ничего не сказал...), сидит на родимом пороге, и в дом не пускает, и даже воды не подаст... И вот я и впустил, и подал (за войну-то!), а он сидит, скорбит и воды той отпить не может: сидит в вечной наклонке, мастерски ни на что не опираясь, но и с табурета не падая, а чашка в его руке, в другую наклонку, но тоже не вываливается, и вода в ней, под острым углом, подчиняясь физике, обозначает горизонт и неправдоподобный угол, и Чистякова, и чашки. Оставим его до утра в этой позе.

А наутро та же трава и погода — ни Чистякова, ни войны; однако в трех дворах наших с удивительным спокойствием подтверждают: да, было дело — теперь война; подождем, сообщат... Да кто сказал-то?! А Чистяков и сказал.

Подождали еще денек — и ничего нам не сообщили, не подтвердилось, а нам и не до того было: погодка наконец выдалась — сено ворошить.

А мне — сено не ворошить. Я — на свой чердачок-с. У меня творческий процесс-с. А только чего — не знаю. Разве вид из окошка, в который раз, не сумею описать. Там-то как раз сено и ворошат. Баба и мужик. Костерочек в сторону развели. Отсюда не видно — кто. Наверно, Молчановы — их угол...

По стеклу на самом переднем плане муха ползет, и так же мысль моя уползает за мухой... Вот ведь, думаю, ни живопись и ни фото — никак этого не отобразить, что в эту рамку для меня вставлено кем-то, задолго до меня эту избу ставившим, никак планировку к виду из моего окошка, естественно, не учитывавшим, но меня, однако, к этому пейзажу приговорившим. Не сфотографируешь так, чтобы и рама окошка, как рама картины, и муха ползает по картине, а на переднем плане столб, проводами, как нотными линейками, пейзаж для начала разлиновавший так, что на нижней линейке еще забор, на средней как раз сено ворошат, а на верхних двух — уже дальний лес и само небо...

Стоило отвернуться это записать, как ушла баба, улетела муха, мужик на глазах скрылся за стог, осталась одна собачка, которой до того, надо сказать, не было. А мужик-то, было пропавший, затоптал костерок да в ту же сторону, что баба исчезла, и направляется.

А теперь оглянусь и — ничего: ни дымка, ни собачки. И свет переменялся. Мирный пейзаж, столь утешающий своей вечностью! Где ты? Какое бешеное время

свистит в нем! Тахикардия какая-то. Мчание. Не говоря уж о ветерке и облаках... а там, под слудом, тихой сапой, там гриб растет, да вошь ползет, да мышь шуршит. Дымок оторвался от земли, как душа, уже сам, без мужика — от порыва, от ветра, — и нет его. Пейзаж закрыт на обед. Кошка Наташка по опустевшему пейзажу к дому идет, тоже обедать, тоже кормить... сейчас и меня позовут снизу суп есть и — пропал пейзаж!

Так и было. Война не война, а шевелиться надо. Пора. Живой человек всегда только начал жить. Вот и я сейчас начну, но с чего? С этого или с того? Ужасна эта папка заброшенных начал и набросков — загибаются углы, желтеет бумага, выцветает текст, а ни с места. Не это, и не это, и этого неохота... Пейзаж не пейзаж... а какой-то свист времени: две бабочки об него теперь бьются, стучаются через стекло о пририсованных наспех овечек... Может, это? Ну уж нет! Сколько же это прошло? Семнадцать с половиной. Не минут (вот за минуту сколько в пейзаже случилось!), не часов (вон сколько за утро наворошили!..), не дней (вот уже неделя, как я здесь...), а — лет!! Лет, минут — какая разница! Мне было тридцать... Разница — НАЛИЦО. Не тот был чердак. И вид не тот. Продолжение не следует. Продолж...

— ...для нас нет сейчас более благородной задачи, чем на страницах наших изданий достойно отметить трехсотлетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вся жизнь Пушкина, его деятельность, его титанический труд являются близкими, дорогими для сотен миллионов жителей нашей планеты. Всюду звучит имя Пушкина...

Имя Пушкина звучало на этот раз под сводами (естественная оговорка, учитывая торжественность обстановки, потому что сводов, собственно, не было), вернее, в стенах, где оно (имя) вполне могло бы прозвучать еще при жизни виновника... Даже, быть может, голос его... Но нет, представить головокружительно — охватывает трепет... Нельзя не отметить заслуженной удачи организаторов этого, не будет преувеличением назвать, форума председателя хурала друга Албуу Сержбудэ и его бессменных заместителей друга Ивана Аронова и Джона Иванова (бурные аплодисменты и просто аплодисменты). Сама их идея перенести заседание юби-

лейного совета со Спутника Объединенных Наций (СОН) на старую нашу Землю, на которой жил Пушкин, не могла не сказаться благотворно на самой атмосфере, товарищи, собрания. Здесь, под серебряным небом Петрограда, под хрустальным облаком Петербурга...

Доведя свой голос до звона, докладчик сам вздрагивал, как от неожиданного окрика, терял нить и немножко озирался. И мы оглядимся сейчас, как бы вместе с ним, но не в такой уж растерянности, кое-что подметим и поясним. Серебряное небо Петрограда, по образному выражению докладчика, означает гигантский, отражающий некие жесткие и острые излучения колпак, действительно снаружи очень серебряный цветом, но, конечно, не из серебра, а из специального античегота (чтобы нам было понятно: род пластика, хотя, конечно, уже и не пластика); «хрустальное облако Петербурга» — не менее образно выражает тоже колпак, но меньшего размера, концентрически помещающийся в петроградском, только абсолютно прозрачный, стеклянный, хрустальный, плексигласовый, хотя, конечно же, и эти вещества давно устарели, и имена их звучат для далеких современников так же волшеббно, как для нас эфир, зефир, веницейская амальгама. Этот петербургский колпак был род того колпака, какие ставили в наши далекие времена над сине-золотыми часами, чтобы в тщательные складочки бронзы не забивалась пыль и зелень; эти часы до сих пор позванивают в прошлом времени, звуковой паст-перфектум, и как-то напоминают мне — и я уже запутался, в какую сторону смотрю из своей посредственно-временной точки модели «Адлер» (то есть стуча сейчас на машинке) — «напоминают мне оне»... что на «хрустальном облаке Петербурга», с внутренней стороны колпака, были тоже пятна голубой эмали, покрашенные (притороченные, приуроченные) к золоту шпилей Адмиралтейского, Петропавловского, Исаакиевского, наподобие живых штилевых облаток...

И вот, пока тикают эти каминные часики, показывая время внутри колпака, отмеряя четверть часа, проведенных моей прелестницей прабабушкой за кружевами и поглядыванием в окно, пока не присоединится к тиканью цоканье по торцу, а мелодичный бой не сольется с ее восклицанием в передней ...господи! это представляет мне сейчас странную возможность рассказывать о небывшем... итак, пока не кончится завод, мы продол-

жим пояснения, ибо чувствую (будто слышу), что докладчик сейчас снова доведет свой период до звона и зазирается по сторонам, как бы ища нас в аудитории.

— ...Наконец наступила эпоха торжества охраны природы и памятников! (Я был прав: докладчик смолк и растерянно посмотрел на меня, вернее, сквозь...) И тут мы поясним, что она действительно наступила. Аналогичные колпаки были возведены над Парижем и Римом, Пекином и Лхассой. В гамбургском зоопарке дал потомство кролик, а под колпаком Тауэра был восстановлен исторический газон. Очень красиво смотрелась Земля с кооперативных спутников: глубокого черного цвета, с серебряными пузырьками музейных центров, она выглядела теперь как ночное звездное небо — да и была ночным небом, — так смотрели на нее люди, снизу вверх. Они смотрели на Землю, как на небо...

А на трибуне новые ораторы...

— ...но у нас, господа-товарищи, досадный пробыл. — Это без излишней эмоциональности и метафоричности, как и подобает ученому (факты и только факты!), говорил русского происхождения академик Прынцев. — Первая фотография, как известно, появилась в России в сороковых годах девятнадцатого века. Большой удачей нашей науки являются фотографии Гоголя, Чаадаева и других немногих современников Пушкина. Но сам Пушкин, к нашему глубокому сожалению, не успел сфотографироваться. По сути, что мы знаем объективно о внешнем облике великого поэта? Иконография необычайно скудна и, пожалуй, более говорит нам об индивидуальности портретистов, нежели модели... Мы должны исправить эту ошибку времени! «И назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык», — запел академик.

Ах, Александр Сергеевич! Зачем же так?..

Всяк сущий в ней язык наполняли зал. И мы пройдемся сейчас по рядам, затесавшись между фотокорреспондентами и кинооператорами, если их только можно так назвать, потому что в предметах, которыми они орудуют, едва ли можно узнать то, что мы считали фототехникой в наше время... Во всяком случае, эти люди не обязаны изображать внимание на лице или аплодировать в нужных местах — они заняты. То ракурсы, то необходимый делегат — и вот новая голубая вспышка озаряет прежде всего их самих, а отпечаток этого мгмо-



вения навсегда обозначит, что мгновение это прошло, но утешит попавших в кадр тем, что оно будто бы было... И мы, как киноглаз, пошарим сейчас по рядам, выберем крупным планом того, другого — совершенно произвольно (вдруг понадобятся нам в дальнейшем повествовании в качестве героев — такое пошлое лукавство!).

Мы находим, однако, так много общего в разноцветных лицах, что никак не можем пока ни на одном остановиться. И правда, далеко не каждый мог бы удостоиться чести сидеть здесь, лишь избранные. Тем более такой экстренный случай — сессия на Земле, на которую вообще нужен пропуск, виза (а Петербург, как в наше далекое время зал Публичной библиотеки, со спецдопуском): чтобы пройти все это, нужно скорее совпасть, чем выделиться. Это понятно: земное тяготение теперь небезопасно в идеологическом отношении. И вот нам трудно задержаться на чьем-либо лице... Задержаться, конечно, и можно бы, но тогда на любом, без выбора: предпочтение неясно, первое попавшееся пропущено... Но — вдруг! — некая тонкость в чертах, потупленность взора. Так ковыряют вилкой скатерть, как он потуплен, хотя нет, руки ведут себя выдержанно, то есть никак не ведут себя. Это-то, что невдомек соседям нашего нервного молодого человека (и невдомек-то потому, что самого подозрения в отличии уже быть не может, оно атрофировалось давно за ненадобностью, что и спасает, к счастью, нашего избранника, чем, мы подозреваем, он по-своему даже пользуется), это-то, что им невдомек, и заставляет нас остановить свой выбор именно на нем... и тут нам приятно отметить, что юноша этот не кто иной, как отдаленный потомок Льва Одоевцева и Фаины — незаконная ветвь, Игорь.

У Игоря першит в горле от сухости петербургского воздуха, и потомок невских паводнений — жаждет. Да, да, так все переменялось: именно — сухость. Когда, в день открытия сессии, Игорь посетил музей-квартиру и увидел там письменный стол, накрытый колпаком, а чернильный прибор внутри прикрыт еще одним, значительно поменьше, то он тут же (и как он прошел все проверки?!) представил себе колпак над Петербургом, а над ним верхний, ленинградский, — у него голова закружилась от телескопичности, и зачем-то, нелепо, он ее ощущал, свою голову...

Вовремя. Так ему казалось, что он легко, как искую насадку, снял свою голову с плеч и теперь (она сразу

уменьшилась до размера яблочка, очень опрятная) по-вертывал в руках, с удивлением, но и как-то равнодушно разглядывая, как не свою... Это-то, пожалуй, и будет наиболее близким описанием того, как у него потупляется взор и что он там разглядывал перед собой на пустом пюпитре, привязанный к нему белым проводком (мини-репродуктор) за ухо, иногда переключая каналы с фламандского на японский или славное потрескивание готтентотов, но другому уху все равно было очень хорошо слышно...

— ...всего сто и три дня отделяют нас от великого события — трехсотлетия со дня Александра СерГ (г — фрикативное)еевича Пушкина. Мы встречаем это событие в обстановке оГромноГо политическоГо и трудовоГо подъема, — говорило фрикативное Г. — Всенародное соревнование вызвало новый прилив творческоГо энтузиазма наших людей...

Игорь катал свою головенку по ладони, как шарик из подшипника моего детства. Подшипник, вращаясь, тоже издавал когда-то фрикативный звук, может быть, Г.

— ...вся Вселенная восхищена нашими достижениями в области покорения времени. Мы можем с полным правом утверждать, что первая машина времени была задумана в России уже почти два века назад. (Бурные аплодисменты.) Эта машина унесла нас в далекое будущее, сразу же оставив в далеком прошлом остальную историю Земли. И совершенно естественно, что вскоре, каких-нибудь полтора века назад, был сделан и первый шаг к покорению пространства — первый шаг в космос. Теперь пространство покорено, и так же естественно, что мы сделали первый шаг в покорении времени. На рубеже третьего тысячелетия нашей эры нами произведен первый в истории человечества запуск времелета с человеком на борту! (Б-урные аплодисменты.) Времелет «Аутлей-1», пилотируемый первым в мире первопроходцем генералом Флажко, благополучно пройдя расстояние почти в два века, при... при... временно остановился в намеченной точке с поразительной точностью в плюс-минус два года! (А-плодисменты.) Восполнен досадный пробел в исторической науке: нами получена пропущенная фотография — величайший триумф...

Игорь судорожно сглотнул; казалось, проглотил маленькую щеточку и вынул из уха белый сухарик. Он теперь слушал в оба уха: на трибуне был его шеф, науч-

ный консультант и руководитель, заслуженный пушкиновед галактики Джон Иванов:

— ...дух, друзья, захватывает от перспектив, открывающихся ныне перед мировым литературоведением! — Учитель Игоря представлял собою фигуру, несколько отличную от остального собрания: его амплуа было — старый чудак профессор, — такая милая и наивная, вечно юная восторженность энтузиаста науки, который варит часы, держа в руках яйцо; говорит «батенька»; охотно докладывает, обнаруживая отличную конкретность мышления и отчетливость наблюдений; недослышивает, приставляя очень мытую руку, и тогда особенно отдельно смотрят на нем клееная бородка, очки в золотой пустой оправе и острый румянец, — тип, не изменившийся за два века, потому что иного отсчета так и не возникло, а потому вполне нам знакомый. Сейчас он грассировал:

— ...мы сможем в будущем, и не таком, господа-товарищи, далеком, заснять всю жизнь Пушкина скрытой камерой, записать его голос... представляете, какое это будет счастье, когда каждый школьник сможет услышать, как Пушкин читает собственные стихи! Этого мало, товарищи! Наше воображение еще слишком бедно, еще не в силах привыкнуть к новому чуду и вполне представить себе отверзающиеся возможности! Мы восстановим всю прежнюю культуру до мельчайших подробностей... Гомер нам споет «Илиаду»... Шекспир расскажет наконец автобиографию...

Головенка Игоря соскользнула с ладони — этот блестящий подшипниковый шарик покатился по проходу и остановился у пятки друга степеней. Игорь вздрогнул и мысленно пополз по проходу, стараясь незаметно. Но незаметно было невозможно: он страшно рос в собственных глазах, и ему трудно уже было бы быть незаметным и уже, быть может, даже трудно помещаться в проходе... Поэтому он все так же сидел и печально смотрел на милый блестящий шарик из своего прапрадедушкиного детства и совершенно успокаивался насчет того, что кто-нибудь что-нибудь за ним заметил.

...Единодушным вставанием было поддержано предложение президиума форума сессии о направлении резолюции данного собрания в Президиум Академии наук с просьбой ходатайствовать перед Генеральным Советом Концерна «Березка» (ГКБ), а также перед Верховным Председателем Общества охраны природы и памятни-

ков (ООПП) о распоряжении Институту истории (НИИИ) и Совету Министров — послать следующий времелет «Расход-3» в пушкинскую эпоху с тем, чтобы иметь к юбилею подлинный увеличенный фотопортрет Александра Сергеевича, а также его голос...

Заседали. Узко.

— Тише, тише, товарищи! — стучал по графину Председатель (графин не изменился). — Пора наконец четко определить границы обсуждения и четко же поставить вопрос: КОГО мы посылаем во время — ФОТОГРАФА или ФИЛОЛОГА?

Голоса (недружно, лениво и вразнобой):

— Филолога!

— Фотографа!!

Обе профессии внушали одинаковые опасения.

— Кадрового работника!

Но кадры решали на этот раз не все.

Нужен был ОДИН человек, но делать он должен был уметь даже не одно, а ТРИ как минимум дела: снимать, записывать и ПОНИМАТЬ.

Чем надежнее были кандидатуры, тем меньше они умели из э т о г о.

Так и вышло более фантастическое, чем сам времелет, предположение, что лететь Игорю Одоевцеву, из тех самых Одоевцевых, молодому и подающему, хотя и ничем себя не зарекомендовавшему, но и ни в чем пока не замеченному. Зато он умел записывать (опыт фольклорных экспедиций: легенды о мясе и рыбе), фотографировать (не вполне профессионально, но современная техника...) и был потомственный пушкинист, причем почти без сомнения русский. Это-то и внушало. П о т о м с т в е н н ы й, мало ли что... А его пра-пра-Файна, кажется, была на четверть... как раз седьмое колено. Раз на четверть, значит, прошло седьмое колено, резонно отметил кто-то. Но тут и еще всплыло... Сначала как плюс: у него же даже есть предки в пушкинской эпохе и уж точно русские... и тут же:

— Так у него же прямые родственники в т о м времени!!!

Молчали долго. Опыта полета в столь с л а в н у ю эпоху еще не было.

Поручился все тот же, кто сообразил про седьмое колено... Это был такой глубокий старик, что помнил в раннем детстве похороны его пра-пра-Левы, дожив-

шего до 200-летия восстания декабристов. Старик уже ничем не рисковал, ручаясь, и им — рискнули.

Молодость не подвела, и медики не возражали.

Как билось его сердце! Игорь летел, и под ним шуршали времена, уходили, как в воронку, грибовидные облака, и вылетали обратно бомбы, зарубцовывалась Земля, покрывалась мегаполисами и населялась человеком, рассыпалась на города, городишки и деревеньки, зарастала травой и лесом, оживала птицей и зверем... Заходы солнца сменялись восходами, и солнце с частотой велосипедных спиц мелькало с запада на восток. Нам не понять, что с ним творилось, когда, косо чирикнув (звук был «кирич-кирич»...), испуганно влетела в ЕГО, Игореву, сознание первая птица!.. и уже под ее крылом — распалась дамба, заболотившая отчий город, опустели водохранилища и всплыли утопшие деревни и колокольни, зазвонили с дон... днов... дней... («Доньдинь» — слышал он обратный звон...) — стали землей.

Не следует преувеличивать: не так трудно вообразить и а м в реальности, к а к он летел, чем представить себе, к т о летел. Что это была за бедная голова! Какие мысли занимали ее... какие там мысли! Более века прошло после нас, не то что после Пушкина (тут нам самим легче подсчитать...). Подсчитать-то нам легче, но понять еще труднее. Ему нас понять еще труднее, чем нам Пушкина. Тут только мы и равны. Но мы ни его, ни Пушкина не поймем, а ему нас хоть понимать не надо. Великое благо, когда он пролетает в этот миг как раз над головой своего автора и что-то крикает в этой авторской голове, одаря вывернутой наизнанку, вспятой мыслью о том, что такое «и не мертв, и не чет, и не в лоб».

«Подлинное течение времени», — наконец догадался перевести я, а Игорь уже так давно пролетел! Пролетает над Аптекарским островом, отвоевав обратно две войны, летит где-то меж двух революций: там закладывают дом, где когда-нибудь родюсь... рождусь... родится автор. Но голова у автора трещит сейчас, путает шестидесятые с восьмидесятыми (да! да! двадцатого...) — а Одоевцев уже в том веке (нет, нет, не в двадцать первом, а — девятнадцатом!) путает восьмидесятые с шестидесятыми, проскочил над деревней Голузино, не

послал мне свой временавтский привет. Что ж ты так быстро пролетел, голубчик, не отметив под собою... Вот он я... вот он ты сидишь, автор мой, голубчик, где же ты застрял в густой паутине СЕГОДНЯ?

Но зато я сейчас вам точно скажу, на чем не успел задержаться обалдевший взор героя, но что он точно уж видел: НАС С ВАМИ. И тут вы мне не сможете не поверить. Это есть доказательство того, что все, что я вам говорил и говорю, ПРАВДА. Вот что я вижу перед собой: трехнедельный котенок в коробке дергается во сне, будто бежит, а он еще ходить не может: снится ему бег, он ловчее перебирает лапами, чем наяву. Снится ему погоня или охота, он убегает или преследует? Этого я не знаю, но знаю теперь, что видит он перед собой вовсе не опыт, которого у него нет, а будущее свое в виде самого древнего, до него существовавшего прошлого... Котенок бежит во сне... сам-то я, находясь в своей точке времени и пространства, неспособный ускорить или вернуть, что вижу перед собой более, чем котенка? в какой невнимательности упрекаю я собственного героя, пересекающего по веку за страницу?.. Ну отведу я от котенка взор, пролечу взглядом над строкой справа налево, ничего не захочу понять, что в эту секунду пишу, посмотрю налево, в оконце мое чердачное, в которое минуту назад уже смотрел, пытаюсь уловить тот миг, когда надо мною промелькнет герой: там стояла корова, жевала под дождем, плоско двигая челюстью, у нее с рогов стекали капли и падали в траву, как драгоценности... — так теперь ее нет, коровы, и дождь перестал. Вот что я вижу. Остальное я знаю: что подо мною родился мой сын, восемь лет спустя, как я задумал и было начал именно этот рассказ, а теперь и сыну восемь... и стоит мне эту диффамацию про него изложить, как он тут же взберется ко мне по приставной лестнице, и вот он уже тут. «Кто пришел?» — говорю. «Мешатель», — говорит он и смеется. Какое счастье! Вот и сижу в своем времени и пространстве и вряд ли САМ передвинусь. Боже упаси...

«У тебя есть цветная копия?» — спрашивает он именно в ту секунду, как я это печатаю. «Нет», — говорю я и более синхронизировать события уже не могу.

У Игоря еще нет детей, вот он и летит. Вернется героем, получит, быть может, разрешение на право продолжения рода. Совет, может, пойдет навстречу, и будет там еще один Одоевцев или нет, уже не от меня зависит.

Игорь отвлекся, думая о невесте, пропустил, не заметив, Крымскую кампанию, а хотел ведь увидеть в дыму сражения смелого молодого Льва (Толстого...). Не заметил в дыму мечты о своей Наташе... «И щей горшок, и сам большой», — бормотал он, глупо ухмыляясь, пропустив под собой очередную эпоху, вошел в николаевскую, в плотные слои пушкинской. Сейчас ему особенно внимательным следует быть, не проскочить бы... Он жмет со всей силы на кнопку (очень напоминает она мне мамин дверной звонок, я даже дверь перед собой вижу вместо его хитроумной панели) — стучается от перегрузки торможения затылком о предыдущее десятилетие (сороковые девятнадцатого...), и Гоголя тоже не отметил (как он сидит, застыв и не мигая перед фотоаппаратом в Риме), и пока он медлит...

За окошком моим совсем темно, да еще и лента, не только не цветная, но и бледная, не вижу, и в настоящем, не только в прошлом из будущего (время, до которого и английский недодумался), надо идти не в зримое, а в знаемое — вниз, где сын: там у меня свет включается на чердаке. Пошел вниз. Пусть герой без меня повременит, да и привременится...

Итак, если он замедлился до сходного с нашим течением времени, если минута стала минутой, а час — часом и солнце снова взошло с востока, то, значит, он уже ж и в е т в т о м времени, уже параллельно мне, отделенный теми же полутора веками, но с другой стороны: у меня завтра и у него завтра, у меня сегодня и у него сегодня... но это значит, что он уже второй день, как овременился в желанной эпохе, потому что я как спустился, так и не поднимался, а п р о с п а л.

Не следует, однако, думать, что остановка его произошла столь благополучно и без осложнений, на уровне легкости авторского приема. Автор не собирается спрятаться за вензелем прозаической фигуры и тем скрыть д е й с т в и е.

Сложности были. Но мне их столь же трудно объяснить читателю, как и себе. Мы так же наивны в представлении технического будущего в наше время, как и князь Одоевский в пушкинское время, рисовавший себе далекое будущее, сплошь увешанное воздушными шарами. Да и путешествия по времени во времена нашего героя делали лишь первые шаги, и они сами еще

не знали, с чем встретятся. Короче, нашему герою довелось впервые столкнуться с неким эффектом, который он в силу своей гуманитарности никак истолковать не мог, и мы тем более не можем изъяснить физического смысла этого явления — можем лишь сравнить его с нашим опытом, скажем, с помехами в приемнике или телевизоре. Историческое время при такой скорости пересечения располагалось как бы полосами, иногда оставаясь в устойчивую и отчетливую картинку, иногда начиная рваться и мелькать и плыть, вспыхивать и гаснуть. Закономерность у этой чересполосицы была крайне субъективна: помехи возникали как раз в наиболее интересных для наблюдателя местах. Учитывая склад мышления и восприятия нашего Игоря, не только гуманитарный, но отчасти как бы и, даже неосознанно, поэтический, следует отметить, что интересовали его не столько грандиозные или значительные с общепринятой точки зрения события, сколько то, что он про себя называл «живым». Так вот, грандиозное стояло в изображении неподвижно и мертво, как разрисованный слайд, а живое-то как раз и начинало рваться и мелькать, не даваясь глазу. Будто из оркестра слышны были одни медные или одни ударные, но никак не скрипка, не соло — аккомпанемент подавлял мелодию. Впрочем, музыкальные сравнения некстати, ибо вся пластинка крутилась в обратную сторону, для уха неприятную, для глаза пародийную.

Видел он флаги и толпы, выстрелы и сражения, лидеров и тиранов, время разбивалось об эти утесы, и щепки летели в стороны, как океанские брызги, но разглядеть в этой мощи то, что, единственное, от него впоследствии осталось, то, что интересовало Игоря не только по профессии, но и в живом секрете его души, разглядеть хоть мельком эпоху «модерн», рисующего Врубеля или пишущего Блока — это ни за что. То, что осталось от всей этой грандиозной истории, то, что так потом лелеялось и сберегалось его коллегами во времени, в том числе и им самим, то, что составляло сокровища мировой и национальной культуры, совершенно не было видимо в этом бурлящем под Игорем котле, в этом историческом вареве. А ведь он, Игорь Одоевцев, по сравнению с теми, кто варился под ним в этом котле, то всплывая на поверхность, то окончательно погружаясь, он по сравнению с ними УЖЕ ЗНАЛ, что НА САМОМ ДЕЛЕ с ними происходит, они — нет, но именно им,



незнающим, дано было видеть (хоть бы и не узнавать) то ЖИВОЕ, что так хотелось повидать ему на правах очевидца: им было дано, ему нет. Им было дано жить, ему знать. Барьер был непреодолим: он видел только то, что знало ЕГО время. Он хотел поглядеть, чего оно не знало, — тут-то и возникали рябь, помеха, не знаем, как это назвать, «эффектом Одоевцева», что ли.

Не только не видимо, но и глумилось над ним... под ним...

Зачем на сто четырнадцатом году пролета потянуло его снизиться над временем настолько, чтобы подробно разглядеть разрушенную северную русскую деревню, обложенную в этот миг каким-то удивительным дождем, отвесным и крупным, как град, таким пунктирным, как рисуют дети, разглядеть животное, крупное и рогатое, с упорством под дождем жующее как бы по слогам («Корова! Это же корова!» — догадался он); значит, кто-то здесь еще, последний, жил, с чердака покосившегося домика доносился, примешиваясь к гармоническому шуму дождя, аритмичный, предынфарктный будто стучок какого-то разваливающегося древнего механизма... «Это я, это я», — ни с того ни с сего стучок вдруг совпал с ударами его сердца; бессмысленно и обиженно заглянул он в чердачное окно: темно, никого, только в стекло билась бабочка... при чем тут это? Что там обронили в трех веках? Ее уже давным-давно не было, той покинутой деревеньки: она заросла крепкими избами, людей набежало, все они шли к восставшему из праха храму, в красных рубашках под малиновый звон.

Шел ко дну «Цесаревич», капитан один оставался на своем мостике... Ага, русско-японская... «Цесаревич» всплыл на его глазах, заметалась муравьиная команда, капитан приставлял ко рту рупор... Игорь метнулся через всю империю, к другому берегу, финскому, чтобы застать... серые тона, вечерние цветы... Сердце выпрыгивало из груди, когда он наконец поспел **ВОВРЕМЯ**. Ялик с прекрасным гребцом... белая рубашка, отложной ворот, кудри, высокомерный взгляд... на корме дама в широкополой шляпе с солнечным зонтиком... бочком, как амазонка, лица под полями не разглядеть... лодка с разгона, шурша, ткнулась в песок, юноша выпрыгнул и подтянул ее к берегу... стройный! подал руку, и дама подняла лицо... заплаканное! Там они расстались, под соснами, на песчаной тропе... Игорь, как мог, остановил

мгновение: Александр Александрович!! чтобы в лицо... но это был уже кто-то вовсе другой, хоть и тоже в белой рубашке, но с ракеткой под мышкой: стоял поближе к кустам и озирался направо и налево...

Игорь взмыл над временем. Оно встало на дыбы и остановилось от скорости, как солище в вечном закате. Странны были его лучи! Он их видел, а они светили другим. Какая-то серебристая редкая ткань рвалась вокруг волокнами. «Время?» — подумал Игорь, чтобы увидеть под собой недостроенную Эйфелеву башню. Почему-то именно на нее ему захотелось плюнуть, но он не был сверху — вот в чем парадокс. Место его в пространстве было еще более загадочным, чем во времени. Он в нем вовсе не был.

И он уже не стремился увидеть пенсне в Ялте... И дама будет не та, и собачка. Последовательно и ровно миновал он десятилетия. И тут едва не прозевал, замечтавшись (он тайно вывез с собой упаковку пенициллина от воспаления брюшины...), — остановиться-то хоть следовало точно. Не раньше и не позже. То есть не позже и не раньше.

Тут-то с особой убедительностью и проявился «эффект глумления». Уж больно точно была намечена автором для Игоря точка. 23 мая 1836 года, Александр Сергеевич возвращается из Москвы в Петербург...

Вдруг видит то, что хотел: Пушкин! Он лежал на подоконнике в гостинице Гальяни, что в Твери, и ел персики («Не сезон!..» — подумал Игорь). Игорь вылутился во все глаза и онемел, а как готовил первую фразу!.. Александр Сергеевич посмотрел на него и плюнул косточкой. И попал. И рассмеялся, довольный.

Игорь тогда прямо к дому на Мойке подлетел, заглянул в окно: лампа горит, дети его, мал мала меньше, рядом сидят и чай пьют, все сплошь косые, как их мама, и со стульев по очереди падают...

Тут и «мешатель» на голову сел, я ему какую-то чушь плету про слетевшихся на мой свет насекомых, что это знаки препинания, вон, мол, точка с запятой, а бабочка, что стучается то о лампочку, то о белый лист, — то Муза моя... «Кто Муза? — резонно ставит меня на место Мешатель. — Кстати, — говорит он, — некоторые бабочки тоже нектар собирают. Если есть пчеловоды, почему нет бабочководов?» (Его сегодня укусила пчела.) «Впрочем, бабочки тогда бы тоже кусались». Наконец осерчал я на Мешателя...

Очнулся Игорь на кушетке, думки были подпихнуты со всех боков... Голову ему держал повыше господин в пушкинских баках и давал понюхать нашатыря. Хозяйка в чепце светила свечой и поправляла на голове смоченное полотенце.

— Глаз открыл... — ужаснулась хозяйка.

— Вот и хорошо-с. Вот и слава богу-с. А то смотрю, господин хороший, а прямо на панели-с. В какой гостиной изволили-с остановиться, позвольте спросить-с?

Игорь сел и потер под полотенцем лоб.

— Я сразу понял, что вы иностранец-с, — с гордостью сказали бакенбарды. Что-то пародийно-пушкинское было в его лице: все так же, только нос пуговкой. — Апушкин Никандр Савельич, позвольте представиться... С кем имею честь-с?

— Что! как?! — встрепенулся Игорь. — Опушкин??

— Извольте говорить по-русски? Не О-пушкин, а А-пушкин, — сказал человек оскорбленно. — Сходно-с с известным нашим сочинителем.

Игорь вскочил. Бред продолжался!.. Он все еще в полосе анекдотической перегрузки, связанной с посадкой... он все еще в полете!

— Спасибо-с, не извольте беспокоиться-с, — лепетал он, выволяясь из очередной петли времени, некстати вставляя, на всякий случай, повсюду-с это дикое «с»... — Но позвольте хотя бы узнать, который сейчас-с год?

— Что-сс?? — Свеча выпала, хозяйка упала, хозяин подносил ей к носу ту же ватку, а Игорь устремлялся к выходу.

— Извольте-с ваш сундучок-с и тросточку-с... — холодно сказал Апушкин, подавая Игорю его аппаратуру.

Игорь грубо выхватил их и скатился по лестнице...

И только тут, выскочив из двора на набережную — Фонтанка? Мойка? — и понял он, что уже СЕЛ. В Санкт-Петербурге. Но — когда?

Доказательством его прибытия больше, чем вид перед глазами, служила эта тросточка. Она была сложена! Это была такая старинная трость с откидывающимся плетеным сиденьцем для пожилых или больных грудной жабой. Это и был времелет. Верхом на палочке он и прилетел. А теперь она была сложена, и он стоял, на нее опираясь, чтобы не упасть. В сундучке-с пахнулись аппаратура, валюта, смена белья и подложный паспорт на свое собственное имя.

— Пишу, читаю без лампы...— бормотал он, потрясенный.

И шагнул в белую ночь.

Но и следующий его адресок оказался неточен. И сложность его стульчика не показалась ему столь доказательной. Беседуя с коллежским асессором Непушкиным (как на будущей картине Федотова «Утро майора» — в халате, колпаке и с чубуком...), Игорь совсем перестал себе верить.

— Да, да,— гордо сказал майор.— Не Пушкин. К сочинителям, по своему достоинству, никакого отношения не имею. И не только НЕ Пушкин, а Непушкин, фамилия совершенно отличная. И извольте-с выйти вон.

Но одно майор, не разобравшись поначалу, Игорю таки выдал, а именно: нос к носу оказались как раз 23 мая 1836 года.

Игорь не мог быть на него в обиде, хоть и спущенный с лестницы.

Он вышел в белую ночь. И это была та самая белая ночь. В конце Невского была «светла адмиралтейская игла». И опять та самая.

Кто знал сейчас, что будут Лермонтов, Толстой, Достоевский?.. Левочке было восемь, Федору — пятнадцать, Михаилу Юрьевичу — двадцать два. Игорь был их старше. И Пушкин еще жив! И никто не знал. Он, он один!

Он чувствовал себя на вершине времени.

И он радостно шагнул с нее, чувствуя себя Онегиным, Башмачкиным и Макаром Девушкиным одновременно.

Зато в третий раз его спустил с лестницы сам Александр Сергеевич.

«Никифор! Что ты там грохочешь? Наталью Николаевну разбудите!..» — Он тарасил Игорю вслед наигранного гнева веселые глаза. Роженица спала, и новорожденная спала. Он их только покинул и крался в кабинет, спокойный! С такой точностью Игорь как раз и не угадал момент приземления...

«Сделайте одолжение, умоляю,— писал Игорь в своем хлестаковском чердачном номере, ровно два месяца спустя,— Александр Сергеевич, почтите хоть ответом. Я уж не знаю, как и просить вас. Зачем вы не генерал, не граф, не князь? поверите ли, сто раз не упо-

требишь: Ваше превосходительство! Ваше высокопревосходительство!! Ваше сиятельство!!! Сиятельнейший князь!!!! и выше....., то кажется и просьба слаба, никуда не годна и вовсе слаба...»

Теперь он подделывался под графомана (прилагая, впрочем, не менее как блоковские стихи...), пытаясь (в который раз!) «выйти» на самого Александра Сергеевича. Как незадачливый любовник, вычислял он часы и маршруты, подкрадывался — хоть краешком глаза... мысленно подсаживал под локоток, подавал трость, садился рядом в карету... так он оставался, глядя вслед экипажу, обрызганный грязью из-под колес. Пушкин оборачивался и смеялся. Сколько раз достигал зато его Игорь на Невском, проталкиваясь за ним по книжным лавкам. Старался незаметно, обрел бездну неведомых ему навыков, чем окончательно убедил поэта в том, что он шпион. И впрямь, лучше всего изучил он пушкинскую спину и плешь. Сюртучок у поэта был поношен, и пуговица на хлястике болталась, вот-вот оборвется. Доведенный до отчаяния Игорь как-то притиснулся к нему у книжного лотка и пуговку-то оборвал — тот и не заметил. Единственный и был у него трофей. Игорь пришел пуговку внутрь нагрудного кармана, и сердце его стучало в пушкинскую пуговицу при каждой встрече. А Пушкин продолжал ходить с одной пуговицей. «И пришить некому...» — чуть не плакал Игорь. (Наталью Николаевну он видел уже четырежды: дважды она показалась ему совсем не такой красавицей, один раз ослепила, а в четвертый, самый невзрачный, — он уже влюбился без памяти, но все ж меньше, чем в с а м о г о...)

Письмо он отправил, но ответа не получил (да и не ожидал, признаться).

Многому он научился за эти два месяца, много познал!

Во-первых, что бы он ни думал о своем времени (втайне от других и втайне от себя), как бы ни любовался избранными эпохами в прошлом, он автоматически предполагал свое время о п е р е ж а ю щ и м времени предшествующие. Он спустился с в е р х у, с ф о р о й в три века. Он был на триста лет с т а р ш е, он знал, находясь среди этих слепых котят, что с ними б у д е т.

Верхное звание наблюдателя подготовило в нем заведомые чувства — силы и снисхождения.

Какой там наблюдатель! Вовсе не он смотрел, а на него. Поначалу он все ловил себя на ошибках, своих и подготовки. Их было пропасть, он прибегал для успокоения к ядовитому смешку в адрес знатоков со «Спецкурсов вживания». Как приблизительно оказалось все, что они преподавали! И прежде всего суточные, выданные ему в твердой валюте 30-х годов XIX века (буквально твердой: монеты эти были еще и тяжестью, золотые десятирублевки), — из какого соображения о ценах отсчитаны они были под столь строгую отчетность и расписку? что знали они о соотношении обеда, гостиницы и извозчика?.. Какая каша! Кашу он в основном и ел в трактирах, никак не соответствовавших его костюму и претензиям на знакомство с Александром Сергеевичем. На кашу эту хватало бы ему и на десять лет, но на то, чтобы попытаться сойти хотя бы раз за человека — не хватало и на неделю. Понял он пушкинские затруднения! но в долг ему бы никто не поверил, вот что.

Итак, он снял самую дешевую комнату, ел кашу, хлебал щи, как Хлестаков, и ходил пешком не потому, что у него не было денег, а потому, что они могли всерьез понадобиться, а взять... «Откуда взять-то!» — вскипал он на лектора по финансам, рассуждавшего о дешевизне ТОЙ жизни. И деньги — они здесь такими новенькими не бывали... на них косились, а на него и так косились, но на зуб — сходило: золото! А эта профессорская убежденность в точности отдельных деталей костюма, произношения, манер!.. Как раз чем точнее оказывалась угаданная в прошлом деталь, тем и подозрительнее. Шов был не тот! На Игоре застревал взгляд так, что первое время он беспрестанно себя осматривал: застегнут ли, не измазался ли... Но взгляд этот недоуменный ничего, кроме недоумения, не выражал: все так, но что же не так? Ей-богу, спустись он в чем был, меньше бы привлекал внимания. Голос его не так звучал, слова... профессор фонетики преподал ему произношение по церковным службам, а он выдавал себя за дворянина! В общем, проколов была бездна, но губили, как он с удивлением потом понял, не проколы, а как раз совпадения, как раз точность. Точность торчала. Точным бывает лишь все, а не кое-что. Ах, если бы все было кое-как и равно приблизительно! Он бы беды не знал.

Выныривал бы чужаком, иностранцем, сумасшедшим... провинциалом. Провинциал! — вот было откровение и спасение. Он был провинциалом в эпоху, а не в пространстве и наконец научился, пообносившись, носить именно эту маску. Ее на него надели и отвели взор.

Нет, это не он смотрел, а его показывали XIX веку.

Странное чувство (даже закон!) — он ожидал зрительного, слухового шока от встречи с прошлым — так ничего такого не было. Он видел лишь цитаты из того, что знал, остальное (все!) складывалось в сплошной и опасный бред совершенно иной и недоступной реальности, будто он посетил не прошлое, а другую планету. Другую цивилизацию... «А что, ведь это так и есть...» — догадывался он. Реальность сплошная, как забор с кое-где вывалившимися сучочками. Прикинешь — а там картинка, еще из школьного учебника, ее-то ты и знал. Разве что можешь сказать: своими глазами видел... Что от того Кремлю или Пизанской башне? Прошлое, в которое он попал, было сплошное и неведомое, как и для прошлого тот его настоящий день, из которого он вылетел. Оно оказалось для него и более неведомым. Прошлое было **НАСТОЯЩИМ** со всеми его закономерностями. Пришелец его не предопределял.

И он начал ж и т ь в этом времени, хуже других, одиноко, неумело и неуютно, но — жить. И с этого момента он становился обладателем бесценного и уникального опыта, который был ни к чему ни здесь, ни т а м. Там от него требовались пленки и слайды, но не этот опыт — здесь и пленки были ни к чему. Здесь от него **НИЧЕГО** не было нужно. Он понял, что отсутствует в этом веке, так же как отсутствовал в нем и до прилета. Удивительное это чувство абсолютного одиночества и заброшенности одарило его (впрочем, не сейчас — одарит еще однажды...) и удивительным счастьем, равным отчаянию: никому не ведомым на земле ни в какие времена чувством **ПОЛНОЙ** свободы. Его, Игоря, не стало.

Пушкин и Петербург заполнили его, и — хватило. Он лежал целыми днями на унылой своей койке и мысленно проживал пушкинский день вточь так, как и Пушкин (он вспомнил, что в каких-то поздних воспоминаниях о нем читал его признание, что когда он влюблен, то не расстается с предметом своей любви ни

на секунду: садясь в экипаж, мысленно подсаживает свою даму и садится рядом: гуляя, срывает ей цветок, подает упавший платок...): ехал с ним во дворец, забывал треуголку, возвращался за треуголкой... возвращался за полночь, проиграв или выиграв, целовал Наталью Николаевну в лоб, она с ног валилась... проходил в кабинет, звал Никифора, а тот уже знал, нес ему полный графин лимонаду... начинал Пушкин как бы нехотя рыться в рукописях: не за эту и не за ту не брался... Ведь Игорь все это ЗНАЛ, он все это изучил и любил, и теперь — каким же смыслом наполнялось все это, отрывочное, от параллельности (полчаса пешком) пушкинского живого существования! Он слышал за стенкой своего номера пушкинские вздохи и шаги.

Или бродил целыми днями по Петербургу, отыскивая НЕпушкинские места, где он НЕ ходил, НЕ бывал, где еще что-нибудь построят ПОСЛЕ него, — и тогда, соскучившись, возвращался в Петербург ПУШКИНСКИЙ, как будто вновь прилетал. Вневременность его, как, впрочем, и самого Петербурга (вот город-пришелец!), будто проступила в чертах Игоря, на него вновь стали оглядываться, но — иначе: кто-то здесь только что был? Никого. Он стал тенью Петербурга, слился. Тут и ожидал его успех, там, где не ждал и не надеялся. Успех ведь тоже хочет дожидаться...

Он решительно поразил одно воображение. Павел Петрович Вяземский... да, да! тот самый... сын друга... «Душа моя Павел»... как много про него знал Игорь, пока тот про него — ничего! Именно тот, кого Пушкин учил в карты, с кем гулял...

У Игоря зашевелились волосы, когда ему САМ представился, со множеством извинений, этот милый молодой человек. У меня шевелятся и ползают листки рукописи от множества бабочек, налетевших на мой свет. Когда кончается страница и удовлетворенно переворачиваю ее текстом вниз, чтобы, не дай бог, не ужаснуться написанному и мочь продолжить... то кладу я ее на предыдущую, уже усиженную полдюжиной бабочек — они спят, но, покрытые страницей, начинают ползать, и рукописи мои шевелятся, к моему ужасу и восторгу. Три изумрудных вроде комарика ползают, тарашась хоть и микроскопическими, но на редкость отчетливыми глазками, по черновику; крошечный жук в ядовитую, как мухомор, крапинку упал на лист с устрашающим стуком... кто скажет, из какого времени



они? Вы ничего не найдете в ушедшей эпохе, кроме того, что она вам с а м а оставила. Вы из этого-то найдете не все. Человечество тоже живет своей ч а с т н о й жизнью, скрытой от глаз посторонних, — это и есть история. Она недоступна. Поглядывать в эпоху — опоздали-с. Иначе зачем же так тщательно писать дневники и письма, забывать их пыльные связки на чердаках и в чуланчиках, как не в расчете на Игоря? И Павел Вяземский напишет свои дневники, и в них — ни слова об Игоре.

Он прямо-таки неприлично для светского человека вцепился в Игоря, по-юношески влюбился как в старшего, в его воплощение, в его петербургскую тень. Всюду таскал за собой... Всем представлял. Муханову, тому самому, кому Пушкин первому свой «Памятник» прочтет... и Муханов не заподозрил, расположился... И впрямь Игорь стал з н а т о к. Именно утаивая свое знание будущего, он как-то особенно умел прикоснуться к настоящему. Он стал то, что называлось п о э т, как говорилось про человека, который необязательно стихи пишет. Поэты ведь тоже зрят будущее. Но вперед — не назад. Игорь был непишущий поэт. И в этом качестве — значительным, внашал большое... Павлуша охотно исповедовался Игорю: как тот умел слушать, выжидая в своем ухе, как в засаде, что-нибудь про Пушкина, но никогда уже не задавая вопросов... Павлуша доверял ему свои сердечные и фамильные, и про университет, и про научные планы... ни слова о Пушкине!

И вот свершилось! Он сидел на квартире Муханова, ждал Пашу; лакей доложил о Пушкине.

— Опять! — сказал Муханов с мягкой досадой.

Александр Сергеевич не ожидал постороннего. Взгляд его скользнул по Игорю косо. Игорь был представлен и от многоти того, что хотел бы вложить в первую же фразу, что-то лепетнул почти односложное.

Александр Сергеевич зацепил его взглядом чуть более пристально, приколот, как бабочку. Однако, показалось, Игоря не признал (тот давно уже его не преследовал по пятам и изменился, как мы говорили). Тут же уселся около вазы с виноградом и стал быстро-быстро его щипать, виноградину за виноградиной, цепляя своими огромными ногтями, более походившими на когти. Игорь второй раз видел, как он ест, и второй раз он ел фрукты. «Нет, он не похож на обезьяну...» — тупо поду-

мал Игорь, сердце которого почему-то сжималось от некоего чувства неоправимости.

Между виноградинами поэт поинтересовался, о чем прервал беседу. Узнав, что речь у них шла о недавнем открытии обитаемости Луны, он очень развеселился.

— И вы в это верите? — спросил он именно Игоря, напирая на это «вы» и до странности пристально вглядываясь ему в глаза.

— Я — нет, — сдавленно ответил Игорь.

— Еще бы! — непонятно сказал Александр Сергеевич и стал по-своему доказывать, почему она не может быть обитаема. Человеку из XXI века особенно восхитительно было это слушать. — Дерзкий пух, — заключил он. — Отважная выдумка. А не сыграть ли? Ведь нас трое.

Игорь замямлил, что плохо играет, но не мог сопротивляться уговорам кумира. Муханов вышел распорядиться: свечи, карты, кофий...

Возникло неловкое молчание.

— Значит, необитаема? — спросил Александр Сергеевич.

— Лет через двести она, наверно, будет заселена... — как мог уклончиво отвечал Игорь.

— Что, на Земле уже не хватит места?

— Не будет, — сказал Игорь и испугался.

— Так, значит, у вас уже есть бальзам от любой раны? — спросил он внезапно, как выстрелил.

— Бальзам? Какой бальзам... — лепетал Игорь, тут же догадываясь, что писал в самом первом письме о пенициллине, который может спасти от воспаления брюшины.

— Ведь это вы мне писали, что вы из будущего?

«Вот он, момент! Гений...» — устало подумал Игорь.

— Нет, — сказал Игорь. — Я не писал.

— Ах да, простите... — Александр Сергеевич заскукал и снова принялся за виноград. Виноградины напоминали его ногти, а ногти — виноградины... — Но вы мне писали про свои стихи? Ведь так?

Отступить было некуда.

— Так, я писал, — согласился Игорь. У него вспыхнула надежда на Блока. Не мог же ОН не оценить...

— Весьма любопытные грамматические ошибки, — одобрительно сказал поэт.

— А стихи?

— Там были стихи?— искренне удивился Александр Сергеевич.— Жаль. Кто же посылает стихи вместе с письмом?

Игорю опять показалось все в глубоком уменьшении и удалении. В бесконечной дали веков поглощал гений свой виноград... А Игорь опять будто раскатывал блестящий шарик по ладони, как собственную голову...

— А что в ваш век думают про рога?

Александр Сергеевич снова будто вовсе не ел винограда, а все время пристально смотрел на Игоря и был будто в белом халате, так серебрилось все перед взглядом, в дымке, кроме его глаз...

Боже мой! он же ВСЕ знает!.. УЖЕ знает. И про меня, и про себя... Рога!

Оказывается, последнее слово он уже произнес вслух:

— Рога...— И, зная наперед всю эту историю, пытаюсь уйти в сторону, обогнуть, он уже говорил и каждый раз слышал, что сказал, ровно на фразу позже произнесения, словно, как репродуктор, был сам от себя отнесен на расстояние стадиона.— Как сказать... Во всяком случае, биологи не в состоянии объяснить их одной лишь природной целесообразностью, как одно лишь средство защиты и нападения. Они избыточны и неудобны. Они чересчур разнообразны и витиеваты, без какой-либо надобности, кроме как украшения...

Александр Сергеевич внимательно рассматривал свой бесконечный ноготь. Игорь смешался еще больше.

— Вот и ваш знаменитый ноготь, и кольца...— лепетал он, зажмуриваясь и прыгая в бездну.— Это тоже можно отчасти отнести... Ноготь и рог имеют одно строение. Это вторичные мужские признаки... Хвост павлина, фазана...

Он смолк.

— Забавно. Продолжайте.

Игорь открыл глаза и увидел Александра Сергеевича неожиданно близко — лицо к лицу. На него смотрел негр.

— Я, впрочем, филолог. Я не в курсе, — вдавливаясь в кресло, отодвигался Игорь.— Мне даже ближе точка зрения не вполне научная...— И дальше продолжал, захлебываясь, засасываемый трясинной собственной речью:— Что избыток этот — рога,— в его разнообразии, есть еще одно опровержение теории естественного отбора в пользу сотворенности мира, в пользу Творца. Это

он как художник, любясь своим творением, нарушил скучную целесообразность и украсил... прекрасными рогами...

Он ждал пощечины, и ее не последовало.

Над ним стоял Муханов со свечой и колодой...

— Вы что-то сказали?

Александра Сергеевича не было.

— Ушел,— сказал Муханов.— Добрый малый. Но часто весьма.

...И Павлуша прекратился, как обрезали. Несколько раз не заставлял его Игорь, хотя до того он всегда сам Игоря находил. При встрече на улице Муханов едва раскланялся и явно уклонился от разговора. Игорь понял. Он не мог сердиться на Александра Сергеевича за то, что тот наговорил Павлуше, оберегая младшенького... А ЧТО Муханов?! Господи, пыль с его сапог... дышать одним воздухом... видеть издали... Шпион, сумасшедший, графоман... что такого?

Игорь дожил с ним до конца. Не так много уже оставалось. Он еще пытался вмешаться — преградил дорогу Наталье Николаевне, пытаясь предотвратить роковое свидание у Идалии Полетики... И только напугал бедную, она не разобрала его горячей речи, тут же вынырнул, как из-под земли, спортивный поджарый полковник и смело и обеспеченно дал продрогшему и обношенному Игорю в челюсть. И когда Игорь пришел в себя, то и признал в прохаживающемся на страже у подъезда полковнике — будущего ее мужа... Как же он ненавидел Ланского! Сторожить свидание с Дантесом, своим подчиненным, чтобы через двенадцать лет просить руки Натальи Николаевны...

Не агент ли сам Муханов из еще более далекой эпохи? Игорь уже бредил. Ланской — не агент ли?.. уже из двадцать второго.

Игорь очнулся через две недели, провалявшись на своем чердаке в тяжелейшей лихорадке и беспамятстве. Выжил. Все было кончено. Не он бросился под сани, мчавшиеся на дуэль, не он выбил пистолет из руки Дантеса, не он толпился с народом у квартиры и Конюшенной церкви, не он... Тройка с А. И. Тургеневым и гробом умчала без него... только снег завился. Игорь было погнался... но — видно, еще в бреду — почему-то закружил вокруг Лицея и чуть не попал под первый паровоз, выехавший на него прямо из Пушкинской смерти.

Он не мог, что его больше не было. Без Пушкина и его самого больше не было. И, задолжав бесконечно хозяину и докторам, он расставил свой стульчак, то есть сел верхом на свою палочку...

Он здраво рассудил, что Пушкин т о г д а еще его не знал.

И т а м он был все еще жив!

И он пустился вспять, в ТУДА, в ТОГДА.

Вооруженный опытом тридцать шестого года, подкрадывался он теперь наверняка, нацелив объектив и микрофон к высшему, как он исчислил, мгновению... а там — будь что будет! Он шел напролом, как лось, сквозь осеннюю рощу. С печальным шумом обнажалась... Ложился... на поля... туман. Все было так. Он шел напрямик, шурша по строчкам, как по листьям. Ничего не видел. Длинная его фигура выныривала из тумана, меж стогов, и пропадала в нем. Он олицетворял себя с этими ключьями, листьями, кочками... Впереди слабо светилось окно. Там, за ним, писался сейчас «Медный всадник»!

Отвыкнув от себя, от своего тела, которого давно не чувствовал, он не боялся быть замеченным. От нетерпения он прямо припик к окну: вот оно!..

Да, горела свеча... да, лежал в крошечной коечке человек и что-то так стремительно писал, будто просто делал вид, будто проводил волнистую линию за линией, как младенец... Как причудливо он был одет! В женской кофте, ночном колпаке, обмотанный шарфом... Но это был не Пушкин! Младенец был бородат и время от времени свою бородку оглаживал и охаживал, а потом снова проводил свою волнистую линию по бумаге.

Теряя рассудок, Игорь постучал в окно прежде, чем понял, что делает.

В исподнем, накинув тулуп, бородач вышел на крыльцо, прикрывая свечу ладонью. Вот это был портрет! Это был бородатый Пушкин! Страшно колебались по лицу снизу вверх от свечи тени.

— Кто здесь?

— Это я, — по-детски сказал Игорь.

Свеча описала полукруг, Пушкин пропал в ночи, Игорь зажмурился от света.

Оба молчали.

— Бедный... — с невыразимой болью и состраданием сказал из тьмы бородач. — Бедный... Не дай мне Бог... — И вдруг что-то сильное и легкое прикоснулось одновременно к его голове и руке. Ладонь скользнула по лицу. Какая она была горячая и сухая! Мокрая... Пушкин утер ему слезы, которых он не чувствовал, стремительно повернулся так, что свеча погасла, и хлопнул дверью. Игорь разжал ладонь — в ней лежала золотая монета.

. . . . .

Утром Игорь проснулся в стogu. Вышел к озеру, умылся. Прикосновение к щетине не понравилось ему, и он извлек из сундучка свой несессер. Внимательно разглядывал он свое лицо, которое ночью погладил Пушкин... Всего три года, а как он постарел! эти седые патлы... И эта безумная бледность, и глаза... «Вот и точная датировка «„Не дай мне Бог сойти с ума...“» — ухмыльнулся Игорь.

Так он втянулся в эту погоню. У него была ни с чем не сравнимая возможность поправлять предыдущие ошибки. Он гнался за Пушкиным в глубь его жизни, где тот его не встречал. Странное дело! Чем больше становился его опыт, чем моложе Пушкин и старше он сам (год спустя, то есть на год раньше «Медного всадника», они были уже сверстники!), тем быстрее и ловчее (будто и он становился опытнее) отделялся от него Александр Сергеевич.

Последняя встреча удалась Игорю в 1829 году на будущем Пушкинском перевале. Он хотел улучшить момент, когда Пушкин встретит арбу с Грибоедом. Его иногда охватывало сомнение, так ли оно было на самом деле: слишком уж историческое стечение. Игорь много теперь знал про историю, какая она: не такая.

Он долго решал, когда лучше попытаться заговорить с Александром Сергеевичем: до арбы или после? Решил — до. Потому что если арба и впрямь была, то вряд ли удастся «войти в контакт» после такого потрясения. А если не было, то не все ли равно когда?.. Опытный, он точно все синхронизировал и сложил свой стульчик ровно в тот день и час и на той дороге...

Пушкин ехал на маленькой мохнатой лошадке в сопровождении казака с винтовкой. Игорь опять не сразу признал его — в плаще и широкополой шляпе. Игорь,

на этот раз тщательно выбритый и причесанный, подновивший платье, с тросточкой и сундучком — странный странник! — вышел навстречу из-за поворота, спускаясь с перевала в то время, как Александр Сергеевич ехал в гору, то есть медленно. В дороге легче разговориться; его странный и европейский вид расположил Александра Сергеевича; Игорь выдал себя за путешественника-ботаника из Вены... Все шло как по маслу. Александр Сергеевич поинтересовался ночлегом на пути к Эривани, Ганс Эбель (так назвал себя Игорь) поинтересовался погодой в Тифлисе... Игорь-Ганс стал рассказывать про возраст этих гор, задумав именно так переметнуться к убедительной для Александра Сергеевича версии о возможности временных смещений (сброс, соседство пород)... Он ничем, казалось, не выдал свое знание, что перед ним поэт, что перед ним Пушкин, но взгляд из-под шляпы неожиданно удлинился, будто устремляясь вверх и вдаль; привычный испуг предыдущих провалов морозом прошел по спине Игоря, и та самая монета, которую в октябре 33-го подал ему поэт, навела его на судорожную мысль. Он извлек из кармана эту монету 33-го года чеканки и протянул Александру Сергеевичу.

— Что это? — рассеянно сказал поэт, по-прежнему вглядываясь вдаль и вверх.

— Обратите внимание на год!

Пушкин посмотрел с досадою на монету.

— Так ведь сейчас двадцать девятый! — с отчаянием воскликнул Игорь.

— Конечно. Пойдите... — И он пустил коня вскачь. Навстречу арбе.

Арба — была.

И это он спугнул зайца с лежки так, что тот перебежал поэту дорогу в декабре 1825 года...

Странная мысль закралась вдруг в голову к нашему времелетчику... А что, если... Нет, быть не может! Однако...

Почти двенадцать лет длится эта погоня. И я уже не собираюсь ее прекратить... Так, значит, так, может... Так он меня УЖЕ видел! Вот отчего он все лучше распознает меня... Тогда, в тридцать шестом, у меня было больше шансов... Я был моложе, неузнаваемей... И здесь, на сугробе, в виду цепочки треугольных сле-

дочков, в конце которых, по выражению поэта XX века, «обязательно будет заяц», он разрыдался.

И здесь, на сугробе, отрывав свое отчаяние, принял он спокойное и окончательное решение так и не вернуться в свой век. «Ну что ж. Дам ему время, пусть подзабудет, — рассуждал он, отважно путая времена. — Не буду тревожить его в ссылке, скоро уж он и вернется. Отправлюсь вспять, в Петербург, проживу там годика три и дождусь его возвращения...»

И мы, всем сердцем сочувствуя герою, не заставим его еще раз не признать поэта в картузе — молодого, хорошенького, в красной рубашончке... Он шагает по сельской дороге и зашвыривает вперед себя знаменитую железную трость: закинет, догонит, подымет. Тренируется, чтобы рука не дрогнула, когда стрелять придется... Сорвался, ах, черт, в кусты... Поэт ползает по траве. В кустах не дышит Игорь, держа палку эту пресловутую: ах, черт, чуть не прямо в голову попал... Где же она... господи прости!.. ползает в траве, как жук, никем, кроме Игоря, не наблюдаемый, то есть не наблюдаемый уже н и к е м... как жук в траве, ползает гений, только что отписавший «Цыган».

Так Игорь оказался в Петербурге 1824 года. По дороге, то есть пока он сидел на своей палочке, случился с ним очередной вневременной казус: одежда его распалась, и деньги исчезли — они были моложе 1824 года. Так его ограбило время, как вор на большой дороге, и оказался он голый, с сундучком и тросточкой. И что было ему делать?

Ничего не оставалось, как версии ограбления и придерживаться. В участке обнаружат много несоответствий в показаниях, передадут выше, вплоть до III отделения. Там несоответствиями пренебрегут, зато предложат дружбу.

«Как они, однако, логичны! — думал Игорь. — Обнаружить себя на службе именно в III отделении! Провинциал, на возрасте, без состояния, без определенного места жительства...» Ему вдруг стало скучно, он отнесся к предложению вяло и безучастно, почти согласный с ним, как с приговором.

И тут будто ветер, будто вспышка, будто ласточка, будто фалдочка знакомого фрака... «Гений! — восхитился Игорь. — Как он был прав с самого начала! Сразу



распознал, что шпион...» Он вспомнил свои первые шаги в 1836 году, и вдруг оттуда, из той неудачи, Пушкин наконец протянул ему руку.

Игорь руку ту ухватил, подтянулся и из ямы выбрался... А Пушкина и след простыл. «Как хорошо! — радостно вышагивал на воле Игорь. — Как бы я ему в глаза посмотрел, когда он вернется в 1826-м!..» Диву давался, что его пронесло. Да и мы, признаться, диву даемся.

Представьте себе не то что конец двадцать первого... современного интеллигента... Как беззащитен!.. что он может, что он умеет, что он даже знает вне круга столько же о том же знающих? Вычтите его из этого круга заслуженной карьеры и опоры, что останется? Ни ремесла, ни состояния.

А он уже совсем по тем временам старичок лет сорока, седой почти. Двенадцать лет! И каких! Так или иначе разделенных с Пушкиным. Дома, в двадцать первом, назначили бы ему инвалидность или какой-нибудь пенсию, как балерине, шахтеру или подводнику, а здесь...

Приобрел-таки трудовую биографию в масштабах нашего начинающего литератора.

Разносчик, конторщик, репортер, переводчик в порту... Ему, столь образованному, почти на три века вперед пришлось наконец-то чему-то поучиться. Как он был горд, когда освоил счеты! А делить и умножать в столбик... Считать ведь приходилось не себе, а хозяину. «Откуда цифра?» — спросит хозяин. Как ему объяснишь, что компьютер не делает ошибок?.. Хозяин хочет сам убедиться. Как музыку, слушал Игорь собственное щелканье костяшками, все более артистичное, и про компьютер забыл с удовольствием. И русский язык его был не лучшим, но и тут он преуспел: говорить на все более и более русском языке было медленным и мучительным удовольствием. И писал он уже почти без ошибок, особое наслаждение испытывая, когда вовремя вспоминал про «ять».

По пушкинским следам он прижился в Коломне, поближе к его прошлому, к его первым квартирам, к его будущей поэме. Такой же домик — «светелку, три окна, крыльцо и дверь» — нашел он, хоть и до службы далеко, зато ближе к хозяйской дочке Наташе, о которой он как бы и не помышлял, но все же домой было возвращаться приятней. Она была угловата и мила — она краснела, он смеялся, и она обязательно спотыкалась, споткнувшись

же, непременно выбегала куда-то за печку, за занавеску, на кухню, и Игорь еще долго улыбался, довольный. Он брякнул как-то ей комплимент, что она похожа на свою тетку Ростову, и долго не мог простить себе этот анахронизм: Наташа впала в мучительную ревность к своей предшественнице. Строгая мамаша не обольщалась в той же степени достоинствами дочки и прежде всего ее приданым, а потому при всей подозрительности, а может, и благодаря ей, довольно стремительно склонялась к тому, что лучшей партией дочери и не сыскать. Что ж, что немолод и со странностями... Странность была — долгие прогулки по городу и бормотанье: не то напевает, не то сам с собою разговаривает — для песни мало, для речи много. Однако счастье дочери мамаша не так легко вверяла в чужие руки — проследила, куда ходит, к кому. Проследила и успокоилась: никуда и ни к кому. Не пьет, не курит, не посещает... что ж еще? И он бродил, бормоча б у д у щ и е строки, например, все те же:

И шей горшок, и сам большой...

И усмехался, довольный.

Так он обрел свое скромное, эмигрантское счастье.

И еще вот что: он начал писать.

Нет, не стихи... Стихами при Пушкине не побалуешься. Прозою он писал. То экспедиционный отчет, то мемуары из двадцать первого века, то даже пробовал из современной жизни 20-х годов девятнадцатого. Не хуже уже получалось: вся русская проза была еще в будущем.

Две его заметки были даже в газете напечатаны. Они могли попасться на глаза Пушкину!

Но и тут досадный анахронизм: рассуждая о современном градостроительстве, Михайловский манеж называл он Зимним стадионом, а Петровскую площадь — даже не Сенатской, а — площадью Декабристов...

Так он жил и ждал. Между тем еще ни наводнения, ни восстания.

«Странен без Пушкина Петербург! Будто при нем и был построен. Будто сто лет понадобилось для продолжения его строительства, сто лет от Петра Пушкина — и снова застучали топоры, завизжали пилы, заскрипели лебедки. Одновременно начали строить все,

что казалось нам потом построенным последовательно: и Биржа с пристанью и набережными, и казармы, и конногвардейский манеж, и перестройка Адмиралтейства, и бульвары, и мосты, и Казанский собор, и Исаакиевский, и Троицкий — росли рощами из колонн, но куда быстрее рощ, а уж жилые трех-, четырехэтажные дома — те просто как грибы.

Запомнив Петербург 1836 года, Петербург, из которого Пушкин ушел навсегда, вы бы очень удивились Петербургу в 1824-м, на каких-то двенадцать лет младше: ни здания Сената и Синода, ни сфинксов, ни Александровской колонны, ни тех, ни других Триумфальных ворот, знаменитых львов вдвое меньше... почти ничего из того, что будет когда-нибудь носить его имя: ни Александринки, ни Пушкинского дома. Будто все стремилось поспеть в пушкинскую строку, торопилось блеснуть в его взоре.

Нет! Он мог не умереть! Я же вижу, вижу его живым, сядящимся в поезд в том же 1837-м, вижу, как он прямоенько так на скамеечке сидит и в окошко поглядывает, и мальчишеский смех рвется из его глаз. «Ему и больно, и смешно...» Проклятый господин Облачкин! Это было 7 января. Я сунул червонец Никифору, он не устоял, сказал, что все сделает. Я стоял у подъезда, сжимал коробку с пенициллином, сердце выпрыгивало у меня из груди, и перед глазами плавали круги, но необъяснимая уверенность, что на этот раз он меня выслушает, была сильнее страха. И тут этот мальчишка-купчик лет четырнадцати со своей слюнявой тетрадкой, и мимо меня, и прямо к той же двери... Повар ему открыл, а тот ему тетрадку сует. А я уже слышу, что Пушкин спускается, его голос — Никифор меня не подвел... А повар мальчишку выпихивает: Пушкин занят, говорит. И дверь закрыл. Тьфу, черт, думаю, принесла тебя нелегкая — все запутал. Однако мальчишку жалко: шагнул понурый, и личико у него, как фамилия. Ну и поделом, однако, думаю, он и блоковских (моих) стихов читать не стал, что ему облачкинские! Тут дверь распахивается, я возликовал: это Никифор, за мной! А это все тот же Василий... Меня отпихнул, бежит, кричит: «Господин Облачкин! Господин Облачкин! Вернитесь!» Облачкин взлетел, а перед моим носом Василий опять дверь закрыл. Я уж и закоченел совсем, а — ни Пушкина, ни Никифора, ни даже Облачкина. Наконец дверь распахнулась со счастливым Облачкиным в про-

еме, за ним Никифор смотрит на меня смущенно, плечами пожимает, руками разводит... «В следующий раз, барин», — говорит. Что делать? Я — за Облачкиным. Придушить его готов. Так и так, ему говорю, такой-то и такой-то, тоже поэт, тоже Александру Сергеевичу стихи приносил, да вот ему повезло, а не мне... какой он, мол, спрашиваю, очень строг? «Что вы? — отвечает Облачкин. — Душа! Я уж кому ни носил, никто и не разговаривает, а он так сразу и прочитал тут же тетрадку, и похвалил, и еще, если напишу, приносить велел». Не утерпел я. «Покажите!» — говорю. Он, окрыленный, охотно мне тетрадку отдал. Смотрю: это же надо! Ну ничего, ничегошеньки просто в его виршах нет! И чтобы сам Пушкин... «А что же он вам еще сказал?» — домогаюсь я. «Спросил, сколько лет, да богат ли батюшка, да своя ли у меня фамилия...» — «То есть как, своя ли?» — «Ну, не псевдоним ли я такой выбрал...» — «Ну?» — «Ну и я говорю, что своя, совсем своя. А он просто так обрадовался, начал меня щекотать, тискать и хвалить. Молодец, говорит». Что поделатъ, гений! Что ему мой пенициллин, когда по земле мальчишки-поэты такие фамилии носить могут...

Нравится мне здесь его поджидать. Все так медленно, а — быстро! И все время — что-то. А там, у нас, все быстро, а — ничего. За двенадцать лет, что я в Петербурге не был, сколько еще всего предстоит при Пушкине построить! И все это б у д е т построено. На все это смотреть можно будет веками и строчки его бормотать! А у нас... И описать-то нечего: ни одной детали, хотя все одни детали. Вон охтенка идет с бидоном, так она в голландском чепце, а у нас — порошковое из отдельного краника со счетчиком льется — и краник не из металла, и счетчик электронный. Вон санки проехали, так у них и полозья скрипят, и из-под хвоста лошади конские дымящиеся яблоки сыплются, и у ямщика что кушак, что морда краснее некуда, а у нас — залез в прозрачную скорлупу, сложился втрое, как зародыш, телефонный номер набрал, кнопку нажал, и никто тебе даже «алло» не скажет, а — в ту же секунду сидишь ты напротив абонента за четыреста тысяч километров, и он тебе искусственный аперитив предлагает, который прикрепляется, как клипса в нос, и балдей, если можешь, вот уж «неалло» так «неалло»... У них — так я сейчас, от обиды на Облачкина, в трактир зайду, и меня «человек» обслужит, человек — это у них презрительно почти зву-

чит, потому что не господин, а человек всего лишь, а для меня то, что мне не механическая рука мечет, то, что таракан и муха, только что живые, в тарелке плавать могут, что человек живой и салфетка его грязнее улицы — все это одно счастье и умиление. И метры здесь не квадратные, а спальные, да гостиные, да столовые. И нет всех этих кишочек, трубочек и проводочков, гарантирующих нам жизнеобеспечение: воду, воздух, тепло, свет, связь, информацию... как умирающий в реанимации — отключи проводки, и где ты, человек? А тут: эй, человек! что там у тебя есть? Ну, хотя бы и лимонаду...

Как медленно все тогда строилось, как быстро! И все это оставалось вплоть до нас, никуда не девалось. Прimitивны орудия, и труд почти рабский. Соображения инженерные будто бы скудны, средства технические безнадежны... Отчего же так хорошо получалось? Лучше, чем потом, со всеми нашими ухищрениями? Рука была умна, и ум был ручной. И не было движения бездумного, и не было мысли незаботливой. Нет, не пойму пока...

Вот кого я еще не прощаю — так это Брюллова! Ну что ему было картинку ту Александру Сергеевичу не подарить... Тоже мне Рубенс, европеец дутый! Ведь Александр Сергеевич даже на колени вставал, пусть в шутку, но искренне, но вставал... а тот: потом, мол, подарю. А ему три дня жизни всего оставалось. Главное, потом еще и домой к нему пришел. Александр Сергеевич ему детушек сонных выносит, хвалится, а тот: ну чего ты, спрашивается, женился? Грустно вдруг стало Александру Сергеевичу, скучно. Да так, говорит, за границу не пустили, вот и женился. А тот из-за границы всю жизнь не вылезал, и женат не был, и детей не имел — и ни шутки, ни грусти его не понял.

А ведь правильно не подарил! Потому что откуда же знал, что тот погибнуть может. И ехал бы живой Александр Сергеевич в том первом поезде из Петербурга в Москву и картинку с собою, подаренную Брюлловым; увозил с собою...»

«Так он писал темно и вяло...» Здесь бы и должна была начаться повесть о бедном нашем Игоре, коли уж он решил здесь жить... Здесь бы и начать, да уж больно некогда. Срок авторского пребывания в деревне решительно подходит к концу, так неужели опять не допишу

ничего до конца? К тому же под рукой никаких источников — не только по Петербургу пушкинского времени, а даже и просто томика самого Пушкина нет. Нет под рукой источников в деревне, но и обычных источников в деревне нет. Ни озера, ни речки, ни колодца, хотя с неба льет не переставая: сена так и не просушить. Источников нет — прудики копаем. В глине вода стоит, никуда не уходит — из прудиков ведрами черпаем, в дом носим. В доме тепло. Если печь протопить. А если не топить, то холодно. И если воды не принести, то ее не будет. И идти за ней — по дождю и глине. Глины по пуду на сапог, и скользко. И свет отключился, а трансформаторная будка — через все поле. Далеко, и по тому же дождю. Из трех наших домов все в окошки поглядывают: кто пойдет, а никто пока не идет. Свечки зажгли в окошках, и я зажег. Мысли автора и героя начинают пересекаться: прав он про реанимацию... Пусть и не столь совершенна наша техника по сравнению с его будущей, а и я там, в столице, пусть кривыми, ржавыми да грубыми, но кишками к общей жизни, без которой мне и дня не прожить, подключен — к батарее, унитазу, телевизору... о шнуры спотыкаюсь. А если, не дай бог, то, чем Чистяков давеча грозил? По телевизору комментатор грозит — раз грозит, два грозит, привыкаем. Не страшно. Не угроза это, а «обстановка в мире», вроде мебели: там Англия стоит, тут Зимбабве бурлит, здесь бомба висит... А отключи меня... Да что говорить, тут однажды не то чтобы горячую воду отключили временно, тут однажды из обоих кранов кипяток пошел... три дня рук не помоешь, не то что лица не сполоснешь. В городе — страшно, если без телевизора да чистяковские мысли думать. А здесь, в деревне, не так страшно. Потому что отключать не от чего. Потому что здесь война уже будто и была. В соседней деревне Турлыкovo на днях последний житель погиб. Ехал в кузове, грузовик перевернулся, и на него ящик с гвоздями... Был я в той деревне. Красивая деревня, много красивее нашей, как и название ее. Сама — на холме, вокруг — луга, вокруг лугов лес — высится деревенька над нашей, как храм божий. И жила она лучше нашей, видимо. Потому что и колодцы есть, и окна резными наличниками украшены. Значит, было время не только на прокорм, а и на удобство, и на красоту — признак крестьянской цивилизации! Дома стоят почти целые, вселяйся и живи, ну, подремонтируй слегка и живи — а только жить некому.

Я в дом один вошел: в буфетике — и стаканы, и ложки, не то чтобы ценные, но годные, а в шкафу — даже платье на плечиках висит. Инвентарь подобрать можно: ножовку хорошую, или молоток, или косу... Будто бежали отсюда наспех, будто от проказы или будто нейтронную бомбу именно здесь испытали. Суровый здесь, конечно, край: ни климата, ни почвы — север да глина. Вода все время с неба, вода и вода. Дорог, конечно, нет. Но ведь жили же! Не одно поколение, если уже наличники вырезать стали... В какое время сбежали они? В завтрашнее.

Они сбежали, а я чего здесь делаю? А я здесь пытаюсь сделать вещь, хоть какую, хоть такую, потому что там, откуда я, уже никакой вещи не сделаешь из-за связи с миром, не с делом, а со всем миром, с теле-миром: -фоном и -визором. Деталь там живая не водится.

Корова мычит сейчас, и трава растет сейчас, и дождь льет сейчас, и делать что-то нужно именно сейчас. Не вчера и не завтра. Если поставить времени запруду, пытаюсь задержать прошлое или накопить будущее, то вас затопит через крошечную дырочку под названием «сейчас», и вы захлебнетесь в потоке настоящего.

Игорь, конечно, знал про наводнение. Но к этому историческому отрезку его специально не готовили, планируя его пребывание лишь в 1836 году. Он знал, что осенью, что в этом году, что больше всего пострадают Гавань, Васильевский остров, Петроградская сторона... Зато они и жили в Коломне, которая, он не помнил, чтобы так уж пострадала. А в Гавани он работал, следовательно, первым встретит наводнение и успеет принять меры для безопасности будущего семейства. К тому же он расписался, у него пошло, повесть из современной петербургской жизни веяла свежестью пришельца и знанием постояльца. Временами ему казалось, что ее и Пушкину будет не стыдно показать. Правда, лишь временами... Вспоминая про грядущее наводнение, он бормотал бессмертные строки будущего «Медного всадника», словно полагая его чем-то вроде путеводителя в приближающемся испытании.

День 6 ноября был дрянной, хлестал дождь, дул пронизательный ветер, вода значительно возвысилась в Неве. Вечером на Адмиралтейской башне зажгли сигнальные огни, предупреждая жителей от наводнения.

Однако почивали все мирно, и Игорь уснул, уронив утружденную голову на рукопись. С рассветом он поспешил на службу — полтора часа быстрого ходу не шутка. Стихия разыгралась против вчерашнего, волны разбивались о гранитные набережные, вставая стеной брызг; вода из решеток подземных труб била фонтанами, собирая вокруг себя любопытных. Игорь шел навстречу стихии и не боялся потому, что все дорогое оставалось в тылу: и Наташа, и рукопись. По Исаакиевскому мосту он перебрался на ту сторону Невы, идти становилось все труднее, порывы ветра сдували с ног, но Игорь шел настойчиво, будто этим защищал все то, что оставлял за спиною, и вдруг тою же спиною понял, что это не угроза наводнения и даже не день, ему предшествующий, — а вот оно само и есть. Вдруг необозримое пространство перед ним оказалось кипящею пучиною. Над нею ключьями носился туман из брызг, волны разрывались на острые куски вихрями, как ножами, и так летели острыми, треугольными обломками, будто утрачивая свойства жидкости. Кареты и дрожки плыли по воде, спасаясь на высоких мостках, как на островках. И тут он увидел огромную барку, несущуюся прямо на него; она пронеслась, однако, мимо и врезалась в кирпичный дом, который обрушился от столкновения.

Полузахлабленного Игоря подобрали в волнах. Бот принадлежал английскому торговому судну, на борту которого Игорь побывал накануне по служебному делу. Он узнал шкипера. «Там ад, — сказал ему шкипер по-английски, тыча большим пальцем за спину. — Большие суда носятся между домами, крушат их и сами рассыпаются в щепы». — «Да, одно я видел», — согласился с ним Игорь. Какое-то бесчувствие охватило его. Он теперь так же стремился обратно, как поутру — вперед. Части разорванного Исаакиевского моста неслись навстречу, а один обломок чуть не опрокинул их бот. Разъяренные волны свирепствовали и на Дворцовой площади, и Невский проспект превратился в широкую реку, но бедствие на Адмиралтейской стороне все же не было столь ужасным, и это слегка успокоило Игоря. В середине дня вода начала сбывать; к вечеру на улицах уже появились первые экипажи, и к полуночи Игорь добрался пешком до своего дома...

На месте своего дома он обнаружил пароход огромной величины. На борту его прилепился листок, вроде объявления. Машинально он отлепил его... Все строчки



были размыты, но какой же автор не узнает лист своей рукописи в лицо! Волны, ветер, обломки, Кумир с занесенным победным копытом... «Он же сейчас в Михайловском! Откуда он все знал?..» — в ужасе забормотал Игорь, опять внутри пронесся ветерок, и будто завернулась фалдочка чьего-то фрака, и вспышка, вроде молнии, полыхнула перед глазами, в последний раз осветив черную громаду парохода и размытые строки Игоревой рукописи. Игорь захохотал и побежал, обезумев, как Евгений, бормоча строки будущей пушкинской поэмы, как заклинание. За ним гнался автор поэмы, ветер трепал его бронзовую пелерину... Но живого Пушкина здесь быть не могло, тем более и бронзового — ни опекушинского, ни аникушинского... «Да ведь и сам «Памятник» еще не написан!» История вышла из берегов, как Нева, и захлестнула Игоря с головой... Он прятался от Пушкина за церковь Покрова, мелко и неумело крестясь.

Здесь его и подобрали, израсходовав внеочередной миллиард миллиардов на спасательную экспедицию. Здесь, в центре Коломны, но — в наше с вами время: мокрый насквозь, под ясным небом, он топтался около архитектурного сооружения с буквами «М» и «Ж» на месте былой церкви, в отчаянии сжимая обломки своей тросточки...

Там он и сидит, кончая свой двадцать первый...

За окном, в черном космосе, шелестит великое трехсотлетие; спутники развешаны, как гирлянды на новогодней елке; праздничные шутихи перелетают от спутника к спутнику, искрами осыпаясь в пропасть остального мироздания.

Палата его тиха и отдельна, но он и так ничего не слышит: времена спутались в его голове, в ней, бедной, не прекращается погоня будущего за прошлым: он гонится за Евгением, Евгений за Пушкиным, Пушкин за Петром. Потом они бегут в обратную сторону — все гонится за ним, и тогда ему страшно. За окном космические физкультурники в индивидуальных скафандрах с прожекторами во лбу исполняют в акробатическом полете горящую цифру 300. Игорь бормочет, как Германн — тройку, семерку, туза, перебирая теперь уже такие древние строки:

Дар напрасный, дар случайный...  
Посадят на цепь, как зверка...  
Похоронили ради Бога...

Он сжимает и разжимает кулак, в котором — пуговица. Он жалобно плачет, бьется и воет, если пытаются ее отнять. Ее ему оставляют, и он — спокоен. Его счастье — они не догадываются, что она — подлинная!

Все больше бессилие овладевает автором на его чердаке. Если бы автор видел, до чего похоже его жилище на его собственную попытку описать будущий мир! Дождь перестал, и небо очистилось. Ночь глуха, и нет путника, чтобы увидеть, как чердак автора висит в ночи, подвешенный на гвоздиках света из щелей и дырочек, будто небо на звездах. Кажется, что занимается там пожар. Или дотлевают.

Слайды Игоря проявили, пленки прослушали... Подтвердили диагноз. Нет, Игоря не в чем было упрекнуть: он не засветил и не стер. Но — только тень, как крыло птицы, вспархивающей перед объективом, и поллучилась. Поражала, однако, необыкновенная, бессмысленная красота отдельных снимков, особенно в соотнесении с записями безумного времелетчика: буря, предшествовавшая облачку, глядя на которое поэту пришла строчка «Последняя туча рассеянной бури...»; молодой лесок, тот самый, который — «Здравствуй, племя, младое, незнакомое...»; портрет повара Василия, захлопывающего дверь; замечательный портрет зайца на снегу: в стойке, уши торчком, передние лапки поджаты; арба, запряженная буйволами, затянутая брезентом, вокруг гарцующие абреки; рука со свечой и кусок чьей-то бороды; волны, несущие гробы... и дальше все — вода и волны.

И пленки: шорохи, трески, мольбы самого времелетчика, чье-то бормотанье, будто голос на другой частоте или магнитофон не на той скорости, и вдруг — отчетливо, визгливо и высоко: «Никифор! Сколько раз тебе говорил: ЭТОГО не пускать!»

И здесь мы ставим точку, как памятник, — памятник самой беззаветной и безответной любви.

И обнаруживаем себя, слава богу, в своем, в собственном времени. НАШЕ время (мое и ваше): под утро 25 августа 1985 года.

## БИТВА

И поэзия приводила их в такое упоение, что они стали усматривать в случайно попавшихся стихах великие примеры будущей судьбы.

Таким образом, действительно, ни философ, ни историограф не могли бы поначалу проникнуть в крепость народных суждений, если бы великая поэзия не распахивала ворота.

*Защита поэзии, 1580*

### 1. ОТ «А» ДО ИЖИЦЫ

Ничего более русского, чем язык, у нас нет. Мы пользуемся им так же естественно, как пьем или дышим. В глубине двадцатого века, в которой мы находимся, слово «пользоваться» становится все более безнравственным, если не преступным. Воздухом равно дышат люди бедные и богатые, разных убеждений, возрастов, национальностей и вероисповеданий. Бесплатность его никогда не обсуждалась до нашего времени. Но и воздух оказался не бесплатен в перспективе. Сознание современного человека трещит, осложненное теперь и экологическими проблемами. Но перестроиться все еще не может. Воздух, вода, земля... какой бесполезной вещью может оказаться однажды бриллиант!

Язык — тот же океан. Как бы ни были обширны и глубоки и тот и другой, в них очень трудно добавить хоть каплю, хоть слово. Всего этого столько, сколько есть. Но — не больше. Сказать новое слово так трудно, что в чрезвычайную заслугу это ставится недаром. Огромное число понятий в нашем мире не оказались достаточно важными, чтобы получить имя и войти в словарь. Хотя в самой жизни они, немые и безымянные, очерчивают собой сферы и сферочки достаточно отчетливые. Не названные одним словом, они могут быть определены лишь системой других слов. Даже статьи, даже целой книги может оказаться едва достаточно для определения нового понятия. Казалось бы, чрезвычайно неэкономно тратить много слов вместо введения нового, но одного знака, заменяющего, быть может, тонны бумаги. Однако пробиться в словарь — чрезвычайная

---

<sup>1</sup> Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980. С. 135—136.

честь, головокружительная карьера для нового понятия: словарь ревниво охраняет численность своего поголовья.

Это проливает некоторый свет на природу литературы, которая, по сути, является подвижной частью устоявшегося языка, восполняя недостаточность числа словесных символов постоянным формулированием понятий текущей жизни, не оказавшихся настолько старыми или вечными, чтобы попасть в язык. Именно такими новыми, хотя и громоздкими словами являются новые книги и сами писатели: выступает имя собственное, но известное уже всем. Пушкин, Гоголь, Чехов — это уже слова, а не только имена. Им непременно соответствует что-то отчетливое в сознании. Но Пушкин — это еще и целый ряд слов, как-то: «Медный всадник», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; Гоголь — это множество слов, практически все его персонажи: Ноздрев, Акакий Акакиевич и т. д., даже слово «нос», которое есть в языке, расширено словом «нос», существующим у Гоголя, а Чехов — по сравнению с ними одно слово «Чехов», безусловно прекрасное, но одно. Чем больше писатель, тем лучше он понимает невероятную заслугу нового слова. Потому что ввести уже не имя собственное, а слово в словарь — заслуга чрезвычайно лестная. Можно умалчивать о достоинствах собственных произведений, но не проговориться гордо насчет того, что именно тебе принадлежит слово «штушеваться», — не удержаться. О Карамзине уже мало что помнят живого, но с помощью восхищенной зависти писателей известно, что ему принадлежат слова «промышленность» и даже «общественность», — заслуга, ни с чем не сравнимая! Одно дело, какое значение сыграет то или иное произведение для общества и как будет оценено, другое — что втайне, по-цеховому, даже не всегда в сознании, ценят люди пишущие друг в друге (в живописи и музыке больше так называемой «техники», и профессионалы отчетливой ориентируются в заслугах перед гармонией, композицией или цветом и т. д.); люди пишущие могут ощутить такую же заслугу — в языке, стиле, но не в масштабности и значимости произведения. Хотя в конечном счете справедливость устанавливается и эти заслуги уравновешиваются. Но существует слово «Зощенко» и все еще не существует слова «Пришвин». Однако и так, что, как бы ни относиться иной раз плохо к поэту Маяковскому, как ни любить поэта Заболоцко-

го, — слово «Маяковский» есть, слова «Заболоцкий» нет, как нет, впрочем, и слова «Баратынский». Горький стал словом еще и потому, что с маленькой буквы он тоже слово. Необыкновенный таинственный аппарат признания работает через язык, регулируя численность устоявшегося и подвижного языка с необыкновенной точностью, тонкостью и циничным беспристрастием, принципы которого нам не до конца известны. Каким-то образом именно в живой речи взвешивается масштаб, вес, гений, некая не смущенная нравственными или вкусовыми оценками значимость, приводя язык в пропорциональное отношение к живой жизни. Здесь карьеры слов и подвижного запаса имен — абсолютны, как и в жизни. Мертвому слову может быть обеспечено лишь временное официальное положение, но язык неподкупен. Он, правда, может быть засорен и развращен, в него, конечно, насаждается и изгоняется, но эта вода до сих пор способна очищаться, как дышит, хоть и из последних сил, океан, все еще справляясь с мусором человеческого. Он все еще океан, как и язык — все еще язык. Словарь — этот справедливый аналог мира, взятого в статистическом сокращении, где слово «добро» и слово «зло» равны друг другу, а почему-то «бог» и «дьявол» не равны. В слове отнюдь не заключено раскрытие его смысла, в нем лишь координаты в пространстве материи и духа. Идеальная иерархия слов, как определил Л. Толстой, чудо пушкинского языка. Выдумать слово можно, нельзя выдумать того, что оно обозначит. Как выводит язык эту общую заслугу предмета, понятия или имени, за которую принимает или не принимает в свои ряды, изгоняет или временно отравляется новым словом, — воистину, тайна сия велика есть.

Про неисчислимое число капель, составляющих океан, с уверенностью можно сказать лишь одно: что оно конечно, что первая капля будет первой и последняя — последней. Даль — это наш Магеллан, переплывший русский язык от «А» до Ижицы. И было у него первое слово, которое он записал, и было, оказавшееся последним, предсмертное. Представить себе, что это проделал один человек, невозможно, но только так оно и было. В результате этого подвига мы имеем не только четыре великих тома, не только сам словарь, но и новое осознание языка как не безразмерной вещи, а вполне конкретного, осязаемого организма (живаго...). Даль сумел называть все известные ему слова одним именем: «Далев

словарь» стало новым словом, и объявившим, и поместившимся в нашем языке и сознании.

И для меня не просто символ, что из писателей пушкинского или послепушкинского поколения у постели умирающего Пушкина находился именно Даль, что именно ему достался простреленный пушкинский сюртук, если пытаться осознать не только пушкинское наследие, но и пушкинское дело, не только место Пушкина в развитии и смене литературных течений и форм, но и его место в самой русской речи, то не кто иной, как Даль, является его преемником и наследником. И если Даль и не гений, как Пушкин, то Дело его гениально, и трудно даже вообразить, кому вообще оно могло быть по плечу и под силу. Вряд ли и он представлял, постепенно втягиваясь из забавы в коллекционерство, из коллекционерства в собирательство, какую непомерную и ни с кем не разделенную миссию взваливает себе на плечи... Никакое представление о научном подвижничестве с этим весом несравнимо. Вглядитесь в его удивительное лицо, попробуйте выделить главенствующее его выражение: вовсе ничего святого и постного — безумная страсть, бешеный темперамент! — только они могли помочь ему довести подобный труд до конца. Великий, первый наш природоохранник... Как поучительно, что тема охраны природы начинается в России с языка!

Даль — слово. Пришвин и Баратынский — тоже, конечно, слова, но как бы более специальные, не всеобщие. Зато Мятлев — уже и не специальное слово, единичное. Скажем, слово «пар» — всеобщее, «конденсация» — почти уже выбилась из терминов в разговорную речь, а «опара», устарев, стала словом специальным. Круговорот слова в словаре... Сколько испарится, столько выпадет в осадок...

Специалист может иметь перед своими глазами картину мира, совершенно отличную от той, что составлена общепризнанными словами, и ему эта картина будет казаться более истинной, более отражающей. И это скорее всего так и будет. Специалисту будет смешно, отчего слово «синхрофазотрон» более популярно, чем «циклотрон», хотя даже приблизительный смысл обоих слов неспециалисту известен быть не может. Художник может иметь совершенно свою иерархию имен и произведе-

дений, в корне не совпадающую с общепринятой, считать ее обывательской и т. д. В конце концов можно сказать, что истинного значения даже самых важных слов не знает никто, от обывателя до специалиста; такие таинственные, или меняющиеся, или неформулируемые понятия данное слово обнимает или накрывает. Никто толком не скажет, ни что такое красота, ни что такое атом. Для слова в данном случае важно не раскрытие смысла, а определение в пространстве материи или духа. Можно выделяться, кичиться, создавать себе репутацию, хихикать, отделять своих от несвоих, находить себе друзей, подруг, сообщников — все это от подвижности внутри слова, само слово от этих наших упражнений окажется неподвижно, что и существенно.

Стать словом невозможно, словом надо быть, и только в таком случае у него есть шанс на возникновение в языке.

Специалисту известны многие слова, неизвестные неспециалисту, и он определяет с их помощью существование еще новых, которые, немые и невидимые, окружают нас в неразъятый цельности сущего. Специалист делает свою работу. Выдумать слово можно, нельзя выдумать того, что оно обозначит. Значит, чем-то надо быть, чтобы быть названным. Каждый человек, независимо от профессии, еще и специалист в своей жизни. Он накапливает опыт, совпадающий с общеизвестным и принятым, и еще опыт, который можно определить как мучительный, в том смысле, что он не выражен, не определен. Это — есть, знаю где, ощущаю контур, и время, и частоту появления, но не могу описать того характерного признака, который отделил бы «это» от всего другого и я бы мог продемонстрировать это людям, то есть проверить свою нормальность принадлежностью к ним. Нам надо назвать и вызвать узнавание — единственное подтверждение нашей объективности в определении.

Некое «это» может мучить или не мучить нас, проходя далекой тенью, не признаваемой нами самими за явление нашего опыта. Оно может возникнуть с твердым ощущением, что оно есть, мы станем его узнавать при случае: я видел такие лица, мне известен такой жест, эта линия мне знакома, запах напоминает, слово это я как будто знал, да забыл. Но какое же лицо? что за жест? что обведено линией? что так пахнет? Это может остаться неизвестным. «И не узнаешь никогда» (Л. До-

бычин). Люди способные могут даже обучиться руководствоваться, использовать этот свой опыт эмпирически: знать, что это лицо ему не нравится и поэтому с ним лучше дела не иметь, не знаясь и т. д. Человек, который научился узнавать явления, не мучась их формулированием и доказательством, будет удивительно умный человек, поражающий нас своей интуицией, фокусник жизни, талант, он может многого достигнуть, многим воспользоваться. У него огромный немой словарный запас, так бы я сказал. Человек же, мучимый выявлением и донесением этих немых слов,— не достигнет и малой толики умного за счет многих и длительных остановок. Однако за умных людей мы почитаем тех, кто нам объяснил свой ум и своим умом объяснил. Тех же, кто им воспользовался, самых умных, мы знаем лишь в случае столкновения с ними — естественно, тираж мал.

Писатель пишет, то есть тиражирует, то есть долго и неумно топчется на месте,— но это его работа. Употребить определенное количество слов, извлеченных из опыта в истинном их значении, и донести свою систему их сочетания, кажущуюся ему всеобщей, до чужого сознания хотя бы в такой мере, чтобы тот воспринял эту систему как частную,— уже задача огромной трудоемкости и сложности, если бы ее выполняла машина. Ее выполняет человек, не обладающий гипертрофией машины, зато связанный некой пуповиной, нитью, нервом с океаническим организмом языка, который, в случае живости (талант) или разработанности этого нерва (мастерство), работает за него, способствуя автору выполнить хотя бы отчасти по сути невыполнимую задачу. Писатель — это человек, который знает каждое слово, какое пишет (пусть их всего десять...).

Тираж того, что я назвал «новым словом» — будь то действительно уже «одно слово», чему-то в жизни соответствующее, или крылатая и краткая система слов, это «одно слово» заменяющая, или целое сочинение, это новое несуществующее слово окружающее и выражающее, или даже целое творчество, многотомье, однако определяющее собою в целом некую систему, которую можно обозначить именем человека, на которого ведется подписка,— тираж этот, по-видимому, не меньше двух экземпляров, в том смысле, что кто-то один воспринимает выраженное в том же точно значении, какое имел в виду автор. Этот минимальный тираж — доказатель-



ство не сумасшествия, не абсурда, потому что два одинаковых сумасшествия встретятся с меньшей вероятностью, чем столкнутся два небесных тела. (Я не имею, естественно, в виду тот общий тираж непонимания, который достигает иногда грандиозной цифры, когда все, в силу ажиотажа, рекламы, ложной популярности, в силу некоей общественной аберрации, не понимают явления в истинном смысле, однако принимая его и признавая.) Число «два» в этом случае часто больше доказательство, чем «миллион». Хотя что-то все равно выражено, отражено и этим «миллионом». (Нынешняя популярность поэтов.)

Так что если тираж «два» необходим и достаточен (он недостаточен для сохранения во времени — «рукописи таки сгорают»), то я могу пытаться доказать третьему, что я понял с помощью первого, которого сумел понять. Тут меня могут не понять, хотя я и понял. В какой-то мере я должен провести почти такую же (но нет, конечно, другую! открытие-то сделал тот, первый!) работу, чтобы доказать третьему, что мы оба не сумасшедшие. Я вступаю в добровольцы разрушения непризнанности первого. Причем не его лично. Его лучше и не знать. Нового слова!

Вот нить бессмертия, за которую ухватился пишущий свое новое слово.

## *2. ЭКОЛОГИЯ СЛОВА*

Ни тенденция осовременить литературный язык, ни тенденция реставрировать его по-своему не точны. Язык — таинство естественное и природное. Он вбирает в себя, он исторгает, он сохраняет свою общую, недоступную усилию одного человека цельность, он своим состоянием, даже повергающим кого-то в тревогу и отчаяние, отражает именно современную жизнь много больше, чем способен и самый лучший и славный писатель. Поэтому огорчаться следует тем, что вас огорчило, а не языком, который меняется, нашу жизнь отражая. И усилия нужны прежде всего в жизни, а не в языке. Он не улучшает отдельно. Если естественно было Тургеневу, Толстому, Бунину знать имена (потому что эти замечательные подлинно русские слова стали, за редкостью, именно именами...) птиц, деревьев, трав, то...

А вот и то. Снимали фильм в заповеднике, восхища-

лись чистотою и первозданностью леса... «Браконьерили» потихоньку насчет лисичек (грибов), черники. А лесничий поведал мне, что совсем не так хорош стал лес, как нам кажется. Где муравейники? (А и впрямь, спохватился я, давно что-то их не видел... а сколько их было в детстве, после войны!..) Где мхи и лишайники? Ну, мхи и лишайники были налицо. Однако оказалось, что против тридцати, скажем, видов, положенных здоровому (просто здоровому, а не заповедному) лесу, здесь их было уже лишь восемнадцать... Количество муравейников, мхов и лишайников — один из основных определителей лесного здоровья. А сколько же их в лесу обычном? А теперь, спустя шесть лет, сколько осталось — в заповедном против тех восемнадцати? Учтите, что все эти мхи и лишайники тоже называются по отдельности словами, не все даже ботаническими — специальными, многие — исконными русскими.

Состояние современного языка — проблема вполне экологическая. Язык не виноват. Если в словаре горожанина почти не осталось имен для живого, кроме самых общих: дерево, куст, трава, птица, — то не в этой ли перспективе мы живем, когда каждый день (день!) на Земле исчезает один вид (вид!) животных, а каждую неделю один вид растений. Дерево, куст, трава, птица — суть не только самые общие слова, они обретут индивидуальность, когда обозначат последнее. Видовое разнообразие живого стремительно тает, впереди этой трагедии отмирают слова, они погибают раньше. Сетовать ли на обеднение словаря или воспринимать его как предупреждение, следующее с опережением, а не хладно констатирующее уже факт? Словарь Даля, наконец переизданный, словарь ЖИВАГО русского языка... Насколько «живаго»? Он есть памятник языку, бывшему при Дале ж и в ы м. Он противостоит расхожим и пошлым суждениям о том, что в нашем языке не так уж много собственно русских слов (корней). («Назовите хоть одно русское слово на «а»? — «Авось».) Словарь пахаря, охотника, плотника... Умерли-то как раз все русские слова. Но есть еще и лес с деревьями, и луг с травами, встречается и лошадь, вся, от челки до хвоста, состоящая из забытых русских слов, ставших в лучшем случае «специальными». Что ж, мы не живем с лошадью, не живем и в лесу. Несущественные различия марок «Жигулей» нам куда более известны. Они выражены не в словах, а в аббревиатурах и рублях.

Слова исчезли из живого языка раньше, чем из жизни, — то, что они означали. Может быть, это заповедно? Нельзя стало рвать ландыш, запрещено торговать на птичьем рынке певчими птицами. Дети наши стали еще ближе, чтобы не знать, как еще мы знаем, их имена. Заповедное — это неизвестное всем, сохраняемое знающими. Словари — область заповедания. Усилие культуры сегодня не столько просвещение, сколько сохранение. Культурность, музейность писательского усилия в слове проявилась в книге В. Белова «Лад», в котором с о в р е м е н н о м у читателю объяснены умершие для него слова как живые. И В. Белов в этой книге — очень современный писатель. Это уже не только ностальгия, это реальное усилие, необходимое нашей жизни.

Словарь можно читать, можно дышать словарем, но вряд ли современный писатель может им пользоваться. Может, это характерно лишь для нашего поколения, может, это усугублено моими личными свойствами, но мое убеждение, что просвещение писателя (тут как важен эпитет — современного...) есть прежде всего устное просвещение, а не письменное и тем более не книжное. Я и до сих пор читаю книги, шевеля губами, мысленно — вслух (читаю, как слышу, а пишу, как говорю). И до сих пор обучение наше происходит через ухо, устами учителя и лектора, никак не замененное учебником, который мог бы сочинить наиболее умный и просвещенный из учителей и лекторов. Однако именно более простоватые и далековатые коллеги ученых втолковали каждому из нас то, что мы знаем. Остальное зависело от нас самих, от постижения. Писатель прежде всего человек, который ставит все свои слова, постигнув их смысл. Пусть их будет сто, но ни одного приблизительного. Писатель все-таки пишет смыслами, а не словами. (Рассказывают в Ереване люди, требовательности которых можно доверять, что англоязычный У. Сароян, не изучая армянский язык, а постигнув за время посещений исторической родины сотню важных ему слов, выражал по-армянски очень тонкие, точные и глубокие смыслы.) Ста слов, конечно, маловато, но один из самых богатых по языку прозаиков советского времени — Андрей Платонов, безусловно, не богат по словарю; это для него естественно, но это и вполне осознанно. Один из самых трудных в своих смыслах для чтения, Андрей Платонов выражал эти смыслы самими «бедными» словами, словами, которые поймет каждый, — смыслы, ко-

торые лишь м о ж е т понять каждый, если взойдет на духовное усилие, которое, увы, не каждый на себя берет. Современную литературу надо читать без словаря — следовательно, и писать без словаря. В пушкинское время (внутри самого Пушкина же) отошли Персефоны и Аониды, хотя вовсе не были бессмысленны для просвещенных авторов, сокращали им путь выражения безотказными моделями. Зияющая рана классического образования во мне, скажем, всегда саднит и никогда не зарастет, но вряд ли я бы мог как современный автор воспользоваться им в прозе иначе, как вырастив пусть и древние смыслы, но на своей почве и своем опыте и лишь тогда постигнув единство многих символов от древности до наших дней. Как бы ни был образован писатель, он по призванию неуч, впервые подходящий к жизни и опыту. В результате продирирования сквозь попытку выразить он необходимо становится человеком просвещенным, но вряд ли до конца образованным. Я наблюдал примеры шибко образованных людей, бравшихся за перо; как писатели они, если в них было для этого, неизбежно низвергались внутри себя на уровень самоучки. Писатель, по моему разумению, создатель т е к с т а, прежде всего полного единства употребленных им слов. Поэтому подспорье записных книжек и словарей кажется мне хотя и полезным человеку-писателю, но вряд ли практически применимым, потому что в текст как в единство ничего не вставишь, и в отдельности найденное удачное выражение, как правило, бывает вытеснено течением естественной речи, сначала «невспомнено», а потом «невставляемо». Жалеть об этом не следует.

Текст всегда располагается на плоскости, но он объемный, в нем с бесконечной частотой и точностью меняется параметр, на бумаге не отраженный, — иерархия слов. В этом третьем измерении каждое слово отрывается от листа, помещается от него на различном расстоянии. То приближаясь, то отлетая вдаль, то прилипая к бумаге, оно не просто что-то значит (информация...) — оно ж и в е т в контексте этих «расстояний».

Иерархия, порядок слов — не алфавитны. Если бы возможно было составить словарь по иерархии, мы бы писали такими иероглифами, перед которыми померкла бы сложность китайского письма.

Язык, живущий сегодня, в этот час, в этот миг, — это живой, пульсирующий объем, тело, как бы один единый

текст, никому в полноте недоступный, непосильный, текст, который завтра изменится, которого не станет. Текст этот — слишком огромен для индивидуального сознания, но он вполне ограничен, не безмерен. Его — столько и такого. Его не успеешь прочесть — его можно лишь уловить как общий гул, а то и общую музыку. В этом смысле живой язык можно уподобить особо сложному музыкальному инструменту, вместившему в себя самый большой оркестр,— некому немислимому органу, где каждую секунду в с е слова находятся в живой и трепетной взаимосвязи, соотношении, соподчинении. И, надо полагать, никакой инструмент сам не звучит — он звучит в н а ш е м исполнении. И самый фальшивый или неуместный звук извлечен не в отдельности и частности, а все из того же, каждому доступного, но одного на всех величайшего инструмента. Текст пишущего — часть этой общенациональной речи, крошечное подобие целого, и чем точнее текст, тем точнее он воспроизводит объемную модель современного языка (на другом не сыграешь, другого — не дано), на миллидолю не ошибаясь в «расстоянии» до каждого слова. Именно тогда каждое слово текста звучит в контексте, то есть несет не только так называемую информацию, но и уподобляется самой жизни, ее состоянию. И бесхитростная мелодия, которую предлагает нам современный автор, подразумевает в нем абсолютный слух. Играя свою небольшую музыку, мы играем ее и на в с е м оргáne...

Еще и в том дело, что умершее в нашей общей сегоднешней речи слово — не мертво. Как абсолютно жив как книга Далев словарь, как жива речь Шергина, как вечны так давно не переизданные Далевы же «Пословицы русского народа» (вполне современная, вполне настольная книга)... Но вот и еще один словарь, как всякий труд такого рода приветственно раскрываемый ревнителем родной речи,— «Словарь эпитетов русского литературного языка» («Наука», 1979).

Трудно заподозрить составителей в чем-либо, кроме добросовестности. Не знаю, какие у них были методы подсчета употребимости тех или иных слов. Безусловно, методы были. По возможности точные. Научные. Беспристрастные. В длинном столбце эпитетов изредка попадаются в скобках примечания типа: (*поэт.*) — поэтический, (*шутл.*) — шутливый или (*устар.*) — устаревший. Так вот — устар...

Из двадцати восьми эпитетов к слову **ДОМ** «устар.» — три: отчий, добропорядочный и честный. Причем «добропорядочный дом» даже больше, чем «устар.», — он «устар.» и «шутл.». Из нескольких сот эпитетов к слову **РАБОТА** «устар.» — два: духовная и изрядная. Из пятидесяти восьми эпитетов к слову **МЕСТО** «устар.» одно лишь: живое. Из семидесяти восьми к слову **СМЫСЛ** «устар.» только — существительный.

Что за слово, однако, **УСТАР** — и устал, и умер!

Подобный ряд из этого словаря можно было бы назвать бесконечно. Вы не найдете в нем ни одного эпитета к слову **СОВЕСТЬ** или к слову **ЧЕЛОВЕК**, потому что этих слов в словаре нет. Поскольку невозможно считать, что и они **УСТАР**, следует остерегаться измерять жизнь слов одной лишь их сегодняшней употребимостью.

Иерархия, порядок слов — не алфавитны.

Трудно пользоваться записной книжкой, но легко тем, что само идет в нужный момент в руку. Под машинку я подстелил газету «Советский спорт» (22.V.83) — вот каким углом она сквозе текст торчит: «Мы шагаем в XXI век, в век еще более напряженный и спрессованный человеческим мышлением, прогрессом науки и разума. У нас сейчас нет времени на самозерцание и копание в собственных ощущениях. В будущем его будет еще меньше». Лихие слова!

Слова умирают, слова замирают... Говорить же надо в прозе естественным, органичным, сегодняшним языком, но говорить смыслы не ниже тех, что были сказаны и в древности, но — с о в р е м е н н ы е, то есть никем до сего дня не выраженные смыслы. Умирают слова, прекрасные, русские, за неупотребимостью... но никак не умирает русская речь, ее течение, ее способ выражать и осмыслять явление. Беднеет словарь с утратой и исчезновением тех разновидностей, для которых когда-то язык находил достойные их слова, но еще хуже, если утрачивается сама способность понимать и постигать написанное, когда обедненный язык начинает идти в поводу им же воспитанного читателя. Искусственное расцветивание прозы словами, вышедшими из современного словоупотребления, не обогатит ее необходимым ей смыслом. Но это отнюдь не означает, что и явления, прозой выражаемые и отражаемые, становятся беднее и проще. Пусть сегодняшним языком, но не ниже мыслью... И если бы не было обратной связи между

словом и жизнью, если бы нельзя было каждый раз не только надеяться, но и верить, что слово — действительно, что, побужденное жизнью, оно само побуждает жизнь истинную, замерло бы наше старинное и неистребимое ремесло.

### *3. СООБРАЖЕНИЕ ПРОЗАИКА О МУЗЕ*

Довольно-таки сразу приходится понять, а потом бесконечно в этом убеждаться, что то, с чем нам предстоит провести всю жизнь, не имеет определения. Определения уточняются до окончательных лишь в отношении преходящего: его мы успеваем рассмотреть на расстоянии приближения, встречи и удаления. Но основные понятия — жизнь, смерть, любовь, красота — не под силу толковому словарю. Усилиями тысячелетней, пусть самой мощной и гениальной мысли не сдвигается с них покров тайны и бесконечности. С этих понятий достаточно, что они — есть. Их можно иногда, прикосновением, постичь, но не — понять, их иногда удается поэтически выразить, но не сформулировать.

Поэзия — тень этих смыслов, поэтому, хотя и во вторую очередь, как отражение непознаваемого и она не имеет определения. Почти каждому любителю поэзии (не говорю за поэта, как и за глухого) довелось ловить себя на этом недоумении: что, собственно, произошло? почему преобразилось слово? отчего затрепетали смыслы? откуда эта полнота, равная лишь потрясенной немоте? Разве эти признаки — ритмы, размеры, рифмы — хоть в какой-то мере способны определить чудо, разве их наличия достаточно? Что недостаточно, это мы усваиваем легко на примере дурных стихов. Собственно, дурных стихов не бывает. Есть стихи и нестихи. Мол, поэзия и непоэзия — этим дискриминирующим делением кончается всякий опыт общения со стихами, и только тренированность и одаренность чутья ценителя остается мерилем.

Как всякая непознаваемая категория, поэзия обрастает огромной раковиной периферийного постижения, наукой о стихе. Тут потрачена бездна ума и учености, но всегда рядом со смыслом сказанного. Так петух, передумав драться, поклевывает песок в стороне от противника. Так остается в сохранности и незатрепанности вечная возможность: поэтам — писать, нам —

читать (как исследователям — исследовать). У вас своя компания, у нас своя компания. Все это как-то неплохо, что именно так, что не в центр, не в яблочко, а — мимо. Вот и жизнь — жива, и красота — красива, и поэзия — случается... Поэты и читатели обошлись без науки, первые — по судьбе, вторые — по любви. Достаточно наливия. Если что-то хорошо — то это и впрямь хорошо, действительно хорошо, необъяснимо... Мы доверяем, верим, веруем. «Необъяснимо прекрасно» — наивысшая похвала. Когда хорошо, то я уже никак не могу объяснить почему. «Он имел одно виденье, непостижное уму...» Почему это так хорошо? Окончательно неизвестно, не п о с т и ж н о.

Мы говорим: «Непостижимо прекрасно». И еще мы говорим: «Невероятная свобода». Какая же тут свобода, когда она отовсюду стеснена: обрывистым дыханием строки, усыпляющим топтанием ритма, побрякиванием обязательных рифм на веточках строк... это не вольное древо речи — новогодняя елка. Напрашивается полезная мысль, что для проявления высшей свободы, которая есть поэзия, необходима изначальная клетка, золоченая тюрьма, незыблемый канон, откуда с тем большим свистом, чем все это теснее, вырывается вольное слово или истинный смысл. Трепет горла особенно хорошо ощутим под пальцами. Диалектика осознанной необходимости тем не менее вряд ли владеет поэтом. Он ведь не вынужден подыскивать рифму и не выбиваться из размера, натолкнувшись внезапно то на эпитет, то на метафору, столь удачные, что их жалко пронести мимо не того размера строки. Ему, поэту, так говорить — е с т е с т в е н н о, именно так осуществляет он свою (и не только свою) высшую свободу. В чем же эта естественность, задаю я себе вопрос. Когда искусственность во всем? Одна аллитерация чего стоит... Так трудно выразить мысль словами! А тут еще наряд прежде тела... Значит, не наряд. И это, пожалуй, первый вывод.

Значит, само тело. Неужели же наша невнятная обыденная речь есть распавшаяся и рассыпанная поэтическая? А не наоборот, как привычно полагать, поэзия — есть высший концентрат речи обыденной, результат духовного, аналогично естественному, отбора?.. Но — именно так, наоборот. Поэзия — первична по отношению к рабочим и обыденным смыслам речи. Но — ах! — тут бы мне и потребовался знаток, которого я только что обругал. Он бы мне подобрал примеры. Он



мне их не подберет. И я опять останусь в нищете не-доказанности, с тем стесненным чувством правоты и обиды, которое возвращает меня в детство...

Но, может, в нем я и отыщу первые доказательства.

С какого момента мы себя помним? Толстой помнит себя с восьми месяцев, на то он и Толстой. Я помню себя с четырех лет. Поздновато. В этом диапазоне помнят себя все остальные люди. Одно точно — не с начала. Скорее всего люди помнят себя уже говорящими. Может быть, даже они себя начинают помнить еще позже, с тех пор как впервые в отношении себя употребят слово «я». Я наблюдал этот перелом лишь однажды, однако с уверенностью полагаю его общим. Уже с легкостью складывая подступивший к нему мир в предложения, ребенок поначалу говорит о себе в третьем лице как о герое этого сна жизни. (Соображение, которое можно было бы отнести к природе прозы...) Именно так мы себе часто снимся — в третьем лице, — возможно, это тоже тень изначальности, до грехопадения, до Я. Возможно, Адам и Ева думали о себе в третьем лице и в более зрелом возрасте, различая себя друг от друга лишь по роду местоимения, хотя еще и не по полу. (Любопытно, что Я — бесполо). Так вот, я хорошо запомнил, с каким испуганным недоумением, с каким противоестественным усилием, с каким потрясением, как бы с чувством невозобновимой утраты ребенок разлепил губы для первого Я. У меня есть подозрение, равное ни на чем не обоснованной уверенности, что именно с этого момента начинается то, «что мы помним». С этим можно соглашаться или нет, это не помешает дальнейшему рассуждению. Важно, что «мы себя помним» позже, чем живем, чем, возможно даже, говорим. Важно, что за пределами наших, дисциплинированных выраженностью словом и повторностью, воспоминаний остается первый, возможно важнейший, слой впечатлений от бытия. Важно и то, что именно в этом невоспоминаемом времени мы и обучились человеческой речи. И что еще замечательно, что это, при всех усилиях педагогов, вне области педагогики. Педагог не способен обучить младенца речи в той же степени, как и рыбу. Младенец учится речи с а м. Лишь слыша ее. Все те законы речи, до которых и в малой степени не дошла наука, открыты младенцу с рождения и вновь закрыты с момента овладения речью. Эти поразительные способности младенца в филологии неоднократно отмечены. И здесь меня посещает

предположение, безусловно частное по отношению к безмерности и удивительности явления, но все-таки и не лишенное, что мир созвучий, рифм, аллитераций первым приходит к нам. Когда младенец своим великим ушком прислушивается к стертому шелесту взрослой бытовой речи.

Я, право, не знаю, что бы было с русской поэзией и отчего бы она была именно русской, кабы не приговоренная бедность рифм «кровь — любовь» и «человек — век». И что бы было со смыслом русской литературы и отчего бы она была именно русской, кабы не были созвучны «деревня — деревья — древний» и «крест — крестьянин — христианин». Здесь лежат первые и скорее впоследствии забытые, чем уточненные, связи языка и жизни. Их-то, возможно, и помнит поэт в большей степени, чем простые смертные. Может, тоже не помнит, зато наделен способностью смутно припоминать то, чего не помнит никто, — родовые созвучия зарождающейся в жизни речи. Тогда ни при каких обстоятельствах искусство стиха не может стать «техникой». Искусственно набранные созвучия могут поразить только глухого на природу речи человека. Их надо не изобрести, а вспомнить. («И как само собой рассыпается, — справедливо отметил Маяковский, — „Чуждый чарам черный чолн...“») Это и впрямь инфантилизм, а не детство.) Расхожее до пошлости, что «поэты как дети», наполняется обратным светом в свете этого рассуждения.

Сходство по звучанию, очевидно, изначальное сходства по смыслу. Оттого особой гениальностью веет от стихов непостижимо простых по слову, не отягощенных метафоричностью и эпитетом. «Пора, мой друг, пора...», «По небу полуночи ангел летел...», «Девушка пела в церковном хоре...», «Мать говорит Христу...», «Тихая моя родина!» Здесь слова молятся в храме речи, а не выживают в водовороте языка и опыта.

Но вот, объединив звуки в созвучия, созвучия в речь, младенец произносит Я. Синтез вновь искромсан этим орудием анализа — Я. Место Я в великой поэзии — тема неисчерпаемая, однако я нахожу особый смысл в том затененном, непроявленном, испаряющемся Я, которое стоит на грани его первого произнесения, но как бы с обратным знаком, как бы с желанием вернуться в его «допроизнесение»: «Тарантас бежал по полю, в тарантасе я сидел и своих несчастий долю тоже на сердце имел» (ср. «Взбегу на холм и упаду в траву...»).

Однако, раз появившись, Я, муча себя, кромсает этот мир с видом познания и даже созидания. Появляются сходства по смыслу, ведущие к метафоричности мышления. Сравнить, пожалуй, можно что угодно с чем угодно — для этого необходима лишь подвижная мозговая машина. Так же как набрать ворох созвучий. Однако если истинно поэтические созвучия уводят нас в беспомысленный мир первого постижения речи, то истинно поэтические сравнения лежат, по-видимому, в иной плоскости, уже опыта и обобщения; но в каком же тогда случае они нас потрясают все той же непостижимостью и как бы сверхсмыслом? Я сказал: «Виноград, как старинная битва, живет, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке...» При каких условиях, если я даже запомнил виноградные усики и когда-то немо поразились ими, они обретают как бы понятность и становятся говорящими от сравнения с битвой, которую ни я, ни поэт в глаза не видели, а видели гравюру (поэт, может, и присматривался к ней с внимательным удовольствием, а я — так вовсе случайно, краем глаза...)? Неужели виноградные усы, и лоза, и листья подчинены тому же закону, какому подчинены кривые сабли всадников, и перья на их шлемах, и изгиб спины и шеи вставшей на дыбы лошади, и круглые облачка дальних выстрелов, и кудрявые облачка в небе, взирающие на битву, и рука художника, гравировавшего все это наоборот на металле, и металл, поддавшийся именно этому движению резца, и восприятие поэта, объединившее эти смыслы, и мое восприятие,— неужели все это подчинено единому закону? Значит, подчинено.

«Просвечивает зелень листьев, как живопись в цветном стекле...» Образ не рассыпается, лишь когда ощутит поэт единый закон в том, что увидел. Тогда нет ни изыска, ни нарочитой оригинальности. Поэт проникает в закон, и чувство восторга, связанное с этим проникновением, оставляет в нем ощущение счастья, которое уже потом называют вдохновением. Творчество проникает в единый закон творения, и тогда наше сознание бывает поражено метафорой, причем вовсе не смелостью, оригинальностью или изысканностью ее, а ощущением единого надо всем замысла.

Мы говорим: «Непостижимо прекрасно»; и мы говорим: «Невероятная свобода»; и еще мы говорим: «Божественно».

#### 4. РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ГРАНИЦЕ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

Размышляя над природой того или иного явления и начиная в какой-то момент этого размышления с окрыляющим самого себя успехом (вдохновением...) продвигаться вглубь, именно в тот момент, когда покажется, что дошел «до самой сути», — тут-то неумолимо и упираешься в стену, податливую и упругую. По инерции, набранной мыслью, даже кажется, что стенка эта вот-вот тебе уступит и ты пройдешь наконец насквозь и до конца. Да и нет ее, этой стены, ни на ощупь, ни на взгляд — она почти прозрачна... Она-то прозрачна, но как бы хрусталик мутится, как бы наплывает туман, как бы не поднимается рука, как бы что-то обнимает тебя, почти ласково, почти нежно, вроде обморока, и ты приходишь в себя у себя, в той же точке, так и не уловив, куда и к кому приходил. Но — запомнив. Запомнив этот ветерок прошедшей под носом тайны.

Таковы размышления над природой поэзии. Зайдя в них в какую бы то ни было глубь, неизбежно ощутишь себя алхимиком, опять не добывшим рецепта золота. Поэтому так заманчиво всякий раз ограничиться прогулкой по вспаханной пограничной полосе между прозой и поэзией или поэзией и прозой (смотря с какой стороны), проверяя уже не то, что ЕСТЬ, а то, чего нет: чего не хватает (в смысле недостает) стихам прозаика или прозе поэта? или почему так называемая «поэтичность» в конечном счете неизбежно ослабит «суровую» прозу, а истинно «суровая» проза не только комплиментарно, но и по праву зовется поэзией? или почему тот самый «прозаизм», за который с открытым лукавством просит извинения Пушкин, овеивает даже гениальную поэзию, как свежий ветер? Как не задохнуться, прочтя (и в первый, и в который раз!):

...Вновь я посетил  
Тот уголок земли, где я провел  
Изгнанником два года незаметных.

Или, уже в следующем веке:

Все чаще я по городу брожу,  
Все чаще вижу смерть — и улыбаюсь  
Улыбкой рассудительной. Ну что же?

Какое торжество интонации! Какая проза! Какая поэзия! Между тем, хотя бы поначалу, пока не обозначился, пока не настоял на себе ритм, проявляя мелодию,

характерную все-таки только для стиха... строки эти без натяжки вытягиваются в прозаическую строку, способную начать прозаическое повествование (как неуместно, однако, выговорить: «рассказ»...). Я взял, конечно, светлые примеры. Именно белый стих, столь редкий в русской поэзии, почти как лакмус, способен обозначить лишь большого поэта. По-видимому, поэзия тут — на самом обрыве, на самом краю поэтической формы, на лезвии качества (того диалектического перехода...), и только настоящий наездник способен не свалиться в пропасть и впрямь — прозы...

Любовь к риску обозначит игрока, победа как оправдание риска — бойца. Торжество поэзии в почти неизменной прозаической форме как-то особенно доказательно, по-новому убедительно, будто Поэзия — это то, что приходится каждый раз снова доказывать как возможность, как право, отстаивать, отвоевывать как родину. Но, может, так оно и есть?

О связи самых что ни на есть «чистых» (в том числе и «тихих») лириков — Тютчева, Фета, Ахматовой... — именно с прозой — философской, психологической... — сказано давно и много. Вот еще виток.

Золотистого меда струя из бутылки текла  
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:  
«Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,  
Мы совсем не скучаем», — и через плечо поглядела.

То ли виток, то ли оборот. Словно изначально «белые» стихи взнузданы позднее пришедшим намерением рифмы. Эти рифмы — по духу белые. Прозаизмы уже в стиле модерн, почти прустовские. Движение остановлено в ретроспективе повествования, как бы отснято не существовавшим в 1917 году «рапидом». «И через плечо поглядела» — как это волнует! — обычный стоп-кадр.

Разговорные интонации, бытовая речь, проза и вот даже кино (предвосхищенное, а потом и усвоенное) — все это, врываясь в поэзию, почему-то не мутит, а делает ее снова прозрачной, очищает. Но в том-то и состоит качественно неотличимая тонкость, что не столько поэзия «заимствует» или «обогащается», сколько о б н о в л я е т с я, отвоеывая себя у себя же, у любого, даже свежайшего, канона, сдувая себя с каждой и только что взятой вершины. В поэтической оригинальности меньше всего претензии и значительно больше необходимости

и даже вынужденности. Вечная поэзия, естественно, не есть поэзия на вечные темы — сама она вечная. Современность ее заключена в том, что эта в е ч н о с т ь становится узнаваемой и сейчас. И лишь потом — всегда. Реальность всегда вырвется из оков только что произнесенных о ней слов, никакая предыдущая форма ей не впору; поэзия — постоянный прорыв к реальности не В, а СКВОЗЬ форму.

В развитие догадки о том, что поэтическая форма не есть венец эволюции речи, что поэтическая речь по природе своей изначально, не наследует, а предшествует речи обыденной, можно теперь сказать, что поэзия, торжествуя в почти совершенном пределе формы, достигая почти абсолютных решений (в пределах, отпущенных или доступных человеку), менее всего форма, она форма менее, чем куда более низкие и как бы непосредственные формы речи, она прежде всего — смысл, именно тот неостановленный смысл, который только и можно именовать смыслом — ж и в о й, то есть смысл всегда возникающий, только рождающийся, не приговоренный формулой, не загнанный в застывший объем формы, а рожденный вместе с формой, лишь повторившей малейшие изгибы живого смысла и не повредившей плода. Какими абсолютными ни казались бы нам впоследствии поэтические решения, в них не было и не могло быть остановки — они лишь след движения, исповедь о приближении к сути, превратившиеся в то же мгновение в воспоминание об этой сути, в след смысла. Я не уверен, что достигнутая именно в таком духовном движении форма не меняется во времени, давно пережив своих создателей (то есть то ли это «чудное мгновенье», что было, или другое, и именно поэтому опять «чудное» и опять «мгновенье»?..). Существование истинной поэзии в формах канона (японская, китайская, восточная...) не противоречит подобным умозаключениям, ибо, в приговоре строфы и рифмы, там с еще большей наглядностью происходят взрывы и сдвиги слов к их то изначальному, то ожившему значению. Взрываясь изнутри, каноническая форма в поэзии, даже в самых лирических, вечных или интимных ее проявлениях, таит в себе все ту же воинственность слова, отличающую поэзию от непоэзии. «И вечный бой!..» — едва ли не больше относятся к поэзии, чем к российской истории, эти блоковские слова. Или они неизбежно, будучи об истории, — и о поэзии. Потому что то, о чем сказано в стро-

ке, относится не только, а иногда и не столько к тому, о чем в стихотворении сказано, но — к самому стиху, к его победному продвижению от строки к строке. Смысл стихотворения как бы поступает в форме, осмысляющей самое себя. Всякие роды и виды технологической рефлексии, кажущиеся столь «модерными», столь принадлежащими именно новому времени (кстати, уровень открытой, обнаженной технологической исповедальности — в отступлениях и комментариях, — достигнутый еще Пушкиным, вряд ли был впоследствии превзойден...), — суть лишь более очевидные и наглядные «признания» поэзии в принадлежности себе. Никакое (всегда обогащенное прозой...) признание в технологии не превзойдет откровенности, раскрытости, распахнутости поэтической формы самой по себе, в каждом своем стихе признающей, что он, стих, именно такой, что именно об этом сказано именно так. И в этом-то и заключена исключительная СМЕЛОСТЬ поэтической формы (вспомним изумление Л. Толстого перед «лирической дерзостью» «добродушного толстого офицера» — Фета<sup>1</sup>). Слова «воинственность», «смелость», «дерзость» и даже все время сдерживаемое (а вот и несдержавшееся) слово «агрессия» проступили в этом прозаическом тексте как бы сами собою, не повинуюсь, а лишь в конечном счете соответствуя авторскому замыслу... Не только поэзия, наиболее активный («воинственный») вид повествовательной речи, но и любая повествовательная форма, любая речь, которая с долей истовости «хочет что-то сказать», обладая от природы неизбежной последовательностью («поступательностью»), приобретает в процессе становления выражаемого или достигаемого смысла непременно наступательное, завоевательское движение и по отношению к аудитории (читателю), но прежде всего по отношению к самому смыслу. Это битва, это война, это бой. Энергия слова — это так или иначе и агрессия в слове — признак слова художественного — воспринимается прежде эмоцией, нежели разумом. Именно потому и воспринимается.

---

<sup>1</sup> Любопытно сопоставить этот комплимент Толстого (1857) с фетовскими эпитетами в адрес Тютчева (1859): «Лирическая деятельность тоже требует... безумной, слепой отваги... рядом с подобной дерзостью в душе поэта... громадна лирическая смелость, — скажу более, — дерзновенная отвага г. Тютчева...» Достоинства лирика — достоинства воина.

Я сказал: «Виноград, как старинная битва, живет,  
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке».

Как это действительно далеко, старинная битва!.. В какой дымчатой, в сколь преломленной перспективе затерялась она... Ее разглядит лишь поэт, наведя свой кристалл, сильнее которого не производила оптика. Лишь он разглядит сквозь слипшиеся линзы веков этот прах и этот пепел. А мы, уже сквозь строку, прослышим этот неявный звон мечей и топот коней, не сразу отличим его от шума собственной крови. Но наша кровь — в жилах, та была — из жил... И какой-то запах — не то озон, не то пыль. Не то озноб, не то наши ноздри раздуваются, как ноздри коня, — неужто то го коня, которого так давно нет? Ближе, ближе... Битва приближается к нам. И это уже не наш собственный звон в ушах, не только наш пульс распирает нас и рвется наружу, будто кровь чувствует приближение раны, — это уже и впрямь снаружи, но не может быть, чтобы воображение завело нас так далеко, что и впрямь там, за соседним леском, воскресла ТА битва. Это еще что-то атмосферное — раскаты, погромыхивания: **ПРИБЛИЖЕНИЕ ГРОЗЫ...**

Ты близко. Ты идешь пешком  
Из города, и тем же шагом  
Займешь обрыв, взмахнешь мешком  
И гром прокаташь по оврагам.

Что-то другое, однако, все это, не только погода...  
«Займешь обрыв...»

Как допетровское ядро,  
(Он лугом пустится вприпрыжку  
И раскидает груды дров  
Слетевшей на сторону крышкой.

Это ядро, будто прилетевшее из мандельштамовской гравюры (безусловно, самостоятельное ядро; думаю, эти два стихотворения ничего не знали друг о друге...), относит нас на максимальное расстояние от столь дачного, пастернаковского опыта с рассыпавшейся поленницей... Время в этой строфе взрывается куда с большим шумом, чем отдаленный грохот грома и приближенный, — некой, наверно, непригодной крышки...

Как внутренний слух был заглушен внешним шумом, так внешний мир снова будет вытесан если уж не воспоминанием, то ассоциацией. Мир внутренний снова отвоюет рубежи у мира внешнего:



Тогда тоска, как оккупант,  
Оцепит даль. Пахнёт окопом.  
Закаплет. Ласточки вскипят.  
Всей купой в сумрак вступит тополь.

Метафора наступает на внешний мир глаголом, возможным действием: оцепит, пахнёт, вступит... Внешний мир отсутствует, становясь фоном происходящего. Ласточки покинули поле боя, и дерево слилось с сумраком, с врагом. Внутреннее с внешним еще раз поменялось местами, окончательно нас опутав. Внешний шум отдалился от шума внутреннего, пробудив ассоциацию с чем-то бывшим, что может повториться сейчас. Время отступило перед пространством, чтобы вновь отступить перед временем:

Слух пронесется по верхам,  
Что, сколько помнят, ты — до шведа,  
И холод въедет в арьергард,  
Скача с передовых разведок.

Противники — внешнее и внутреннее, прошлое и настоящее, пространство и время — почти сошлись в равенстве боя. Время оказалось куда более прошлым, чем память о запахе окопа, чем сам окоп первой мировой; пространство — куда более настоящим, только что шевельнувшим верхушки деревьев, только что пахнувшим холодом. Но так эти категории и не победят друг друга, как и суждено им — соприкоснуться, но не проникать; внутреннее и внешнее, время и пространство разбегутся по изначальным позициям:

Как вдруг, очистивши обрыв,  
Ты с поля повернешь, раздумав,  
И сгинешь, так и не открыв  
Разгадки шлемов и костюмов.

Разыгравшаяся была битва тут же оказалась воспоминанием, воспоминанием даже не о битве, а о видении битвы, тут же переродившемся в видение. «Шлемы и костюмы» оказались почти с той же слабо запомнившейся гравюры, что и у Мандельштама... Мандельштаму она пришла от замершей перед взором средиземноморской картинки, где медленно текшая струя меда остановила время, а буйный изгиб винограда мог быть остановлен лишь резцом гравировщика — остановленное движение, замершее время; Пастернаку — как бы наоборот: через родившееся от внешнего движения время в изначально осуществленном мире, — ожившее время,

прорванное пространство. Но и видение, и видение отступят перед завтрашним днем, всю эту память о памяти в себе заточившем:

А завтра я, нырнув в росу,  
Ногой наткнушь на шар гранаты  
И повесть в комнату внесу,  
Как в оружейную палату.

Замечательное свидетельство рождения замысла, уже прозаического! Видение, оказавшееся предвидением, наткнувшееся на самое себя в окончательно материальной форме, подтвердившей точность душевного умозрения. Граната эта будет, граната эта была! Взаимоотношения внутреннего и внешнего, прошлого и будущего, пространства и времени выведены в итог взаимоотношений поэзии и прозы, замысла и осуществления. Богатейшие оттенки времени во взаимоотношениях множества абстрактных категорий переданы настойчиво одним грамматическим — будущим: повесть есть, но ее нет — она еще может быть написана.

По-английски это было бы отчетливое время — будущее в прошедшем. Future Perfect in the Past, или, в русском приближении, позавчерашнее во вчерашнем, потому что все стихотворение не оставляет сомнения в том, что оно является воспоминанием достаточно глупым.

Куда опять подевались и допетровские, дошведские ядра, где разгадка шлемов и костюмов?.. Где сама битва?

За тишиною непробудной,  
За разливающейся мглой  
Не слышно грома битвы чудной,  
Не видно молнии боевой.

*Блок, 1908*

### Нестерпимое ожидание!

Мне бой знаком — люблю я звук мечей,  
От первых лет поклонник бранной славы,  
Люблю войны кровавые забавы,  
И смерти мысль мила душе моей...

Это стихотворение Блок включает в список своего «маленького Пушкина» («все, что нужно») 21 января 1921 года:

«1820 — „Мне бой знаком...“»

«1821, — пишет далее Блок, — кажется, пустой».

Может, цифра 21, повторенная трижды, его утоми-  
ла... Блок обрывает хронологию списка.

Но вот стихотворение именно 1821 года «Война»:

Покой бежит меня, нет власти над собой,  
И тягостная лень душою овладела...  
Что ж медлит ужас боевой?  
Что ж битва первая еще не закипела?..

До чего блоковские слова! Это уже не просто пере-  
кличка, а диалог.

Нет, нет, нет!..  
Ты не понял...  
То слышится звань,  
Звань к оружию под каждой оконницей.  
Знаю я, нынче ночью идет на Казань  
Емельян со свирепой конницей.  
Сам вчера, от восторга едва дыша...  
За горой в предрассветной мгле  
Видел я...

Чудовищное веселье от приближающейся реаль-  
ности битвы (наконец-то!) видим мы у Есенина. Его со-  
переживание настолько прямодушно и полно, что во-  
прос о времени происходящего как бы уже и не стоит;  
полтора века, разделяющие поэта и его героя, сокраще-  
ны общей страстью. Радость реальности даже в знании  
поражения — какая-то польская музыка речи...

И чтоб бунт наш гремел безысходней,  
Чтоб вконец не сосала тоска,—  
Я сегодня ж пошлю вас, сегодня  
На подмогу его войскам.

Этот переброс, перелет грамматических времен  
у Есенина — как свист будущих и уже прошлых ядер  
одновременно — необыкновенно выразителен...

Вот взвепел, словно сабли о панциря,  
Синий сумрак над ширью равнин.  
Даже рощи  
И те повстанцами  
Подымают хоругви рябин.  
Зреет, зреет веселая сеча.  
Взвует в небо кровавый туман.  
Гулом ядер и свистом картечи  
Будет завтра их крыть Емельян.

Вот где уже не будущее в прошедшем — прошедшее  
в будущем, даруемое грядущим поражением п р о в й-

д е н и е. Герои Есенина провидят смерть, на которую идут.

Мандельштамовская битва — битва вообще, никак не датируется — «старинная»... Намек на гравюру произведен не в строке, а в читательском сознании. Одно лишь это слово «старинная» чуть выдает поэтический секрет: сама битва, в современном словоупотреблении, «старинной» не бывает, старинной может быть лишь книга, картина, гравюра... Пастернак, по сравнению, уже точнее в датировке: оккупант, окоп, передовые разведки — слова, современные для поэта, лексикон «той» войны. И исторический экскурс «датирован»: допетровское ядро, до шведа. Это ДО интригует...

Швед. Петр. Полтава. Пушкин... До Пушкина, что ли?

Горит восток зарею новой.  
Уж на равнине, по холмам  
Грохочут пушки. Дым багровый  
Кругами всходит к небесам  
Навстречу утренним лучам.  
Полки ряды свои сомкнули.  
В кустах рассыпались стрелки.  
Катятся ядра, свищут пули;  
Нависли хладные штыки.  
Сыны любимые победы,  
Сквозь огонь окопов рвутся шведы;  
Волнуясь, конница летит;  
Пехота движется за нею  
И тяжелой твердостью своею  
Ее стремления крепит.  
И битвы поле роковое  
Гремит, пылает здесь...

Здесь! так вот где битва! ни ассоциаций, ни уподоблений, ни воспоминаний, ни гравюр — одно движение. Время — настоящее; ничего старинного — «зарею новой» (хотя автора от битвы тоже отделяют каких-нибудь сто двадцать лет); «кудрявость» будущей гравюры: «дым багровый кругами всходит», «волнуясь, конница летит». Нерасторжимо участие пейзажа в битве: равнина, холмы, кусты, поле — работают. Жатва — битва («как пахарь, битва отдыхает»). Указание Пастернака — до Петра, до шведа — остается непонятным, настолько точно его «приближение грозы» опирается всеми своими реалиями битвы на «Полтаву», которую мы зубрили настолько наизусть (как в школе, так и в гимназии), что на многие годы оказывались отлучены от ее поэзии.

Пушкин! Откуда эта сила ничего не припоминать и ни с чем не сравнивать, а правомерно участвовать в описываемом событии? Гений, да. Но не только. Петр! Да, да и да. Соотношение с Петром, и сила Петра, и дух Петра, и гений Петра — чуть ли не единственный равноправный ретроспективный адрес для Пушкина после 1825 года. Пушкин мог ощущать Петра как себя (по крайней мере... а то и — себя как Петра...). Но и не только Петр...

Воспользуемся указанием Пастернака (хотя и не пойдем его в точности...): ДО Петра, ДО шведа...

А что там было-то ДО?..

Та решительная пропасть в рядовом современном читательском сознании (или даже не в рядовом, а естественном, воспринимающем литературу «по мере поступления», а также по мере доступности и увлекательности, необязательно сюжетной), которая проходит между Пушкиным и предшествовавшей ему литературой, может означать не одно лишь качество, именно в Пушкине нашей литературой впервые достигнутое. Такая же пропасть «непрочувствованности», доходящая до незнакомства, проходит в том же «рядовом» (не раздвинутом специальным изучением) восприятии и в представлении исторических эпох. ДО Петра и ПОСЛЕ Петра, ДО Пушкина и ПОСЛЕ Пушкина — есть не только и не столько более далекое и более близкое, сколько качественный разрыв между НАМИ и ДО нас. И хотя специальное изучение и перекинет мостки над как бы неправомерной пропастью, все-таки оно восполнит и поправит лишь наше невежество, но не восприятие. Хотя насильное чтение от Ломоносова до Державина может привести не только к восполнению незнания, но и к любви, но и к вчувствованию, оно, это изучение, вплоть до погружения, так и не соединит Пушкина с предшествующей литературой. И Батюшкова, и даже Крылова, которого и сам Пушкин ставил себе в учителя, не хватит нам для преодоления пресловутого барьера, воздвигнутого, как окажется, не одним нашим незнанием. Академическая невозможность прибавить к Крылову хотя бы Баркова (тоже признанного самим Александром Сергеевичем в качестве «учителя») — существенный пробел в желаемой непрерывности и преемственности развития, но и он, буде мог быть восполнен, не оказался бы последней недостающей ступенью. И вот вполне могло бы показаться, что не предшествование

державинского гения, а восполнение куда более древних и глубоких разрывов в истории русской литературы определило самую возможность появления Пушкина, возмущив в неведомых и таинственных национальных недрах саму необходимость его рождения... Боязно вторгаться в область специальную и требующую знаний, значительно превышающих авторские... но хотелось бы как-то оправдать и осмыслить именно под рождение Пушкина пододвинутое движением совсем не туда смотревшего российского просвещения, вовсе не подогретое и не подготовленное общественным или национальным интересом — «открытие» русской летописи. Совсем в другом смысле предстанет нам пушкинский пиекет к Карамзину, не только в патриотически-историческом, а в л и т е р а т у р н о м, если реально представить, что Пушкин и Писание-то знал не по-русски и не по-древнерусски, а по-церковнославянски, что пропасть между языком Пушкина и русской летописью не столь глубока и не столь качественна, как пропасть между речью пушкинской и державинской.

«А храмы божиа разориша, и во святых олтарех много крови пролнаша. И не оста во граде ни единъ живых: вси равно умроша и едину чашу смертную пиша. Нѣсть бо ту ни стонюща, ни плачюща и ни отцу и матери о чадах, или чадом о отци и о матери, ни брату о брати, ни ближнему роду, но вси вкупѣ мертви лежаща. И сиа вся наиде грех ради наших».

«Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью...

А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство божие в воздухе...»

Очевидец... Впечатление и слово пересеклись в нашем ряду. Ряд наш расходился из этой точки, чтобы через шесть веков вновь пересечься найти те же слова:

Переправа, переправа!

Бой идет святой и правый.

«Лежаща на земле пуге, на травѣ ковыле, снѣгом и ледом померзоше, ни ким берегом. От зверей телеса их снѣдаема, и от множества птиц разѣстѣрзаемо. Всѣ

бо лежаша, купно умроша, едину чашу пиша смерт-ную».

Что это? Как это? Неужель мы разбиты?  
Сумрак голодной волчицей выбежал кровь зари лакать.  
О эта ночь! Как могильные плиты,  
По небу тянутся каменные облака.  
Выйдешь в поле, зовешь, зовешь.  
Кличешь старую рать, что легла под Сарептой.  
И глядишь и не видишь — то ли зыбится рожь,  
То ли желтые полчища...  
Нет, нет, это не август, когда осыпаются овсы...  
Мертвые, мертвые, посмотрите...  
Сорок тысяч нас было, сорок тысяч,  
И все сорок тысяч за Волгой легли, как один.

Единую чашу... Традиционное уподобление битвы пиру так или иначе проходит через все наши примеры: и чаепитие с медом у Мандельштама, и пастернаковское письменное застолье... Пушкин — сам пир и битва, Блок — с его последней связью культуры и поступка: «И вечный бой!..» — волосок этой связи перегорит под немислимым напряжением в «Двенадцати»; Есенин, в котором, в год смерти Блока, история неразделима на настоящее и прошедшее: вся — сегодня, — что Пугачев, что Революция. Время, однако, работает, время не п е р е ж и в е ш ь, оно приведет поэта к непосредственному участию. С летописной точностью зафиксировала это движение Ахматова в 1936 году: «А в комнате опального поэта дежурят страх и Муза в свой черед» Не постичь, насколько знанием, насколько прозрением спланились в этом ее стихотворении «битвы»: 1908 год Блока, 1917-й — Мандельштама, 1927-й Пастернака, в единую летопись.

А над Петром воронежским вороны,  
Да тополя, и свод светло-зеленый,  
Размытый, мутный в солнечной пыли,  
И Куликовской битвой веют склоны  
Могучей, победительной земли.  
И тополя, как сдвинутые чаши.

Промелькнувшие перед нами описания, воспоминания, метафорические намеки на битву 1821, 1828, 1908, 1917, 1921, 1927, 1936, 1942 годов и поэтов, приняв отсчет от XIII века, можно характеризовать не эпохой, не степенью гениальности и не поэтической школой, а степенью участия повествователя в описываемом событии. И если по границам нашего ряда такое

участие является прямым, непосредственным, без преувеличения — летописным, то лишь пушкинское восчувствование возводит поэзию в степень прямого участия; блоковский патриотический такт лишь в конце пути позволит ему перейти из восчувствования в изображение («Доспех тяжел, как перед боем»); мандельштамовская культурная точность определяет параметры и возможности такого восчувствования как реальности; есенинское самоубийственное стирание исторических границ и пастернаковская реальность чувств проектирует сегодняшнее в вечность, а вечность — на сегодня; ахматовская реальность — это пророчество, сбывающееся на глазах... А сегодня как сегодня и сейчас как сейчас возникнут лишь в Великую Отечественную, возвысив поэта до летописца и низвергнув его в ту же бездну.

Отечественная история для русского поэта, от Пушкина до Блока, нечто значительно большее, чем поэтическая традиция: история сближена с судьбой. Однако прямой отклик поэта на современную ему историю в великой поэзии встречается достаточно редко и обходится поэту слишком дорого, вплоть до гибели (если не физической, то репутации)... Доведя свой список «маленького Пушкина» до 1821 года, Блок начинает с конца, с 1836-го, и, вспять, доводит его до 1831-го: «Клеветникам России» — последняя запись Блока в этом списке.

«Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть.

Я имею привычку на своих бумагах выставлять год и число. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. — Бывают странные сближения» (Пушкин, 1830).

«Случаются повторения в истории», — запишет Блок в 1918-м по поводу критики «Скифов», сравнивающей их с «Клеветниками России»...

Наверно, теории доступно классифицировать летописное повествование, расположив его ближе к прозе, или ближе к поэзии, или проведя по нему петляющую границу, — мне кажется, в этом нет настоящей необходимости. Прямое участие делает повествователя автором ТЕКСТА до такой степени надличного, что и неоспоримо принадлежащего к национальной культуре. В последующем же развитии художественной литературы необходимость проводить черту между прозой и поэзией связана не с участием, а с авторством, индивидуальным творчеством, убедительность которого



обеспечивается достижением в слове сверхиндивидуального смысла. Поэтому граница, или полоса, или поле, пролегающие в определении прозы и поэзии, есть наиболее отчетливая область, наиболее очевидное пространство, на котором и разыгрывается битва слова за точный смысл. Приведенные примеры описания битв, взятые с самой поверхности читательского восприятия, опять не приблизив нас к разгадке «тайны» поэтического слова, подходят, однако, для иллюстрации наиболее проникновенного эффекта поэзии — помимо вольного признания слова в том, что с ним самим происходит.

Битва слов! Значений бой!

## 5. ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

Если вы спрашиваете, то совершаете ошибку, а если не спрашиваете, то поступаете вопреки.

Общая договоренность между людьми не посягать на недоговоренность гораздо выше в процентах желаний договориться. В этом, собственно, и заключен главный договор, сговор. Мне совсем неинтересно в данном случае намекать на тему «что можно, а что нельзя», на то, «что все знают, а молчат». Людям, которые так думают, только разреши то, о чем они знают, как они не смогут. По-настоящему-то люди не знают — только одно: что забыли.

Я говорю об иной общей договоренности, так сказать, методологии общей жизни. Муж и жена, ученик и учитель, ребенок и взрослый, начальник и подчиненный, читатель и писатель — все они всегда будут молчать о чем-то прекрасно известном им обоим. Они прежде всего будут молчать вот о чем: о том, что они мужчина и женщина, ученик и учитель и т. д. Они будут молчать о с в о е м п о л о ж е н и и. Они будут молчать о том, что он знает о том, что тот о нем знает, и знает, что молчит-то тот именно об этом.

Писатель молчит о том, что он знает, что знает о нем читатель. Например, что читатель знает, что пишет-то он (писатель) плохо. Читатель молчит о том, что знает, что писатель знает об этом. Кажется, этот сговор называется авторским самолюбием. Так.

Хотел ведь начать более нежно, издалека, окольно... Но вместо ухаживания вышло насилие. Не предполагай, значит, там, где нет.

Я хотел начать как бы с самой жизни и в ней выявить природный сюжет, ниточку, чтобы потом перейти к литературе как некому частному ее (жизни) подобию, соответственно обнаружив и тут тот же сюжет.

Сюжет такой: я, ты, он, она, они. Мы. Все мы разные люди. Так. Живем. Живя, обнаруживаем разнообразие характеров, программ, целей и средств. Испытываем множество подходов к задаче жизни и, развиваясь в этой разности подходов, обнаруживаем несходство меж собой все более разительное. Один суетлив, другой удачлив, один деятелен, другой празден, один необщителен, другой легкомыслен, один верен, другой уступчив, жаден и бескорыстен, расточителен и расчетлив, щедр и зол, любопытен и замкнут, вспыльчив и коварен и т. д. до бесконечности — один и другой. Сначала врожденные данные, потом черты характера и среды, потом те самые жена, сослуживец, сосед, что окружили тебя, — разные люди. Никто, как говорится, не хочет себе зла. Все начинают как-то сообразовываться с возможностями, окружением, даже самими собой. Люди привыкают к себе, и их черты становятся уже способом жить, очерчивая каждому образ жизни. Даже такие черты, как серость, подлость, жалкость, слабость, вялость, пьянство, развратность — казалось бы, лишние, обременяющие, удручающие, от которых бы лишь избавиться, — становятся, со временем, не только неискоренимыми недостатками, но — качествами, годными к эксплуатации, то есть способом жить, даже ловким и удобным обладателю способом. Все эти люди у с т р о и л и с ь жить так, как они живут и какие есть, мирятся и ж и в у т с с о б о й даже со сноровкой, ловкостью, удобством и мастерством, по-своему удовлетворяя жизнь и довольствуясь жизнью. Есть своя грация и у неуклюжего, ловкость рук у безрукого и т. д. Приспособление к себе, потом приспособление себя...

И вот вам результат. Тринадцать негрятят. Один из них утоп. Ему купили гроб.

В редакцию пришло письмо. «Уважаемая редакция! Меня интересует один вопрос. Даже два. Потому что второй вопрос, почему мне никто не может ответить на первый. Вопрос такой: почему в прошлом веке были гении, а сейчас нет? и почему хорошие наши писатели так

мало написали? не только хуже, чем гении, но и меньше? почему даже плохие писатели, которые пишут как попало, не могут написать столько же, сколько написал гений? Все это мне кажется одним вопросом... Когда я его задаю, все мне отвечают одним и тем же: «Но ведь это же всем известно». «Но я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь, кроме меня, задавал подобный вопрос», — говорю я. «Потому и не задают, что нечего и задавать, раз всем известно», — отвечают мне. Тогда я говорю: «Что известно??» Тут меня обычно посылают. И тогда возникает даже третий вопрос: почему, если это всем известно, никто никогда никому не объясняет этого в первый раз? Извините, пожалуйста. Жду ответа. И. И. Иванов из Козлова».

— Как соловей лета... — хмыкнул сотрудник. Он зачитал письмо вслух, и все посмеялись наивности автора.

— Чего только не пишут...

— Дурачок какой-то...

— Просто дурак.

— Почему же дурак?! — обиделся я. Обиделся, прежде чем понял, почему обиделся.

А обиделся я вот почему: потому что сам много лет был таким дураком, никому не задавал этого вопроса: инстинктивно, может, знал, что мне на это скажут так, что обидно будет. Я очень обидчив тогда был.

Я задавал себе этот вопрос чуть ли не прежде, чем сам начал читать, а именно, почему слово «великий» и слово «гений» употребляются по отношению только к мертвым и даже давно мертвым. Это было такое детское кладбищенское слово — «гений» — для обозначения того времени, когда меня не было. Это, правда, чуть другой вопрос, чем в письме Иванова, но я, кажется, даже и тогда его не задал, когда меня просто потрепали бы по головке, ласково улыбнувшись: «Философ ты мой...» И вот, когда его не задал в столь нежном еще возрасте, с этого самого момента я уже з н а л, что в мое время гениев и великих не бывает, как не бывает волшебников, или Змея Горыныча, или Бабы Яги. Как нет Бога... (Про Бога не совсем так: по-детски, как боятся темноты, приблизительно так я не был про себя в этом уверен, но — тоже не признавался...) А потом, начав читать, проходя в школе, я задавал себе все те же вопросы, что и Иванов, с той разницей, что не задавал их другим. Пожалуй, лишь сам взявшись за перо, перестал его приравнивать — на себя легко ли?.. И вот, когда со-

трудник зачитал его письмо для общего смеха — уж так меня перенесло во времени в давно забытое, что я почувствовал запах тряпки, которой с доски стирают... защемило, зажмурилось во мне от стремительности перелета... и я был там, когда вдруг услышал смех этих больших, незнакомых дядей надо мной и обнаружил, что я совсем не в классе.

— Почему же дурак?! — обиделся я, и тут вдруг какой-то большой необлазанный чулан моей головы... вроде бы я удивился, что никогда этой дверцы не видел, столько лет тут у себя (в голове) живу, вот на тебе, под носом, не замечал... какая-то идея цвета подлинности выскользнула оттуда, как змея, и ускользнула, но я еще надеялся... Они на меня смотрели с удивлением.

— Дурак-то дурак, да Иван-дурак, — как-то, с сожалением провожая взглядом ускользящую идею, глупо сказал я, рискуя прослыть славянофилом.

Тут я им немножко рассказал свои вмиг побледневшие и потускневшие ассоциации, и со всеми произошел задумчивый вид, из уважения ко мне.

— Кто же позволит на это правду ответить? — сказал сотрудник тем сочувственным, взаимноизвестным голосом насчет общего зла, про которое здесь (в комнате) все знают и которому не принадлежат лишь потому, что страдают от него.

— Кто ж это не позволит? — стал заедаться я.

— Никто не позволит.

— Ты не позволишь?

— Я-то позволю, да от меня-то, ты сам знаешь, ни чего не зависит...

— А понять ее — от тебя зависит??? злился я.

Кого?..

Правду! О чем же мы говорим... махнул я рукой.

Так ее ж все знают!

Приехали, сказал я. — Прочитай письмо Иванова!

В общем, я неприлично разозлился. Наверно, больше на себя, что завел весь этот совершенно бесполезный разговор. Задел зря милых, ни в чем не повинных людей... Стоп! Какое же это крошечное неуважение к человеку считать его неповинным!

Разозлился я, конечно, на себя, но это — одной, обидной злостью, другой же — подлинной — был я зол именно на то, с чего начал, на сговор. Над чем им стало

смешно, читая письмо? Им стало смешно, чтобы не нарушить договор о недоговоренности — сговор. Почему они похолодели, насторожились ко мне, когда я стал отстаивать? Потому что я нарушил еще один сговор — профессионального взаимопонимания насчет «можно и нельзя». Почему я вел себя неприлично в их глазах, тем более даже сам чувствовал, что веду себя невоспитанно, безвкусно, провинциально? Потому что я ничем не лучше их, чтобы иметь право на это. На что на это? На нарушение.

Так уходил я, опозоренный, неприличный, сам себе противный, по лестнице, и каждая ступень была словом, которое я не сказал им.

— Правду-то как раз и можно. Правда — ведь это не то, что можно или нельзя. Правда — это то, что есть. Вы думаете, что правда — это противоположное тому, что разрешено. Может, и плохо, что противоположное тому, что разрешено, — запрещено. Так оно будет однажды разрешено. И исчезнет в качестве правды для вас. Запрещенное и разрешенное, в том, противостоящем-то смысле, — одно и то же, единство. Вы не сможете их разъединить: запрещенное сразу разрешится пустотой. Допустим, разрешенное — бедно, мало, лживо, так ведь и противоположное ему будет правдиво лишь настолько, насколько ложно разрешенное, но так же бедно и мало, как оно. Это, товарищи, слишком легкий способ ориентации в мире. Ложное и противоположное чувствуете язык?.. Все это вы от лени, чтобы не подумать ни разу, не напрягаться... Мир как-то побольше этого будет, товарищи!

Столько было ступенек, сколько здесь слов.

«Не читатель должен бы задавать себе такой вопрос, а писатель хоть раз себе самому его хотя бы поставить, не то что ответить... — подумал я, выйдя на свежий воздух. — Не так уж он прост, Иванов, и его вопрос. Стихи получаются, басня...»

Где-нибудь, может, и пишут много. Хоть я в этом и не уверен. Я не хочу сказать ничего плохого о нашем времени, но что-то, по-видимому, случилось с ним самим в наше время. Что-то случилось с физическим временем. Его требуется все больше, спрос, так сказать, на время растет, помещается же в него все меньше, оно су дорожно сжалось, туда не лезет. Воспроизводство вре

мени не налажено, и мы встаем в невыгодное положение, наблюдая личные достижения на фоне происходящих огромностей мира. По-видимому, во времени движется либо мир, либо личность. В идиллические времена, от которых нас отделяет менее сотни лет, масштабы личностей и измеряли собою время, прорывая и подвигая его. Сейчас бы не отстать... но не от кого-нибудь — тщеславие захлебывается — от чего-нибудь. Именно наш высокопроизводительный, казалось бы, век оказывает сопротивление производительности индивидуального художника. Чудесное понятие ремесла исчезло, уступив понятию профессии, не выдержало «высоких» профессиональных требований. Если из вещей исчезла душа, уступив в лучшем случае функциональному удобству, то то же грозит слову — профессиональная литература.

В ссылке на «время» есть, конечно, нечто непорядочное. Нетребовательное, ленивое, попустительское. Слишком легкое. Слишком легко на него сослаться: нет времени или такое время... И этого не стоит позволять себе. Но ты не можешь упрекнуть в этом всех. Все никогда не бывают виноваты. И что-то объективное в такой ссылке, если она не служит самооправданием, таки есть.

Каждый писатель, ответственный в слове, наверно, знает этот потрясающий эффект уменьшения приложении написанного в книгу: писал, писал, еще писал — все звучало и было крупно по отдельности, — и вот сложил — мало. Я вглядываюсь в этажи книжных полок. Вот этаж однотомников, томиков — это мои современники, и все неплохие. Десять лет пишет — однотомник, и двадцать лет — тоже однотомник. Двухтомник — на склоне дней, и то второй вполовину первого. Конечно, не все включил — понятно. Ответственно отнесся.

Исчезло рыхлое многотомье. Писем мы друг другу не пишем. Дневники пишут подозрительные люди. Практически нечем будет заполнять последние тома. Сумма современных однотомников равна одному собранию сочинений — значит, и вместе не много.

Начинаю про них думать в отдельности: этот известно, что пьяница, губит свой талант и мало работает; этот слишком тщателен, слишком работает над словом, поэтому мало; этот, прелесть, просто лентяй; но про этого то точно известно, как много он работает, не пьет, не курит, бегаёт каждый день и зарядку делает и каждый

день пишет — опять одноклассник. Что за эффект такой, думаю? Что-то тут зарыто.

Ну, все мы сообща делаем большое общее дело, большой отряд — одну общую литературу. Но вот что и любопытно: что чувство Общего Дела как раз и исчезает при массовости его. Зачем нам писать другу письма? О чем? Мы так скажем.

Так мало писали разве разночинцы. Помяловский хорошо встает к нам на полку. Конечно, контейнер, который надо отвести под Толстого, страшен в качестве современного примера. Но вот и Гончаров — известный был лодырь, и Куприн. Пьяницы были тоже не редкость.

Написать не хуже, написать лучше, показать кому-то пример. И пройти. Вот эффект одноклассника... Конечно, все упирается в качество. Говоря об одноклассниках, я имею в виду только отличное качество. Отличное качество — уже производственный принцип. Ведь как часто, в таком-то смысле, те великие писали плохо. Не в этом было дело. Допускали небрежность. Немножко морщились — и допускали. Не до того — еще следующее не поспело.

Можно, конечно, сказать, что они были не только великие таланты, но и великие труженики, вот что в трудолюбии мы им уступаем, если уже не в таланте. Но если только предложить современному лучшему выполнить хотя бы объем работы прежнего лучшего, то он, как машина, должен писать с утра до вечера, отказывая себе во всем, однако не уверен, что справится.

Вряд ли они и (назовем их ревниво «они») отказывали, однако, себе в жизни. То и прекрасно в их литературе, что она и трудом-то не была. Ни в чем они себе не отказывали-то — легенда средней школы. У них, кстати, к тому было больше возможностей. Мы от своих-то возможностей отказаться не в силах, не то что от их. Люди всегда люди. И даже тем более. Так вот и следует сказать, что они это написали между прочим, в самой своей жизни, внутри нее, а не между жизнью. Жизнь у них еще не делилась на жизнь и работу. Поэтому и много.

И в этом существенное превосходство количества перед работой над словом. Если уж такие слова «количество» и «качество», то, рассуждая даже диалектически, не может быть самостоятельного качества на фоне отсутствующего количества — нечему перерастать.

Если нет количества, это будет подскакивание, а не скачок. Вечное упражнение со скакалкой, раздевалка и душ — и ни одного боя.

В этом сравнении меня слишком мало интересует упрек своему времени — он глуп. Время и время. Было их, стало наше. Меня не интересует эта пошлость — упрек, меня интересует у р о к.

Поскольку те же «они» отнюдь не отказывали себе «в жизни» по сравнению с нами и даже, наоборот, обнаружили свойственную русской душе ширь (будем считать, что она была), то дело заключается в том, что у них было больше времени, чем у нас. У них было время. У нас его нет. Что-то нам постоянно, раздражительно мешает, повергая нас в сослагательное наклонение. Нравственный человек должен сказать себе, что он сам прежде всего мешает себе — это его способ. Безнравственный упрекнет кого-нибудь. Глупый упрекнет что-то. Но дело-то в том, что нам в с е мешает. У нас нет времени писать. Мы не мало пишем. Это подвиг — сколько мы написали, по сравнению с ними, исписавшими десятки томов. Это и отказ от жизни, и воля к победе, и качества бойца — весь набор. Нет, мы не мало пишем. Мы пишем даже больше, чем можем. Мы н е м о ж е м писать. В этом дело. У них было время писать, и они могли. У нас его нет, и мы не можем.

И не надо. В искусстве не ценен ни труд, ни подвиг. Это ценно в человеке. И никогда не бесследно, даже если он ни строки не напишет. Мы понукаем и понуждаем себя оттого, что неправильно понимаем задачу. Нас давили блистательные образцы. Но мы никогда не сможем, как они. Потому что они — это они, а мы — это мы. Мы хотим научиться, а надо б ы т ь. Вот и вся задача. Б ы т ь. Позволили ли мы для начала себе это? Потому что без этого, справедливо, нельзя, незачем, празднично и темно брать перо в руки. Надо попробовать осуществить те ценности, которые мы хотим на бумаге, в себе. То, что у нас не получается на бумаге, то, чего и нет, немудрено. В том, что не получается, и заключен урок времени. Но мы не хотим его усвоить.

Итак, для тех, кто меня неправильно понял, я заявляю: во всех и всяческих обстоятельствах я снимаю упрек с нашего времени. Это глупо — упрекать там, где надо понять. Нет правильного пути в неправильных обстоятельствах. Обстоятельства всегда правильны — это те, которые даны. Есть неправильный путь. Он всегда



доставляет страдание сознанию. У нас нет времени тогда, когда мы в нем не живем.

Время само по себе, мы сами по себе. Время не пошито. Писать же — совсем необязательно. Никто не заставляет. Не можешь — не пиши. Что-то есть поважнее, что тем временем неотвратно, необратимо проходит, пока ты занят тем, что не пишешь. Не пишешь потому, что тот, кто пишет, отсутствует.

Остановился. Перечитал. Такие решительные слова что-то между ними просыпалось. Недолет — перелет. Что-то есть даже в том, что цель находится между ними.

Магнитная сила слова несколько выше моей. Оно меня перетягивает, но — боже! — как бы неправильно оно (слово) стояло, если бы я сдюжился и подтянул его к себе... Право, я кое-чего не знал из того, что здесь написано. Например, того, что не мочь — это и значит немочь. Очень, казалось бы, просто.

Лучшие — глупое слово! Лучших не существует — просто те, кто из множества были, написали немного, скажем, по книге. Они сделали все, что могли. Человек не может сделать того, чего не может. Они сделали столько, сколько успели, сколько у них было времени во времени, сколько они и время были одним. Я хочу поговорить о качестве их молчания в остальное время, ибо прежде всего туда поместилась их жизнь. Это молчание — не бессмысленно, это-то как раз и есть та огромная работа времени с нами, над нами, школа его. В этом молчании заключено много больше для будущего, чем в том, что можно подержать и полистать. Только идиот может считать его непроизводительным. Или, как еще говорят, пропущены. Чего же вы такое пропустили?

Как раз и не пропустили, а помолчали (не «про», а «по»!).

Невежество — это отнюдь не недостаточные знания, а недостаточное отношение к Знанию. Так, именно XX век — невежествен. Это то невежество, что подкрадывается и к тем, теперь редким, людям, что знают греческий и латынь и Канта с Контом читали. Они теперь — «специалисты». Что как-то можно воспользоваться знанием, кроме как для развития души, — вот ход невежды. Что оно — для чего-то, применимо, полезное и бесполезное знание... и т. д. Начинаются рецепты, советы, рекомендации... Даже Толстой нет-нет,

а вдруг скажет в XX веке что-нибудь «под Хемингуэя» о том, как следует, а как не следует писать. Его уже, незаметно, Чехов заразил. Подселили. А мы, по отсутствию опыта в ИХ пространстве, приняли — за равного, приняли — за жизнь, стали извлекать урок из чуждого... началось обучение на дурном примере, распространенная форма современного просвещения. Карамзин, навещающий Канта, которого никогда не читал, выписывающий под его диктовку на специальную карточку названия его трудов с тем, чтобы не забыть и почитать их потом, — гораздо просвещеннее современного поклонника, создавшего фетиш и добивающегося приобщения себя к кумиру, хоть бы он и наизусть усвоил какого-нибудь свеженького Канта.

Не следует путать соображения с мыслью, просвещенность с образованием, опытность с опытом, мастерство с умелостью, творчество с работой, причины со следствием, природу с Богом, Бога с нравственностью, нравственность с принципами, принципы с правилами, правила со способами, способы со средствами, средства с целью, ибо нравственность — и есть цель... Да поможет нам Бог освободиться лишь от того, от чего следует освободиться! Невежда освобождается всегда не от того... Даже если он страдает высшими прогрессивными побуждениями. Ноты — все-таки больше музыка, чем музыкальный инструмент, хотя звучать-то может именно он, а не лист партитуры. Человек неграмотный, но просвещенный, может, не разъяснит вам некоторых из этих, будто бы филологических, тонкостей, зато никогда не перепутает их в практике жизни. Быть просвещенным и быть нравственным — синонимы.

Писать надо молча.

Это все мне, право, трудно говорить. Я хочу окружить молчание говорливым потоком, с тем чтобы оно обозначилось бурунчиком над подводным камнем. Я хочу сказать о молчании словами. Задача папоминает желание упасть в обморок. Обморок слова. Не падается.

Но равно невозможно не упасть в обморок, когда уже падаешь в него. Не тогда человек отваливается от письменного стола, когда написал, что хотел, а когда дошел наконец, через столько слов, до цели и не в силах выдержать ее. На пределе возможностей — опять невозможность.

*Памяти Юрия Казакова*

Эпитет либо отличает, либо обозначает; если один и тот же эпитет и обозначает, и отличает, ему трудно работать. Обозначив (а не отличив) эпитетом «художественный, -ая, -ое» слишком обширные области человеческой деятельности: ...промысел, ...литература, ...кино, определив по признаку, мы теряемся в определении по качеству и выдвигаем категорию художественности уже в противовес — как редкое свойство редких явлений внутри всей этой деятельности. Но если одним и тем же словом мы определяем и профессию, и ее уровень, и изделия, и их качество, то приходим неизбежно к их неразличению. «...Захочет наказать — отнимет разум». Или, как говаривал один игрок на ход противника: «Без понятия». Если хорошие сапоги тачает хороший сапожник, то и хорошие книги пишет хороший писатель. Но если художественностью, то чем тогда хороши сапоги — сапожностью?.. И кто делает, и кто носит все остальное? Писатель по природе кустарь, и сравнение с сапожником ему не претит.

Слова «художественный» и «художественность» будто утратили общий корень в современном словоупотреблении — не то омонимы, не то антонимы: одинаково звучат и противоположно значат. Мы не обходимся без интонирования, без подчеркивания, без ударения на слове, чтобы быть правильно понятыми: «художественностью» обладает лишь «по-настоящему художественное», «истинно художественное», «подлинно художественное» и вот даже «высокохудожественное», подразумевающее в противовес «низкохудожественное», что уже абсурд, как «высоковысокое» и «низковысокое».

Произносим — и не слышим. Язык же свое возьмет, обозначив противоречие. Не только самое высокое, но и самое низкое объемлется одним словом, дискредитируя понятие вплоть до оскорбления: «художества...», «художник...» — от слова «худо».

Это так просто, что вопиет. Это моление о критерии в современной речи, которую не по корням, а по смыслу разорило современное расширенное воспроизводство

ценностей (как английских ткачей — станки), порожденное промышленным подходом к ценностям духовным (как разорение почвы, лесов и недр). А критерий, ускользнув, недоказуемый, неуловленный (не столько неуловимый, сколько упущенный), выступает мстителем, покрыв собою совсем иные предметы — не сапоги, чтобы носить, не хлеб, чтобы есть, не воздух, чтобы дышать: некоторое количество переплетенной бумаги, строчек, слов и запятых, обозначенных как товар лишь в подзаголовке — роман, повести или рассказы — «художественное».

Мы пытаемся разобраться в потоке, чтобы выбрать (чем прекрасно отличается литература от сапог, от любовью «материи», что она — доступна, что ее необязательно «иметь» как «носить», ее достаточно прочесть). И мы выбираем то, что обладает «художественностью». Художественно, мол, разное: что с художественностью, а что — без. И тут нам опять трудно доказать и трудно с нами согласиться. Чем докажете? По какому праву проводите столь решительную дискриминацию? Ах, по чувству, по вкусу, по чутью?.. А я что, волк? Да плевал я на вашу художественность; было бы занимательно или злободневно... или: ПРАВДУ давай, а не художество.

Правда — да. Без правды нет художественности. А без художественности бывает правда?.. Знаменито рассуждение Достоевского про правду жизни и лирику: что, если кто-либо во время лиссабонского землетрясения написал бы «шепот, робкое дыханье...», его бы линчевали, а через сто лет поставили памятник. Но растерзай тогда Фета (его португальское подобие), не только поэта бы не было... со временем могло бы пропасть и само землетрясение, потому что пропала бы возможность описывать и помнить. Память народная... Про «шепот» ведь тоже правда. Рождается понятие «художественной правды». Художественность ее признак.

Она признак каждого настоящего произведения, но почему-то каждый раз одного. Не могут одной и той же художественностью обладать сразу несколько вещей всякий раз мы натываемся на то, что говорим про разное в каждом случае. Что у одного длинно у другого кратко, что у одного подробно другой просто не заметил. Одно и то же качество повествования: медлительность, орнаментальность, сухость, пышность, легкость

и тяжесть и т. д. и т. п. — прекрасно в одном и непригодно в другом.

Художественность — есть общий признак лишь ни в чем не сходных единиц, а уникальность — не может быть общим признаком. Однако именно уникальность произведений, обладающих художественностью, и создает, в сумме уникамов, одно целое художественной культуры эпохи или народа.

Одним из признаков той уникальности, которую мы называем художественностью, для меня как пишущего является непонимание, как это «сделано». Причем непонимание это сродни восторгу: оно не раздражает, а утверждает. Не понимаю я, скажем, как писали Платонов или Зощенко, и, кажется (и слава богу), не пойму уже. И поближе ко мне — не понимаю, как написаны «Хранитель древностей», или «Привычное дело», или... но — стоп! — сколько бы я ни набирал современный ряд, он станет лишь более спорен. А вот что окончательно и навсегда непонятно: как это у наших классиков выходило... От Пушкина до Блока — все, непонятно как. Как можно было «Медный всадник»!.. Ума не приложу.

На берегу варяжских волн // Стоял, глубокой думы  
полн, // Великий Петр. Пред ним катилась // Уединенная  
(река?).

Однажды близ пустынных волн // Стоял, задумавшись  
глубоко, // Великий муж. Пред ним широко  
// Неслась пустынная Нева.

Однажды близ балтий(ских) волн // Стоял, задумавшись  
глубоко, // Великий царь. Пред ним широко  
// Текла пустынная Нева // (и в море) Челнок рыба-  
чий одиноко.

На берегу пустынных волн // Стоял, задумавшись  
глубоко, // Великий царь. Пред ним широко // (Нес-  
лась Нева). Текла Нева — Смиранный челн // На ней  
качался одиноко<sup>1</sup>.

«...По ней стремился одиноко...»

Что за удивительная ощупь! Нет, это не поиски слова. Это извлечение из... Откуда? Из чего-то сплошного, что представляло поэту. Ни одно слово не совпадает

---

<sup>1</sup> Черновики цитируются по изд.: Пушкин А. С. Медный всадник. Л.: Наука, 1978 (Лит. памятники).

в первом варианте первой строфы с конечным вариантом. Кроме разве точки посреди третьей строки, вокруг которой, как вокруг оси, и крутится водоворот вариантов. До чего же похоже на саму воду, на саму Неву!..

Еще потоптался:

Сосновый лес (по) берегам // В болоте — бор сосновый

Тянулся лес по берегам, // Недосягаемый для солнца  
И вдруг пошло! Как по писаному...

Чернели избы здесь и там,  
Приют убогого чухонца,  
Да лес, неведомый лучам  
В тумане спрятанного солнца...

Поэма как бы и не пишется — она п р о с т у п а е т, словно она уже б ы л а, а Пушкин ее л и ш ь достал о т т у д а. Откуда?

Головокружительно последовательное чтение черновики поэмы. Она приподнимается, она растет, она проявляется (как фотопластинка, не при Пушкине будь сказано) — не последовательно слово за словом, строка за строкой, а — в с я ц е л и к о м, своим рождением еще раз повторяя рождение города и затопление его: «И всплыл Петрополь, как Тритон, // По пояс в воду погружен».

Единство формы и содержания достигает такой степени, что уже непонятно, что чему подобно: едино так, что волну от строки не отличить. И не только потому, что сами мы тому не свидетели, все было именно т а к, как написал Пушкин. Как свидетелю и ему не повезло: и то вековое наводнение (1824), которому он мог быть свидетелем, которое могло бы его навести на опыт и на мысль, он «пропустил» — его наблюдал Мицкевич. Точна судьба! Конечно, Пушкин много «знал» и много «думал» до поэмы. И про Петра, и про Петербург, и про Россию, и про Стихию... Но как очевидно, что поэма подступала к нему не в виде накопленных впечатлений, мыслей и строк, а неразличимой, угрожающей, точной, н е м о й массой, неким телом, уже бывшим вовне, уже существовавшим, требовавшим лишь непосильного во- площения.

И вот еще один признак истинной художественности произведения — его не могло не быть, когда оно у ж е есть. Немыслимы ни мы, ни что без э т о г о. Никакой взаимозаменяемости. «Медный всадник» существует

в этом мире на правах не предмета, а с у щ е г о — деревьев, облак, рек. Без него нельзя, нелепо, не... Без него мы не мы, себя не поймем. Он входит как кровь в историю и как история в кровь.

Расхоже и досуже суждение о том, что гении — наиболее воплотившие себя люди. Но — лишь как представители рода человеческого... не по отношению к самим себе. Не нам даже и представлять, каков у гения в х о д, что стояло за ним в часы озарения, мы видим в ы х о д, результат, он нам ослепителен, и это мы утверждаем, что он им равновелик. «Что хотел сказать автор?» в «Воине и мире», по утверждению самого автора, равно всему роману. Не короче. Но вполне возможно, что еще длиннее.

Художественность достигается, когда... Поучительный тон начала этой фразы может быть прекращен лишь ее продолжением: когда автор понятия о том не имеет, что у него получится, когда он впрямую предстанет перед гипнотизирующим его слепым замыслом. Художественность достигается тогда... всегда, когда перед автором простирается никогда не сказанное до него — немота («Бродил я тихий и туманный, // Заветным умыслом томим!»). Слова, единственно найденные, — не есть слова отобранные, слова накопленные, не есть куча. Слова приходят «в безмолвии трудов», в сам момент творения, и именно те. Как в жизни поступок не может быть совершен задним числом, так и великое единство текста не может быть соткано из одного лишь мастерства и опыта оно рождается. И у гениев вещи, на писанные на одном лишь их великом мастерстве, не дышат по сравнению с их подлинными созданиями. Воин не состоит из мышц и лат, они лишь подспорье в б о ю. Вопрос художественности это прежде всего вопрос, тем ли делом занят пишущий: пишет он... или что другое...

И забываю мир, и в сладкой тишине  
Я сладко усыплен моим воображеньем,  
И пробуждается поэзия во мне:  
Душа стесняется лирическим волненьем,  
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,  
Излиться наконец свободным проявленьем..

И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы легкие навстречу им бегут,  
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,  
Минута и стихи свободно потекут

Это свидетельство о процессе — в ту же осень, что и «Медный всадник»... А вот — антипод, в том же году:

О вы, которые, восчувствовав отвагу,  
Хватаете перо, мараете бумагу,  
Тисненью предавать труды свои спеша,  
Постойте, наперед узнайте, чем душа  
У вас исполнена — прямым ли вдохновеньем  
Иль необдуманым одним поползновеньем...

Л. Толстой как-то раз сказал по подобному случаю:

«Я всегда думал, что писатель пишет тогда, когда ему есть что сказать, когда у него созрело в голове то, что он переносит на бумагу. Но почему я должен писать для журнала непременно в марте или октябре — этого я никогда не понимал».

Значит, еще и вдохновение (как бы его ни пытались компрометировать впоследствии профессиональные писатели). Причем прямое. Вдохновение, по-видимому, явление куда более всеобщее (как любовь, как вера), чем художественность, которая является его неизменным проявлением, но всегда в обличье индивидуальном. Во вдохновении — меньше всего с ебя. Прямое вдохновение рождается на самом обрыве реальности, перед молчаливым образом, в окончательном собственном онемении («...муза//Мне услаждала путь немой//Волшебством тайного рассказа!»). Замысел не просто затруднителен в воплощении, он — невоплотим. По сути, невоплотимость замысла — условие и исток художественности: предстоит больше, чем способен, а получилось — больше, чем хотел. Замысел — всегда тайна, которую предстоит узнать, а не та, что уже тебе известна. Известное — болтает, неизвестное — говорит. Это сама жизнь говорит вокруг, шелестя немотой, настаивая на себе. На нашем сегодняшнем языке «неизвестное» можно назвать «современностью». Вдохновение, может быть, лишь акт перевода с языка жизни, что объемлет нас, на язык слов человеческих. «Над вымыслом слезами обольюсь...» — это не сентиментальные слезы, не слезы довольства — восторг неожиданности. Поверить в то, что опять получится, что еще раз с тобой такое случится, невозможно — а вот опять...

Модное еще недавно понятие «подтекста» как некой высшей формы художественности исчерпало себя в профессиональных упражнениях. Оказалось, что под-



текст — это не то, что «подсовывают» и эффектно скрывают в произведении на манер потайного ящичка, вскрыть который особенно льстит ценителю, подтекст — не новость и не открытие. Он всегда есть во всяком произведении, отмеченном печатью художественности. Это хотя бы личность автора, его отношение к описываемому, всегда наличествующее, но тем более подтекстовое, чем более пытается он эту свою личность из текста устранить. От подтекста не денешься. За пределами текста (но каким-то образом связанные с ним) витают вещи и покрупнее подтекста: это не то, что — под, а то, что — над, надтекст, если уж сказать. Надтекст — нечто превышающее текст, из него никак не вычитаемое и не вычитываемое, но каким-то непонятным волнением с ним скрепленное: будто след, невидимая память о вдохновении писавшего («Я слышу, верные поэты, // Ваш очарованный язык...»).

Мы увлечены сюжетом или сочувствуем героям — прекрасные состояния! Но над страницами, отмеченными художественностью, мы волнуемся особым образом, и с п ы т ы в а я в душе, быть может и с меньшей силой, то же, что и далекий и даже давно живший автор. Я нахожу природу этого волнения не в словах, которые читаю, и не в потайных смыслах. Того, что меня волнует, и нет на бумаге! Это память о творении, это — живое. Живое, как мое «сейчас».

Художественность — это когда написанное необъяснимо больше себя самого. Мастерство — вещь ограниченная, оно больше себя не бывает. Художественность — это таинственно уложенное в книгу высокое авторское чувство, каждый раз воскресающее в душе читающего («Люблю ваш сумрак неизвестный // И ваши тайные цветы...»). Может, и не то, что написано, как бы прекрасно оно ни было. А вот это чудовищное, непосильное человеку (а вот, оказывается, и посильное!) усилие преодоления немоты, чем-то нам такое знакомое!.. Чем? Бесспорным узнаванием. Узнаванием себя, узнаванием того, что мы знали, да не познали, чувствовали, да недочувствовали, думали, да недодумали. Это печалит и радует, понуждает сопереживать... Но это волненьице — лишь условие того волнения, которое вы испытываете при настоящем чтении, когда «душу выворачивает». Душа-то ваша, и нигде на бумаге, если вы зададитесь целью отыскать источник, ваше чувство не

обозначено. Оно застряло неизвестно где, это волнение писавшего, оно то же, что и по поводу жизни, общее для пишущего и читающего, как для каждого живущего. Та же неизвестность следующего мгновения, то же немое преодоление, та же необеспеченная воля к счастью и красоте... Вот что похоже-то!!! Гораздо, быть может, больше, чем та картина, которую столь правдиво удалось воспроизвести автору, похоже на жизнь то, что автор испытал за письменным столом: любовь, боль, гнев, отчаянье, восторг («Беру перо, сижу; насильно вырываю//у Музы дремлющей несвязные слова.//Ко звуку звук нейдет... Теряю все права...»). Писатель, быть может более всех позаботившийся о художественности современной прозы и более всех немотствовавший, признавался, что взялся за перо, потому что с детства страдал от заикания<sup>1</sup>.

Усилие преодоления немоты подобно самой жизни, проживаемой в том же усилии и в той же невысказанности. Но даже и эта удача пишущего — высказанность, — как и удача жизни, опять однократна, опять не утратила тайны, а погрузилась в новую, ее обнимающую немоту, предстоящую ей, опять ничего до конца не разрешила... Но честность этого усилия безусловна; она то — и нравственна, и гражданственна. «Таков прямой поэт». И этот след «прямого вдохновенья», неповторимый, неумирающий и волнующий (сверхтекст, надтекст...), — и есть художественность, которая для нас неоспорима. Каждый раз, выходя из этих строгих вод немоты, автор — другой, как после крещения. Другой, на некоторое время, и читатель, окропленный им.

Да ведь и любая жизнь — больше самой себя! Потому что она — и твоя, смертная, и — вечная (сейчас не о т о й вечности речь...). Смертная — твоя, вечная — человека, такого же, как ты, но другого, но любого, но каждого, прошлого, настоящего и будущего. То есть в каждом из нас своя жизнь объемлет и жизнь человека. Так и произведение, отмеченное печатью художественности, содержит в себе не только себя, но и всю литературу как феномен. Но как не воспользуешься жизнью в «высшем» смысле, не проживая свой, частный смысл, так невозможно и стать большой литературой, минуя смертную малость каждой своей строки. Нет способа

---

<sup>1</sup> См.: Казаков Ю. Поедемте в Лопшеньгу. М., 1983. С. 532.

жить у живого человека, нет способа писать у пишущего. Они — свободны, и литература, и человек. И потому и живы, и новы, и вечны, что личны и смертны. И один человек — условие человечества, как одна книга — условие литературы. Мастерство — частно, оно вроде «умения жить». Художественность же — это не профессиональный признак, это не способ, а та «тайная свобода», о которой говорили Пушкин и Блок.

Терпенье смелое во мне рождалось вновь...

## 7. ПРОЗА И МУЗА (ПЕРЕМИРИЕ)

Я беру перо в руки (сажусь за машинку) и не знаю, каким будет первое слово. Оно и впрямь может быть любимым. Зато я могу быть уверен, что последнее слово будет с ним связано. И тогда первое слово, по необходимости, станет единственным. Мне надо будет потревожить все слова, по которым пробежал живительный электрический смысл, чтобы заменить первое слово, возникшее так легкомысленно и случайно, в вялости, неопределенности или тоске. И я не могу их потревожить, не прервав цепи. Эта целостность называется ТЕКСТ. Он несет на себе печать рока и судьбы. Он произошел, он уже не может быть другим. Точка.

Не стоило бы заниматься все тем же делом, если бы в нем каждый раз не оказывалось все той же тайны — неисповедимого отличия слова начертанного от слова произнесенного. Не стоило бы им заниматься, если бы мы уже знали текст перед написанием, если бы мы его записывали. Но мы его не записываем, а списываем с невидимой, прозрачной, несуществующей доски, где следующее неведомое слово следует за предыдущим с предопределенной не нами неизбежностью. Итак, мы пишем.

И пишем мы ПРОЗУ. Так называется неустная и нестихотворная речь, организованная границами текста. Она отличается от той и от другой и вряд ли помещается между.

Литературоведение, безусловно, не раз описывало, что это такое, доходя до собственных степеней точности, и то лишь в тех случаях, когда само ученое слово оказывалось подвластно неумолимому закону организации текста, властвующему над Прозой. И точность обретен-

ного смысла всякий раз оказывалась заточенной в текст. Рассуждая лишь о композиции, о жанре, о ритме и так далее, наука прежде всего уходила в сторону от предмета описания, становясь россыпью слов, ничем кроме косной дисциплины не организованной. Уж если подходить к телу прозы для описания, сначала следует увидеть тело и как-то назвать его. Я отделался, назвав его Текст, критики охотнее отделяются жанрами, поспешно переходя к описанию именно жанра, а не Прозы. Но и от определения жанра уходят они почти с тою же поспешностью, дабы перейти к его особенностям, но совсем комфортно становится им лишь тогда, когда особенности не определенных ими как целое предметов начнут они отмечать как индивидуальные отличия того или иного автора. Не означает ли эта лишь различительная способность крайне приблизительного представления о предмете исследования? Не говорим ли мы лишь о различии по цвету алмаза от изумруда, все еще не имея в себе даже такой степени обобщения, как, что то и то — камни. Рассказ Чехова или повесть Гоголя описываются с видом более подробного исследования предмета, нам хорошо известного, с тем профессиональным видом, с каким топограф ведет очердную съемку, заранее зная материк, на котором находится. Но карты рисовались и до того, как стало окончательно ясно, что земля шар. То, что само собой разумеется, чаще нам просто еще неизвестно. Литература описывается снаружи с видом естественного перехода от общего к частному. Между тем легкость и быстрота этого перехода непременно к частному как раз и подозрительна. Сейчас мы уже не найдем не то что аристотелевского, даже лессинговского усилия описать целое, как будто все это, раз попробованное в античные времена, там и сделано, а не оставлено в самом начале раздумья.

Иначе с чего бы несерьезным показался бы вопрос об объеме произведения? И так и этак определяют жанр, но никак не вернутся к самому простому и изначальному способу описания — по объему.

Потому что мы не можем уяснить себе природу преобразившегося в прозе расхожего слова с помощью вопросов «как?» и «для кого?». Ответы на эти вопросы опишут нам лишь внешнюю, каждый раз на поверку частную структуру. Единственный подход для описания

этого феномена мерещится нам лишь в ответах на «кто?» и «зачем?»).

Представив себе того смущенного решимостью взять перо в руки, мы видим чем-то мучимого, отвлекшегося от насущного хлеба человека и, прежде чем сумеем ответить на вопрос, зачем это ему нужно, с легкостью спишем самое простое из того, что нам предстоит, а именно: сколько он сейчас напишет (объем), — и таким образом заранее освободимся от проблемы жанра. При самом могучем подъеме, без остановки и передышки, рассвет застигнет его на тридцатой странице, и если он на этом закончит произведение, то точка эта означает рождение нового рассказа или статьи. А если это не будет конец, то будет это — глава, и даже если глава не помечена заголовком, звездочкой или цифрой, даже если перед автором маячит недостижимый образ непрерывности целого, будет там невидимый отступ, перемена почерка, тайный след переведенного дыхания. Неохота даже оговариваться, что рассказ может писаться и месяц, и год («точиться»), нам важно, что в принципе жанр рассказа, статьи и главы может быть обозначен самой возможностью написать это враз, одним духом, за один «присест». Это жанр — из одной точки состояния духа, где именно это состояние и выдерживается, жанр, на котором, в пределах одного произведения, с автором не произойдет (не успеет) той жизни, которая его изменит и приведет к невозвратности всех тех сочетаний духа, времени и плоти, в котором мог родиться именно тот рассказ. Стремление растянуть единое состояние, необходимое для написания более обширного произведения, знакомо каждому пишущему. В наш быстротечный век удастся это с великим трудом, да и не удастся. Однако, скажем, на неделю, с помощью всевозможных исключений и ограничений, можно сохранить («растянуть») состояние, принципиально адекватное первому дню. Такая максимальная возможность определит нам такой жанр, как повесть. Да, не умываясь и не чистя зубы, можно проснуться в продолжении прерванной строки. Но вряд ли вытянуть нам подобное подвижничество, а скорее, вряд ли улучшить нам такую возможность за пределами украденной у жизни недели. Неизбежно сомкнется и закипит бурными мусорными водоворотиками прорвавшая халтуру нашей творческой запруды Жизнь. И вы уже не вернетесь к заброшен-

ному тексту прежним, не можете ступить в эту реку дважды. И тогда роман мы опишем как жанр такого объема и такой протяженности, при котором невозможно, чтобы автор продержал каким бы то ни было усилием состояние, в котором приступил к нему. Роман — это жанр, в котором неизбежно меняется сам автор, жанр отражающий, чем дальше, тем больше, изменение не столько героев, сколько самого автора. Время — это неизбежность отношений. В романе неизбежны отношения автора с героем и набегающим текстом.

Об этом пойдет у нас впоследствии речь.

*1971—1983*

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

Автобус . . . . .	6
Большой шар . . . . .	18
Но-га. . . . .	30
Бездельник . . . . .	43
Пенелопа . . . . .	65
Инфантаьев. . . . .	82

### ДАЧНАЯ МЕСТНОСТЬ

(Дубль)

Жизнь в ветреную погоду. . . . .	98
Записки из-за угла (Дневник единопорца). . . . .	131

### УЛЕТАЮЩИЙ МОНАХОВ

(Роман-пунктир)

Дверь . . . . .	182
Сад . . . . .	191
Образ (Третий рассказ) . . . . .	247
Лес . . . . .	274
Вкус . . . . .	349

### ВЫБОР НАТУРЫ

(Грузинский альбом)

Феномен нормы . . . . .	386
Воспоминание об Агарцине (В ожидании Зедазени) . . . . .	390
Последний медведь . . . . .	395
Город. . . . .	401

Глухая улица . . . . .	410
Осень в Заоди . . . . .	431
Пальма первенства . . . . .	439
Грузинский альбом . . . . .	460
Похороны доктора . . . . .	471
Не видно Джвари... . . . .	488
Родина, или могила . . . . .	493
Рассеянный свет . . . . .	513

#### ПОСЛЕ «ПУШКИНСКОГО ДОМА»

«Двенадцать» (Конспект романа) . . . . .	528
Фотография Пушкина (1799—2099) . . . . .	530
Битва . . . . .	570



**Битов А.**

**Б 66** Жизнь в ветреную погоду: Повести; Рассказы. — Л.: Худож. лит., 1991. — 624 с.

ISBN 5-280-01317-X

В книгу видного советского прозаика Андрея Битова вошли повести и рассказы разных лет, как широко известные в нашей стране и за рубежом — «Пенелопа», «Инфантьев», «Но-га», «Жизнь в ветреную погоду» и др., так и впервые включаемые в книжное издание — «Автобус», «Записки из-за угла», «Двенадцать (Конспект романа)», а также эссе-размышления писателя о проблемах художественного творчества.

**Б**  $\frac{4702010201-058}{028(01)-91}$  без объявл.

**ББК 84.Р7**

*Андрей Георгиевич Битов*

## **ЖИЗНЬ В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ**

Редактор Т. Шмакова

Художественный редактор В. Лузин

Технический редактор М. Шафрова

Корректоры А. Борисенкова, М. Зинина

ИБ № 6024

Сдано в набор 14.11.89. Подписано в печать 03.09.90. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типограф. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 33,18. Уч.-изд. л. 34,66. Тираж 100 000 экз. Изд. № ЛПН-280. Заказ 390. Цена 5 р. (в т. ч. наценка 50 коп.).

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

